

**НИКОЛАЙ
НИКАНДРОВ**

**ПУТЬ К
ЖЕНЩИНЕ**



**ОРУЖИЕМ МЫ ДОБИЛИ ВРАГА
РУДОМ МЫ ДОБУДЕМ ХЛЕБ
И ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ!**

КЪ ГРАМОТЕ!

ИЗДАТЕЛЬСТВО РКГИ



Н. НИКАНДРОВ

НИКОЛАЙ НИКАНДРОВ



ПУТЬ К ЖЕНЩИНЕ

СОСТАВИТЕЛЬ М. В. МИХАЙЛОВА
ХУД. В. НЕКЛЮДОВ



ЕТРОГРАД 2004 ГОД



ИЗДАТЕЛЬСТВО РХГИ

ББК 84 Р7
УДК 882-31
Н 56

*Федеральная целевая программа «Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)*

Никандров Н. Н.

Н 56 **Путь к женщине.** Роман, повести, рассказы / Сост. и коммент. М. В. Михайловой; вступ. ст. М. В. Михайловой, Е. В. Красиковой.. — СПб.: РХГИ, 2004. — 508 с.

Настоящий сборник представляет читателю не переиздававшиеся более 70 лет произведения Н. Н. Никандрова (1868–1964), которого А. И. Солженицын назвал среди лучших писателей XX века (он поддержал и намерение выпустить эту книгу).

Творчество Н. Никандрова не укладывается в привычные рамки. Грубостью, шаржированностью образов он взрывал изысканную атмосферу Серебряного века. Экспрессивные элементы в его стиле возникли задолго до появления экспрессионизма как литературного направления. Бескомпромиссность, жесткость, нелюбовь к лицемерию его критики звучала диссонансом даже в острых спорах 20-х годов. А беспощадное осмеяние демагогии, ханжества, лицемерия, бездушности советской системы были осмотрительно приостановлены бдительной цензурой последующих десятилетий.

Собранные вместе в сборнике «Путь к женщине» его роман, повести и рассказы позволяют говорить о Н. Никандрове как о ярчайшем сатирике новейшего времени.

ISBN 5-88812-179-7



9 785888 121795

- © М. В. Михайлова, составление, вступительная статья, комментарии, 2004
- © Е. В. Красикова, вступительная статья, 2004
- © РХГИ, 2004

**«Индивидуальность свою
пишущий должен отстаивать —
это и есть талант»¹**

Николай Никандрович Никандров (настоящая фамилия — Шевцов, 1878–1964) писал: «...я против всяких предисловий... Книга, произведение должны говорить за себя, даже обходиться без дат...»². Мнение, как видим, категоричное. Возможно, он боялся, что его биография, яркая, полная неожиданных поворотов, насыщенная событиями, будет мешать непосредственности восприятия его текстов. Но позволим себе нарушить волю писателя — и расскажем о его жизни и творчестве. Последнее особенно необходимо, так как то, что им создано, явно нуждается в новом прочтении; его сатирические произведения 20–30-х годов должны наконец занять свое место в истории литературы XX века.

«Вы даже не можете себе представить, что такое вообще я!.. я весь в будущем»³, — так писал о себе 75-летний старик, только что в пожаре потерявший все свое имущество, многочисленные рукописи, ценный архив с письмами М. Горького, А. Куприна, В. Вересоева, оставшийся без крова и снова, как в юности, вынужденный скитаться по чужим углам и согласившийся на поденную работу — описывать «прелести» и «преимущества» колхозной жизни... на этот раз керченских

¹ Из письма к Е. Л. Янтареву от 6 сентября 1904 г. РГАЛИ. Ф. 1714. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 8 (об).

² РГАЛИ. Ф. 1161. Оп. 1. Ед. хр. 525. Письмо С. Н. Сергееву-Ценскому (сер. 1950-х гг.).

³ РГАЛИ. Ф. 356. Оп. 3. Ед. хр. 94. Письмо к М. Л. Новиковой-Прибой от 17 января 1953 г.

рыбаков. На пороге своего восьмидесятилетия он снова собирался начать жить.

И это неудивительно. Способность перестроиться, принять неожиданное решение, резко менявшее русло жизни, были свойственны его натуре. Молодость Никандрова отмечена напряженным поиском своего пути, смысла существования. Разочарование в схоластической науке заставляет его обратиться к религии. Но быт и лицемерие монахов отталкивают его. Сомнения в спасительности веры, благотворности искусства, полезности науки приводят его к Л. Н. Толстому. Получив письмо юности, Толстой приглашает его на беседу. Главным итогом разговора были слова, сказанные ему великим старцем: «Верьте себе!»⁴ И Никандров, побуждаемый желанием приносить реальную пользу, бросает учебу, становится народным учителем и... профессиональным революционером. За участие в подготовке общестуденческой забастовки в Петербурге в конце 1890-х годов его сослали под гласный надзор полиции сначала в Саратовскую губернию, затем — в Пермский край, где он сблизился с эсерами. По возвращении из ссылки в город своей юности Севастополь он становится членом боевой террористической дружины города. Впоследствии Никандров с гордостью признавался, что на его счету было участие в трех террористических актах, за которые по законам того времени ему грозила казнь через повешение. Один из них — совершенное матросом Акимовым по приговору севастопольской организации социал-революционеров убийство адмирала Г. Чухнина (за отказ последнего помиловать лейтенанта П. Шмидта и других «очаковцев»). Никандров разработал план всей операции, инструктировал Акимова, а потом помог ему скрыться. Другой — освобождение с военной гауптвахты Бориса Савинкова.

Преследования полиции, аресты заставляли Никандрова менять места жительства, скрываться, заметать следы. Он был грузчиком в порту, церковным певчим, управляющим имением, по подложному паспорту инспектором гимназии, погонщиком скота, раскрасчиком диапозитивов. Судьба гоняла его по Рос-

⁴ См. письмо Н. Н. Шевцова Л. Н. Толстому от 19 января 1898 г. (Музей Л. Н. Толстого в Москве); РГАЛИ. Ф. 1161. Оп. 1. Ед. хр. 525. Л. 12. Письмо С. Н. Сергееву-Ценскому (сер. 1950-х гг.).

сии — ссылки в Нижний Новгород, где он познакомился с М. Горьким, в Архангельскую губернию, пребывание на нелегальном положении в Гомеле. Наконец — в 1910-х годах — эмиграция, физический труд для того, чтобы заработать себе на пропитание в Швейцарии, Франции. Эта полная скитальчества жизнь монила Никандрова так же, как с детских лет — море, где он чувствовал те же подстерегающие ежеминутно опасности, вечный риск и необходимость рассчитывать только на свои силы...

Как было со всем этим соединить тягу к творчеству, умение подмечать выразительные черточки в поведении людей, передавать их речь, неожиданные словечки, повадки? Ведь все это просилось на бумагу!

Как-то услышав от одного заключенного сева­стопольской кутузки смешные байки, А. Грин, отбывавший наказание в той же тюрьме, посоветовал рассказчику немедленно записать все и отослать в газету. Это и проделал арестант, оказавшийся Н. Никандровым, получив свой первый гонорар через тюремную контору. Так состоялся в 1902 г. литературный дебют писателя. В начале 1900-х годов он печатается на страницах газеты «Крымский вестник». В столичные журналы его произведения попадают благодаря А. Куприну, который, случайно прочитав одну из его «сева­стопольских картинок», поспешил познакомиться с молодым автором и пригласил его к сотрудничеству в журнал «Мир Божий». С этого времени Никандрова начинают печатать ведущие демократические издания. В течение почти 10 лет его произведения появляются на страницах «Современного мира», «Заветов», «Летописи», «Современника». Большим успехом пользуется его лирическая повесть «Береговой ветер», а благодаря сатирическим произведениям «Ротмистр Зака­таев», «Во время затишья», «Во всем дворе первая» имя писателя становится в один ряд с именами интереснейших художников предреволюционной эпохи.

Но Никандров еще не мог, не был готов посвятить себя целиком писательству. Его первые литературные шаги совпали с первой русской революцией, когда «гу­ща жизни» поглощала его всего и оставалась только одна мысль — «сломить непобедимую стихию, задвившую жизнь»⁵. При этом Никандров обязан был

⁵ РГАЛИ. Ф. 1714. Оп. 1. Ед. хр. 15. Письмо Е. Л. Янтаре­ву от 26 июня 1906 г.

считаться с мнением товарищей по партии, которые смотрели на литературную деятельность как на забаву, на занятие, «разлагающее человека славой и деньгами», и никогда не простили бы ему «измены». Настоящий революционер-профессионал, по их убеждению, «мог кончить только самоубийством, но никуда не уходит из революции, ... тем более в литературу...»⁶

Все последующие годы своей писательской судьбы Никандров мечтал о создании своей «беллетризированной биографии», но так и не написал ее, боясь, «как бы чего не вышло», ибо: «у меня — сын, внук и прочие родственники, а наше начальство превратно смотрит на борьбу народовольцев»⁷. И этот страх был обоснован.

Угроза ареста преследовала писателя и в советское время. В 1924 г. ОГПУ «взяло на учет» его брата, в результате чего тот лишился работы и средств к существованию. В 1938 сам он был вызван на допрос. А после войны за решеткой побывали те его близкие, которые оказались на оккупированной территории. Возможность ареста была вполне реальной еще и потому, что писатель не изменил сатирическому пафосу и при изображении советской действительности. Этот «изъян» признавал и он сам: «Мои грехи: юмор и сатира. Под таким углом зрения показ действительности... "они" почему-то не приемлют...»⁸. И, уже подытоживая свой творческий путь, повторил: «Меня губят, если не сказать погубили, юмор, сатира...»⁹.

В общественной атмосфере 1920-х, а особенно 30-х годов сатира воспринималась как порочная тенденция, поклев на достижения нового строя. Известно, какие трудности переживали А. Платонов, М. Зощенко, М. Булгаков. Не избежал типичнейшей судьбы писателя-сатирика и Н. Никандров. С конца 20-х годов уже практически каждое его произведение квалифицировалось критикой как извращенное изображение советской жизни. Гроза разразилась в 1932 когда один из его очерков

⁶ РГАЛИ. Ф. 1161. Оп. 16. Ед. хр. 525. Письмо С. Н. Сергееву-Ценскому (сер. 1950-х гг.).

⁷ РГАЛИ. Ф. 2211. Оп. 3. Ед. хр. 109. Письмо А. В. Перегудову от 3 мая 1961 г.

⁸ РГАЛИ. Ф. 2569. Оп. 1. Ед. хр. 284. Л. 25. Письмо Н. И. Замошкину от 3 декабря 1935(?) г.

⁹ РГАЛИ. Ф. 1452. Оп. 1. Ед. хр. 154. Письмо А. И. Вьюркову от 18 декабря 1950 г.

был отклонен проявившей бдительность редакцией газеты «Знамя Трехгорки», усмотревшей в нем «троцкистскую контрабанду». Никандрову приписали «политически вредную установку», в вину поставили «чисто левацкие извращения»¹⁰. Спасло писателя от расправы, видимо, только то, что ему удалось исчезнуть из Москвы — по заказу различных главков и объединений он подрядился писать очерки о рыболовецких хозяйствах Волго-Каспия. Но результат и этой работы был весьма плачевный: свет увидели только очерки «Морские просторы», «Плавучий дворец», «Зеленые лягушки», — причем публикация первого была расценена критикой как «серьезная политическая ошибка», поскольку автор «отодвигает в сторону» «классовую борьбу в ее особых формах»¹¹, какие она приобретает в среде рыбаков. Путь же остальным вообще преградила критика 1930-х годов. И документальные зарисовки жизни рыбаков, созданные «замаскированным представителем вражеских сил на литературном фронте»¹², уже не смогли появиться ни на страницах «Голоса рыбака», ни в газете «За пищевую индустрию». В них «обнаружили» издевку над передовиками производства и новыми способами хозяйствования, «плювок» по адресу рабочего класса. Было заявлено, что «клевета» на советскую действительность является «твердым пунктом недвусмысленной никандровской платформы»¹³.

Но и в этой ситуации Никандрову помогал... юмор. Он даже сам удивлялся тому, что писавшееся «в кошмарных условиях» загнанности и преследования выходило и «весело и смешно»¹⁴. «Жестокость и фальшь окружающей жизни»¹⁵ Никандровым преодолевались благодаря умению видеть в жизни комическую сторону явлений, постигать ее трагикомиче-

¹⁰ *Кор И.* Как не надо писать о большевистском штурме. Троцкистская контрабанда под ширмой художественного очерка // Знамя Трехгорки. 1932. № 1.

¹¹ *Сац И.* «Новый мир». 1934. № 1–6 // Литературный критик. 1934. № 10.

¹² «Тайна рождения... халтуры» (рубрика «Против халтуры и приспособленчества») // Литературная газета. 1932. 28 января.

¹³ *Батасов А.* Около и по поводу путины (рубрика «Витрина брака») // Литературная газета. 1932. 5 марта.

¹⁴ РГАЛИ. Ф. 2569. Оп. 1. Ед. хр. 284. Письмо Н. И. Замошкину от 3 декабря 1935(?) г.

¹⁵ РГАЛИ. Ф. 2211. Оп. 3. Ед. хр. 10. Письмо А. В. Перегудову от 19 июля 1961 г.

ские черты. Вдоволь посмеяться над ревнителями исключительно «хвалебного тона»¹⁶ в литературе Никандров сумел даже в мрачные 30-е годы, создав своих «Зеленых лягушек». Еще до выхода этого очерка в свет, среди прочих обвинений, тогда на Никандрова посыпались и такие: писатель не понимает истинной причины штурмовщины на социалистическом предприятии, пробует ее объяснить нехваткой сырья. На самом же деле, внушали ему, прорыв на производстве может быть связан только с тем, что «слабо проводятся в жизнь шесть указаний товарища Сталина»¹⁷. Писатель... внял увещеваниям и написал произведение, в котором, как по нотам, разыгран предлагаемый идеологическими инстанциями вариант «большевистского штурма».

В Андросовском рыбном хозяйстве исчезла рыба. Не беда!.. Треугольник андросовского завода, выполняя руководящие указания горкома партии, который отвергает «оппортунистические ссылки на объективные причины», бросается перевыполнять план... за счет лягушек. И не только выходит в передовики, продает лягушек за границу, но и увлекает своим почином все рыболовецкие хозяйства Волго-Каспия. «Ну и большевики, — восхищаются старожилы. — Уже добрались и до лягушек! За такое дерьмо будут получать золото». Создав свою сатирическую аллегорию, Никандров «доказал» основной идеологический тезис тех лет: для большевиков нет ничего невозможного, — причем сделал это с таким простодушным видом, что ввел в заблуждение критиков, подкупившихся «достоверностью» рассказа. «В экспортных организациях, — возмущался один из них, — твердо уверяют, что СССР никогда и никуда не экспортировал лягушек»¹⁸. Вот уж поистине поверишь В. Белинскому, который уверял, что «постижение комического — вершина эстетического образования»¹⁹. Чего-чего, а эстетического чутья явно не хватало критикам тех лет.

В эти годы вырывались у писателя признания: «Ах, какое было бы счастье вдруг почувствовать себя не виноватым... Вдруг

¹⁶ Архив А. М. Горького. Письмо Н. Никандрова от 26 мая 1928 г.

¹⁷ Кор И. Как не надо писать о большевистском штурме. Троцкистская контрабанда под ширмой художественного очерка // Знамя Трехгорки. 1937. № 1.

¹⁸ Загрич С. Зеленые лягушки // За пищевую индустрию. 1936. 23 марта.

¹⁹ Белинский В. Собр. соч: В 9 т. М., 1979. Т. 4. С. 318.

узнать, что ты уже не “творческая личность” и что тебя теперь уже никто не смеет тронуть... Хотя бы немножко почувствовать себя человеком»²⁰.

В «Зеленых лягушках» смех писателя прозвучал в последний раз. Как писатель Никандров вынужден был замолчать на целых 20 лет. В это время он, как и в голодные двадцатые годы, когда был и фотографом, и «бродячей» чайной, и продавцом старья, вынужден перебиваться случайными заработками. В основном — вел литературные кружки, писал внутренние рецензии, но и на этой работе не всегда удавалось удержаться.

В годы молчания ему еще хватало сил подбадривать товарищей²¹, но самому писателю такая жизнь давалась с огромным трудом. И дело было даже не в немыслимой нужде («иной раз выйти не в чем»²², «нищета хроническая, долго длящаяся...»²³), а в том, что он чувствовал, что его забывает читатель, что все труднее ему будет взяться за перо. «Что за ложное положение, — писал он в 30-е годы критику Н. И. Замошкину. — Имеешь 7 томов напечатанных рассказов, и ни в одном книжном магазине и ни в одной библиотеке страны нет ни одной твоей книги, и потому правы те, кто считает, что я обманываю, что я писатель. Такого-де нет и никогда не было “писателя”»²⁴.

Постепенно, начиная с конца 40-х годов, начинают переиздаваться отдельные сборники Никандрова, но они главным образом состоят из написанного им до революции. Произведения же, созданные в результате поездок к берегам Ледовитого океана, плавания на рыболовецких судах по Баренцеву морю в бассейн реки Печоры, пылятся в архиве писателя, а во время оккупации Севастополя и вовсе исчезают:

²⁰ РГАЛИ. Ф. 2569. Оп. 1. Ед. хр. 284. Письмо Н. И. Замошкину от 3 декабря 1935(?) г.

²¹ А. И. Вьюркову он писал: «Не затягивай своей скорби о невышедшей книге... Так говорю, будучи спокоен за духовную нашу суть: уверен, что не будешь ее разменивать...» (РГАЛИ. Ф. 1452. Оп. 1. Ед. хр. 154. Письмо от 24 апреля 1942 г.).

²² РГАЛИ. Ф. 1452. Оп. 1. Ед. хр. 154. Письмо от 18 декабря 1950 г.

²³ РГАЛИ. Ф. 2268. Оп. 2. Ед. хр. 132. Письмо С. Буданцеву. Начиная с 50-х годов на плечи Н. Никандрова легли заботы о тяжелобольных престарелых брате и сестре.

²⁴ РГАЛИ. Ф. 2569. Оп. 1. Ед. хр. 284. Письмо Н. И. Замошкину от 3 декабря 1935(?) г.

немцы сожгли все имущество сестры, у которой Никандров хранил рукописи.

Последнюю попытку выйти к читателю с новым материалом стареющий писатель предпринял в начале 50-х годов, вновь обратившись к вечно волновавшей его теме — морю и труженикам моря. Поселившись вновь в Крыму, он начал писать повесть «Чудо морское», но уже в процессе ее написания надежды на возможность публикации угасали. «Материал огромный, но... очень тяжелый»²⁵, — жаловался он в письме к С. Фомину. Судя по сохранившейся главе²⁶, в центре очерка должны были стоять «давно брошенные на произвол судьбы и живущие звериной жизнью»²⁷ керченские рыбаки, невыносимые условия быта которых скрашивает мистическая мечта о сказочно богатом улове, который однажды изменит их существование.

Неудача с «Чудом морским» повергла Никандрова в полное смятение. «Стопроцентный литприжим» окончательно лишил его, «больше всего дорожившего свободой»²⁸, надежды на возвращение в литературу. «Материала много, но писать нет охоты... Полное отвращение. Перо вываливается из рук»²⁹, — жаловался он другу. И добавлял: «Как писать в такой атмосфере, в таких условиях: врать как все?!»³⁰.

В итоге в конце жизни повторилась та же история, что и в 30-е годы, с той только разницей, что громогласно никто уже не зачислял Никандрова в стан врагов. Но по-прежнему литература, дающая вместо «розовых красок»³¹ «страсти», никого не устраивала. А Никандров упорно отказывался что-либо менять «в сторону лакировки»³², стоял на своем, даже когда возникали предложения переработать написанное: «Никогда не был я в

²⁵ РГАЛИ. Ф. 1730. Оп. 1. Ед. хр. 266. Письмо от 25 января 1954 г.

²⁶ Глава «Катастрофа» хранится в РГАЛИ.

²⁷ РГАЛИ. Ф. 1730. Оп. 1. Ед. хр. 266. Письмо С. Д. Фомину от 5 января 1954 г.

²⁸ РГАЛИ. Ф. 1396. Оп. 2. Ед. хр. 111. Письмо Г. Ф. Сукованченко от 15 сентября 1959 г.

²⁹ РГАЛИ. Ф. 1730. Оп. 1. Ед. хр. 266. Письмо С. Д. Фомину от 25 января 1954 г.

³⁰ Там же. Письмо от 7 апреля 1954 г.

³¹ Там же. Письмо от 5 января 1954 г.

³² РГАЛИ. Ф. 1161. Оп. 1. Ед. хр. 525. Письмо С. Н. Сергееву-Ценскому от 16 сентября 1957 г.

ладах с цензурой, ни при старом режиме, ни при новом; мне не свойственно и невозможно писать вполголоса и подхалимно»³³.

Однако забвение в 30-е и последующие годы имело и оборотную сторону. Оно дало возможность писателю физически выжить. Но своеобразная «безбытность» этих лет, метания, поначалу вынужденные, постепенно приобретали характер привычки, отучали планомерно работать, лишали важнейшего писательского стимула — увидеть написанное напечатанным. Постепенно склонность к мистификациям начинает определять стиль жизни Никандрова. И уже не понять, действительно ли написана «ударная вещь» — «Бакенбарды Пушкина», которая «бьет наповал», при чтении которой «умрут от смеха»³⁴, или это попытка обмануть самого себя, уверить других, что по-прежнему много работается, удачно пишется... С некоторых пор некий оттенок ирреальности начал привноситься им в свое жите-бытие. Казалось, он и всерьез и не всерьез проживает свою жизнь, с тем чтобы потом воскликнуть: «Разве Вы не понимаете, что Кисловодск, поездка туда были той же шуткой, — как и вся моя жизнь с женитьбами, литературой, революцией!»³⁵ Казалось, он живет все время «начерно», чтобы потом совершать горькие «открытия»: «... вдруг из последних анкетных справок... узнаю, что мне ведь уже 83-й годок»³⁶, что «я уже старик», а «ведь я еще даже не написал ни одной гениальной вещи, только все угрожал, что напишу»³⁷. «Я поступал так, — сознавался он, — как будто мне предстоит прожить 200 лет»³⁸, «жил без плана, без назначения каких-либо сроков...»³⁹

Впрочем, последние слова отражают не только отношение к отпущенному человеку времени, но и вообще отношение Никандрова к творческому процессу. Разбросанность, неуме-

³³ РГАЛИ. Ф. 1396. Оп. 2. Ед. хр. 111. Письмо Г. Ф. Сукованченко от 15 сентября 1959 г.

³⁴ См.: *Лидин В.* Люди и встречи. М., 1966. С. 222–227.

³⁵ РГАЛИ. Ф. 2569. Оп. 1. Ед. хр. 284. Письмо Н. И. Замошкину от 15 декабря 1938 г.

³⁶ РГАЛИ. Ф. 2211. Оп. 3. Ед. хр. 109. Письмо А. В. Перегудову от 6 февраля 1961 г.

³⁷ РГАЛИ. Ф. 356. Оп. 3. Ед. хр. 94. Письмо М. Л. Новиковой-Прибой от 17 января 1953 г.

³⁸ РГАЛИ. Ф. 1452. Оп. 1. Ед. хр. 154. Письмо А. И. Вьюркову.

³⁹ РГАЛИ. Письмо М. Л. Новиковой-Прибой от 17 января 1953 г.

ние сосредоточиться, неверие в себя как писателя, ощущение того, что он «недостоин», «не дорос» до этого «звания», несомненно, сказались на его творческой манере. Он был, если попытаться определить его творческую индивидуальность, интуитивным художником, постигающим многое чутьем, восполняющим отсутствие глубоких раздумий живостью восприятия, непосредственностью наблюдения. «Я, когда сажусь за стол, еще не знаю, что вылетит... из-под моего пера...»⁴⁰ — признавался он. У него был дар «купринского» толка. Поэтому, наверное, не случайно именно Куприн выделил его из многих вступивших в литературу в начале XX века, сказав, что «из молодых ему больше всего нравится Никандров»⁴¹. Но такого рода дар как никакой другой требует длительной и тщательной огранки.

Никандров нуждался в направляющей руке. И пока был таковой — редактор Н. С. Клестов-Ангарский, встретивший его после эмиграции в Москве, вызволивший из ночлежки, знаменитой «Ермаковки», и усадивший за письменный стол, — все шло хорошо. С его помощью были составлены первые никандровские сборники — «Береговой ветер» (1915) и «Лес» (1917), да и потом наиболее удачные произведения писателя 20-х годов печатались в сборниках «Недра», которыми руководил Клестов-Ангарский. Но в 30-е годы на смену доброжелательным и внимательным редакторам пришли «издатели-назначенцы», «литхозяева» (определение Никандрова), хорошо знающие законы конъюнктуры рынка «литературы социалистического реализма», но мало заинтересованные в поддержке талантов. А именно в этом так нуждался заносчивый, ершистый, но, в сущности, легкоранимый Никандров.

Возможно, однако, что не отсутствие общего плана произведения, а интуитивная установка художника на «статичную» нравоописательность и составляла то своеобразие Никандрова, которое вызывало нареkania критики, считавшей, что наибольший недостаток писателя — неумение выстроить сюжет, сочинить увлекательную фабулу. Но предмет пристального внимания Никандрова — «неподвижная правда сегодняшнего дня»⁴², застывшее «вечное настоящее», особенно удачно передающее

⁴⁰ РГАЛИ. Ф. 2569. Оп. 1. Ед. хр. 284. Письмо Н. И. Замошкину от 16 октября 1937 г.

⁴¹ Вечерние известия. 1916. 3 мая.

⁴² Гизетти А. Возрождение или вырождение (о журнале «Летопись») // Ежемесячный журнал. 1916. № 4. С. 310.

душную атмосферу обывательского существования, все градации которого досконально исследовал в своем творчестве писатель. Конечно, эти черты, определяющие достоинства никандровской прозы, при потере чувства меры переходили в недостатки — растянутость, аморфность, вялость повествования. Никандров пытался преодолеть этот недостаток путем создания яркой фабулы, захватывающей интриги, но надо признать, что как раз «интригующие» произведения писателя, такие как «Путь к женщине», «Рынок любви», со стороны сюжетной линии выглядят довольно банально. В то же время, когда он нащупывает внесюжетную нить, соединяющую «дробь голых диалогов», когда уходит от плавной повествовательной формы, нанизывает эпизоды и картины, конструирует мозаичное полотно, получается и неожиданно, и ярко, и увлекательно.

Особое значение придавал писатель финалам произведений. Раскрывая свои творческие принципы, он замечал: «Концовка... должна быть ясным, насыщенным аккордом»⁴³. Важными представлялись ему и такие «частности», как фамилии героев. Разбирая присланную на отзыв книгу, он писал: «Фамилии замечательно характеризуют носителей. Так и слышится, что Ужухов — хам, а Пузыревский — деляга... И фамилиями им поменяться никак нельзя. Ужухов — хамская фамилия, она так и звучит хамством. В такой же степени Пузыревский — рафинированный делец»⁴⁴.

Повышенное внимание к звучанию русской речи прослеживается у Никандрова на протяжении всего его творческого пути. Слух в этом смысле у Никандрова был практически безукоризненный, едва ли не абсолютный. Просторечие, диалектизмы, вульгаризмы, включение новой лексики, разрушение привычных норм языка зафиксировано в его рассказах. Он и своим адресатам настоятельно советовал окунаться в языковую стихию, прислушиваться к произношению. Нередко даже «игра» словами заменяет у Никандрова сюжет в традиционном смысле, развитие «словесного образа» восполняет фабульное действие, через реплики раскрываются характеры героев, конфликт разрешается на «словесном уровне». Насколько пер-

⁴³ РГАЛИ. Ф. 2592. Оп. 1. Ед. хр. 124. Л. 1(об.). Письмо Н. Я. Москвину от 3 апреля 1961 г.

⁴⁴ Там же.

спективным было такое направление поисков Никандрова — к сожалению, так и не доведенное им до конца, не реализованное во всем богатстве предоставлявшихся возможностей,— свидетельствуют аналогичные поиски классика русской литературы И. А. Бунина. «Психологический жест», к которому столь пристрастен в 30-е годы Бунин, выражается у него не «в действии, не в поступке, а лишь в словесной формуле, в замечании, в восклицании, то гармонирующем, то дисгармонирующем с только что изображенной картиной... Идеи заключены здесь в самом словесном материале»⁴⁵. Но если Бунин, пользуясь этим приемом, обретал поразительную краткость, то Никандров, напротив, «эксплуатировал» его буквально беспощадно, разжижая и затягивая повествования, не чувствуя, что необходимо создать организующую систему, способную помочь развитию действия, построению композиции.

Однако с годами более строгое отношение к слову становилось определяющим в работе Никандрова над текстом. И здесь несомненную помощь начинает оказывать Чехов, на чей авторитет писатель стремится опереться. Благоговеющее отношение к Чехову было свойственно Никандрову с юных лет. В одном из писем к другу он спрашивал, был ли тот на могиле Чехова, и, предполагая отрицательный ответ, готов осудить товарища. В зрелые годы одно приближение к месту, где жил «добрый русский гений»⁴⁶, способно, как ему кажется, облагородить человека, настроить душу на высокий лад. В последние годы Чехов становится для него «непревзойденным учителем»⁴⁷. А на раннюю «зависимость» от Чехова указывает фамилия героя — Серебряков, отсылающая к «профессору-страдальцу» из «Трех сестер».

Поэтому, очевидно, неправы те исследователи, которые ограничивают творческий кругозор Никандрова бытом, отводят ему роль скромного бытописателя в русской литературе. Особенно обманчиво его «бытописание» в сатирических вещах 20–30-х годов. Они при первом приближении действительно могут

⁴⁵ Возрождение. 1931. 30 апреля (рецензия В. Ходасевича на «Краткие рассказы» И. А. Бунина).

⁴⁶ РГАЛИ. Ф. 2569. Оп. 1. Ед. хр. 284. Письмо Н. И. Замошкину от 4 февраля 1937 г.

⁴⁷ РГАЛИ. Ф. 2592. Оп. 1. Ед. хр. 124. Письмо Н. Я. Москвину от 2 мая 1961 г.

восприниматься как бесстрастные очерки, незамысловатые сценки, зарисовки с натуры. Но сквозь вязь быта в них просвечивает символика. Яркий тому пример — написанный в середине тридцатых очерк «Печора». К сожалению, его содержание мы вынуждены восстанавливать по внутренней рецензии, поскольку сам очерк в процессе прохождения по многочисленным инстанциям затерялся.

Представим, какое впечатление могли произвести на читателя сцены, на первый взгляд рисующие в деталях и подробностях реальное путешествие автора на пароходе по реке Печоре. Итак, в диких малолюдных местах блуждает пароход под названием «Социализм» — единственная связь местных жителей с Большой землей, миром культуры. Он причаливает к берегу, и у капитана судна ищут правды, надеются на его способность внести мир и покой в их жизнь. Но, дав прощальный гудок, пароход растворяется в тумане, исчезая среди болот и вечной мерзлоты... Что это, если не намек на обещания, щедро раздаваемые «социализмом» 30-х годов, но остающиеся неуловимыми для людей? И это свидетельство того, что в лучших своих вещах писатель вырывался за пределы бытописания, устремляясь к «вечной», а только не злободневной тематике, воссоздавая черты российской действительности, вывода «русские типы»⁴⁸.

В настоящий сборник включены сатирические произведения Н. Никандрова, созданные им в 20–30-е годы. В сатире этого времени тема личности была одной из центральных. Рядом с ней существовало другое проблемно-тематическое направление — постановка глобальных вопросов, связанных с коренной ломкой социально-политического уклада. В русле первого направления в основном развивалось творчество М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова. Второе было связано с именами М. Булгакова, А. Платонова.

Никандрова на первых порах более всего интересует личность в новой «перевернутой» действительности («Профессор Серебряков», «Любовь Ксении Дмитриевны», «Диктатор Петр»). Однако на определенном этапе эта тема исчерпывает себя. Он пытается осмыслить некоторые опасные, уродливые тенден-

⁴⁸ РГАЛИ. Ф. 1398. Оп. 2. Ед. хр. 415. Письмо К. А. Треневу от 11 февраля 1922(?) г.

ции и явления в жизни общества («Скотина», «Путь к женщине», «Зеленые лягушки»). Понятно, что по мере продвижения к «светлому будущему» подобные попытки с точки зрения официальной идеологии становились совершенно неуместными. Возможно, это одна из причин перехода писателя к жанру очерка.

В центре повестей «Профессор Серебряков», «Любовь Ксении Дмитриевны» — дореволюционные интеллигенты, оказавшиеся в 20-е годы в ситуации разрушенного быта. Никандров словно пробует интеллигенцию «на зуб» революции, и оказывается, что монетка как бы несколько фальшива. В повестях практически не описывается прошлое героев, но и настоящее дает представление об особенностях уклада их прежней жизни. Главное в ней — прочный материальный фундамент, позволявший не раствориться в мелочах быта, не заботиться ежедневно о хлебе насущном, не суетиться в поисках средств к существованию. На этом фундаменте покоилось здание жизни, здание изящной архитектуры, полное света, возвышенных чувств, интеллектуального творческого труда. Революция уничтожает фундамент, и писатель показывает, как постепенно рушится, распадается на бесформенные, несоединимые вновь части прежнее духовное здание и как возводится ситуацией и самим человеком нечто новое, грубое и уродливое. Все меняется в жизни этих людей: смысл существования, система ценностей, приоритеты. Инстинкт самосохранения захватывает их все глубже и сильнее. Материальный интерес, борьба за выживание придают все ниже. Прежние мысли и чувства, когда-то, казалось, наполнявшие их жизнь, ссыхаются, исчезают, либо в новых условиях становятся неказистыми, жалкими.

Причины этого крушения не только в людях, по-разному реагирующих на складывающуюся ситуацию, но и в обстоятельствах, катастрофическим образом «вымывающих» самую сердцевину личности.

В повести «Диктатор Петр» бывший писатель, интеллигент, незаметно для себя становится рабом инстинкта самосохранения, превращается в маленького тирана, терроризируя мелочными упреками и придирками близких, попавших к нему в кабальную зависимость. Профессор Серебряков втягивается в борьбу за существование не по своей воле, а под давлением извне, кроме того, у него есть высокая цель — написать обширный труд по праву. Но большая часть повести посвящена хождению профессора по инстанциям. И это хождение деформирует человека, превращая его в назойливого просителя.

Широко известный тезис «бытие определяет сознание» находит в повестях Н. Никандрова печальное и жестокое подтверждение. Одновременно это свидетельствует о том, что уже на данном этапе своего творческого пути он пытается не только в личностном, но и в философском, социальном плане осмыслить происходящие в стране процессы.

Одним из центральных художественных образов в «Профессоре Серебрякове» является образ «права». Профессор-подвижник, забыв о сне и еде, отрешившись от мелких забот повседневности, презрев комфорт и сытость, одержимо работает над книгой. Труд актуален. Действительно, обновленная Россия — государство, а какое государство не нуждается в правовых нормах? В умах доморощенных правоведов уже совершается работа, зреют и вызревают юридические мысли, о чем свидетельствуют названия выписанных профессором из Петрограда брошюр: «Право как диктатура господствующего класса» (разумеется, пролетариата), «Нужно ли пролетариату право?» и т. п. Ясно, что последний вопрос чисто риторический, брошюрки-то печатаются, да и в порткоме, куда обращается герой за реальной помощью, ему с ходу предлагают прочитать лекцию «Похороны старого «права», из чего определенно должно следовать, что новое уже народилось.

Профессору центральной властью дарована «Охранная Грамота», дающая ему право на академический паек, то есть возможность решить свои материальные проблемы за счет государства. Однако это право оказывается всего лишь фикцией. Походы по совучреждениям отнюдь не способствуют наполнению профессорских мешочков крупой. Они лишь образуют сюжет «попрания права на всех уровнях», тем более чудовищный, что отдельно, в каждом конкретном случае, никто к профессору неприязни не питает, никто не хочет лишать его каких-либо «прав». Напротив, все относится к нему и его мытарствам с теплотой и сочувствием. Но в том-то и дело, что на глазах добрых людей старый профессор едва ли не погибает с голоду, пока не встречает на своем пути Федосеева, хорошо усвоившего заповедь новой общественной формации: «права не дают, права берут». Он и взял! Взял право по своему усмотрению не только оделять сограждан материальными благами, в данном случае наполнять мешочки профессора крупой, а бутылочки растительным маслом, но и физически вразумлять тех, кто не до конца понял специфику новых отношений.

Что же получается? Существует право — декларированное — на государственной бумаге, реальное — в образе завскадом Федосеева, который в городе «один всем жить дает», отчего горожане приходят в умиление, встречая наконец-то сытого ученого. «Профессор добился-таки своего права!», — радостно восклицают они. Профессору тоже удается постигнуть разницу между теоретической идеей права, которую отныне он будет проводить в своих трудах, и реальной жизнью, предоставляющей право униженно выпрашивать подачки у новоявленных казнокрадов. И интеллигент Серебряков добровольно соглашается с тем, что лучше отказаться от права на человеческое достоинство, но зато иметь полный желудок.

У профессора в повести есть двойник — секретарь парткома товарищ Аристарх, тоже облеченный правами, но на деле столь же беспомощный перед жерновами им же созданной бюрократической машины, подминающей его, как и профессора, под себя. Единственное, на что он оказывается реально способен, — это послать столичную знаменитость в очередной учком и гучком, или включить его в сложенный механизм грандиозного, вхолостую работающего автомата в виде шестеренки, исправно выполняющей свою работу: чтение лекций о... праве пролетариата.

Выброшенной из жизни оказывается и героиня повести «Любовь Ксении Дмитриевны». Оставленная мужем, одинокая и бездомная, она сталкивается с новым для нее миром, где материальный интерес направляет судьбы людей, ежедневно и ежечасно внедряясь в их жизнь, обрывая прежние и устанавливая новые связи. Это мир, в котором материальное благополучие, утраченное одними и приобретенное другими, является едва ли не единственным регулятором мироощущения человека, его счастья или горя, его доброты или озлобленности. Сама Ксения Дмитриевна со своей несчастной потребностью любви кажется странным светящимся пятном, слабо мерцающим на фоне диванов, никелированных кроватей, коммунальных квартир, демагогических фраз об общественно полезном труде (письма мужа). Стремление до отказа наполнить жизнь, как сундук вещами, как желудок едой, да еще инстинкт продолжения рода — вот главное, чем движимы герои повести, как бы различны они ни были, как бы ни относился к ним писатель — с добродушной или злой иронией, с издевкой или сарказмом. Не избегает в конце концов сочувственно-ироничного отношения и сама героиня. По мысли Никандрова, она призвана исполнять роль

новоиспеченной Золушки — обиженной и трудолюбивой, благодарной и вознаграждаемой. Только вот награда — принц — отталкивающе расчетлив и неприкрыто циничен, он полноценное дитя складывающихся социальных отношений. И вполне отдающая себе отчет в том, что же представляет собою ее муж, только что разразившаяся гневной филиппикой в его адрес, казалось бы, освободившаяся и свободная, она по первому зову бросается к нему.

Конечно, подлинность и духовность любви Ксении Дмитриевны могут быть поставлены под сомнение. Но все равно — насколько ее чувство теплее и человечнее животной похотливости интереса ее потенциальных женихов и мещански-убогого соединения ее «хозяев» — супругов Гаши и Андрея! И обреченность этой любви — в немудрящих строчках последнего мужчины письма: «Напиши мне, хватит ли нам на двоих одного твоего жалованья?»

Итак, старый мир разрушен до основания. Бывшие «господа» — Ксения Дмитриевна и Серебряков — идут в услужение к тем, кто «был ничем», а стал «всем» — Андреем, Гашам, Федосеевым. Прежние духовные ценности вытесняются из жизни. Что же начинают созидать на обломках старого мира новые «хозяева»? И писатель задается вопросом, какие новые духовные ценности возникнут на новом материальном фундаменте. Ответ на него в повести «Рынок любви» и романе «Путь к женщине».

В этих произведениях лица героев в отличие от предыдущих, вроде бы точно, детально прорисованные, на самом деле почти лишены человеческих черт: они или стираются, или едва заметно проступают. Это исчезновение, расплющивание человеческого начала остро ощущал писатель в 30-е годы, ощущал как трагедию времени. Воплем отчаяния звучат его слова в одном из писем: «...самое главное... в том разочаровании в человеке, который хотел звучать "гордо". Разочарованию и удивлению этому нет конца. Мерзости видишь, они выпирают. А другие как будто не замечают, и это тоже приобретает вид новой мерзости»⁴⁹.

Жизненные потребности оказываются предельно суженными — забота о детях, как у Валентины Константиновны, жены

⁴⁹ РГАЛИ. Ф. 2569. Оп. 1. Ед. хр. 284. Л. 25(об.), 26. Письмо Н. И. Замошкину (1930-е годы).

эмигрировавшего врача, вынужденной продовать себя, чтобы прокормить троих детей («Рынок любви»), чувство голода, как у профессора Серебрякова, желание материального достатка, как у Гаши и Андрея («Любовь Ксении Дмитриевны»). Но оказывается, можно пойти и дальше, сведя существование к отправлению биологических функций, которые реализуются в удовлетворении полового влечения. Таков, в частности, герой повести «Рынок любви» Шурыгин. И хотя писатель описывает внешность героя, его быт, дает даже вполне определенную социальную характеристику (Шурыгин бухгалтер в потребкооперации), — это лишь человекообразное существо о двух ногах, о голове, аккуратно посещающее службу, владеющее членораздельной речью... Но тем не менее не человек. Но и не животное, потому что вряд ли найдется животное, все существование которого сводится к поиску и обладанию самкой. Похоть словно проступает сквозь поры кожи преуспевающего бухгалтера, его мысли постоянно заняты одним стремлением — найти женщину, потом другую, лучше, качественнее, потом еще... Женщина для Шурыгина — товар, объект купли-продажи; с бухгалтерской педантичностью он определяет ее цену: семга, вино, апельсины, нитки, кожа для подошв, фасоль, парниковые огурцы — все это разменная монета и для приобретения, и для сбыта товара за ненадобностью.

При этом одержимый похотью покупатель женского тела претендует на чистоту и верность. Он и отношения с женщиной, по сути своей безнравственные и развратные, называет не иначе, как любовью. Извращение этого понятия проявляется в контексте шурыгинских высказываний: не высокая любовь, не любовь-сострадание, не вечная любовь, а «сеанс любви», «акт любви». Эти парадоксальные сочетания подчеркивают внутреннее уродство Шурыгина, трактующего сугубо физиологические инстинкты в русле высоких духовных категорий. Навязчивое стремление Шурыгина облечь свои истинные намерения в «формулу любви» никого не обманывает. Да и сам он понимает, что это лишь благопристойная вывеска, необходимая для соблюдения правил приличия в его понимании.

У Шурыгина есть «родственники» в других повестях Никандрова: это завскладом из «Профессора Серебрякова», шофер Чуриков из «Любви Ксении Дмитриевны». Их объединяет не только невежество, наглость, но и то, что они *хозяева* ситуации. Они присвоили право диктовать свои условия тем, кто выбит из колеи.

Несколько иной подход к жизни у другого его «родственника» — героя романа «Путь к женщине» философствующего поэта Никиты Шибалина. В этом произведении Никандров дал «право голоса» всем представителям эпохи, создав тем самым своеобразную форму романа-диалога. Но, конечно же, — постоянно на трибуне главный герой, «оратор» Шибалин, который разврат возводит в принцип, облакает в одежды высокой теории. Если Шурыгин живет не мудрствуя лукаво: взял — использовал — заплатил, — то в Шибалине перед нами уже следующая модификация этого типа вызванная новым временем. Если Шурыгин плавно и безболезненно перенесся из одной эпохи в другую, недурно устроился, приспособился, то Шибалин — порождение времени с его специфическими чертами: перечеркнуть, выбросить, ниспровергнуть все старое.

В данном случае пересмотру подлежат отношения между мужчиной и женщиной. «Долой условности! — провозглашает Шибалин. — Создадим мир братства и единства, в котором все как бы априори знакомы». Это облегчит, по мысли поэта, контакты всех со всеми, сделает отношения между мужчинами и женщинами свободными и радостными. «Прогрессивную» теорию Шибалина можно прочесть как сниженный вариант социалистических учений, ломающих социальные перегородки, устанавливающих мир равенства и братства. При таком прочтении становится особенно интересен никандровский прогноз практической реализации новых социальных теорий. Куда же способны завести человечество «высокие идеи» и широкообещательные декларации?

На первый взгляд роман «Путь к женщине» может быть отнесен к тем произведениям второй половины 20-х годов, в которых дискутировалась «половая проблема» (рассказы П. Романова, повесть С. Малашкина «Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь»). В первой части Шибалин выступает перед литературной молодежью, излагая основы своей теории всеобщего знакомства. Это пик славы и поклонения. Вторая часть — бульвар, где Шибалин наблюдает жизнь, поверяя теорию практикой. Уже здесь его самоуверенность, развязность резко снижают образ «блестящего генератора идей». И наконец — третья часть: мрачная, жутковатая картина притона проституток, где на пустыре, в земляных норах полуразрушенного здания покупается и продается «любовь». Сюда-то и приводит тернистый путь практического применения теории поэта и философа Никиты Шибалина. В этом смысле символично заключительная сцена

романа: блистательный Шибалин на четвереньках (превратился-таки в животное!) вползает в черную дыру...

На наш взгляд, роман дает основание для широких обобщений. Любая теория, какой бы выигрышной и привлекательной она ни казалась, будучи изолированной от нравственных начал, есть не что иное, как бесполезная и даже вредная игра ума, лицемерное прикрытие порочных намерений. В «Пути к женщине» Никандров впервые в своем творчестве показывает противоестественный симбиоз красивой фразы и безобразного поступка, когда смысл слова и смысл действия, обозначенного этим словом, находятся в антидиалектическом противоречии, снятие которого возможно лишь через распад этого кощунственного единства.

Кроме того, такие произведения, как «Путь к женщине», «Рынок любви», подтверждают однажды высказанное в критике мнение, что писатель «изображает человеческую жизнь в аспекте ее простейшего, звериного...»⁵⁰. Этот момент действительно составляет отличительную черту никандровского видения человека. Писатель как бы напоминает нам о силе этого звериного начала, о непросветленности человека, о его подчиненности закону борьбы и страха за свое существование. Писатель и предостерегал от забвения этого природного начала, и в то же время предупреждал об опасности всевластия инстинктов. В этом отношении голос художника звучал диссонансом в дружном хоре певцов тех лет, уверенно заявлявших, что человек уже преодолел «земное» притяжение, что он полностью отрешился от своей «низменной природы» и способен жить исключительно высокими помыслами и идеями.

В повести «Скотина» также имеет место символическое обобщение. Примечательно само название. Слово «скотина» помимо прямого значения имеет еще одно, закрепившееся веками крепостного рабства: быдло, скотина — низшее сословие, лично зависимые от господина, неполноценные, тупые люди, которыми можно и нужно управлять по своему хотению. Позже Никандров так сформулирует свое понимание «смысла» жизни «большинства»: «Родятся люди сотнями миллионов особей,

⁵⁰ Журов П. Н. Никандров. Береговой ветер // Красная новь. 1923. № 4. С. 374.

а достигают человеческого подобия, доходят до истинного человеческого самосознания только — страшно произнести — отдельные единицы. Остальные, прожив свой биологический век, так и умирают, не познав, в чем же дело, ни на миг так и не побывав человеком, ни разу так и не поднявшись над духовным развитием рабочей лошади, выполняющей или перевыполняющей норму, план...»⁵¹ Несомненно, зерна этой идеи присутствуют в повести. Недаром наиболее пронизательные критики уловили общность положения скотины и гуртовщиков: «люди гонят скот, скот гонит людей»⁵².

Действительно, гуртовщики, как и их подопечные, не знают дороги, но через выжженную засухой степь, где ни воды, ни клочка свежей травы, гонят и гонят в Москву, в трест «Говядина» крестьянских буренок. Многозначительна исходная ситуация: некий Иван Семенович, заготовитель из Москвы, скупает за бесценок скот у крестьян из пострадавших от засухи областей. Торги обставляются так, будто дело не столько в мясе (не так уж оно и важно — мясо!), сколько в стремлении советской власти порадовать простому труженику, поддержать его в тяжелую минуту. Раздавленным же таким великодушием, а главное — безысходностью ситуации крестьянам остается только кланяться и благодарить, благодарить и кланяться.

Ключевыми в повести являются два эпизода. Первый — разговор гуртовщика Короткова с величавым стариком, словно воплотившим русскую крестьянскую силу. Старик настроен довольно пессимистично («заблудились люди», «Бога забыли»), его интерес к власти устойчив и предопределен ранее сложившимися отношениями: будет ли мобилизация, ожидается ли повышение налогов. Иными словами, новый порядок для него — это порядок *потребления* русского крестьянина по мере надобности. Второй эпизод в конце рассказа, когда гуртовщики с полуживой скотиной вдруг неожиданно оказываются на берегу пруда. Яркая трава, свежая вода, долгожданная тень, спасающая от степного зноя, — все это сказочно, чудесно, будто во сне. «И если бы все лишения в степи были ради этого, то, может, и хорошо», — заканчивает повествование Никандров. Но мы-то

⁵¹ РГАЛИ. Ф. 2211. Оп. 3. Ед. хр. 109. Письмо А. В. Перегудову от 11 мая 1953 г.

⁵² Колесникова Г. Новый мир. 1925. №№ 1–3 // Октябрь. 1925. № 6.

знаем, как знает и сам писатель, что этот бог весть откуда взявшийся оазис скоро будет позади, впереди же — трест «Говядина», учреждение, где скотину пускают на мясо. Голод, муки, лишения, передышка — все оказывается бессмысленным...

А истоки всех этих далеко не чудесных метаморфоз, по мысли автора, на переломе, в 1917-м. Два рассказа — «Катаклизма» и «Все подробности» — об этом времени. Тогда же и созданы. Москва между двумя революциями, Страстная площадь, огромная возбужденная толпа, митинги, ораторы. Оба рассказа написаны в жанре зарисовки с натуры. На первый взгляд, как это часто бывает при чтении произведений Никандрова, кажется, что от себя он ничего добавить не хочет: увидел, запечатлел — читайте. Но это не так. И в зарисовках ему удается через композицию («Катаклизма»), через движение сюжета («Все подробности») акцентировать внимание на вполне определенных, отнюдь не частных проблемах.

Рассказ «Катаклизма» начинается и завершается выступлениями ораторов — лидеров политических группировок. Эти выступления представляют собой набор бессвязных, словно наспех выдернутых из словаря иностранных слов, выкриков-лозунгов, одинаково непонятных как самим ораторам, так и толпе: «Абсентизм!.. Абстрактно!.. Конфедерация!.. Катаклизма!.. Марзм!.. Синекура!..» Каждое выступление завершается обращением оратора к толпе: «Правильно, товарищи?» И толпа, раздавленная пафосом восклицания, тайной слова, польщенная доверием, отвечает дружно: «Правильно! Правильно!»

Эти выступления обрамляют стихийно возникающие в толпе жаркие споры о войне и мире, о собственности, интеллигенции. В спорах выплескивается на поверхность колоссальный эмоциональный заряд темной массы людей, выбитых из привычной колеи, стремящихся как можно скорее и проще — иначе они и не умеют — разрубить тугие узлы жизни.

Страшная, разрушительная сила таится в толпе, непредсказуемы колебания ее настроения, невозможно предвидеть, какая случайность станет искрой, от которой вспыхнет пожар дикого насилия. В рассказе «Все подробности» один-единственный оратор — обыватель из Конотопа, маленький человек, которому наконец-то дана возможность высказаться. Политическая смута, лихорадочное ожидание перемен поднимают его с насиженного места и бросают в Москву, к подножию памятника Пушкину. Сказать ему решительно нечего, и он мелет какой-то вздор о своем конотопском житье-бытье. Движение

сюжета определяется не речью оратора, а изменением настроения толпы, живущей по законам случайного возгорания. Постепенный переход от добродушия к недоброжелательству, к свирепой жестокости (конотопского обывателя здесь же, на площади, зверски убивают) тем и страшен, что возникает стихийно, в недрах неуправляемой массы.

Темные, ограниченные люди, в которых отсутствуют элементарные навыки нравственной культуры, не способные ни понять ситуацию, ни тем более найти путь к ее разрешению, в исступлении теряющие представление о добре и зле, становятся удобным объектом для манипуляций политиков — такова основная мысль этих рассказов.

Характеристика атмосферы, в которой пребывают такие люди, как непроглядной «лесистости»⁵³ осталась действенной и по отношению к условиям их существования после революции. Что-то страшное в жизни собравшихся вместе людей — когда начинает преобладать всеобщее, нивелирующее отличительные черты, когда сглаживается личностное, индивидуальное, когда вместо особенностей поведения верх берут привычки, повадки, стадные чувства, — наступает на читателя в произведениях Никандрова. Это произвело в свое время огромное впечатление на И. Шмелева, писавшего автору: «Страшно мне в последнее время “людей”, многих людей в массе, но без человека тяжело»⁵⁴. Действительно, при чтении Никандрова бросается в глаза это отсутствие *человека* при огромной перенасыщенности его произведений персонажами.

С середины 30-х годов характер творчества Никандрова заметно меняется. Его произведения этого периода строятся на документальной основе, и впоследствии жанр очерка становится преобладающим. В этом смысле рассказ «Зеленые лягушки» является переходным. С одной стороны — реальная ситуация: на прикаспийском рыбозаводе по объективным причинам не выполняется план. С другой стороны, писатель рисует гротесковую ситуацию: рыбы нет — будем ловить лягушек, благо в районе «за последние годы, благодаря хорошим условиям жизни, расплодилось такое множество лягушек,

⁵³ См. сборник рассказов Н. Никандрова «Лес». Подобное определение он дал в письме Н. С. Клестову-Ангарскому от 28 июня 1917 г., написав о «лесистости людей и событий». (ОР РГБ. Ф. 9. Карт. 2. Ед. хр. 72).

⁵⁴ РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 1. Ед. хр. 5. Письмо от 5 марта 1916 г.

что иной раз казалось, что не человек здесь оседлый полно-властный хозяин, а именно они, лягушки». Прежде, при купце Андросове, рыбы отлавливали так много, что, чтоб не сбить цену да не отдать конкуренту, частью закапывали в ямы-могильники. Теперь рыбы нет, зато есть «хорошие условия», хотя со всех сторон поселок окружен болотами, кишачими земноводными, людям уже практически нет мета... Так, если в очерке «Печора» социализм появлялся из «тьмы лесов, из топи блат», то в «Зеленых лягушках» он сам эту «топь блат» порождает.

Очевиден резкий сдвиг в мировосприятии и художественной манере писателя, обусловленный временем. К середине 30-х годов окончательно сформировались и закрепились основы государственно-хозяйственного механизма. Возникли стереотипные ситуации, определенная типология отношений, сформировался догматический набор понятий, которым было суждено просуществовать десятилетия. Поэтому объектом сатиры в рассказе становится не отдельная личность и не какая-то глобальная тенденция (тенденции давно превратились в господствующие направления), а характерные черты панорамы осуществленной мечты: медленная гибель природы, превращение человека в производственную единицу, диктат центра, иницирующего абсурдные идеи, которые мгновенно подхватываются и тиражируются вопреки здравому смыслу и целесообразности.

Несмотря на кажущийся натурализм и бытовизм, творчество Никандрова в основе своей социологично и философично. Пожалуй, это наиболее ценное, что есть в его произведениях, ведь порою его повести и рассказы в отношении художественной отделки производят впечатление недостаточно обработанного сырого материала. Как если бы у скульптора созрел замысел, он взялся бы за работу, и вот уже из каменной глыбы прорступили желанные черты, но... тут ему сделалось скучно, к тому же зорким глазом он увидел, что там пережал, там недодержал, — и он взял и бросил.

Проза Никандрова отмечена множественностью бытовых деталей. Среди них встречаются яркие, выразительные, например, бутылочка на веревочной петельке для растительного масла профессора Серебрякова, вечно пустая, волюющая об униженном положении просителя, несовместимом с интеллектуальным потенциалом его личности. Введение подобных деталей оправдано характером изображаемой действительности, где люди

опрокинуты в быт. Однако местами они все же кажутся избыточными, утяжеляющими повествование.

Писатель часто прибегает к гиперболе — правда, не всегда с одинаковым успехом. Многие гиперболы носят количественный характер, то есть создаются за счет неоднократного повторения уже прописанных ситуаций, рождая ощущение неоправданной затянутости. Эта особенность приводила порой к тому, что произведения Никандрова воспринимали буквально, прямолинейно, не чувствуя иронии, не видя подтекста.

Все это, однако, не умаляет значения писателя как интересно, глубоко осмыслявшего жизнь человека, как современника событий, ставших историей, до конца еще не познанной и не понятой нами.

М. В. Михайлова, Е. В. Красикова

ПРОФЕССОР СЕРЕБРЯКОВ

Повесть



I

Уже и гражданская война в России давно закончилась, и советская власть утвердилась во всей стране, и повсюду возвещался мирный созидательный труд, а известный русский ученый, историк права, профессор Серебряков, волнами Октябрьской революции отброшенный в далекий провинциальный городок Минаев, все никак не мог выбраться оттуда и вернуться в свой Петербург.

Для жителей Минаева, переименованного после Октябрьской революции в Красный Минаев, пребывание среди них столь выдающегося человека было в высшей степени лестно. Для них это являлось тоже своего рода завоеванием Октябрьской революции; не случись в России Октябрьской революции, не видать бы никогда красным минаевцам и живого профессора.

До этого времени красные минаевцы знали о существовании на земле профессоров только по рассказам студентов, приезжавших домой на каникулы, да по старорежимным календарям с картинками, где наряду с портретами государей, министров, епископов, а также людей, благодаря воздержанному образу жизни проживших свыше ста лет, попадались иногда и портреты профессоров, обогативших чем-либо науку.

Поэтому естественно, что при своем появлении в Красном Минаеве профессор Серебряков возбудил к себе в горожанках огромный, небывалый интерес. В первое время за ним по улицам ходили такие толпы народа, взрослых и детей, какие в подобных городах ходят только за военным оркестром.

Толпа, сопровождавшая профессора, виднелась еще издали. Черным, шевелящимся, меняющим свои очертания пятном она неторопливо двигалась из улицы в улицу, из переулка в переулок, вбирала в себя по пути новых любопытных, росла в объеме и сперва запружала собой один тротуар, а потом захватывала и часть мостовой. И во главе этой толпы, как пастырь среди паствы, смущенно шествовала очень примечательная своей неожиданной внешностью фигура профессора.

На вид ему давали в толпе лет пятьдесят. Он был бледен, одутловат, как бы нездоров, с выпученными круглыми глазами, с суровым, лобастым простым русским лицом, с мужицкой, закрывавшей всю грудь пружинистой бородой темно-бурого цвета и с такими же беспорядочно разросшимися волосами на широкой голове. На нем был странный по своей скудости наряд: походное, военного образца, защитного цвета непромокаемое пальто до земли, такая же защитная, только суконная, низкая, круглая шапочка арестантского фасона, слишком маленькая, целиком утопающая в копне волос, и когда-то модные, теперь худые, покоробленные, с задравшимися носками, на кривых каблуках нечищенные штиблеты.

И пока как следует не разглядели особенного выражения глаз профессора, у всех получалось такое впечатление, что перед ними был самый обыкновенный человек, пожилой мужчина из небогатого класса, мещанин, отец многочисленного семейства, очень похожий — в толпе сразу узнали! — на одного минаевского портного, сколь прекрасно работающего, столь же свирепо и пьющего. Эта-то чисто портновская простота великого человека, его доступность, апостольская бедность, соединенная с какой-то затаенной трагичностью, по-видимому, и привлекали к нему сердца красных минаевцев.

И нервная дрожь, благоговейный трепет, радостный ужас охватывали красных минаевцев, когда они забежали по мостовой впереди профессора и расширенными глазами заглядывали ему в лицо.

— Отец святой! — клубочком вдруг вывертывалась из напирающей толпы одержимая кликушеством простоволосая баба и катилась по мостовой в ноги профессору. — Помилуй нас! Нагрешили мы, окаянные, нагрешили!

— Портной! Наш портной! — растроганно восклицали в то же время в толпе иные мужчины. — Как есть наш портной! Вот интересно!

— Это — да! — то там, то здесь вырывались удовлетворенные отзывы из уст людей степенных, положительных, шаркавших по мостовой сапогами слева и справа от профессора. — Вот это — человек! Побольше бы нам таких!

И зажил профессор в Красном Минаеве.

Значение, которое придавали его личности горожане, с течением времени не только не уменьшалось, но еще увеличивалось.

По-прежнему каждому минаевцу хотелось затащить его к себе на квартиру, поставить самовар, усадить вместе с домашними за стол, угостить, поговорить, чтобы потом до самой смерти было что вспоминать и другим рассказывать, как в этой самой комнате, за этим самым столом сидел и пил чай знаменитый петербургский профессор, портрет которого был вместе с портретом царя в календаре. По-прежнему каждого красного минаевца соблазняло побывать и у профессора на дому, посмотреть, как великие люди живут, какая у них обстановка, что из вещей есть и чего нет, что они едят, пьют, на чем спят. По-прежнему в городе не было человека, который в глубине души не мечтал бы лично познакомиться с профессором, поздороваться с ним за руку, услышать вблизи его голос...

С кем же тогда было в Красном Минаеве и знакомиться, если не со знаменитым ученым, профессором Серебряковым!

Вместе с тем знакомиться с ним считалось делом не совсем безопасным.

Профессор нигде не служил, ничем не торговал, и красным минаевцам это стало казаться подозрительным. И слишком необычным представлялся он им сам, по мере того как они его больше узнавали; и слишком неясны были цели и причины его чересчур долгого пребывания здесь даже для самой красноминаевской власти, которая не переставала вести по этому поводу с центром тревожную, нервную, в высшей степени раздражительную переписку. Кто мог тут понять, кто мог тут поверить, что профессор совершенно случайно, неожиданно для самого себя, избрал Красный Минаев местом для совершения своего очередного научно-литературного подвига, что из этого никому не ведомого городка он рассчитывал в один прекрасный день подарить миру свой новый научно-литературный труд, значительностью содержания превосходящий все его предыдущие труды!

И самая фамилия, которую носил заслуженный профессор, фамилия всем известного историка права, автора многих блестящих научных исследований, которыми по настоящее время пользовались в высших школах в качестве учебных пособий, даже эта фамилия возбуждала в красных минаевцах злоешие подозрения, и вокруг нее без конца создавались нелепейшие, друг друга уничтожающие слухи. Говорили, что у белых за границей сейчас особенно свирепствует генерал Серебряков, родной брат профессора. Говорили, что у красных не так давно на Кубани отличался чекист Серебряков, родной брат профессора. И одни из горожан боялись, как бы из-за слишком близкого знакомства с профессором не пострадать от красных, другие, наоборот, остерегались возможной в будущем за это места со стороны белых. И к высокому почитанию, с которым горожане неизменно относились к профессору, примешалось чувство самого низменного шкурного страха. И уже ни один из горожан не водил с профессором сколько-нибудь явной и постоянной компании, и повелось так, что свидания с ним жителей происходили большею частью тайно, ночью, и притом не больше чем по одному или по два раза в год на одну семью. Если же профессор по собственному почину пытался проникнуть в иную семью лишней раз, то там или оказывались наглухо запертыми двери, или внезапно переставал действовать звонок, или, чаще всего, никого из хозяев не оказывалось дома.

И жизнь профессора протекала в Красном Минаеве в большом и грустном уединении. И это в нем особенно нравилось жителям и еще больше поднимало его в их глазах. Профессор, если он только действительно профессор, таким и должен быть: одиноким, печальным, загадочным, погруженным в высокие материи.

— Приходите-ка к нам сегодня вечером чайку попить: будет профессор! — шепотком на ушко пригласил один красный минаевец другого.

— Ну? — приятно удивлялся тот, но тотчас же, словно почуяв возле себя ловушку, по-птичьему округлял глаза, вытягивал шею и спрашивал: — А кто еще будет? Такого никого не будет?

— Нет, нет, — поспешно успокаивали его. — Такого никого не будет! Мы сами этого очень боимся! И разговаривать за чаем можно будет свободно!

Приходил день, и те же, под страшным секретом, хвалились каждому на ушко:

— Ага! У нас вчера вечером был профессор!

— Ну? — завистливо моргали глазами им в ответ. — Профессор?

— Да, профессор. Только вы смотрите, об этом по городу очень не распространяйтесь.

— О, обо мне-то не беспокойтесь, на меня-то можно положить, я-то никому не скажу. Ну и как? Ну и что же? Хорошо провели время с профессором?

— Ого, еще как! Почти всю ночь просидели! Профессор вообще против спиртных напитков, а вчера у нас здорово клюкнул. Захмелел, обнял спинку кресла и плачет. Я спрашиваю: «Профессор, отчего же вы плачете?» Он всхлипывает: «Россию жа-аль...»

— Ну-у? Так и сказал? О, это замечательно! Какая сила! Какая это огромная, доподлинно русская сила!

II

В нижней сорочке, с бледным, обросшим лицом отшельника, с глядящими вглубь глазами мудреца, энтузиаст-ученый Серебряков сидел за столом против единственного окна в своей маленькой комнате и упрямо и сурово писал.

Комната была пуста, без мебели, без намеков на убранство и уют, с четырьмя голыми стенами, и профессор, когда работал в этом нежилом помещении, выглядел забежавшим сюда случайно, как бы записать наспех два-три слова.

В углах комнаты, как треугольные полочки этажерки, множеством ярусов висела черная паутина. На потолке и стенах серыми переливчатыми тенями лежала пыль. На неподметаемых полах всюду виднелась истоптанная, в следах человеческих ног, как на улице, земля...

Забрызганное, в пятнах, кляксах, разводах, матовое окно выходило не на улицу, не на двор, а на крытую длинную стеклянную галерею и освещало только подоконник, стол, белые листы бумаги, раскрытые страницы книги, лицо профессора, его шоколадно-бурые волосы, отсвечивающие на кончиках красным, с сединой на висках. А дальше, за спиной профессора, в глубине комнаты, царил вечный полумрак, скрывающий и дальнюю стену комнаты, и стоящую возле нее койку, и наваленный под койкой на полу кое-какой домашний скарб.

Слева и справа от стола, в обоих передних углах комнаты, прямо на полу, высокими колоннами лежали одна на другой

книги. Это была единственная роскошь, единственное богатство профессора. Как ученому, как специалисту, ему нравились то оживление, тот коренной пересмотр, та война мнений, которую внесла Октябрьская революция в застоявшуюся науку о праве. И книг по этому вопросу имелось у него много. Книги были исключительно новые, свежие, полученные прямо из Москвы. На корешках иных из них можно было прочесть названия: «Основы Советской Конституции», «Старое и новое право», «Марксистское понимание права», «Фетишизм права буржуазной юриспруденции», «Иллюзорность права римских юристов», «Буржуазность "естественного" и "разумного" права», «Право как надстройка над существующей экономической структурой», «Право как диктатура господствующего класса», «Нужно ли пролетариату право?»...

Мимо окна, по галерее, по дощатому полу, беспрестанно проходили и пробегали в одну и другую сторону жильцы соседних квартир, мужчины, женщины, дети. И в комнату профессора доносился топот их ног, говор их голосов. А когда в смежной квартире какие-то варвары хлопали дверью, в комнате профессора все сотрясилось, как от пушечного выстрела.

— На двор! — с торжествующими криками, бомбами вылетали с утра из дому детишки квартирной хозяйки профессора. — На двор! — ржали они, один за другим выносясь из квартиры на стеклянную галерею, как выпущенные на свободу жеребята. — На двор-р-р!

И профессор невольно оторвал свое серьезное, охваченное фанатичной мыслью лицо от бумаги и красными от долгой работы глазами посмотрел из сумрака комнаты на далекий утренний солнечный свет. За стеклами окна и галереи на дворе стояла великолепная майская погода. Все, что ни попадалось на глаза, было по-весеннему чистое, свежее, яркое, так и благоухающее, на вид точно умытое хорошим туалетным мылом: и голубое небо, и белые, как на картинках, облачка, и золотое, уже начинающее припекать солнце, и дома, и деревья, и кошки. Внизу, на земле, без умолку стрекотали звонкие, старяющиеся друг друга перекричать голоса счастливых детей; вверху, в воздушном небесном просторе, им отвечал такой же неистовый, беззаветно ликующий, точно скользящий по стеклу, массовый свист стрижей.

Мысленно, издалека, профессор упивался воображаемым и соблазнительным майским воздухом, вероятно после зимы впервые вкусно пахнущим нагретой землей; но встать

и выйти из дому на улицу он не мог. Крепко держала, не отпускала работа! Жаль было отрываться от увлекательного затягивающего труда. Невозможно было ни минуты оставаться вне его возвышающей атмосферы. Профессора кроме того вечно томило опасение, хватит ли его века закончить задуманный труд. И приходилось дорожить каждой минутой своей жизни. Другое дело, когда он доведет работу до конца. Тогда он отдохнет, тогда он погуляет. Тогда он будет бродить по городу, за городом, будет вольно размышлять, спокойно прочитывать свежую специальную литературу, пока наконец его мозг не зажжется новой идеей, столь же захватывающей как и эта.

— Катька! — кричала на детей квартирная хозяйка за дверью в обеденный час. — Я кому говорю: ешь! Танька, я кому говорю: ешь!

И профессор с холодной улыбкой философа припомнил, что когда-то и он, воспитанник такой же заботливой матери, тоже считал обед делом великой важности для себя. Какое это было заблуждение! Теперь тут, в Красном Минаеве, обед является для него поистине редким событием, и это как нельзя лучше отражается на его умственной трудоспособности. По мере того как под влиянием жестокой материальной нужды его тело освобождалось в этом городке от лишнего груза, мысль его становилась все легче, подвижнее, гибче, острее, язык делался четче, крепче, памяти вернулась былая юношеская свежесть. Теперь ему доступны те глубины, видны те дали, которые раньше были от него, как и от всех массовых людей, безнадежно сокрыты. Бедные люди, жалкие люди! В большинстве, и притом подавляющем большинстве, они так и умирают, ни разу в жизни не поднявшись ни на вершок из своего скотского состояния, ни минуты не побыв человеком, духовным существом! И в этом немало повинна их закостенелая верность «обедам». «Обеды»! Они всегда, всю жизнь, как теперь оказывается, были для профессора обузой, путами, тормозом, свинцовым обязательством. Сколько благих намерений так и остались у него намерениями, сколько превосходных идей были навсегда брошены им при самом их возникновении, и порой все только из-за этих ужасных, губительных для человека трех слов: «пора... идти... обедать!»

И профессору было волнующе-отрадно знать, что теперь здесь его никто не позовет идти «обедать». Тут он может работать столько, сколько хочет, и тогда, когда хочет.

Через каждые два-три часа ступни ног профессора неизменно стыли, коченели, делались как две негнушиеся ледыш-

ки. Тогда он вставал и, не обрывая нити своих мыслей, с широкой, лобастой, пучеглазой, в мрачных космах, мужицкой головой и с узким, неразвитым, интеллигентским телом, кривым слева направо и сзади наперед, принимался делать комнатную гимнастику, приседал, скрипя суставами, на корточки, поднимался на носки, выбрасывал хрустящие руки, ноги, разгонял в жилах кровь, разогревал конечности...

Поднимаясь теперь после одного из таких приседаний, он вдруг покачнулся, с трудом удержал равновесие, едва добрался до койки, упал с закрытыми глазами ничком на постель, потерял сознание...

В точности он не знал, через сколько времени он очнулся, как в точности он не знал и того, что с ним, собственно, было: обморок, головокружение? В последнее время такие явления происходили с ним часто, почти ежедневно, и они всегда приносили ему глубокое освежение всего организма, как крепкий, своевременный сон.

Придя в себя, он с новыми силами принялся за работу.

— Танька, спать! — распоряжалась хозяйка за дверью вечером, в темноте. — Катька, спать!

И через четверть часа, когда вся семья за стеной улеглась, заснула, засопела, на душу профессора дохнуло прелестью глубокой ночной тишины и его коротко ущипнул соблазн хорошего, эгоистического, здорового, животного сна. Но отдавать сну такие превосходные для работы часы было бы непростительным безрассудством. Да и вряд ли он смог бы без прогулки заснуть. Заснуть по-настоящему он сможет только тогда, только в тот день, когда убедится, что ему наконец удалось благополучно перевалить через самое трудное место работы.

Однако в лампе очень скоро догорел керосин, запасов керосина не было, и профессор поневоле, со стоном отчаяния бросил перо.

Он встал, потянулся, засунул руки в карманы брюк, остро насупился и зашагал взад-вперед в темной комнате. Будь у него фунта два керосина, его работа была бы спасена. А теперь ничего неизвестно...

Профессор нервно ходил из угла в угол по комнате, а его мысль продолжало работать, пробивалась дальше, властно увлекала его за собой. Вот он, с одухотворенным лицом, подбежал к столу, зажег спичку и при ее быстро угасающем свете записал несколько важных слов. Через несколько минут он записал еще, потом еще, и так он бегал и писал, пока не

израсходовал все спички. Но мозг не успокаивался, в голове рождались все новые мысли, исключительно веские, нужные, которых он так жаждал днем, и профессор несколько раз схватывал карандаш и крупными каракулями рисовал в полной тьме обрывки слов, начатки фраз. Потом, завтра, при свете дня, он разберется в этом богатстве, просеет его, проработает, разовьет...

Наконец, утомившись кружить по комнате, профессор нащупал в темноте койку, подушку и не раздеваясь прилег. Приятно было лежать, дремать при абсолютной тишине вокруг, мечтать о грандиозности, о мировом значении своей работы...

Когда вдруг он услышал знакомый шорох в окне, сердце его болезненно сжалось, он вскочил, сел на краю постели, круглыми глазами на полуосвещенном лице уставился из тьмы на серый прямоугольник окна. За окном темнел силуэт закутанной человеческой фигуры, не то женский, не то мужской; силуэт настороженно осмотрелся, прислушался, высоко занес, как факир, руку в хитоне, открыл форточку, ткнул вовнутрь комнаты какой-то небольшой предмет и, как дух, мгновенно оторвался от окна, точно на крыльях ринулся со скалы в пропасть. В тот же момент послышалось, как оставленный им предмет мягко шлепнулся на подоконник.

Профессор, казалось, этого давно ожидал.

— А-а... — вырвался из его груди победный, странно-дикий, торжествующий стон.

В несколько прыжков он очутился возле окна, цепко схватил двумя руками упавший на подоконник сверток, в секунду развернул его, нащупал в нем два толстых, упругих, теплых, судя по аромату, чисто пшеничных блина и, ослабев от волнения, опустился на стул...

И всегда, почти ежедневно, едва темнело и представлялось возможным пройти по улице неузнанным, кто-нибудь из горожан, с закутанным лицом, как в маске на маскараде, подкрадывался к окну знаменитого ученого и бросал ему в форточку что-нибудь из съестного. И профессор постепенно привык принимать эти ночные дары от неизвестных легко, просто, не задумываясь. Разве он не заслуживает этих крох? Разве он их не отработывает? Но район Красного Минаева еще не успел оправиться от последствий голода прошлого года, как уже предсказывали в настоящем году новый неурожай, и профессору приносили продуктов все меньше и реже, и уже случались жуткие дни, когда у него по целым суткам ничего не бывало во рту...

Спустя несколько минут о подоконник тупо стукнуло за-
вернутое в бумагу квашеное яблоко, потом туда же упало два
кусочка колотого сахара...

Согнувшись, профессор сидел на краю постели и, в такт
работающим челюстям мотая сверху вниз головой, маленьки-
ми экономными кусочками с нечеловеческим аппетитом жевал
блины. Блины были удивительные, жирные-жирные, утопающие в
горчичном масле, повизгивающие на зубах, после каждого укуса
сильно отдающие свежими пшеничными отрубями, словно только
что взятыми с мельницы. Потом с таким же невероятным аппе-
титом и так же по-собачьи покачивая во время еды головой —
казалось, даже рыча, — профессор грыз антоновское яблоко.

Это и составляло его красноминаевский «обед».

Очевидно, сегодня больше ждоть было нечего, он в после-
дний раз посмотрел на дароносную форточку и, согласно своему
обычаю гулять перед сном, надел непромокаемое пальто, круг-
ленькую шапочку, сунул в карман ключ и тихонько вышел из дому.

На улице было светлее, чем в комнате.

Весь город уже спал.

Профессор, с наслаждением розминая каждый суставчик
засидевшихся ног, шел по своей улице один.

Шаги его гулко отдавались в тишине ночи. Иногда им где-
то отвечало эхо.

III

— Виноват! — минут через пять окликнули его с противо-
положной стороны улицы и, переходя через дорогу, повтори-
ли: — Виноват!

Серебряков остановился.

К нему подошел представительный, высокого роста мужчи-
на, по-дорожному одетый, с маленьким саквояжиком в одной
руке, с портфелем — в другой.

— Больше часа путаюсь тут, — растерянно пожаловался
незнакомец. — Скажите, это Гончарная улица?

— Да, эта, — ответил профессор, приглядываясь к незна-
комцу, в котором он сразу узнал приезжего.

— А вы не знаете, где у вас тут дом № 23? Такая темень,
ни одного фонаря!

— Как же, знаю. Это по этой же стороне улицы, только
немного дальше. Как раз я в № 23 живу.

— А, вот хорошо. Вы жильцов своего дома всех знаете?
— Нет. Где там.
— А может быть, случайно слышали: в вашем доме не живет профессор Серебряков? Есть такой крупный русский ученый...
— Живет. Знаю. А вам он зачем?
— Разве вы его лично знаете? — обрадовался приезжий.
— Еще бы не знать, — улыбнулся профессор, — когда я и есть Серебряков.
— Вы — профессор Серебряков?! Вот так встреча! Вот так случай! Ну и случай! Очень приятно, очень приятно!
Приезжий пришел в восторг.
— Позвольте представиться, — сказал он, назвал свою фамилию и пожал профессору руку. — Разрешите к вам сейчас на минутку зайти? Я привез вам из центра важную бумагу.
— Пожалуйста, — сказал профессор.
И они повернули обратно.
— Такую бумагу, такую бумагу! — смаковал губами и делал пальцами жесты приезжий. — Вы только меня извините, пожалуйста, что я в такой поздний час вас беспокою. Но иначе я не могу: я в Красном Минаеве от поезда до поезда. Сдам вам под расписку бумагу и обратно пойду на вокзал.
— А какую такую бумагу? — уже не в первый раз спрашивал весьма озадаченный профессор.
— Замечательную бумагу!
— Но какую именно?
— А вот когда придем и я вам вручу ее при свете, тогда узнаете какую.
Было видно, таким способом незнакомец надеялся произвести на ученого более сильное впечатление.
— Когда узнали, что я буду проезжать через Красный Минаев, мне и вручили эту бумагу для передачи вам лично.
— Интересно все-таки, что за бумага, — улыбнулся профессор упрямству приезжего.
А тот и сам спешил порадовать профессора, подергивался, разглагольствовал, хихикал и ускорял шаги так, что ученый едва за ним успевал.
По дороге незнакомец между прочим сообщил отрывками кое-что о себе.
— ...Сам я служу в губсоюзе... Нынче только в губсоюзе и можно служить: все-таки и жалованье, и натура, и вообще... Стараюсь всегда находиться в дороге, потому что тогда мне

хорошо командировочные идут... Вечно треплюсь, никогда не сажу дома, на Пасху, на Рождество и то летаю по свету: пошлю откуда-нибудь семье окорок, гуся, копченых языков или еще чего там, этим и ограничусь... Вроде вместо себя. Детей жаль, у меня все мальчишки, уже стали меня забывать и растут почти что без присмотра, без отца, с одной матерью, а разве женщина может влиять?.. Зато в общем хорошие деньги выгоняю и могу через несколько годиков выровняться...

Переполошили квартирохозяйку. Она подумала, что пришли с обыском, с арестом, от страха оглохла и потеряла способность речи.

Спросили у нее лампочку.

— Лампочку, лампочку, лампочку дайте! — стояли в ее комнате оба мужчины и кричали ей в оба уха, один в одно, другой в другое.

Она, толстая простолюдинка, с диким ужасом уставилась вытаращенными глазами на портфель гостя и долго не понимала, чего от нее требуют.

Наконец гость догадался, с веселым смехом сам взял лампочку и вошел с профессором в его комнату.

Здесь еще резче бросилось в глаза нетерпение гостя поразить профессора приятным для него сюрпризом. Отыскивая в портфеле драгоценный документ, он нервно выгреб оттуда на стол кучу других документов, мелкие деньги, мыло, зубную щетку, полотенце, жареного цыпленка, вывалившегося с головы до ног в сахарном песке...

— Ее прислали бы вам по почте, — словно нарочно подогревал он и без того громадное любопытство профессора, — но ей там придают слишком большое значение, слишком большое... Вот! — наконец воскликнул он, просиял и развернул перед собой лист исписанной бумаги, с большой фиолетовой печатью, с рядом размашистых красных подписей. Профессор протянул задрожавшую руку к бумаге. Но гость бумагу не давал. Он зажал ее в своей руке еще крепче, стал в позу, перегнул назад корпус, вскинул голову, потом схватил руку профессора и принялся отчаянно трясти ее в своей.

— Поздравляю вас! — произнес он при этом. — Поздравляю вас! — повторил он еще громче, еще истеричнее. — Я очень рад! Я очень рад за вас! Вы не поверите мне, как я рад! Все-таки ваше имя...

Профессор кое-как вырвал из рук у гостя бумагу и поднес ее к лампочке.

Гость всем лицом, готовым разорваться от распирающего его восторга, следил за выражением глаз профессора.

Профессор бегло прочитывал содержание бумаги.

Бумага носила очень внушительное, волнующе-старинное название: «Охранная Грамота».

И на профессора почему-то мощно дохнуло глубинами истории.

Содержание бумаги сразу так захватило его, что он не слышал, что ему говорил экзальтированный гость, не чувствовал, как тот тормошит его за плечо, не видел, как того корчило от восторга.

— Такая бумага! — вскидывал вверх свое лицо гость. — Такие подписи!

«Настоящая Грамота выдана профессору Степану Матвеевичу Серебрякову в том, что он, профессор С. М. Серебряков, состоит под покровительством Советской Власти, органам которой предлагается оказывать ему всяческое содействие».

Далее стилем присяги перечислялись по пунктам все те особые права и привилегии, которыми располагал в Республике Советов профессор.

— Я уже тут на вокзале кой от кого слышал, что вам живется в Красном Минаеве не очень сладко, — говорил приезжий, прощаясь и рассыпаясь в пожеланиях. — А теперь-то вам будет хорошо! Теперь-то конечно! Вы и за старое время с них потретье! Еще бы! Такое счастье! Да я бы тут с этой бумагой...

Когда приезжий наконец ушел, профессор остался в своей комнате один.

Только теперь он считал возможным как следует разобрататься в том, что произошло.

Он не выпускал полученную бумагу из рук.

Раз за разом перечитывал он ее от начала до конца и не верил тому, что читал, не верил тому, что это не сон, а действительность. Как будто внезапно он перенесся на другую планету! Неужели все изложенное в этом документе относится именно к нему? А если тут какая-нибудь ошибка? Случается, среди глубокой ночи, в полутемной тюремной камере, будят бессрочно заключенного и объявляют ему, что он свободен; тот шалеет, не верит, не хочет идти, его убеждают, он наконец и сам убеждается, начинает собирать вещи, в это время приходят из тюремной конторы, улыбаются и говорят, что произошла ошибка: освобождается не он, а его однофамилец, ему же действительно сидеть тут без срока. Так и в данном случае, мало

ли на Руси профессоров Серебряковых? Был в Киеве один, был в Казани...

Профессор, трепеща, проверил на пакете свое имя, отчество, фамилию, адрес. Все было написано до таких мелочей правильно, что в душе профессора больше не могло оставаться сомнений: бумага предназначена только ему.

Тогда, сидя за столом над бумагой, он крепко закрыл глаза. Ему необходимо было ничего не видеть, ничего не слышать, отрешиться от всего и хорошенько подумать, что же это такое...

Где-то, очень далеко отсюда, в центре, вероятно, в громадном, многоэтажном, вековом, бывшем казенном здании, с лифтами, телефонами, радиотелеграфами, курьерами, барышнями, коммандантами, при ярком неугасающем свете электричества, за множеством столов, в разных комнатах, сидят вдохновенные люди, пишут во все концы Республики бумаги, самоотверженно хлопочут об идеальном устройстве колоссальнейшей в мире страны. И что же? Ниточка их забот дотянулась даже сюда, на такое громадное расстояние, в такую глушь, в Красный Минаев, и специально ради одного человека, ради него, профессора Серебрякова! Оказывается, его там знают, о нем там помнят. В двенадцати пунктах «Грамоты» до мельчайших деталей угадали все его нужды, как будто прочитали у него в душе. Это ли не чудо? И профессору показалось, что он что-то такое проспал, пропустил, недоглядел. Во всяком случае, в его жизни теперь начинается новая полоса, хотя, правда, еще не совсем ясная. Но для него уже совершенно ясно одно: он спасен, он избавлен от непосильных тягот подвижничества. И главное, спасена его наука, его работа, гуманность, культура вообще...

Чувство благодарности переполняло грудь профессора, он раскрыл глаза, хотел перебороть себя, наморщился, закусил губы, с великим трудом подавил в себе крик, застонал и заплакал.

Напрасно он зажимал руками рот; напрасно пробовал он и ходить, и лежать, и опять сидеть; напрасно зывал к своему разуму, к чувству мужества: слезы лились из его глаз и лились. Вместе с тем откуда-то, из самых корней его существа, вставало небывалое облегчение: с замученных плеч ощутительно спадала тяжкая ноша последних лет.

— Лампочку тогда сами погасите? — закричала из-за дверей сонным голосом хозяйка и, зевая, с подвываньем, все тоньше и тоньше пропела: — А то керосин-то, он того-о-о!

IV

Еще в самом начале профессор остановил свое особенное внимание на пункте шестом «Грамоты»:

«Независимо от занимаемой должности, он, профессор С. М. Серебряков, имеет право на получение академического пайка, в размере санаторного, с правом замены одного продукта другим, по месту своего пребывания».

Доктор, по всей вероятности, прав: те учащающиеся обмороки происходят у него от крайнего истощения организма. Ему необходимо самым срочным образом улучшить питание, иначе он скоро вовсе не сможет работать и окончательно свалится.

И на другой день после получения «Грамоты», ранним утром, профессор, вместо обычной работы, мастерил из старого тряпья мешочки для муки, круп, сахару, соли; аккуратно привязывал к пустой, чисто вымытой бутылке для постного масла веревочную петельку, чтобы удобнее было нести, выдирали из старой книги пачку страниц для коровьего масла, для солонины, для повидлы...

И около десяти часов он уже шел получать свой академический паек. В одной руке он нес пачку связанных вместе мешочков, в другой, на пальце, на веревочной петельке, болтающуюся бутылку.

Прогулка по теплomu летнему воздуху, да еще утром, показалась ему редким, давно не испытанным счастьем. Точно молодость снова вернулась к нему. И чтобы продлить это удовольствие, он старался идти не спеша, делал глубокие выдыхания, приводил в движение все мышцы. Этот вынужденный перерыв в работе, без сомнения, пойдет ему на пользу. Нельзя так вымучивать себя. Правда, прежде он иначе не мог работать: он должен был нервничать, торопиться, бояться за свою работу, потому что, не будучи материально обеспечен, он не имел гарантий, что у него хватит чисто физических сил на окончание работы. Зато теперь, когда он материально устроен, он может отнестись к своей работе много спокойнее, и качество работы от этого, конечно, выиграет.

У профессора вдруг остановилось сердце. Он похолодел, согнулся, стал среди дороги и с испуганным лицом полез прыгающей от волнения рукой во внутренний карман своего жесткого непромокаемого пальто: не потерял ли «Грамоту»? Колени его подкашивались, локти дрожали.

Испуг оказался напрасным: «Грамота» была на месте.

Он тяжело-успокоенно вздохнул и пошел дальше. И потом, в продолжение всего пути, его сердце еще два раза пронизывал такой же страх, и оба раза он останавливался и прощупывал рукой «Грамоту».

Мысль о «Грамоте» ни на минуту не покидала его. Вместе с тем все время жило в душе и хорошее теплое чувство к авторам этого замечательного документа. Вообще советская власть, по его мнению, гораздо лучше, несравненно лучше, чем о ней думают красные минаевцы. Она делает все, что надо, только делает это, правда, не сразу. Но разве сразу все сделаешь? Вот, например, уже и до него добрались и им занялись...

Тут, в этом месте своих размышлений, профессор вдруг поймал себя на фальши.

Откуда у него такая внезапная перемена во взглядах? Ему бросили кусок — и дрогнули, заколебались его политические взгляды... Сразу позабыто им и прощено то, чего он до сих пор не мог забыть и простить... Что же его абсолютные моральные критерии? Поколеблены они в нем или остаются неизблемыми? Предстоящее ему сегодня получение академического пайка — что это? Сделка с совестью, компромисс или же нет? Честно или нечестно получать от правительства паяк? Он научный работник в прошлом, научный работник в настоящем, научный работник в будущем; его научными исследованиями пользовались, пользуются и будут пользоваться при занятиях в высших школах. Неужели при таких данных он не имеет морального права на материальную поддержку со стороны правительства Республики? Не для правительства же он работает, не продается же он правительству...

Однако как ни ломал голову над этими вопросами Серебряков, как он ни рассуждал, ни изворачивался, чувство неискренности перед самим собой не оставляло его. Приходилось почти что сознаваться самому себе, что материальная помощь власти в одно мгновение смягчила его отношение к ней. Мгновенно!

Что же это такое? Он это или не он? Профессор Серебряков это или не профессор Серебряков? До сих пор он привык думать, что подобные сдвиги во взглядах возможны только у других людей, у людей меньшего калибра, чем он. Какое неприятное, какое позорящее человека открытие... Какая обязательная зависимость души от желудка... Во всяком случае, в первое же свободное время над этим вопросом он специально подумает, найдет какую-то грань. Октябрьская революция сотрясла до

основания самую природу человека; вдоль и поперек расщепила ее; разверзла и показала миру самые скрытые ее недра...

Был одиннадцатый час утра, время начала занятий в советских учреждениях. И профессор спохватился: куда же он идет за получением продуктов, в какое, собственно, учреждение?

В нерешительности он осмотрелся, стал перебирать в памяти все советские учреждения, потом достал из кармана «Грамоту», справился, нет ли там указания, от кого именно ему надлежит получать академический паек. Но в «Грамоте» на этот счет ничего не было сказано, и он решил зайти в любое имеющее отношение к продовольствию учреждение.

Там ему обо всем подробно расскажут. Главное, иметь такую бумагу, а где по ней получать — найти можно.

И он направился прямо к комиссару продовольствия.

Там ахнут, когда увидят, какая у него бумага, с какими подписями, когда узнают, какое он влиятельное лицо. Еще, пожалуй, начнут извиняться, заискивать. Но он не заставит их особенно унижаться, он этого не любит, это удел душонок мелких, некультурных, случайно угодивших в начальники. Наверное, они сегодня предложат ему получить и за прежние время, за все прошлые годы. Это составит добрый вагон продуктов, и за этим ему придется явиться в другой раз. Новая забота: как ему удобнее распорядиться со всем этим богатством? Торговля глубоко противна ему, а тут без продажи большей части продуктов не обойтись...

Через несколько минут профессор, с ситцевыми пестрыми мешочками и зеленой бутылкой, уже входил в здание, поднялся по лестнице на второй этаж. Наверху, на входных дверях, был прибит большой печатный плакат: «Каждый по своим способностям; каждому по его потребностям».

Когда он вошел в первую, самую большую, комнату, то увидел там сильно поразившую его картину. Перед ним, за барьером, было подобие швальни: наполняя всю комнату, правильными рядами сидели за маленькими столиками барышни, в завитушках, с пудрой на спинках носиков, и наперебой проворно стучали топкими пальчиками по клавишам пишущих машинок. Из всех других, дальних, комнат то и дело, плавно и немного накренясь, как на коньках, выбегали безусые молодые люди с прическами, и одни из них подбрасывали барышням новую работу, другие подхватывали готовое. Фабрика работала полным ходом. Как мириады кузнечиков над знойной степью, сухим треском трещали и трещали на своих стальных инстру-

ментах ловкие, как инструменты, барышни. В то же время все проходы у стен были тесно забиты разного рода просителями.

— Извиняюсь, — наклонился профессор через барьер к одной из машинисток, — как я могу попасть к упродкому?

— Идите в ту дверь под часами, а дальше вам укажут, — сказала барышня, не отрывая загнипнотизированных глаз от работы и продолжая автоматически бить пальцами по клавишам машинки, уже и сама как бы обращенная в машинку.

Осторожно пробравшись сквозь ряды машинисток, профессор прошел в следующую комнату, маленькую. Там, за столом, окруженный полукруглой стеной посетителей, сидел всего один человек, быстрый, сухой, весь в морщинках — очевидно, уже пожилой, однако остриженный, как молодой, ежиком.

— Вам кого? — сразу поднял он лицо на профессора, узнав его.

— Мне к комиссару, — сказал профессор.

— Как о вас доложить?

— Скажите, профессор Серебряков.

— По какому делу?

— По делу об академическом пайке.

Секретарь, стройный, с военной выправкой, быстро метнулся в следующую дверь, в кабинет комиссара.

Профессор остался ожидать в комнате секретаря. Сюда же беспрестанно входили и отсюда выходили бесчисленное множество разных лиц, тоже желавших попасть к комиссару.

— Посидите там, — неопределенно указал профессору рукой за дверь секретарь, возвратясь из кабинета комиссара. — Вас тогда вызовут.

И секретаря тотчас же облепили другие посетители, не дав ему дойти до стола. Они лезли на него, как лезут на гору.

Профессор прошел обратно в комнату машинисток и, облокотясь о барьер, стал ожидать вызова. Было душно, жарко, накурено. Клонило ко сну. Стрелки часов над дверями, казалось, не двигались. Задевая профессора, мимо него взад-вперед все время носились самые разнообразные люди, все как один с раскрытыми ртами и с таким взьерошенно-озабоченным видом, точно их поезд с вещами ушел, а они остались на станции. Из разных комнат то и дело вырывался крикливый, разноголоный, спешный говор; обходя все комнаты, кого-то громко и раздельно вызывали по фамилии; за кем-то гнались по коридору, катились по лестнице; в нескольких местах надоедливо звонили телефоны...

— Товарищ Серебряков!

Мешочки и бутылку профессор поспешно положил на пол, возле стены, а сам подобрался и пошел в кабинет комиссара.

V

Комиссар, небольшой, крепкий, неопределенного возраста мужчина, весь наголо выбритый, точно выточенный из кости, в кругленькой тюбетейке из пестрой парчи, сидел за большим письменным столом и писал. Энергия, прямолинейность, определенность так и сквозили в каждом его движении, в каждом взгляде, даже в манере сидеть и писать. Казалось, этот человек не пером пишет по бумаге, а резцом режет по металлу. Недавно он вернулся из Крыма, из дома отдыха для ответственных советских работников, и теперь кожа его лица, шеи, рук, головы была черна от загара, точно смазана йодом.

Работал этот костяной крепыш колоссально много, невероятно быстро. Пока профессор доставал из глубины своего непромокаемого пальто «Охранную Грамоту», он успел сделать несколько разных дел: прочел, исправил и подписал принесенную секретарем бумагу; ответил на телефонную справку из продовольственного склада № 1; отдал по телефону распоряжение заведующему красноминаевской государственной заготовительной конторой... Управляясь с текущей работой, он в то же время не переставал писать большой, очень важный доклад, с массой цифр, выкладок, таблиц.

— Ну? — скорее ласково, чем грубо, обратился он в сторону профессора, присутствие которого он чувствовал по тени на столе.

— Я к вам насчет академического пайка, — сказал профессор невольно утоньшенным голосом, точно пропускаемым сквозь тесную трубочку. — Вот «Грамота».

— Кому паяк? Какая «Грамота»? — продолжая работать, спокойно, с выдержкой, но круто спрашивал комиссар.

— Мне паяк. «Охранная Грамота».

— Кому «мне»?

— Профессору Серебрякову.

— Я спрашиваю, какому учреждению?

— Лично мне.

— Личных пайков мы не выдаем.

Атмосфера в кабинете комиссара, как и во всем здании, была до крайности нервная, спешная, деловая. Все, что не имело прямого отношения к делу, раздражало, приводило в бешенство. Профессор это чувствовал, тем не менее не утерпел и спросил:

— Как же так?

— А так, — наконец в первый раз поднял комиссар лицо на профессора и заговорил более мягко: — Представьте себе, товарищ, что у меня тут было бы, если бы со всего моего округа каждый человек отдельно для себя приходил ко мне за пайком! Вы меня простите, товарищ, но у меня тут не мелочная лавочка. Кто вас ко мне пропустил?

— Ваш секретарь. И вот «Грамота». — Профессор подвинул по столу «Грамоту».

— Да что «Грамота»? — с сожалеющей миной произнес комиссар, беглым взглядом скользнув по документу.

— Что же мне делать?

— А этого я не могу вам сказать.

— Все-таки вам виднее. Может быть, вы мне что-нибудь посоветуете?

Комиссар резким движением руки схватил «Грамоту» и на этот раз пробежал ее всю.

— Ага, — сказал он. — Здесь сказано: «в размере санаторного». Тогда ходите в куруп, это курортное управление. Или в собес, это социальное обеспечение. Может быть, это там. Я знаю, что там персональные пайки выдают.

— Вот благодарю вас! — сказал профессор, раскланялся, спрятал «Грамоту» и направился к выходу. — Хорошо, что сказали!

— Бутылочку, мешочки! — вернул его секретарь. — Это ваше?

Профессор забрал свои вещи и вышел на улицу. Тут только он почувствовал, какие еще впереди ожидают его трудности! Куда идти? В куруп или в собес? Что ближе?

Пока он разыскал курортное управление, было уже без десяти минут четыре, и все управление сидело и напряженно ожидало, когда пройдут эти десять минут, чтобы сразу, ни на секунду не позже, разлететься по домам. И на вопросы профессора все молча, как немые, указывали ему рукой на стрелку часов. Профессор понял и на другой день явился туда уже с утра. И опять в одной руке у него была пачка пестрых мешочков, в другой болталась на петельке зеленая бутылка для постного масла.

— Мы ведаем всеми курортными помещениями по реке Красной Минаевке, короче сказать, бывшими дачами местных

купцов, — предупредительно и сладко сказал ему делопроизводитель управления, седенький старичок с белыми усами, пожелательными вокруг рта от табаку, очень чистенько, по-старинному одетый, в сюртуке, с глаженной манишкой, манжетами, с лицом и душой многоопытного канцеляриста. — У вас командировочка есть? — ласково сказал он и сухонькой ручкой сделал в воздухе царапающее движение, торопящее профессора достать из кармана документик.

Профессор подал ему «Охранную Грамоту».

— Нет-нет, — улыбнулся старичок. — Вы нам командировочку дайте! А это — что! Без командировки мы не имеем права вас на курорт назначить.

— Да я и не желаю назначения на курорт, — сказал профессор. — Я только хотел бы получать свой ежемесячный академический паек.

— А если не желаете на курорт, — обрадовался старичок и уже, шаркая по столу глазами, приступил к другим очередным делам, — тогда толкнитесь в собес. Это скорей всего там...

— Я и думал туда пройти. Мне уже говорили.

— Конечно, это там.

Отдел социального обеспечения произвел на профессора впечатление учреждения крайне бедного. В громадной комнате, бывшем оптовом магазине, помещалось несколько подразделов, и профессор долго ходил взад-вперед по этому заставленному столами манежу, разыскивая свой подраздел.

— Не к тому столу! — едва он останавливался перед каким-нибудь столом, оглушительно кричали ему со всех сторон, и в спину, и в лицо, и с боков. — Не к тому столу!

Он поворачивался и шел в обратную сторону.

Наконец он нашел нужный ему подраздел.

— Скажите, вы инвалид? — спросил его страшно истощенный молодой человек, у которого на месте левой руки болтался пустой рукав френча.— «Грамота»? Мне нечего смотреть «Грамоту», вы скажите: вы больной?

— Нет... Я ученый.

— Это что! Это нам мало интересно. Вот если бы вы были больной! Достаньте такую бумажку, что вы инвалид или больной, тогда приходите. Все дело в бумажке, без бумажки мы ничего не можем вам сделать. Следующий, кто там?

И, обращаясь к следующему посетителю, однорукий тем же деловым голосом спрашивал:

— Вы инвалид? Вы больной?

Когда профессор вышел из этого помещения на двор, из груди его вырвался тяжелый вздох. Как, однако, все это трудно!

И он почувствовал, что увязал все глубже и глубже.

Там же, во дворе, под столетней акацией, вокруг молодого расторопного малого, по виду лавочника или приказчика, как вокруг святого, дающего исцеления, толпился и дрался костылями, отталкивая друг друга, разный убогий народ: дряхлые старики, глухие старухи, хромые, безрукие, слепые, с обезображенными лицами, в стружьях, перевязках, на костылях. И всем им он бойко и четко давал советы, куда кому толкнуться: тому — туда, другому — туда...

— Вот спасибо! — то и дело раздавались благодарности уходивших, получавших советы. — Дай бог тебе здоровья! Родителям твоим царство небесное!

— А мне! А мне куда! — наседали на него со всех сторон убогие и избличали друг друга: — А у этого дом свой, а он тоже ходит собирает! А этот тоже богатый!

От тесноты, от жары, от спешки малый разопрел, то и дело снимал с головы мужицкий картуз и вытирал платком со лба пот.

Профессор заинтересовался зрелищем и подошел поближе.

— А вам чего, папаша? — сразу заметил его остроглазый малый и окликнул его через головы калек: — Тоже какое-нибудь дело?

Профессор сделал уклончивое движение и улыбнулся.

— Нет, отчего же, папаша, — настаивал малый услужливо. — Здесь совеститься некого!

Сделав выпученно-внушительные глаза, он что-то шепнул в толпе и протиснулся от акации к профессору. Толпа калек молча ему повиновалась, подавляя в себе недовольство.

Серебряков в двух словах рассказал малому о своем деле.

— А-а, — в секунду сообразил тот. — Вы профессор, стало быть, учитель, научаете детей. Тогда вам больше некуда, как в наробраз.

— А не сюда, не в собез, — указал рукой назад, на здание собеза профессор.

— Ни в коем случае! — почти что закричал ротастый малый. — Только в наробраз! Вроде по своей специальности! И там все-таки более гениальные люди сидят! А здесь кто!

И он скривил по адресу собеза жалкую гримасу.

Профессор на другой день шел в отдел народного образования и по пути спрашивал себя, на самом деле почему ему

не пришло в голову сразу пойти в этот отдел? Ведь по существу этот отдел ближе всего к нему!

— Вам надо обратиться к управделами наробраза, к товарищу Модзалевскому, — сказала профессору машинистка из этого отдела.

— А почему не к заведующему? — спросил профессор.

— У нас не заведующий, а заведующая, барышня, товарищ Финк, — объяснила машинистка. — Но к ней очень трудно добиться. У нее в комнате все время комиссии: комиссия за комиссией. И сейчас заседает комиссия. Вчера была комиссия о беспризорных детях, а сегодня о дефективных... Там сейчас у нее много народу: педагоги, врачи, народные судьи, начальник тюрьмы, смотритель арестного дома...

Товарищ Модзалевский, высокий, худощавый, бледный брюнет, с напудренным лицом и черными быстрыми глазами, франтовато одетый, просмотрел заглавные строки «Охранной грамоты», кисло покосился на убогий наряд неряшливого, обросшего волосами профессора, похожего в этот момент на старого деревенского мужика, бросил ему обратно на край стола недочитанную до конца «Грамоту» и, возвращаясь к своим прерванным занятиям, нервно подергивая левой щекой, произнес в стол:

— Сам, сам, сам пусть придет! Почему сам не пришел!

— Я и есть сам, — сжимаясь ответил профессор.

Модзалевский устремил на него серьезный проверяющий взгляд.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал он и указал на стул.

Профессор сел.

— Дайте сюда вашу «Грамоту».

Профессор дал.

Модзалевский углубился в чтение «Грамоты».

— Ого! — засмеялся он завистливо и уткнул палец в пункт шестой. — За что же это вам такие милости?

— Так... вообще... всем писателям и ученым, — пошевелил мохнатыми бровями профессор.

Модзалевский еще раз неприятно засмеялся, схватил «Грамоту», побежал с ней в другой угол комнаты, к заведующему подотделом искусств, и сказал ему:

— Вот хорошо! Товарищ Карамазов, смотрите — значит, и я тоже имею право на получение академического пайка! А я и не знал! Я ведь тоже когда-то подписывал в газетах статьи, и все их хвалили! Вот хорошо! Сейчас же возьмусь за это дело...

— Значит, я могу надеяться получить? — спросил профессор у тов. Модзалевского, когда тот вернулся к своему столу.

— У нас? — спросил тов. Модзалевский и ответил: — Нет. Мы этими делами не занимаемся. У нас учебники, писчебумажные принадлежности, парты, глобусы...

— Но где же я мог бы получать свой паек?

— Ответить вам на этот вопрос я затрудняюсь. Об этом должны знать в советских продорганах. В красноминаевской уездной заготовительной конторе были?

— Нет.

— Напрасно. Туда вы прежде всего должны были пойти.

— Тогда извиняюсь за беспокойство, — встал профессор.

— Пожалуйста, — сказал Модзалевский и, точно подавая корку хлеба, не глядя, хмуро ткнул профессору руку.

«Имея за собой ученые труды в прошлом, разбросанные в разных повременных изданиях...» — тотчас же принялся Модзалевский сочинять бумажку относительно академического пайка для себя.

— Товарищ Модзалевский! — окликали его по делу то с одного соседнего стола, то с другого.

А он ничего не слышал, все писал, изогнувшись в дугу и подергивая всей левой половиной лица: «а также питая сильное влечение к наукам в настоящем...»

VI

Дом, в котором помещалась красноминаевская государственная заготовительная контора, и двор, и часть прилегающей улицы, когда к ним подошел профессор, прежде всего напомнили ему товарную станцию железной дороги в самый разгар грузовых операций.

Тут, на небольшом пространстве, тесня друг друга, сталкиваясь, переплетаясь, во всех направлениях сновали грузовые автомобили, ломовые дроги, пароконные деревенские телеги, легковые экипажи, ручные тачки. Мелькали, двигались, исчезали и вновь возникали лошади, люди, ящики, мешки, бочки. Мешались рев автомобильных гудков, крики погонщиков, брань, свист, смех, запахи муки, постного масла в протекающих бочках, ржавых селедков, прошлогодних преющих яблок; взмахи кнутов, кончики винтовок сопровождающей груз стражи, сигналы воришек, нитье попрошоек, осторожная поступь упитанных

дельцов, быстрый бег с дешевенькими портфелями поджарых советских служащих...

— А при чем же мы тут? — удивленно спросил профессор с заметным польским акцентом помощник заведующего конторой, одетый с иголки, опрятный цветущий мужчина с большими красными оттопыренными ушами и с рыжими, жесткими, очень густыми стоячими волосами. — Если упорядком ничего не мог сделать, то тем более бессильны вам помочь мы. Мы только сторожа. Мы только караулим в наших складах то, что нам поручают. И без наряда мы не можем отпустить ни одного фунта продуктов. Мы отпускаем только по нарядам. Никакие другие документы, кем бы они ни были подписаны, для нас не имеют никакой силы.

У профессора вырвался изнеможенный вздох и утомленно призакрылись веки. Он зевнул в руку, подумал и беспомощно покачал головой.

— Куда же мне еще идти? — ни к кому не обращаясь, спросил он. — Кажется, уже везде был.

— А в исполкоме были? — спросил чистенький поляк.

— Нет. Там не был.

— Вот видите, профессор. Вы ходите по всем отделам исполкома и не идете в самый исполком. Вам надо было сразу пройти в исполком. Каждый отдел знает только то, что касается его отдела, а исполком знает все, что касается всех отделов. Ясно, понятно?

— Это-то верно, — сказал профессор. — Выходит, что я напрасно целых пять дней проходил. Благодарю вас. Вы первый толком это мне рассказали.

Помощник заведующего воодушевился, встал и, разгоряченно жестикулируя, во второй раз рассказал профессору то же самое. Потом, провожая профессора до выходных дверей, еще более возбужденный и предупредительный, он рассказал ему слово в слово то же самое в третий раз. И после каждого раза с приятной улыбкой спрашивал профессора:

— Ясно, понятно?

В результате у профессора разболелась голова. И еще долго потом, когда он шел по улице, шумели у него в ушах докучливые слова вежливого поляка.

Через час профессор блуждал по лестницам, этажам, коридорам, приемным комнатам обширного помещения исполкома. Он сперва думал воспользоваться расклеенными на стенах, окнах и дверях объявлениями, но объявлений было столько, что

ему вскоре пришлось от этого отказаться, и он начал расспрашивать случайных встречаемых, так же, как и он, переходящих от дверей к дверям.

— Вам надо к секретарю исполкома, — наконец сказали ему. — Не в ту дверь, не в ту дверь! Вон надпись на дверях, рядом!

— Вам надо обратиться к дежурному члену исполкома, к тов. Хряпину, — в свою очередь направил его секретарь. — Не в ту, не в ту дверь! В следующую! Вон, видите, надпись висит!

Тов. Хряпин, полный, с толстой шеей, атлетического телосложения мужчина лет сорока, коротко остриженный, в черной, слишком короткой косоворотке, подпоясанной широким ремнем с гимназической бляхой, сидел и, склонясь над столом, дремал над газетой «Красноминаевский коммунар». Висевший у него на боку в порыжелой кожаной кобуре револьвер «наган» красноречиво говорил, что этот человек действительно стоит на страже.

— А вы членом какого-нибудь профсоюза состоите? — поднял он на профессора несоразмерно большой мясистый овал лица, в центре которого были четыре маленькие точки, тесно собранные вместе: два глаза, нос, рот.

— Нет, — сказал профессор.

— Как же это вы так? Теперь нельзя. Теперь каждый должен где-нибудь состоять. Вот вам первый пример: будь бы вы состояли членом какого-нибудь профсоюза, я бы послал вас прямо в упробюро, а сейчас я даже не знаю, куда вас можно послать. Вот и все так: походят-походят, помучаются-помучаются, а потом все-таки записываются в союз. А сразу не хотят записываться!

— Что же мне делать? — спросил профессор.

Тов. Хряпин пожал плечами и сказал:

— Соберитесь все и организуйтесь в союз.

— С кем же я организуюсь в союз, когда в Красном Минаеве профессор я один?

— Это ничего. Как-нибудь устройте. Чтобы был все-таки коллектив. Чтобы я мог с вами разговаривать как с коллективом, а то я сейчас даже не знаю, как с вами разговаривать.

— Но мне никак невозможно обратиться в коллектив, потому что в Красном Минаеве я один!

— Тогда припишитесь к какому-нибудь родственному профсоюзу.

— Например? — спросил профессор. — Я не знаю, какой союз мне ближе...

Тов. Хряпин подумал, подергал бровями и сказал:

— Например, вам очень подходяще было бы записаться во всерабис.

— Но ведь там, я слышал, только деятели театра, цирка...

— Нет. Там всякие есть. Там кого только нет. И все-таки люди где-то значатся, где-то собраны, к какой-то графе отнесены. На лице профессора изобразилось крайнее затруднение.

— Но неужели исполком не может распорядиться о выдаче пайка лично мне, одному человеку, не члену коллектива? — спросил он с утомлением.

Тов. Хряпин ласково улыбнулся, зажмурил свои маленькие глазки на большом округлом лице, поставил в воздухе ногтем вверх указательный палец и сказал:

— Что значит один человек?! — и мягко засмеялся.

Профессор медленно опустил голову, медленно повернулся к тов. Хряпину спиной, медленно пошел к дверям.

Тов. Хряпину, по-видимому, сделалось жаль этого преждевременно состарившегося человека, так похожего на обедневшего деревенского мужика, и он, чтобы сделать профессору приятное, вернул его обратно и попросил:

— Дайте-ка на минутку вашу «Грамоту», я на всякий случай запишу себе ее номерочек. Может быть, мы еще что-нибудь придумаем.

Он записал в свой настольный блокнот номер «Грамоты», и профессор ушел.

— Идите прямо во всерабис, — еще раз мягко напутствовал его тов. Хряпин.

На закрытых наглухо дверях всерабиса профессор прочел аншлаг такого содержания: «По случаю чистки союза от бандитского и буржуазного элемента, назначается с сего числа перерегистрация всех старых членов союза. Запись новых членов временно прекращена».

По всей лестнице теснилась непролазная толпа народу. Народ прибывал. Одни, вновь приходившие, с поднятыми снизу вверх головами и разинутыми от неожиданности ртами, стояли и читали аншлаг. Другие, по-видимому стоявшие здесь уже часами, в оживленных групповых беседах давали друг другу подробнейшие советы.

Все были недовольны правлением союза, и вокруг профессора стоял громкий ропот.

— А им что? — слышал он одним ухом. — Они сами себя записали в союз и закрыли лавочку. А мы пропадай без союза. Разве они о других думают?

— Главная вещь вот в чем, — слышал он в то же время другим ухом. — Не состоя в профсоюзе, не попадешь на должность. А не состоя на должности, не попадешь в профсоюз. Вот и вертись. Которые раньше проскочили, те хорошо живут, а которые не успели, те так ходят не жравши.

И профессору тоже вскоре начали давать советы.

— Вам-то легко на них найти управу, вы — профессор, — привязался к нему один из коллег по несчастью, какой-то подозрительный субъект, от которого так и разило не то спиртом, не то эфиром, по-видимому, из опустившихся актеров провинциальных театров, в странном коленкоровом костюме героя из какой-то шекспировской пьесы, очевидно украденном из театрального гардероба. — У вас такая хорошая бумага, я бы тут половину города арестовал с реквизицией в свою пользу всего их имущества!

— Это вам так только кажется, — улыбнулся профессор. — Я уже все места исходил. И не знаю, где бы я мог найти на них «управу».

— Как где? — кипятился подозрительный субъект. — Везде! Везде, где угодно! В парткоме были?

— Нет.

— Ага. Вот то-то и дело. А говорите, везде были. Сейчас же идите туда. Вот где работают! Там в два счета рассудят ваше дело и дадут по заправке кому надо. Хотите я с вами пройду?

— Нет, нет... Потому что я не сейчас туда пойду... Завтра...

— Я могу зайти за вами завтра.

— Нет, я и не завтра...

— А откладывать этого дела нельзя!

И профессору стоило великих трудов от него отвязаться.

Субъект стоял в дверях и долго провожал его глазами, потом крикнул ему вдогонку бранное слово, дрянненько расхохотался, сплюнул, засунул руки в карманы шекспировских брюк и вернулся в толпу, на лестницу.

Здание Комитета Коммунистической партии помещалось в старинном барском особняке, в глубине запущенного сада.

Прежде чем войти в сад, профессор остановился и еще раз подумал, идти ли ему в партийный комитет или нет. Какое имеет отношение к его делу это учреждение? С чем он туда явится? С жалобой? Но на кого? В том-то и дело, что жаловаться было не на кого. Наоборот, не жаловаться на бездействие кого-нибудь хотелось ему, а выразить свое изумление перед той колоссальной работой, которую выполняли все эти курупы, собесы,

наробразы. И ему было положительно непонятно, откуда в такой короткий срок в такой некультурной стране на смену старых чиновников могли набрать такое несметное количество новых...

— Это партком? — спросил он в саду у первого встречного.

— Нет, — ответил тот. — Это уком.

— Это уком? — спросил профессор второго встречного.

— Нет, — ответил тот. — Это партком.

Профессор прошупал сквозь пальто «Грамоту» и вошел в здание.

— Вам кого? — тотчас же пересек ему дорогу совсем молодой человек крестьянского вида, костюмом и выражением лица похожий на банщика.

— Мне председателя.

— Какого председателя?

— Председателя партийного комитета.

По лицу юноши расплылась широкая довольная улыбка.

— Разве в партийных комитетах председатели бывают? — спросил он. — Вам, наверное, секретаря?

— Ну, секретаря. Все равно.

— Тут тов. Аристарха спрашивают! — сложив руки трубой, закричал юноша в глубину длинного коридора, пропустил профессора и, оправив на себе рубаху, снова сел на свой пост, за маленький столик возле дверей.

Тов. Аристарх, пожилой человек, с торчащими, как щетина, наполовину черными, наполовину седыми волосами на голове и с такими же небритыми щеками и подбородком, встретил профессора очень приветливо, почти восторженно.

— А-а! — воскликнул он, привстал с кресла и протянул гостю руку. — Товарищ профессор! Наконец-то! Очень приятно! Мы давно собираемся вас использовать! Такая научная сила — и пропадает даром! Садитесь, пожалуйста! Чем могу служить?

Он говорил, а сам не спускал своих черных, необычайно живых, поблескивающих глаз с белой седины на висках у профессора, мучительно вспомнив о собственной седине: неужели он тоже так стар, как и этот профессор?

Профессор сел и рассказал о цели своего визита.

— В исполкоме были? — спросил тов. Аристарх, привычно-скоро пробежав «Грамоту» и опять уставясь жгучими глазами в седину профессора и назойливо думая о своих сединах.

— Был, — отвечал профессор.

— Ну и что же вам там сказали?

— Ничего.

— Как ничего? Что-нибудь да сказали?

— Ничего. Только записали номер «Грамоты».

— Ага! — обрадовался и засиял, и затрепетал в кресле тов. Аристарх. — Все-таки номер «Грамоты» записали? Значит, делу вашему дали ход. Пару недель подождите, а потом наведайтесь еще раз в исполком. А если там вам ничего удовлетворительного не скажут, тогда опять зайдите к нам. А мы за это время тоже со своей стороны справимся. Товарищ Корниенко, товарищ Фира! — захлебываясь от радости и сияя, закричал он через раскрытую дверь в смежную комнату: — Запишите сейчас! В одну из суббот известный историк права профессор Серебряков прочтет в нашем партклубе научную лекцию о старом праве, а мы выставим пару наших ораторов, которые после него скажут свое слово о новом праве! Таким образом всю лекцию в афишах и объявлениях можно будет назвать «Похороны старого права» или как-нибудь в этом роде, поударнее, похлеще! Значит, в эту субботу? — спросил он у профессора, с сияющим лицом возвращая ему аккуратно сложенную вчетверо «Грамоту». — Вот хорошо! Наконец-то мы вас используем! Тем более что мы со своей стороны тоже! Хотя, правда, сейчас мы бедны, очень бедны, касса наша пуста, но зато в будущем, если!

— Как же все-таки мне быть? — спросил смущенный профессор.

— А вы в четверг вечером пришлите мне конспект вашей лекции, — перебил его тов. Аристарх. — Чтобы мы могли ознакомиться, о чем вы будете говорить.

— Нет, я не о лекции, я о пайке, — тяжело произнес профессор. — Неужели ждать две недели?

— Подождем, что вам ответят в исполкоме, — успокоительно заметил тов. Аристарх. — А пока что я могу вам сказать? Там больше меня знают. Говорите, вы и во всех отделах исполкома были? Что же вам там говорили?

Профессор рассказал, а тов. Аристарх жадными глазами введалься в его седину и думал о том, как, в сущности, скоро промчалась его молодость: кажется, недавно делали революцию 1905 года, совсем еще вчера провели Октябрьскую революцию, а между тем уже прошло столько лет!..

— Знаете что? — выслушав до конца профессора, с обычной своей возбужденностью сказал тов. Аристарх, немного подумав. — А ведь они были правы, те отделы, в которых вы были! В центре раздают разные такие «Грамоты», а мы за них расплачиваемся! Где же тут справедливость? У нас свой круг обслу-

живания, и кто вам выдал эту бумажку, тот по справедливости должен выдавать вам и ежемесячный академический паек! Мы едва справляемся с местными нуждами! Итак, значит, до четверга? Чтобы мы все-таки успели познакомиться с вашими тезисами...

Прощаясь, тов. Аристарх встал с кресла и горячо, по-братски пожал руку профессора. Он так долго и так энергично тряс ее в своей руке, низко нагнув правое плечо, точно крутил заводную ручку автомобильного мотора. А сам не отрывал пристальных глаз с белых висков профессора: ай-яй-яй, неужели у него столько же седины!

На улице у ворот сада стоял автомобиль — видимо, поджидавший тов. Аристарха. В автомобиле сидел шофер с маленькой головой без шеи и с широкими плечами, похожий на черепаху. От нечего делать он читал помятый клоч прошлогодней газеты, подобранный тут же на дороге.

Профессор был подавлен неудовлетворительным результатом беседы с тов. Аристархом и чувствовал неодолимую потребность излить пред кем-нибудь свою душу.

— Вот, — пожаловался он шоферу, как родному брату, — и имею такой хороший документ, а толку никак ни от кого не могу добиться! Хожу и хожу.

— А ну-ка покажите, что за документ, — довольно равнодушно проговорил шофер, бросив клоч газеты на дорогу и протянув руку за документом.

И как ранее от скуки он читал клоч старой газеты, так теперь не спеша принялся разбирать строку за строкой «Грамоты».

На него самое сильное впечатление произвели подписи.

— Такие подписи, — сказал он, тыча тупыми пальцами в бумагу, — и они ничего не хотят дать вам!

Он осторожно глянул в сторону сада и тише прибавил:

— Вот если бы об этом узнали в Москве!

И профессора осенила новая мысль.

— Разве послать в Москву телеграмму? — спросил он.

— Нет, — тихо ответил шофер. — Телеграмма не поможет. Самому бы поехать...

VII

Июнь, июль, август, сентябрь — все эти четыре месяца профессор проходил за справками.

— Ну что? — неизменно спрашивал он, появляясь то в одном учреждении, то в другом.

— Запрос сделали, но ответа еще не получили, — неизменно отвечали ему всюду.

Потом его вопросы и даваемые ему ответы приняли еще более лаконическую форму.

— Что-нибудь есть?

— Нет, ничего нет.

Потом, когда его везде сразу узнавали в лицо, ему не давали времени даже раскрыть рта для вопроса и просто объявляли:

— Для вас еще ничего нет.

И наконец настал момент, когда барышни, сотрудницы различных учреждений, годившиеся ему в дочери, едва он появлялся в дверях, не давали ему переступить порога комнаты, как уже помахивали ему издали своими изящными ручками, чтобы он уходил, так как для него еще ничего не получено. Профессор, не снимая головного убора, поворачивал обратно и направлялся в другое обнадежившее его учреждение...

И почему-то особенно постыдным казалось ему носить по городу бутылку, болтавшуюся на веревочке, на пальце, тем более что все встречные всегда видели ее у него пустой. Но не брать с собой мешков и бутылки он тоже не мог.

— Только смотрите, не забудьте захватить с собой мешки и бутылку! — строго всюду предупреждали его. — Потому что ни мешков, ни бутылок мы не даем!

В числе мест, куда профессор приходил за справками, был главный продовольственный склад красноминаевской государственной заготовительной конторы или, как его в городе называли, просто склад № 1.

Конечно, относительно его профессорских прав на получение академического пайка в складе № 1 меньше всего знали. Но самым фактом его первого появления в складе заинтересовались и сам заведующий складом Федосеев, крупный специалист своего дела из лабазных приказчиков, и двое его помощников, и двое весовщиков, по числу десятичных весов на складе, и складской рабочий, и бабы, сортировавшие на складе порожние мешки, и грузчики, и дрогали, и случайная публика, явившаяся сюда с ордерами получать продукты для своих учреждений.

— Профессор! — пронесся шепот по длинному темному амбару склада. — Видали профессора? Вон он. Значит, и ему тоже крuto пришлось, если сюда пришел.

Войдя в темный амбар после яркого солнечного света, профессор в первую минуту как бы ослеп. Потом он стал различать возле себя самые близкие предметы, потом перед ним возникали все более и более дальние вещи и люди, но конца длинного амбара ему так и не удалось разглядеть: он тонул в черной тьме.

У левой длинной стены амбара, уходящей в темную даль, правильной батареей были искусно сложены до самого потолка белые как мел мешки с мукой. У противоположной правой стороны, тоже до самого потолка, было насыпано прямо на пол бледно-желтое, сухое, очень твердое, звенящее на вид зерно ячменя, с воткнутыми в него в нескольких местах деревянными лопатами. По сравнению с горой ячменя лопаты казались маленькими, игрушечными, такими, какими этого зерна век не перебросоешь. Под ногами у профессора перекатывались и поскрипывали твердые и круглые, как пули, отдельные горошины и похрустывал все тот же ячмень. Середина амбара была занята аккуратной кладкой ящичков с чаем, табаком, яблоками; бочек с солониной, жирами, селедками; рогожных кулей со свеклой, картофелем, луком...

Из темных глубин амбара навстречу раскрытым на солнце дверям осязательно тянуло прохладой, мучной пылью, целым картофелем... И когда глаза профессора окончательно пригладелись к темноте, он вдруг увидел недалеко от себя человек двадцать баб, чинивших худые мешки. Бабы, среди которых были и почернелые старухи, и светлоликие девочки, сидели на полу, широко раскинув врозь босые, заголенные до колен ноги, кроили большими хрустящими ножницами грубые заплаты к мешкам, шили толстыми нитками и негромкими, очень согласованными, срамными голосами самок пели большею частью любовные, распяляющие страсть песни. Старухи базили, сдерживали девчонок, девчонки разлиvisto визжали:

*...Понапрасну, мальчик, ходишь...
Понапрасну ножки бьё-ошь...*

В городе и уезде население поголаживало, и весь этот работающий в амбаре и случайно набившийся в амбар люд чувствовал себя здесь, возле гор муки и зерна, особенно безопасно и хорошо. Никто упорно не хотел уходить из амбара, как будто на улице лил проливной дождь. Каждый всячески оттягивал момент своего ухода, как будто тут его удерживал какой-то магнит. Работавшие в амбаре боготворили Федосеева, а рас-

считанные им с работы подали ему в ноги и голосили ужасным слезным плачем, просясь обратно на работу. Даже караульные, в шинелях, с винтовками, молодые, ротозявые красноармейцы, которым был дан строгий наказ стоять по углам здания и не давать людям сверлить сверлами стены амбара и выливать наружу зерно, даже и те не могли перебороть себя, жались по обеим сторонам дверей амбара и с ущемленным восторгом неотрывно глядели из-за дверных косяков на гору ячменя, следили, кому удастся урвать, кому нет.

В ближнем углу склада, за дощатой переборкой с полукруглым оконцем без стекла, как в цирковой кассе, профессор увидел отдельное светлое помещение, подобие конторы. Там на стенах висели раскрашенные картограммы, планы, документы, счеты, отрывной календарь. Посредине конторы за столом сидели двое весовщиков с этого склада, двое с соседнего, принадлежащего губсоюзу. На столе стояли две разномастные бутылки, заткнутые вместо пробок газетной бумагой; лежал большой, красный, растрепанный, точно его рвали собаки, окорок; валялись по всему столу большие обкусанные ломти белого хлеба. Весовщики пили из чарок, сделанных из жестянок от консервов, чокались, морщились после каждой чарки как от страшного ожога, кричали, рвали руками окорок, закусывали, и один из них, бледный, точно больной, с упавшими на потный лоб волосами, негнушимся языком говорил — очевидно, в заключение какого-то длинного своего рассказа:

— Я из ста пудов на двадцать пять пудов каждого-всякого обвешаю, самого хитрого человека!

— А я... — пробормотал другой и пьяно клюкнул носом в стол. — А я на пятьдесят...

На втором этаже амбара в это время кипела горячая работа. Литые фигуры грузчиков, одетых в одинаковые, очень просторные брезентовые штаны и рубахи, без поясов, круто пригнув вниз головы, вонзив подбородки в груди, с одинаковыми, тугими, как камни, мешками на плечах, непрерывным гуськом, одной бесконечной лентой, поднимались вверх по деревянной, оседающей под ними, тяжело скрипящей лестнице. Другие такой же непрерывной лентой порожняками спускались вниз, усталые, измученные, ничего не чувствующие, с хмурым опущенными в землю лицами, как бы не желающими смотреть на такой божий свет. И здесь, в нижнем этаже, все время было слышно, как по потолку топталось множество стопудовых чудовищ, точно там происходила борьба допотопных гигантов.

С третьего этажа амбара через открытое окно ссыпали по желобу вниз, прямо в вагоны, пробную американскую посевную кукурузу для отправки в дальние места округа...

На верхних этажах следили за операциями помощники Федосеева и другие особо уполномоченные лица. А сам Федосеев находился все время внизу, поближе к конторе, к телефону. Он метался по амбару, принимал участие сразу во множестве самых разнообразных дел, и его фигура, с головы до ног в муке, беспрестанно мелькала то здесь, то там. Когда он пробежал мимо широких, раскрытых настежь дверей, снаружи, с яркого солнечного света, налипшая там друг на друга детвора, мальчики и девочки в лохмотьях, протягивали к нему длинные тоненькие ручки с пустыми жестянками из-под консервов и на разные голоса молили:

— Дяденька, миленький, дайте нам хоть немножечко ячменя зажарить на кофий! Нам много не надо, нам только по горсточке! Дяденька, миленький...

— А, вы опять тут? — большеерото спрашивали их караульные. — Р-разойдись сейчас, а то я вас!

Дети с жестянками мгновенно проваливались.

— А-а, профессор! — обрадовался неожиданно гостю Федосеев, подал ему свою белую в муке руку, дружески обнял его за талию. — Наконец-то пожаловали к нам поинтересоваться. Посмотрите, посмотрите, как мы работаем тут.

— Да, — улыбнулся со вздохом профессор.— Заставила необходимость.

— Ну ничего, ничего, — поняв в чем дело, приласкал его Федосеев. — Пойдемте...

В этот момент за переборкой резко затрещал телефон, и Федосеев бросился на своих молодых быстрых ногах туда, оставив профессора среди амбара.

Профессор еще не успел проводить глазами убегающую от него белую, припудренную мукой спину приветливого Федосеева, как его слух поразила моментально наступившая в амбаре такая тишина, какой он никогда и нигде не слышал. Только наверху все еще продолжали тяжело ворочаться в смертельной агонии мамонты; но потом и у них в возне почувствовалась какая-то заминка. Еще более странный, тихий, плещущий, массовый звук, в следующее мгновение наполнивший собой весь амбар, заставил удивленного профессора обернуться за разрешением загадки к находящимся в амбаре людям. Но фокус запутывался еще более: профессор не видел в амбаре ни одного человека! Они не выходили из амбара, но их никого не

было и в амбаре. И только всмотревшись пристальнее, профессор убедился, что они были тут, но каждый из них каким-то чудом уменьшился на аршин ростом, на целый аршин осел в землю, по живот погрузился под пол амбара. Тогда профессор еще ближе подошел к ним, еще внимательнее уставился в них... Оказалось, и грузчики, и дрогали, и сотрудники различных учреждений, штатские, военные, дамы, гимназисты, все без исключения, стояли на полу на коленях, вдоль всего нижнего края насыпи ячменя, и быстрыми движениями рук, как совочками, насыпали себе ячмень во все карманы, за пазуху, за голенища, на голову под картузы, за яростно отдираемую подкладку пальто... Бабы, враз оборвавшие пение, стояли в линию со всеми и, раскорячась, наклонившись наперед, с хищно перекошенными глазами, наплевскивали себе ячмень за ворот блузы, прямо на голые груди, точно в лесу, у ручья, в жаркую погоду, прохлаждались холодной водой. И среди напряженной тишины было слышно, с какой невероятной спешкой, каким множеством брызг плескалось в разинутые карманы сухое, тонко звенящее зерно.

У профессора права, когда он увидел, как нагло среди бела дня расхищается казенное добро, заныло от негодования сердце, зашевелились на голове волосы. А в следующий момент он сделал не свойственный ни его возрасту, ни социальному положению прыжок к насыпи ячменя, припал на одно колено к земле и обеими руками принялся яростно набивать свои карманы пыльным зерном. Кабинетный ученый, он никогда не умел различать породы хлебных зерен, и теперь он не знал, что, собственно, он берет: пшеницу ли, рожь ли, овес ли. И выполнял он эту непривычную для своего звания работу плохо: спешил, жадничал, боялся, чувствовал, что погибает. И зерно лилось из его рук большею частью мимо карманов, по животу, по ногам, затекло в ботинки. И никогда в жизни сердце профессора не колотилось так сильно, так гулко, так страшно. Еще секунда — и оно разорвется. А какой позор известному ученому умереть от звериной жадности на куче зерна с набитыми чужой собственностью карманами!

— Ой, что я делаю, что я делаю! — каким-то мучительным мысленным свистом повторял про себя профессор, доверху набивая свои карманы зерном. — Ой, что же это такое я делаю, что я делаю! Сошел с ума!

Из конторки в то же время доносился сюда четкий, энергичный голос Федосеева, кому-то доносившего в телефонную трубку:

— Крыса точит зерно! Что? Я говорю: крыса точит зерно! Письменно донести? Составить акт? Хорошо! Напишу! Составлю!

Федосеев за перегородкой бросил телефонную трубку, и все в амбаре, как в балете, враз повскакали с колен, всплеснули руками, с мягкой грацией неслышно разлетелись по своим обычным местам.

И тотчас же в сумерках амбара снова негромко и очень стройно зазвучали нарочно бесстыдно-обнаженные, какие-то говядинные голоса старых и молодых самок, широко разметавших по полу голые икры ног.

...Д-да дураком домой пойдешь!

Федосеев не вошел, а точно на крыльях влетел в амбар. Ячмень имеет свой особенный запах, и он обонянием почувствовал, что без него ворошили слежавшееся зерно. Глаза его еще издали старались охватить всех, кто был в амбаре. Одновременно он смотрел и на выражение их лиц, и на состояние их рук. Только за секунду перед его появлением громадный, кособокий, рябой дрогаль пугачевского вида в старой, прожженной, серой солдатской папахе, насунутой на глаза, ловким движением зачерпнул с кучи полное ведро ячменя и теперь быстро нес его вон из амбара, держа ведро впереди живота, как пушинку, на одном пальце. Федосеев думал было ринуться за ним, но его внимание более соблазнила мелькнувшая в глубину амбара другая столь же подозрительная тень, и он погнался за той, второй, тенью. Но тень, по видимому, была и на самом деле только тенью, и через полминуты рука Федосеева, подобно орлиному клюву, со всего налета впиалась в гигантскую, уже освещенную солнцем спину дрогаля.

— Стой, дьявол! — сорвавшимся от злобы голосом закричал Федосеев, увлекаемый спиной дрогаля дальше.

Дрогаль остановился.

— Иван Никитич, что вы, — обернул он к Федосееву обиженное лицо.

Федосеев, задыхаясь, молча рванул из его рук ведро. Ведро было пусто, и в тот же момент рядом, под товарным вагоном, между рельсов, шмыгнула пара черных дряблых старушечьих икр и проволочился по земле тяжелый мешок.

Федосеев всматривался в дно пустого ведра, нет ли где там ячменного зернышка.

— Что вы, что вы, Иван Никитич, — продолжал обижаться дрогаль и другим голосом, потише, прибавил: — Дадите моему коню немного овсеца? За то, что напрасно подумали...

Вернувшись в амбар и увидев там длинноволосую библейски-внушительную фигуру профессора, Федосеев как-то сразу успокоился: при таком уважаемом человеке навряд ли кто осмелится красть.

И он дал коню дрогалья полведерка овса.

— Рюхин! — позвал он затем со второго этажа вниз своего помощника и длинным шестом постучал ему в условленное место в потолок: — Рюхин!

Поручив Рюхину низ амбара, Федосеев обнял за талию профессора и со светлым, в муке, улыбающимся лицом повел его в контору.

Там, за тем же простым столом, где несколько минут тому назад закусывали приемщики, Федосеев усадил профессора, расставил перед ним всевозможные вкусные яства, уговорил его отхлебнуть из жестянки глоток спирта, распечатывал коробку за коробкой разные консервы, соленые, маринованные, копченые...

— Кушайте! — все время подталкивал он пищу в рот дорогого гостя. — Чего же вы не кушаете? Разве так кушают? Вы отошальные, вам надо поправляться. Вот с этой рыбы человек очень хорошо поправляется, а вы ее совсем не кушаете. Берите больше!

Профессор сидел, ел, а сам чувствовал, как в карманах его брюк зерно давило ему ноги двумя тугими колбасами. Что если карманы не выдержат напора, лопнут, и зерно с шумом хлынет к ногам Федосеева! Что если Федосеев вдруг расхохочется, похлопает его по плечу и скажет ему: «А ну-ка, великий ученый, высыпай из карманов народное зерно!» Что если Федосеев напьется спирта, освирепеет, выведет его на середину амбара, соберет народ, грузчиков, дрогаль, красноармейцев, тех баб, прикажет вывернуть его карманы и обратится к собравшимся: «Глядите, какие бывают у нас профессора!»

От страха ноги профессора так ослабели, колени так дрожали, что его уже мучило новое опасение: хватит ли у него сил встать из-за стола, когда он изложит цель своего визита Федосееву и будет уходить. Вообще эти пять-шесть фунтов зерна, напиханные в его карманы, без сомнения, обойдутся ему в пять-шесть лет жизни. И как только он мог поддаться такому недостойному искушению? И многое он дал бы, чтобы сейчас незаметным образом высыпать зерно обратно!

— Не знаете ли вы, каким путем я мог бы добиться получения своего академического пайка? — спросил он у Федосеева и поспешно снял с пуговицы своего пальто предательское зернышко ячменя.

— К сожалению, — быстро говорил, выпивал и закусывал Федосеев, — к сожалению, не имею понятия. Сами мы не властны распоряжаться продуктами, имеющимися на складе. Нам прикажут, и мы весь склад отдадим. Что же касается пайков, то мы, безусловно, их выдаем, но только по ордерам. Принесите из города нам ордерочек, и мы паек вам выдадим.

При прощании с профессором он еще раз выразил сожаление, что не вправе разрешить его главный вопрос.

— А как простой русский человек, — прибавил он, — то я, конечно, чем могу, охотно пособлю вам. Давайте сюда ваши мешочки, вашу бутылочку...

Он бегал по обширному амбару и весело насыпал мешочки профессора мучицей, сахарком, в бумагу завернул большой пласт бледно-посинелой солонины, в бутылку налил черного, как деготь, горчичного масла...

Профессор едва поспевал за ним, при каждом шаге оглядываясь на свои следы, не сыпает ли он за собой дорожку зерном.

— Смотрите, как бы вам не пришлось отвечать в случае недостачи, — предупредил он Федосеева, глядя на не знающую удержу щедрость того.

— Ничего, — сказал тот и звучно обсосал с пальца горчичное масло. — Мне полагается известный процент на растряску, на усыпку. Опять же, глядя какая тара. И крыса тоже делает свое дело. Как-нибудь, общими силами, и натянем.

От страха, от стыда голова профессора горела как в огне. В глазах стоял туман. Ноги едва волочились. Как он, с зерном в карманах, вышел из амбара, он сам не знал.

«Похороны старого права» — увидел он на одном заборе громадную свежую красную афишу, извещавшую о его лекции. «Похороны старого права» — увидел он дальше, на другой улице, такую же афишу. «Похороны старого права», «Похороны старого права»... без конца зарябили в его глазах красные афиши.

VIII

Раньше, все первые три года жизни профессора в Красном Минаеве, жители города, глядя из окон своих квартир на его одинокую бесприютную фигуру, шагавшую по тротуару, обык-

новенно произносили по его адресу одну из следующих фраз: «Идет с глубокомысленным видом»; «с философским спокойствием, несмотря ни на дождь, ни на грязь»; «согбенный под тяжестью своей учености»; «идет и думает о книгах своего сочинения»; «идет и вспоминает о своих петербургских студентах...»

А в последнее время все эти фразы заменились в устах всех новой, одной: «Идет и все думает, как бы получить свой академический паек».

Весь город с большим вниманием следил за всеми этапами борьбы профессора за свое право.

Каждый день, в каждой семье, за чаем, за обедом, за ужином, обязательно поднимался вопрос об академическом пайке профессора Серебрякова. Обсуждались новые полученные за день подробности этого дела. Старались не пропустить ни одного момента в развитии этой затянувшейся истории.

— Ну что, в деле профессора есть какие-нибудь перемены? — спрашивались друг у друга, сходясь за столом, в каждой семье.

— Да. Кое-что есть.

И следовало изложение новости. Перечислялись учреждения, в которых был сегодня профессор, излагалось содержание бумаг, которые он писал или которые ему писали.

По утрам в домах города хозяйки, возвратившись с базара с провизией, нередко говорили:

— Встретили профессора. Идет, бедняжка, с мешочками, с бутылкой, за своим пайком. Наверное, все-таки обещали дать. Иначе бы не ходил.

Вечерами, возвратившись с занятий, мужья рассказывали женам:

— Встретили сегодня профессора. Идет, бедняга, домой, с пустыми мешочками, с порожней бутылкой. Наверное, опять обманули, не дали.

Затем высказывались сожаления:

— Похудел профессор за это время страшно. Только разрослись волосы да увеличились глаза. Смотреть жалко. Надо будет ему сегодня вечером пшеничных лепешек напечь. Пусть поест человек.

— Мама, я понесу! Папа, я снесу! — начиналось соревнование среди детей, для которых таинственное путешествие в темноте к окну профессора являлось захватывающим спортом, испытанием героизма.

Настала осень, невеселое время итогов и расплаты. Был серый, на редкость темный день, в глубинах иных кооперативных магазинов уже с трех часов дня печально желтели огни. Не переставал начавшийся еще три дня тому назад мелкий, надоедливый, обложной дождь. Улицы Красного Минаева были безлюдны, и в тишине и покое, разлитых во всей природе, было что-то безмерно тоскливое, кладбищенское. И стоявшие кое-где на углах улиц одноконные экипажи, неподвижные, намокшие, с глянцеви́то сверкавшими от дождя верхами, почему-то напоминали собой погребальные кареты, ожидающие у подъездов своих невзыскательных пассажиров...

Профессор Серебряков, в обычном виде, обычной походкой, шел улицами города, возвращаясь домой после обхода нескольких учреждений. Конечно, ему и сегодня нигде ничего определенно не ответили. Всю весну, все лето, все эти пять месяцев он убил на хлопоты по делу об академическом пайке. И все безрезультатно: вопрос не подвинулся ни на йоту.

И профессор невольно бросил мысленный взгляд назад, на свое четырехлетнее пребывание в Красном Минаеве, последовательно припомнил, как, в сущности, ему не везло в этом городе. Поразительно не везло! Фатально не везло! Не было ни одной удачи. Были одни сплошные неудачи...

Фантастическая вера в исключительную важность для человечества его нового труда о праве сделала то, что он в первое время пребывания в Красном Минаеве совершенно не заботился о физической стороне своего существования. Потом он начал делать попытки урегулировать свой материальный вопрос. Он несколько раз поступал на службу в различные советские учреждения в качестве канцелярского сотрудника. Но у него был плохой почерк, благородное происхождение, не совсем привлекательная наружность человека все-таки уже пожилого, и им не дорожили, и при первом же сокращении штатов он снова и снова оказывался без места, иногда даже не получив и тех ничтожных сумм, которые ему причитались за прослуженные недели. И он, раз навсегда покончив с мыслью о службе, занялся распродажей своего петербургского имущества. Но его родственники, охранявшие его квартиру, оказалось, уже давно прожили большую часть его вещей, а те деньги, которые они выручили от продажи последних остатков его добра, присвоил себе его коллега — профессор, известный ученый, тоже впавший в нищету, любезно взявшийся привезти ему эти суммы лично в Красный Минаев. И он остался только с тем, что

было на нем в тот момент, когда он спешно выезжал из Петербурга. К несчастью, в вагоне поезда, по пути в Минаев, какой-то негодяй похитил у него превосходную шубу и каракулеву шапку, оставив ему взамен свое непромокаемое пальто защитного цвета и такого же цвета суконную арестантскую шапочку. Как-то, уже в Минаеве, он получил письменное извещение, что в губернский город пришла на его имя трехпудовая продовольственная посылка от американской администрации помощи «АРА». Он узнал, что посылка заключала в себе великолепную муку, больше пуда, рис, сахарный песок, сгущенное молоко, кокосовое масло, какао... Но в открывшемся в Красном Минаеве временном отделении «АРА» ему сказали, что где-то в пути Москва — Красный Минаев затерялся какой-то «отпускной ордер» на его посылку, без которого посылка не может быть выдана. Вскоре после этого через Красный Минаев проезжал один довольно известный московский поэт, причастный к комитету улучшения быта ученых. Он предложил профессору заполнить анкету для представления ее в комитет. Профессор анкету заполнил, поэт уехал, а когда спустя четыре месяца профессор написал поэту в Москву запрос, то вместо ответа получил от родственников поэта протокольно составленное письмо, извещавшее профессора, что поэт в ночь с такого-то числа на такое-то скончался от чахотки в Гаспре, близ Ялты, в доме отдыха для писателей. Затем, спустя еще несколько месяцев, в красноминаевскую государственную заготовительную контору, не знали от кого, пришла такая телеграмма: «Выдать профессору Серебрякову по нарядам за октябрь: 20 ф. ржаной муки, 2 1/2 ф. перловой крупы, 1 1/2 ф. сушеных овощей, 1 ф. растительного масла, 10 ф. дров, 1/2 коробки спичек и 2 билета в кино». Телеграмма, посланная в октябре, пришла только в феврале, а согласно закону наряды, не использованные в заготконторе в октябре, были аннулированы в ноябре, т. е. еще в прошлом году.

А сколько у него было в Красном Минаеве неудач более мелких!

Его два раза обворовывали на квартире, несколько раз в булочной в очереди залезали в карман, в магазинах неоднократно сдачу подсовывали фальшивыми деньгами, однажды продали ботинки с бумажными подошвами, сплошь и рядом обвешивали, ржаную муку отпускали за пшеничную, брусничный лист выдавали за цейлонский чай...

И все-таки ничто его так не пришибло в Красном Минаеве, как эта бесконечная история с академическим пайком!

Напрасивался нелепейший вывод: не будь у него этой «Охранной Грамоты» и этой надежды на академический паек, он был бы во сто крат и здоровее, и счастливее. И главное — он работал бы, как работал до этого времени. А теперь его работа все лежит, а он все ходит и ходит.

Но отказаться от своего права на получение академического пайка он чувствовал, что тоже уже не мог!

Слишком горячо он поверил, что получит паек, слишком крепко он сжился с мыслью, что отныне он материально обеспечен. Мало этого. Теперь успех его работ вдруг стал в какую-то дикую зависимость от этого пайка: будет паек, и будет блестяще завершен его замечательный труд; не будет пайка, и работа его выйдет далеко не такой, какой она могла бы быть.

И ему вовсе не надо полного академического пайка! Для успешной работы ему хватило бы половины пайка...

И мозг ученого первый раз в жизни серьезно занимали такие низменные предметы, такие чуждые ему слова, как мука, масло, сахар, чай, соль, спички, когда он шел по улице этим осенним днем и самым подробнейшим образом высчитывал, сколько какого продукта необходимо его организму, чтобы его работа увидела свет...

Дайте ему сейчас пятипудовый куль муки, фунтов 10 масла, фунтов 5 сахару, фунт чаю, соли, и человечество в самый короткий срок получит его удивительный труд. А разве тот же Федосеев, при желании, не мог бы всего этого ему дать? А между тем он в своей биографии обессмертил бы имя этого человека, сделав его как бы соучастником своего последнего большого труда. Бессмертие за куль муки! За пять пудов хлеба!

— А-а! — раздалось вдруг с середины дороги властное, самоуверенное и вместе приятельское восклицание. — Наш профессор! И в какую погоду! О, это, товарищи, подозрительно! Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, ха-ха-ха!

— Хо-хо-хо! — хором подхватили там же, на середине мостовой, несколько здоровых молодых мужских голосов.

Профессор обернулся и увидел знакомую ему одноконную линейку, принадлежавшую заготовительной конторе. На линейке сидели все сотрудники склада № 1: Федосеев, его помощники, весовщики, писарь, складской рабочий. Красные, возбужденные, с широко раскрытыми хохочущими ртами, с пьяно блуждающими глазами, они махали профессору поднятыми руками и настойчиво звали его к себе. Заморенная, истощенная лошаденка, вся в мыле, стоя посреди мостовой, раскорячила

врозь все четыре ноги и жалобно озиралась одним глазом назад, на своих безжалостных ездоков.

Профессор отрицательно помотал головой и продолжал свой путь.

Федосеев моментально спрыгнул с линейки и, балансируя широко расставленными руками, в кожаной куртке, в высоких сапогах, побежал наискось через дорогу на тротуар, вдогонку за профессором. Линейка продолжала стоять.

— Профессор! — запыхавшись, пробормотал Федосеев, догнав Серебрякова и крепко вцепившись в его руку повыше локтя. — Поедем с нами! Такому человеку мы всегда рады! Мы сознаем!

Голова его непослушно моталась на шее, как слишком тяжелый колос на тонком стебле.

Профессор остановился.

— Куда это? — недовольно спросил он.

— Ко мне! Мы сегодня празднуем день моего рождения! Смотри, как мои люди тебе рады! Мы тебя любим! Тебя все любят!

— Нет, я не поеду, — спокойно, но решительно сказал профессор и сделал попытку высвободить руку из железных клещей Федосеева.

Тот, как только почувствовал это, еще сильнее зажал руку профессора в своей руке.

— Как! Ты мне отказываешь! Мне!

В глазах Федосеева вспыхнула злоба, и на момент он как бы ослеп и зашатался от слишком бурного чувства...

— Иван Никитичу! — слащаво, нараспев приветствовали его проходившие мимо люди, делали угодливые лица и снимали шляпы, в особенности местные частные торговцы. — Иван Никитичу наше почтенье-с!

— Смотри! — указывал профессору, весь дрожа, Федосеев. — Смотри! Видишь, как все в Красном Минаеве мне кланяются! Вот это, знаешь, кто пошел? А это, знаешь, кто пошел! Я всем тут даю жить! Разве без меня они так жили? А ты ломаешься, не хочешь ехать ко мне на пирог! Не поедешь? Ну тогда смотри! Если не поедешь, тогда смотри! Тогда помни!

Последние угрожающие слова профессор понял как намек на те продовольственные подарки, которыми Федосеев трижды наделял его на складе № 1. И он еще более заупрямился, решил ни в каком случае не ехать на пирушку к Федосееву, хотя у него в доме в этот день не было ни крошки хлеба, ни пылинки муки. Почему этот самый Федосеев, зная, как он,

профессор, бедствует, ни разу сам ничего не прислал ему из продуктов, а все три раза заставлял его приходиться к нему на склад, унижаться, лстать, клянчить! Почему этот самый Федосеев не мог бы сразу выдать ему пятипудовый куль муки, 10 ф. масла, 5 ф. сахару, 1 ф. чаю, чтобы он, ученый, мог спокойно работать? Тогда он, конечно, иначе относился бы к этому человеку, тогда он поехал бы сейчас к нему на пирушку! А сейчас — ни за что! Пусть почувствует, что такое профессор. Ведь он ему не красноминаевский обыватель, а заслуженный профессор, сила, величина!

— Ну скажи, почему ты не хочешь ехать ко мне? — устало и пьяно наваливался на него Федосеев.

— Просто не настроен, — отвечал профессор и отворачивал вбок обиженное лицо. — У нас с вами сейчас разная психология, разные настроения: у вас одно, у меня другое, — сделал он отдельно-отдаленный намек на продовольствие.

У них пирушка, а у него нечего есть!

Федосеев всем своим молодым, русым, розовым лицом пьяно и зло уставился на профессора.

Черт возьми! Не идет к нему. Несмотря на нищету, не идет. Таких в Красном Минаеве больше нет. Он единственный.

И Федосеев, всегда благоговевший перед профессором, теперь с особенной отчетливостью почувствовал, что перед ним стоит действительная мощь, великан духа, почти что божество, какие Красному Минаеву, конечно, и не снились.

Но ведь и он, заведующий главным продовольственным складом Федосеев, тоже в Красном Минаеве особа не маленькая! Он тоже тут единственный! Он тоже тут вроде бога! Он тоже может с кем угодно помериться!

— Друг! — слезливо взмолился он, припадая мокрой щекой к груди профессора. — Не кобенясь! Уважь мою просьбу! Поедем! А я для тебя что угодно сделаю! Слышишь: что угодно! Ты меня пред моими людьми срамишь! Я тебя умоляю! Видишь: я плачу! Ну чего же тебе еще надо! Едем?

Профессор пристально посмотрел на его пьяные слезы и раздельно подумал: «А пять... пудов... муки... жалеешь... дать?»

И почти закричал:

— Ни за что не поеду!

— А... — мучительно застонал Федосеев, выпустил из своих клешей плечо профессора, покачнулся, пригнул голову, как бодающий бык, размахнулся и что было силы ударил профессора кулаком по отечески-бородатой щеке. К-хрясь!

IX

Долго не возвращался домой в тот день профессор. Несмотря на скверную погоду, он до позднего вечера слонялся по городу, по далеким незнакомым улицам, отдыхая на крылечках чужих подъездов, на обывательских лавочках у ворот.

Первый раз в жизни его ударили по лицу!

Как он должен реагировать на это?

И чем больше профессор находился на свежем осеннем воздухе и чем больше протекало времени, тем все более и более простым и несложным представлялся ему весь этот случай.

Конечно, массовый человек, обыватель, попав в его положение, поступил бы по самому обыкновенному шаблону: отыскал бы свидетелей, подал бы на обидчика в суд, добился бы обвинительного приговора и почувствовал бы себя удовлетворенным. Но он не обыватель. Он видит в подобном суде столько же смысла, как если бы привлечь к суду штукатурку, свалившуюся с дома на голову прохожего. Что взять с пьяного?

Другое дело, если бы Федосеев в момент совершения преступления был трезв. Федосеев только тогда есть именно Федосеев, когда он нормален, когда он трезв. А когда Федосеев пьян, тогда он не Федосеев, а совсем другой и притом больной, отравленный человек, действиями которого руководит уже не сознательная воля, а ядовитые винные пары. Тут профессору, кстати, припомнились любопытнейшие примеры из нескольких серьезных трудов по психологии, психофизиологии...

Решено: судиться с Федосеевым он не будет.

Но достойным образом отозваться на дикий поступок молодого невоспитанного человека он, конечно, обязан. Замалчивать, оставлять без внимания подобные факты значило бы признавать их моральную и юридическую правильность и тем самым внедрять их в повседневную жизнь. Он его проучит, он его отчитает!

Но в какой форме это удобнее сделать?

Он напишет ему резкое обличительное письмо с изложением всего происшедшего и будет ожидать, какое оно возьмет на него действие. Федосеев в корне, по-видимому, хороший простой русский человек, и отрицать свою вину он вряд ли станет. Больше того. Возможно, что он будет горячо раскаиваться в поступке, просить прощения, обещать загладить пред ним

свою вину... Очень возможно и то, что он поспешит прислать ему со склада № 1 каких-нибудь продуктов... В особенности если он по письму почувствует, что профессор глубоко обижен, кровно оскорблен, страдает...

Профессор провел ночь без сна, а утром сел и написал Федосееву письмо.

«Иван Никитич! На тот случай, если Вы сегодня, быть может, не помните того, что с Вами было на улице Карла Маркса вчера, я в последующих строках позволю себе напомнить Вам об одном Вашем отвратительном поступке, жертвой которого сделался я. Вы, среди белого дня, на главной улице города, при публике, нанесли мне сильный удар по щеке и сделали это только потому, что я отказался ехать с Вашей компанией к Вам на пирушку. Надеюсь, Вы не станете отрицать самый факт нанесения мне оскорбления действием: я считаю Вас все-таки честным человеком...

Считая излишним касаться того, какого человека, по занимаемому им общественному положению, Вы ударили по щеке, я не могу не напомнить Вам, что Вы ударили по лицу человека, который в два раза старше Вас по возрасту...

И вот, после всего вышеизложенного, мне хочется Вас спросить: сознаете ли Вы сами всю омерзительность, всю гнусность, всю недопустимость Вашего поступка? Или Вы думаете, что то положение, которое Вы случайно занимаете в городе в качестве заведующего главным продовольственным складом, дает Вам право налево и направо бить граждан по щекам? Конечно, Вы этого не думаете...

Само собой разумеется, что я ни по каким судам таскать Вас не собираюсь, я буду удовлетворен, если Вы в ответном письме ко мне сами сознаетесь в безобразности Вашего поступка...

Заканчивая эти строки, считаю не лишним объяснить Вам. Помню, я еще тогда, на улице Карла Маркса, намекнул Вам на разницу наших психологий: представьте же себе, каково было бы мое душевное состояние, когда я видел бы у Вас в доме пиршества и разгул и в то же время помнил, что у меня в доме нет даже сухой корки хлеба! Другое дело, если бы я хотя немного был обеспечен продуктами. Тогда не ощущалось бы такой разницы психологии. Если Вам когда-нибудь приходилось голодать, то Вы и поймете меня, и отнесетесь к этим моим строкам снисходительнее. Итак, в ожидании Вашего незамедлительного ответа остаюсь известный Вам профессор Серебряков».

Письмо было написано очень скверным для профессора почерком, криво, коряво, крупно, с помарками, с переделками.

В запечатанном конверте письмо было отправлено с мальчиком квартирной хозяйки прямо на склад № 1 для вручения Федосееву лично.

— Вот хорошо! — запрыгал, заскакал от радости вихростый босоногий мальчишка лет девяти. — На склад номер один к заведующему пойду! Может быть, чего-нибудь даст!

— Захвати мешочек, — сунула ему в руку мешочек предусмотрительная мать.

Часа через полтора мальчишка вернулся с ответом — возбужденный, счастливый, запыхавшийся, болтливый — и жевал яблоко.

— Вот заведующий складом хороший человек! — рассказывал он и торопился жевать. — Когда я пришел, он был под мухой и давай меня угощать то тем, то этим! Потом полные карманы яблоками набил! На складе всего много! И все это им бесплатно: продналго!

Необычайно красивым почерком, размашисто, с завитушками, с некстати поставленными заглавными буквами, Федосеев писал:

«Глубокоуважаемый Степан Матвевич! Я вчера был так сильно пьян, что решительно ничего не помню, что тогда между нами происходило на улице Карла Маркса. Но как Вы пишете в Вашем любезном письме, то я Вам верю, зная, что имею дело не с первым попавшим, а с человеком выдающихся знаний. Степан Матвевич! Дорогой! Верьте совести, как Вы знаете мое отношение к Вам, что в трезвом состоянии я никогда не позволил бы себе обидеть Вас даже словом, а не то что поднять на Вас руку! Не смотрите, что мы необразованные, темные: таких людей, как Вы, мы ценим! И, как Вы совершенно справедливо изволили выразиться, я всегда помню, сколько Вам лет и сколько мне лет. Со своей стороны я, безусловно, сознаю, что поступил с Вами как последний подлец. Проклинаю тот день и тот час, когда я позволил себе тот поступок на улице Карла Маркса! Пока я приношу тысячу извинений в письменной форме, а после пяти часов пополудни, когда я вернусь из склада, надеюсь, Вы не сочтете для себя за труд посетить мой дом лично, чтобы выкушать со мной чашку чая, чем премного меня обяжете. Тогда мы с Вами объяснимся подробней и, льщу себя надеждой, легко поладим...

Думал уже отдать письмо Вашему мальчику, но не стерпело сердце, и пишу дальше о том, о чем вначале не хотел писать, как вполне сознающий пред Вами свою вину. Степан Матвевич

ич! Вы в Вашем почтенном письме дважды бросаете мне в лицо обвинение в психологии или, по-нашему, по-неученому, в психопатстве. На это считаю нравственным долгом уведомить вас о том, что психопат не я, а тот, кто хочет сделать меня психопатом! По крайней мере, я это так понимаю, хотя с мальчиков рос в людях, дальше двухклассного не пошел, студентом не был и лекций Ваших по Истории Права не слушал. И права праве рознь! И профессорам тоже подрезали крылья! Но это я только так, вскользь и без дела... Что же касается главного нашего дела, то я Вас жду сегодня у себя дома, после 5 часов пополудни. Еще раз, пользуясь случаем, приношу Вам в письменной форме тысячу извинений. С товарищеским приветом, Ваш покорный слуга Иван Федосеев».

Сбоку во всю вышину листа была сделана приписка: «Как мы с Вами оба русские люди, то нам даже грех».

— Тебе мука-шеретовка нужна? — отрывисто и как-то вдруг спросил низким голосом Федосеев, наклонившись к самому лицу профессора, расширив глаза и пыхтя, как хищник, после того как оба они вечером, едва встретившись, выпили по рюмке, по другой.

— Мука, конечно, нужна, — проговорил разомлевший от великолепной водки профессор, трудно жуя испорченными зубами балык. — Мука — это сейчас самое главное.

— Горох? — нетерпеливо и властно рвал слова Федосеев.

— Горох, он трудно разваривается... — неуверенно начал профессор.

— Теперь на это не смотря! — резко бросил Федосеев гудящим голосом и так злобно и так укоризненно посмотрел на профессора, точно пропел: «Ого-го! Значит, ты еще мало голодал!»

— Горох тоже нужен, — под этим жестким его взглядом поправил свою ошибку профессор и тут же решил уже ни от чего не отказываться.

— Картофель?

— О, картофель-то обязательно.

— Квасоля?

— И фасоль тоже.

— Масла постная нужна? Масла у нас сейчас не горчичная, а чисто подсолнечная, хорошая, жировая.

— Масло тем более нужно.

— Червивая соленая рыба, ажно лазит по бочке, как живая, нужна?

Профессор побоялся отказаться и сказал, что рыба тоже нужна.

— Сахар? — по-прежнему напряженно бросал слова Федосеев, потом в заключение сказал: — Ну да, одним словом, ты завтра принеси мне в амбар ту самую справку, которую ты тогда мне показал: сколько чего на месяц тебе полагается по академическому пайку. Это будет лучше всего. По силе возможности я буду выдавать тебе ту пропорцию ежемесячно. Только когда будешь приходить получать, смотри, чтобы никто из посторонних не видал. За нами ведь тоже следят.

— Конечно, конечно, — волнуясь, говорил профессор.

— Не то что я боюсь, — с презрением произнес Федосеев и повел в сторону кисло наморщенным носом: — А как-то так... знаешь... вроде неприятно.

Х

Когда утром следующего дня профессор с мешочками и бутылкой спешил в склад № 1, сердце его трепетно билось, лицо горело, ноги дрожали.

Он только тогда перестанет волноваться и почувствует себя нормальным человеком, когда все обещанное вчера Федосеевым будет у него в руках. А до той поры он по-прежнему мученик и безумец.

В складе он поздоровался за руку не только с Федосеевым, но и с его помощниками, весовщиками, складским рабочим, с бабами, починявшими мешки, с дрогалем, скучно ходившим мимо ячменя с ведерком в руках. Отчасти профессор это делал от близорукости, отчасти от сильного нервного возбуждения, плохо соображая, с кем надо здороваться за руку, с кем не надо.

— Вот хороший человек, — польщенно кивнул в его сторону рябой дрогал и, став с ведерком у самого ячменя, терпеливо следил своими страшными белками из-под папахи за каждым шагом Федосеева.

Федосеев, как всегда с мукой в бровях, носился по амбару, что-то кричал в окно сцепщику вагонов с посевной кукурузой, принимал у крестьян с телег продналоговую рожь, прочитывал входящие бумаги, диктовал писарю исходящие, курил, ел, пил, играл с бабами, шутил с публикой.

— А, профессор! — заметил он на бегу красное, воспаленное от смущения лицо профессора. — Я сейчас!

И промчался, боком-боком, как веселый конькобежец, мимо. А грудь профессора снова начали грызть сомнения, сосать подозрения.

Даст или не даст?

«Ой, что я делаю, что я делаю! — тоненьким шипящим свистом жалила мозг профессора неотвязная мысль. — За что, какой ценой я покупаю этот паек! Что если об этом узнают мои почитатели, мои коллеги профессора, мои студенты? Но об этом никто никогда не узнает».

Ему хотелось неприятную процедуру получения подачи проделать как можно быстрее, одним махом, залпом, как глотают залпом касторку. А Федосеев, как нарочно, все время был занят, летал, распоряжался, весело хохотал.

— Что-о? — вот слышался его голос уже из конторки, от телефонной трубки. — Это редакция «Красноминаевского коммунара»? Вам дать сведения? Названия волостей, успешнее других вносящих продналог, для помещения их на Красную доску? Сейчас! Слушаете? Я буду вам говорить названия волостей и цифры, цифры будут означать процент...

— Иван Никитич... — пересохшим горлом засипел профессор, поймав выбегающего Федосеева в дверях конторки. — Я... вы... вам... а сейчас как раз подходящий момент: в амбаре никого постороннего нет.

— А? Что? Я знаю! Сейчас! Срочное донесение!

И он ринулся обратно к телефону.

— Дайте, пожалуйста, вокзал, орточека! Это орточека? Слушаете? Сейчас там возле вас, на четвертом пути, пробуравили наш вагон с посевным материалом и выливают в мешки зерно! Примите меры! Пожалуйста!

— Иван Никитич, может быть, завтра зайти? — придушено спросил профессор, чувствуя головную боль, горечь во рту, резь в глазах, недомогание во всех суставах.

— А! Да! Нет! Идем сейчас! Я твой ордера на академический паек уже принял? — нарочно, на всякий случай громко, крикнул Федосеев про ордера и подмигнул профессору. — Стой! — командовал он. — Держи мешок, буду насыпать, пока никто не смотрит! Держи хорошенько, не так! Еще мешки держать не умеешь! Идем дальше! Вот рыба, руками не бери, ковырай ее палкой, она завонялая, сам завоняешься, обещали прислать комиссию свалить ее на свалку, да все не присылают! Идем дальше! Вот масла! Давай бутылку! Эта не такая масла, как была раньше! Эта лучшая масла, сладкая. Отпей немного

маслу из бутылки, а то я ее через край налил. Правда, сладкая масла? Я тебе плохую не дам. Я знаю, кому плохую давать.

Профессор брал все, что давал ему Федосеев, и исполнял все, что тот ему приказывал.

— По крайней мере, теперь смогу весь отдаться своей науке, — чтобы не молчать, тоном благодарности проговорил он, ставя на пол мешочек за мешочком.

— А она, эта наука, хотя хлеб-то тебе дает? — грубо спросил Федосеев и перегрыз зубами веревку, чтобы завязать ею один из мешочков профессора.

— О, она мне дает больше, чем хлеб! — убежденно сказал профессор, имея в виду то общественное значение, которое будет иметь его работа.

— Больше? — покровительственно спросил Федосеев. — Значит, хлеб с маслом? Это хорошо. Лишь бы был сытый.

— Ну спасибо вам, спасибо! — растроганно говорил профессор при прощанье.

— Кушай на доброе здоровье, — коротко мотнул головой Федосеев, довольный, что кормит такого человека.

— Иван Никитич, — приостановился и обернул назад лицо профессор с поклажей, как носчик, весь в мешках, кулечках, с привешенной бутылкой. — А вы не сказали: как же потом? Через месяц опять приходиться?

— Да! Обязательно! Как говорили! Да за маслом по дороге хорошенько смотри, не разбей, масла очень хорошая, прямо на редкость!

В тот же день весь город облетело радостное известие, что наконец-то увидели профессора возвращавшимся из склада № 1 с обильной ношей!

— Слава богу! — с удовлетворением говорили красноминаевцы. — Профессор добился-таки своего права! Академический паяк получил!

— Куда? — ласково спрашивали его встречные всякий раз, когда он раз в месяц утречком шел на склад, с пестрыми мешочками, с зеленой бутылкой. — За академическим пайком? Идите, идите. Дело хорошее.

— Откуда? — еще веселее приветствовали его, когда он возвращался из склада тяжело нагруженный. — С пайком? Значит, продолжают давать? Вот хорошо! Все-таки сознают.

И стал с той поры профессор получать от Федосеева паяк ежемесячно.

Это была его первая удача в Красном Минаеве!

И он, снова вернувшись к своему труду, с таким самозабвением работал, как еще никогда. Творческая научная работа составляла для этого человека самое важное в жизни, все остальное он считал несущественным, не стоящим внимания.

Как раньше в Петербурге, так теперь в Красном Минаеве, он преемственно продолжал развивать ту первую человеческую мысль о праве, которая тысячелетия тому назад впервые возникла на земле вместе с появлением на ней первого человека. Он протягивал от предков к потомкам ниточку правовых знаний...

Профессор быстро поправился, окреп, пополнил, посвежел.

Но навсегда тяжелым остался для него тот день, когда ему раз в месяц приходилось отправляться с мешочками и бутылкой на склад.

Невольно припоминалось: осень, дождь, мокрая мостовая, перегруженная пьяными людьми линейка, раскоряченная на четыре ноги лошадь, перебегающий к нему через дорогу, в кожаной куртке, в высоких сапогах, на кривых ногах, с растопыренными руками, как спрут, Федосеев...

ЛЮБОВЬ КСЕНИИ ДМИТРИЕВНЫ

Повесть



На рынке, в узком проходе между двумя рядами одинаковых торговых будок, по архитектуре напоминающих голубятни и увешанных с фасада красными лентами, голубыми подвязками, зелеными подтяжками, коричневыми чулками, среди изнеможенно продиравшихся навстречу друг другу покупателей, в крутой людской тесноте, как в крутом тес-те, неожиданно столкнулись лицом к лицу две молодые женщины.

Совсем не похожие одна на другую, они были, каждая по-своему, очень интересны, даже, пожалуй, красивы. По крайней мере об этом говорило то подчеркнутое внимание, с которым в них впивались глазами проходящие мимо мужчины.

Одна — светлая блондинка с простодушным русским лицом, вздернутым носом и широким румянцем на мячико-округлых щеках, одетая в длинный, маково-красный, под цвет щек, шерстяной платок с крупными кистями и в короткую, новую солдатскую шинель защитно-зеленого цвета под тон зеленым с желтишкой глазам, — выглядела типичной, переселившейся из деревни в столицу удачливой крестьянской бабенкой.

Другая — повыше ростом и похудошавее, смуглая брюнетка, с острым птичьим но-

сом и с узкими миндалинами темных, осторожно высматривающих глаз — смахивала на образованную, потерпевшую какой-то важный жизненный крах иностранку. На ней было длинное выпинявшее шелковое пальто фиолетового цвета со стальным отливом и ярко-зеленая, издали приковывающая взгляд, фетровая шляпка без полей, формой и краской напоминающая купол деревенской церкви.

Обе они — и русская в платке с кистями, и иностранка в шляпке куполом, — коснувшись в тесноте носами, с одинаково громадным изумлением посмотрели друг на друга в упор. Что-то знакомое, что-то чрезвычайно близкое, почти родственное пробудили они друг в друге. Однако увлекаемые безостановочным кружением рыночной толпы, как течением реки, они продолжали свой путь, одна в один конец галантерейного ряда, другая — в противоположный.

Молодые женщины, удаляясь одна от другой, прошли всего несколько шагов, когда вдруг, очевидно охваченные одним и тем же чувством, обе они одновременно обернулись назад. Взгляды их встретились. И на этот раз они уже остановились, став в нерешительности вполоборота друг к другу.

Маяча издали одна ярко-красным платком, другая — ярко-зеленой шляпкой, они одеревенело стояли на месте, как две вбитые в почву сваи, омываемые со всех сторон движущейся толпой, как текучей водой, и, потрясенные встречей, не замечая ничего другого вокруг, думали: «Где они могли видеть друг друга?» «Кто та, цветущая блондинка, в красном платке с кистями?» «Кто та, восковая брюнетка, в зеленой шляпке куполом?»

— Остановилась среди дороги и стоит, как не знаю кто! — налетела на мягкую спину стоявшей блондинки всей длиной своего узкого лица молоденькая девушка в пестром, как чешуя змеи, платочке, с хохолком на лбу, выпученными глазами дикарки, засмотревшаяся на ходу на разноцветный галантерейный товар, гирляндами развешанный слева и справа на будках. — Проходила бы или туда, или сюда! — ненавистным женским взглядом уколола она одну щеку неподвижной блондинки, обходя ее, как обходят телеграфный столб.

— Вы сюда стоять пришли? — в то же время ворчливо спрашивала у стоявшей брюнетки низенькая, очень благообразная старушка с удобной палкой для ходьбы и с утиной раскачивающейся походкой, в синих больших очках и в черном чепце, похожая на жену священника, матушку-постницу. — Здесь не бульвар! — проговорила она грудным мужским одышливым

голосом и продолжала раскачиваться, медленно идя дальше на своих трех коротких ногах. — Стоять и кавалеров поджидать идите на бульвар! Там таких много! В зеленых шляпках...

Но вот на бескровно-смуглом лице брюнетки вспыхнул румянец, она нервно улыбнулась, сделала головой движение решимости и направилась прямо к блондинке.

С трудом протискиваясь против течения толпы, она так наклонилась одним плечом вперед и с таким видом вытянула шею, точно тащила за собой тяжелый воз.

— И куда она прет?! — раздавались на ее пути злобные вопли, сверкали волчьи взгляды. — Скажите, пожалуйста, куда она прет?!

Но брюнетка в зеленом куполе не слышала ничего, не видела ничего.

— Скажите, вы не Гаша? — спросила она у блондинки задыхающимся от волнения голосом, и восковое желтое лицо ее под зеленой шляпкой сплошь покраснело, красивые томные глаза лихорадочно заблестели.

— Гаша, — утвердительно, нараспев, по-рязански, ответила блондинка, с совершенно ошеломленным, отставленным назад лицом. — А вы откуда знаете, что я Гаша? — спросила она недоверчиво и заползала струхнувшими глазами вдоль и поперек фигуры незнакомки.

— Я Ксения Дмитриевна, помните, у которой вы до революции служили горничной? — задрожав, запинаясь, нервно задержав кожей лица, быстро проговорила брюнетка.

— Б-барыня?! — во весь голос вскричала, точно выстрелила, Гаша с чисто деревенским откровенным восторгом и всплеснула руками...

— Не говорите так, Гаша, не говорите, — тихо и торопливо перебила ее Ксения Дмитриевна. — Теперь барынь нету...

— Ничего, ничего, — заулыбалась обомлевшая Гаша. — Это я так. По привычке...

И в Москве, на Трубной площади, на «Универсальном рынке», в самом оживленном ряду этого рынка, галантерейном, в воскресенье, в двенадцать часов дня, в хорошую осеннюю погоду, в ярком свете нежаркого сентябрьского солнца бывшая несколько лет тому назад горничной крестьянка Рязанской губернии Агафья Семеновна Афонина, прослезившись от радости, бросилась в объятия своей бывшей барыни, дворянки по происхождению, жены инженер-химика, Ксении Дмитриевны Беляевой.

Молодые женщины, обняв друг друга, спились в удивленном, стонущем поцелуе.

Ярко-красный платок и ярко-зеленая шляпка тесно прижались друг к другу, дробно затрепетали на месте над головами движущейся толпы, как две яркие весенние бабочки, радостно усевшиеся в погожий день на одном и том же острове кустика...

— Гражданки, не заставляйте товар, проходите дальше! — кричали на них из обоих рядов галантереи нервными торговцы, скрюченно прыгающие внутри своих разукрашенных будок, как попугаи внутри клеток.

— Пройдемте, барыня, на тот бульвар и там поговорим, — предложила Гаша, красная, улыбающаяся, в веселых слезинках. — Я так рада, что встретила вас, я так часто вспоминала про вас.

— Гаша! — негромко, но убедительно произнесла Ксения Дмитриевна, следуя вместе со своей спутницей к выходу с базара. — Только вы, пожалуйста, не называйте меня барыней!

— Хорошо, хорошо, — проговорила Гаша и усмехнулась над собой: — Я все забываю.

— Не напоминайте мне о прошлом, о том времени, когда я была к вам так несправедлива, — прежним голосом быстро продолжала Ксения Дмитриевна, с опущенным, суровым, взволнованным лицом.

— Ну нет, — весело и решительно возразила Гаша. — Об вас я этого не могу сказать. Вы были для меня хорошей хозяйкой, не как ваша покойная матушка. Я никогда не забуду, как вы всегда жалели меня. Когда у вас дома вечерами засиживались гости, вы позволяли мне ложиться спать, не ожидая, когда разойдутся гости. А на другой день вы приходили ко мне на кухню и помогали мне перемывать после гостей посуду.

— Ого, вы даже это помните! — рассмеялась Ксения Дмитриевна, опустив лицо в землю, чрезвычайно довольная.

— А как же этого не помнить? — тоном значительности произнесла Гаша. — Я все помню.

Они вошли через боковые ворота на Цветной бульвар, сели на садовую скамейку, продолжали возбужденно расспрашивать друг друга.

Проходившие той же аллеей бульвара деловые мужчины всех классов и возрастов, поравнявшись с их скамьей, вдруг осаживали шаг, как резвые кони, нарвавшиеся на неожиданное препятствие, и, скосив на молодых женщин большие, страдальчески обожающие глаза, продолжали идти другой, нежной,

игривой поступью, как вальсирующие под музыку на цирковой арене лошади.

У Ксении Дмитриевны в руках был купленный на Трубном рынке фунт кислой капусты в протекающем кулечке. И, чтобы не испачкать капустным рассолом пальто, она сперва переключала кулечек в руках с боку на бок, потом положила его на доску скамейки рядом с собой.

Гаша точно таким же образом нервно вертела в руках свою покупку, небольшой, туго упакованный в белую бумагу сверток. Во время разговора она незаметно разрывала бумажную обертку, и из образовавшейся в белой бумаге дырочки вдруг весело глянула на Ксению Дмитриевну, как кусочек неба, голубая атласная материя.

— А как вы изменились, Ксения Дмитриевна, как побледнели, исхудали! — с сочувствием говорила Гаша и без стеснения всматривалась в лицо своей собеседницы.

— А вы, Гаша, так пополнели, раздобрели, что вас трудно узнать, — окинула взглядом Ксения Дмитриевна фигуру Гаши.

— Конечно, — тише и с сокрушением продолжала Гаша. — Я понимаю, вам при советской власти плохо...

— Ничего подобного! — горячо возразила Ксения Дмитриевна, и в ее темных глазах зажглись мучительные огоньки. — Я бы и при советской власти чувствовала себя хорошо, если бы не любовь к подлецу! Меня любовь к подлецу губит! А против советской власти я не имею ничего. Ведь я никогда не была монархисткой и сейчас со многими нововведениями коммунистов вполне согласна.

— Какая любовь? К какому подлецу? — испуганно округлила зеленые глаза Гаша.

— Разве вы не помните моего мужа?

— Геннадия Павловича? Молодого барина? Как не помнить! Тоже хороший был человек, обходительный...

— А оказался подлецом! — вставила Ксения Дмитриевна и изобразила на лице гримасу отчаяния: — Пять лет притворялся, на шестом году прорвался!

— Что так? — спросила Гаша и вдруг догадалась: — Он вас бросил?

Ксения Дмитриевна глубоко вздохнула. Потом, с иронической усмешкой, с язвительными кривляниями ответила:

— Да. Мы «разошлись», «по добром согласию», «без скандала», «тихо», «культурно». И, разойдясь, мы решили «для прочности развода» тотчас же разъехаться в разные города. Он остался

в Харькове, где мы с ним проканителелись последние два года, а я перебралась в Москву.

— Вот не ожидала, что вы с Геннадием Павловичем когда-нибудь разведетесь! — удивилась Гаша. — Так хорошо жили!

— Я тоже этого не ожидала, — сказала печально Ксения Дмитриевна. — Когда сходились с ним, думала — будут одни розы, а оказались одни шипы. Да, Гаша, много вынесла я за эти годы, очень много...

И она кратко рассказала обо всех своих послереволюционных злоключениях...

...Революция отняла у нее небольшой домик в Москве, маленькую дачку под Москвой. И ничего этого она не жалеет: раз отобрали — значит, так нужно. Ее муж, Геннадий Павлович, тогда же лишился места, так как фабрика, на которой он служил химиком, остановилась. У нее с ним начались семейные нелады, ежедневные крупные разговоры по самым мелочным поводам. Что ни день, то он становился все раздражительней, придирался ко всяким пустякам, на каждом шагу попрекал ее, что она, окончившая «разные дурацкие гимназии», ничего не умеет делать, не знает никакой профессии, не в состоянии зарабатывать, интеллигентка, борыня, привыкшая пользоваться трудом домашних прислуг. Себя же он вдруг вообразил «новым человеком», «созвучным эпохе», надел высокие сапоги, кожаный картуз, ввел в обиходную речь неприличные слова, называл себя «черной костью», «простым рабочим», «человеком физического труда», будучи на самом деле по происхождению дворянином, а по профессии инженером-химиком. «Прошло то время, когда женщина ловила мужчину и делала его своим мужем одной своей внешностью, пикантностью. Теперь, после Октябрьской революции, женщина берет нашего брата чем-то другим...»

— Ну да, — сказала Гаша, инстинктом женщины сразу принявшая сторону женщины. — Значит, пока вы имели кое-что из имущества, вы были хорошие для него, а как, благодаря революции, потеряли все и остались ни с чем, так стали вдруг плохие!

— И вот, — закончила свою скорбную повесть Ксения Дмитриевна, — без мужа, без средств, без работы, без квартиры и, что самое ужасное, с безнадежной любовью к подлецу, брожу я теперь по Москве и брожу. С помощью старых московских друзей надеялась устроиться на какую-нибудь работу, отыскать для жилья какую-нибудь каморку. Но пока все безуспешно. Как попала сюда, на Трубный рынок, — сама не знаю. Вот

купила фунт квашеной капусты, — взяла она со скамьи подмокший кулек и перевернула его на другой бок, — думала тут, на бульваре, поесть ее...

— А вы поешьте, — смутилась и почему-то покраснела Гаша. — Или лучше пойдете ко мне обедать.

— Нет, спасибо, — отказалась Ксения Дмитриевна. — Есть мне не хочется, меня просто на кисленькое потянуло... Я не столько голодна, сколько утомлена. Не спала несколько ночей подряд. У меня нет своего угла. Комнаты нет. В Москве без больших денег невозможно достать себе комнату. И сегодня я ночью у одних, завтра у других, сегодня сплю на роскошной постели с пружинным матрасом, завтра валяюсь на голом полу в проходном коридоре, на сквозняке...

— Ксения Дмитриевна! — вскричала Гаша жалостливо и заморгала густыми рыжими ресницами. — Да ночуйте вы у меня! У меня все-таки просторно: две комнаты, калидор, кухня. И постелить есть что, и укрыться найдется чем.

— Спасибо, Гаша. Подумаю об этом. А вы замужем?

— Да. Вышла замуж. За того, помните, за Андрея, который тогда ко мне на кухню приходил.

— Помню, помню, — сощурила глаза Ксения Дмитриевна, припоминая. — Интересно, как вы с ним живете? Расскажите.

— Чего рассказывать-то, — сконфузилась Гаша. — Я не знаю, чего рассказывать. Нет ничего такого рассказывать.

— Рассказывайте, рассказывайте, — подбодрила, подтормошила ее Ксения Дмитриевна.

— Ну, поженились мы с ним... — начала Гаша, в смущении оторвала от обертки своей покупки клок белой бумаги, скомкала его в кулаке, бросила под скамью. — Ну, он вскорости после этого сдал экзамен на шофера... — оторвала она еще клочок оберточной бумаги, смяла в руке и бросила туда же. — Ну, он поступил в гараж Наркомздрава... Он на машине ездит, я на машинке шью на больницы белье... Шить хорошо выучилась... Ну, живем мы с ним, с Андреем, конечно, хорошо, обои довольные, он получает, я получаю... Ну, народили двоих детей, на детей тоже не можем пожаловаться, дети все-таки хорошие, слушаются, боятся, две девочки, одной годочек, другой три... Уже все рассказала, — вздохнула Гаша утомленно и подняла лицо: — Вот пройдемте сейчас к нам, тогда сразу все увидите, как мы живем. Пойдемте?

— Нет, Гаша, — соображала Ксения Дмитриевна. — Сегодня я никак не могу. Сегодня я должна проехать по железной

дороге за город, на одну подмосковную дачку, навестить старых друзей, у которых в этот приезд в Москву еще не была. Вот хорошие люди! Может быть, они помогут мне устроиться. Я рассчитываю прогостить у них всю неделю. А в будущее воскресенье я с удовольствием зашла бы к вам.

— Ну смотрите же, не обманите!

— Нет, нет, Гаша. Непременно зайду. Мне самой интересно.

Они распрощались.

И — одна с промокшим кулком кислой капусты, другая с голубым атласом в изорванном свертке — пошли в разные стороны, обе насколько обрадованные встречей, настолько почему-то и подавленные ею.

Зачем, для какой, собственно, цели они заговорили друг с другом? Не лучше ли было бы сделать так, как это делается теперь: притвориться не узнавшими друг друга и пройти мимо?

Кто знает, что за человек теперь Гаша? Кто знает, что за человек теперь Ксения Дмитриевна? Ведь в тот промежуток времени, в который они не виделись, прошла социальная революция.

II

— Ксения Дмитриевна! Дорогая! Наконец-то! — приветствовала гостью рослая, одутловатая, важная на вид, седовласая дама в очках, кормившая с крылечка дачки кур. — Давно пора, давно! — поцеловалась она с Ксенией Дмитриевной, держа в одной руке старый умывальный таз с просом, а другой обнимая вокруг шеи молодую женщину. — Совсем забыли нас! Нехорошо так делать, нехорошо! Но лучше поздно, чем никогда!

— Я много раз порывалась к вам, Марья Степановна, но все не удавалось собраться, — проговорила Ксения Дмитриевна, тронутая теплой встречей. — Вы знаете, как разбрасывает Москва?

— Чего же мы тут стоим? — хорошо улыбнулась ей под стариковскими очками Марья Степановна и выплеснула курам из дырявого таза остатки проса. — Тип-тип-тип... Пройдемте в комнаты.

Они поднялись по ступенькам на крыльцо дачки. Вся дачка — бревенчатая, с затейливой резьбой, с мезанинчиком в два крохотных оконца — походила на игрушечный домик в русском стиле из кустарного магазина.

— Очень хорошо, что пришли, очень хорошо, — обняла хозяйка гостью за талию и пропустила ее вперед себя в дверь. — А то к другим ко всем, слышим, заходите, а к нам нет. Думаем: не обиделись ли вы на нас за что-нибудь?

— Что вы, Марья Степановна, — проговорила гостья с неестественной от вечной внутренней боли улыбкой. — Разве я могу когда-нибудь обидеться на вас? Вы были самая близкая подруга моей матери, знаете меня с пеленок.

— Да, да, — вздохнула Марья Степановна, уже войдя в полутемную комнату. — Ваша покойная матушка, умирая, завещала мне заботиться о вас. И я всегда рада, чем смогу, помочь вам.

— Благодарю вас, Марья Степановна, благодарю, — повторяла растроганно гостья и после яркого уличного света приглядывалась к полупотемкам низкой комнаты.

— Боречка, поздоровайся, Липочка, поздоровайся, — наставительно произнесла Марья Степановна, проходя мимо своих внучат, мальчика лет восьми и девочки лет пяти, нагорбленно сидевших с широко раскинутыми локтями за большим столом в столовой.

Боря, с желтым костлявым лицом и мутными глазами, держал в левой руке вырезанного из старого журнала Илью Муромца на коне, а в правой ножницы с обломанными концами, похожие на рачьи клешни.

При приближении к нему незнакомой дамы в зеленой шляпке он ножницы из правой руки лениво переложил в зубы, а руку с вялой сырой кистью нехотя подол со своего места гостье.

— Встать надо! — прикрикнула на него бабушка, возмущенная его сонливостью. — Липочка, а ты? — тотчас же обратилась она к маленькой, ниже стола, девочке. — Боря уже поздоровался, и ты должна!

Липочка, остриженная под монашка, с ярко-пунцовыми, точно намалеванными, щечками, с живыми зверушечьими глазками, порывисто соскочила со стула, сделала несколько твердых шажков к гостье и молча подала ей без всякого пожатия выпрямленную, как деревяшка, руку.

— А что надо сказать? — с гордым видом спросила бабушка, необычайно довольная внучкой.

Внучка набрала полный животик воздуха, выпучила в пространство бессмысленные глазки, задрала вверх подбородочек и, точно ученица с последней парты, старательно выпалила:

— Спасибо!

Все рассмеялись.

— А ну вас совсем, — махнула рукой на детей бабушка и устала блестящие стекла очков на Ксению Дмитриевну: — Хотите, тут посидим, хотите, выйдем посидеть на террасе?

— На воздухе лучше, — потянулась из мрачной комнаты Ксения Дмитриевна и толкнула перед собой широкую стеклянную дверь, ведущую на террасу.

Они уселись на крытой террасе друг возле друга в поскрипывающих плетеных креслах.

Со всех сторон их окружал старый хвойный лес, высокой стеной стоявший тут же, за палисадником, в каких-нибудь двадцати шагах от дома.

Красные стройные стволы сосен на всем пространстве леса равномерно чередовались с синими пышными елками, точно элитные кавалеры в золотых мундирах и томные дамы в широченных юбках, навсегда застывшие в неоконченной фигуре кадрили...

Лес так и дохнул на Ксению Дмитриевну вечным сумраком, жуткой глубиной, безжизненным покоем так и заговорил ее раскрывшейся душе о бесконечности времен, о безграничности пространств, о возможности жизни иной...

И ей не хотелось ни слушать очкастую Марью Степановну, ни самой говорить.

Хотелось только сидеть, смотреть на лес и молчать, отдыхать больной душой, погружаться всем своим существом в космическую материю, отдать себя во власть силам природы, единственно мудрым, раствориться в них без остатка.

Вот где лечить свое безумствующее сердце!

Вот у кого спрашивать от сумасшедшей любви совета!

— Ну, как же вы устроились в Москве? — спрашивала Марья Степановна. — Где служите? Много ли получаете? Хорошая ли у вас квартира или пока только одна комната?

— Устроилась я плохо... — делала мучительные усилия над собой, чтобы отвечать, Ксения Дмитриевна. — Вернее — никак не устроилась... Нигде не служу... Никак не могу найти комнату... Витаю в воздухе... может быть, вы, Марья Степановна, поможете мне куда-нибудь поступить, на самое ничтожное жалованье, и расспросите у ваших знакомых, не найдется ли у них для меня какой-нибудь конурки, хотя бы темной?

Лицо Марьи Степановны, когда она выслушивала эти слова, вытягивалось, вытягивалось, вытягивалось.

— Как?! — не верила она своим ушам. — Вы еще нигде не служите? Вы до сих пор не могли отыскать себе комнату? Но вы ведь уже давно в Москве?

Ксения Дмитриевна повела темными бровями:

— Что же из того, что давно.

Марья Степановна продолжала испуганно разглядывать Ксению Дмитриевну. Уж не рассчитывает ли она, чего доброго, поселиться у них на даче? С вещами она прибыла к ним со станции или без вещей?

— Да, — спохватилась она с притворным участием. — А где же вы оставили вашу кошелочку? Вы, кажется, приехали к нам с кошелочкой?

— Да, — просто ответила гостья. — Я с чемоданчиком приехала. Я его в столовой на подоконнике оставила.

— То-то, — притворно успокоилась хозяйка. — А то у нас тут насчет этого приходится держать ухо востро. Того и гляди стащут. В особенности, если в вашей кошелочке заподозрят что-нибудь ценное.

— Нет, там ценного ничего нет. Самые пустяки. Смена белья, полотенце, кусок мыла.

Марья Степановна откинула седую голову на спинку кресла, вонзила очкастые глаза в дощатый потолок террасы и, чтобы заглушить поднимающийся из груди стон отчаянья, сдавленным голосом запела-замычала больше всего опротивевший ей за лето мотив «Вихри враждебные»...

Она так и знала! Ксения Дмитриевна приехала к ним жить! «Смена белья!» «Полотенце!» «Кусок мыла!» Это как раз те предметы минимального домашнего обихода, с которыми путешествуют по чужим квартирам эти нигде не прописанные, не имеющие «жилой площади» московские кочевники!

— Неужели же, — заговорила она деревянным голосом в деревянный потолок террасы, — неужели же никто из ваших друзей и знакомых не мог посодействовать вам в отыскании комнаты, в определении на службу?

— В том-то и дело, что нет, — слабым голосом ответила Ксения Дмитриевна, не отрывающая глаз от манящего ее сумрака леса.

— Ведь что-нибудь надо же есть! Где-нибудь надо же ночевать! — трудно спросило с одного кресла у потолка.

— Ем я большею частью по знакомым... — трудно ответило с другого кресла лесу. — Сплю тоже... Вот сегодня, например, думаю просить разрешения переночевать у вас...

— Вих-ри враж-деб-ны-е... — еще глуше и еще медленнее замычал революционный мотив в утробе старой, консервативно настроенной женщины.

— Конечно, если только это не очень вас стеснит, — в смущении прибавила гостя.

— Тут дело не в стеснении... — туго, слово за словом, вылезало из сдавленного горла хозяйки и на полдороге застряло, так и не досказав, в чем же тут дело.

— Главное, — продолжала Ксения Дмитриевна, — я так устала, так расклеилась нравственно, не спав несколько ночей подряд, что сейчас не мечтаю о большем счастье, чем то, если бы вы дали мне возможность хотя одну ночьку поспать как следует.

— Да, конечно, — неопределенно ответила хозяйка. — Сон — великое дело. Сон для человека прежде всего. Сон даже важнее еды.

И они замолчали.

Было слышно, как ссорились в комнатах дети, как гонялись они друг за другом, как плакала Липочка и хохотал над ней Боречка...

На деревянное крыльцо террасы откуда-то с высоты бесшумно упал большой пухлый пятипалый лист цвета яичного желтка, похожий на оброненную желтую перчатку. За ним, рядом, упал такой же другой.

Ксения Дмитриевна страдальчески вздохнула.

— Осень в природе... Осень на душе... — с театральным пафосом произнесла она, глядя на пару желтых пухлых перчаток.

— Ну, до вашей-то осени еще далеко, — не согласилась с ней Марья Степановна и вдруг спросила: — А Геннадий Павлович вам часто пишет?

— Как когда, — ответила Ксения Дмитриевна. — То по два месяца от него нет ни одной строчки, то вдруг начнет сыпать письмами по два и по три в день. У этого человека все ненормально.

Ксения Дмитриевна немного помолчала, точно раздумывая, стоит ли об этом говорить, потом убито продолжала:

— И письмам его я не рада, он ими только тиранит меня. И мои письма, по его словам, действуют на него точно таким же образом.

— Зачем же вы тогда переписываетесь? Чтобы мучить друг друга?

— Я и сама не знаю.

— Раз он с вами так нехорошо поступил, вам надо как можно поскорее забыть его.

— Не могу я! — обратила вверх к вершинам деревьев восковое лицо Ксения Дмитриевна. — Не могу я его забыть,

и хочу, да не могу! — говорила она дрожащим голосом. — И сейчас, с тех пор как сошла с поезда на вашу платформу и увидела этот чудесный лес, я все время думаю только о нем. Вижу красоту природы, разговариваю с вами, а в груди не перестаю чувствовать тупую боль и знаю, что эта боль — он. Сама не понимаю, Марья Степановна, что это: разврат, привычка к определенному мужчине или еще что-нибудь, но только чувствую, что не проживу без него, зочахну, умру!

— А если так, — наблюдая за ее страданиями, заметила Марья Степановна, — тогда не надо было торопиться с разводом.

Ксения Дмитриевна болезненно улыбнулась вершинам деревьев.

— Нам невозможно было дольше тянуть, — простонала она. — Жизнь наша стала слишком невыносимой. Каждый день его придирки, каждый день мои слезы.

— И все-таки надо было терпеть, — настаивала старая женщина. — А как же мы терпели от ваших отцов, мы, ваши матери? — заговорила она с чувством. — Вы, нынешние, чересчур горячитесь. Чуть что-нибудь не по вас, как вы уже: развод, развод! А того не хотите сознавать, что, пока вы живете с мужем, у вас хотя определенное положение есть.

— Зато теперь у меня свобода есть, — сказала Ксения Дмитриевна.

— Свобода? — насмешливо заблестели глаза под очками у Марьи Степановны. — А какой вам толк от этой свободы? Ваш бывший муж, Геннадий Павлович, разве вам помогает?

— Нет!

— Ну вот видите! — сделала убеждающую мину Марья Степановна, потом прибавила, со вздохом, певуче: — Не ожидала я этого от Геннадия Павловича, не ожидала! А нам-то он казался таким порядочным, таким благородным!

— Раньше он был другим, — пожаловалась молодая женщина. — На него революция так подействовала. Приблизительно с 1919 года он начал жалеть тратиться на меня. А в 1921 году уже открыто проповедовал свои новые послереволюционные взгляды. «Жена, если она человек, а не вещь, сама должна зарабатывать на себя». И все в таком же роде.

— Ого! — возмущенно прыснула Марья Степановна и с недоброй улыбкой уставилась сквозь очки куда-то вдаль. — Совсем по-большевистски. Это только у большевиков не делают различия между мужчиной и женщиной. Комсомолки, например, — рассказывала она о большевиках как о турках, —

комсомолки, те, например, носят у них мужские штаны, мужские картузы, по-мужски стригут волосы, по-мужски курят, сплевывают, сквернословят. Полное освобождение от всяких «женских нежностей». Насмотрелась я на них тут летом, наслушалась...

— Брр... — между тем зябко задрожала Ксения Дмитриевна и, поеживаясь, с испугом огляделась на обступавший их со всех сторон угрюмый вековой лес. — А все-таки у вас тут, Марья Степановна, жутко, тоскливо. Я в такой глуши не смогла бы долго прожить. Меня уже и сейчас что-то гложет, что-то давит в этом беспросветном полумраке леса, в его скованной неподвижности, в могильном безмолвии. И хорошо, и красиво, и в то же время клубок подкатывается к горлу, хочется плакать...

— Скоро должны вернуться из Москвы наши. Тогда, на людях, вам будет повеселее, — сказала Марья Степановна. — Хотите, пока светло, пройдемся по нашему лесу?

— Очень.

Они встали, спустились с террасы, вышли из палисадника и окунулись в вечный сумрак угрюмого северного леса.

И опять заговорили о Геннадии Павловиче, о мужчинах, женщинах, о любви, браке, разводе...

III

— А вот и наши идут, Валерьян Валерьянович с Людочкой, — указала Марья Степановна на конец лесной просеки, когда она и Ксения Дмитриевна возвратились к новому сосновому палисаднику дочи, почему-то напоминающему ограду вокруг могилы.

— Валерьян Валерьянович и Людмила Митрофановна! — воскликнула Ксения Дмитриевна с ожившимся лицом и уставилась в конец широкой просеки на две приближающиеся человеческие фигуры, мужскую и женскую. — Вот интересно, изменились они за время революции или нет? Ну как они живут? Все служат?

— Служить-то служат, — покачала головой Марья Степановна и кисло поморщилась под очками. — Но какая теперь служба? Сегодня ты служишь, завтра тебя «сокращают»... Валерьяна Валерьяновича в этом месяце понизили на один разряд, Людочку на два. Что хотят, то и делают.

Дочь Марьи Степановны, Людмила Митрофановна, и ее муж, Валерьян Валерьянович, оба советские служащие, сойдя

с поезда и пользуясь отсутствием посторонних свидетелей, пока шли лесной просекой, всю дорогу бранились между собой.

Валерьян Валерьянович — очевидно, на правах мужа — старался насильственно что-то втолковать жене. Жена назло мужу не желала слушать его, зажимала руками уши, перебежала по траве через всю ширину дороги с одной стороны просеки на другую. Муж въедливо догонял ее и, нагорбясь как дятел, долбил и долбил ее в затылок своими речами...

— Вот видите, — кивнула на них Марья Степановна. — Тоже все время ругаются: и дома, и на службе, и в поезде, и на просеке. И тоже только и разговору у них, что «разойдемся» да «разойдемся». Разойтись-то легко, а дети?

Как раз в этот момент супруги увидели издали в палисаднике своей дачки рядом с седовласой Марьей Степановной другую даму, молодую. Муж и жена переглянулись, перебросились несколькими деловыми словами — очевидно, заключили временное перемирие, потом, подобравшись, пошли рядом с таким видом, как будто впереди их ожидала засада.

— Мама, папа! — в развевающейся на ветру голубой рубашке, без пояса, с непокрытой вихрастой головой, размахивая длинными руками, выбрасывая ногами, как дьяволенок с того света, вдруг бросился из палисадника им навстречу Боря. — А к нам какая-то женщина приехала жить!

— Навовсе! С вещами! — резко прокричала маленьким ротиком Липочка, едва поспевающая за братом, с такой оголтелой рожицей, точно у них в доме в отсутствие родителейстряслось великое несчастье.

И детишки, словно отважные гонцы, доставившие на поле сражения важные вести, отпрянули от своих ошарашенных родителей так же стремительно, как и подлетели к ним.

— Простите, — обратилась Марья Степановна к гостье, и в голосе ее послышалась растерянность. — Пока наши с дороги переоденутся, умоются, вы посидите тут, а я пойду в кухню хлопотать насчет обеда. Пообедаете с нами.

Ксения Дмитриевна, оставшись на террасе одна, не заметила, как начала думать...

...Вот она сейчас сидит у черного крыльца своих старых московских друзей и с волнением ждет: позовут они ее обедать или не позовут? Может статься, что и не позовут...

— Это что за дама к нам там приехала? — едва переступив порог дома, спросил у своей тещи Валерьян Валерьянович,

замученный службой, семейными неурядицами, ежедневной ездой на железной дороге, сутулый, худосочный интеллигент, с небритого лица которого никогда не сходило выражение человека, только что исхлестанного кнутами.

— Это Беляева Ксения Дмитриевна, — тихо, озираясь, проговорила Марья Степановна и двумя тряпками выхватила из горячей духовки синюю полуведерную кастрюлю с супом.

— Она к нам надолго? — снимал возле умывальника пиджак Валерьян Валерьянович, закатывая рукава сорочки.

— Нет, ненадолго, — хлопотала с обедом Марья Степановна. — Только одну эту ночь переночует.

Валерьян Валерьянович нагнулся перед умывальником, нацедил в обе пригоршни воды, с фырканьем окатил ею запыленное лицо.

— Знаем мы эту «одну ночь»! — покривил он вбок мокрое недовольное лицо. — Это только так говорится, что на одну ночь, — намыливал он щетинистое лицо. — А делается совсем иначе. Этим людям важно только влезть в дом, только ступить туда хоть одной ногой. А потом их оттуда родильными щипцами не вытащишь.

— Валерьян! — взмолилась теща. — Не говорите так о ней, не говорите! Она так несчастна!

— А мы счастливы? — истерически взревел, весь в мыле, Валерьян Валерьянович. — Вчера почти что со скандалом выпроводил из дома на станцию одного такого московского кочевника: обманным образом забрался в дом и не желает уходить! Вцепился в чужой дом, как клещ! Пришлось почти что силу употребить и еще взять на свой счет железнодорожный билет до Москвы.

Валерьян Валерьянович стоял и вытирал полотенцем лицо, шею, уши.

— И нам же оскорбления посылал из вагона, когда тронулся поезд! — возмущался он. — «Окопавшиеся интеллигенты!», «недорезанные буржуи!» И это за нашу же хлеб-соль, за то, что мы три дня его кормили, поили, делились с ним подушками, рискуя от него заразиться! То было вчера, а сегодня, пожалуйста-с, уже является другая! Вчера мужчина, сегодня дама. Вчера безработный, сегодня разведенная. А завтра еще кого прикажете ожидать? Ты безработный? Ну и иди на биржу труда. Ты развелась с мужем? Ну и разведись, черт с тобой, мне не жалко, только при чем же мы тут, зачем ты насильственным образом ввергаешься в наш дом?!

— А если ей негде жить? — бросала на ходу свои замечания Марья Степановна, таскавшая из кухни в столовую пищу, посуду...

— А мне какое дело? — перед выходом в столовую надевал пиджак Валерьян Валерьянович. — Значит, по-вашему, у кого нет в Москве «жилой площади», тот может преспокойно залезать мне на шею? К черту! Не желаю! Вот не выйду туда обедать, подавайте мне здесь!

Валерьян Валерьянович взмахнул руками и бомбой вылетел из кухни.

Минуту спустя все мирно сидели в столовой за общим столом и обедали.

Неразговорчивость хозяев во время еды, их холодные, как каменные маски, лица и наконец слишком откровенное поведение детей, тарасивших удивленно-вопросительные глаза на непрошеную гостью, — все это красноречивее всяких слов говорило Ксении Дмитриевне, что ей в этом доме так же не рады, как везде.

Куда ей деваться? Где искать внимания, участия?

Почему же, на каком основании она всегда была о людях лучшего мнения?

И в знак протеста против черствого отношения к себе хозяев она старалась за обедом как можно меньше есть.

— Ксения Дмитриевна, вам подложить еще? — спрашивали у нее хозяйки, то старая, то молодая.

— Нет, благодарю вас, не хочется, — демонстративно отвечала она, расстроенная, готовая расплакаться от голода, от унижения.

— Вы, может быть, стесняетесь? — допытывалась Марья Степановна, учуявшая в поведении госты что-то неладное. — Вы, может быть, думаете, что у нас супу не хватит? Супу-то хватит. Жидкого наварили много. А вот второго — не знаю...

— Нет. Очень вам благодарна, Марья Степановна. Я уже сыта. И от второго заранее отказываюсь.

— Ну-ну, это мы посмотрим. Может быть, там еще и хватит...

Когда ели второе, Ксения Дмитриевна, чтобы не молчать, рассказала о своей неожиданной встрече с Гошей.

— ...Живет своей квартирой. Видно, ни в чем не нуждается. Замужем. И он и она зарабатывают. Очень упрасивала меня поселиться у нее...

При последней ее фразе все пять физиономий обедающих вдруг повернулись к ней. И пять ложек, наполненных кашей, остановились в воздухе, между тарелками и раскрытыми ртами.

— Ну и чего же вы не воспользовались ее предложением? — тоном удивления высказала Марья Степановна их общую мысль.

Остальные четверо в знак солидарности с ней мотнули головами.

— Я непременно к ней зайду, — произнесла Ксения Дмитриевна. — Завтра же пойду посмотрю...

— Чего же там смотреть? — резко проговорил Валерьян Валерьянович и насмешливо дернул плечами.

— Поселяйтесь у нее, и больше ничего, — дополнила слова мужа Людмила Митрофановна, костлявая женщина с маленькой головой и с узким, длинным, бесформенным, как веревка, туловищем.

— Я поселюсь, но раньше хочу узнать, какая у нее семья, какой муж, — оправдывалась Ксения Дмитриевна.

— Не знаете, какой у нее муж? — злобной усмешкой покривил лицо Валерьян Валерьянович. — Известно: какой-нибудь коммунист, из рабочих, занимающий хороший пост.

— Я этого не знаю, коммунист он или нет, — сказала Ксения Дмитриевна.

— Коммунист, коммунист, — убежденно повторяла Людмила Митрофановна.

— Партийный, партийный, — настаивала и Марья Степановна. — Гашка девка ловкая, сообразительная, за беспартийного она не пошла бы.

— Но вы смотрите не зевайте, поселяйтесь у нее поскорее, пока она не раздумала, — советовала гостье молодая хозяйка.

— Помните, что Гаша у вас в большом долгу, — помогала молодой хозяйке старая. — Она вам многим обязана. Одних вещей сколько она у вас перетаскала, пока служила у вас горничной.

— Как? — с острым наслаждением вскричал Валерьян Валерьянович. — Воровала?

— Ну, конечно, — ответила теща.

— Вот так пролетариат! — воскликнул Валерьян Валерьянович. — Воры!

— Ну, что она у меня там таскала?.. — снисходительно пожал плечами Ксения Дмитриевна. — Разную там мелочь: пудру, духи...

— А чулки шелковые забыли? — поправила ее старая хозяйка и перестала есть. — А панталоны фильдекосовые, голубые, забыли?

На лице Ксении Дмитриевны скользнула тонкая улыбка.

— Вы даже цвет тех панталон помните, — сдержанно сказала она. — Прошло семь лет революции.

— Тогда и вы хорошо помнили, это вы только теперь забыли! — съязвила старая хозяйка. — Я помню, как вы тогда из себя выходили, собирались в сыскное на нее заявлять.

— Да, это верно, — не защищалась гостя. — Но тогда я слишком много придавала значения своим тряпкам, а Гаша получала у меня такое маленькое жалованье...

— Это не оправдание! — запрыгал над столом Валерьян Валерьянович. — Воровка есть воровка!

— И останется воровкой! — добавила его жена, извиваясь по стулу веревкой.

— Во всяком случае, — твердо заявила Марья Степановна госте, — во всяком случае, она должна хотя теперь чем-нибудь вас вознаградить.

— Она уже вознаградилась, — сделала гостя ударение на слове «уже».

— Чем?

Все насторожились. И снова пять ложек остановились в воздухе.

— Тем, что отнеслась ко мне как никто, — произнесла гостя.

— Этого мало! Этого мало! — закричали за столом все. Ксения Дмитриевна вспыхнула.

— Не буду передавать всего подробно, — сдерживая себя, заговорила она. — Только скажу, что она взяла с меня слово, что я завтра же приду к ней ночевать, даже жить.

— А вот это другое дело, — сказал Валерьян Валерьянович.

— Вот это хорошо, — прибавила его супруга.

— Конечно, если у нее целая квартира и муж коммунист, то у нее вам будет удобнее всего, — опять высказала общую мысль Марья Степановна.

И, успокоившись на этом, хозяева остальное время обеда посвятили разговорам о службе, говорили о мизерности платы, жаловались на вечный страх быть «сокращенными»...

— За что меня понизили на разряд?! — спрашивал муж.

— За что меня понизили на два разряда?! — спрашивала жена.

О том же говорили и за вечерним чаем, заменявшим ужин, и поздним вечером, ложась спать...

На другой день, дав молодым уйти на службу, Ксения Дмитриевна, плохо спавшая ночь, вялая, равнодушная ко всему, побла-

годарила Марью Степановну за приют и отправилась в обратный путь.

— А чемоданчик? — окликнула ее с крылечка Марья Степановна и с заботливым видом вынесла ей за калитку палисадника желтый, из фанеры, узенький чемоданчик, с какими в Москве ходят в баню. — Вы уж, дорогая моя, на меня не сердитесь, — произнесла она озираясь, чтобы не подслушали дети. — Простите меня, Христа ради, старуху. Я тут не властна. Я сама на их счет живу.

— Я понимаю, — мучительно процедила в землю Ксения Дмитриевна, закусив губы.

Они распростились.

Ксения Дмитриевна в ярко-зеленой шляпке куполом, в длинном фиолетовом пальто, с легким желтым чемоданчиком в руке, удаляясь от одиноко расположенной лесной дачки, шла не по тропинке возле стены соснового леса, а прямо по зеленой траве, самой серединой просеки.

Даже издали, даже сзади вид у нее был до чрезвычайности жалкий. Она и шагала как бесприютная, как прогнанная, медленной, виляющей из стороны в сторону походкой, точно шла с завязанными глазами. И желтый фанерный чемоданчик таким ненужным, таким случайным болтался в ее руке, держась как бы на одном ее пальчике, что, казалось, сорвись он и упади на землю, она даже не наклонится, чтобы его поднять...

Марья Степановна долго стояла на крылечке дачи, держалась за дверную ручку, провожала дальнозоркими старушечьими глазами удаляющуюся фигуру несчастливой в браке «Ксенички Беляевой». И невольно начала она думать о судьбе своей дочери Людочки... Валерьян Валерьянович человек издерганный, неуравновешенный, вспыльчивый. Живут они с Людочкой беспокойно, как на горячих угляях. Все чаще возникает у них разговор о разводе. И если он однажды бросит Людочку, то той, быть может, придется так же слоняться с пустым чемоданчиком по Москве и окрестностям, по непонятно очерстевшим близким людям в безрезультатных поисках где обеда, где ночлега...

Марья Степановна достала носовой платок и всплакнула...

Когда минут двадцать спустя дачный поезд, мчавшийся на Москву, тряс и подбрасывал на неровных рельсах Ксению Дмитриевну, она сидела на клейкой вагонной лавочке и думала, что это не поезд подбрасывает и несет ее, а сама судьба. Оторвав-

шись от мужа, она тем самым оторвалась от почвы, от земли, от жизни, от всего. Жизни у нее сейчас нет. Без корней, без воли, без каких бы то ни было определенных целей, она носится и, вероятно, долго еще будет носиться как пылинки в воздухе.

Что ее ждет?

«...Ни-че-го!.. Ни-че-го!..» — с железной жестокостью отбивали по железным рельсам железные колеса. «...Ни-че-го!.. Ни-че-го!..»

IV

Гаша занимала квартиру на Сретенке, в громадном пятиэтажном доме коммуны шоферов.

Ксения Дмитриевна явилась к ней вместо будущего воскресенья в первый же понедельник, то есть на другой день после их встречи на Трубном рынке.

Выражение лица у нее было подавленное, виноватое.

— Я обещала прийти к вам, Гаша, в будущее воскресенье, а пришла сегодня, — едва переступив порог квартиры, начала она свои объяснения. — Это произошло из-за того, что из поездки на дачу я вернулась скорее, чем предполагала. А это вышло оттого...

— Тем лучше, — обрадовалась и засуетилась Гаша. — Тем лучше, что раньше приехали. А я все это время так жалела, что тогда на Трубном рынке не догадалась взять у вас адресочек, по которому могла бы вас отыскать, если бы вы меня обманули и не пришли... Раздевайтесь, садитесь, сейчас поставлю самовар, побеседуем.

— Спасибо, Гаша. Только вы ради меня самовара не ставьте, ни о чем не хлопочите и ничего не устраивайте.

— Как? Вы от чая отказываетесь? А были такая любительница чая.

— Да. Но сейчас я не могу ни пить, ни есть. Очень волнуюсь. Лучше немного погодя, потом.

Она разделась, поправила перед зеркалом свою красивую высокую прическу, села в мягкое кресло, осмотрелась и, как это всегда бывает в таких случаях, для начала разговора спросила Гашу, давно ли она живет в этом доме, довольна ли квартирой...

Гаша с веселым криком вскочила.

— Да! Ведь вы еще квартиру мою не видели! Пойдемте, я вам квартиру свою покажу!

Они встали и пошли по всем закоулкам небольшого, но уютного помещения на каждом шагу останавливались Гаша давала пространные объяснения, точно учительница Ксения Дмитриевна с лицом ученицы стояла и внимательно слушала иногда сама задавала вопросы...

— ...Это одна наша комната, самая большая, парадная, вроде как у вас называлась гостиная... Это другая, похуже, потемней, вроде как у вас была спальная... Это калидор. Калидор светленький, хламом не заваленный... Это кухня. Кухня просторная, сухая, белье не вешаем, плита исправная, крант зимой не замерзает... Это уборная. Уборную стараемся содержать в чистоте, часто заходит комиссия, убираем по очереди, как вообще по коммунам...

— Стены не сырые? — иногда принуждала себя спрашивать Ксения Дмитриевна и потупленным взором глядела, якобы внимательно, на низы стен. — Потолки не низки? — затем трудно поднимала она лицо вверх, столь же безрадостно, ко всему безразлично. — Форточка в окнах тоже есть?.. Соседи в своих комнатах не бунят?..

По мере того как жизнерадостная Гаша получала от Ксении Дмитриевны хвалебные отзывы о своей квартире, лицо ее все более разгоралось, руки-ноги ходили, зад выпирался, как бараний курдюк.

— Теперь обойдемте, посмотрите, что у нас есть из мебели, — когда осмотр комнат был закончен, с особенной веселостью предложила она, и по ее играющему лицу было видно, что за эту вторую часть осмотра она заранее была спокойна. — Эту новую английскую никелированную полуторную кровать с пружинным матрацем дали мужу из мебельного депа на выплату, понемножку вычитают из жалованья, — объясняла она присутствие у себя в доме каждой хорошей вещи, и на лице ее светилась уверенность, что Ксения Дмитриевна, как бывшая барыня, лучше других сумеет оценить высокое качество ее обстановки. — За этот буфет окончили выплату еще в прошлом году, семнадцатого февраля. Вы что смотрите?

— Я смотрю, — щурилась Ксения Дмитриевна на буфет, — он не дубовый?

— Нет, не дубовый. Только под дуб. С дубовой наклейкой. Дубовые хуже: скорее потрескаются, очень тяжелые... Этот гардероб с зеркальной дверью взяли по случаю у одного поляка, когда он уезжал в Варшаву: деньги пришлось по всей коммуне по мелочам набирать... За диван и за мягкие креслы еще и сейчас частному комиссионеру выплачиваем, каждый месяц приходит,

надоел, а отказаться от хорошей мебели, упустить ее другим было жаль... Этот портрет на стенке Андрея, когда он был до службы, это его же, когда он был на службе, это когда женился, это когда потом, это когда сейчас. А это я, когда была еще невестой, это когда была в положении первым дитем, это снятая на карточку уже с дитем, это когда была в положении вторым дитем, это когда благополучно разрешилась от бремени вторым дитем. А на этой карточке мы все вместе снятые, семейная, за одну два с полтиной дали... Да, еще вот про эти часы ничего не рассказывала. Часы эти мужу по билету достались. У мужа в гараже шоферы между собой билеты на эти часы тянули, кому на счастье достанутся. В первый раз, как тянули, одного с фальшивым билетом поймали, очень сильно избили, не мог на ноги встать, на машине домой приставили. Когда тянули во второй раз, часы мужу достались. Часы хорошие, бой сильный, но мне не очень нравятся, бывают лучше, с кукушкой, но те дороже, а то еще бывают — во время боя из этой башни черт с рожками выскакивает и на все стороны рожи кривит, но те еще дороже...

Гаша, когда вышла в переднюю, растерянно остановилась, передохнула, подумала.

— В комнатах, кажется, все осмотрели, теперь пройдем в кухню. Там тоже можете кой-чем поинтересоваться. Там тоже на столах да на полках хорошенькие вещички есть...

Из кухни прежним порядком — Гаша впереди, Ксения Дмитриевна позади — они опять проследовали в первую комнату, оттуда в спальную...

— Мы с мужем почти что каждую получку что-нибудь приобретаем, — рассказывала по пути Гаша. — Деньги все равно так розойдутся, а это по крайней мере вещи. Скорей в харчах себе стесняем, а хорошую вещь, если попадетя, никогда не упустим. Ни у меня, ни у моего Андрея раньше ничего не было. Все это мы с ним вместе нажили. В деревне все смеялись надо мной, когда я за него выходила. «Дура ты, дура! За кого ты выходишь? Только за одного мужика? А где же его вещи?» Сродственники плакали. А-а! — вдруг засияла Гаша особенной улыбкой счастливой матери и указала гостье на пол: — Вот вам мои дети!

И Ксения Дмитриевна увидела в углу спальни, на полу, на истертом ковре, среди множества разбросанных в беспорядке игрушек, двух маленьких хорошеньких большелобых девочек.

Старшая, трех лет, с нежными, желтыми атласными волосиками, с широким голубым бантом на макушке, одетая в темно-

красное с белыми вишенками платьице, сидела на полу и пухленькими ручками укладывала в кукольную плетеную кроватку свою глазастую, с отколотым носом, «Катьку».

Младшая, одного года, еще совсем без волос на нежной угловатой голове и потому больше похожая на мальчика, толстая, налитая, точно нафаршированная, в одной куцей белой рубашечке, стояла на четвереньках над самой кроваткой «Катки», как собачонка, и с интересом наблюдала за аккуратной работой сестренки.

— Здравствуйте, девочки! — обратилась к ним с улыбкой Ксения Дмитриевна.

— В-вот! — вместо ответа, сидя на полу, задрала вверх одну ножку старшая и показала гостье на свои новые тупоносые башмачки. — В-вот! — придерживала она обеими руками задранную ножку, точно нацеливаясь из нее в гостью, как из ружья. — Мои!

— А-а! — еще не умеющая говорить, резко, по-зверушечьи, прокричала, обращаясь к незнакомке, младшая. — Ааа! — синими заокоченелыми лапками ухватила она, как сестра, за одну свою ножку и нацелилась в гостью таким же хорошеньким новым сапожком.

Мать пожаловалась любя:

— Прямо наказание с ними! Ничего нельзя покупать им поврозь: что одной купишь, то непременно покупай и другой. Иначе слезами изведут.

Познакомившись с квартирой, с вещами, с детьми, уселись на мягкий диван с малиновой обивкой, начали беседовать.

Вспомнили о прошлом... Обменялись мнениями относительно настоящего...

Припомнился Ксении Дмитриевне вчерашний разговор на даче о муже Гаши.

— Гаша, — спросила она, — ваш муж партийный?

— Да, коммунист, — легко и просто ответила Гаша, точно ее спросили, брюнет ее муж или блондин. — Коммунист, только не страшный, — улыбаясь, прибавила она, видя смущение Ксении Дмитриевны. — И вы его не бойтесь. Я знаю, что он понравится вам. Вы даже не поверите, когда увидите его, что он коммунист: такой смирный. Другой раз курицу попросишь зарезать, и то откажется и глаза затулит, чтобы не видеть, как режут другие. Это, говорит, душегубство.

— Вот как! — вырвалось из уст Ксении Дмитриевны восклицание удовольствия.

Гаша, улыбаясь, продолжала:

— Он даже «Политграмоту» за целый год не может до конца дочитать. Как сядет с ней в мягкое кресло, которое у поляка купили, так и заснет: книжка, раскрывшись, на полу лежит, а он на боку в кресле спит. Так что опасности большой от него не может быть. А так пускай пока побудет в партии.

Ксения Дмитриевна рассмеялась.

Несколько минут спустя Гаша усадила свою гостью за специально для нее приготовленную яичницу на ветчинном сале.

Ксения Дмитриевна ела и во всем чувствовала глубокую искренность Гаши.

— У вас хорошо, Гаша, мне нравится, — говорила она, сидя за столом, за яичницей, и умиротворенными глазами осматриваясь вокруг.

— Вот и оставайтесь у меня жить, если вам нравится, — улыбнулась Гаша, закусывая вместе с гостьей.

— А как посмотрит на это ваш муж?

— Андрей? Как он посмотрит? Никак. Ему что? Ему главное — лишь бы я не меньше шитвом зарабатывала. А при вас я, безусловно, заработаю больше. У меня дети больше половины времени отнимают. А если вы согласитесь за ними присматривать, тогда я смогу в два раза больше заказов на белье набирать.

— А заказы есть?

— У меня? Сколько хотите.

Ксения Дмитриевна, взволнованная предложением Гаши, встала и зашагала из угла в угол по комнате.

— А как я старалась бы, Гаша, быть вам полезной! — проговорила она мечтательно и остановилась посреди комнаты с вдохновенным лицом. — Я не только смотрела бы за вашими детьми, я бы делала в вашем доме решительно все, чтобы вы могли отдаться всецело шитью!

— Ну что же, — сказала Гаша, убирая со стола. — Вот давайте и сделаем между собой союз.

Ксения Дмитриевна подняла вверх свои черные, жгучие глаза.

— Знаете, Гаша, что?

— Ну? — остановилась Гаша на пути в кухню с алюминиевой сковородкой из-под яичницы.

— Я согласна, — ответила Ксения Дмитриевна. — Только боюсь, ваш муж не согласится.

— А чем же вы ему помешаете? — пробежала Гаша в кухню и тотчас же вернулась обратно. — Он все равно никог-

да не бывает дома: то на работе, то сверхурочные выгоняет, то на собраниях. Я знаю: раз я согласна, то и Андрей согласится. Вот увидите. Он скоро должен прийти.

Тук-тук-тук — застучали в это время ногой с черного хода.

— А это кто? — удивилась Гаша, пошла отперла дверь и впустила в комнату молоденькую краснощекую девушку в красной косынке на голове.

— Завтра вечером в ленинском уголке читается лекция «О женских болезнях», — сказала девушка, подошла к столу и села на стул. — Читает хороший доктор, тот, который читал о скарлатине. Женщины все должны быть. Кто не придет, будет записан в отсталые. Распишитесь, что читали, — положила она на стол бумажку.

— Ксения Дмитриевна, распишитесь за меня, — попросила Гаша, очевидно, стесняясь показать ей свой плохой почерк.

Ксения Дмитриевна с любовью посмотрела на молоденькую девушку, позавидовала в душе ее юности, удивительной бодрости.

— Это то, что мне нравится у коммунистов, — сказала она, беря со стола бумажку.

И расписалась.

V

Вечером, когда дети спали, а обе женщины сидели в столовой за большим столом и при электрическом свете шили больничные халаты, пришел с работы Андрей.

Сверкающе-рыжий, с поразительно здоровым цветом лица, едва ввалился он в квартиру, как от всей его нескладной фигуры повеяло свежим воздухом улицы, а от шумного дыхания и ничем не стесняемых движений — крепостью духа и органическим сознанием своего права на жизнь.

Все форменное, шоферское, что было надето на нем — черный кожаный картуз, черная кожаная тужурка, черные кожаные брюки и черные кожаные сапоги, — блестело неприятным металлическим блеском и делало Андрея похожим на вылитую из бронзы статую.

Манеры у Андрея были самые естественные, простые и, как почти у всех людей физического труда, подчеркнута грубые.

Несмотря на поздний час и близость спящих соседей по квартире, он без всякого стеснения громко хлопал дверьми, бил

по полу сапожищами, как молотками, разговаривал тем самым оглушительным голосом, каким привык кричать со своей машины на улице. Он и звонил в квартиру чрезвычайно резким звонком, непрерывным, нетерпеливым, тревожным, как будто на лестнице его душили грабители. И Гаша так бросилась в переднюю на его звонок, что Ксения Дмитриевна боялась, как бы она не расшиблась о дверь в лепешку.

Войдя в первую комнату, Андрей вопросительно остановил на Ксении Дмитриевне свои ясные, серые, ничего не говорящие глаза, оба сильно косили вовнутрь, как бы всегда глядящие на кончик большого, красного, некрасивого мужицкого носа.

— Вот это мой муж, Андрей, — представила их друг другу Гаша. — А вот это бывшая моя молодая барыня, Ксения Дмитриевна, которую ты, Андрей, должен помнить.

Андрей, приглядываясь к гостье безразличными ясными глазами, сведенными на кончик носа, молча пожал ей руку. Потом, видимо торопясь обедать, он прошел во вторую комнату, еще на ходу стаскивая с себя все кожаное с таким видом, точно оно его кусало.

И через минуту Ксения Дмитриевна увидела перед собой вместо прежней неживой бронзовой статуи прекрасного деревенского малого, голенастого, косолапого, с уродливо громадными кистями рук, длинно вылезавшими из коротких рукавов рубахи, очень здорового, нечесаного, с сильно косящими вовнутрь детскими глазами, одетого в длинную, невыносимо желтую, желтее охры, косоворотку, без пояса, в смешных, коротких, чуть пониже колен, дешевеньких, в полоску брючонках, в дырявых калошах-кораблях на босу ногу...

На умытом лице Андрея, как только он тяжело бухнулся в кресло, Ксения Дмитриевна прочла: отработал свое, теперь имею право провести время в семействе.

Гаша, временно позабывшая обо всем на свете, кроме того, что ее муж голоден, летала в одну сторону, в другую, таскала тарелки, резала хлеб, подавала обед... И все, за исключением спавших детей, уселись вокруг стола и принялись с завидным аппетитом ссасывать с ложек горячее.

Как бы поздно ни возвращался Андрей с работы, Гаша, как образцовая жена, никогда не обедала без него: не смела. Если муж где-то целый день работает без обеда, то и жена тем более должна целый день сидеть без горячего. Иначе муж может навеки возненавидеть жену животной ненавистью го-

лодного. Если муж где-то всю ночь работает на сверхурочной, то и жена, если она хорошая жена, должна бороться до утра свою дремоту. Если муж, проработавший ночь, ложится спать днем, то и жена — если она действительно жена, а не любовница, — должна лечь с ним.

Андрей, сидя за столом, с полным самозабвением вгрызлся крепкими зубами в мясные вкусные хрящи, с присвистом высасывал из каждой косточки сладкий мясной сок. Он весь отдался еде, не проявляя никакого желания о чем бы то ни было думать, говорить. И все время молчал, когда вдруг, как раз против него, в дверях, ведущих в темную спальную, на совершенно черном фоне возникло белое прелестное видение.

Голенькая и после сна еще тепленькая на вид, разнеженная, в одной белой женской рубашечке без рукавов, босая, закрывая локотками от яркого света глаза, на пороге стояла старшенькая девочка Клавочка.

— Пап, а канфетку плинес? — нежно спросила она и улыбнулась одним глазком из-под локотка, чрезвычайно довольная, что видит отца.

Отец поднял лицо, и ничего не выражающие ясные глаза его мгновенно наполнились живым смыслом. Он улыбнулся, встал и, не спуская с дочки сведенных на нос глаз, тугими шагами рабочего человека направился в переднюю.

— Сейчас, дочечка, сейчас, — ласково проговорил он, вытирая рукавом желтой рубахи жирные от говядины губы.

Клавочка, нежно взвизгнув в пол, поплелась было вслед за отцом, неслышно топая маленькими босыми ножками. Но не успела она пересечь комнату, как в дверях из передней показался сияющий отец. Он пошарил в карманах снятого с вешалки пальто и достал оттуда пятикопеечную, в свинцовой бумажке, шоколадку.

— А ты кого любишь, Клавочка? — прежде чем дать, спросил отец, присев на корточки перед дочкой, и притянул ее, выгибающуюся, к своему волосатому лицу.

— Папу, — не задумываясь мягко ответила Клавочка.

— А еще кого?

Клавочка посмотрела на мать.

— А есё маму.

— А еще?

Клавочка подумала, вспомнила про спящую сестренку Женю.

— А есё Женю.

— А еще? — засмеялся отец.

Клавочка исподлобья покосилась на Ксению Дмитриевну, сконфуженно опустила в пол головку и тише прежнего сказала:

— А есё вон ту тетю.

Отец так и впился в нежную щечку дочки поцелуем, окончательно восхищенный ее необыкновенным умом, и как пушинку поднял ее в своих сильных руках высоко на воздух.

— Ну на, получай конфетку и иди скорей спать, — опустил он ее на пол и сунул ей в руки шоколадку.

— Поцелуй папу! — подсказала с места мать.

Отец, кряхтя, опять присел на корточки и подставил дочке одну щеку.

Дочка сперва откусила зубками краешек шоколада, разочек жевнула, потом маленькими, испачканными в шоколаде губками поставила отцу на щеке кругленькую шоколадного цвета печатку. Отец заржал вбок от удовольствия и зажмурил глаза.

Затем Клавочка повернулась ко всем пряменькой спинкой и учащенными шажками удалилась в темную спальную.

Слезы выступили на глазах улыбающейся Ксении Дмитриевны.

Вот о какой жизни она мечтала, когда сходилась со своим Геннадием Павловичем! Только что прошедшая перед ее глазами живая сцена семейной радости как будто была срисована с ее былых грез. Никогда не простит она Геннадию Павловичу того, что он не разрешил ей иметь от него ребенка, все откладывал, хитрил, говорил: «Потом, потом, не теперь». В этом тоже сказался все тот же его беспримерный мужской эгоизм.

— Куда сегодня ездил? — спросила Гаша у мужа, и, действуя длинным языком, как поршнем, она всячески старалась извлечь из цилиндрической кости мозг.

— Сегодня моя машина до обеда стояла, отдыхала, — не сразу отвечал Андрей жуя. — Зато после обеда как начали меня гонять! — слабо улыбнулся он, отяжелев от сытости. — Как начали меня скрозь посылать! — призакрыл он глаза, выглядывая из-за большой говяжьей кости, которую держал в обеих руках. — То в отдел! То в аптекоправление! То в один диспансер, то в другой! Потом в детдом! Потом на 28-ю версту в кремлевский совхоз, зеленых веток нарезать на гроб какому-то ответственному покойнику...

Кончив есть, он грузно пересел в кресло.

— Узнал новость, — ни к кому не обращаясь, произнес он, окончательно разомлевший в мягком кресле. — Шофер из

нашего дома, с третьего этажа, Федька Защипин, со своей Лизой разводится.

Ксения Дмитриевна наострила слух.

Гаша привскочила на месте.

— Разводятся? — переспросила она, сметая со стола обглоданные кости, хлебные крошки. — Интересно почему?

— Поругались, — сонно улыбнулся в пространство Андрей. — Федька взял моду каждое первое и пятнадцатое число половину получки в пивной пропивать. А жене, Лизке, говорил, что на партию вычитают. Она сперва верила, терпела, молчала, только партию ругала, что очень много вычитают... Потом возьми и справься в ячейке... А в ячейке ей сказали, что вычеты, безусловно, бывают, только не такие огромные... И дали ей точную выписку за последние месяцы... Она так и ахнула, когда увидела... А тут наши бабы, шоферы, возьми да и шепни ей, что ее Федьку люди видали, как он на своей машине марух катал... Ну и пошло... Решили брать развод...

— А дети? — спросила Гаша.

— Детей делят пополам.

— Понятно, помочь он ей будет?

— Сказал, что будет, если не заметит с мужчинами. «Халхалей твоих содержать не буду». А она: «Это не твоё дело, захочу — десять любовников заведу, тебя не спрошусь, а давать на ребенка все равно должен».

— А с вещами как? — поинтересовалась Гаша.

Андрей с отчаянным видом махнул рукой.

— Детей поделили легко, каждый рад был избавиться... А как дело коснулось вещей, сразу схватились драться... Вот, говорят, драка была!.. Обои — здоровые, толстые, полнокровные!.. Дерутся, и никто никого подолеть не может... Весь ихний калидор сбежался смотреть, как они били друг об дружку новые вещи... Всем было жаль хороших вещей...

— А хорошие были вещи? — заискрились зеленые с желтинкой глаза у Гаши, потянулись к Андрею.

— О! — рассердился Андрей и полушутя замахнулся на жену кулаком, так что она в страхе присела. — А тебя уже завидки берут на те вещи? — с презрительной гримасой спросил он.

Гаша вспомнила про Ксению Дмитриевну, взглянула на нее, застыдилась и рассмеялась.

Ксения Дмитриевна сидела все время в сторонке, в дальнем углу дивана, и своими черными, осторожными, как бы нерусскими глазами внимательно изучала Андрея.

Что это за человек?

Факт тот, что ей с ним необычайно легко. Что делает его все-таки человеком приятным, несмотря на его совершенную неотесанность и ужасную некультурность? В чем тут тайна? Почему даже большой, красный, мужицкий нос и сильно косые глаза несколько не делают его безобразным, а скорее, наоборот, придают ему еще большую естественность, законченность, почти трогательность? Где разгадка всему этому? Что за сфинкс полулежит сейчас перед ней в кресле, с дремлюще-безразличным лицом, с вытянутыми вперед косолапыми ногами?

Этот Андрей и тот Геннадий Павлович!

Оба мужчины, а какая между ними колоссальная разница! Кто из них двоих лучше?

И чем больше Ксения Дмитриевна присматривалась к Андрею и Гаше, тем сильнее чувствовала, что ей все нравилось в этих простых людях, даже то, что они за обедом брали с тарелок вареное мясо не вилками, а пальцами. В этом она тоже усматривала какую-то ихнюю, глубинную, неприкрашенную народную правду.

Не беда, если эти люди не задаются большими целями. Зато они не раздраются и несбыточными мечтами.

Они живут просто и реально, как просто и реально живет на земле все.

За обедом у них были сегодня наваристые мясные щи, крутая гречневая каша с пережаренным в масле луком и ржаной хлеб.

Ржаной хлеб! Как они его хорошо едят! Как они к нему по-особенному относятся! В каком он у них, чувствуется, большом почете! Без ржаного хлеба они не сядут обедать. За обедом он идет у них в корню.

В этом она видела все ту же великую мужицкую правду, верность земле.

Они и породившая их земля составляют одно. А что представляет из себя она, их бывшая барыня? И каким путем почерпнуть ей от них для себя хотя чуточку этой русской почвенной земляной силы? Каким образом выжать ей из себя, как воду из губки, всю старинную, насквозь пропитавшую ее гниль?

— Андрюша, — заговорила Гаша с мужем о деле, когда все сели за жиденький чай с прозрачным вареньем из антоновских яблок. — Ты, понятно, знаешь, мы с тобой не раз об этом уже говорили, что я могла бы набирать по больницам гораздо больше заказов на белье, чем набираю сейчас. Но

мне дети мешают, мне детей не на кого доверить. А без присмотра их тоже нельзя оставлять. Ксении Дмитриевне нужен угол, койка, где она могла бы ночевать, а нам нужен человек, такая женщина, которой можно было бы препоручить наших детей. Ты ничего не будешь иметь, если она у нас поживет несколько время и за это время присмотрит за нашими детьми?

— Это временно, — вставила со своего места Ксения Дмитриевна, сильно волнуясь. — Это временно, — еще раз повторила она. — Пока я где-нибудь устроюсь.

Андрей оторвал от блюдечка с чаем багровое в поту лицо, навел на кончик носа, как на мушку ружья, косящие вовнутрь глаза, что-то трудно проглотил или чем-то поперхнулся, должно быть слишком горячим кипятком, потом сказал:

— Что ж. Пуцай, если хочет, остается у нас. Места у нас хватит, — скользнул он неторопливо косыми глазами по полу. — Тут еще душ десять положить можно.

Только и всего сказал он. И сказав, тотчас же перестал думать об этом.

Отнестись к этому «вопросу» проще, чем отнестя он, уже было нельзя.

А Ксения Дмитриевна, пока дослушала до конца его «ответ», чуть не умерла от разрыва сердца.

Разрешил! Согласился! И как!

И ей стоило невероятных усилий, чтобы не разрыдаться.

Неужели еще сохранились такие люди, такие нравы?

Вот она — земля! Вот в чем сила земли!

— Значит, остаетесь у нас, — прозвучал голос Гаши, очень довольной.

Ксения Дмитриевна подняла на нее лицо, полное безмолвного восхищения Андреем.

А глаза Гаши, казалось, говорили ей в ответ: «Вот видите, какой он у меня!»

И с этой минуты бывшая госпожа осталась жить у своей бывшей горничной.

Гаша, счастливая, что отныне у нее будет компания, немедленно бросилась отводить Ксении Дмитриевне место, уютный уголок за платьевым гардеробом, принялась стелить для нее постель на длинном, похожем на мучной ларь сундуке, под окоеванной крышкой которого хранились ее и Андрея богатства..

Чрезмерное обилие резких впечатлений, несколько предыдущих бессонных ночей и непривычная, хотя и мягко постлан-

ная постель сделали то, что Ксения Дмитриевна с вечера долго не могла уснуть. Обрывки каких-то ненужных мыслей сами собой лезли ей в голову, волновали ее, разгоняли сон... Голодный 1921 год... Она, больная сыпным тифом, почти умирающая, без сознания, лежит в Харькове, в постели... Геннадий Павлович не отходит от нее, ночей не спит, изо всех сил старается спасти ей жизнь, рискует сам заразиться и умереть...

Горло Ксении Дмитриевны сдавили спазмы, и, сотрясаясь на крышке сундука, она разразилась в темноте за гардеробом истерическим плачем.

— Это ничего, это хорошо, поплачьте, поплачьте, — успокаивала ее прибежавшая к ней Гаша, в одной сорочке, босая, с распущенными по плечам золотистыми волосами, усевшись на сундуке. — Слезы дадут женщине облегчение, это я по себе знаю. Вы думаете, мне не приходится плакать? И-эх, Ксения Дмитриевна! Дорогая моя! Наше дело женское, и если мы, женщины, друг дружку не пожалеем, то кто нас пожалеет?

Голос ее сорвался, она припала головой с распущенными волосами к изголовью Ксении Дмитриевны, и к бурному рыданию одной женщины присоединилось рыдание другой.

Часы пробили пять.

В высоких окнах зеленовато серел московский рассвет.

Из спальни комнаты доносилось могучее храпение Андрея. И казалось, что это спит и храпит всей своей объемистой утробой сама земля.

VI

Чтобы отвлечь мысли от Геннадия Павловича, не сжигать себя любовью к нему, не терзаться ревностью, Ксения Дмитриевна, живя у Гаши, старалась как можно больше взваливать на себя домашней работы.

Она вставала раньше всех, ставила в кухне старый медный самовар — новый, никелированный, ставили по праздникам, — доставала из-за оконной рамы свинину, нарезывала ее ломтиками, поджаривала с картошкой на примусе, будила хозяев завтракать, ела и сама с ними, отправляла Андрея в гараж на работу, Гашу на рынок за провизией для обеда, поднимала детей, одевала их, мыла, причесывала, варила для них манную кашу на молоке, кормила, разнимала, когда они во время еды дрались ложками...

Девочки, встав с постели, обходили квартиру и, нигде не найдя матери, валились на пол, корчились в конвульсиях, ревели: как смела мать уйти без них!

Орали они ужасно.

— М-ма-м-маа!.. — голосила одна, младшенькая, коротеньким червячком катаясь по полу.

— Где мам-маа?.. — выла другая, старшенькая, извиваясь на полу рядом.

Ксения Дмитриевна пускалась на хитрость.

— Мама ушла на рынок купить вам по конфетке, — говорила она. — Вот она, кажется, уже пришла, слышите, кто-то в передней стучится? Тише!

Девочки переставали реветь, приподнимали с пола красные, вспухшие от слез рожицы, ожидающе глядели на дверь: не покажется ли мать.

А Ксения Дмитриевна в этот момент, не давая им опомниться, отвлекала их внимание в другую сторону.

— Глядите, глядите, что я вижу! — с притворным удивлением кидалась она к окну и хваталась руками за голову: — Ах, какой большой на дворе дождь пошел! Ай-яй-яй... Как теперь мама придет?

Девочки переводили свои глупые глазки от дверей на окна, прислушивались, правда ли на дворе дождь.

— А ну-ка я, — с деловым видом поднималась с пола старшенькая, шла к окну и, подставляя свои подмышки, просила подсадить ее на подоконник.

— И я, и я, — не желала отставать от нее младшенькая и, хрюкая, бежала, голозадая, на четвереньках, задрвав голову, тоже к окну.

Ксения Дмитриевна сажала ту и другую на подоконник.

— У-у, — тотчас же разочарованно дулась Клавочка, глядя за окно. — Нету дождь.

— А петушок какой красненький по двору ходит, — ласково говорила Ксения Дмитриевна и гладила девочку по атласной головке. — Правда, Клавочка?

— Да, — неохотно бурчала себе под нос Клавочка, чувствуя, что ее все-таки запутали и обманули. А Женечка была очень довольна.

На слабых ножках она стояла во весь рост на подоконнике, водила посинелыми скрюченными пальчиками по оконным стеклам, удивленно тарасила выпуклые глазки на самое дно глубокого двора, по диагоналям которого, как на сцене театра,

бегали и туда, и сюда люди: кто с топором в сарай колоть дрова, кто с переполненным ведром к мусорному ящику, кто всем семейством развешивать на веревках мокрое белье...

Тем временем приходила с базара Гаша.

Спешащая, раскрасневшаяся, она вносила с собой в квартиру волнующую свежесть утра, раздевалась, сдавала купленные продукты Ксении Дмитриевне, говорила ей, что готовить на обед, а сама, не теряя ни минуты, садилась на весь день за швейную машину.

Ксения Дмитриевна набрасывала себе на плечи старый пиджак Андрея, хватала из-под русской печи тяжелый колун, неслась с ним вниз, во двор, приходила оттуда с наколотыми дровами, топила плиту, приготавливала обед...

В то же время она не переставала смотреть за девочками.

Клавочка готовила на полу «обед» в игрушечных кастрюльках для своей навеки закоченевшей «Катки». Женечка сидела голеньким задом на жирном кухонном столе рядом с работающими руками Ксении Дмитриевны, рядом с горой накрошенной для щей свежей капусты и тщетно старалась укусить беззубым ртом громадную пирамидальную кочерыжку...

С детьми было много хлопот. Клавдия сама садилась на горшочек, Ксении Дмитриевне только приходилось беспрестанно расстегивать и застегивать ей панталоны, а Женечку только еще приучали к этому, и Ксения Дмитриевна то и дело бегала с тряпкой подтирать за ней лужицы...

И все-таки Ксения Дмитриевна никогда не ожидала, что дети одним своим присутствием смогут ей порой доставлять такое громадное наслаждение. Больше всего она любила наблюдать обеих девочек спящими в своих кроватках. Ярко горело в комнате электричество, и у девочек были розовые сквозные личики, доверчивые закрытые глазки, безмятежное дыхание. И Ксения Дмитриевна долго не могла оторвать от них очарованных глаз, стояла над их кроватками, смотрела, старалась проникнуть в великую тайну бытия, думала. Неужели и она когда-то была такая? Неужели и она когда-то была способна так крепко, так безмятежно спать, несмотря на яркий свет и громкий говор? Почему жизнь так скоро ломает, коверкает природу людей? Неужели люди не могут продлить этот период своей детскости? Неужели нельзя изменить человеческую жизнь к лучшему?

Ксения Дмитриевна всей душой полюбила девочек, привязалась к ним, научилась великолепно ладить с ними.

И через два-три месяца по всей коммуне шоферов прошел слух, что у шоферши Гаши живет женщина, которой без

всякого страха каждая мать может доверить своих детей. И многие матери-работницы, уходившие с утра на работу, заносили на день своих ребят, с согласия Гаши, на попечение Ксении Дмитриевны. Прошло еще два-три месяца, и в кухне Гашиной квартиры к удовольствию всей коммуны образовалась настоящая «детская комната».

Иногда в «детскую комнату» прибегала какая-нибудь бездетная жительница коммуны, с озабоченным лицом, с посудой для молока в руках.

— Ксения Дмитриевна, дайте, пожалуйста, мне какого-нибудь дитя на минутку, которое полегче. Мне только до «Крестьянского союза» добежать, без очереди молока взять. А то, если без дитя, очередь очень большая.

— Вот спасибо! — приносила она через несколько минут ребенка обратно, очень довольного выпавшей на его долю прогулкой.

Матери по мере своих сил давали воспитательнице за ее труды помесячную плату, и у Ксении Дмитриевны появились первые заработанные личным трудом деньги...

Гораздо слабее она проявляла себя в качестве домашней хозяйки.

Особенно трудно ей было управляться со скоропортящимися продуктами, привозимыми стариками Андрея и Гаши в Москву из деревни.

Старики, крестьяне-бедняки, стеснялись приезжать в Москву к своим детям с пустыми руками, чтобы дети не подумали, что они желают на даровщинку попользоваться их богатством, кровом, самоваром, харчами. И приезжали ли из Рязанской губернии отец Андрея или мать Гаши, приезжали ли их шурины, зятья, братья, сестры, свояки или просто земляки, надеющиеся поступить в Москву на фабрику работать, все они в виде подарка, чтобы Андрей и Гаша лучше их принимали, привозили им что-нибудь из деревенского съестного. И в доме иногда собиралось ведра два топленого рязанского молока, корзины две треснутых и протекающих яиц, несколько пар битых кур, подернутых скользкой плесенью, липнущая к рукам телятина...

Но больше всего Ксению Дмитриевну удручала почему-то свинина.

Чаще всего случалось так, что кто бы ни приезжал к ним в Москву из Рязанской губернии, все непременно привозили свинину: тот — пуд, тот полпуда... И Ксения Дмитриевна не знала,

что с этой свининой делать. Она подавала ее во всех видах и во всех случаях, и на завтрак, и на обед, и на ужин, и с собой Андрею на работу, и совала уезжающим из Москвы на дорожку. По воскресным дням на свободе все в доме старались есть свинину целый день, пичкали ею детей, потчевали гостей. И куда бы ни отправлялись в торжественные праздники Андрей, Гаша, Ксения Дмитриевна и их приезжие родственники — в сад ли с музыкой, в госкино, на лекцию об аборте или на диспут о патриархе Тихоне, — везде они сидели и тягостно думали о свинине, как бы она не испортилась дома. И, не дождавшись окончания акта в театре или речи оратора на диспуте, они вдруг тяжело поднимались со своих мест и всей многочисленной компанией, на удивление публике, длинным гуськом пробирались к выходу, удрученно спешили домой доедать бесплатную свинину.

— А ты как думаешь, Гаша, — озабоченно спрашивал по дороге Андрей у жены, — она за это время, пока мы ходили, не могла завоняться?

— Наверяд, — говорила Гаша, чтобы успокоить себя и других, а сама тотчас же прибавляла: — Но мы должны изо всех сил стараться съесть ее сегодня. Иначе завтра она испортится.

И все ускоряли шаги.

Ксению Дмитриевну, как заведующую этими делами, посылали вперед...

Так с утра до ночи носясь по дому то за тем, то за этим, возясь с детьми, то с Гашиными, то с чужими, Ксения Дмитриевна, вспомнив о Геннадие Павловиче, любила потешить себя гордой мыслью, что было бы с ним, если бы он увидел, какая она сделалась хлопотунья, как научилась в Москве зарабатывать?!

VII

Андрей был на работе.

Дети спали.

Гаша при электрическом свете шила больничное белье, откладывала в сторону готовое, принималась за новое.

Ксения Дмитриевна сидела за тем же столом, рылась в картонной коробке с письмами Геннадия Павловича и, чтобы Гаше было веселее работать, прочитывала некоторые из писем вслух.

Читала она резко, с раздражением, с намеренным подчеркиванием наиболее примечательных мест.

— «...Сознайся, Ксюша, ты только языком болтала о своем стремлении к умственному развитию, к духовному совершенствованию. Ты только повторяла заученные красивые слова, вроде наиболее памятных мне: "гармония чувств", "поэзия переживаний"... Теперь мне вспоминать об этом смешно, а тогда, когда я был моложе, глупее, я, естественно, верил этой галиматье. Я верил всем сердцем, что в трудах и борьбе ты вместе со мной будешь стремиться сделаться человеком».

— Вот видите, — сказала Ксения Дмитриевна. — Он все напоминал мне, чтобы я старалась «сделаться человеком». Как будто я была не человек.

— А кто же вы? — спросила Гаша. — Собака? Ну нет, мой муж меня собакой еще не обзывал, нет!

Ксения Дмитриевна, прежде чем читать дальше, пропустила несколько маловажных строк.

— «...И что же в конце концов у нас с тобой получилось? Или ты думаешь, я ничего не замечал, убаяванный твоими сладкими речами? Нет, дорогая моя, я все замечал и глубоко страдал. Я не мог видеть, я не мог переносить, как ты абсолютно ничего не делала, ничем не интересовалась, ни на йоту не развивалась и как все это нисколько не смущало тебя. Аллах тебя ведает, чем ты жила. Когда же я напоминал тебе о твоих "красивых" словах и прекрасных намерениях, ты постоянно ссылалась мне на внешние, якобы неблагоприятные обстоятельства, просила подождать, злилась, говорила, что "нельзя же все сразу". И вот, наконец, грянула революция. Я подумал, — слава аллаху! — может быть, революция разбудит тебя, может быть, она встряхнет тебя, заставит серьезно задуматься над собой, за что-нибудь взяться. Ничуть не бывало! За все время революции ты не прочла ни одной газеты. Скажешь, это мелочь? Но как она характерна для тебя, как для женщины вообще и "жены мужа" в особенности. Еще бы! Ты добилась своего, ты достигла всего, ты "устроилась", ты уже "замужняя женщина", чего же тебе еще желать?..»

— Неправда! — вырвался из груди Ксении Дмитриевны возмущенный крик, руки ее задрожали, ресницы заморгали. — Неправда! Я никогда не говорила, что мне уже больше «нечего желать»! Напротив! Я много желала! Прежде всего я желала учиться, а он смеялся над этим, настаивал, чтобы я служила, зарабатывала.

— Это не муж, если жена работает, — сказала Гаша. — Я работаю по охоте, а не потому, что муж мне велит. Если бы я сейчас бросила работать это белье, мой Андрей ничего бы мне не сказал. А если бы сказал, я бы ушла от него. На кой черт мне муж, если я сама на себя зарабатываю!

— «...Между тем, — читала дальше Ксения Дмитриевна, — революция все сдвинула со своих мест. Жизнь делалась все труднее объективно. И я напрасно ожидал, что ты, быть может, поймешь новую создавшуюся обстановку. Ничего подобного! Ты с прежним легкомыслием порхала по поверхности жизни... В таком состоянии застаёт нас с тобой голодный год. Я работаю, я надрываюсь, я изнемогаю в борьбе за жизнь. Что же в это время делаешь ты, моя "жена", моя "подруга", мой жизненный "товарищ"? Как помогла ты мне, как поддерживала ты меня? Вспомни: одни упреки, одни жалобы, что я "погубил" твою жизнь. Но это еще большой вопрос, кто из нас кого погубил...»

— И все врет! — покраснела до корней волос Ксения Дмитриевна от обиды. — Я продавала тогда на толчке наши домашние вещи, свои наряды, старалась, чтобы ему было легче!

— Напрасно, — помотала головой Гаша с неодобрением. — Напрасно продавали свои вещи. Пусть бы он свои продавал.

— «...И вот, — читала Ксения Дмитриевна, — из нашего дома выветрились последние намеки на "семейный уют". Семьи не было. Была одна пустота плюс безграничная, ежеминутно подогреваемая досада. Была некрасивая и непродуктивная совместная жизнь, странное сожительство под одной кровлей двух человеческих существ, неизвестно для кого и для чего нужное... Словом, дорогая моя, утвержденный обычаем образец старого брака не удовлетворил меня, пришелся мне не по вкусу. Кто знает, быть может, у нас с тобой когда-нибудь еще и явится возможность организовать семью нового, не буржуазного типа. Но пока нам ничего другого не оставалось, как только отпустить друг друга на свободу и сделать это по возможности тихо, без скандала, по-хорошему, оставаясь друзьями...»

— «Друзьями»? — возмущенно подхватила Гаша. — Ну нет, Ксения Дмитриевна, я бы так просто его не отпустила! Я бы с него свое взяла!

— Теперь вы сами, Гаша, видите, что это за человек! — обрадовалась Ксения Дмитриевна поддержке и начала жаловаться: — Если бы вы знали, как строго он относился ко мне, как однобоко судил обо мне! Он старался выискивать во мне толь-

ко одно дурное! А хорошего ничего не замечал! А всей моей безграничной любви к нему не видел! Несчастливая я!

— А что это там сбоку приписано красным карандашом? — нагнула лицо Гаша к самому столу и пальцем указала на оборот письма.

Ксения Дмитриевна перевернула письмо и прочла: «Мои денежные дела по-прежнему скверны, сейчас июль, а нам за март еще не платили...»

— Это неинтересно, — с брезгливым чувством поморщилась Ксения Дмитриевна и возвратилась к прежнему месту письма: — «...Скажи сама, зачем нам было притворяться? Зачем лгать? Зачем сохранять видимую оболочку семьи, когда никакой семьи у нас не было? К чему было обманывать других и насиловать собственную совесть? Разве не лучше было сделать то, что мы с тобой в конце концов и сделали: разойтись и для большей прочности развода разъехаться на жительство в разные города? Верь мне, что, будь у меня тогда деньги, я предложил бы тебе разъехаться нам даже в разные государства...»

— «В разные государства!» — горько рассмеялась Ксения Дмитриевна, подперла голову руками, и из ее внезапно напухших глаз закапали на стол слезы. — Он даже за границу согласен был уехать, лишь бы подальше от меня! И это за всю мою любовь к нему! А я-то! А я-то, дура, как любила его, как много вкладывала в любовь к нему! Я всю душу ему отдала! О, если бы он хоть раз поглубже заглянул в меня! Как он не понимал меня!

Она прижала к глазам носовой платок, наклонила над столом голову, замолчала.

Гаша, не переставая энергично работать, мельком выглянула на нее из-за машины.

— Что вы, Ксения Дмитриевна! — удивленно произнесла она и заморгала влажными ресницами. — Вы очень-то не убивайтесь из-за него! С какой стати? Было бы из-за кого!

— Что же мне делать? — скрестила на груди руки Ксения Дмитриевна, с умоляющим, в слезах лицом. — Что же мне делать, когда я и сейчас продолжаю любить его, несмотря ни на что! А ему что? А ему ничего. Ему безразлично. Для них, для мужчин, любовь — это только половой акт, только одна физиология, как вовремя высморканный нос. И мы для мужчин не больше, чем носовой платок, в который можно при надобности высморкаться, не дороже чем плевательница, в которую можно при потребности сплюнуть. Ну скажите, ну разве не обидно все это сознавать!

— Выкиньте его из головы, и больше ничего, — посоветовала Гаша. — Вы молодые, интересные, с хорошим образованием. И в своей жизни еще не таких встретите. — Гаша высунула из-за машины лицо: — Хотите, я познакомлю вас с некоторыми нашими холостыми шоферами? Тут двое давно не дают мне покоя. «Познакомьте да познакомьте с вашей жиличкой». «Разрешите да разрешите прийти вечером чайку попить».

Ксения Дмитриевна безнадежно улыбнулась:

— Нет, Гаша, вы еще не знаете меня с этой стороны. У меня это происходит как-то по-особенному. Я сейчас мертвая для других.

— Ну, это мы еще посмотрим, — улыбнулась Гаша. Ксения Дмитриевна меланхолически вздохнула и продолжала чтение.

— «...Ты все пишешь мне, Ксюнич, о своей "безумной любви" ко мне, о том, что она у тебя не проходит, несмотря на то, что мы разъехались в разные города. Дорогая моя! С научной точки зрения это так понятно. Должен тебе сказать, что по своей психофизической консистенции ты, очевидно, принадлежишь к известным в медицине субъектам редкого типа, одержимым той или иной маниакальностью, с характерными для этого рода субъектов клинически установленными признаками...»

У Ксении Дмитриевны упали руки на стол, из груди вырвался стон отчаяния.

— Ну вот видите, Гаша, с каким равнодушием, с каким холодом «ученого» он разбирается во мне, в моем чувстве к нему! Я для него не больше чем для натуралиста подобранная на земле дождевая улитка!

— Значит, не любит! — вывела заключение Гаша. — Значит, другую себе нашел.

— Не может этого быть! — не верила Ксения Дмитриевна. — Я, как женщина, всегда нравилась ему, никогда не отказывала ни в каких ласках! Пусть-ка найдет другую такую дуру!

— И уже нашел, — убежденно сказала Гаша, работая на машине.

Лицо Ксении Дмитриевны внезапно выразило испуг:

— Вы думаете, Гаша?

— Обязательно.

— Но он клянется мне, что другой у него до сих пор нет!

— Это ничего не значит. Мужчина может «клясться» в чем угодно.

Ксения Дмитриевна закрыла глаза.

— О! Это самое ужасное для меня, самое мучительное! Сидеть здесь и знать, что вот сейчас там, в Харькове, другая заменяет ему меня!

Она раскрыла глаза, судорожно разжала пальцы рук, порылась в коробке с письмами.

— Вот тут он где-то опровергает это... «...Категорически утверждаю, что внутренняя драма моего разлада с тобой и вообще разочарования в семье буржуазного типа созрела у меня сама собой, без давления извне какими бы то ни было новыми “увлечениями”. Теперь, после такого урока с тобой, “увлечься” вновь мне очень трудно, почти невозможно. Так что твоя звериная ревность и угрозы “приехать в Харьков, чтобы растерзать на месте нас обоих”, тут по меньшей мере неуместны и лишний раз подтверждают ту твою одержимость, о которой я тебе писал в прошлый раз. Повторяю: у меня нет никого и живу я один. Думаю, что вообще я не способен на любовь с женщиной, я способен на кооперацию с женщиной...

...Что же касается того, дорогая, что ты в Москве сходишь с ума без меня, то опять-таки, становясь на научную точку зрения, я вижу в этом одно физиологическое. Будь, деточка, взрослой, постарайся поскорее найти себе мужчину, который физически заменил бы тебе меня. Свет не клином сошелся на мне. И ты не урод. При желании человека подходящего найдешь себе легко. Попроси своих старых московских подруг с кем-нибудь познакомить тебя...»

— Учит! — отшвырнула от себя письмо Ксения Дмитриевна, и лицо ее наполнилось негодованием. — Вы понимаете, в чем тут дело, Гаша?

— Еще бы, Ксения Дмитриевна, не понимать, — остановила Гаша на минутку машину. — Об вас «заботится». Не может успокоиться, пока вы не сойдетесь с другим. Все боится, что к нему в Харьков приедете.

— «...И, конечно, Ксюшечка, я всецело присоединяюсь к твоему сожалению о том, что, находясь почти за тысячу верст от тебя, я не могу лично помочь тебе в твоём чисто физическом томлении в этот трудный для тебя, так сказать, переходный период, пока ты перейдешь к другому мужчине...»

— Ну не подлец он после этого! — посмотрела Ксения Дмитриевна на Гашу, оторвав от письма взгляд. — Как будто речь идет о моем переходе на другую службу или о переезде на новую квартиру!

Гаша в ответ только втянула голову в плечи, не прекращая энергично вертеть колесо машины.

— «...К сожалению, Ксюша, финансовый кризис мой продолжается, сейчас ноябрь, а нам еще не выдавали за июль. Столь неаккуратное получение жалования путает все мои планы, губит в самом зародыше все мои благие пожелания, и мне очень неловко перед тобой, что я за все это время не мог тебе выслать денег. Кальсоны получил и благодарю...»

— Как?! — остановила Гаша машину, вся посунулась вперед, в ужасе вытаращила на Ксению Дмитриевну глаза. — Значит, это вы ему послали те новые кальсоны, ему, ему? А говорили — «брату»... Я бы такому черту рубашки не выстирала, а вы ему шлете новые кальсоны! Такими женщинами, как вы, мужчины пользуются.

Ксения Дмитриевна смущенно закусил губы...

VIII

— Она женщина деликатная, ученая, не нам пара, — усердно строчила на машине Гаша и полупешотом говорила сидевшему рядом с ней шоферу Чурикову. — И с ней нельзя того обращения иметь, как с нашей сестрой, деревенской. Это вы тоже возьмите во внимание, Иван Васильевич.

— Я деликатную и ищу, Агафья Семеновна, — играл всеми мышцами тела Чуриков, молодецоватый крепыш, лет около тридцати, с чисто выбритым лицом, прямо из парикмахерской, одетый во все новое. — Я деликатную и ищу, — возбужденно повторил он, снял с френча пушинку, расправил голифе, подтянул блестящие голенища сапог. — Определенно! Постольку поскольку! А деревенскую я нипочем не возьму! Что я с ней буду делать? А с этой и поговорить можно, и пройтись не стыдно. Как говорится, все шыннадцатъ удовольствий.

— Ее, если поднять из бедности... — прищурилась с восхищением Гаша.

— Я подыму! — горячо ударил сапог о сапог Чуриков, точно пред кем-то расшаркиваясь. — Определенно!

— А если ее одеть, как она одевалась раньше, когда я у нее жила...

— Я ее одену! Постольку поскольку!

— Я сейчас позову ее, — встала из-за машины Гаша и вошла в «детскую комнату».

Чуриков вскочил на ноги, засуетился, осмотрел на себе новое платье, петухом зашагал взад-вперед по комнате.

Плоско подстриженные волосы на его кубической голове стояли жесткой, густой щетиной. Новые сапоги по-праздничному скрипели...

Чувствуя приближение невесты, он не столько из нужды, сколько ради приличия энергичной походкой прошелся в дальний угол комнаты, за голубой раструб граммофона и шумно высморкал там нос, сперва выпустил в крепкий паркетный пол тяжелую пую из левой ноздри, а правую прижимал пальцем, потом таким же образом расплющил о паркет свинец, выпущенный из правой ноздри.

— Иван Василич Чуриков! — отрекомендовался он Ксении Дмитриевне, едва она вошла в комнату, интересная, красиво причесанная, успевшая где-то припудриться. — Вот они меня хорошо знают, — указал Чуриков пальцем на Гашу. — Пять лет живу в этом доме! Определенно!

— Чего же вы стоите? — засмеялась взволнованная Гаша. — Садитесь, поговорите, а я пройду к детям.

Она ушла в кухню, и жених с невестой остались вдвоем.

Ксения Дмитриевна, с высокой бальной прической, красивая смуглянка, соблазнительно похожая на богатую иностранку, сидела в кресле и, выслушивая Чурикова, соединяла на своем лице выражение гордости со скромностью.

Чуриков ездил возле нее по паркету на венском стуле и с неиссякающим красноречием рассказывал ей о себе.

...Жалованье он получает, конечно, хорошее. Многие семейные не получают такого жалованья. Но вот беда: он холостой, и деньги расходятся у него зря. Некому смотреть за его деньгами. И если сказать правду, он не жалеет своих денег: не для кого их беречь. По своим природным способностям он мог бы зарабатывать денег и еще больше, в два раза больше, ему предлагали, но он не хочет. Для чего? Для кого? Где та симпатичная, скромного поведения женщина, которая благодаря своему образованию сумела бы с умом распорядиться его большими деньгами?..

— ...Определенно!

— ...Постольку поскольку!

Со стороны здоровья он тоже очень много теряет благодаря своему холостяцкому существованию. Взять обеды. Что может быть отличное обедов у себя дома? А он, как и другие холостяки из их гаража, принужден обедать в столовых, от которых у них у всех дерет животы. Тут надо работать, а тут хочется кричать караул, чтобы спасали. Тут надо гнать машину по делу, а тут правишь в ближайший двор. Подрыв и здоровью, и службе.

Что же касается дорогих гастрономических закусок, которые он иногда покупает в лучших магазинах, возвращаясь вечерами с работы, то они у него пропадают большею частью даром: некому есть, нет того женского деликатного существа с тонким вкусом, которое сумело бы почувствовать, сколько какая закусочка стоит. А угощать лиц посторонних нет никакого расчета. По той же самой причине и хлеб у него в доме залеживается, черствеет, жалко смотреть. Заводятся мыши. За мышами следом идут в дом крысы. Донимает в летнее время клоп, за которым у холостого человека некому смотреть...

Зато у женатых шоферов совсем другое дело. Им не надо тратиться на дорожные закуски. У них все, даже горчица, приготовляется дома. Женатый шофер, подобно помещику, по воскресным дням спит на перине до 12 часов дня, обложенный со всех сторон малыми ребятами, как поросятами. А проснувшись, он прежде всего слышит идущий из русской печи сдобный запах пирогов с капустой и с яйцами...

— ...Определенно!

Кроме того, у него, против других шоферов, есть скверная привычка каждую неделю менять белье. Это тоже приносит ему большие убытки, так как за стирку белья в прачечных берут очень дорого. Не говоря уже о том, что после двух-трех стирок в прачечных от белья остаются одни пуговицы, да и то не все. Точно так же у холостого шофера обстоит дело и с другими домашними вещами. Люди гоняются за хорошими вещами. И он гонялся бы. Но пока что не хочет. Не для кого стараться. Для кого он будет стараться заводить разные тумбочки, вазочки, плевательницы? Кто на них будет любоваться? Кто на них будет плакать и смеяться? Кто их будет беречь, жалеть, как своих родных детей? Кто за них будет вечно благодарить его, любить, боловать? Где у него тот одушевленный предмет, которому можно было бы доверить хорошую вещь, чтобы она безвременно не пропала?

И наконец, когда холостой шофер уходит из дома, ему некогда оставить караулить квартиру, и его постоянно обворовывают...

— ...Постольку поскольку!..

Чуриков придвинул свой стул вплотную к креслу Ксении Дмитриевны.

— Сказать по правде, в настоящее время у меня только одна радость. Это выйти из своей трудовой комнаты и смотреть на вас, Ксения Дмитриевна, когда вы проходите по нашему калидору с детишками на прогулку.

Ксения Дмитриевна, нервная, красная, все время хохочущая, вскричала высоким, неестественным, деланным голосом:

— Так это вы тот неизвестный гражданин в зеленых подтяжках, который всегда стоит в дверях той комнаты, что у лестницы, и пожирает меня глазами?

— Да. Я. Очень приятно бывает смотреть. Постольку поскольку! А над подтяжками, Ксения Дмитриевна, вы не смейтесь, они заграничные, наша промышленность таких еще не вырабатывает. Определенно!

Он помолчал, потом ни с того ни с сего весело заржал в сторону и вверх, попрыгал вместе со стулом на месте, как молодой воробей, и произнес тихо:

— Только надо с этим поскорее решать, согласные вы быть моей женой или нет. А то Агафья Семеновна могут обидеться, что мы у них столько время комнату занимаем и отрываем их от работы.

— Вы хотите, чтобы я сейчас вам ответила?

— Определенно! Постольку поскольку!

— Ого!

— А чего же тянуть? Тянуть, Ксения Дмитриевна, хуже. Надо так: раз-два и готово. Поскольку вы сейчас можете решить, постольку вечером можете перебраться ко мне.

Ксения Дмитриевна раскатилась нервным деланным смехом. Чуриков с рассудительным лицом продолжал:

— Самое необходимое в квартире у меня есть, а в воскресенье вместе ходим на Сухаревку и приобретем что надо по дому на ваше усмотрение: какое-нибудь ведро, какую-нибудь лоханку.

— Та-ак, — вздохнула Ксения Дмитриевна, утомившаяся хохотать, и лицо ее вдруг приняло другое выражение. — Вот что, уважаемый, как вас, Иван Василич, кажется...

— Да, Иван Василич! — почтительно поклонился Чуриков, привстав вместе со стулом, как бы прилипшим к его заду.

— Так вот что, Иван Василич. Выслушайте меня. Я несколько не сомневаюсь в том, что вы хороший человек. Но одного поверхностного впечатления мало, чтобы дать согласие стать вашей женой. Тут еще нужны и более основательное знакомство с человеком, и чувство любви к нему, и прочее. Я же вижу вас в первый раз, ничего не слыхала о вас ранее. И признаться, мне уже подозрительна ваша поспешность, ваша горячка. Вам непременно сейчас же дай ответ, а вечером переселяйся в вашу комнату. И бог вас знает, что вам во мне

нравится, что вам от меня надо и как вы на меня смотрите: только как на женщину или же видите во мне и человека? А последнее для меня очень важно, важнее всего.

Ксения Дмитриевна сделала маленькую паузу и нерешительно сказала:

— Есть и еще одно обстоятельство...

— Какое? — испугался Чуриков.

— Вот какое: как вы думаете, смогу ли я быть вам хорошей парой, я, происходящая из другой среды?

Чуриков повеселел, заблестал:

— Я за такой и гонюсь. У нас все за такими гоняются. Постольку постольку!

Ксения Дмитриевна взялась рукой за лоб и рассмеялась слабым неудавшимся смехом, почувствовала вдруг, что ей больше хочется плакать, чем смеяться.

— Почему же вы за такими «гоняетесь»? Что вы видите в них хорошего?

— Вроде как завлекательней! Захватистей! Определенно!

Ксения Дмитриевна, полная странной усталости, чтобы не потерять сознания, пересилила себя, встала, прошлась по комнате, остановилась в дальнем углу, прислонилась одним виском к холодной кафельной печке, задумалась.

Подозревает ли Геннадий Павлович, какой ценой она пытается «устроиться» в Москве?

Чуриков сидел на стуле, лицом повернулся к ней, проводил раскаленной ладонью по ершистым волосам и тоже думал.

Что ей еще сказать? Кажется, все главное уже сказано. А между тем чувствуется, что еще чего-то не хватает, самого пустяка...

— Гаша! — подошла Ксения Дмитриевна к кухонным дверям. — Можете идти. Наши «секреты» окончены.

Из кухни моментально вбежала в комнату Гаша с красным, пожираемым любопытством лицом, с расширенным, нюхающим воздух носом.

Она кольнула пытливым глазом одного, другого, потом спросила:

— Ну, как у вас тут дела?

— Дела скверны, — лениво отозвалась Ксения Дмитриевна, ваясь на диван.

— Они не согласные, — указал на нее пальцем Чуриков.

— Нет, правда, скажите, на чем-нибудь порешили? — спросила Гаша и опять подозрительно посмотрела на одного,

на другого, не скрывают ли от нее. — На свадьбе скоро будем гулять? — пошутила она.

— Порешили на том, что свадьбы нашей не бывать, — как бы со злым торжеством произнесла Ксения Дмитриевна, полулежа на диване и ни на кого не глядя.

— Что так? — удивилась Гаша.

И ей пришлось выслушать от них обоих содержание их беседы.

— Чудак вы, Иван Василич! — посмеялась она. — Ну разве же так делают? «Ответ сейчас, начинать жить вечером». Все-таки надо сообразоваться, кому вы предлагаете. На такое не каждая согласится.

— Это я им к примеру предлагал, — оправдывался Чуриков, вдруг почувствовавший страшный прилив жара и расстегивая на себе френч, — определенно! Другая сама торопится, чтобы вроде не дать человеку опомниться. Постольку поскольку.

— Надо было не так, — учила его Гаша. — Сегодня надо было бы только поговорить с невестой об ее родных, рассказать ей о своих, показать свой характер, узнать ее. Завтра прошлись с ней вдвоем в кино. Послезавтра прокатились бы на вашей машине. Потом можно было бы поставить самовар, накрыть на стол чистенькую скатерть, попить чайку, посидеть и уже сделать предложение в окончательном смысле. А не так!

— Моя машина вчера стала в ремонт, оттого я сегодня и гуляю, — сказал Чуриков. — Но если Ксения Дмитриевна захотят, для них я в два счета могу другую машину достать, и эта будет чище моей. Определенно!

Он встал, закланялся перед диваном, на котором полулежала Ксения Дмитриевна, бледная, с лихорадочно блестящими красивыми глазами.

— Ксения Дмитриевна! Желаете, прокатимся куда-нибудь сейчас! Погода хорошая, время тоже позволяет. Постольку поскольку!

— Куда я с вами поеду? — с беззащитным видом повела Ксения Дмитриевна узкими плечами.

— Хоть в Сокольники, хоть в Петровский парк. Можно махнуть в Останкино, там тоже есть где посидеть. Определенно!

Чуриков сверху вниз вперил в невесту круглые желтые ястребиные глаза.

— Можно в нашем кооперативе взять чего-нибудь с собой на дорогу. В нашем кооперативе все дешевле, чем везде. Пирожных наберем, фруктов, наливок сладких, наливки у нас по

ценам госспирта, порожнюю посуду принимают обратно, бутылки по шести копеек, полбутылки по четыре.

— Нет! Нет! — замахала руками Ксения Дмитриевна. — Замолчите! Никуда я с вами не поеду, ни в Петровский парк, ни в Сокольники.

— Я по-хорошему вас приглашаю, Ксения Дмитриевна, по-семейному. Вы не подумайте чего-нибудь. Определенно!

Ксения Дмитриевна раздраженно отмахнулась от него рукой, нетерпеливым жестом дала понять, чтобы он немедленно уходил.

— Значит, ваш отказ надо понимать в полном смысле? — оскорбился Чуриков и принял холодный тон.

— Да, в полном, в полном.

Чуриков схватил со столика свой новый каскет и, помахивая им влево и вправо, как на прогулке, направился к выходу.

— Честь имею кланяться! — со злобной галантностью отчеканил он на ходу. — Определенно!

— Я за вами закрою, — погналась за ним Гаша. — Ну? — через минуту с интересом спросила она у Ксении Дмитриевны, возвратившись в комнату.

— Жуть берет, — зябко поежилась Ксения Дмитриевна на диване.

— Отчего?

— От этих ваших шоферов. Так и вспоминаются герои из разных уголовных кинодрам.

Гаша рассмеялась.

— Ну что вы, что вы, Ксения Дмитриевна. Это вас с непривычки. А как же мы с ними живем?

— Не знаю, как вы с ними живете, но я их боюсь.

— Что так? Это вы напрасно.

— Уж очень все у них просто, — объяснила свое ощущение Ксения Дмитриевна. — И человека задушат просто, если задумают. Завезут, задушат, сбросят с машины в канаву.

Ее залихорадило.

— В Петровский парк меня зазывал... — стуча челюстями, прошептала она с таким лицом, точно на нее надвигалось страшное привидение. — В Сокольники сманивал... В Останкино...

Голос ее захрипел и оборвался.

— Что с вами, Ксения Дмитриевна! — бросилась ее обнимать испуганная Гаша. — Успокойтесь! Это вы просто от расстройства! Какие они там «душители»! Не бойтесь! И неужели же я отдам вас кому попало?

Вечером, когда Ксения Дмитриевна укладывала Клаву и Женю спать, а Гаша простирывала в кухне их рубашонки, с черного хода постучали.

— Кто там?

— Гаша, открой.

— А кто это?

— Я, Митриевна.

Гаша открыла дверь и впустила в кухню сморщенную, нищенски одетую старуху с темным покойническим лицом и с живыми мышинными глазками. От старухи Митриевны, по словам одного из шоферов, пахло покойником.

— Гаша, правда, что сегодня приходил к вам сватать вашу жиличку Чуриков из нашего этажа?

— Да, приходил, хотя я не знаю, из какого он этажа. А что?

— А его самого вы хорошо знаете?

— Знаю, но не очень.

— Видать, что не очень, — засуетилась Митриевна, забежала глазками из-под черного порыжелого платка. — Вы живете в четвертом этаже, а мы во втором, в одном с ним калидоре. И несчастная будет та женщина, которая пойдет за него.

— Почему? — насторожилась Гаша.

Старуха осмотрелась, заговорила тише:

— Только вы смотрите не выдавайте меня. Помните, как в прошлом году во всех этажах подписи против него собирали, когда он, пьяный, за то, что его любовница не захотела делать себе аборт, вышиб из нее ногой семимесячного ребенка?

— Да разве это он?

— Он самый. Ванюшка Чуриков. Пройдите в наш калидор, у кого хотите спросите.

Старушка повернулась и по-мышинному выскользнула за дверь.

Гаша бросила стирку, села на табурет, схватилась руками за голову...

IX

— Знаете, Гаша, о чем я вас попрошу? — обратилась однажды вечером Ксения Дмитриевна к Гаше, когда обе они сидели при электрическом свете за большим столом и по обыкновению шили белье.

— Ну? — спросила Гаша, не отрывая глаз от работы.

— Больше не знакомьте меня ни с кем из мужчин.
— Как? Уже? То просили как можно больше знакомить, а то уже не хотите?

— Да. Помните, я вам заранее говорила, что у меня из этого ничего не выйдет? Ну а теперь во мне произошел окончательный перелом. У меня созрел совсем другой план.

— Не секрет, какой?

— Конечно нет. Дело вот в чем. Я решила немедленно поступить на курсы машинописи. Уже ходила справляться. Уже взяла для заполнения анкету, хочу с Андреем посоветоваться, как лучше написать, скрыть, что я окончила гимназию или нет. Курсы в ведении Моспрофобра. Учение там поставлено замечательно, по американской системе. Через три месяца — всего через три месяца, вы подумайте, Гаша! — я получаю диплом на звание машинистки-переписчицы. А там поступаю на службу в какое-нибудь учреждение, становлюсь на самостоятельные ноги и живу по-иному...

— Это вы очень хорошо придумали, Ксения Дмитриевна, очень хорошо! — одобрила Гаша. — Этак лучше, чем дать командовать над собой какому попало мужчине. Правда, учитесь-ка на машинке писать да поступайте на хорошую должность. Тогда и мужчины хвосты подожмут, языки подвяжут. То они вас приходят смотреть, понравится или нет, а то вы их будете выбирать, если станете на себя зарабатывать. Тогда будете их прямо по шеям гнать. А если выйдете замуж, то и в супружестве у вас будет совсем другая жизнь. Гляньте на наших шоферш, наверное уже видали: как какая шоферша сама зарабатывает, так и муж хорош с ней, дрожит, боится, чтобы не плюнула ему в рожу и не ушла от него. А как какая не в состоянии сама копейку заработать, так и муж издевается над ней, каждую минуту вроде мстит ей, что она живет на его счет. Разве это жизнь? И-эх, Ксения Дмитриевна! И мучаются же есть среди нас которые!

— На тех курсах, — как околдованная, твердила Ксения Дмитриевна все о своем, — на тех курсах срок обучения трехмесячный, плата смотря с кого. С членов профсоюза по шесть рублей в месяц, с нечленов пятнадцать. Меня, как воспитательницу, работающую в вашей «детской комнате», зачислили в союз нарпита, так что я буду платить по шесть рублей.

— Это совсем недорого, — сказала Гаша.

— Недорого, но у меня и этих денег нет, — вздохнула Ксения Дмитриевна.

И они замолчали.

Гаша работала, Ксения Дмитриевна думала, высчитывала, умножала: трижды шесть равняется восемнадцати. Затратить всего восемнадцать рублей и стать совершенно другим человеком!

— Гаша,— смущенно нарушила наконец паузу Ксения Дмитриевна, — там у меня в чемодане завалялись кое-какие из моих прежних нарядов. Не купите ли вы их у меня? Я бы их совсем дешево вам отдала.

— У вас? — изумилась Гаша и отрицательно помотала головой. — Нет. У вас я не могу купить. Как же я у вас буду покупать? Да у меня совести на это не хватит.

— Все это пустяки, Гаша. При чем тут совесть? Напротив, вы спасете меня, если купите у меня мои тряпки.

— Лучше поберегите вещи для себя, — посоветовала Гаша.— Вещи всегда сгодятся. Вещи это не шутка. Продать вещи легко, а снова нажить?

И она много еще говорила похвального о вещах.

— Мне деньги нужны, — перебивала ее Ксения Дмитриевна. — Я должна поступить на курсы.

— Это два-то червонца? Такую сумму можете у кого-нибудь признать.

— Занимать я ни в каком случае не буду, раз не из чего отдавать. Говорите окончательно: возьмете мои вещи или нет? Если не возьмете, я их татарину продам. Сама их надевать я все равно не буду, они будят во мне неприятные воспоминания, я без страдания не могу на них смотреть.

Гаша остановила машину, молчала, смотрела вниз, боролась.

— Ну вот вы какая, — сказала она наконец и подняла голову: — Давайте посмотрим, какие там вещи.

Ксения Дмитриевна вытащила из-под дивана свой большой кожаный чемодан, весь испятнанный волнующими вокзальными бумажными наклейками: «Харьков», «Москва», «Харьков», «Москва»...

В пять минут они сторговались. Неприятные для Ксении Дмитриевны вещи перешли к Гаше.

И Ксения Дмитриевна со следующего дня аккуратно начала посещать вечерами курсы машинописи.

Три месяца занятий на курсах пролетели для нее как три дня.

Преподавали там превосходно, работать научилась она хорошо. Ей посчастливилось: при выдаче диплома на звание

машинистки ее там же записали кандидаткой на должность в одно советское учреждение.

Возвращаясь в тот памятный для нее день домой, с дипломом в кармане, куда-то записанная кандидаткой, она первый раз в жизни по-настоящему почувствовала под ногами твердую почву.

И странное и сложное было для нее это ощущение.

Она и сама сознавала, что звание машинистки, которое она завоевала, было не из очень высоких званий. Но ей в этом событии дороже всего был самый факт сдвига ее жизни с мертвой точки.

За первым сдвигом, без сомнения, последует целый ряд дальнейших...

Вот с чего надо было ей начать свою жизнь, с изучения какой-нибудь профессии, а не с замужества с Геннадием Павловичем!

— Спасибо вам, Гаша, спасибо за все, — частенько говорила она Гаше при всех удобных случаях. — Если бы не вы и не Андрей, если бы не ваше участие во мне, я не знаю, что со мной было бы.

— И вам спасибо, Ксения Дмитриевна, — отвечала Гаша. — Благодаря вам я от детей отдохнула и шитьем своим очень хорошо заработала.

— Многому я от вас научилась, Гаша, очень многому, — дрожал признательностью голос одной женщины.

— Полноте над нами смеяться, Ксения Дмитриевна, — звучал смущенностью и вместе гордой удовлетворенностью — другой. — Чему хорошему можно от нас научиться? Мы люди деревенские, недаленовидные...

— А самое важное для меня — это то, Гаша, что я у вас от любви к подлецу излечилась! — прозвучал победно голос Ксении Дмитриевны. — За работой да за хлопотами я совсем позабыла о нем! И я только теперь сознаю, как это было хорошо, что мы развелись с ним и что я уехала от него в Москву! Иначе наша ужасная любовная канитель тянулась бы до сегодня! Подумать страшно!

— Конечно, конечно, Ксения Дмитриевна, — старалась поддержать в ней высокое настроение Гаша. — С ним вы пропали бы.

Ксения Дмитриевна положила на стол работу, заулыбалась в пространство, зажмурила глаза, потянулась, затрепетала.

— Какое это блаженство: в один прекрасный день почувствовать себя свободной от всех цепей и от любовных в особенности!

В передней раздался звонок, робкий-робкий.

— Уже знаю кто, — заулыбалась Гаша, встала из-за машины, прошла отворять парадную дверь и через минуту просунула лицо обратно в комнату: — Криворучкин, шофер с первого этажа, «жених». Что сказать? Не пускать?

— Ну конечно, — пожала плечами Ксения Дмитриевна. — Я же объяснила вам, Гаша, что с этим теперь я не тороплюсь.

Гаша исчезла и вскоре возвратилась в комнату, необыкновенно веселая, подвижная, балующая, как мальчишка.

— Отправила, — с торжеством заявила она. — Страсть люблю мужчинам натягивать носы. Спрашивает: «Почему так?» Говорю: «Раздумали выходить замуж». А он мне: «Ей же хуже». А сам сделался красный как рак да такой злой, что я поскорее захлопнула перед ним дверь. Думаю: как треснет по лбу чем-нибудь железным!

Прошел час, другой, и в передней опять позвонили, по-прежнему осторожно-осторожно.

Обе женщины весело переглянулись.

— И звонить стали, черти, потихоньку, как нищие. То-то! Хвосты подобрали. Уже прослышали, что вы сдали экзамент на машинистку, в нескольких конторах кандидаткой и скоро будете получать хорошее жалованье. У-у, собаки! Я на вашем месте прямо не знаю, что теперь сделала бы с ними!

Она встала и пошла расправляться с визитером.

— Вам русским языком говорят, что не желают! — донесся из передней ее раздраженный голос. — Как так «удивительно?» Ничего удивительного тут нет. Столько время жили без мужа, проживут и еще. Спешки нету никакой.

— Кто такой? — спросила с улыбкой Ксения Дмитриевна, когда Гаша вернулась.

— Какой-то новый, незнакомый. Такой нахальный, прямо лезет! Я, говорит, только что принятый в коммуну, недавно перебрался, и вы, говорит, меня еще не знаете. И попрошу, говорит, объяснить мне: на каком основании вы не допускаете в дом неизвестного вам человека? Если бы, говорит, я был вами замечен в воровстве, тогда другое дело. А это, говорит, даже на удивление. А от самого — и духами, и помадами, и гос-спиртом!

Они на некоторое время замолчали и погрузились в работу.

Гаша строчила на машинке, Ксения Дмитриевна пришивала пуговицы, метала петли вручную.

— Мне теперь надо поторапливаться перебраться от вас, — печально вздохнула Ксения Дмитриевна.

— Что так? — удивилась Гаша.

— «Женихов» боюсь. Мстить будут.

Х

«Дорогой Геня!

Давно не писала тебе. Но напрасно ты объясняешь это моей “леностью”, “праздностью”, “интеллигентством” и другими пороками.

Причины моего молчания сложнее.

Прежде всего, ты представить себе не можешь, как незаметно обрастаешь в Москве множеством всевозможных “дел”. В Москве даже людям, ничего не делающим, всегда некогда. И каждый москвич тебе скажет, — поговори-ка с москвичами! — как трудно из Москвы собраться писать. Не пишут даже людям близким, родным. Ты же для меня сейчас такой далекий и такой чужой, каким не был никогда. Зачем же, для чего же я буду очень торопиться писать тебе?

Ты пишешь, что тебе “все известно” о моем поведении в Москве, что тебе подробно “обо всем” сообщают наши общие московские друзья и знакомые. Если это так, то тогда для чего же ты в нескольких письмах подряд “умоляешь” меня написать тебе о том, как я “устроилась” и каково мое самочувствие “физическое и нравственное”? О, как во всем этом я отлично вижу тебя, лжец ты этакий и притворщик! И как великолепно это дорисовывает тебя: подглядывать за мной через третьих лиц! Спрашиваю серьезно: по какому праву ты продолжаешь интересовать меня, следить за мной? Ведь по существу между нами все было кончено еще два с половиной года тому назад, когда я, по твоему настоянию, уехала из Харькова в Москву! Оставь, пожалуйста, меня в покое, прекрати свои гнусные допросы, “нашла” я себе кого-нибудь или еще никого “не нашла”. Какое тебе до меня дело? Мы сейчас посторонние друг другу люди.

Ты злишься и спрашиваешь, на каком основании я бегаю “по всей Москве” и выставляю тебя пред твоими московскими друзьями и знакомыми человеком низким, подлым, корыстным. Я-то, Геня, никому не жалеюсь на тебя, а вот ты действительно звонишь по всему Харькову, какой я была невозможной женой, как я изводила тебя, доводила до сумасшествия. Наши

общие харьковские друзья и знакомые подробно пишут мне обо всем этом...

Относительно того, как я "устроилась" в Москве, могу тебе сообщить, что я уже два года живу у Гаши. Тебя удивляет, как я, с моим характером, уживаюсь со своей "бывшей горничной". А вот представь, что уживаюсь. Это только с тобой я не могла ужиться, а с другими уживаюсь прекрасно. Фактически я живу у Гаши, конечно, прислужгой. Нет той самой тяжелой и грязной работы, которой я не выполняла бы. И я этим бесконечно довольна. Я горжусь, что приобрела у Гаши эту выучку, этот двухлетний трудовой стаж, что прошла важный житейский факультет. Многому я тут научилась, от многих отделалась предрассудков, стала трезвой, практичной, деловой, и ты теперь меня не узнал бы. Вот у кого и тебе поучиться бы: у них, у таких людей, как Гаша и Андрей. Какие это хорошие, ясные, прозрачные до самого дна люди!

Вот тебе в двух словах о моем самочувствии, "физическом и нравственном": нигде и никогда я не чувствовала себя так хорошо, как теперь здесь, у Гаши и Андрея.

Крепкие нервы этих простых деревенских людей, их примитивная жизнь, несложная психика, без "вывихов" и "провалов", действуют на меня самым исцеляющим образом. Я сама не ожидала таких благих для себя результатов. Точно пожила в здоровой местности. Точно подышала воздухом океана. Точно, наконец, отыскала свою мать-природу и перестала чувствовать себя "сироткой". Гаша и Андрей, эти дети природы, они как бы заражают меня своим здоровьем, своим крепким настроением, своей страшной жизненной устойчивостью. И я у них совершенно излечила свое сердце, когда-то так безжалостно расколотое тобой.

Тебя я больше не люблю.

Но об этом подробно потом. Сперва окончу то, о чем начала...

Благодаря участию во мне Андрея и Гаши, я изучила в Москве важное ремесло. Я окончила курсы машинописи по американской системе, имею диплом за подписями и печатями "Моспрофобра", к настоящему дню зачислена уже в пяти советских учреждениях кандидаткой на должность. Кое-что зарабатываю возней с детишками в нашей маленькой "детской комнате" при коммуне шоферов. Кое-что добываю изящным рукоделием, художественным вышиванием, знакомство с которым теперь мне тоже пригодилось. А как только получу службу, так запишусь на вечерние курсы стенографии или корректуры или еще куда-нибудь, пока не решила.

Эх, и заживу же я тогда!

Но я уже и теперь живу.

Странно: звание машинистки-переписчицы само по себе ничтожное звание, это я сама сознаю, но если бы ты знал, Геня, какое оно мне дает великое ощущение своей личной силы, какую вливает в меня твердую уверенность в моем будущем! Но ты, пожалуйста, не смейся надо мной...

И никаких "мужей" мне сейчас не нужно! Вот что!

Это, новое во мне, тоже очень весело переживается мною теперь. К черту вас всех! Тут, было, потянулись ко мне своими обезьяньими лапами "женихи" из приятелей Андрея, когда услышали, что я приобрела профессию и могу стать выгодной женой. Ну и приткие же вы все, мужчины! Но я их всех прогнала от себя, отдавала на растерзание Гаши. Словом, "женихи" летят от меня, как пух от ветра, я теперь, по выражению Гаши, "швыряюсь ими". И на самом деле, для чего они мне? Быть их содержанкой — как когда-то я была содержанкой у тебя — для меня сейчас нет необходимости. Сейчас я сама зарабатываю на себя. А любить, если кто полюбится, можно и без "брака".

Все мои помыслы сейчас о другом.

Мне сейчас до умопомрачения нужно только одно: работа, работа и работа.

И больше ничего мне не нужно.

И ты, Геня, мне совершенно не нужен. Мне непонятно, что я когда-то так беззаветно любила тебя. Была девочкой, дурой, и ты сделал меня своей рабыней, развил во мне собачью преданность к тебе. Идеал каждого мужчины — иметь рабыню с "собачьей преданностью". И вот я наконец освободилась от этого рабского чувства к тебе. Цепи сорваны, любви к тебе у меня нет, я свободна.

Помнишь, Геня, ты всегда, и в разговорах и в письмах, любил мне объяснять меня, копался в моей "женской психологии". Так позволь же и мне, на прощанье, хотя разик, углубиться в твою "мужскую психологию". Но, предупреждаю, берегись, я буду откровенна с тобой как никогда.

Ты имел обыкновение твердить мне, что я, твоя жена, несмотря на "надвигающуюся мировую революцию", не представляю из себя в "советском государстве" "общественно полезной единицы". По правде сказать, бывали моменты, когда эти твои фразы все-таки действовали на меня. Я думала: неужели я на самом деле такая никудышная? Но скоро я поняла скрытый смысл тех твоих фраз. Сознайся, не об "общественной полезности" моей беспокоился ты. Тебе нужно было только чтобы я поступила на службу, тебе нужно было только мое жалованье, ты

сокрушался только о том, что я жила на твой счет. Зачем же притягивать сюда "мировую революцию", когда попросту тебе денег жаль! Мерзавец ты, а не революционер! Почему ты не поступил со мной честно, почему ты прямо не сказал мне про деньги, а прятался за "неокрепшее социалистическое государство", за "красный призрак мирового пожара", за всякую всячину? Громоздил на себя все, целые государства, целые миры, лишь бы спрятать себя. И все-таки себя не спрятал. Несмотря на "мировую революцию", вижу тебя как облупленного, каков ты есть.

Подлые увертки мужчин!

Мы, женщины, все-таки выше, честнее вас!

И мы смелее вас!

Поэтому я углублюсь, не побоюсь, и дальше в твою "мужскую психологию".

Помнишь, вначале, когда мы только еще сходились с тобой, какие "возвышенные" ты произносил мне речи? Потом сравни их с последующими и, наконец, с самыми последними. Какая разница! Какие ступени от вершин в бездну! Какая крутая лестница! Разберись-ка в ней, и я тебе помогу в этом. Вначале, при первой встрече со мной, в чадю страсти, никакая цена за меня не казалась тебе дорогой. Лишь бы скушать такой аппетитный кусочек, каким я представлялась тебе тогда. А когда скушал, плата показалась тебе, человеку расчетливому, слишком дорогой. И ты всячески старался отделаться от меня и в то же время подыскивал себе жену подешевле. А то и вовсе бесплатную. А еще лучше такую, которая сама приплачивала бы тебе, служила, зарабатывала. Вот куда ты гнул, вот куда ты глядел, а вовсе не в "мировую революцию". Ну а теперь, спустя два с половиной года, ответь мне откровенно: много ты их таких нашел, "дешевых", или "бесплатных", или согласных "приплачивать"? Много ты встретил "новых женщин"?

Хотя сейчас мне наплевать на это...

Итак, дружок, это мое последнее письмо к тебе. Можешь не отвечать на него. Не желаю иметь ничего общего с человеком, причинившим мне в прошлом столько страданий. Прощай навсегда! К. Беляева».

XI

«Милая Ксюша!

Вот именно такая женщина мне и нужна была всегда, какой ты стала только теперь.

Помнишь, я говорил, что, как человек науки, в чудеса не верю, но что если чудо все-таки совершится и ты переродишься, то я, быть может, еще и полюблю тебя.

Теперь чудо налицо, ты переродилась, и я вновь полюбил тебя, новую, за новое, по-новому.

Предлагаю тебе, если хочешь, немедленно возобновить нашу связь.

Вспомни наши прежние ласки, наше прежнее все. Неужели у тебя хватит сил зачеркнуть это все собственной рукой? А если это единственное счастье, которое отпускает на твою долю судьба? А если у тебя в жизни больше ничего лучшего не встретится? Поэтому долго подумай, прежде чем отвечать мне отказом...

Жизнь на Украине быстро налаживается, я уже работаю по своей специальности, служу в харьковском тресте "Технохим". Так вот, в конторе этого треста сейчас вакантно место машинистки, и будет для нас с тобой очень удобно, если ты немедленно займешь его. Материальные условия службы сносны, что же касается формальностей, необходимых для занятия этой должности, то я, благодаря своим новым связям, сумею легко их преодолеть...

Я страшно рад за тебя, Ксюша, страшно рад!

Родители не научили — жизнь научила, революция научила.

Правда, тебе еще далеко до "новой женщины", но одной ногой ты уже ступила на правильный путь. Исполать тебе!

Подумай, Ксюша, ты теперь советская служащая, полноправная гражданка, член союза, женщина-работница мировой армии труда. Будем откровенны, а кем ты была раньше? "Женой своего мужа"? Его домашней вещью?

И ты долго, очень долго упрямялась, боролась за старое свое положение, была контрреволюционеркой, хотела продолжать оставаться вещью. Но революция заставила-таки тебя стать человеком.

И революция поступит так с каждой женщиной: или принудит ее быть человеком, работать, участвовать в общем строительстве жизни, или вовсе уничтожит ее, сотрет с лица земли.

Ты тоже едва не была уничтожена жизнью, едва не ступила на скользкий путь. Об этом мне тоже кое-что сообщили...

Теперь о некоторых местах твоего знаменательного письма.

Я не защищаюсь, Ксюша, и не оправдываюсь ни по одному пункту твоих обвинений. Только скажу, что ты напрасно так горячишься по поводу моих слов о твоей "общественной полез-

ности". Ты утверждаешь, что на самом деле для меня играло бы роль только получение тобой "жалованья". А разве получение жалованья не является свидетельством признанной "общественной полезности"? Ты думаешь, что громишь меня в пух и прах, когда пишешь, что во мне говорит "голый расчет". Скажи, пожалуйста, а разве это плохо, когда в человеке живет расчет? С каких это пор безрасчетливый поступок лучше расчетливого? Ты все-таки хотя немного думай о том, о чем пишешь... И "денег", конечно, мне тоже "жаль", потому что теперь они только трудом достаются...

Встав наконец на самостоятельные ноги, ты, Ксюша, представить себе не можешь, как ты выросла в глазах всех мужчин, и моих в том числе. И тут у нас не всегда только "голый расчет". Тут у нас все представление о женщине меняется, если она зарабатывает. Такую можно и уважать больше, и любить сильнее. Недаром ты сама пишешь, как "расшвыриваешь" женихов. А раньше у тебя их много было?

Чем брала женщина мужчину при старом режиме и чем она берет его теперь?..

...Итак, Ксюшечка, прошу: отвечай нынче же по телеграфу, согласна ли, во-первых, занять должность в конторе "Технохима" и, во-вторых, быть моей женой? В случае согласия немедленно выезжай.

Место за тобой я смогу продержат только в течение пяти дней, после которых его захватят другие. Так что не спи, торопись.

Если почему-нибудь опоздаешь с отъездом в Харьков и тем потеряешь возможность получить место в "Технохиме", тогда не выезжай совсем.

Если же согласна только получить эту должность, но не согласна быть моей женой, тоже не выезжай.

Словом, выезжай только в случае согласия на оба мои предложения.

Смотри же не напутай!

Ты пишешь, что записана кандидаткой на службу в пяти советских учреждениях? Тогда не лучше ли мне приехать к тебе, если ты к моменту получения этого письма будешь уже на должности? Это было бы еще лучше. Напиши мне, хватит ли нам на двоих одного твоего жалованья? Словом, отвечай немедленно на все вопросы. С нетерпением жду. Геннадий».

«P. S. Одного побаиваюсь: не научила ли тебя за это время Москва теории и практике свободной любви?»

XII

— Гаша! — держа в руках свежее письмо от Геннадия Павловича, с болью и радостью в голосе вскричала Ксения Дмитриевна и, заливаясь слезами, упала на плечи остолбеневшей Гаши. — Я от вас уезжаю...

И она так долго плакала, не выпуская из своих объятий Гашу, точно задалось целью выплакать все слезы, накопившиеся у нее в Москве за эти два с половиной года...

В тот же день, вечером, по пути на Курский вокзал, на углу Мясницкой улицы, Ксения Дмитриевна сошла с извозчичьей пролетки, поднялась по ступенькам в помещение Главного почтамта и отправила в Харьков на имя Геннадия Павловича срочную телеграмму:

«Согласна. Выезжаю сегодня. Твоя Ксения».

РЫНОК ЛЮБВИ

Повесть



I

Бухгалтер одного из отделений Центросоюза Шурыгин, маленького роста, плотный, хорошо упитанный мужчина с очень идущей к нему большой прямоугольной бородой, делающей его лицо красивым, уже в третий раз безрезультатно обходил кольцо московских бульваров: Пречистенский, Никитский, Тверской...

Походка у него была мечущаяся, вид растерянный, и, глядя на него со стороны, можно было подумать, что этот странный, солидный бородач только что потерял в темноте и теперь почти со слезами на глазах разыскивает среди прохожих кого-то из своих близких.

Несмотря на крепнущий к ночи московский мороз, Шурыгин то и дело снимал с головы теплую шапку и вытирал платком с лысины пот, а сам даже и в это время не переставал посылать на всех проходивших мимо женщин острые, голодные, дальнозорские, как у моряка, взгляды. Опытным взглядом тридцатидевятилетнего холостяка он в полсекунды определял, какая из женщин проходила бульваром случайно, какая искала здесь знакомства с порядочным мужчиной для серьезной и длительной любви, какая проводила тут жизнь, давая себя любить час одному, час другому, всем, профессионально, за деньги.

Оберегая свое здоровье, женщин последней категории Шурыгин очень боялся, всячески от них убегал и пользовался их услугами только в тех крайних случаях, когда его внезапно охватывала бурная, нетерпеливая, уничтожающая жажда любви, а любить было некого. В такие минуты он сам считал себя человеком ненормальным, утратившим власть над собой, способным на самые пагубные для себя безрассудства.

— Толстый, пойдем!

— Нет, я тут ищу одну... знакомую.

— Она не придет.

— Обещала.

И бухгалтер перебирал своими толстыми, короткими ногами дальше, молнией вдруг устремляясь сквозь тьму то к одной встречной женщине, как к своей хорошей знакомой, то сейчас же наискосок к другой.

— Ух, как вы меня испугали!— вырывался испуганный вздох из уст иной женщины, вдруг увидевшей перед самым своим носом напряженное страстью лицо мужчины.

Иногда темнота и утомленное зрение обманывали Шурыгина, и он налетал живот к животу на мужчину в особенности если у того было длиннополое пальто, похожее в темноте на женскую юбку. Случалось, что точно таким же образом и на него вдруг налетали из тьмы другие мужчины, дикие, с вытаращенными, светящимися в темноте глазами, с расширенными ноздрями...

Ноги бухгалтера были утомлены до крайности, мозг отупел, на сердце камнем лежала тоска... Неужели женщины не испытывают такой же неодолимой потребности любить? Тогда почему они, тупицы, молчат? Почему ни одна из них не подойдет к нему сейчас и не скажет ему об этом?

Снег похрустывал под новыми калошами поспешающего Шурыгина звучно, густо, плотно, как картофельная мука в кульке: «Хрум-хрум-хрум»...

Наконец в неосвещенной части Тверского бульвара бухгалтер окончательно остановил свое мужское внимание на самой скромной на вид женщине. Она одиноко и долго сидела на полузанесенной снегом, обледенелой скамье, зябко нахохлившись в своей короткой шубке и вобрав голову в желтое дешевенькое боа.

II

— Извиняюсь, мадам, я вам не помешаю? — взволнованно подсел к ней Шурыгин, избрав момент, когда вблизи никого не было.

— Нет, нет, ничего, пожалуйста, — проговорила незнакомка торопливо и тоже волнуясь, точно боясь, как бы Шурыгин не передумал и не ушел.

И она еще больше сжалась, собралась в плотный, круглый комок, без головы, без рук, без ног.

— А то я могу уйти, если в случае... — пробормотал Шурыгин, пробуя почву и сразу выпустив из себя все свои внутрененные мужские щупальцы.

— Вы мне не мешаете, — с достоинством ответила женщина, не поднимая на Шурыгина лица и глядя прямо перед собой в одну точку.

Она сидела на одном конце длинной садовой скамьи, Шурыгин на другом, и оба боялись, как бы кто-нибудь третий не сел посередине.

Середина спинки скамьи опиралась о толстый ствол древнего дерева, широко разросшаяся крона которого на всех белых мохнато-заиндевелых ветках была сплошь унизана, точно крупными черными листьями, спящими галками и воронами. И иногда было слышно, как сонные птицы с мягким, сдержанным, грациозным шелестом вдруг всей своей массой начинали молча производить среди ночи странные, им одним понятные и зачем-то им нужные, перемещения с ветки на ветку того же дерева...

Шурыгин, чтобы его не узнали знакомые и сослуживцы, поднял каракулевый воротник пальто и, повернувшись лицом к незнакомке, напряженно сверлил глазами одну ее щеку, пытаясь разглядеть в темноте ее лицо, цвет волос, всматривался в шапочку, шубку, ботинки. Кто она? Зачем она тут? К какому из трех обычных разрядов можно ее причислить?

— Видите что, — стесненно сказал он, обратившись к незнакомке и посылая ей свои слова через всю длину скамейки, — я это оттого вас спросил, не помешаю ли вам, что иные дамы обижаются, если мужчина сядет на одну с ними скамью. Они сейчас же начинают что-нибудь думать...

— Это все пустяки, — отозвалась из самой верхушки темного комочка дама, по-прежнему не шевелясь и не глядя на

своего соседа. — Что из того, что на ту же скамью, на которой сижу я, сядет мужчина!

— Конечно, конечно, — оживился бухгалтер и, как бы сам того не замечая, подобрал под собой в руки фалды пальто и в сильно согнутой к земле позе подъехал по скамье на аршин ближе к даме. — Ну что, например, из того, что я вот сейчас сел на эту скамью? Какой вам ущерб? Другое дело, если бы вы кого-нибудь другого...

— Нет, я никого не жду, — сказала дама просто. И в этой ее простоте Шурыгину почудилось что-то особенно подкупающее, какая-то врожденная этой женщине ласка.

И он во второй раз обеими руками поджал под себя фалды пальто и с наклоненной в землю головой еще немножко подъехал по скамье к даме.

Сердце его тревожно колотилось: «Тук-тук-тук»...

Перед ним встала нелегкая задача: придумать хороший и длинный разговор. Это было не то, что в конторе Центросоюза класть на счета мертвые цифры, с утра до вечера считать чужие миллиарды!

— Значит, вы, как и я, просто вышли подышать свежим воздухом?

— Да, «воздухом».

Последнее слово дама произнесла с горькой иронией над собой и лихорадочно вздрогнула всем комочком.

— Да-а... — осторожно вздохнул Шурыгин, стараясь нащупать нужный тон. — Такова-то наша жизнь...

— А что, разве вы тоже недовольны своей жизнью? — не сразу спросила дама с интересом.

И Шурыгин с радостью увидел, как она в первый раз повела на него одним глазом, блеснувшим из узенькой щелочки между теплой шапочкой и боа.

— А разве можно быть довольным такой жизнью? — искренно пожаловался он. — Кажется, и здоровье у меня хорошее, и служба обеспечивающая, и квартира удобная... Только бы жить! Но на что мне все это, на что эти деньги, пайки, уважение сослуживцев, если у меня главного нет?

— Что вы называете главным?

— Главным?

Он подыскал нужные слова и сказал:

— Главное в жизни — это любовь. Взаимная любовь между мужчиной и женщиной.

— Что же вы, неудачно женились, что ли?

— В том то и дело, что я холост и никогда не был женат. Из глубины темного комочка вырвалась усмешка.

— Все мужчины так говорят. Все мужчины «холосты».

Шурыгин засуетился, начал расстегивать пальто.

— Хотите, я свою трудовую книжку вам покажу?

— Нет, нет, зачем, не надо. Предположим, что я вам верю.

Дама немного помолчала.

— Я только одного не понимаю, — спустя минуту продолжала она. — Вы жалуетесь на одиночество, на то, что вам некого любить, а между тем в Москве так много свободных женщин!

— А как к ним подойти? — всплеснул руками бухгалтер с горьким смешком. — Вот взять меня: пока я набрался храбрости подсесть к вам, я в течение целых четырех часов безостановочно бегал по бульварам, сделав, таким образом, не менее двадцати пяти верст, дневной переход солдата действующей армии!

Сравнение с солдатом действующей армии понравилось даме, она рассмеялась и еще раз покосилась щелочкой между боа и шапочкой на Шурыгина.

— И совсем напрасно проделывали вы такой трудный военный переход, — сказала она. — Надо было просто подойти ко мне, если вам этого хотелось. Я тут тоже давно сижу и вижу вас, как вы пролетаете мимо то туда, то сюда.

Шурыгин в знак удовольствия что-то такое промычал и в третий раз, свесив голову в землю, придвинулся к незнакомке, теперь уже вплотную, локоть к локтю.

— Значит, вы ничего не имеете против того, что я сижу и разговариваю с вами?

— Наоборот. Одна бы я скучала...

III

Они разговорились, и через пять минут двое незнакомых между собой людей, даже хорошо не видящих друг друга, ночью, в темноте, на улице, при двадцатиградусном морозе, чистосердечно открывали один перед другим свои души... Он погибает, если уже не погиб. Он в общем долгие годы, а, в частности, ежедневно, ищет и никак не может найти подходящую для себя женщину-друга. Как у голодного на уме только хлеб, хлеб и хлеб, так ему, холостяку, всегда мерещится только любовь и любовь... Она, оказалось, тоже погибает, если уже не

погибла, но только от другой причины. Четыре года тому назад, вернее, даже пять, ее муж, врач, уехал за границу; первое время аккуратно высылал ей оттуда и деньги, и продовольственные американские посылки, а в последние полгода не шлет даже писем, и она не знает, что с ним, может быть, его уже и на свете нет.

— Главное, жаль детей, — говорила она. — У меня двое детей, обе девочки: одной 6 лет, другой 10, старшая ходит учиться.

Услышав про детей, Шурыгин от неожиданности опешил, однако в следующий момент сообразил, что это дела нисколько не портит, а скорее, наоборот, характеризует даму с положительной стороны.

— У вас уже девочка 10 лет, а между тем вы сами так еще молоды, так хороши! — взяв ее под руку, прижимался и прижимался он к ней, точно силился весь целиком вмяться ей в бок.

Дама, точно неживая, точно сделанная из тряпок кукла, совершенно равнодушная к его нежностям, продолжала выкладывать перед ним свои беды.

— Поступить на службу мне не удается, это теперь так трудно. Продавать из вещей больше нечего: что можно было продать, все продала. Непроданным осталось только одно... но оно, кажется, сейчас очень дешево ценится.

— Что именно? — спросил Шурыгин, заволновавшись и страстно посапывая носом в ее дешевенькое желтое боа, от которого пахло псиной.

— Разве вы не знаете что? — ответила дама и, содрогнувшись под шубкой, отдельно и приподнято проговорила: — Любовь. Непроданной у меня осталась только любовь.

— Что ж, товарищ ходкий! — хихикнул Шурыгин, врываясь и врываясь страстным носом в боа дамы.

— Ходкий-то он ходкий, да я не умею им торговать, — заметила дама. — Вот учусь у профессионалок, да ничего не выходит. Поглядите, — кивнула она на лениво и как-то беспутно слоняющихся в потемках женщин, — некоторые из них уже по третьему разу уходили с мужчинами и опять сюда пришли. Умеют. А я все сижу и сижу. Я четвертый день как решила ступить на этот путь и четвертый день хожу здесь без всякого результата,

— А! О! Что? — обрадованно завозился на месте Шурыгин и переспросил: — Только четвертый день занимаетесь этим?

— Пока не «занималась» совсем. Никто не берет.

— Совсем? — взвизгнул еще больше обрадованный Шурыгин. — И не надо совсем! О, это такой ужасный, такой ужасный путь! Еще никто не ступал на него, не поплатившись за него своим здоровьем, своей жизнью. К тому же у вас дети, двое девочек, вы должны хотя детей своих пожалеть.

Он горячо убеждал ее оставить эту мысль, выбросить ее из головы, забыть про нее и в самых мрачных красках рисовал перед ней ужасы, которые ее ожидают.

— Это самый последний, самый гибельный путь! — заключил он свою речь, прижимаясь к ней.

Но, к его удивлению, его слова ничуть не испугали ее.

— Я сама знаю, что это гибельный путь, — спокойно проговорила она. — Я об этом уже все передумала, я все страхи уже пережила. Я хорошо знаю, на что иду, я много читала об этом, о болезнях и прочем. И я решилась на все, лишь бы спасти детей.

— Вам лучше всего надо найти себе здорового и порядочного мужчину и держаться его одного.

— Теперь моя очередь спросить вас: а как его найти? Где искать? А я сама знаю, что это единственное, что еще может спасти меня.

— Вам надо найти такого покровителя или друга, что ли, — продолжал Шурыгин, волнуясь, — который заботился бы о вас и о ваших детях...

— Я и сама такого ищу и уже отчаялась найти. Чтобы он и материально помогал мне и чтобы как мужчина был не противен.

— Такого можно найти.

— Ну найдите мне, найдите!

Она оживилась. В ее тоне засквозило даже что-то девическое, игривое.

А Шурыгин тяжело вздохнул и произнес придушенно:

— Я найду...

Через минуту, отдышавшись и взяв себя в руки, он принялся хитро выпытывать у нее, не обманывает ли она его, не сочиняет ли про мужа, пропавшего за границей, про детей, про себя, что всего четвертый день как вышла на улицу и что еще никого из мужчин не имела. Он ставил ей вопросы то прямо, то исподтишка, с расчетом поймать ее на лжи.

— О, какой, однако, вы подозрительный! — нервно смеялась она, бессильная выбиться из паутины его вопросов. — Уверяю же вас, что сегодня только четвертый день, как я выхожу. И напрасно вы говорите, будто уже раньше видели меня на бульварах. Это неправда. Это с вашей стороны даже нехорошо.

— Но не может быть, — горячился Шурыгин, как следовало, — но не может этого быть, чтобы за четыре дня никто вас не брал. Припомните хорошенько, подумайте и сознайтесь.

— Мне нечего припоминать, раз у меня ничего не было, — защищалась дама. — Вот это-то и доказывает мою неумелость. Опытных, бывалых, тех сразу берут. И, должно быть, я не знаю цен, что ли, какие теперь существуют, и очень дорого запрашиваю. По крайней мере, когда я называю свою цифру, мужчины вскрикивают, машут руками, смеются и бегут к другим.

— Сколько же вы просите?

Она сказала сколько.

Шурыгин вскрикнул, взметнул руками, рассмеялся.

— Вы с ума сошли, что ли? Кто же вам столько даст? Неизвестно, что будет дальше, ну а пока таких цен нет.

— А какие сейчас цены?

— Сейчас?

И он назвал ей ряд цифр: за такую любовь такая цена, за такую такая...

— Так дешево? — наивно, как маленькая девочка, удивилась дама.

— А вы думали как? — улыбался Шурыгин. — Безусловно, в связи с общим вздорожанием жизненных продуктов цены на любовь растут, но не в такой сильной степени, как это представлялось вам.

— Значит, этим тоже много не заработаешь... — разочарованно и удивленно вздохнула дама. — Печально... А я-то думала разбогатеть. Еще один воздушный замок рухнет... Вот думала, и того себе накуплю и того; и детей одену и себя. А оно вот что... То-то те женщины, профессионалки, так стараются, так пристают к мужчинам, насильно навязывают себя, по три раза в вечер ходят. Я думала, что у них нахальство, жадность, — а выходит, что иначе никак не заработаешь в день нужный минимум. И прежде я завидовала им, а теперь мне их жаль... Несчастные!

— Вот потому-то я и говорю, что задумали вы ужасное! — воскликнул с жаром Шурыгин.

Слово за словом, и он сознался, что порядочный мужчина, которого он имел в виду ей предложить для прочной связи, это он сам.

— Я так и знала, — улыбнулась она, видимо довольная. Он смело обнял ее за талию и, тихонько повизгивая, как щеночек, начал тереться щекой и бородой об ее желтое боа.

— Ийе-ийе-ийе... — похрюкивал он, жмуря от наслаждения глаза.

Потом он завернул краешек ее старенькой, замшевой, липкой, в дырочках перчатки и стал целовать ее руки.

— А сладкая какая ручка! Ам-ам-ам! Вот не ожидал! Даже удивительно! И откуда берутся такие чудненькие ручки? И откуда они только берутся? Ам-ам-ам!..

— Ой! А вы не кусайтесь!

— Как же вас не кусать? Разве можно вас не кусать, такую хорошенькую, такую славненькую, такую вкусненькую! Я такую, может, пятнадцать лет ищу!

Было очень темно, и Шурыгин, приглядываясь сбоку к незнакомке, нежно спросил:

— Я извиняюсь, мадам: вы блондинка или брюнетка?

— А вам какую надо?

— Мне блондинку.

— А я как раз брюнетка, — произнесла дама очень сконфуженно.

— Ну ничего, — успокаивал ее Шурыгин и опять полез толстыми губами под краешек ее тоненькой перчатки: — Брюнетки, они тоже бывают... Ам-ам-ам!..

Но дама долго еще оставалась расстроенной тем, что она не блондинка. Лицо ее нервно горело, глаза виновато сузились, поглупели. Она плохо слышала, туго соображала и несколько раз ответила Шурыгину невпопад.

Наконец они заговорили о хозяйственной стороне дела, или, как весело выразился бухгалтер, о скучной прозе.

— Вы сейчас сосчитайте точно или говорите мне, а я буду считать, я по счетоводству спец, какие у вас главные расходы и какая сумма в итоге вам потребуется, чтобы вы могли не ходить на бульвар добывать себе деньги таким ужасным способом. А тогда я скажу, в силах ли я столько вам платить.

— Нет, лучше вы назовите сумму, которую вам не жаль давать мне в месяц! А потом я вам скажу, устраивает это меня или нет.

— Нет, вы раньше скажите, сколько хотели бы вы от меня получить?

— Нет, вы... сколько вы в силах дать?

Они долго препирались таким образом. Было похоже — ни одна сторона не хотела прогадать.

Наконец она сдалась и стала громко вспоминать главные статьи своих расходов.

— Хлеб... Дрова... Прачка... За электричество... За воду...

Она диктовала цифры в рублях, а бухгалтер четко повторял за ней и мысленно клал на счета, как в конторе, как в Центросоюзе. Над их головами сонное воронье и галки всей своей многосотенной массой опять менялись друг с другом местами, вдруг наполнив тишину ночи сдержанным, мягким, как бы далеким воздушным шумом...

Когда итог был подведен, с него, по предложению бухгалтера, согласно какому-то коммерческому обычаю, была сделана 30-процентная скидка, и стороны пришли к окончательному соглашению.

— Хотите, будете получать ежемесячно, хотите, — понедельно.

— Там посмотрим.

Ее, видимо, еще что-то мучило, она хотела еще что-то сказать, еще что-то добавить.

— Слушайте, — решила она наконец. — Только вы очень не удивляйтесь и не возмущайтесь...

Шурыгин испугался:

— Что? Что такое?

— И не пугайтесь... И не смейтесь... Это такой пустяк. Дело вот в чем... Еще хотела я вас попросить купить мне завтра же, пока там не продали, я видела в витрине одного магазина, — пеструю летнюю блузку...

— Зимой летнюю блузку?..

— Да, да... Пока не продали... А то ее другие купят, а она ко мне очень пойдет... Но вы не подумайте обо мне чего-нибудь дурного, что я пользуюсь, вымогаю... Ничего подобного... Я женщина, и смотрите на это как на мой пустой женский каприз или прихоть, что ли...

— Что ж, — сказал бухгалтер, весьма озадаченный, — это можно.

Потом они встали и быстро пошли на Долгоруковскую, к нему на квартиру.

И, глядя на эту дружную, спевшуюся, даже согласованно шагавшую парочку, никто не сказал бы, что это не муж и жена.

IV

— Как я рад, как я рад! — восклицал с придыханием Шурыгин и, держа свою спутницу под руку, с упоением прижимался лицом к ее излизанному бою, все сильнее попахивающе-

му собакой.— Какое это счастье, какое счастье! Сам Бог посылает мне вас. Вы так выручаете меня, так выручаете. Вы, собственно, спасаете меня. И это без преувеличения. И я бесконечно благодарен вам за это. Ведь надо же было случиться, чтобы вы четыре дня ходили и никому не успели попасться в руки и идете ко мне первому.

— В этом-то вы можете мне верить. После отъезда мужа я в течение всех этих пяти лет не знала ни одного мужчины.

— В течение пяти лет? Правда? Правда? Какое это счастье, какое счастье! Как вас зовут? Валентиной? Валечка, сядем на извозчика. Извозчик, подавай! На Долгоруковскую! Только вези скорее!

В санях он, маленький ростом, несколько раз просил свою высокую ростом спутницу нагнуться и, омкая, целовал ее в щеку, в ухо, в шею, в собачье боа, во что попало.

— Какой вы беспокойный, — говорила она по этому поводу.

— А можно расстегнуть на вашей шубке парочку пуговичек, таких славненьких, таких смешных, что, кажется, за одни эти пуговички я жизнь бы свою отдал. Можно, можно, можно? А то у меня руки замерзли, засунуть руку под шубку, погреться... Кроме тех денег, я смогу еще вам выдавать немного монпансье, мануфактуры, подошвенной кожи...

Через четверть часа они приехали. Он позвонил к себе, съезжился и тихонько сказал:

— Сперва я войду один, а вы постоите тут. Потом я погашу свет, выйду и проведу вас за руку в темноте.

— Это зачем?

— Так надо. Чтобы хозяева квартиры не заметили. Все-таки, знаете, неловко.

И потом, в комнате, он беспрестанно напоминал ей, указывая пальцем на стену:

— Тише! Говорите шепотом! Не кашляйте! Не шлепайте по полу босыми ногами! А то они могут что-нибудь подумать!

Когда гостья, ее звали Валентиной Константиновной, сняла с себя боа, шляпу, пальто, перчатки и села в ярко освещенной комнате в мягкое кресло, Шурыгин наконец мог разглядеть ее всю, ее лицо, прическу, наряд. И ему почему-то резче всего бросилась в глаза ее костлявая, сухая, плоская, как доска, грудь, почти целиком проглядывающая сквозь черную кружевную блузку без рукавов с глубоким старомодным декольте. Он даже смутился от такого открытия. Затем его не меньше поразили в ней слишком редкие черные волосы, сквозь которые светилась

белая, как мел, кожа головы. Но зато страшная худоба лица странно скрашивалась и даже приобретала какую-то особенную соблазнительность благодаря красивым, совсем не старым, темным, испуганно пылающим глазам.

Валентина Константиновна сразу поняла и первый его мужской взгляд на ее тело и последовавшее затем его мужское смущение.

Она густо покраснела, посмотрела через подбородок на свою доскообразную грудь, понатужилась и выпятила ее, сколько могла, и сказала:

— Конечно, я сейчас стала неинтересна... Изголодалась, исхудала... А еще в прошлом году я была ничего, когда муж посылал мне через американцев посылки... Вот тогда бы нам с вами встретиться! А если бы вы видели, какая я была в первый год после того, как муж уехал за границу! Тогда у меня было много поклонников, все больше из друзей мужа, и я могла бы недурно устроиться. Но кто знал, что это так надолго затянется? Я все думала: вот муж приедет, вот муж приедет. Глупая, тогда и надо было устраиваться, а теперь на кого я похожа?

И она подняла, как ободранные крылья, свои заголенные костлявые, большие, чересчур длинные руки и с сожалением, как на чужие, посмотрела на них.

— Нет, — утешал ее Шурыгин и, на правах хозяина, без пиджака, в одном жилете, хлопотал на подоконнике по хозяйству, грел на примусе чай, раскупоривал вино, разворачивал из бумажек закуски... — Нет, вы и сейчас еще можете нравиться, — провел он по ней издали вспыхнувшим взглядом. — В вас что-то такое есть, в ваших глазах какой-то этакий зажигающий блеск. И это хорошо. Сразу видно, что вы не будете рыбой в любви. Ведь правда?

— Да... Это правда... Если человек мне понравится, то он не пожалеет, что сошелся со мной...

— Да? Даже и теперь? — спросил с нескрываемым удовольствием Шурыгин и, нагнув вперед шею, направился к ней. — Это очень важно, очень важно!

Так как обе его руки были в жиру от семги, рыбий жир лип с них, то он отстранил их в стороны и назад, а сам потянулся лоснящимися от семги губами к Валентине Константиновне целоваться.

Она, устремив испуганные глаза в одну сторону, подставила ему свои губы в другую.

— Вы только не очень спешите, дайте мне немного осмотреться, освоиться...

— А я разве спешу? Вот видите, затеял эту возню с чаем.

— Вы сперва кончайте эти приготовления... — произнесла она в стену комнаты и незаметно вытерла уголком платка рот, от которого после поцелуя неприятно пахло, как от болота, пресной свежиной сырой семги.

— Это ничего,— сказал бухгалтер и пошел сервировать стол. — Это я только так, пока. Не мог удержаться. Уж очень вы понравились мне.

— Да? — удивленно спросила гостья. — Я вам нравлюсь? Странно, как это я теперь могу нравиться... Я ведь все эти годы так стремилась убить в себе женщину, заглушала в себе всякое чувство, боролась с соблазнами, мучилась.

— Если бы вы раньше сошлись с мужчиной, вы бы сохранились лучше.

— Теперь-то я это сама сознаю.

— От воздержания, — проговорил бухгалтер, стал лицом к гостье и положил себе в рот с ножа лункообразную пластинку голландского сыру, — от воздержания у женщины развивается острое малокровие. Это установлено наукой. А сколько бывало смертных случаев!

— Мне и самой доктора то же говорили: «Вам никакое питание не поможет, вам надо выходить замуж». А я все старалась быть верной мужу.

Бухгалтер мелко и рассыпчато рассмеялся, и чайная посуда, которую он нес от подоконника к столу, задрезбужжала в его руках, как бы вторя его смеху.

— А вы думаете, муж верен вам, в особенности там, в развратной Европе?

— Конечно нет. Тем более с его страстной натурой. А Европа разве развратная?

— Европа? Ого, еще какая.

И он, как от зубной боли, зажмурил один глаз и многозначительно тряхнул головой.

Они пили чай, закусывали, лакомились, чокались рюмками с вином и все больше рассказывали друг другу подробности о себе.

— У меня три дочки, а не две, — созналась гостья. — Я вначале сказала, что две, чтобы не очень вас отпугнуть от себя. Двух вы и то испугались, я ведь это чувствовала: вы на бульваре все время крепко жали мою руку повыше локтя, а как только я сказала, что у меня двое детей, ваши пальцы сразу отпустили мою руку, как будто вы вдруг потеряли силу.

Шурыгин пойманно ухмыльнулся.

— Это все ерунда, — сказал он, — дело не в том, сколько у вас дочек, две или три. А дело вот в чем: не сочиняете ли вы всю эту историю про себя, про свои «четыре дня», про мужа за границей, про дочек? Я несчастный человек, меня уже миллионы раз обманывали женщины, и неужели сейчас я в миллион первый раз попадаю на ту же самую удочку?

И он, наливая гостею рюмку за рюмкой, снова принялся задавать ей хитро поставленные, сбивчивые вопросы, трижды спрашивать об одном и том же, как будто случайно, а на самом деле рассчитывая уличить ее во лжи... Оттого ли, что он выпил вина, или просто от болезненной мнительности, у него вдруг явилось острое желание мучить ее, пытать, заранее мстить ей, даже заранее убить ее, на тот случай, если она обманывает его и, будучи обыкновенной бульварной профессионалкой, которой никого не жаль, тонко разыгрывает перед ним сложную роль, а в конце концов заразит его.

— Я с вами знаете что тогда сделаю... — скрипел он зубами, сжимал кулаки, вращал обезумевшими глазами.

— О! — то возмущалась, то смеялась со слезинками на глазах Валентина Константиновна. — Какой же вы мнительный! Если вы так боитесь заразиться, то вам давно надо было жениться.

— Я потом женюсь на вас! — в припадке глухого отчаяния вскричал Шурыгин, весь дрожа. — Потом! Только вы не обманывайте меня сейчас! Скажите мне всю правду!

— Что я могу вам сказать, я уже все сказала.

Тогда толстый бухгалтер опустился перед ней на толстые колени, прижал к толстой груди толстые руки, возвел на нее толстое, красное, маслянистое лицо с темной прямоугольной бородой и иступленно взмолился:

— Не губите меня... Я так еще молод, силен и так хочу жить... Скажите правду: если вы занимаетесь этим профессионально, тогда я лучше сейчас же вам заплачу, сколько следует за один сеанс любви, даже еще прибавлю сверх и немедленно отпущу вас с миром... У меня есть двадцать аршин мадаполаму, — колотил он себя в грудь кулаком, — двенадцать аршин маркизету, девять крепдешину и еще кое-что; ничего не пожалею, все отдам, если вы сейчас же уйдете от меня.

— Да нет же, нет! — беспомощно ломала она руки, сидя в кресле и мучительно глядя на стоящего перед ней на коленях Шурыгина. — Встаньте сейчас, это нехорошо, вы же

мужчина! Как я смогу вас убедить, чем я сумею вас разуверить? Я так и знала, что вы будете обо мне такого мнения, раз мы познакомились на бульваре. Какой ужас, какой ужас! — жалобно наморщила она лицо, прослезилась, достала из сумочки платок. — Как вы не понимаете женской души, какой вы не чуткий! Неужели по мне не видно, кто я, неужели я похожа на тех?

Шурыгин пытливо следил за выражением ее лица, вслушиваясь в тон ее голоса. Играет она перед ним комедию или говорит правду?

— Видно-то видно, — поднялся он с колен в тяжком раздумье. — Но вы сами сказали, что вы «решились на все», что вам не жаль ничего. А мне себя жаль. Или взять эти ваши «четыре дня»? За эти четыре дня у вас могли быть дела с другими мужчинами, вам неизвестными, быть может неблагоприятными в смысле разных болезней, и вы, которая «решилась на все», неужели вы теперь остановитесь перед тем, чтобы вместе с собой погубить и меня? Человеческая психология такова: если мне погибать, пусть и всему миру будет гибель.

— Ничего подобного! Я такой психологии не знаю! Сядьте, успокойтесь! Просто вы слишком болезненно подходите к вопросу. Вероятно, вы уже заражались не раз, и теперь уже я начинаю серьезно бояться вас. Меня же бояться вам нечего. Вот придете завтра ко мне на дом, посмотрите, как у меня в квартире, поболтаете с моими дочурками, тогда узнаете, кто я. Портреты мужа и письма его из-за границы и мешки от посылок покажу. На бульваре вы мне хотели показать свой паспорт, а теперь мне приходится свой предьявлять.

Шурыгин просветлел.

— Значит, завтра к вам на квартиру можно?

— Конечно, можно.

Шурыгин окончательно успокоился.

Он накрыл газетным листом стол с едой, достал из чемодана чистую простыню и стал стелить постель.

Валентина Константиновна заволновалась, встала, нечаянно увидела, что он делает, и глаза ее вдруг приняли такое отчаянное выражение, какое бывает у пойманной птицы, которую только что вынули из силка и, чтобы она не вырвалась из рук, крепко сжимают ее в кулаке.

V

Прошло два-три часа, и время приближалось к рассвету, а им все не хотелось спать, они все лежали и при полном свете электричества беседовали.

— Я лежу и сама себя спрашиваю: я это или не я? — говорила Валя, красная, пылающая, глядящая довольными, лихорадочно сверкающими глазами в потолок. — Неужели это я? Кто бы мог подумать? Вот если бы муж мой узнал!

— А где же твой муж? — хитро подбросил ей вопросик бухгалтер, как будто между прочим.

— Я же вам говорила, что за границей. Последнее письмо было из Сербии.

— Ах да, в Сербии, — как бы вспомнил бухгалтер.

— Он, если узнает когда-нибудь об этом, не осудит меня, не проклянет, простит, — раздумчиво сама с собой гадала Валя в потолок. — А если не простит — значит, не любит. Впрочем, кто знает, когда еще он вернется в Россию, может быть, никогда...

Она замолчала.

— Что с тобой, Валечка? Ты плачешь? Зачем? В чем дело?

— Ах... Ничего... Это так...

— Не надо плакать, Валечка! Не надо отравлять такие блаженные минуты разными воспоминаниями, сомнениями! Не будешь, а?

— Нет...

— Ну скажи «не буду»!

— Не буду.

Он крепко поцеловал ее в губы.

— Принести тебе сюда немножко мадеры?

— Хорошо, дай...

Они выпили в постели.

— Какое это счастье для меня, какое счастье, что я встретил тебя, Валечка! Прекратятся наконец мои пятнадцатилетние мучения!

— Для меня это тоже большая находка, встреча с вами, с тобой... Я так исстрадалась за эти четыре дня, столько вынесла унижений, оскорблений, страхов... Чего стоят одни эти переговоры в темноте с мужчинами, подробности этого торга с ними... Я им называю свою цену, они мне предлагают свою, расспрашивают о разных гадостях... ужас! Я еще и сейчас сама себе не верю, что завтра мне не придется идти на бульвар, искать...

— Твое счастье, Валя, что это для тебя так хорошо кончилось.
— Кончилось ли?.. Если вы меня скоро оставите, тогда мне опять придется идти на разовые встречи с мужчинами, продаваться в розницу.

— Нет, зачем же. Ты тогда опять кого-нибудь одного себе найдешь.

— Это трудно, это невозможно... Вас я нашла случайно...

— Ты опять со мной на «вы»?

— Ну, тебя я нашла случайно... И я надеюсь, если ты решишь бросить меня, то сперва познакомишь меня с каким-нибудь другим таким же порядочным мужчиной, чтобы мне не идти на бульвар...

— Это конечно.

Провожая ее от себя утром домой и сам вместе с ней отправляясь на службу, с портфелем в руках и с трезво-деловым выражением лица, Шурыгин говорил:

— Значит, вкратце, Валечка, условия нашей связи таковы. Первое: ни одна сторона, ни ты ни я, не имеет права заводить новую связь, вторую, не порвав первой. Второе: наша связь продолжается до того дня, пока это обеим сторонам будет удобно. И третье: связь рвется, если того пожелает хотя бы одна из сторон, причем объяснять причины такого ее желания отнюдь не обязательно. Кажется, все!

— По-современному...— ухмыльнулась в сторону Валя.

VI

И они стали встречаться регулярно.

Их свидания происходили у него на квартире.

Первую неделю он просил ее бывать у него ежедневно, вернее еженощно; эту неделю они называли «наш медовый месяц».

На вторую неделю он назначил три встречи. Потом, начиная с третьей недели, бухгалтер окончательно закрепил для свиданий, уже навсегда, два дня в неделю: понедельник и пятницу.

— Это что же? — спросила она тогда недовольно. — Почему так мало?

— Надо экономить себя, — отвечал он с мужской эгоистичной каменностью в лице. — Согласно требованиям науки.

По ее губам скользнула насмешливая улыбка.

— Любовь по расписанию, любовь по календарю, — презрительно поджав губы, повертелась она на каблучках в одну сторону и другую.

— Пусть будет «по расписанию», пусть будет «по календарю», — с неумолимостью победителя, твердо, как скала, стоял он на своем.

Давно не испытывал Шурыгин такого спокойствия, такого здорового довольства, как в этот счастливый период своей жизни! И все-таки какой-то червь где-то внутри точил его...

Сперва ему казалось, что ему недостает самого малого пустяка, потом все яснее чувствовалось, что дело тут вовсе не в пустяке, а в чем-то весьма существенном. Валя... Она хороший человек, но подходящая ли она ему пара во всех отношениях?

И ехал ли он в трамвае на службу или со службы, ходил ли по магазинам и тротуарам пешком, принимал ли посетителей в Центросоюзе, обедал ли в столовой, бывал ли на общих собраниях служащих, — всегда и всюду всех встречавшихся ему примечательных женщин он неизбежно сравнивал со своей Валею. У одной фигура была несравненно соблазнительней, чем у Вали; другая переворачивала в нем душу красотой своего лица, за которым, казалось, таился неиссякаемый кладезь самых чудеснейших, самых важнейших возможностей; третья действовала на обоняние, обдавала его благоуханием такой юной девственной свежести, что верилось: начни с такой жить — и сам станешь таким же юным, поступишь на первый курс университета и будешь вместе с ней гоняться по улицам с книжками... Эта берет красками, у ней волосы интересные, светлые, как солома; одни эти волосы в домашнем обиходе могут дать приятное отдохновение для глаза после дневных конторских трудов. А у этой волосы еще интереснее, оранжевые, как кожа апельсина... И все это разнообразие, все это богатство мира, созданное Богом для человека, проходит мимо него и будет проходить, потому что он сидит, как старик, прикреплённый с того злополучного дня к своей Вале. Что же такое, в конце концов, его Валя? Что в ней такое есть и чего в ней такого нет?

«Самое большое удобство моей связи с Валею состоит в том, — припоминалось ему вдруг с радостью, — что я в любой момент, без объяснения причин, могу порвать с ней. Полная свобода отношений. Как найду другую, лучшую, так и порву с ней. Вот сейчас познакомлюсь с этой наивной мордашкой, с этим утенком с книжками, что так уютно сидит напротив меня

в трамвае, разговарюясь с ней, а вечером уже могу дать отставку Вале. Она у меня "на пока". А "на пока" она идеально хороша. Она так ценит меня, так крепко держится за меня, что в отношении безопасности для здоровья тут полная гарантия, а это пока что самое главное...»

Но иногда покой Шурыгина ни с того ни с сего внезапно прорывался припадками странного беспричинного ужаса. Его вдруг охватывал безумный страх за себя, за свое здоровье, за свою жизнь. И где бы он в тот момент ни находился, днем ли, ночью ли, стремительно, как помешанный, мчался он оттуда прямо к Вале.

— Идем сейчас к доктору!

— Зачем?

— Освидетельствоваться.

— Кому?

— Тебе.

— Ты с ума сошел!

— Говорю, идем.

— Но я уже легла спать.

— Ничего, одевайся, пойдем.

— Ни за что не пойду!

— А-а, раз не хочешь идти, значит, больная, значит, зараженная, первое доказательство!

— Тише ори. Дети услышат. Ненормальный. Погоди, я оденусь — и выйдем на улицу...

Они выходили на улицу, и тут Валя отчитывала его как следует.

— Ты иди, если тебе надо, а я не пойду! — решительно заявляла она в заключение. — Может быть, тебе это и надо, я ведь не знаю, где ты бываешь пять дней в неделю, а мне это не нужно, я здоровая, я от детей никуда не отхожу, можешь спросить у соседей.

— Ты тише кричи, прохожие оборачиваются.

— Ничего, пусть оборачиваются, раз ты такой!

В конце концов Шурыгин неся на освидетельствование один.

Он рассказывал доктору, что не так давно сошелся с одной очень порядочной, хотя и подозрительной женщиной, имеющей трех детей, старшая из которых учится... Он просил доктора хорошенько осмотреть его, нет ли на его теле каких-нибудь признаков страшного заболевания. Доктор осматривал бухгалтера, ничего не находил, улыбался, ласково и насмешливо успокаивал его, как отец ребенка, и говорил, качая головой:

— А сколько таких ложнобольных в течение дня прибегает ко мне! Боятся, а грешат. Жениться надо, милостивый государь, жениться!

— Теперь-то я, конечно, женюсь. Доктор, посмотрите, пожалуйста, внимательно еще вот на этот прыщичек на моей щеке, вы еще на этот прыщичек не смотрели, я служу в Центросоюзе, где все есть, и дома у меня для вас, для ваших детей приготовлено два пуда хороших грецких орехов, ни одного гнилого.

— Да я уже смотрел везде. На моих щеках таких прыщиков больше, чем на ваших, однако же я не болен. Идите себе, идите.

— Доктор, — уходя и оборачиваясь на ходу, спрашивал с жалким лицом бородатый Шурыгин, — а это ничего, что у меня в левой коленке хрустит? А я вам за это принесу два пуда изюму, хороший, без косточек.

— Э, батенька, у меня в обеих коленках хрустит. Погодите, поживете, побегаете, еще везде захрустит. Хе-хе...

— Может быть, для верности сделать реакцию? Деньги я могу внести вперед...

— Какую там реакцию? Ха-ха!

Для проверки знаний этого доктора Шурыгин сейчас жмчался к другому, более знаменитому, потом, для полного спокойствия, к третьему. Потом намеренно не в урочное время он врывался опять к Вале. Авось внезапным появлением удастся захватить ее на месте преступления с каким-нибудь богатым купчиком. Нервы его так и ходили, и он оттуда увлекал Валю к себе домой для более подробного объяснения и осмотра, и снова начинались бесконечные выпрашивания, хитрые вопросы, судейские уловки...

— Павлик, — говорила Валя, изнеможенная, обиженная, растерянная. — Но почему ты не веришь мне, почему ты не хочешь раз навсегда поверить мне, что я не сойдуся ни с одним мужчиной, не объявив об этом тебе? Ты все подозреваешь меня в каких-то тайных совместительствах?

— Я очень хотел бы верить тебе, Валечка, очень хотел бы. Но, к сожалению, я никак не могу этого сделать, потому что слишком хорошо знаю жизнь, в особенности теперешнюю. Другое дело, если бы я был в состоянии платить тебе большую сумму. Тогда у меня было бы больше уверенности в тебе. А теперь, когда я даю тебе в обрез, только чтобы кормиться, то естественно, что у тебя могут возникнуть помыслы о том, где бы еще достать денег, чтобы обустроить детей, одеть, доставить им

и себе какие-нибудь развлечения. И ты начнешь не брезговать материальной поддержкой других мужчин, будешь, как говорится, подрабатывать на стороне, тем более что ты, по собственному признанию, уже пережила все страхи и «решилась на все».

— Ах, как ты не понимаешь меня, как ты не понимаешь меня! — воскликнула Валя с отчаяньем и утомленно прикрыла глаза рукой.

— Я тебя, Валя, понимаю, может быть, больше, чем ты себя понимаешь. Я уже не раз слышал от тебя жалобы, что ты «все-таки» не можешь «по-человечески» одеть детей. В устах матери такие жалобы что-нибудь значат. И это сейчас у тебя идея фикс. А по мне дело обстоит вовсе не так, по мне теперь не время «по-человечески» одеваться, теперь лишь бы прокормиться...

— Павлик! — закричала она неистово. — Они у меня раздетые!

— Вот видишь? — еще сильнее ухватился он. — Вот видишь, какая ты настойчивая в этом пункте? Ты — мать, и это самое страшное в тебе для меня. И я утверждаю, что однажды ты соблазнишься возможностью улучшить положение своих детей и ничуть не постесняешься при этом погубить меня, какую-то букашку для тебя по сравнению с твоими детьми. Я ведь вижу, как ты к ним относишься.

— Павлик!

— погоди, не волнуйся. Знай, что я так хорошо все это понимаю, что даже не обиделся бы на тебя, даже не проклинал бы тебя, если бы ты, спасая своих детей, погубила меня, чужого для тебя человека. Помни, Валя! Я никогда ни в чем не обвиню тебя, что бы ты ни сделала! Я наперед знаю, что ты ни в чем не можешь быть виновата! Просто ты попала в такое положение, из которого у тебя может не оказаться иного выхода...

— Ох, уж эти мне рассуждения, заклинания, — потянулась Валя всем корпусом в кресле. — Уже начались анализы, теории... Это нехороший признак.

— Это, Валя, признак того, что мы полного успокоения друг другу все-таки не даем.

— Не знаю, Павлик, как ты, но я обрела с тобой полный покой. Я так хорошо сплю с тех пор, как сошлось с тобой. И вообще я теперь чувствую себя гораздо лучше и физически, и морально. Все знакомые удивляются, расспрашивают меня, отчего я так хорошо стала выглядеть. И вспоминается мне моя прежняя жизнь с мужем... И детям моим теперь тоже гораздо

легче со мной, я уже не нервничаю, как раньше, и поступаю с ними не так круто, больше прощаю, меньше браню.

— А я нет, — перебивал ее Шурыгин, возбужденно шагая по комнате. — А я нет. Я не имею с тобой полного покоя. На меня находят иногда полосы такого темного, беспричинного страха, когда я, как вот сейчас, безумно боюсь тебя. Бог тебя знает, что делается у тебя под твоей женской черепной коробкой, какие бродят у тебя там мысли.

— Ты все боишься заразиться, Павлик. Это у тебя мания. Но я же дала тебе слово, я тебе поклялась всем, что дорого для меня, ни с кем из мужчин не сближаться, пока не порву с тобой.

— Валя, Валя! Жизнь ломает всякие клятвы, всякие слова...

В результате таких объяснений Шурыгин изменял обычное расписание свиданий и отодвигал следующую очередную любовную встречу с Валею дня на три дальше или просто предлагал пропустить целую неделю, тем самым как бы стараясь отдалить день своей гибели...

VII

— Мамочка, откуда у тебя вдруг деньги?— спрашивала иной раз у Валентины Константиновны ее старшая дочь, когда они садились за давно не виданный обильный обед.

— Это, детка, я получила комиссионные, — опускала мать глаза в тарелку с супом.

— Что значит «комиссионные»?

— Это деньги, которые получают за какую-нибудь услугу, комиссию. Вот я, например, сперва стояла в очередях на городской станции и покупала для богатых людей железнодорожные билеты. Богатые люди за это платили мне комиссионные.

— Ну да. Это ты тогда целую неделю по ночам на городской станции стояла. То было тогда. А теперь?

— Пошла расспрашивать!.. Ну а теперь я удачно продаю один ценный товар и тоже за это получаю...

— Какой товар?

— О! Еще и это надо сказать тебе? Ты лучше ешь и благодари маму.

— Я, мамочка, ем и, когда поем, благодарю, но все-таки мне интересно знать, какой такой товар?

— А тебе не все равно какой?

— Он, говоришь, дорогой?
— Отвяжись! Дорогой! Очень дорогой!
— Что ж, это хорошо. Давно бы надо тебе было этим товаром начать торговать. По крайней мере, теперь у нас все есть: и мясо, и масло, и сахар, и белый хлеб. В то воскресенье был клюквенный кисель с молоком и каждый клал себе, сколько хотел...

У матери вдруг пропадавал аппетит, валилась ложка из рук, делалось нестерпимо жарко, становилось нечем дышать, в голову лезли мрачные мысли.

Что она сделала, что она делает?! Думая спасти детей, она губит их.

VIII

В Москве еще была зима, лежал снег, стояли десятиградусные морозы, а в письмах из Харькова писали, что на юге уже установился колесный путь. Это и Москву заставляло жить волнующими предчувствиями весны. Москвичи, выходя утром на улицу, поглядывали на небо, на землю, покрытую черным от грязи снегом, потягивали носами и мысленно с нетерпением спрашивали: когда же?

Прошла Пасха.

— Ты с кем-нибудь христосовалась? — спросил Шурыгин Валю во время первого после Пасхи очередного свидания с ней.

— Нет. Ни с кем. А ты не мог для Пасхи изменить свое расписание и встретиться со мной лишний раз? Мне так хотелось в такой день побыть с тобой! У меня был кулич, творожная пасха...

— Это предрассудки. День как день. А творогу в магазинах всегда сколько хочешь.

— А ты с кем-нибудь из женщин христосовался в эти дни?

— Я-то нет!

— Что значит это «я-то»? Ты мне опять не веришь?

— Нет, наоборот, я хочу сказать, чтобы ты очень не стесняла себя. И вообще имей в виду, Валя, если тебе представится случай устроиться с кем-нибудь из мужчин лучше, удобнее, выгоднее, то ты, пожалуйста, не смущайся и, согласно нашему условию, смело устраивайся.

— Это что? — спросила Валя, мешая ложечкой в чашечке чай. — Уже гонишь меня?

— Я не гоню тебя, я только говорю. С тобой даже нельзя говорить. У-у, какая сделалась ты!

Он придвинулся к ней со своим стулом, обнял ее за талию, прижался своей щекой к ее щеке.

Она вырвалась из его объятий и неприязненно заглянула ему в глаза.

— Не ожидала я, что ты так скоро пресытишься мной, не ожидала... Едва прожили до Пасхи, каких-нибудь два-три месяца...

— Валя, это глупо! Это недобросовестно, наконец! Я тебе говорю одно, а ты мне приписываешь другое!

— А ты думаешь, я не понимаю твоего истинного отношения ко мне? Я все чувствую, я все замечаю! Ты переменялся ко мне.

— Ну вот видишь, какая ты! Уже что-то усмотрела, уже что-то создала в своем воображении из ничего. Как же после этого с тобой жить? Искренно говорю тебе, что, заботясь о судьбе твоей и твоих детей, я буду очень рад, если ты найдешь себе богатого человека, который окончательно устроит тебя.

— Богатого? — с усмешкой недоверия покосилась на него Валя.

— Да, именно богатого, — твердо сказал Шурыгин. — Отбросим старую мораль, будем людьми своего времени, пора идеализма канула в вечность. Стесняться тут нечего. И лично я ничуть не меньше стану тебя уважать тогда, чем уважаю теперь.

— Ты меня уважаешь? — спросила она задумчиво, строго, низким голосом.

— Очень! — воскликнул он пламенно. — Очень! Я преклоняюсь пред тобой!

— А это ничего, что ты на бульваре меня нашел, с бульвара меня подобрал?

— О, это такая ерунда, такие пустяки! Я ведь тебе говорю, что я все сознаю, все понимаю!

Она жадно и как-то дико схватила в обе руки его голову, долго глядела ему в глаза, точно смотрелась в зеркало, потом принялась преданно целовать его в лоб.

IX

Через два дня после этого она пришла к нему и, не садясь, странно скользнув глазами в сторону, заговорила с тревожным вздохом:

— Ну-с...

Он, не приглашая ее садиться, с недовольным лицом под-
нялся ей навстречу и раздраженно оборвал ее словами:

— Зачем ты сегодня пришла? Почему ты явилась днем
раньше? Ведь сегодня четверг, а по расписанию свидание у
нас должно быть в пятницу!

— Погодите. Не горячитесь. Сейчас все узнаете. Сядьте.
Успокойтесь.

Он сел на стул, впился в нее снизу вверх глазами, она
молчала секунду, а ему показалось час, и непонятный страх
вдруг пронизал его всего. Он даже забыл сказать ей, когда она
сама без приглашения садилась в кресло, чтобы она сняла
шляпу, боа, пальто, перчатки.

— Прежде всего скажу, что я не для того пришла, — холодно,
гордо, надменно начала она. — Я официально пришла. Я пришла
вам объявить, что с сегодняшнего дня я больше не любовница
ваша и вы не любовник мой. Мы свободны! Сидите, сидите, не
волнуйтесь, это уже бесповоротно. Ничто не может заставить меня
изменить мое решение. Вот возвращаю вам деньги, которые я
взяла у вас в прошлый раз авансом, за месяц вперед. Тут немного
не хватает, истратила на своих девочек, потом когда-нибудь верну...

Больших усилий стоило Шурыгину подавить в себе отча-
янный, нечеловеческий стон. Он побледнел, встал, наморщил
лоб, закусил губы, подошел к Вале, дрожащими руками попытался
снять с нее шляпу, боа...

— Что? Что? Что такое случилось? — недоумевал он.

— Пустите! — не давала она снимать с себя ничего. —
Все равно не останусь! Между нами все кончено! Пустите!

Его вдруг охватила бешеная страсть, такая, какой он еще
никогда не испытывал. Все исчезло для него, весь мир исчез,
существовала только одна она. Валя.

Вне себя от страсти, от ревности, он обнимал ее, осыпал
поцелуями, раздевал...

Она убегала от него, он с шипением гонялся за ней,
прыгал через мебель, ловил. Когда достигал ее, она кричала, он
закрывал ей рукой рот.

— Так, без ничего, все равно не отпущу!

— Значит, насилие?

— Да, насилие!

Минут пятнадцать они боролись. Потом она сдалась.

— Ам... ам... ам... Что-о, другого себе нашла? Другого на-
шла? Другого?..

— Ничего подобного. Если бы нашла, тогда бы прямо сказала, согласно нашего... «регламента».

И еще никогда не отдавались они таким бурным, таким беззаветным, таким бесстыдным ласкам, как в этот раз! И настала минута, когда от чрезмерного утомления оба они зарыдали навзрыд...

— Что?.. — с торжеством смотрела она на его слезы, словно глазам своим не веря, что это его настоящие, неподдельные слезы, крепко держа перед собой его покорную, безвольную, как бы телячью голову.— Плачешь?.. Плачешь, мой скверный, мой толстый бородач?..

— Валечка, неужели ты всерьез хотела бросить меня?

— Конечно, всерьез! И не только хотела, а и теперь хочу! — пыталась она его и мучила. — Это я с тобой осталась только ради последнего раза, на прощание!

— Но отчего?.. — снова заныл он и завозился на постели. — Но почему?.. Объясни причины!..

— А-а-а! Уже «почему» и «причины»! Но ведь ты сам настаивал на том, чтобы «любая сторона» могла рвать связь «без объяснения причины»! Ты, ты, ты на этом настаивал!

Вид у бухгалтера был жалкий, пришибленный, расплывчатый, кисельный, она крепко держала его голову за уши, как держат за ручки суповую миску, ворочала ее и туда и сюда и с наслаждением говорила ему прямо в лицо, точно без счета плевала в глаза:

— Хитрец, хитрец, чтобы не сказать больше... Хитрец, ты думал, что если женщина малоразвитая и глупая, то она и в любви глупая... Ошибаешься, милый... В делах любви самая глупая женщина умнее самого умного мужчины... Тут у нас есть такое чутье, какого у вас нет... И ты думаешь, я тогда не понимала, зачем тебе так понадобилось это «без объяснения причин»!.. Отлично понимала... Этим пунктиком ты, конечно, заранее приготавливал для себя лазейку, через которую однажды без хлопот мог бы от меня улизнуть... Ну что ж, Бог с тобой, это твое дело... Но только я не такая жестокая, как ты, я жалею тебя и свои «причины» открою тебе... Я две ночи не спала, прежде чем окончательно решила на это... Ты, конечно, подозреваешь, что я богатого себе нашла... Нет, ничуть не бывало... Слушай же, в чем дело... Ты для меня ясен, весь ясен, я вижу тебя насквозь, женщине мужчину нетрудно видеть насквозь... И я знаю, что рано или поздно ты бросишь меня... Ты не перестаешь засматриваться на других женщин, ты всех их мысленно примеряешь к себе, как, стоя перед витриной магазина, мысленно примеряют к себе дорогие шляпы, шикар-

ные ботинки, ты не засматривался на других и не примерял их к себе только в нашу «медовую неделю»... Что, хорошо я тебя раскусила, сластолюбец ты этакий?.. И ты, несомненно, скоро найдешь себе другую, более интересную, более блестящую, чем я, нищенка, ведь не забывай, что у тебя на руках деньги, пайки, возможность поспособствовать устроиться на службу... Ты скоро бросишь меня, а я так привыкаю к тебе, так привязываюсь к тебе.. И вот, чтобы не оказаться брошенной тобой, я сегодня сама бросаю тебя... Первая!.. Этак мне меньше придется страдать от разлуки и легче будет перенести наш разрыв... Ведь в любви для самолюбия сторон очень важно, иногда важнее самой любви, кто кого бросил: он ее или она его...

— Я все-таки тебя немножко не понимаю, Валечка, — шумно вздохнул Шурыгин. — Ты что, и сейчас думаешь рвать нашу связь, и сейчас, и сейчас?

— А конечно. Я же тебе говорила, что это я только так с тобой сегодня осталась, пожалела тебя на прощанье.

Он опять потянулся к ней с ласками, начал умолять ее хотя бы на время отложить свое решение, хотя бы еще немножечко продлить их связь...

— Ага-а! — вскричала она. — «На время!» «Немножечко!» Вот видишь, ты какой! За «навсегда», за «много» ты сам не ручаешься?!

— Конечно, не ручаюсь. А ты разве ручаешься, а ты разве можешь быть уверенной, что завтра же не встретишь кого-нибудь лучше меня?

— Мне не надо лучшего! Мне надо тебя!

После долгого спора она согласилась взять обратно свое решение о разрыве.

— Значит, Валечка, ты моя?

— Твоя.

— Ам... ам... ам...

Они лежали в постели и, во избежание новых ошибок в будущем, подробно разбирали свои прошлые отношения. Припоминали нанесенные друг другу вольные и невольные обиды, случаи недостаточного внимания к себе, бестактности, грубости.

— Это, конечно, мелочь, Павлик, но тоже очень характерная для эгоизма мужчины, — вспоминала Валя. — Помнишь, когда мы с тобой ехали к тебе в первый раз на санях, какие ты тогда сулил мне золотые горы: и мануфактуры, и подошвенной кожи! Я уже не говорю о монпансье... Но ты, пожалуйста, не подумай, что я вымогаю у тебя, я от тебя теперь ничего не

возьму, мне только хочется спросить у тебя: где же та твоя хваленая «мануфактура» и та «подошвенная кожа»? А между тем я знаю, что у тебя есть спрятанное и то и другое, и это в то время, когда мои три дочки ходят разутые, раздетые? Это я говорю, конечно, между прочим...

— Ох, — вырвался вздох у Шурыгина. — Опять «три дочки»! Как это скучно! Всю жизнь избегал иметь собственных детей, прибегал к разным медицинским средствам, а тут... Вот что: чтобы покончить с этим, приходи ко мне завтра засветло, я разыщу и дам тебе что-нибудь из мануфактуры и кожи.

— Приблизительно в котором часу прийти?

— Или до девяти утром, или после шести вечером.

— Хорошо.

Они зажили снова, лишь передвинули в расписании дни любовных свиданий, засчитав как очередную и эту чрезвычайную встречу.

— Как, однако, ты боишься лишней раз встретиться, — заметила по этому поводу Валя. — Все бережешь себя, все разы считаешь.

— А конечно, — ответил Шурыгин с прежним неумолимым каменным видом, снова чувствуя себя властелином.

Она промолчала, только враждебно повела бровями.

Х

— Вот вкусный компот! Мамочка, миленькая, отчего же ты в прошлом году, позапрошлом не торговала тем замечательным товаром? Ведь это так выгодно!

— Не догадалась, детка. Человек доходит до всего не сразу. А ты старайся хорошенько кушать, когда тебе дают, да поменьше рассуждать за обедом.

— Я-то, мамочка, хорошо кушаю, но мне все-таки хочется знать, почему мы, три твои дочки, вдруг стали и обутые и одетые. Ведь это интересно, и я не маленькая, мне уже десять лет...

Она немного помолчала, разгрызла косточку от сушеной сливы, положила в рот сладкое зернышко и сказала жуя:

— А тот пожилой господин с большой бородой, который тогда к нам приходил, что он из себя представляет?

— Он не пожилой, он еще молодой. Вот он-то и есть один из тех пассажиров, для которых я тогда железнодорожные билеты доставала.

- Ага, значит, он уехал?
- Да, уехал...
- Значит, сейчас его нет в Москве?
- Нет, он тут. Ты же сама вчера его видела, когда он мимоходом к нам забегал узнать, как мы живем...
- Как же это так: и уехал и тут?
- Ну и надоедливая же ты какая! Сперва уехал, потом приехал, что же тут непонятного?

XI

Однажды, сидя в вагоне трамвая и по обыкновению сличая разные женские качества пассажиров с качествами своей Вали, имеющей кроме всех прочих бесчисленных дефектов еще и трех дочек, Шурыгин пленился видом одной хорошенькой молоденькой блондинки. У нее были, точно у гимназистки, две косы, длинные, толстые, тонкие, словно наведенные карандашиком, украинские брови, красивый, картинный, заостряющийся книзу овал нежного лица, но главная притягательная ее сила была в больших синих, немного выпуклых глазах, полных невинности и вместе скрытой чувственности, невинность и чувственность как бы исходились из ее глаз, как бы просили каждого: возьмите нас. Все мужчины в трамвае — и старые, и молодые, и кондуктор — не могли оторвать своих взглядов от этих ее глаз. Голову синеглазой блондинки покрывала густо-красная, под цвет румянцу щек, матросская бескозырка, под мышкой она держала черную клеенчатую, шитую белыми нитками, сумочку, набитую книжками и тетрадками.

Курсистка! Провинциалка! Попова дочка! Только что приехавшая в Москву! Как раз то, что ему, Шурыгину, надо. И у нее, наверное, еще никого из мужчин нет, не успели заметить, он первый заметил, ему она и должна принадлежать.

И ради нее, как это с ним случалось и раньше, бухгалтер проехал свою остановку, вагон уносил его куда-то в сторону, он даже не хотел знать куда, а все только смотрел в податливые, студенисто-жидкие глаза красной шапочки и слез там, где спрыгнула она, потом, совершенно подавленный своим чувством, тяжело поволокся за ней, как на Голгофу, переулками к ее квартире. Уже в течение пятнадцати лет он ежедневно точно таким же образом волочитя улицами Москвы за незнакомыми женщинами. Когда же этим пыткам будет конец? За что он страдает? Тут никакое усиленное питание не поможет...

Она вошла с парадного крыльца в серый, облупившийся пятиэтажный дом, остановилась за стеклянной дверью и, излучая на него оттуда своими необыкновенными, далеко не детскими глазами, серьезная, без улыбки, как из засады, наблюдала за ним. Конечно, она желает познакомиться с ним! Видит, что порядочный человек... И Шурыгин приблизился к дверям вплотную, прильнул, как школьник, бородатым лицом к стеклу, запустил в глубину темного помещения, как удочку, счастливую, щупающую, беспокойную улыбку. Тогда невинное существо, полуобернув к нему вниз выжидающее лицо с расширенными глазами, начало медленно-медленно подниматься по лестнице. Она поднималась и смотрела на него и притягивала его. Конечно, зовет! Теперь не могло быть сомнения в этом. Недаром столько проехал... И бухгалтер всей своей коротконогой, широкой, грузной тушей ринулся в тесную дверь. Он хватался руками за перила и бежал вверх по лестнице гигантскими шагами, как гимнаст, работающий на приз.

Вверху и на самом деле его ожидал ценный приз.

Объяснение между ними произошло на лестнице, в духоте, мерзости и смраде подобных лестниц, перед дверью чужой квартиры, под непрерывный лай на них оттуда противной, визгливой и, должно быть, вонючей комнатной собачонки, строго охраняющей частную собственность.

— У-у-у! Чтоб ты околела, проклятая! — от всего сердца не раз посылал ей туда бухгалтер тяжелые пожелания.

— Вы не поверите, и никто бы не поверил, этому нельзя поверить! — между тем быстро рассказывала ему свою историю хорошенькая курсистка. — Надо мной тяготеет какой-то злой рок! Я чувствую, что я пропадаю! Жизнь бьет меня без всякой жалости! Я сама украинка, с такими трудностями вырвалась из родного гнезда и вот все не могу никак в этой вашей Москве устроиться. И нравится она мне, и не дается. Я учусь и зарабатываю, но как справляюсь с этим, какими тяжелыми жертвами! Сейчас, например, я опять без службы и уже без надежды на службу. Три раза с боя пробивалась на службу и три раза попадала под сокращение штатов. И пробиваться, протискиваться куда-нибудь в четвертый раз у меня уже не хватает сил. Выдохлась! Одним словом, Москва сломила меня, я пала духом... А тут еще верхушка правого легкого стала покальвать, но это, конечно, ерунда, не чажотка же у меня начинается, ха-ха! И вы не смотрите, что я на девочку похожа, на гимназистку, я не девочка, не гимназистка, я уже многое испытала, многое передуд-

мала! И вы думаете, в другое время я так легко познакомилась бы с вами? А теперь я решилась, только сегодня в трамвае решилась, вы своими настойчивыми взглядами помогли мне решиться... Впрочем, для чего я все это вам говорю? Вот наболтала! Ха-ха-ха! Хотите, зайдем сейчас ко мне? — кивнула она лицом на верхние этажи.

— Очень! — застонал всем своим нутром Шурыгин. — Очень хочу!

От волнения его всего трясло, ноги вдруг ослабели, колени подкашивались, все тело заныло, заломило, как в приступе инфлуэнцы. Он с трудом полз за курсисткой вверх по лестнице и так впивался руками в перила, точно лез с висящими в воздухе ногами по отвесному канату.

Трудно добывается настоящая любовь!

Они поднялись на самый верхний этаж, где было еще душнее, мерзостнее и смраднее, чем внизу. Она позвонила, и дальнейшее продолжение их беседы происходило в ее комнатке, такой же маленькой, узенькой, чистенькой и невинной, как и она сама, в глубокой тесной щелочке, с одним оконцем в конце, точно далеким выходом из туннеля, с видом на множество больших и малых крыш, так и этак наклоненных своими унылыми бурными плоскостями. Исключительная чистота комнатки-щелочки, какая-то непорочно-девическая белизна всего, что увидел там Шурыгин, и глухая монастырская тишина, царившая вокруг, сразу привели бухгалтера в мечтательное, сентиментальное настроение. Вот где, в этой белой женской келейке, вот с кем, с этим светлолицым херувимчиком, возможно его доподлинное счастье! Сегодняшний день поворотный в его жизни...

Наташа, беседуя с Шурыгиным, не находила себе ни места, ни покоя. Щеки ее пылали, глаза блестели. Она бросалась в своей тесной щелочке и туда и сюда, беспокойно откидывала назад золотистые косы, хватала в руки один предмет, другой, принималась за одно дело, за другое, чертила по бумаге карандашиком продольные и поперечные штришки, сломала о стол стальное перо, зачем-то вытащила из чернилницы давнишнюю муху, изорвала края белой бумаги, которой был накрыт подоконник, искрошила ножницами уголок хозяйкиной скатерти...

— ...Я уже все свои тряпки продала, какие можно было продать, совсем роздела себя, — нервным, звенящим, мученически-веселым голосом быстро тараторила она и медленно рвало в руках то там, то здесь крепкий хороший носовой платочек. — Теперь мне осталось только одно: выходить замуж!

Шурыгин деланно рассмеялся.

— Нет, правда, чего вы смеетесь! Найдите мне богатого жениха, ха-ха-ха! Неужели не найдется такого мужчины? Находят же как-то другие! Я молода, здорова, недурна собой... Ха-ха-ха! До чего я дошла! А ехать домой к себе в провинцию я не хочу, я хочу учиться, работать, а это возможно только в Москве. Я решила жить или в Москве, или нигде! Мне девятнадцать лет, а когда мне будет сто девятнадцать, тогда я поеду «отдыхать» в провинцию. Я так рада, что вырвалась оттуда. Кто увидит теперешнюю Москву, тот не вернется в теперешнюю провинцию.

Она суетилась и болтала все в таком роде.

А Шурыгин сидел и, угнетаемый тяжелой страстью, следил налитыми глазами за всеми движениями и изгибами ее нежного тела, как паук следит за жужжащей поблизости мухой: кувыркнется в его паутину или же пожужжит и улетит в пользу другого какого-нибудь паука.

— Я-то найду вам человека, — слушая ее, подавленно и трудно повторял он и с нечеловеческой силой зажимал в руке и ломал на все стороны свою красивую пружинистую бороду. — Я-то найду...

— Ну найдите! Слушайте, помните, вы обещали!

Истязая свою бороду, Шурыгин взвешивал наличные обстоятельства. Конечно, эту Наташу с той Валею даже сравнивать нельзя. У этой все в будущем, а у той все в прошлом. Эта только еще собирается расцвести, а с той уже осыпаются листья. Та брюнетка, эта блондинка, а блондинка лучше, добрее, это даже установлено статистикой... Но, помимо всех этих бесчисленных плюсов, которыми располагала Наташа, у нее было и еще одно неоценимое преимущество. Она живет в этой конурочке одна, ход к ней отдельный, и если он с ней сойдется, то для сеансов любви он к ней станет ходить, а не она к нему. А это для мужчины очень важно. Если женщина ходит к мужчине, то мужчина должен терпеть ее присутствие, как бы противна она ему ни была; и по миновании надобности в ней не выгонишь же ее из дому сразу, неловко, обидится, рассердится, вовсе откажется приходить. А когда мужчина приходит к женщине, то в случае, если она в тягость ему своей ограниченностью, он волен уходить от нее, когда вздумает, хотя бы сейчас же по окончании акта любви, то есть через какие-нибудь четверть часа. Четверть часа каждую женщину можно вытерпеть. На свою же Валию он тратит слишком много драгоценного времени, зачем-то завел глупый обычай каждый раз пить с ней чай, си-

деть, разговаривать. Гораздо умнее было бы за это время само-
му пройтись, погулять по свежему воздуху, зайти в кино.

Шурыгин подумал, придал себе сдержанный вид и в самых
приличных выражениях предложил Наташе свою любовь и свою
посильную материальную помощь.

— Первое-то мне не очень нужно, — смутилась Наташа,
синие ее глаза сделались черными, и почему-то она так устави-
лась ими в его слишком роскошную, слишком волосатую бороду,
как деревенские суеверные люди смотрят в пучину глубокого
омута. — Но если второе без первого нельзя, — продолжала
она, — тогда я, конечно, принуждена согласиться. Я ведь знаю, чего
вы хотите. Что ж, немного раньше, немного позже, не с одним, так
с другим, какая разница! Да и кто узнает, вы же не побежите всем
об этом рассказывать, да и вообще, какая этому цена, какой-то
«невинности», разве в этом главное, все это ерунда и чепуха,
одни женские предрассудки, мамыны выдумки, и я уже сама не
понимаю, что болтаю... Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вот наговорила! Слу-
шайте-ка, гражданин! — вдруг сказала она совсем другим тоном,
мучительным, надрывным, и сощурила на бороду своего гостя
панические в искорках глаза. — А нельзя так, чтобы вы, вместо
всего этого, просто по человечеству, взяли и нашли мне какую-
нибудь службу? Знаете, по товариществу, по дружбе! А я бы ваш
портрет всю жизнь на груди своей в медальоне носила и всю
жизнь всем бы рассказывала, что вот, мол, нашелся один чело-
век. Может, вашим знакомым нужна дешевая прислуга? Я умею
и стирать, и полы мыть, и ухаживать за ребятами, и, главное, я на
все согласна, на любые условия, лишь бы удержаться в Москве,
потому что я чувствую, я знаю, что если я теперь уеду в провин-
цию, то я уже никогда не выберусь оттуда. Ну что? Можно?

— Нет, — тяжело и отрицательно помотал головой Шуры-
гин. — Теперь это трудно, теперь не такое время, сами знаете.
Настала короткая пауза.

И хозяйка и гость были глубоко смущены.

— Тогда пусть так... как говорили, — слово за словом,
шепотом проронила Наташа, опустив лицо.

Шурыгин медленно вздохнул.

— Конечно, — тихо и осторожно заговорил он, поглаживая
себя по округлым коленям. — Конечно, я не смею, да и не
желаю заранее хвалить вам себя. Но когда вы узнаете мой
характер и мое все...

— Характер характером, — грубо и болтливо перебила
она его с прежним беспокойным, нервным смехом. — А боро-

дищу-то эту вы снимите сегодня же, чтобы я ее больше не видела, тогда я посмотрю, какой вы такой. А теперь за вашей бородой я как-то не различаю вас самого, она пугает меня.

И Наташа с дрожью взметнула косами и дернула вверх плечиками нахмураясь.

— Для вас сниму! — тоном торжественного обещания воскликнул Шурыгин, крепко сжимая в руке бороду. — Для вас все сделаю! Любой каприз!

— Это не каприз, — не согласилась Наташа.

Он сидел, она не могла сидеть, стояла, без нужды бегала, вертелась, глядела в окно, точно все еще ожидала откуда-то спасения.

— И наряд ваш как-нибудь освежите, — приглядывалась она к нему сбоку, как сквозь сон, и робкая, и смелая.

— У меня костюм плохой? — удивился Шурыгин и улыбнулся.

— Он не плохой, но он как-то так, знаете, лоснится. Точно вы изъездили на нем все столы всех канцелярий и вам уже сто лет. Одним словом, сделайте так, чтобы как можно меньше походить на бухгалтера. Хотя на первое время.

— Это можно. Я сделаю.

Наташа озабоченно сдвинула бровки и подумала, о чем бы еще не забыть ему сказать.

— Послушайте, — улыбнулась она и в первый раз внимательно посмотрела на округлость всех его линий: — А отчего вы такой... жирный?

— Такая должность. Служу в Центросоюзе. Там у нас все есть, и конфектная фабрика. Вы тоже поправитесь, если поживете со мной.

— У вас все плышет, колышется, похудеть нужно! — сердито приказала она ему.

— Хорошо, — сказал бухгалтер. — Я похудею. Когда немного поживу с вами.

— «Бухгалтер»! Ха-ха-ха! «Бухгалтер»! Неужели все бухгалтеры такие? Ха-ха-ха!

Она истерически захохотала, замахала руками, взметнула в воздухе обеими косами, закружилась на месте, упала лицом в подушку.

Она лежала на беленькой постели, колотилась, хохотала и рыдала.

Неслышно и мягко, как кот, подошел сзади к ней Шурыгин и осторожно, со страхом и сочувствием, обвил ее руками за талию. На лице его изобразилось блаженство.

Наташа тотчас же рванулась, вскочила с постели, отбросила назад косы, убежала от Шурыгина прочь, согнулась вперед, прижалась спиной к подоконнику.

— А этого нельзя! — сказала она. — Еще рано!

— А когда же? — тихо спросил Шурыгин и остался стоять на месте с умиленно раскрытым ртом и протянутыми вперед порожними руками, из которых только что выпорхнуло начало счастья.

— После. Потом.

И она сквозь новый припадок смеха к чему-то опять указала рукой на его бородищу.

— Тогда я сейчас же полечу к парикмахеру.

И он, схватив шапку, заспешил к выходу.

Она отправилась его провожать длинным лабиринтом темных хозяйских коридоров, от пола до потолка заваленных старым пыльным хламом, от которого пахло мышами и собачьим пометом.

— Наташечка, значит, когда можно прийти к тебе окончательно? Сегодня вечером, когда обреюсь, можно?

— Завтра придете, завтра. Когда начнет темнеть...

— Сегодня!

— Завтра!

— С-се...

Почти вытолкав его, она заперла за ним на ключ дверь.

ХИ

Валя в первый момент не узнала Шурыгина, когда в этот же день явилась к нему по его внеочередному, совершенно срочному вызову через посыльного.

— Сумасшедший! Остричь такую бороду! — с жалостью вскричала она. — Такую блестящую бороду! — почти плакала она. — Теперь ты половину своей красоты потерял. Борода придавала тебе что-то сильное, звериное, мохнатое. Не люблю бритых мужчин — как обезьяны. Зачем ты снял бороду, зачем?

— Надоело возиться с ней, расчесывать, подравнивать, вытаскивать из нее сор, — опустил глаза Шурыгин под пристальным взглядом женщины и испуганно сел на кровать, свесив красное лицо с пылающими ушами в пол. — Кстати, дело идет к весне, начнется жара...

— При чем тут весна! — волновалась женщина. — А ну-ка покажись мне еще... Да встань же, подними голову, подойди сюда, это даже невежливо, чего ты боишься? Как маленький!

— Я не боюсь, — встал и испуганно подошел к ней Шурыгин.

— И выражение лица стало другое, вялое, кислое, боязливое, — вертела она в своих руках его новую голову и рассматривала ее, как новую, только что принесенную из магазина вещь. — Ну чего же ты повесил нос? Уже сам жалеешь, что обезобразил себя? Развеселись, засмейся, улыбнись! Вот так, вот так... Ну еще, еще...

— Чай будем пить сперва или потом? — вырывая свою голову из ее рук, задал он ей вопрос, который задавал на всех их свиданиях.

— Лучше потом, — сказала она и выпустила его. — Ну иди, мой кисляй. Все чего-то боишься. Что-то недоговариваешь. Все хитришь.

Он выскользнул из ее рук и стал старательнее, чем всегда, стелить постель.

— А ты пока того... разоблачайся...

— Ах ты мой хорошенький! — через пять минут ласкала она его в постели и с наслаждением гладила руками его безволосые щеки и подбородок.— Ах ты мой гладенький! Ах ты мой атласный! Знаешь, Павлик, так тебе больше идет. И такого тебя я буду еще больше любить. Молоденький стал, прямо студентик! Разве студентика молоденького можно не любить? Разве ты отказался бы любить молоденькую курсисточку? Ведь не отказался бы, нет?

От таких ее речей Шурыгина бросило в жар, и он, как ныряющая утка, юркнул головой под одеяло. Что это: случайное совпадение в ее словах или же сознательный намек? Какой ужас и как все это страшно!

Потом они, как всегда, по всегдашней неизменяемой своей программе, пили чай, закусывали, лакомились...

Аппетита у Шурыгина не было, он почти ничего не ел, и беседа на этот раз тоже не давалась. Волнение, напряженность, трудность предстоящего объяснения неотступно душили его.

— Ну, дорогая моя, — наконец тяжело вздохнул он, побледнел, растрогался, хотел встать со стула и отойти от Вали подальше, но не нашел в себе сил и остался сидеть на стуле за столом, бок о бок с Валей, тягостно понуря голову. — Вот что, милая... Как это мне ни тяжело, как это мне ни больно, как это

мне ни неприятно, но эта наша встреча последняя, и сегодня мы должны разойтись навсегда.

— Как разойтись? — заострила она на него глаза. — Я не понимаю, о чем ты говоришь. Повтори еще раз. С кем разойтись? Кому?

С ошеломленным видом вынула она изо рта кусочек еще не изжеванного пирожного и положило его сперва обратно на блюдо, потом ткнула в пепельницу в папиросные окурки.

— Нам разойтись, с тобой разойтись, — говорил Шурыгин, печально и виновато. — Большое тебе спасибо, Валечка, за все, за все! Хорошо пожилы мы с тобой больше чем три месяца, очень хорошо! Выручила ты тогда меня в самую критическую для меня минуту, поддержала, даже, можно сказать, спасла! Никогда я этого не забуду! Если бы не ты, я бы тогда пропал! Ведь ты видела, каким невменяемым бегал я тогда по бульварам!

Лицо Вали, ее глаза, шея, грудь в глубоком треугольном вырезе блузки — все вздулось, поднялось, покраснело, сделалось горячим на вид. Она как сидела рядом с Шурыгиным, так и протянула к нему на плечи судорожно выпрямленные руки, жалобно закатила глаза, обняла его за шею, крепко прижала к себе, впилась в щеку поцелуем — прощальным женским поцелуем, — потом бурно заплакала...

Она рыдала, билась в истерике на его плече, не могла выговорить ни слова. И казалось, это будет продолжаться долго-долго, без конца.

Ее слезы, искренние, беспомощные, слепые женские слезы, тронули на момент сердце Шурыгина, и он сам вот-вот готов был разрыдаться.

Безумец, чем она нехороша, что, собственно, он еще затеял и для чего?

— Ну не плачь, успокойся, — нежно поглаживал он ее горячую, вздрагивающую от плача голову. — Погоди, это мое решение еще не окончательное, и я его, может, еще отменю. Ну не плачь, дорогая моя, успокойся, может, нам еще удастся продлить нашу связь, мы с тобой еще проживем, давай лучше толком поговорим сейчас об этом... Вина хочешь?

Она вместо ответа заколотилась в новом припадке рыданий.

— Нет, — немного погодя с трудом проговорила она. — Нет, зачем же ты тогда не объявил мне об этом своем решении сразу, как только я пришла к тебе! Тогда бы я ни за что не оставалась с тобой...

— Валечка, слушай, — умоляюще произнес Шурыгин и нежно обнял ее. — Ты не сердись на меня, ты прости меня, но я нарочно, я с целью не говорил тебе об этом до! Я знал, что ты тогда не была бы способна на ласки — на последние, прощальные ласки!

— Вот видишь, какой ты...

— Да, Валечка! Я такой! И я сам знаю, что я такой, сам знаю! Но что делать, если я не могу иначе? Да, я такой! Я такой!

Когда несколько минут спустя она перестала плакать, они сидели — она в кресле, он на стуле — и разбирались в создавшемся положении.

— Видишь, Валюшенция, какая странная получается история: мы ясно столкнулись с тобой о праве сторон рвать нашу связь, когда одна из сторон этого пожелает. А теперь ты не пускаешь меня...

— Пожалуйста. Уходи. Уходи хоть сейчас!.. Кто тебя не пускает? Я тебя не держу. Я понимаю, что насильно удержать все равно невозможно. И я не хочу ловить тебя на слове, что ты свое решение, может, еще отменишь, потому что это слово вырвалось у тебя нечаянно, сгоряча, под влиянием моих слез.

— Но, Валюшенция, суть дела еще не в этом. Суть дела вот в чем. Будем глубже смотреть на вещи. Ты существо замечательное, чистое, честное, чуткое, благородное, я вполне сознаю это, и я очень ценю это в тебе. Но ты очень привязываешься ко мне, ты привыкаешь ко мне, как к мужу, и любишь меня, как мужа, хотя, по справедливости, я этого, конечно, не заслуживаю. Теперь допусти на момент, что в один прекрасный день возвращается твой настоящий муж, доктор. Что ты тогда будешь делать? Долг жены и матери обяжет тебя вернуться к нему, а ты, привязавшись ко мне, не сможешь порвать со мной.

— Не беспокойся, — сказала Валя уверенно. — Я этого не сделаю. Я своего мужа очень люблю, и я никогда ему не изменю.

Шурыгин с остановившимся в горле смехом уставился на нее.

— А то, что ты сейчас делаешь со мной, это не измена мужу?

— Нет.

— А что же это?

— Это я спасаю его детей... и своих, конечно.

Минуту они сидели молча, не глядя друг на друга.

— Материально, — наконец заговорил Шурыгин, отведя глаза в сторону и вниз, — материально я постараюсь продолжать помогать тебе, хотя, конечно, уже не в таких размерах, как раньше, потому что все-таки ведь...

— Мне от вас ничего не нужно, ничего... — перебила его Валя дрожа. — И ту пеструю летнюю блузку, которую вы мне тогда подарили, я тоже могу вам вернуть...

— Валя! Что ты говоришь? Ты интеллигентная женщина! Ты жена доктора и сама когда-то училась на курсах! Опомнись!

Но она не хотела слушать его. Очевидно, желание во что бы то ни стало досадить ему всецело поглотило ее. И в первый раз увидел он в ее засверкавших глазах злобу.

— Могу и с детей своих снять платья из вашей бумазеи, ботинки из вашей кожи... Пусть голые сидят, пусть босые ходят... Пусть простужаются, пусть умирают... Все равно мне с детьми теперь ничего больше не остается, как броситься в Москву-реку.

Шурыгин молчал, с терпеливым вниманием доктора следил за ней, за нарастанием в ней злобы. Это хорошо, когда женщина начинает злиться. Лишь бы не плакала.

— Что же вы молчите? — с раздражением спросила она. — Говорите что-нибудь!

— Что я могу сказать? — повел бровями Шурыгин. — Я могу сказать только то, что сознаю себя кругом виноватым.

— Но тогда я вас не совсем понимаю, — сказала она. — Скажите определенно, мы расходимся или нет?

— Конечно, расходимся, — тихо, но твердо ответил Шурыгин. — Это уж бесповоротно. Мои обстоятельства так сложились.

— «Обстоятельства!» Ха-ха-ха! У него «обстоятельства!» Какие же это у вас «обстоятельства»?

— Валечка, не будем говорить об этом. Все равно этого уже ничем не поправить.

— Ах да, я и забыла, что «без объяснения причин». Вот оно когда вам пригодилось, это «без объяснения причин!» Я заранее знала, что такой финал будет. Конечно, раз вы познакомились со мной на бульваре...

— Валя, при чем тут бульвар?

— Конечно, если вы нашли себе молоденькую... Недаром сняли бороду, выбрились, помолоделись, я сразу заметила.

— Валя! При чем тут молоденькая? Молоденькие хуже. Их еще долго нужно учить, прежде чем от них начнешь брать то, что они могут дать.

— Фу, какая мерзость!

— Мерзость это или не мерзость, но только это так.

— Вот какое у вас, у мужчин, понятие о любви!

— Да, у нас такое понятие о любви, у нас такое.

Она с гадливостью посмотрела на него. Это ему понравилось: легче порвет, скорее уйдет... Надо ей еще помочь в этом. И он сказал:

— Вы, женщины, еще не представляете себе, какие мы, мужчины, в сущности, изверги! Вы и десятой доли не знаете о нас!

— Не напускайте на себя, не напускайте, — догадалась она и сделала презрительную гримасу, потом передохнула и взяла другой тон: — Ну-с, Павел Сергеич, дело это прошлое, конченное, теперь сознайтесь, какая вертушка, какая вертихвостка, какая ветрогонка, какая девчонка заставила вас снять вашу чудную бороду?! Только не лгите, не сочиняйте, говорите правду...

Шурыгин неестественно рассмеялся, вскочил с места и, чтобы чем-нибудь заняться, начал переносить посуду и остатки закусок со стола на подоконник.

— Молчите? — наблюдала она за его увиливающим лицом. — Но я и без ваших слов вижу, что попали вы в лапы хо-о-рошей госпоже. Она повертит вами, она повертит, не то что я, дура, давала вам полную свободу во всем и ничего не требовала от вас за это. Вот и получила. Вот и благодарность, вот и награда за хорошее отношение. К людям нельзя хорошо относиться, обязательно сделают за это пакость. Впрочем... впрочем... у вас, может быть, уже денег нет давать мне? Тогда другое дело. Тогда, конечно, разойдемся. Потому что задаром я не могу. Задаром вас, охотников, нашлось бы много, из тех же жильцов нашего дома или из старых друзей моего мужа, хотя с мужчинами знакомыми я не хотела бы связываться: пойдут сплетни, узнают дети, дойдет до мужа...

— Да, — ухватился за поданную ему мысль Шурыгин и с обрадованным лицом остановился посреди комнаты, держа порожнюю чайную посуду в руках. — С деньгами у меня действительно вышла заминка, и прежней суммы я бы все равно уже не смог вам давать.

— А о чем вы думали раньше, когда сходились со мной?

— Раньше? — опять забегал по хозяйству Шурыгин. — Раньше у меня были деньги, потому что я распродал мануфактуру и катушечные нитки одной группы лиц. А теперь мануфактура пришла к концу, нитки пали в цене...

— И нитки у вас тоже есть?

— Да, есть немного. Но неважные нитки, не «цепочка», а «вилка».

— Нет, отчего же, «вилка» тоже хорошие нитки. У вас черные или белые?

— И черные, и белые. Я вам сейчас дам на дорогу. Полдюжины черных, полдюжины белых, будете дочек своих обшивать.

— Спасибо.

Толстый, широко расставив ноги, Шурыгин с великим трудом нагнулся к полу и вытащил из-под кровати низкий ящик.

— Только вы очень много мне не давайте, — взволнованно проговорила Валя, заглядывая и видя, как он нарочно заслоняет от нее ящик.

— Это не много, по полдюжинке уложу вам на дорогу.

Он еще несколько раз повторил эти слова: «На дорогу». Было видно, он и нитки ей давал отчасти затем, чтобы произнести эти два слова, чтобы напомнить ей о дороге, чтобы она скорее уходила, напрасно не томила. Ему было необходимо как можно скорее освободить от нее свою душу для другой, для Наташи, надо было сегодня же начать думать о ней, налаживать связь с ней. Как это хорошо, как это прекрасно, как это глубоко освежает все существо человека: порвать с одной и сейчас же начать с другой. Точно из города выезжаешь на дачу! И ни одного дня не придется мучиться в одиночестве, рыскать с лицом сумасшедшего по бульварам.

— А это ничего, что я туда же вам две пачки разных иголок уложу? — спросил он Валью умиленно, упаковывая для нее кулечек.

— Ничего. Иголки мне нужны.

— А это ничего, если я пакетика два синьки туда же суну?

— Ничего. Синька тоже пригодится.

— А синька наша замечательная. Такой синьки в продаже нет.

Он с грохотом задвинул ящик обратно, положил перед Велей пакет с прощальными подарками и сам остановился перед ней. Он нарочно не садился, он как бы выпирал ее из комнаты своим животом.

— На дорожку, — то и дело повторял он, нетерпеливо топчась на месте выпяченным животом к ней. — На дорожку.

Она вдруг поняла, презрительно фыркнула, вскочила, начала собираться домой.

— Что ж, — как со сна потянулась она, остановившись возле вешалок, и перегнулась корпусом назад. — Делать нечего... Насильно мил не будешь... Пожили — и довольно... Насладились...

Она опять, как во сне, надела свое выцветшее серо-лиловое пальто, накинула на плечи облезлое желтое боа, которое Шурыгин когда-то так любил на ней, а теперь иначе не назы-

вал в душе, как «собачье боа», потом с такой же медленностью она укрепила на голове шляпу, натянула на дрожащие пальцы перчатки, взяла со стола свою бедную старенькую сумочку — пустую сумочку! — протянула руку за лежащими на уголке стола подарками — прощальными подарками! И вдруг рука ее остановилась в воздухе, опустилась, не взяла подарки, и слезы горя, обиды, оскорбленности, слезы предвидения на этот раз уже окончательной своей гибели бурным потоком хлынули из ее глаз.

— Господи! — вскричала она с леденящим ужасом в голосе, запрокинула назад голову и с таким стоном и с таким видом схватилась руками с двух сторон за лицо, точно хотела разорвать его надвое: — Какой ужас!

Чтобы она не грохнулась на пол, Шурыгин ловко подставил ей стул. Она в пальто, в перчатках, в шляпе, повалилась на стул, упала лицом на стол.

— Выпейте холодной воды, выпейте же...

И, сунув ей в руку стакан с водой, Шурыгин быстро пошел одеваться, чтобы идти ее провожать. Иначе она могла еще засидеться.

ХIII

Он вез ее домой на извозчике.

— К вам в первый раз ехала на извозчике и от вас в последний раз уезжаю на извозчике,— сказала она в пути с печалью. — Что же это вы, обещали меня познакомить с хорошим человеком, если будете расходиться со мной, а сами не знакомите. Или это тоже были одни слова, одни обещания?

— Нет, я имею в виду для вас одного хорошего человечка, моего близкого приятеля.

— Он кто?

— Старший счетовод из «Сельскохозяйственного союза», имеет отношение к разным продовольственным складам, так что голодные сидеть не будете.

— Как его фамилия?

— Арефьев. А что, разве вы его знаете?

— Нет, я так спросила. Хотела узнать, русский он или еврей. Хотя теперь на это не очень-то приходится смотреть.

— Он русский, чисто русский. Он очень хороший малый, я его давно знаю, он мой товарищ по курсам бухгалтерии Езерского, хотя значительно моложе меня. И скажу правду: он лучше меня.

— А он сейчас свободен? — сквозь слезы протянула в нос Валя.

— Да. Почти.

— Что значит «почти»?

— Свободен.

— А он захочет? — опять несчастно протянула она в нос.

— Должен захотеть.

— Как это так — «должен захотеть»?

— Зная его вкус, думаю, что захочет.

— А если нет? — как ребенок, хмыкнула она заплаканно.

— Тогда поищем другого. Вы, сударыни, искать не умеете!

Нас, жаждущих чистой любви мужчин, много, гораздо больше, чем вы предполагаете. Нами кишат все частные дома Москвы, учреждения, клубы, театры, церкви, бульвары, улицы, трамваи. Всегда и всюду нами движут только поиски женской любви, иначе мы вечно лежали бы в своей берлоге. Но вы совсем не знаете нашей мужской психологии. Мужчина прежде всего трус в любви, и ваша прямая обязанность приходить к нему на помощь. А вы этого не делаете. Вы ходите по самым освещенным и многолюдным улицам Москвы, строите мужчине глазки и думаете, что он заинтересуется, воспылет и подойдет знакомиться. Он, может, и заинтересуется, и воспылет, но не подойдет знакомиться.

— Подходят, — сказала Валя. — Я за те четыре дня убедилась, что подходят.

— Да, подходят, но какие подходят? Самые нахальные подходят, самые отбросы подходят, последний сорт! Подходят только сих дел мастера. А мужчина скромный, порядочный, воспитанный, ищущий серьезной и глубокой любви, такой мужчина на освещенной и многолюдной улице к вам никогда не подойдет.

— А как же сделать, чтобы они подходили?

— Надо, если видите, что приличный мужчина заметил вас, сейчас же сворачивать в безлюдный и темный переулок. Там он немедленно догонит вас, смело подойдет, и вы в минуту объяснитесь. А вы ходите-ходите по пяти часов подряд по Петровке или Кузнецкому и удивляетесь, что к вам подходят знакомиться только шикарно одетые уголовники!

— Хорошо. Буду на всякий случай знать.

— Завтра попробуйте это средство — и послезавтра вы будете иметь кучу интеллигентных и занимающих высокие посты знакомых.

XIV

Когда Шурыгин возвратился домой, в квартире хозяев его нетерпеливо поджидал старший счетовод «Сельскосоюза» Арефьев, молодой, худой, бритый, с громадными глазами и с длинными, взъерошенными композиторскими волосами.

— Друг! — вскричал Арефьев бешено, едва они вдвоем вошли в комнату, и выпучил глаза. — Выручай! Спасай! Ты когда-то просил меня об этом!

И он заколыхал над своей головой обеими руками, как утопающий, взывающий о помощи.

— В чем дело? — спросил встревоженно Шурыгин.

— Забери у меня мою полячку! Ведь ты, кажется, хотел сегодня развязаться со своей докторшей!

— А ты как будешь? — улыбнулся Шурыгин.

— Я себе другую нашел, лучшую! Забери ее, прошу тебя, а я тебе тоже когда-нибудь в чем-нибудь услужу! Забери! — умолял Арефьев и положил обе руки на плечи Шурыгина.

— Ты так хвалил свою полячку. Чем же она тебе не угодила?

— У нее слишком узкий кругозор, с ней не о чем говорить.

— А зачем тебе с ней говорить? Вот эти идеализмы и губят нас.

Шурыгин сел, Арефьев не мог сидеть.

— И потом, моя новая служит — и ее не надо кормить! — быстро говорил он, весь дергаясь. — И потом, она вообще во всех отношениях лучше. И потом, дело это уже оконченное, решенное, я с той порвал и договорился с этой, ну, одним словом, мне некогда и уже поздно, ночь, говори: забереешь?

— А из себя она как, ничего?

— О! Об этом не спрашивай! По улице будете идти, все будут на вас оборачиваться, как на приезжих из Ниццы! Забереешь?

— Гриша, ты знаешь, что я всегда рад помочь тебе, но сейчас я этого сделать никак не могу.

— Почему? Такая женщина! Если бы ты знал, какая женщина! Она полячка, а похожа на англичанку!

— Я женюсь, — сказал Шурыгин. — У меня есть невеста. Арефьев подскочил, потом опустил руки, раскрыл рот, расставил длинные ноги.

— Ты женишься? На ком?

- На курсистке.
- Что же, по-настоящему?
- Как придется. Да ты сядь! — поймал и потянул он книзу Арефьева.
- Не могу я сидеть! — подпрыгнул Арефьев, и композиторские волосы его на момент встали стоймя. — Что же, ты любишь ту курсистку?
- О-о!
- А она тебя?
- Меньше. А когда узнает меня ближе, полюбит больше.
- Ой-ёй-ёй, — застонал Арефьев, согнулся вдвое, как раненный в живот, и закружился на месте. — Значит, ты полячку мою не берешь? А я-то думал принести вам пуда два хорошей фасоли, наша фасоль разваривается скорее, чем у других.
- Что фасоль, фасоль — это ерунда, — пренебрежительно фыркнул Шурыгин, сидя в кресле и сложив на животе руки.
- Сыру голландского дать? — вдруг нагнулся к нему Арефьев со страшным лицом не то мученика, не то разбойника.
- Сыр голландский у меня есть, я его мало ем, от него у меня болит живот.
- Пудовую банку керосина дать? Завтра же принесу на квартиру пудовую жестянку керосина, если заберешь у меня мою полячку.
- Нет, дружище, верь мне, никак не могу! А керосин у тебя хороший?
- И ты еще спрашиваешь про тот керосин! Керосин самой лучшей марки, батумский, советский, со звездой! Говори скорее: берешь?
- Гриша, ты не обижайся на меня, но пойми сам, какой мне смысл забирать у тебя твою полячку, какую-то корсажницу, когда у меня курсистка! Ты только подумай: курсистка! Одно это слово чего стоит! Я об этом слове пятнадцать лет думал!
- Могу два пуда хорошей клюквы прибавить, будете с моей полячкой варить себе на примусе кисель, кроме того, Пасха прошла, значит, у нас через недельку в «Сельскосоюзе» пойдут парниковые огурцы, буду снабжать вас парниковыми огурцами, а пока в наших лабазах на Болоте из свежей зелени имеется только хрен. Хрену могу дать в любом количестве...
- А ну тебя с твоим хреном! — засмеялся Шурыгин, встал, решительно провел в воздухе рукой и отрезал: — Ничего не хочу! Никого не хочу! Сам спутался с полячкой, сам и распу-

тывайся! Отчего я никогда никого не прошу и всегда сам расхлебываю свою кашу, если попадаюсь? У меня украинка, Наталья-Полтавка, а ты мне предлагаешь бог знает кого!

— А что же ты сделаешь с докторшей, у которой муж пропал за границей? — спросил Арефьев.

— Она другого себе найдет. Хочешь — тебе ее передам? Вот женщина! Прямо грузинка!

— О! — взвыл Арефьев в отчаянии. — Я ему свою предлагаю, а он мне свою!

Шурыгин довольно захохотал, затрясся в кресле.

— И заметь, Гриша, — сказал он, — что в нашем, мужчинском, деле, сколько я помню себя, всегда так: или ни одной, или две-три сразу. Ужас! Прямо ужас!

Арефьев схватил шляпу, собрался уходить, остановился, задумался. Его сжатые скулы выражали злобу, мстительность.

— Ну хорошо, — проговорил он. — погоди, я тебе это когда-нибудь припомню! Когда-нибудь еще попросишь меня о чем-нибудь!

Шурыгин торжествующе рассмеялся.

— Я попрошу? Уж не воображаешь ли ты, Гриша, что я когда-нибудь попрошу тебя забрать у меня мою Полтавочку?

— Ты с ней уже живешь? — спросил Арефьев с мрачной ревностью.

— Нет еще. Первый раз завтра пойду. В эти часы вспоминай обо мне... Смотри, я с ней еще перевенчаюсь в церкви, с такой не стыдно: красавица! Я такую пятнадцать лет ожидал, и понадобилось произойти почти что мировой революции...

— Стой! — оборвал его Арефьев с раздирающим стоном. — О, если бы ты знал, как ты подводишь меня! Она замутила меня своими слезами: дай и дай ей такого же хорошего человека, как я! И я ей уже пообещал, что ты возьмешь ее, и ты своим отказом теперь ставишь меня в страшно неловкое положение перед ней, в страшно неловкое!..

— А ты в другой раз не обещаешь за меня.

— Ну, черт с тобой, — сказал Арефьев и сплюнул. — Кончим об этом! Теперь скажи, зачем ты бороду свою замечательную сбрил?

— Моя новая потребовало, — ответил Шурыгин с новым для него удовлетворенным, послушным семейственным лицом.

— Идиот ты! — посмотрел на это его лицо Арефьев, прыснул, взмахнул руками, как дирижер, и убежал.

XV

В ожидании первого любовного свидания с Наталкой-Полтавкой Шурыгин волновался уже с утра и весь день тихонько напевал себе под нос малороссийские песенки и дома, и на улице, и на службе.

— Разве в Москву малороссийская труппа приехала? — спросил его начальник, когда Шурыгин во время делового доклада запел нежным фальцетом что-то любовное из Кропивницкого, спрятавшись за тучную, как бы налитую мудростью, спину начальника.

— Приехала, но только не труппа, — взвился корпусом вверх, как ракета, счастливый Шурыгин и весело взвизгнул.

— А кто же? — спросил еще не старый, но уже отяжелевший начальник, тяжко пытая всем своим лицом в бумаги.

— Скоро узнаете, — так же взвился и так же взвизгнул Шурыгин. — Тогда покажу.

— Ага, значит, невеста, — умудренно махнул рукой начальник, как на несостоящее. — Неужели задумали жениться? — похоронно покачал он узкой головой на широкой шее. — Что же вас заставляет? Разве мало таких... канашек?

— Жаль на кого попало тратить свое естество, — сказал Шурыгин. — А от этой и детей иметь не стыдно будет, ха-ха!

Начальник опять сделал кистью руки прежнее несостоящее движение, точно прикрыл на столе ладонью букашку.

— Смотрите... Какая попадетса...

XVI

Веселый, шумный, нетерпеливый, помолодевший, даже похудевший, с охапкой покупок в руках, с вином, с пирожными, с апельсинами ввалился наконец вечером Шурыгин к своей Наталке-Полтавке.

— Талочка, миленькая, золотце мое, погляди скорее, какие такие разные штучки принес я тебе! — говорил он, сваливая с себя на подоконник гору продовольственных подарков. — Целуй за это скорее меня сюда, на тебе мои губы, скорее, бегом!

И он поворотил от окна назад лицо.

— Что-что? — иглой вонзился в него острый и длинный крик Наташи, и было слышно, как она топнула о пол своей

маленькой детской ножкой. — Что за «Талочка» такая, что за «ты» и какие такие поцелуи? И потом, вы врываетесь в мою комнату без всякого предупреждения, как к себе домой!

Шурыгин согнулся, втянул в рукава руки, уставил на Наталку выбритое, удивленно-вытянутое лицо.

— Э... э... э... — захрипел он с жалким видом. — А разве мы сейчас не у себя дома?

— Что-о???

Он сжался под ее вопросом, под ее неприятным взглядом, покосился по сторонам, как вор, услышавший за стеной подозрительный шорох, и так осторожно опустил на стул, как будто боялся напороться на уголки.

— Можете даже не садиться! — закричала Наталка, на всякий случай держась от него поодаль и разговаривая с ним через стол. — Я должна вас предупредить, что сегодня, то есть вчера, хотя это безразлично когда, мои обстоятельства резко изменились. Ко мне приехал с Украины земляк, можно даже сказать, друг детства, студент...

— Ну и что? — согнуто приподнялся со стула встревоженный Шурыгин...

— Ну и не перебивайте меня! — грубо оборвала она его. — Так вот, у этого студента очень большие способности и очень большое тяготение к науке, и совсем нет комнаты, и совсем нет надежды получить в Москве комнату, хоть попрощайся с наукой и полезай обратно в украинскую яму! И чтобы долго вам не рассказывать, я скажу прямо, что он согласен жениться на мне, слышите, не жить со мной, как собирались вы, а жениться на мне самым настоящим образом, и по-церковному, и по-советскому, по-всякому, по всем обрядам!

— За-за к-комнату?? — поднял со стула на Наталку лицо Шурыгин и скривил такую уморительную рожу, какую курсистка еще видела только один раз в жизни в посудном магазине, выставившем в центре витрины для приманки публики пузатую фарфоровую фигуру смеющегося китайского болванчика.

Его откровенный, насмешливый, губастый вид сразил уверенность курсистки, сбил ее с толку, и она на момент растерялась перед его слишком прямым вопросом.

— Отчасти, конечно, да, за комнату, — залепетала она, нахмурилась и, перебирая в воздухе тонкими пальчиками, собиралась с мыслями. — А отчасти, конечно, нет, не за комнату... А в общем, не за комнату, совсем не за комнату... Когда любишь, разве знаешь за что любишь! — вдруг вскричала она

яростно, исказив лицо и показав белые зубки, как маленький нападающий хищник, а потом заговорила с прежней уверенностью и прежним воинственным тоном: — По крайней мере, я буду законная жена, а не любовница, не содержанка! Я вам не бульварная все-таки, и вы не на такую напали! Правда, у меня был один такой момент, когда я готова была смотреть на ваше предложение как на спасение, но это происходило оттого, что я очень долго не обедала, а когда я потом у одной подруги пообедала, я поняла, что совершила бы великую глупость, если бы связалась с вами, — лучше пойти просить милостыню. А главное, у того студента связи, большие связи, в самых важных местах, и он обещал устроить меня на хорошую службу, где всё: и жалованье, и пайки, и обмундирование, и командировки, и санаторное лечение...

— И вы ему верите??? — опять возникла перед курсисткой широчайшая, глупейшая, расплывшаяся в веселой улыбке, глянцевиная фарфоровая рожа пузатого китайского болванчика.

Непомерная, чудовищная, классическая глупость упитанной рожи, похожей на тесто, на этот раз рассмешила курсистку. Она одной рукой уставилась в него через стол указательным пальцем, другой взялась за живот и принялась стрекочуще хохотать. Обе ее косы свешивались вдоль щек вниз прямыми золотыми палками.

— «Бухгалтер!» — сквозь удушающий хохот, сквозь умоляющие слезы визжала она, корчилась и показывала на него издали острием пальца: — «Бухгалтер!» Ха-ха-ха!

Ее смех, смех маленькой, хорошенькой, страшно далекой от него украинской плутовки, колко бил по самому сердцу влюбленного бухгалтера, и веселость его, веселость сытого болванчика, мгновенно соскочила с него. Он сидел на стуле уже уныло, как увядший в вазе цветок, для которого остался еще только один путь: в мусорную яму.

— Сколько же вам лет? — разинув рот, хохотала Наталка через стол.

— Теперь нечего спрашивать об этом... — пробормотал Шурыгин в пол безнадежно, потерянно. — Зачем же я тогда бороду снял! — вдруг провел он печально рукой по своим оголенным скулам.

Этот его жест дал Наталке повод еще раз хорошо посмеяться над ним. Она хохотала и рассматривала его издали, через стол, как ручную обезьянку, и занятную, и противную, и к тому же не совсем безопасную.

— Ну, батенька, — наконец сказала она, — вам пора уходить. Посмеялись — и довольно. А то сейчас ко мне должны подруги прийти, они меня засмеют.

Шурыгин тяжело поднялся на толстые, короткие ноги и остановился в раздумье.

— Вы, оказывается, совсем еще девочка, — только и придумал он, чем ей отомстить за все ее глумления. — Даже совсем не похожи на курсистку!..

— Пусть буду не похожа, — следила за ним издали через стол курсистка и поправляла перед зеркалом косы.

Шурыгин стоял, достал платок и усиленно вытирал им пот с головы, шеи, затылка. Почему-то особенно лило у него с затылка. Словно главные удары курсистки приходились именно туда.

И удивительное явление: с той секунды, как его прошиб пот, он почувствовал себя значительно лучше. Точно из него вышла тяжелая, изнурительная простуда. Обычные силы вдруг вернулись к нему. И он не видел смысла в продолжении неравной борьбы. Надо было уходить.

— Ну что ж, — снял он с гвоздя свою новую, только сегодня купленную жениховскую шляпу. — Если студент, тогда конечно...

Взгляд его случайно упал при этом на подоконник, на кучу принесенных им продуктов, на вино и, главное, на апельсины, стоившие ему дьявольских денег.

Апельсинов бухгалтер сам не пробовал шесть лет!

И он решился на последний, рискованный безумный шаг. А вдруг?

Он сделал самое приятное, самое соблазнительное лицо самца, самые вкрадчивые, самые просительные глаза, на которые только был способен.

— Ну а на прощанье, а на прощанье, на прощанье?.. — просипел он сладеньким голоском, вкусно потягивая от нее к себе носом и подробно облизывая взглядом всю ее нежную молоденькую фигурку. — На прощанье...

— Что-о? — сдвинула она брови. — Я вас не понимаю. Вы хотите, чтобы я постучала в стену соседям? Чего вы хотите? — грозно спросила она.

— Ничего, — скромно ответил бухгалтер, опустил голову, подобрался и более или менее неслышно вышел.

Часа полтора спустя, у Никитских ворот, под столбом с ярко освещенными уличными часами кучка трамвайных пассажиров с видом птиц, готовых к отлету, ожидавшая вагонов с номерами 16 и 22, отчетливо слышала, как в темноте вечера через

дорогу перекликались два молодых, веселых, брызжущих жизнью голоса, мужской и женский, оба с заметным южным акцентом.

— Наташа, ну а если я очень запоздаю, ваши хозяева пустят меня?

— Ничего, ничего, Алеша, или, как вас там, Андрюша, что ли! Ничего, приходите, когда хотите, я буду ждать! Только еще раз предупреждаю: ничего из еды не приносите! У меня все уже есть: и вино, и закуски, и апельсины!

— Ого, и апельсины! Это добре! Таки по-буржуазному вы тут в Москве живете! Хе-хе...

XVII

На другой день рано утром перед службой, Шурыгин, не спавший ночь, наконец дождался, когда открылась ближайшая к его квартире государственная булочная.

— У вас можно поговорить по телефону? — вошел он в булочную с встревоженным видом.

— Вообще мы не разрешаем, — приглядываясь к странному виду посетителя, помялся управляющий, курносый, белявый, с моржовыми усами, в кожаном картузе на моржовой голове. — А вам по какому делу?

— По важному, по служебному.

— Если по важному, служебному или какое семейное несчастье... — задвигал белявыми бровями северный морж.

— И семейное несчастье тоже! — подхватил Шурыгин.

— Ванька, брось, сукин сын, жевать! Не можешь дождаться лому, от цельного откусываешь, весь товар тобой откусанный! Отведи вот их к телефону!

Дрожащей рукой схватил Шурыгин трубку телефона, приложил к уху, назвал номер.

— Соединила, — ответили оттуда, точно с черствым хлебом во рту.

— Благодарю вас. Эта квартира Арефьева? Попросите, пожалуйста, Григория Петровича к телефону. Спит? Это ничего. Разбудите. По неотложному делу. Он не рассердится. Что? Я же вам говорю, что не рассердится! Скажите — просит Шурыгин, он будет рад. Гриша, это ты? Здравствуй!

— Здравствуй, черт бы тебя побрал! Какого тебе черта?

— Гриша, не сердись. У нас радость! Кричи: «Ура!» Я сегодня забираю твою полячку!

- Дудки!
- Что?
- Говорю: дудки!
- Оставь глупые шутки. Что это значит?
- Это значит, что ее вчера забрали. Хорошенькая женщина одного дня не засидится без мужчины, будь покоен. Она еще растет, ей еще двенадцать лет, а за ней уже следят тысячи глаз нашего брата!
- Но объясни, по крайней мере, как это произошло!
- Это произошло, главным образом, по твоей глупости! Не надо было зевать, надо было хватать предмет на лету, брать из рук в руки, когда давали. Так жизнь дураков учит.
- Но кто ее взял?
- Когда я сговорился с другой и она осталась ни при чем, я ей надавал записок к разным акулам насчет должности...
- А ты говорил — она корсажница!
- Да, она была корсажница, а когда мастерскую в одно окно, где она работала, приравняли по обложению к десяти-трубной фабрике, хозяйка ее мастерской из-за налогов закрыла свое дело.
- Понимаю! Ну, она пошла с твоими записками — и?..
- И понравилась во Внешторге проходившему мимо персу. И вышло, что перс привез в Москву сушеный урюк для компота, а вывез из Москвы мою полячку... ну, а как обстоит дело с твоей свадьбой, ха-ха-ха! Я рад!
- Шурыгин злобно бросил трубку и выскочил из булочной на воздух. Он был похож на бешеного, и прохожие шархались от него.
- Бежать. Куда глаза глядят бежать!

XVIII

Весна в том году в Москве была поздняя. Стояли первые числа мая, а во дворах, под стенами и заборами, в тени еще лежали пласты мокрого, ноздреватого, грязного снега. Зато по улицам, тротуарам и площадям везде текло, весело журчало, хлюпало, блистало в теплых лучах солнца множеством больших и малых зеркал. Земля! Трамвайные работницы, подпоясанные, похожие в своих спецнарядах на мужчин, и дворники, выражением мешковато-раззявых лиц похожие на баб, так же, как в предыдущие годы, нимало не считаясь с прохожими, размахис-

то гнали метлами грязную весеннюю воду с площадей и дорог в раскрытые подземные стоки. Вороны и галки, благополучно прозимовавшие в Москве возле непонятого человека, возле его содержательных мусорных ящиков, теперь с праздничным гомоном несметными тучами вольно носились по окрестным полям, рощам, лесам. В воздухе появились отдельные, странные, легкие, полупьяные от слабости мухи, и с Курского вокзала в то же время спешили в город целыми группами такие же хилые, бескровные, смуглые, иссиня-черноволосые шарманчики с белыми, фиолетовыми и зелеными попугаями, достающими клювами из длинненького ящичка тем дворникам и трамвайным работникам изложенное на ярлычке человеческое счастье. Зелени на московских бульварах еще не было, но земля уже набухла, уже резинилась и вздыхала под человеческими ступнями, уже проснулась, уже чувствовала, уже готовила миру веселые сюрпризы, уже таила в себе мириады зародышей, которым предстояло счастье не сегодня-завтра прокричать миру о своем праве на молодую, яркую, свободную жизнь. Выпадали отдельные дни, когда при совершенно пасмурном, покрытом серыми тучами небе, при непрерывном, теплом тихом дожде в Москве стояла такая мягкая расслабляющая теплынь, так парило, что пассажиры трамваев обливались потом, как в июле, с изнемогающими лицами становились ближе к раскрытым дверям, обвевали себя руками, платками; и так странно было им тогда наблюдать, как из иных глубоких московских дворов вывозили на крестьянских телегах высокие громады серого снега, сложенного аккуратными плитами. На Тверской, на Петровке, на Кузнецком, на Арбатской площади норовистые молодцы, с прямыми затылками, в высоких сопогах и черных картузах, бежали вровень с рысакими, уносящими по мостовой прекрасные глубокие коляски, и, держа перед носами чванливых седоков крепко зажатые в руках, как в вазах, букеты, ядрено кричали, подставляя ветру свои красные щеки:

— Фиалки! Фиалки! Ландыши! Ландыши!

Но, конечно, ничто так не говорило о наступлении в Москве долгожданной весны, как тот любовный трепет, та горячка любви, которыми были охвачены жители красной столицы. Не за этим ли, не для этого ли, главным образом, ожидали весну?

ХІХ

Любовь! Любовь!

И на бульварах, этих рынках любви, в числе бесконечного множества других, тайно покупающих и продающих любовь, бродят и бродят, мечутся и мечутся разрозненные одинокие фигуры бухгалтера из Центросоюза Шурыгина и жены доктора Валентины Константиновны. Они узнают друг друга издали, они видят друг друга тут каждый день, но они никогда не встречаются. Они своим видом вызывают в сердце друг друга только тупую боль... Что-то когда-то было... Что-то когда-то могло быть... А теперь? Теперь она окончательно неподходящий для него человек, теперь она ходит по бульварам, и кто ей поверит, что она только ходит, а ему нужна женщина чистая, безупречная, верная, которая знала бы только его одного. А он для нее? Он для нее теперь тоже определенно не пара. Он все ночи напролет проводит на улицах, на бульварах, подходит к одной, к другой, и кто поручится, что он только подходит, а у нее дети, три девочки, старшая хорошо учится, и Валентину Константиновну спасет мужчина только порядочный, солидный, которому можно поверить и который смог бы жить только с одной.

И оба они ищут, усиленно ищут.

Сумерки...

Вечер...

Ночь...

— Толстый! Зря не идешь со мной. Такой, как я, не найти.

ПУТЬ К ЖЕНЩИНЕ

Часть первая



Через весь зал протянуты два гигантских матерчатых плаката. На одном написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» На другом: «Галоши снимать обязательно!»

Зал от края до края заставлен столиками. Ресторан не ресторан, пивная не пивная, с первого взгляда не поймешь что.

Вокруг каждого столика — за стаканами чая, за бутылками пива, перед шашечными-шахматными досками, над раскрытыми журналами, газетами — сидят тесными группами люди самой разнообразной, самой неожиданной внешности.

Частная беседа этих групп время от времени переходит в общий крикливый спор, в котором принимает участие весь зал.

Вот все посетители зала вдруг обращают пышущие удовольствием лица в одну сторону, неистово аплодируют, стучат в пол ногами, стульями, бренчат стаканами, бутылками, кричат, кого-то вызывают.

— Браво! Браво!

— Шибалин, браво!

— Никита Шибалин!

— Вот так ши-ба-нул!

— Это по-нашему, по-большевистскому!

— Товарищ, скажите, вы не знаете, Шибалин коммунист?

— Нет. Он левее коммунистов. Коммунисты стоят на месте. А он вон куда хватанул.

— Да. Можно сказать, шарпанул по всему старому миру. По самой головке.

Наконец тот, кого так усиленно вызывают, поднимается из-за своего столика, показывается публике всей фигурой, немножко польщенно, немножко смущенно улыбается.

Рукоплескания крутой волной вдруг забирают в гору, в гору... Крики усиливаются...

Какой-то остроглазый юноша вскакивает со стула и, зачем-то показывая пальцем на Шибалина, радостно взвизгивает:

— Вот он!

И сейчас же садится, раскатываясь мелким, довольным желудочным хохотом.

В то же время в другом углу зала истерический, почти кликушеский вопль женщины:

— Шибалин, спасибо вам!

Шибалин, крепко сложенный мужчина, с пристальным, чутьточку исподлобья, несуетливым взглядом, стоит среди битком набитого зала, кланяется аплодирующим в одну сторону, другую, третью, потом снова садится за свой столик, тонет в море других вертлявых, беспокойных голов.

Прежняя женщина, в черной бархатной тубетейке, в длинном полом мужском пиджаке с горизонтальными плечами, Анна Новая, все время что-то записывающая в тетрадку, привстает, бледнеет, нервно кричит из своего дальнего угла:

— Пусть Шибалин выйдет на кафедру! А то многим ничего не слышать!

— На кафедру! На кафедру! — с непонятым весельем подхватывает весь зал. — На кафедру! Ха-ха-ха!

Шибалин встает, упирается ладонями в столик, смотрит на всех, терпеливо ждет, когда смолкнут.

— Товарищи! Зачем? — в недоумении пожимает он плечами, когда зал утихает. — Зачем непременно на кафедру? Можно и отсюда! Ведь здесь не лекционный зал, а всего только наш клуб. И то, что я вам сейчас излагал, вовсе не доклад, а просто так, несколько личных моих мыслей по надоевшему всем половому вопросу.

— На кафедру!.. — тягучими голосами взывает зал, требовательно и дружно. — На кафедру!..

Шибалин зажимает уши, улыбается, машет залу рукой, что сдается, неторопливой своей поступью шагает между столика-

ми, идет среди множества устремленных на него восторженных взглядов, направляется в самый конец зала, увесисто взбирается там по трем ступенькам на кафедру, берется сильными руками за ее крышку, точно пробует прочность.

— Если так, — обращается он ко всем уже оттуда и зоркими своими глазами посматривает с высоты трех ступеней вниз, — если так, тогда давайте выберем председателя что ли...

— Данилова! — еще не дав ему договорить, выпаливает в воздух прежний торопливый, азартный. И все собрание мужественным воем басит:

— Да-ни-ло-ва!.. Да-ни-ло-ва!..

Пожилый человек с морщинистым лицом, с нагорбленной спиной, с выпирающими под пиджаком лопатками, с длинными пепельно-рыжими кудрями и с седоватой бородой, в больших черных очках, точно совершенно незрячий, покорно поднимается со своего места, забирает в одну руку стакан с недопитым чаем, в другую огрызок голландского сыра на ломтике хлеба, удаляется к кафедре, устраивается возле нее за отдельным столиком, перебрасывается несколькими деловыми фразами с Шибалиным, расправляет кудри, бороду, напускает на себя председательский вид, звонит чайной ложечкой по стакану, предварительно перелив чай в блюдечко, и обращается к залу:

— Товарищи! Но вот вопрос, пройдет ли у нас сегодня серьезное собрание? Ведь вы знаете, что бывают дни, когда на нас находит такое шалое настроение, род эпидемии...

— Пройдет! Пройдет! — заглушают его веселые выкрики с мест.

— Что вы, на самом-то деле?.. Что, мы не можем что ли?..

— Ну смотрите же! — еще раз предупреждает Данилов, потом предлагает: — Тогда, товарищи, вот что: одного председателя на такое собрание мало! Вопрос, поднятый вами, жгучий, трактовка Шибалина ультрарадикальная, дерзкая, страсти у всех разгораются... И я предлагаю доизбрать в президиум еще двух человек, лучше всего из нашей молодежи!

— Огонькова и Веточкина! — несутся со всех концов зала к кафедре голоса. — Веточкина и Огонькова!

Данилов знаком руки приглашает к себе двух молодых людей, фамилии которых называет собрание.

Огоньков и Веточкин, юноши-однолетки, с улыбками громадного удовольствия на круглых зардевших румяных лицах, расаживаются за стол рядом с Даниловым, один справа от

него, другой слева, весело перемигиваются с приятелями, сидящими в публике.

Данилов звонит ложечкой по стакану:

— Прошу внимания!.. Товарищи, согласно вашему желанию дальнейшую беседу ведем организованным путем!.. Прошу соблюдать порядок!.. Слово берет для заключительной части своего доклада беллетрист Никита Шибалин!..

По залу проносится довольный шепот. Все тянутся лицами вперед, смотрят на кафедру.

Видно, как один запоздавший человек, с длинной цыплячьей шеей, согнувшись в колесо, со стаканом чая в руках, валко ковыляет на кривых ногах, согнутых в коленях, пробирается от двери с надписью «Буфет» к своему столику...

Слышно, как за дверью с надписью «Бильярдная» сухо цокают друг о друга плотные бильярдные шары...

II

Вдруг обе половинки двери «Буфет» с треском раскрываются настезь и в зал с грохотом вваливается, споткнувшись, как мяч, о порог, совершенно пьяный великолепно одетый молодой человек со смертельно бледным лицом и с прядями темных волос, свисающих на глаза.

И собрание в момент переводит заинтересованные взгляды с Шибалина на пьяного. Некоторые даже переставляют под собой стулья, чтобы было удобнее смотреть.

А пьяный ломается. Останавливается возле дверей, осовело и вместе вызывающе пялит глаза на зал, ухарски подбоченивается, качается на месте во все стороны, точно в сильную бурю на палубе корабля, и обличительно восклицает:

— Ого-го, сколько тут маленьких «великих людей» собралось! Со всего СССРа слетелись!.. Чего тут сидите, чего делаете?.. Все Пушкина опровергаете?.. Валяйте, валяйте, мать вашу так, я послушаю!..

Садится с краешка. Направляет на собрание насмешливо разинутый хмельной рот, точащий слюну.

Данилов стоит в председательской позе, не перестает звонить, не перестает кричать пьяному:

— Товарищ Солнцев! Товарищ Солнцев! Я не давал вам слова! Слово принадлежит не вам!

Солнцев с трудом поднимается, откидывает с глаз вихры волос.

— Что-о? — делает он шаг вперед, засовывает руки в карманы, заламывает назад корпус, шатается из стороны в сторону, как на слабых рессорах, пьяно щурит на председателя злые глазные щелочки. — Что-о? — силится он сделать еще шаг вперед, но вместо этого откатывается, как кресло на колесиках, на два шага назад. — А ты кто такой? Что дал ты великой русской литературе, рыжая твоя председательская борода? Я тебя что-то не знаю, да и знать не желаю!

Скандал приводит всех в движение. В зале поднимается шум. В одном месте откровенно хохочут, в другом искренно негодуют.

Все привстают из-за своих столиков, ищут глазами пьяного, громко переговариваются по поводу происшедшего, с испуганными улыбками ожидают, что будет дальше.

— Опять налился! — вырывается у кого-то полное горечи восклицание. — Одного дня не может вытерпеть!

Один гражданин богатырского телосложения, засучив рукава и распахнув рубашку на груди, порывается от своего столика вперед, другие, густой толпой лилипутов вцепившись в него, пытаются удержать его.

— Убрать его! — с повелительным жестом кричит великан на Солнцева и скрежещет зубами, и волочит за собой по паркетному полу вместе со столами кучу сплпшихся лилипутов.

Данилов одиноко возвышается на своем председательском посту, устрашающе маячит на всех черными безжизненными очками, звонит и звонит.

Наконец он что-то шепчет молодым членам президиума, Огонькову и Веточкину. Те, поправляя на себе туго затянутые ременные пояса, спешат к пьяному, подхватывают его под руки, силятся выпихнуть обратно за дверь «Буфет».

Солнцев не дается, ожесточенно сопротивляется, входит во вкус борьбы, рычит, как зверь, дерется, норовит укусить то одного члена президиума, то другого.

— Врешь, не возьмешь! — шипит он при этом яростно на каждого.

— Шурка, а ты здесь больно не разоряйся, здесь все-таки союз, а не пивная, — увещевает его Веточкин, а сам делает еще одно отчаянное усилие, багровый, задыхающийся в борьбе.

— Шура, пройдем с нами в буфет, раздадим по графинчику, — кричат в то же время с другой стороны Огоньков, повисая всей своей тяжестью на другом плече пьяного.

Солнцев вдруг собирает все свои силы, швыряет Веточкина и Огонькова, как щенят, об пол, а сам с веселой рожей ставит руки в боки, пьяно приплясывает на месте, диким ревушим голосом горланит на все притихшее здание:

— Стр-ра-да-тель мой, стр-ра-дай со мной, надоело мне стр-ра-дать одной!..

Собрание по-детски добродушно смотрит на него, по-детски довольно смеется.

Огоньков и Веточкин, поднявшись с пола и отряхнув руками с коленок пыль, переконфуженные перед целым собранием, озлобившиеся, налетают на отплясывающего Солнцева сзади, безжалостно ломают его, комкают, поднимают высоко на воздух, выбегают с ним за дверь и через полминуты с обессиленными улыбками возвращаются обратно.

— Стр-ра-да-тель мой, стр-ра-дай со мной... — тотчас же раздается за запертой дверью дикое, разудалое, какое-то безгранично-размашистое пение Солнцева.

Но вот пение внезапно обрывается, и из-под двери доносится kloкочущее рыдание пьяного...

Собрание остро, страдальчески вслушивается. У многих бледнеют лица, плотнее замыкаются губы. У нескольких человек нависают на ресницах слезинки.

На сухом деловом лице Данилова тоже появляются новые, теплые грустные складки.

— Какой большой поэт на наших глазах погибает! — глубокой болью звенит на весь зал одинокий голос Анны Новой из дальнего угла. — И неужели наш союз не в силах что-нибудь для него сделать? Позор!!!

— А чем же он погибает? — даже не оборачиваясь к ней и не убирая локтей со своего стола, равнодушно отзывается сидящий за кружкой пива Антон Нелюдимый, мрачного вида человек с устрашающе громадными чертами лица.

— Как чем? — содрогается возмущением голос Анны Новой. — А вино?

— Что ж, что вино? — лениво рассуждает в ответ Антон Нелюдимый. — Вино, оно помогает нашему брату творить, дает полет фантазии!

Немалых трудов стоит Данилову прекратить наконец переговоры с мест.

— Товарищи! — взывает он и звонит в стакан. — Товарищи! Будем считать, что ничего не случилось! Собрание продолжается!

И все снова обращают взоры к Шибалину.

III

Но в этот самый момент возле двери «Библиотека» раздается душу раздирающий крик. Кричит не то женщина, не то ребенок.

Собрание поворачивает в ту сторону головы, смотрит.

Крик повторяется.

Один за другим все вскакивают из-за столиков, спешат к месту происшествия, и возле двери «Библиотека» образуется большая толпа.

— Не пойду!!! — вырывается из центра плотной толпы прежний раздирающий крик, и на этот раз кажется, что крик принадлежит мальчику. — Ни за что не пойду!!! Убейте на месте — не пойду!!!

Данилов встает, тянется вверх, смотрит слепыми стеклами вдаль, звонит:

— Что там еще случилось?

Толпа полуоборачивается к нему и отвечает издали трубно хором:

— Человек в галошах!

Лицо Данилова меняется, корпус инстинктивно подается вперед:

— Как в галошах?

Толпа хором:

— Так в галошах!

— Заставить снять!

— Не хочет!

— Что значит «не хочет»? Снять, да и только!

— Не дается! Может быть, вы ему скажете, товарищ председатель?

Толпа расступается на обе стороны, делится на две части и открывает встревоженному взору председателя такую картину: скромно одетый юноша с плачущим выражением лица силится вырваться из крепких держащих рук двух служителей, старого и молодого.

Юноша умоляюще:

— Пустите меня!

Старый служитель:

— Снимите галоши, сдайте их нам под номерок, тогда пустим.

Председатель твердо:

— Антон Тихий, что за безобразие, почему вы не снимаете галош?

— А если они у меня на босу ногу! — с раздражением кричит Антон Тихий и вскидывает в сторону председателя одну ногу, босую, обмотанную тряпками, в галоше.

Молодой служитель к председателю:

— Они через то и одевают галоши на босу ногу, чтобы за хранение не платить!

Старый:

— Хитрость своего рода!

Молодой:

— Мы их давно заметили, да все не удавалось словить: как пойдут чесать по коридорам да по лестницам!

Старый:

— Тут еще есть несколько душ таких, которые проскочили в галошах...

Смотрит всем на ноги. В толпе кое-где заметное движение: несколько человек прячут от служителей ноги.

Председатель к служителям:

— Товарищи, не держите его, отпустите, он сам сейчас пройдет в раздевальную и оставит там галоши.

Антон Тихий, нервно перекосив лицо:

— Вам говорят, что они у меня на босу ногу!

Председатель:

— А вам говорят, что сидеть в зале в галошах нельзя!

— Почему?

— Потому что нельзя!

— Объясните — почему?

— Неужели вы этого не понимаете?

— А вы думаете — вы понимаете? Тогда объясните мне почему?

— Не время и не место заниматься здесь такими объяснениями.

— Ага, значит, вы сами не понимаете почему! Вдолбили себе в голову, шаблонные вы люди!

— Антон Тихий, как председатель собрания я спрашиваю вас: вы уйдете из зала или нет?

— Конечно, нет.

Кто-то нетерпеливо визжит из середины зала:

— Милицию! Позвать милицию и больше ничего! Тут такое собрание, такой, можно сказать, животрепещущий вопрос разбирается, а тут приходят и хулиганят!

Данилов шепчется с Огоньковым и Веточкиным.

— Товарищи! — встает он и звонит. — Объявляю пятиминутный перерыв! Президиум удаляется на совещание решить вопрос, как поступить с товарищем в галошах!

Данилов, Веточкин, Огоньков с опущенными, серьезными лицами гуськом уходят в смежную комнату.

Собрание набрасывается на Антона Тихого. В зале поднимается невероятный гам. Все кричат сразу, громче и громче:

— Антон Тихий, время военного коммунизма прошло, сними галоши!

— Антошка, брось свои анархические замашки! Не расстраивай зря собрание!

— Товарищ Тихий, ну что такое вы делаете? К чему вся эта комедия? Замотали ноги тряпками, всунули их в галоши...

— Я знаю, что я делаю! — отбивается Антон Тихий то от одного, то от другого. — Мне это уже надоело! Куда ни придешь, везде прежде всего смотрят тебе на ноги! И всюду норовят сорвать с тебя 20 коп. галошного налога! Галоши того не стоят, сколько мы переплачиваем за их «хранение»! Не «храните», черт с вами! Не надо! И раз никто против этого не борется, я решил сам начать с этим решительную борьбу! Я сегодня был в восьми учреждениях, и из-за галош за мной сегодня восемь президиумов по лестницам гнались, так что эти ваши будут девятье! Болтаем языком о пролетарской культуре, а на практике заводим буржуазные порядки!

— Товарищ Антон Тихий, — сейчас же выступают ему возражать. — Еще бы ты чего захотел! Ввалился в зал собрания в галошах! Здесь все-таки не Сухаревка, а союз!

В дверях появляется президиум, и разговоры в зале прекращаются.

Лицо Данилова сосредоточенно, сурово.

— Разрешите огласить решение президиума!

Смотрит в бумажку, торжественно читает:

— Несмотря на то что настоящее собрание вместе со всем СССРом высоко ценит талантливые стихотворения Антона Тихого на производственные темы, про электрификацию, канализацию... тем не менее президиум никак не может ему

позволить нарушать принятый в общественных местах порядок. А посему президиум постановляет...

Тут зал удерживает дыхание, Данилов несколько повышает голос:

— ...предложить поэту Антону Тихому либо немедленно оставить в раздевальной галоши, либо удалиться из зала. В случае же неисполнения Антоном Тихим ни того ни другого, войти в правление союза с ходатайством об исключении его из союза на один месяц.

Антон Тихий с бешеной дергающейся жестикуляцией:

— Из такого собрания и такого союза я сам уйду! Будете просить, и то не останусь! Я и в Москву-то вашу напрасно приезжал! Ехал, думал: вот наберусь там у них этого самого, московского, пролетарского! А они?! У нас в несчастном Камышине и то куда революционнее!

Уходит широкими шагами, размахивает расхопившимися руками, в дверях останавливается, оборачивается, со страшным лицом грозит собранию кулаком:

— Ста-ро-ре-жим-ни-ки!!!

С треском захлопывает за собой дверь.

В зале за столиками неопределенное молчание. Кто-то, спрятавшись за чужую спину, хохочет.

Вырываются по адресу ушедшего несколько негромких замечаний.

— Чудак!

— Что-то из себя строит!

— Просто ненормальный!

Шибалин, сидевший это время внизу, на стуле, поднимается на одну ступеньку на кафедру и среди тишины спрашивает у всех:

— Ввиду обилия сегодня всяких инцидентов, может быть, отложим мое выступление до другого раза?

Собрание точно вдруг просыпается от долгого тяжелого сна. Машет руками, головами:

— Нет, нет! Что вы, что вы! Ни за что! Ваша тема так интересна! Начинайте сейчас! Просим! Просим!

И потом все собрание протяжно дудит, как в басовые трубы:

— Про-сим! Про-сим!

Встает на своем председательском месте Данилов.

— То-ва-ри-щи!!! Ти-хо!!! Зап-ри-те там две-ри!!! Будем считать, что ничего не случилось!!! Никита Акимыч, ваше слово...

Садится.

IV

Могуче и трагически режет каждое слово Шибалин и тяжелыми жемами руки сечет перед собой воздух, точно ставит в своей чеканной речи невидимые знаки препинания.

— Итак, товарищи, принимая во внимание все сказанное мною тут перед вами сегодня, я с полным правом и со всей энергией утверждаю: р-революции не было!!!

Последние три слова он выкрикивает и делает рукой и всем корпусом бросающие движения вверх. Потом некоторое время стоит, молчит и с мрачно-торжествующей миной глядит вверх, как бы любитесь, высоко ли забросил.

Аудитория сидит, ловит каждое слово оратора, следит за каждым движением его приковывающего лица, не шевелится, не дышит.

— Р-революции не было, потому что человек как личность остается по-прежнему ужасающе одинок, кошмарно одинок, точно окруженный беззвучной ледяной пустыней!.. Р-революции не было, потому что человек — и мужчина и женщина — по-прежнему с беспредельной тоской в глазах стоит перед неразрешенной проблемой пола!.. Р-революции не было, потому что человек как таковой по-прежнему таскает на своем горбу весь тяжкий груз полученных им по наследству тысячелетних предрассудков, разоблачению самого страшного из которых, собственно, и была посвящена моя сегодняшняя импровизированная лекция! Речь идет, как вы уже знаете, об укоренившемся среди нас чудовищном обычае подразделять людей на наших «знакомых» и «незнакомых»!.. И в то время, как со «знакомыми», с этой микроскопической горсточкой людей, нам разрешается всяческое общение, вплоть до любви и брака, — с «незнакомыми», то есть со всем остальным населением земного шара, мы не имеем права даже заговаривать при встречах на улице, потому что, видите ли, это «не-при-лич-но»!!!

По залу, по группам сидящих за столиками прокатывается завывающий гул общего удивления:

— У-у-у... У-у-у...

Только один юнец, сутулый, с разочарованным лицом, кричит со своего места:

— Старо! Нельзя ли чего-нибудь поновей!

Остальные дружно шипят на него:

— Цшш... Цшш...

Данилов привстает, сверлит их черными очками.

Шибалин хмурится, наливается еще большей упрямой волевой силой, продолжает:

— И, благодаря подобной вопиющей дичи, товарищи, каждый из нас — будь то мужчина или женщина — до сего дня обречен выбирать себе пару из мизерно узкого круга своих личных «знакомых», минуя всех остальных...

Шибалин делает дурацкую гримасу и насмешливо-кривляющимся голосом раздельно цедит одними губами:

— Бери не ту, которая тебе больше всего на свете подходит, не далекую, не идеальную, а ту, которая имеется у тебя под рукой!!!

Опять по залу из конца в конец прокатывается массовый вой удивления и солидарности с мыслью оратора.

Кто-то догадливо кричит из-за своего столика:

— Надо выбирать себе такую, чтобы от нее не тянуло к другим!

Данилов пугает его темными очками. Он прячется.

И снова энергичная речь Шибалина.

В дальнейшем Шибалин говорит, что благодаря указанному им предрассудку каждая брачная связь двух человек на земле до сих пор оказывается недоразумением, ошибкой, за которую в течение всей своей жизни расплачиваются обе стороны — и мужчина, и женщина...

— Товарищи! Сегодня мы уже разбирали с вами во всех подробностях семейную трагедию величайшего гения, какого когда-либо рождала земля, нашего Льва Николаевича Толстого!.. А Гоголь?! Неужели вы думаете, товарищи, что на всей земной планете, на обоих ее полушариях, не отыскалась бы девушка, которая всей душой полюбила бы нашего чудесного Гоголя и которую в свою очередь полюбил бы и он?!

— Конечно, отыскалась бы! — звенит взволнованный голос первой женщины, участницы собрания.

— И еще сколько! Не одна! — вырывается возглас у другой.

— Сколько хотите! — подтверждает нервно третья.

— Каждая согласилась бы! — признается за всех четвертая.

— Еще бы! Го-голь! — поясняет пятая.

Мужчины слушают разошедшихся женщин и с выражением великого своего превосходства добродушно посмеиваются.

И Данилов улыбается, когда звонит женщинам и призывает их не прерывать оратора.

Шибалин тоже не может удержаться от улыбки, когда обращается исключительно к ним:

— Ну вот видите, товарищи женщины, разве я был не прав? Когда в одном этом зале и то нашлось столько питающих должные чувства к Гоголю! А между тем Гоголь за всю свою жизнь так и не встретился со своей парой, потому что она находилась где-то за проклятой чертой его личных «знакомых»!.. Товарищи, и не только Толстой, и не только Гоголь!.. Я сегодня приводил вам из всемирной истории еще более возмутительные примеры, когда мировые гении человечества принуждены были тайно сожительствовать со своими безграмотными кухарками!..

— Извиняюсь, товарищи! — встает со своего места и прерывает Шибалина молоденький паренек с карандашом и записной книжкой в руках. — Чего же вы видите тут возмутительного, если мужчины сожительствуют с кухарками? Разве кухарка не такой же трудящийся, как и прочие граждане?

— Да, да! — вскакивает и еще более горячится другой. — Тем более странно слышать подобные слова теперь, когда по всему нашему Союзу пооткрыты пункты по ликвидации безграмотности!

— Товарищи! Ша! — обрушивается на них третий, машет руками, гримасничает, спешит. — Это же говорится не про теперь, это берется из всемирной истории! Нельзя равнять!

Данилов заставляет их замолчать. Шибалин продолжает.

— Товарищи, я утверждаю, — ударяет по крышке кафедры рукой, — я утверждаю, что на всем земном шаре женатые мужчины живут не с теми женщинами, с которыми хотели бы!

Взрывом стихийного смеха награждает эти слова оратора мужская половина собрания.

— Хо-хо-хо!

— Браво, браво!

— Вскрыл-таки!

— Расшифровал!

— Что же, товарищ Шибалин, вы теперь будете их всех разводить? — спрашивает один смеясь.

— Да!.. Разводить!.. — со злостью восклицает Шибалин и начинает бегать, метаться по кафедре, трудно дышать...

Потом снова возвращается к спокойной трактовке своей темы.

— Товарищи! — взывает он к собравшимся, а через них как бы и ко всему человечеству. — Товарищи! До каких же пор

мы, люди разного пола, будем, точно врожденные враги, обманывать друг друга? До каких пор мужья и жены будут разыгрывать друг перед другом недостойную разумных существ комедию? Не пора ли нам наконец сказать друг другу всю правду — мужчины женщинам, женщины мужчинам! Учинить единое всемирное объяснение! Всем мужчинам договориться со всеми женщинами! А то, взгляните-ка вокруг, что сейчас происходит: мужчины недовольны, изнывают, ничего как следует не делают, раньше времени гибнут; женщины — то же самое — недовольны, изнывают, ничего не могут толком делать, преждевременно гибнут... А из-за чего недовольны? Из-за чего изнывают? Из-за чего так рано гибнут? Да друг из-за друга!!!

Аплодисменты слушателей и их крики на момент наполняют шумом весь зал. В то же время из нескольких мест несутся резкие свистки.

— Вот верно сказано!

— Взято прямо из жизни!

— Каждый человек видит себя как на ладони!

— Вот она когда выплывает наружу — вся правда!

— Товарищи, что вы говорите? Какая правда! Правду вы узнаете только после прений! Нельзя так поддаваться! Тут против многого можно возразить!

Данилов стоит, смотрит, звонит...

Шибалин волнуется, мечется по кафедре, мысленно раздувает свою идею дальше.

Идея захватывает его все больше и больше, и он уже не в состоянии молчать, не в силах удержать свою страстную речь, и через минуту она опять льется у него и льется, скачет по стремительным порогам и скачет, тащит его за собой и тащит.

— И каким лицемерием, товарищи, каким бесплодием звучат после этого наши фразы о «всемирном братстве народов»! Какое уж тут «всемирное братство народов», когда на этом распродажаком свете даже обыкновенного «знакомства» между двумя людьми самочинно осуществить нельзя, не рискуя попасть в милицию!.. И самое страшное, товарищи, в том, что так обстояло дело на всей земной планете тысячи лет!.. Тысячи лет, вплоть до сегодняшнего вечера, разъединял одну семью человечества, дробил ее на замкнутые личности этот бесовский институт «знакомых» и «незнакомых»! Тысячи лет в каждом человеке насильственно вытраивалось всякое социальное чувство, в корне убивалась возможность общения со всеми другими людьми! Тысячи лет человек-самец и человек-самка были противо-

естественно разлучены, одеты друг от друга в непроницаемую броню изуверского предрассудка! Тысячи лет, товарищи, вплоть до этой самой минуты, в которую я сейчас с вами говорю, длилась эта беспримерная всесветная провокация — провокация против личности, провокация против общественности!.. И только вот сегодня, сейчас, видя, как все человечество молчит, видя, как оно делает вид, что ничего не замечает, я, Никита Шибалин, решил наконец объявить бунт против такого всечеловеческого социального оскпления!..

Собрание привстает и устраивает оратору длительную овацию.

И опять слитный шум аплодисментов, и опять прежние раздирающие свистки.

— Что, завидно? — кричит кто-то по адресу неугомонных свистунов.

— Товарищи! — высоким голосом возглашает Шибалин. — Я верю, что благодаря необыкновенным усовершенствованиям советского радио недалеко то время, когда я смогу провозгласить бунт против старого быта и старого мышления сразу во вселенском масштабе!.. Я тогда стану вот так перед радиоприемником и скажу: «Люди земли! Народы мира! Жители этой планеты и тех, которые еще не открыты, но которые, быть может, тоже носятся во вселенском пространстве и также населены существами, подобными нам, то есть, как и мы, происшедшими от обезьяны! Мужчины и женщины! Женщины и мужчины! Те из вас, которые уже родились на свет и сейчас где-то живут, и те, которые еще только родятся в последующие времена и когда-то где-то будут существовать, — ко всем вам обращаюсь я со своим пламенным братским словом: с сего числа и сего часа да не будет среди вас “знакомых” и “незнакомых” и да будете вы все “знакомы” друг с другом, каждый со всеми и все с каждым!»...

Потом все тем же тоном манифеста Шибалин обращается к сидящим перед ним слушателям:

— И вы, члены нашего союза и наши гости, сколько вас тут сейчас есть в этом зале, если вы хотя капельку еще живые люди, а не окончательно одеревенелые манекены, вы тоже с сего числа считайтесь навсегда «знакомыми» друг с другом!

Ураган рукоплесканий заглушает дальнейшие слова оратора.

Хохот, визг, крики. Счастливо светящиеся лица, огнем сверкающие глаза. Две женщины, подруги, бросаются друг к другу в объятия, смеются, плачут.

- Наконец-то...
- Дождались все-таки...

Еще пронзительнее, чем прежде, прорезывают зал в разных направлениях свистки.

— Товарищи!!! Кончу тем, с чего начал: р-революции не было!!! Р-революция начинается!!! И да здравствует р-революция!!!

Обессиленный Шибалин спускается с кафедры, садится на стул, припадает губами к стакану с холодным чаем...

V

За столиками горячо обсуждают доклад Шибалина. Одни говорят за, другие против. Большинство первых.

- Можно сказать, размахнулся!
- На всю вселенную!
- По всем планетам прошелся!
- Шаганул!
- Живых и мертвых колыхнул, затронул даже тех, которые еще не родились!
- Всему человечеству открыл освежающую отдушину, а то ведь прямо задохались!
- Теперь-то будет легче!
- Теперь-то, конечно, пойдет!
- Теперь начнется!
- Теперь так не останется!
- Ай да Никита Шибалин! Можем гордиться таким человеком!
- Вот что значит широкая славянская натура!
- Товарищ! При чем же тут национальность? Вы уже начинаете! Не можете без погромов! Девять лет революции ничему вас не научили!
- В чем дело? Что ты гундосишь, черт носатый? Тебя никто не трогает, и ты молчи, пока не получил!
- Что-о? От кого получу, уж не от тебя ли?
- А хотя бы и от меня!
- Попробуй! Только попробуй!
- И попробую!
- Руки коротки! Ваше время прошло и никогда не вернется!
- А я вот тебе сейчас покажу, прошло или нет... На, получи!

— А ты думаешь, я не умею давать? Н-на! Н-на! В анкете пишешь, сволочь, «сын крестьянина-хлебороба», а на самом деле сын сельского попа...

— Н-на! Н-на! А ты вместе со своим отцом держал в Могилеве магазин готового платья, а в Москве выдаешь себя за рабочего... Н-на! Н-на!

— Товарищи, что же вы делаете, вы с ума сошли, что ли? Драться в союзе?! Не понимаю таких людей: сами аплодируют идее Шибалина о «вселенском братстве народов», а сами ищут повода перекусить друг другу глотку! И это кто же? Чего же тогда ожидать от других, простых смертных?! Товарищи, не стойте разинув рты, помогите мне растащить этих двух людоедов! Смотрите, как больно они садят друг друга: в зубы, в глаза, в бока... Оба уже в крови, даже невозможно смотреть... Вы этого ташите в эту сторону, а мы другого в другую. Ишь как сцепились — не расцепишь! Все волосы друг у друга повывирали! У этого типа была замечательно красивая писательская шевелюра, а теперь — полюбуйтесь, что от нее осталось: одни клочья! Теперь, без той шевелюры, его нигде не будут печатать!

— То-ва-ри-щи!!! Будем считать, что ничего не случилось...

VI

Трое молодых людей бегут между столиками по залу за ускользающей от них «незнакомой» девицей, шутят, смеются.

Первый, простирая за ней, как за убегающим счастьем, руки:

— Стойте, гражданка, стойте. Куда же вы бежите? Разве вы не слышали, что говорил Шибалин?

Второй прихорашивается на ходу, поправляет наряд, прическу:

— Ведь «с сего числа и с сего часа» все жители всех планет считаются раз навсегда «знакомыми» друг с другом! Разве вы не сочувствуете этому?

Третий загораживает перед девушкой дверь:

— Не пущу! Не пущу! И чего вы стесняетесь? Кажется, не маленькая, должна сознавать...

Женщина приостанавливается перед загороженной дверью:

— Я не стесняюсь, только я не привыкла так сразу...

— Разве это сразу? — хохочут молодые люди.

— Пустите меня! — умоляет их девушка, улучает момент и прорывается в дверь.

Молодые люди юмористически переглядываются, строят несчастные рожи, потом смеются, ищут по залу глазами и, заметив другую в одиночестве проходящую по комнате девушку, бросаются к ней:

— Ага! Вот эту не упустим!

Окружают ее кольцом, приплясывают вокруг, кривляются, как бесенята.

Первый:

— Попались!

Второй:

— Теперь «познакомимся»!

Третий:

— Теперь вы наша!

Девушка смотрит, нет ли где выхода из кольца.

— Что значит «ваша»? Шибалин вовсе не об этом говорил!

Видя себя оцепленной, делает плачущую гримаску, опускает хорошенькое личико:

— У-у... Противные... Держите силой...

Первый осторожно, но крепко держит ее за локоток:

— Но как же с вами иначе, раз вы от нас убегаете?

Второй:

— Мы с вами попросту, мы по-товарищески вас просим: не уходите, посидите немножко с нами, побеседуйте!

Третий кривляется у нее перед носом, паясничает, поет, как в оперетке:

— Мы шибалинцы-с! Нам все можно-с! Мы ничего не признаем-с!

Девушка не может скрыть улыбку, осматривается, в конце концов разводит руками:

— Что же, ничего не поделаешь с вами, придется покориться.

Молодые люди, все трое, подпрыгивают от радости. Начинают преувеличенную суету, усаживаются вместе с девушкой вокруг столика тесной компанией.

Первый, подавая стул незнакомке:

— Садитесь, будьте гостьей и за стаканом чая поведайте нам, кто вы такая, откуда, зачем в Москве, чем дышите, о чем мечтаете...

Второй:

— А потом, если вы пожелаете, мы расскажем вам о себе.

Третий:

— О, это будет так увлекательно, так ново!

— Сказать по правде, — среди беседы обращается к девушке первый, — я целых три года об вас думаю.

Двое других:

— Три года?!

Девушка прячет улыбающиеся глаза в чашечку с чаем.

— Я это знаю...

— Откуда вы можете это знать?

— По вашим взглядам. Вы всегда так упорно, так пронзительно на меня смотрите.

— Да, это правда. Я три года так смотрел на вас, как житель Земли смотрел бы, скажем, на жителя Марса или наоборот.

Второй:

— Ха-ха-ха!

Третий:

— И еще тридцать три года смотрел бы и вздыхал, если бы не Шибалин со своей идеей!

Первый к девушке:

— Ваше имя?

Девушка не сразу:

— Анюта Светлая.

— Это ваш литературный псевдоним, да? Вы поэтесса?

— Да. А ваши имена?

— Я Иван Бездомный.

— А я Иван Бездольный.

— А я Иван Безродный.

— Слыхала. А вы беллетристы?

Иван Бездольный:

— Да. Только беллетристы.

Анюта Светлая пьет из чашечки чай; приглядывается к Ивану Бездольному:

— Все-таки странно, как это вы три года только смотрели на меня и только думали обо мне. Что же мешало вам познакомиться со мной?

— Предрассудок, так превосходно разоблаченный сегодня Шибалиным. Самому «познакомиться» считал «неудобным», а общего «знакового», третьего лица, фактора, который мог бы нас свести, не находилось. Так и тянулось это глупое состояние три года.

Иван Бездомный:

— Целых три года думать об одной!

Иван Безродный:

— Какая стойкость, какое постоянство!

Анюта Светлая в чашечку:

— А познакомитесь — разочаруетесь...

Они сидят, оживленно беседуют, хохочут, бегают от столика в буфет за чаем, за бутербродами. К ним подбегают и от них отбегают такие же вновь познакомившиеся счастливицы.

«С сего числа и с сего часа да не будет среди вас незнакомых», — то и дело слышится, как весело цитируют за всеми столиками торжественные слова из манифеста Шибалина.

VII

За столиками компания одних мужчин, человек в шесть.

— Товарищи мужчины, — обращается один из них к остальным. — Чего же мы тут сидим? На старости еще насидимся! Идемте-ка сейчас на бульвар, знакомиться с «незнакомыми»! Шибалин позволил!

Общий одобрительный хохот, остроты, шутки, фантастические любовные проекты...

Тут же, рядом, за соседним столиком, компания одних женщин.

— Товарищи женщины! — сейчас же предлагает одна из женщин своим компаньонкам. — Знаете что? А мы давайте отправимся бродить по городу, заговаривать на улицах с «незнакомцами»! Вот удивятся! Подумают — убежали из сумасшедшего дома!

Смех, визг, гам, раскрасневшиеся щеки, шепот на ушко...

Мужчина с первого столика обращается к компании женщин:

— Чем вам ходить, искать «незнакомцев», лучше придвиньте-ка ваш столик к нашему и «заговаривайте» с нами!

Первая женщина, игриво жмурясь:

— Подвигайтесь лучше вы к нам!

Вторая в ужасе:

— Что ты?! Зачем! Ты с ума сошла?

И мужчины под испуганный визг женщин подъезжают к ним вместе со своей мебелью.

Первый мужчина, волоча по полу свой стул и зачем-то прикидываясь калекой, хромым:

— Нам это ничего не стоит-с!

Второй, как школьник, едет верхом на стуле:

— Мы все можем-с!

Третий с видом завоевателя бьет себя в грудь:

— Мы шибалинцы-с!

Остальные ведут себя в таком же роде.

Мужчины и женщины знакомятся, пожимают друг другу руки, называют свои литературные имена.

— Я Антон Сладкий, может, слыхали?

— Как же, как же, слыхала. А я Анюта Боевая, может, вам тоже что-нибудь попалось из моего.

— Я Антон Кислый.

— А я Нюра Разутая.

— А я Антон Кислосладкий...

— А я Нюша Задумчивая...

Стол сдвигают вместе, стулья расставляют вокруг, садятся — получается большая общая компания.

Все время находясь в каком-то приподнятом настроении, все весело объясняют друг другу, кто откуда, из какой литературной группы, кружка, ассоциации. «Босой Пахарь», «Перевалило», «Майский октябрь», «Октябрьский май», «Смена вех», «Мена всех»...

— Ото! — замечает с удивлением Антон Сладкий. — Да тут у нас, оказывается, все поэты да поэтессы! Живем в одном городе, состоим в одном союзе, печатаемся в одних журналах, а друг друга не знаем! Это ли не дичь! Тысячекратно прав Шибалин! Предлагаю прокричать славу Шибалину!

Он дирижирует, а вся компания хором трижды:

— Слава Шибалину!.. Слава Шибалину!.. Слава Шибалину!..

Антон Сладкий, воодушевляясь все более, вдруг с многозначительным видом ударяет себя по лбу:

— Ба! Мысль!

Все:

— Тихо! Тихо! Антон Сладкий что-то придумал!

Антон Сладкий привстает над столом:

— Товарищи! Вношу предложение! Давайте сейчас же коллективными силами на идею Шибалина напишем песню!

Анюта Боевая:

— И будем ее распевать!

Вся компания хором, стройно:

— И будем ее распевать!

Смеются.

Антон Сладкий мужественно:

— Итак, товарищи, немедленно за дело!

Достает из бокового кармана карандаш, бумагу, садится, дрожит от нетерпенья, пишет.

Нюра Разутая:

— Товарищи, у кого есть лишний карандаш? Потом отдам.

Антон Кислый:

— Мне самому дали.

Антон Кислосладкий:

— Вот могу предложить огрызочек... пока.

Нюра Разутая:

— А бумажки кусочек?

Нюша Задумчивая:

— Кажется, у меня есть.

Роеся в газетном свертке, из которого валится ей на колени всякая всячина...

Через минуту все они уже сидят припав к столам, с громадным вдохновением пишут, хватаются за головы, стонут, урчат, перечеркивают написанное, сидят с закрытыми глазами, потом снова пишут, показывают друг другу удачные строчки, советуются, спорят, горячатся.

И во всем зале царит точно такое же нервное оживление. Говор, смех, беготня... К чернеющему возле одной стены пианино то и дело подсаживаются разные люди и наигрывают и напевают разные мотивы: то веселые, то грустные, то буйные, то вдруг похоронные...

VIII

Вера сидит с Шибалиным за одним столиком, пьет чай, ласково льнет к нему, не спускает с него преданных глаз.

— Никочка, ты сегодня имел тут такой успех, такой успех, какого никогда не видел этот зал. Союз писателей должен быть тебе благодарен за это. У них всегда такая мертвечина.

Шибалин, чтобы скрыть слишком бурную радость, играющую в груди, отводит глаза в сторону, щурится, старается казаться равнодушным, утомленным, полуспящим.

— А что, разве публике понравился мой доклад? — приоткрывает он один глаз.

— Еще как!
— А ты не заметила, кто свистал?
— Заметила. Это все те же твои соперники и завистники. Та же компания.

— Так что в общем моя идея принята хорошо?

— О! Все в безумном восторге от твоей новой идеи! Если бы ты видел, что делалось в зале, в задних рядах! Несколько психопатов, я своими глазами видела, писали тебе на подоконниках любовные записки, и, вероятно, ты скоро их получишь. Только смотри не рви их, не показав мне. По правде сказать, я сама несколько раз порывалась бежать на кафедру, чтобы расцеловать тебя!

Шибалин хмурится:

— Хм... этого еще недоставало, чтобы ты целовала меня при публике. Вот это была бы настоящая психопатия!

Вера с восторгом:

— Глупый, ты даже не представляешь себе, какой ты бываешь интересный во время своих выступлений!

Закатывает глаза, делает вид, что хочет броситься его целовать... Шибалин старается не смотреть на нее:

— Ты лучше обрати внимание, как сразу ожил наш союз.

Вера поворачивает голову туда же, куда смотрит он.
С жаром:

— А об чем же я тебе говорю! И виновник всего этого оживления ты, Ника. Ты сегодня герой. Смотри, какими глазами глядят со всех сторон на нас с тобой. И говорят только о нас. Некоторые парочки проходят мимо нашего столика специально для того, чтобы поближе нас разглядеть. Даже неловко. Вот опять пара идет прямо на нас, оба не спускают с тебя глаз, смотри, смотри. Идут и что-то про тебя говорят. Должно быть, расхваливают твой талант. Или завидуют мне, что я с тобой живу.

Она прижимается одной щекой к плечу Шибалина, точно укладывается спать. Из ее широко раскрытых счастливых глаз падают на его плечо слезинки...

IX

Антон Печальный и Аннета Сознательная, взявшись под руку, проходят мимо столика Шибалина.

Антон Печальный:

— Заметила, Аннета, какие у Шибалина глаза? Так и пронизывают, так и вскрывают всего тебя, так и жгут! Не человек, а орел!

Аннета Сознательная с мечтательным вздохом:

— Да. В такого мужчину сразу влюбиться можно. Сплошная прелесть! Ни к чему не придиришься!

Антон Печальный печально:

— Я не в этом смысле.

Аннета Сознательная твердо:

— А я в этом. Ты только погляди, какие у него губы! В такие губы так вкусно целоваться!

— Вот! Ты уже и «влюбиться» и «целоваться»! У тебя всегда только это в голове. Человек носит в груди весь мир, всю вселенную, человек дышит великой социальной идеей, — а ты? А ты все сводишь в нем к физическому. Тьфу! Даже противно! Ненавижу за это женщин!

— Погоди, ты не плюй. Почему ты так вооружаешься против физического? Ведь без физического тоже нельзя. Хорошо, когда и то есть и другое: и физическое и духовное. Как говорится, одно при другом.

Они садятся за столик.

— Не выношу, когда женщина рассуждает!

— Значит, женщине нельзя рассуждать? Член партии!

— Тут дело, конечно, не в рассуждении, а в том, что успех Шибалина настолько ослепил твои глаза, настолько затуманил твое сознание, что помани он сейчас тебя пальчиком, как ты сейчас же побежишь за ним! Разве я не вижу?

— И побегу! И побегу, если захочу! Вам, мужчинам, за интересными женщинами бегать можно, а почему же нам нельзя бегать за интересными мужчинами? Равноправие так равноправие! Ну не сердись, Антон, не кисни, я пошутила!.. Ты ведь прекрасно знаешь, что, кроме тебя, мне никого из мужчин не надо.

— Подобными «шутками», Аннета, ты лишний раз показываешь мне, что есть в своем существе женщина.

— Ну прекратим об этом, Антон! Довольно! Спрячь свою глупую ревность! Слышишь! Иначе я сегодня же уйду от тебя!..

Она отворачивается от Антона Печального, смотрит издали на Шибалина. Говорит другим тоном:

— Ты лучше вот что мне объясни: каким образом могло случиться, что такой представительный мужчина, как Шибалин, мог связать свою судьбу с такой малоинтересной особой, как

эта Вера Колосова? Ишь, как она кривляется! Неужели он не мог найти себе что-нибудь получше?

Антон Печальный раздраженно поводит плечами:

— А как ее найти? Где искать? Ты слыхала, что он сегодня сам об этом говорил в своей лекции. Ведь до сегодняшнего вечера ни мужчинам, ни женщинам нельзя было сознательно выбирать себе пару, раз все считались «незнакомыми». Хватали что попадалось под руку. Это только нам с тобой повезло, что мы нашли друг друга. А остальные живут черт знает с кем, черт знает как.

— Ну а теперь, когда все будут считаться «знакомыми», ты думаешь, он отыщет себе более достойную?

— Теперь-то да.

Аннета Сознательная смотрит на Веру, полупрезрительно щурит глаза.

— Она так к нему не подходит, так не подходит, что всякий раз, когда я их вижу вместе, я вся дрожу от обиды! Мне делается так больно за него, что я бываю готова расплакаться от досады.

Антон Печальный грубо одергивает ее за локоть:

— А ты не очень-то пяль глаза на него. Не очень-то заглядывайся. Не делай себя смешной. Ну чего ты уставилась на него?

— А что, нельзя смотреть? Почему же не посмотреть?

— Потому что подумает — психопатка!

— Не подумает! И я не на него гляжу, а на нее. Смотри, как она наслаждается, как вертится! Так и купается в лучах его славы.

Антон Печальный тоже переводит глаза на Веру.

— Ты не знаешь, Аннета, он с ней давно живет?

Аннета поднимает голову, вспоминает:

— В ноябре месяце, двенадцатого числа, исполнился ровно год, как они начали.

— Ого, какие подробности ты знаешь!

— Это в нашем союзе каждая женщина знает. Потому что каждой обидно, не мне одной.

Антон Печальный вдруг вместе со стулом поворачивается к Шибалину, настораживается, говорит голосом охотника, внезапно зашедшего дичь:

— Гляди, гляди, к нему подходит Мухарашвили. Это к деньгам. К большим деньгам. Будет предлагать ему поездку по России с его новой идеей. Надо пойти послушать, сколько он ему будет предлагать. Ты тут посиди, а я пройду.

Он идет, как будто случайно, с невинным лицом, садится на свободный стул рядом со столиком Шибалина, поворачивается к Шибалину и Мухарашвили спиной, незаметно подъезжает к ним вместе со стулом все ближе и ближе, направляет назад то одно ухо, то другое, жадно ловит каждое слово их разговора.

И по всему залу, по всем столикам, при появлении возле Шибалина Мухарашвили, проносится сладостный шепот:

— Деньги... Деньги...

Иные при этом даже меняют позы на стульях, садятся позффектнее, поправляют на себе платье, прическу, делают приятные лица, точно и сами готовятся к решающему смотрю.

Х

Мухарашвили подходит к Шибалину, здоровается, подсаживается.

С сильным кавказским акцентом:

— Имею к вам дело, товарищ Шибалин.

Шибалин, погруженный в наблюдение окружающего, неохотно:

— Слушаю.

— Вы, понятно, знаете, что я вам хочу предложить.

— Ехать?

— Да.

— А с чем?

— С сегодняшней вашей лекцией о «знакомых» и «незнакомых». Этот товар сейчас кругом пойдет. И вы заработаете, и я заработаю. Идет?

Шибалин, не глядя на него, небрежно и вместе тяжело:

— Деньги!

— Что «денги»?

Шибалин еще тяжелее и с ноткой раздражения:

— Деньги!

— «Денги», «денги», гавари, пожалста, что «денги»?

Шибалин полуоборачивает лицо к Мухарашвили, глядит на него через плечо:

— Деньги сейчас есть?

— Сейчас, понятно, нет. Сейчас ночь.

Шибалин, подернув головой, пренебрежительно отворачивается.

Мухарашвили поспешно:

— Сейчас нет, а завтра будут.

Шибалин, глядя в публику, вяло:

— Завтра мне не надо, мне сегодня надо, сейчас. При вас есть?

— При мне, понятно, нет. Я не банк, денег при себе не держу.

Шибалин опять потряхивает головой с таким видом, как будто говорит: «Вот это и плохо, что ты не банк».

Мухарашвили продолжает оправдываться, Шибалин не слушает его, сидит к нему спиной, говорит с Верой, показывает ей на кого-то в публике, смеется.

Мухарашвили сидит, глядит в его спину, качает головой:

— Ой, нехорошо так, товарищ Шибалин, нехорошо!

Осторожно прикасается рукой к его плечу:

— Товарищ Шибалин!

— Что скажете?

Мухарашвили улыбается:

— Сегодня деньги тоже есть.

— Так бы и сказали.

Мухарашвили достает из кармана лист исписанной бумаги, кладет перед Шибалиным, подает перо:

— Подпишитесь тут, тогда можно будет дать деньги. Хотя эти деньги не мои, ну ничего...

Шибалин, не двигая головой, опускает глаза, равнодушно читает.

— Вот эту сумму рублей увеличьте вдвое, — указывает он пером лениво, — а этот срок путешествия уменьшите вдвое. Тогда можно будет подписать.

Кладет перо.

Мухарашвили смотрит на цифры, хватается за грудь.

— Ой, ой...

Шибалин спокойно:

— Дело ваше.

Отодвигает от себя условие.

Вера, с нежностью прильнув к его плечу:

— Конечно, Никочка, дешевле не соглашайся. С какой стати! Ездить по разным Асхабадам... Еще убьют в дороге. Или обкрадут. Помнишь, как в прошлом году у нас под Карасубазаром ящик с рукописями украли?..

Мухарашвили сидит согнувшись над столом; долгим, неподвижным, омертвевшим взглядом смотрит в условие; равно-

мерно покачивает головой; тихонько поддвигает однообразный, монотонный напев, точно убаюкивает ребенка...

Антон Печальный несколько раз проходит мимо стола Шибалина, запускает один глаз в условие, силится разглядеть цифры.

Наконец Мухарашвили выпрямляется, испускает шумный вздох, делает хищные глаза, прижимает к груди два толстых пальца:

— Смотри, столько прибавлю!

Шибалин тихим горловым звуком:

— Нет...

Мухарашвили горячится, прижимает к груди три пальца:

— Столька!

Шибалин по-прежнему, еще тише:

— Нет...

Мухарашвили багровеет, задыхается, прижимает к животу четыре пальца, кричит:

— Ну столько! И больше ни копейки, ни копейки!

Упирается руками в колени, тяжело дышит.

Шибалин, без слов, одним кивком головы отвечает: «Нет».

Мухарашвили вздрагивает на стуле:

— Не понимаю! Не понимаю!

Достает носовой платок, вытирает с шеи пот. Потом растопыривает перед Шибалиным руки, как клешни, вбирает между плеч голову, спрашивает:

— Ну какая же будет твоя цена? Говори окончательную цену!

Шибалин, едва шевеля губами:

— Как сказал.

Мухарашвили с мучительной гримасой и с непрерывным стоном, как человек, которому делают трудную операцию, свертывает четверо условие, кладет его в карман, встает, отклонивается Вере, уходит, сейчас же останавливается, стоит вполоборота, цыкает стиснутыми зубами Шибалину:

— Ц-ц!..

Шибалин оборачивается.

Кавказец со страшным выражением лица показывает ему все пять пальцев, волосатых, похожих на лапу гориллы.

— Столько дать?

Шибалин, наморщив слегка нос, делает кистью руки движение, означающее: «проваливай». И продолжает разговор с Верой.

Мухарашвили быстро уходит, не видя перед собой ничего, кроме своей неудачи, и выбрасывая из себя на кавказском наречии все известные ему ругательства.

XI

Два друга, Антон Нешамавший и Антон Неевский, сидят, пьют пиво, говорят о Шибалине...

— Видал, какую пачку денег показывал ему Мухарашвили?

— Положим, денег он ему не показывал. Договор показывал.

— А договор разве не деньги?

— Не совсем.

— И придумал же: «знакомые» и «незнакомые». Ха-ха-ха!

— Да! Идейка эта сама по себе не ахти какая мудреная, а между тем какая хлебная! Ах, какая она хлебная! Она будет кормить его и кормить.

Антон Нешамавший на эти слова друга безрадостно покачивает головой, потом с чувством высасывает досуха стакан пива, шлепает доньшком стакана о стол и изрекает раздельно:

— И вообще в нашем литературном деле главное — сделать шум. Шум сделаешь, и тогда деньги потекут к тебе рекой. И какую бы ерунду после этого ни написал, издатели с руками оторвут.

— И хорошо заплатят, — вставляет скороговоркой Антон Неевский между двумя глотками пива.

— И хорошо заплатят, — повторяет Антон Нешамавший. — Не то что нам с тобой, Антону Нешамавшему и Антону Неевшему. Ходишь-ходишь по редакциям, кланчишь-кланчишь, и везде один ответ: «Касса пуста, наведайтесь через недельку». А когда и дадут, то такую малую сумму, что никак не придумаешь, на что ее употребить. И в конце концов возьмешь да и пропьешь, как вот сегодня.

— Эти люди Пушкина голодом заморили бы, — замечает Антон Неевский обиженно.

Оба меланхолически вздыхают. Несколько раз потряхивают над стаканами давно опорожненными бутылками. Потом, настреляв в ладонь среди друзей за соседними столиками, берут еще «парочку»...

— Я уже думаю, не переменить ли мне псевдоним, — говорит Антон Нешамавший, отведав пивка из свежей бутылки. — А то чертовски не везет! Во многих местах редакторы стали заранее отказывать, даже не читавши рукописи...

— Рукописи лучше всего посылать из глухой провинции под видом новых, еще не открытых талантов, — предлагает Антон Неевский.

— А рукописи новичков и вовсе смотреть не будут, прямо бросят в корзину, — не соглашается с ним Антон Нешамавший. — Словом, положение наше пиковое, — вздыхает он. — В одном месте не берут вещь, в другом не берут... Волейневолей приходится застрашивать редакторов, прибегать к помощи рекомендательных писем от влиятельных лиц. Я тут было на одного редактора нагнал такой мандраж! Говорит: «Плохая вещь». Я: «Что-о?» И побежал куда следует. На другой день вещь оказалась прекрасной, появилась на первой странице, потом о ней были в печати хорошие отзывы. Но, конечно, я сам сознаю, что это не дело. На испуг брать редакцию можно раз, можно два, но не всю жизнь. Антоша, сколько лет мы с тобой пишем?

Неевский вместо ответа безнадежно крутит головой, делает сам себе какие-то знаки руками, наливает, с аппетитом пьет.

Потом с сокрушением:

— Да, брат... Годы уходят... А про Антона Нешамавшего и Антона Неевского все не слышать и не слышать... А другие гремят...

Нешамавший:

— И еще как гремят! — Указывает на Шибалина: — Вот тебе первый пример!

Неевский тоже поворачивает в ту сторону лицо, смотрит на Шибалина, соображает.

— Не знаешь, сколько ему может быть лет?

— А кто его знает? Во всяком случае, человек он уже немолодой. Намного старше нас. Так что мы в его годы, конечно, тоже...

— Немолодой-то он немолодой, — рассуждает Неевский. — Но и не старый тоже.

— Это, положим, верно, — против желания соглашается Нешамавший и припоминает: — А помнишь, как когда-то писали в газетах, будто во время гражданской войны его расшлепали — не то белые, не то красные — где-то под Ростовом-на-Дону? А он живехонек.

— Не только живехонек, — улыбается горькой улыбкой Неевший, — но еще и нас с тобой переживает.

Антон Нешамавший тоном обманутых ожиданий:

— Болтали, что он совсем старик, что у него каких только болезней нет! И туберкулез, и сифилис, и подагра, и глухота на правое ухо, и атрофия обоняния левой ноздри... А он вон какой.

Антон Неевший:

— Конечно, раз человек хорошо питается... Главное — хорошее питание... Если бы нам с тобой усилить питание...

— Хотя, знаешь, а голосок-то у него все-таки того, подозрительный, хрипловатый, — с выражением отрадного открытия перебивает его Нешамавший.

Неевший только машет на это рукой:

— Пустое. Просто в последнее время ему приходится много выступать.

— А краснота носа?

— Она у него прирожденная. Об этом мне приходилось много говорить с его родственниками, которые знают его с раннего детства.

Минуту-другую друзья молчат, потягивают из стаканов, хмелеют, бросают взгляды в сторону Шибалина, думают...

— А знаешь что? — нарушает молчание Неевший. — По-моему, сколько бы о нем ни шумели, талант у него все-таки очень умеренный.

Нешамавший:

— Небольшой.

Неевший:

— Таких, как он, много.

Нешамавший:

— Даже очень много.

— Просто человек умеет попасть в точку, как говорится, ловит момент.

— Вот именно. И это не столько творчество, сколько делачество.

Неевший:

— Ловкость рук.

Нешамавший:

— Жульничество.

— И гениального этот человек ничего не напишет.

— Гениального — никогда.

— Хотя, быть может, еще и даст несколько ярких вещишек... А вот я, ты знаешь, какую я недавно повесть написал?

— Закончил?

— Почти. Переваливаю через середину. Так что, можно сказать, заканчиваю. Самые трудные места уже пройдены. Вот это действительно вещьца! Это не шибалинская полупублицистика. Это такая вещь, которую с одинаковым наслаждением можно будет перечитывать десятки раз! Ты знаешь, Антон Нешамавший, как вообще критически я отношусь к своим произведениям, как я их не люблю, — ну а об этой вещи могу сказать, что это такая вещь, понимаешь ты, такая вещь...

Антон Нешамавший вдруг тоже начинает чувствовать, как понемногу земля уходит из-под его ног... Вот он окончательно отделяется от почвы и летит по воздуху, несется вверх... И он уже не может слушать друга. Мучительно хочет сам говорить о своих светлых надеждах, говорить все равно кому — стенам, потолку, пустому пространству.

— А я знаешь, какой задумал написать рассказец! — прерывает он друга. — На такую темку, на такую, понимаешь ты, загвоздистую темку, что каждый редактор скажет: «Вот это да!» Собственно, это будет не рассказец, а целый роман, большой роман, в нескольких книгах! Воображаю, какой поднимется в нашей литературе переполох, когда он выйдет в свет! Вот будет шум! Ты знаешь, Антон Неевский, что не в моем характере расхваливать собственные произведения, ну а этот романище будет такой...

— А я, — перебивает его дрожащим голосом Антон Неевский и дергает друга за плечо, — а я ни капельки не боюсь за успех своей новой повести, я в ней так уверен, я за нее так спокоен! Знаю, что она выдержит десятки изданий!..

— А мой роман, — ловит Антон Нешамавший друга за руки, прикручивает их к его тапии, держит, а сам говорит ему прямо в ухо, как льет в воронку, — а мой роман, без сомнения, будут переводить на все языки...

Антон Неевский освобождает свои руки из рук друга, сам неожиданным нападением берет его в обхват, держит, заставляет слушать:

— А я дешевле трехсот рублей с листа за свою будущую повесть не возьму! Десять печатных листов по триста рублей это составит три тысячи рублей!

Антон Нешамавший нечеловеческими усилиями вырывается из объятий Антона Неевского. Они делают одновременный прыжок друг на друга, сливаются в один ком, катаются по столу, торопливо говорят оба сразу.

Неевший:

— Десять переизданий повести по три тысячи за каждое, итого тридцать тысяч рублей гарантированного дохода. Хорошая жизнь, спокойная работа, месть редакторам...

Нешамавший:

— Сорок печатных листов романа по четыреста рублей за лист равняется четырежды четыре шестнадцать, да плюс три нуля справа, да повторные издания по столько же...

XII

Вера Шибалину ласково:

— Никочка, мы с тобой отсюда куда пойдём? Прямо домой?

Шибалин сухо:

— Ты сейчас пойдёшь домой, а я ещё посижу здесь.

— Почему? Почему мне идти домой одной? Опять одна! Недаром все замечают, что ты с каждым днем все меньше и меньше бываешь со мной.

— Скажи этим «всем», что если бы я был праздным помещиком, то я по двадцать четыре часа в сутки цацкался бы с тобой!

— Фу, как грубо! Ты в последнее время так груб, так груб со мной! Писатель, а ни капельки чуткости к женщине, ни капельки! Или ты это делаешь нарочно, стараешься казаться мне худшим, чем ты на самом деле, чтобы я тебя разлюбила и чтобы тебе было легче бросить меня?

— О! Уже! Начинается...

— Да, «начинается». Скажу тебе правду, Ника: мне все кажется, что ты уже окончательно охладел ко мне и подыскиваешь себе другую...

— Если у человека расстроены нервы, то мало ли что ему может казаться? Принимай бром.

— Опять грубость. Я уже начинаю привыкать к тому, что у тебя ко мне нет другого отношения: либо грубость, либо ирония. Никогда не говоришь со мной по-человечески. Зато во время беседы с другими, в особенности с женщинами, ты так оживляешься, так преображаешься, что я смотрю на тебя и спрашиваю себя: да ты ли это?

Шибалин утомленно:

— Вера, скажи, чего ты хочешь от меня?

— Большой ясности, большей определенности в наших отношениях. Вот уже год, как живу с тобой, а меня до сих пор не покидает странное беспокойство, как будто сижу в вагоне и дрожу: боюсь проехать свою станцию.

— Ну а я виноват в этом?

— Конечно, виноват. Ты чем дальше, тем больше замыкаешься от меня, и я не знаю, что у тебя делается в душе.

— Замыкаюсь? Новое обвинение...

— А разве нет?

— Вера, ты бы хотя приводила факты.

— Факты? Фактов много. Вот наугад беру первый: ты знаешь, Ника, как меня интересуют твои литературные работы, и ты все-таки тщательно скрываешь их от меня. О содержании вновь задуманных тобой повестей я узнаю только из газет, то есть после всех. Ну разве это не обидно? Кто я тебе? И это ставит меня всегда в дурацкое положение перед другими: все говорят о твоих будущих произведениях, спрашивают меня о подробностях, а я делаю удивленное лицо и сама принимаюсь их расспрашивать. Ну разве это нормально?

— Вера, ты знаешь, что сам я никогда никаких сведений о своих будущих вещах в печать не даю. Там пишутся большею частью чьи-нибудь догадки, предположения...

— Но со мной-то ты мог бы поделиться своими новыми планами?

— Не всегда.

— Почему?

— Очень просто почему. Потому что если бы я тебе или кому-нибудь другому заранее передавал содержание своих будущих повестей, то потом у меня пропадала бы охота над ними работать. Таково одно из странных условий успешного литературного творчества: до поры до времени оно должно бояться базара, улицы, суеты.

— Значит, я для тебя базар?

— Вот видишь, Вера, ты опять споришь со мной! Ты знаешь, к чему это приводит?

— Никочка, миленький, не сердись! После того как ты имел тут такой успех, я чувствую к тебе особенно глубокую нежность и мне так не хотелось бы сейчас от тебя уходить!

— Немного посидела со мной и достаточно. Дома у нас опять увидимся. Нельзя же быть такими неразлучниками.

— Не понимаю, Никочка, почему ты так настойчиво добиваешься, чтобы я сейчас ушла от тебя...

— Вера, не забудь, что сейчас во мне, как писателе, совершается большая работа. Сегодня я впервые бросил в массы свою заветную социальную идею, которую вынашивал десятилетия. И сейчас я смотрю за эффектом, который произвела на публику моя идея. Смотрю, слушаю, слышу, делаю важные выводы. А ты в это время сидишь рядом со мной, и, извини меня, пристаешь ко мне со своими маленькими женскими чувствашками...

— О, как это жестоко, Нико! Так топтать в грязь женское чувство! Ты художник, правдивый изобразитель жизни, даже психолог, — это я все признаю за тобой. Но почему, скажи, почему ты так туп в любви?! Мне больно видеть, как сердце твое деревенеет и деревенеет!

— В том-то моя и беда, Вера, что не деревенеет. О, если бы ты знала, как оно у меня не деревенеет!

— Тогда дажи: брось сейчас все и пойдем со мной домой!

— Странная ты. Я тебе только что объяснял, почему для меня особенно важно остаться здесь.

— Ну хорошо. Тогда разреши и мне остаться с тобой. Говоришь — наблюдаешь? И наблюдай себе сколько хочешь, я тебе не буду мешать. Я сделаюсь маленькой-маленькой, тихонькой-тихонькой, такой беспомощной букашечкой... И сяду я, чтобы ты не замечал меня, вот так, чуть-чуть позади тебя. Я буду сидеть и радоваться, что сижу возле тебя и что ты работаешь, наблюдаешь, делаешь важные выводы. Я буду охранять твой покой, караулить, чтобы никто тебе не помешал, сделаюсь твоим ангелом-хранителем. Я вцеплюсь в волосы каждому, кто оторвет тебя от твоих важных дум. Ведь ты прекрасно знаешь, что нет того дела, того подвига, которого я не совершила бы ради тебя! Я тебя так люблю, как тебя никогда не любила и никогда не полюбит никакая другая женщина!

Шибалин слушает, нетерпеливо морщится:

— Тише! Потихе говори, Вера!.. Нас могут услышать! Смотри, как все уже насторожилось! Отложи свои излияния до прихода домой!

Вера, разгорячаясь все более:

— Ну и пусть услышат! Пусть! Пусть все узнают! Я ничего не боюсь, ни от кого не скрываюсь! Я могу сейчас встать на этот стул и во всеуслышание объявить, что я, Вера Колосова, до безумия люблю тебя, Никиту Шибалина! Я не боюсь, это только ты всего боишься, ты всего трусишь, как заяц! Это только ты стараешься скрыть от всех нашу связь, нашу любовь!

Я сказала «нашу любовь», но ты, Никита, быть может, уже не любишь меня?

— Вера, ну вот видишь, какая ты! Ну как же после этого с тобой жить! Нашла время и место для подробного взвешивания моего чувства к тебе! Как будто мы мало занимаемся этим дома! Это ли не безумие!

— Да, я сама говорю, что я безумная! Я безумная! Я безумная оттого, что люблю тебя! Я безумная оттого, что мне даже сейчас хочется ласкать тебя, ласкать неторопливо, мучительно, остро, чтобы ты у меня стонал от боли, от наслаждения... — Дрожащими губами что-то шепчет ему на ухо, безумными глазами заглядывает в его лицо.

Он и отталкивает ее от себя и в то же время порывается к ней. В страшных мучениях борется:

— Ой! Что ты делаешь со мной, Вера! Как терзаешь ты меня, как мучаешь, а уверяешь, что любишь! Если бы ты любила меня, ты больше щадила бы мои силы! Чтобы сломить во мне человека и бросить к своим ногам, ты распалешь во мне низкую похоть — это твой женский прием борьбы со мной! И ты пускаешь при этом в ход всю свою развращенность!

Голос Шибалина срывается, переходит в медленное раздельное задыхающееся хрипение:

— Ты и привязала-то меня к себе раз-вра-том...

— Никита! Ты с ума сошел! Как тебе не стыдно! Что ты говоришь! Это же ложь! Сплошная ложь! А твоя любовь ко мне? Разве не она привязала тебя ко мне? Или ты тогда лгал, когда уверял, что любишь меня?

— Я не тебя любил!.. Я твой разврат любил!..

— О, я не верю тебе! Не могу поверить! Не могу представить, чтобы ты весь год нашей связи притворялся со мной!

— Ты точно зодалась целью поскорее обессилить меня, обезоружить, выжать из меня весь сок моего мозга, сердца, нервов...

— Никита, ты всегда страшно преувеличиваешь! Ну к чему здесь эти громкие «литературные» словечки: «сок мозга, сердца, нервов»? К чему городить ужасы там, где их нет? Будь чуточку справедлив ко мне и ответь честно: ну а ты-то, ты, ты, разве ты не получаешь со мной наслаждения?

Шибалин как от страшной физической боли корчит лицо:

— «Наслаждение», «наслаждение»!.. Там, где мужчина ищет только здорового удовлетворения, нужного ему для дальнейшего жизненного строительства и борьбы, там женщина, вследствие

узости своих интересов, находит наслаждение и делает его смыслом своего бытия! Для мужчины любовь средство, для женщины цель!

Вера с иронией:

— Подумаешь, какой вдруг сделался благоразумный! С каких это пор? А почему ты раньше, раньше, еще когда не сходил-ся со мной, почему ты тогда не жалел расточать свою страсть налево и направо, бог знает на кого?! Воображаю, какие делал ты тогда безрассудства! А сейчас-то, я знаю, ты просто хитришь со мной, подливаешь, стараешься экономить свою мужскую силу, берегешь ее для другой! О другой думаешь!!! О лучшей мечтаешь!!! Думаешь, я не вижу??? Но...

С искаженным страстью лицом опять что-то шепчет ему на ухо обжигающим ртом.

Он отбрасывается в сторону.

— З-замолчи ты! Замолчи сейчас! — с трудом удерживает он себя от готовых вырваться по ее адресу оскорблений. — О, если бы ты знала, какое ты причиняешь мне сейчас зло!

— Зло? Зло? И это за всю мою любовь к нему!!!

— Да, зло! До той минуты, как ты подседа к моему столику, у меня было такое высокое настроение, такое ощущение собственной мощи, такая вера в плодотворность моей идеи! Но вот ты пришла, ты подкралась ко мне, нащупала слабое место во мне и, как змея...

— Никита!!! За что??? Так оскорблять!!! Так поносить!!! И главное, если бы знала за что!!! Остановись, не говори так, опомнись!..

Голос Шибалина шипит:

— Погоди... Погоди... Да, ты подкралась ко мне... и, как змея, ужалила меня, отравила ядом, самым сильным из всех на земле... ядом страсти... ядом похоти... Сбросила меня с моих высот к себе в низины... И вот... И вот я уже не Шибалин, не сила, не творец, не гений, а ничтожество, жалкий раб самки, «победившей» меня, червь...

Вера, с беспредельным горем:

— Так позорить меня!!! Так чернить меня!!! Ника, я боюсь тебя, тыходишь с ума...

Шибалин хватается за руку. Говорит шипящим шепотом:

— И ты добилась своего: я уже выбросил из головы свою идею, и вместо нее воображение мое пленяется уже другими картинками, кровь горит другими желаниями... И вот я уже бо-

рюсь, я уже не знаю, оставаться ли мне сейчас здесь, на моем общественном, на моем мировом посту, или... же ползти за тобой в нашу... в нашу спальню...

Вера с горечью и вместе с тем мечтательно:

— О, если бы так действовала на тебя только одна я! А то, боюсь, тебя каждая женщина так возбуждает!

— Вера! Прошу тебя... Оставь меня... оставь сейчас... Может быть, то высокое настроение еще вернется ко мне...

Вера ломает руки, вся сжимается:

— Про-го-ня-ет! Уже! Уже прогоняет! Дождалась!

— Вера!

— Хорошо, хорошо, ухожу. Ухожу сейчас, даже не допью этого стакана...

Встает, с мученическим лицом держится за крышку стола, чтобы не упасть.

Шибалин не может смотреть на нее, говорит трудно, раздельно, в пол:

— Стакан-то... допить... ты можешь...

Вера:

— Теперь уже не хочу... Когда отравил все мое настроение... — С мукой: — И всегда так: лечу к нему жизнерадостная, счастливая, ухожу от него раздавленная, разбитая!!!

Уходит.

Желтинский, все время издали наблюдавший за ней и Шибалиным, подбегает к ней:

— Мы теперь домой?

Вера резко:

— Вы домой. А я еще тут посижу.

Желтинский обиженно:

— Почему же я один должен домой идти? Почему мне нельзя остаться с вами?

Проходят в дверь с надписью «Библиотека».

ХIII

В это время Зина подбегает к Шибалину, здоровается, садится, очень волнуется.

— Я видела, я видела, как она не хотела от вас уходить. Все-таки странная особа. Неужели она сама не чувствует? Почему вы не скажете ей всего?

Шибалин морщит лицо трагической гримасой:

— Женщине, с которой живешь, которую когда-то любил, которой, в сущности, многим обязан, вдруг в один прекрасный день взять и объявить, что она уже не нравится, надоела, раздражает, бесит... О, если бы вы знали, Зина, как тяжело это сделать!

— И вы до сих пор ей не объявляли?

— Нет.

— Все откладываете?

— Да.

— А про меня говорили?

— Тоже нет.

— Когда же скажете?

— Теперь уже скоро...

— Напрасно, напрасно, Никита Акимыч, вы тянете с этим.

Женщине в таких случаях лучше всего говорить сразу всю правду.

— А если эта правда ее убьет?

— Не убьет. Лучше сразу перенести один удар, чем изводиться постепенно.

— Зина, а для себя лично вы тоже предпочитали бы «сразу узнать всю правду», если бы оказались в положении Веры?

— Конечно.

Шибалин долго и по-особенному глядит ей в лицо.

— Гм... Ну а я Вере не решился сказать всего. Но вчера не сказал — сегодня скажу. Вообще сегодняшний день, Зина, исключительный в моей жизни, переломный. С сегодняшнего дня ни одна женщина никогда не услышит от меня, как от мужчины, слова неправды.

Зина улыбается.

— Начнете с меня?

Шибалин значительно:

— Да, Зина, с вас!

— Мне очень приятно слышать это, Никита Акимыч. Я очень благодарна вам за это.

— Не меня благодарите, Зина! Стечение обстоятельств благодарите! Вы встретились мне на моем жизненном пути как раз в такой момент, когда я пришел к решению и жить, и работать по-новому!

— Никита Акимыч, не скрою от вас: я и радуюсь такому «стечению обстоятельств», и в то же время печалюсь...

— А печалитесь почему?

— Не могу забыть ее лица, с которым она уходила от вас. На ее лице было написано такое беспредельное горе, что

я сама едва удержалась от слез. Теперь-то я вижу, как эта женщина любит вас. И вчерашнее наше решение, Никита Акимыч, сейчас снова заколебалось во мне. Хорошо ли мы поступаем?

— Опять?! Опять колебания!

— Да. Но я не могу, Никита Акимыч, понимаете, не могу! Еще неизвестно, что мы с вами дадим друг другу, а ее-то жизнь обязательно разобьем. Теперь я это знаю.

— Зина! Зачем вы столько времени мучаете меня? Сегодня вы воскрешаете разговор, похороненный нами вчера! До каких пор это будет продолжаться? Тогда лучше давайте сразу, сегодня же, сейчас же покончим со всем навсегда и останемся только хорошими знакомыми!

— Никита Акимыч. Вы думаете взять меня запугиванием? Это что? Ваш обычный мужской прием?

— Тут дело не в «запугивании», Зина, и, конечно, никаких «обычных мужских приемов» у меня нет! Просто я чувствую необходимость прийти наконец к какому-нибудь определенному решению, в ту или другую сторону. А то у вас сегодня «да», завтра «нет», послезавтра опять «да». Так нельзя. Нужно решиться на что-нибудь одно. А в вас до сих пор не прекращается борьба! Вы как будто и хотите, и вместе с тем чего-то остерегаетесь. Объясните, в чем дело?

— Никита Акимыч... я не спала всю эту ночь... ни на минуту не заснула... все думала о нашем деле... И, страшно сознаться, ни к чему определенному не пришла... А тут увидела такое лицо Веры, и все во мне еще больше запуталось... Вы не сердитесь на меня, Никита Акимыч, я сама не понимаю, что делается со мной... И сознаешь, что вы в наших рассуждениях правы, и в то же время чувствуешь, что собираешься сделать что-то нехорошее, гадкое...

— Га-ад-ко-е?

— Да, гадкое. И во всяком случае что-то несерьезное, ненастоящее.

— Ага... Если так, Зина, если гадкое, то теперь, конечно, вы сами видите, что нам лучше всего расстаться сейчас же. Признаться, наши переговоры, затянувшиеся на целый месяц, и ваши колебания уже успели породить и во мне самом ряд сомнений. До подходящая ли мы друг для друга пара? Да не слишком ли велика разница в наших взглядах на эти вещи?

Испугом наполняются глаза Зины, когда она выслушивает последние слова Шибалина. Лицо ее бледнеет, краснеет. Го-

лос дрожит. Она не дает ему договорить, вся влечется к нему, крепко схватывает за руку:

— Никита Акимыч! Вероятно, я неправильно выражаюсь, что ли... Может быть, я даже не то наговорила, что хотела... Но я вижу: вы не так понимаете меня... Если хотите знать мой окончательный ответ, то конечно же я согласна... Собственно, в душе я давно была согласна, я все время была согласна, как только встретила с вами... Знала, что уйти от вас все равно не смогу... Но почему-то, сама не знаю почему, я все откладывала начало нашей... нашей связи, отдаляла, я все чего-то ожидала от вас еще...

— Не свахи ли? — улыбается Шибалин. — Не родительского ли благословения иконой?

— Не смейтесь, Никита Акимыч... Я сама не знаю, чего от вас я ожидала еще... Я, видно, воспиталась на мысли, что это несколько сложнее, ну и торжественнее, что ли... А теперь вижу: это было во мне просто ребячество... И вы должны простить мне это, Никита Акимыч, не осуждать... Не забудьте, что я совсем еще не жила этой жизнью, и вы, как более опытный человек, должны были поступать более настойчиво и мне побольше об этом разъяснять...

— Словом, мы остаемся при вчерашнем решении? — весело спрашивает Шибалин.

— Ну конечно же, — виновато смеется Зина.

— А завтра? Завтра опять передумаете?

— Ну нет. Теперь не передумаю. Лишь бы вы не передумали.

Он осторожно прикасается к кисти ее руки, лежащей у нее на коленях.

— Скажите, Зиночка, а вообще-то вы верите мне?

— Это как?

— Верите, что я не причину вам никакой неприятности? Верите, что Никита Шибалин вообще не способен на подлость по отношению к женщине?

— Еще бы не верить! Кому же тогда верить?

— А признаете ли вы мою общественно-писательскую работу значительной, стоящей того, чтобы ей отдать всю нашу жизнь, мою и вашу?

— Конечно, признаю.

— Значит, вы хотели бы стать моей помощницей в моей работе?

— Что за вопрос? Страшно хотела бы, страшно! Но смогу ли я? Вот чего я боюсь.

— Сможете, Зиночка, сможете! Если будете меня любить, то уже одним этим облегчите труд моей жизни наполовину.

— Любить-то я вас буду... Знаете что, Никита Акимыч? Это, быть может, покажется вам смешным, но, после того как я увлеклась вами и перечитала все ваши произведения, мне странно, как это можно любить не вас, а других мужчин! Ведь все другие мужчины по сравнению с вами ничто!

Шибалин смущенно смеется:

— Зиночка, я позабыл вас спросить: ну а вам понравилась моя идея, которую я сегодня проповедовал тут с кафедры?

— Очень! Очень понравилась! Я еще подумала: если бы люди всей земли считались «знакомыми» друг с другом, тогда скорее наступило бы между ними взаимное понимание, быстрее распространялись бы по земле знания.

— Вот именно! — перебивает ее Шибалин с удовлетворением. — Правильно! Правильно! Вижу, что ваша головка, Зина, устроена хорошо. Это еще более показывает мне, что я не ошибся, остановив свое внимание на вас.

— Никита Акимыч, почему вы спросили меня, понравилась ли мне ваша идея? Разве вам мое мнение важно?

— Очень важно!

— Что-то не верится. Вы на своем веку, должно быть, слышали столько похвал и не от таких людей, как я, а покрупнее.

— И все же, Зина, ваше мнение сейчас для меня дороже всех! Если хотите знать правду, то верьте мне, что я и доклад свой поторопился сделать сегодня только ради вас! А так мне выгоднее было бы не разглашать моей идеи, пока не выйдет из печати мой новый роман «Знакомые и незнакомые».

— Роман? Это интересно... А я все-таки не понимаю, почему вы из-за меня выступили в союзе со своим докладом ранее срока? При чем тут я?

— Хотел докладом, вернее, успехом доклада у публики, вскружить вам голову, чтобы поскорее добиться вашего «да».

— Неужели это правда?

— Чистая правда!

— Значит, хотели блеснуть передо мной?

— Обязательно. Распустить перед вами павлиний хвост.

— Для меня это было бы лишнее.

— Не скажите. Я чувствовал, что вы как будто недооцениваете меня, как писателя, и вообще...

— Нет, нет, Никита Акимыч, этого не было. Литературный ваш талант я всегда очень высоко ставила. Но согласитесь, что

для счастливой семейной жизни одного литературного таланта мало. И я должна была к вам приглядеться.

— Ну и что же вы увидели? Говорите, говорите, не стесняйтесь, Зиночка!

— Признаться, вначале мне показалась подозрительной та поспешность, с которой вы воспылали ко мне. «Серьезное ли у вас чувство?» — спрашивала я себя. Не есть ли это легкое скоропреходящее увлечение? Не подходите ли вы ко мне только как к женщине? Все это для меня было важно знать...

— Ну и что же вы узнали?

— Узнала, что бояться вас мне нечего. Узнала, что найду в вас близкого человека, друга, без которого, мне кажется, так трудно жить на свете и которому будут не безразличны мои горести, мои радости...

— Своими словами, Зиночка, вы превосходно выражаете и мои мысли и мои надежды.

— Я очень рада этому, Никита Акимыч... Никита Акимыч! Не знаю, как вы, но я искренно и горячо вношу в нашу связь всю себя целиком — и душу и тело. Говорят, женщины вообще отдаваться частично не могут.

— Зиночка, одно могу вам сказать на это: я убежден, что нам с тобой будет хорошо.

— Я тоже так думаю, Никита Акимыч. — С засиявшим лицом она осматривается вокруг: — Сама себе не верю: неужели все это не сон? Неужели с сегодняшнего дня я уже не одна на этом свете, не одинока?

— А с кем? — спрашивает Шибалин нежно. — А с кем же ты теперь?

Зина смущается.

— С вами.

— Не с «вами», а с «тобой».

— Хорошо... Это потом... Когда попривыкну. Никита Акимыч! Что это у вас? Неужели слезы?

Шибалин улыбается, прячет лицо.

— Ах ты, мой прекрасный! — восклицает шепотом Зина, тянется к нему и сама роняет несколько слезинок. — Такой большой, такой могучий и плачет...

Они пожимают под столом друг другу руки, ближе склоняются один к другому головами, продолжают растроганно беседовать.

Дверь с надписью «Библиотека» приоткрывается и в образовавшуюся щель выглядывают настороженные лица Веры и Желтинского.

XIV

Желтинский:

— Вот! Полюбуйтесь-ка! Поглядите, как ваш «великий писатель» погложивает ее руку, как нашептывает ей на ухо! И на его писательском языке это называется изучать нравы презренной толпы, вносить в сокровищницу мировой литературы новые перлы. А по-нашему, по-простому, это значит сеять в обществе молодежи разврат и самым бессовестным образом обманывать не в меру доверчивую жену. Факт налицо! И вы после этого еще будете меня уверять, что между ними ничего нет! Дитя вы, Вера, дитя! Жаль мне вас, искренно жаль!

Вера стонет, закрывает руками лицо, падает. Желтинский поддерживает ее, отводит назад, захлопывает дверь.

XV

Иван Буревой обращается к сидящему с ним за одним столиком Ивану Грозовому:

— Гляди, наш Шибалин уже пристраивается к другой. Та, прежняя, Колосова Вера, надоела.

Иван Грозовой:

— Ему-то можно. Ему не искать. За ним каждая пойдет. Женщины падки на громкие имена.

Иван Буревой:

— Это верно. Им всем знаменитостей подавай! Дуры, а того они не поймут, что сегодня я, поэт Иван Буревой, безвестность, ноль, а завтра выгоню гениальную поэму строк в тысячу — и уже всероссийская величина! Разве мало было примеров!

Иван Грозовой:

— Подлюки! Собственной пользы не понимают! Я тоже сегодня никому не ведомое существо, поэт Иван Грозовой, а завтра вдруг наскочу в своем творчестве на какую-то золотосную жилу и пойду, и пойду новорачивать!

Иван Буревой:

— Годюки! Допустим, я напечатаю ту поэму. Читатели и читательницы в восторге, ищут случая познакомиться со мной, издательшкы несут мне денежки, редакторишки друг перед другом торопятся выпить со мной на брудершафт...

Иван Грозовой:

— Суки! Когда я наскочу на ту золотиносную жилу, как они пожалеют, как заскулят, что прозевали меня! Как будут в хорошеньких платьицах бегать за мной! Как я буду ломаться, издеваться, смеяться над их клятвами! Как буду мстить за их теперешнее ко мне отношение! Скажу: идите к Шибалину, он большой писатель, а я маленький! Ха-ха-ха!

Буревой:

— Самые первые женщины Москвы — толстые, красные, самые деликатные создания со всего СССРа — актрисы, балерины, певицы — будут в ногах валяться у меня, каяться, сожалеть, плакать, умолять! А я: идите прочь от меня, мать вашу так, пока не получили коленкой! Брысь все с моего парадного! Когда-то я плакал, а вы смеялись, теперь вы поплачете, а я посмеюсь! Надо было раньше смотреть, кто истинный талант, а кто дутый! А сейчас у меня насчет бабья и без вас большой выбор! Сейчас у меня есть более достойные, чем вы...

— И более интересные! — вставляет, злорадно скаля зубы, Грозовой.

— А это само собой, что более интересные. Таких уродин, как в нашем союзе, ни одной не будет! А будут только какие-нибудь этакие, из высшего круга, с чертовским образованием, с дьявольским воспитанием, в шелковом белье, с манерами, с крутасами...

Иван Грозовой с сияющими глазами:

— Какие-нибудь француженки, итальянки...

Иван Буревой мнет перед собой руками воздух:

— Индианки, египтянки...

И долго еще сидят друзья друг против друга, таращат один на другого пылающие глаза, жестикулируют, мечтают, угрожают...

— Возьмем еще графинчик?

— Взять не трудно, а деньги за него кто будет платить?

Пушкин?

XVI

Антон Сладкий, разгоряченный, красный, весь взъерошенный, встает, скачет на месте, с торжеством потрясает над головой полулистом исписанной бумаги:

— Есть! Готово! Ура! Песня на идею Шибалина уже написана! Ти-хо! Кто там бренчит на пианино, кто громко

разговаривает, кто хохочет — погодите на минутку! Сейчас прочту!

Пианино умолкает, говор и смех тоже. Водворяется тишина.

Антон Сладкий в одной руке держит перед собой рукопись, другой ерошит волосы, беспокойно вертится, дергается, с победным выражением лица декламирует, почти поет:

*Долой условности и предрассудки!
Все блага жизни нам даны!
Не будем больше плясать под дудку
Ветхозаветной старины!
Тысячелетья мы вдали, вдали,
Но к правде ключ теперь найден!
Наш вождь Шибалин, наш вождь Шибалин,
Мы ничего не признаем!
Все люди братья, на всей планете
Нет «незнакомых», нет «чужих»!
Пусть бьется радость в звенящем свете,
В морях воздушных голубых!
Томились годы мы, как в пустыне,
Пора не плакать и не вздыхать!
Мужья и девы, легко отныне
Вам пару будет отыскать!!!*

— Bravo!.. Bravo!.. Очень хорошо передано! Вот что значит коллективное творчество! Петь! Петь!

Вдруг встает Антон Смелый, поднимает руку, делает ею движения, умеряющие общий пыл, просит слова, складывает в насмешливую улыбку губы, кричит:

— Товарищи! Вы уже и «петь»... Погодите! Не спешите! Нельзя так: не успели написать, как уж и петь. Надо раньше хорошенько обсудить текст песни!

Антон Сладкий — вместо председателя:

— Товарищи! Внимание! Антон Смелый берет слово по поводу текста песни!

Антон Смелый смотрит в бумажку:

— У меня тут записано. Первое: «Наш вождь Шибалин»... Товарищи! Так ли это? Шибалин ли наш вождь, вождь всех трудящихся? Конечно нет. Значит, прежде чем писать подобную вещь, надо было раньше подумать...

— Чудак! — кричит кто-то с места. — Разве к шутливому произведению можно с серьезной меркой подходить?

Антон Сладкий:

— Товарищи! Без замечаний с мест! Это потом! Не мешайте Антону Смелому говорить!

Антон Смелый с трудом разбирается в бумажке:

— Второе: «Мы ничего не признаем»... Товарищи, что это? Неужели это правда? Неужели мы ничего не признаем? Нет, товарищи, это неправда, это клевета на нас! Мы, наоборот, очень многое признаем и всегда будем признавать!

Прежний крик с места:

— Это же поэзия! Это не политика! А в политике мы, может, в сто раз левей тебя!

Антон Сладкий опять умирляет его. Антон Смелый продолжает разбирать написанное на бумажке:

— «Пусть бьется радость в звенящем свете, в морях воздушных голубых». Вот так так! — Читает во второй раз, потом спрашивает: — Что за голиматья? Этот набор слов, по-вашему, тоже поэзия? Товарищи, кто из вас видал, как «бьется радость»? Никто не видал? А раз вещи никто никогда не видал, значит, она не существует реально, это абстракция, мистика! Надо быть более последовательными материалистами даже и в стихах! Или: «в звенящем свете»... А это что за открытие? У людей нормальных свет светит, а у вас звенит? Если у вас уже начинает свет звенеть, тогда, товарищи, вы меня извините, вам надо лечиться. И еще: «в морях воздушных голубых». Вот классическая околесица! Море прежде всего — вода, а как может быть вода воздушной, об этом нужно спросить у авторов этих строчек...

Нетерпеливый выкрик:

— Антон Смелый, брось вольты!

За ним второй:

— Это же буза!

Третий:

— Ни черта, песня хороша, и так сойдет! Давай-ка лучше споем поскорее, пока не разошлись по домам!

Весь зал:

— Петь! Петь!

Зал шумит, Сладкий звонит. Смелый кричит:

— Товарищи, я имею право высказаться или нет? Товарищи, я товарищ или нет? Товарищи, вы товарищи или нет? Если вы, товарищи, — товарищи, и я, товарищи, — товарищ, тогда разрешите мне, товарищи, высказать мое соображение до конца!

Зал насмешливо:

— Просим! Просим!

Антон Смелый:

— Товарищи, я не поэт! Как вам известно, я критик! Скоро выйдет полное собрание моих критических сочинений в семи томах на хорошей бумаге...

Возглас с места:

— А это нам не интересно, что у тебя выйдет! Может быть, у тебя жена скоро родит, ты и об этом будешь нам с трибуны рассказывать?

Весь зал со смехом:

— Да! Да! Ближе к делу! Не размазывай очень! Не расусоливай! Кончай скорей, раз тебя слушают!

Антон Смелый, красный, несколько посрамленный, прячет лицо в бумажку, читает:

— «Из тьмы развалин к сиянию далее, к манящей нови мы идем...» Первая половина стиха хороша, даже очень хороша. Действительно, товарищи, откуда мы пришли, как не из «тьмы развалин»! Надо было только прибавить, что все разваленные здания мы быстро восстанавливаем, упомянуть для примера хотя бы про постройку московского почтамта в Газетном переулке. А вот вторая половина стиха слаба, загадочна, полна тумана, мистики, поповства. На самом деле, товарищи, что такое «сияние далее» или «манящая новь»? Что за шарада? К чему эти ребусы, почему не сказать прямо, чего хочешь! Поэтому я предлагаю внести в этот стих такую поправку: вместо «к манящей нови» написать «к советской нови».

Голоса:

— Правильно! Согласны! Петь!

Антон Смелый громко, ко всему залу:

— Товарищи! Кто не согласен с моей поправкой, поднимите руку!

Смотрит.

Никто не поднимает.

Он:

— Принята единогласно!

Отходит в сторону, с удовлетворенным лицом садится.

Поднимается Антон Сладкий:

— Товарищи, теперь эти стихи надо переложить на музыку! Думаю, лучше мотива нам не найти, как этот, знаете: «Мы кузнецы... страны рабочей... мы только лучшего хотим!.. И ведь недаром... мы тратим силы... недаром молотом стучим!»

Весь зал весело:

— Так! Так! Хорошо!

И тотчас же в нескольких местах пробуют напевать:

— «Долой условности... и предрассудки»...

Антон Сладкий:

— Но предварительно давайте споемся по голосам! У кого какой голос? Марш к пианино!

Шумной толпой все маршируют к пианино, располагаются в красивый своей беспорядочностью полукруг, разбиваются по голосам, приступают к разучиванию своих партий.

Зал наполняется негромкими звуками пианино, заглушающими друг друга голосами, обрывками слов, криками: «Начинаем сначала»...

Одни басы сочно, густо, хмельно, покаянно:

— «Тысячелетья мы вдали, вдали»...

Одни тенора в другом месте женственно, воздушно, в стройном полете:

— «Все люди братья на всей планете»...

Одни сопрано, сверкающие, звенящие, как хрусталь:

— «Пусть бьется радость в звенящем свете»...

XVII

Вдруг Зина наклоняется к Шибалину, испуганными глазами пристально всматривается в его лицо.

— Никита Акимыч, что с тобой?

Шибалин безучастно:

— Ничего...

Зина жадно читает по его лицу, как по книге:

— Ты чем-то расстроен... Ты угнетен... Ты страшно подавлен... Но скажи чем? Что случилось?

Шибалин молчит, медленно отворачивает лицо в сторону.

— Никита Акимыч, но только не обманывать! Ты ведь обещал с сегодняшнего дня не лгать ни одной женщине! Обещал начать с меня! И вот тебе первый экзамен: смотри мне прямо в глаза и говори всю правду!

Шибалин поднимает на нее глаза, глядит как сквозь сон.

— Что же тебе говорить, Зина?

— Ты стал совсем другой, я тебя не узнаю. Сознайся, в тебе что-то произошло? Да?

Шибалин с тихим трагизмом:

— Да...
— Какая-то глубокая внутренняя перемена?
— Да...
— В твоём сердце, сердце, сердце?
— Да...
— Тебе... уже... нравится... другая, другая? Ну говори же, говори!

Шибалин едва слышно:

— Да...

Зина крепко держится руками за стол: на момент закрывает глаза, точно в состоянии головокружения.

— Но какая? — слабым голосом спрашивает она, как бы боясь как следует раскрыть глаза. — Скажи, кто она?

Шибалин грустно, ласково:

— А разве не все равно, кто она? Не все равно какая?

— Нет, скажи! Скажи, вон та, комсомолка, темная шатенка, в красном платочке, в пестром сарафане, что разучивает у пианино сложенный в честь тебя гимн?

— Ну она...

— То-то, сознался! Думаешь, я не видела? Я все видела, все замечала, как ты с ней переглядывался, едва она начала петь! Значит, та?

— Та ли, другая ли...

— Ты хочешь сказать, что только уже не я?

— Да...

Шибалин тяжело вздыхает.

Зина столбенеет, глядит в пространство, как помешанная. Несколько мгновений они молчат. От пианино, где разучивают песню отдельные партии, доносится: «Томились годы мы как в пустыне. Пора не плакать и не вздыхать»...

— Никита Акимыч... как хотите... но я не понимаю... не могу понять...

— Зина, мне самому бесконечно трудно это постичь, и я сам считаю с этим только как с фактом... Со мной творится что-то неладное, прямо чудовищное, со старой нашей точки зрения... Но это не сумасшествие, нет... теперь припомни, Зина, как ты сама требовала для себя от мужчины сразу всей правды... так вот оно, получай ее: с безумной силой, с глубокой верой в прекрасные результаты этого влечет меня к другой девушке, которую я даже не знаю, которую первый раз вижу... Но ты, Зина, не реагируй на это слишком необдуманно, не поддавайся малодушию, крепись, будь тверда, не роняй в себе независимого

человека... Что делать, ты, быть может, многое потеряешь в столь несчастно для тебя сложившихся обстоятельствах, но ты тем самым еще больше приобретешь... Ведь тебе, как ни одной женщине в мире, сегодня посчастливилось: ты, быть может, первая женщина в мире, которая наконец слышит из уст самого мужчины всю нашу мужскую правду, голую, без прикраски, полную, без утайки... За подобное приобретение многим можно поступиться, многим пожертвовать...

Участливо, по-отечески поглаживает ее руку. Она делает отчаянное усилие, чтобы не дать прорваться подступающим рыданиям.

— Спасибо, Никита Акимыч, хотя за это... за откровенность такую вашу...

Шибалин подает ей стакан:

— Выпейте холодного чаю.

Она послушно пьет.

— Никита Акимыч, как это совместить?.. Вы помните, о чем вы так хорошо мне пели в течение целого месяца, даже еще и сегодня?

— Конечно, помню. Прекрасно помню. Каждое свое слово помню. Ни от чего не откажусь, под всем подпишусь.

— Ну и как же это? Выходит, значит, вам, мужчинам, верить нельзя?

— Вчера было нельзя, завтра будет можно. Вчера отношения мужчины и женщины были основаны на лжи, завтра они будут опираться только на правду. Конечно, если только люди захотят этого так, как хочу я, и в первую голову примут мою идею...

Одни басы возле пианино негромко, но тяжко, как бы преисполненные осознанным грехом:

— «Тысячелетья мы вдали, вдали, но к правде ключ теперь найден...»

— Все-таки, если можно, вы объясните мне, Никита Акимыч... Каким образом так скоро, с такой быстротой, все это могло случиться: сперва одна, потом другая, потом сейчас же третья...

— Чтобы это как следует понять, вам надо вспомнить, Зина, что я сегодня говорил тут в своем докладе. Вы говорите о «трех»... С первой, с Верой Колосовой, я вступил в связь только потому, что мне случилось работать с ней в одной редакции... Таким образом, она была той роковой моей «знакомой», той «ближайшей» и «первой попавшейся», на которой я волей-

неволей вынужден был остановиться, так как об «идеальных», о «далеких», о «незнакомых» я в ту пору еще не смел помышлять. Но вот однажды знакомясь в нашем союзе с вами. Заинтересовываюсь, начинаю мечтать о вас, как о несравненно лучшей, чем Вера, открываюсь вам в этом, и вскоре мы приходим с вами к известному решению. Но нашему плану не суждено было осуществиться. Этому помешала моя мужская честность, которой я начинаю жить сегодня впервые. Но последуем за событиями. Совершенно неожиданно сегодня вечером в наш союз нахлынуло из Москвы много новой, неизвестной нам публики, и среди этой публики та, комсомолка, в платочке... Теперь понимаете, как все это произошло: союз, где встретил я вас, шире редакции, в которой я столкнулся с Верой; а Москва, давшая нам сегодня эту комсомолку, шире союза.

Зина полунасмешливо:

— А СССР шире Москвы, а земной шар шире СССР, а? Шибалин серьезно:

— Совершенно верно. Человек рожден жить мировым охватом, а не семейным курятником. Хотя это еще не значит, что я запрещаю желающим обзаводиться семьей. Я только запрещаю слепнуть для остального мира. Ну да это из другой области...

— Но так вы, Никита Акимыч, никогда ни на ком не остановитесь. Хорошую будете менять на лучшую, лучшую на еще более лучшую и так без конца. Какая это жизнь?

— К моему великому огорчению, Зина, так было в моем мужском «вчера». К моей великой радости ничему подобному не будет места в моем мужском «завтра», когда мне наконец будут «знакомы» все люди земной планеты.

— Но мне кажется, Никита Акимыч, что одного вашего желания быть «знакомым» со всеми недостаточно. Надо еще узнать, а они-то пожелают быть «знакомыми» с вами?

— На этот вопрос, Зина, мне ответит ближайшее будущее, даже ближайшие дни, когда я со своей идеей выйду на улицу.

— У меня еще один вопрос, Никита Акимыч. Еще одна мысль.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— Я хотела сказать вам вот что. Вы еще не успели убедиться, чем оказалась бы для вас связь со мной, как уже кидаетесь к другой, сразу решив, что я не та, которая вам нужна!

— Да, Зиночка, к сожалению, вы не та, не та! Доказательством этого может служить хотя бы то, что нашлась другая, один

облик которой бесповоротно вытеснил вас из моей души. Да, признаться, и раньше, как только вы произнесли мне ваше «да», я сразу же почувствовал так хорошо знакомую мне тоску: «связан»!!! Связан, но с той ли? Наложил цепи на себя, на свою свободу, но те ли это цепи, самая тяжесть которых приятна? И являет ли собой она — то есть вы, Зина, — то предельное женское совершенство, о котором я так тщетно мечтаю всю свою многострадальную жизнь? Разве лучше нее — то есть вас, Зина, — никого в целом свете нет? И неужели эта и будет моей последней? А дальше? А дальше разве нет пути? Значит, всему, всему конец? Вам это понятно, Зина?

— Понятно-то понятно...

Она апатично вздыхает.

Шибалин пытливо поглядывает на нее.

— Но вам, конечно, Зиночка, нет оснований очень отчаиваться. Вы такая славная, такая интересная, вы так еще молоды, что у вас еще будут встречи с мужчинами более интересными, чем я...

— Не успокаивайте, не успокаивайте, Никита Акимыч. Не надо.

В сторону, с беспредельным сожалением:

— И что я наделала! И зачем я так скоро ему поверила? Зачем целый месяц так откровенничала с ним? Всю раскрыл, обнажил, разглядел и — до свидания! Какой стыд! Стыд-то какой!

Шибалин, не сводя с нее искоса-настороженных глаз:

— Успокойтесь, Зиночка, успокойтесь! Не расстраивайте себя.

Зина внезапно овладевает собой, выпрямляется, глядит тверже:

— Не бойтесь, не разревусь...

Бросает на него новый — чужой, насмешливый — взгляд. Начинает нервно вздрагивать.

— Не обижайтесь, если и я выскажу вам правду...

— Наоборот, прошу!

— Видите что, невзирая на ваши литературные заслуги, на ваш талант и на прочее такое, я никак не могу признать вас человеком... как бы это выразиться, чтобы вас не обидеть, — ну, человеком нормальным, что ли... Вы очень, очень странный!..

Шибалин голосом философа-вещателя:

— Писатель, одержимый верой в мировое значение то одной своей идеи, то другой, не может быть не странным.

Зина с более открытой враждебностью:

— Можете придумывать какие угодно объяснения своим... ненормальностям, но поверят ли вам — это еще вопрос!

Шибалин прежним приподнятым и вместе могущественным тоном философа-трагика:

— Каждое утро, когда я просыпаюсь, я прежде всего говорю себе: «Я призван совершить великое». Какая женщина этому поверит? Какая женщина это поймет?

Зина:

— Значит, мне сейчас уходить?

Шибалин, возвращаясь к печальной действительности, ласковее:

— Выходит, что да, Зиночка. Чтобы не терзаться напрасно ни вам, ни мне.

— Вам-то что!

— Не говорите так, Зина!

— Вы пойдете себе «знакомиться» с той, в сарафане.

— Возможно, что я пойду.

У пианино уже в несколько голосов:

— «Мужья и девы, легко отныне вам будет пару отыскать...»

Зина недружелюбным взглядом смотрит издали на комсомолку в сарафане.

— И чего вы в ней такого нашли! Обыкновенная провинциалка, каких ходят по Москве тысячи! Вас прельщает то, что она хорошо поет?

— Не знаю, Зина, не знаю. Может быть, и это. Сейчас в таких деталях мне трудно разобраться. Одно могу сказать: мне всегда сулил счастье именно такой тип девушки, с таким выражением глаз...

— А может быть, вам нравится не тип этой девушки, а ее семнадцать лет?

— Зина, в вас говорит раздражение, злость. Это нехорошо.

Зина привстает, гордо щурит глаза, подергивает губами. Смотрит вбок.

— Ну вот что, товарищ Шибалин... Я уйду, уйду от вас навсегда... Но вы, пожалуйста, не возомните чего-нибудь лишнего... Не подумайте, что я увлеклась вами серьезно или что я безумно в вас влюблена... Нет! Это было у меня просто так, опыт, игра... И потом, мне хотелось поближе узнать, что вы за человек... Так что, пожалуйста, не подумайте, что я из-за любви

к вам брошусь в Москва-реку... Пожалуйста, не подумайте! Прощайте...

Хочет сделать шаг, но еще на момент задерживается на месте. Вдруг со злобой, с приседаниями, с кривляниями, выкрикивает плачущим писком:

— Не брошусь в Москва-реку, не брошусь, не брошусь!
Со сморщенным лицом убегает.

XVIII

Антон Сладкий вместо звонка резко хлопает в ладоши:

— Товарищи! Тихо! Сейчас начнем! Участвуют все присутствующие в этом зале! Кто не спевался, тот все равно подтягивай, чтобы выходило погуще! Хор, становитесь потеснее! Пианино, давайте всем тон! Ну, тихо, начинаем.

Он дирижирует, остальные поют.

— «Долой условности и предрассудки... Все блага жизни нам даны!»

Антон Сладкий и поет и кричит:

— Веселей! Веселей! Больше жара, пыла, подъема! Счастья больше! Ведь про любовь поете!

Пение ширится, захватывает весь зал. Кто вначале подтягивал только слегка, сидя за своим столиком, тот теперь уже стоит на ногах в энергичной позе и молодо, весело заливается полным голосом:

— «Все люди братья, на всей планете нет незнакомых, нет чужих»...

Шибалин, увлеченный и словами песни, и музыкальностью исполнения, и невиданным зрелищем, глубоко волнуется и, сидя на месте, все чаще и все красноречивее поглядывает на комсомолку в красном платочке. Потом встает, идет прямо к ней, «знакомится», долго держит ее руку в своей руке. Девушка вспыхивает и, смущением и еще больше неожиданным счастьем: неужели из женщин всей земной планеты Никита Шибалин останавливается на ней?

Дверь с надписью «Библиотека» полураскрыта. Вера, припав лицом к косяку двери, рыдает, Желтинский стоит позади нее и говорит:

— Я еще понимаю его. Он все-таки человек не первой молодости, и ему лестно проверить свою мужскую силу на девочке. Но она-то, дура, чего лезет, на что надеется!

Зина сидит в дальнем углу зала за отдельным столиком, в одиночестве, в ошеломленно-окаменевшей позе и громадными глазами безумной смотрит в пустое пространство.

Солнцев, еще более пьяный, чем прежде, вкатывается задом наперед в залу, таращит непослушные глаза, приятно поражается хоровым пением всего собрания, подбочивается, закидывает назад волосы и с блаженно сияющей рожой, приплясывая на месте, могуче и дико ревет, сразу покрывая всех:

— «Стр-ра-да-тель мой, стр-ра-дай со мной...»

Антон Тихий, в галошах, с бледным лицом, пробегает через весь зал из двери, по пути несколько раз кружится вокруг одного столика, спасаясь от преследующих его двух служителей, старого и молодого.

Антон Тихий:

— Товарищи, я не на собрание, я только в библиотеку!

Молодой служитель с протянутыми вперед руками, с оскаленными зубами:

— Все равно, товарищ, в галошах нельзя!

Старый, задыхаясь:

— Мы с этого живем!

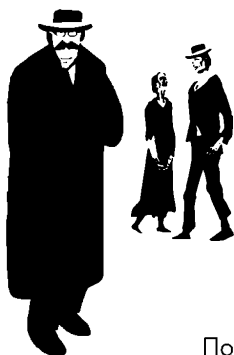
Четверо других служителей, тоже очень прилично одетых, медленно проносят за руки и за ноги, как носят трупы, бесчувственные тела двух друзей, двух Иванов, Буревого и Грозового.

Хор:

Из тьмы раз-ва-лин...

К си-янь-ю до-лей...

Часть вторая



I

По глубокому каменному руслу, между двумя рядами высоких столичных домов с красными крышами, зеленой полноводной рекой вьется и вьется бесконечная цепь московских бульваров. Где кончается продолговатое звено одного бульвара, тут же — только перейти через площадь — начинается звено следующего...

На бульварах стоят в своих бессменных позах старые, выдавшие виды, имеющие что рассказать деревья, — безмолвные свидетели всевозможных, вечно происходящих здесь любовных историй. Бесстрастно и умудренно, изо дня в день, из года в год, шумят они и шумят своими разросшимися вершинами...

Под деревьями, на затененной земле, такая же древняя, как и деревья, и такая же разросшаяся трава, первая нежная зелень которой каждую весну сводит с ума москвича, уносит его мысль далеко-далеко от Москвы, ежегодно воскрешая в нем одни и те же заманчивые, но — увы — совершенно несбыточные для него мечты...

На газонах, на однообразном фоне этой зеленой травяной глади, кое-где аккуратно возвышаются, как могилы сановников, пестрые цветочные клумбы с затейливыми, точно вышитыми по канве, узорами, с буквами, сло-

вами и целыми фразами, даже с портретами из растений — жалкая попытка юрких людишек обмануть тоску москвича и величавую красоту безграничной природы подменить хитроумной домашней декорацией с искусственными геометрически правильными холмиками, с вылепленными из цемента скалами, с выращенными в оранжереях растеньицами — в горшочках, вазочках, баночках — с просеянной, купленной в магазине землицей...

Вдоль, вкось и поперек бульваров, во всех направлениях, бегут, веселя глаз, чистенькие дорожки, посыпанные свежим песочком, поднятым со дна Москва-реки. По бокам дорожек удобные скамейки со спинками; возле скамеек железные урны МКХ — почему-то со смешными, очень узкими толиями — для бумажек и окурков...

Далеко разносятся по московским улицам стройные звуки духового оркестра, играющего на кругу одного из бульваров. И музыка эта является венчающим дополнением и к удивительной солнечной погоде, и к плавающему в воздухе благоуханию растений, и к ярким, праздничным — по случаю воскресенья — нарядам гуляющей публики, и, главное, к отрадному сознанию каждым москвичом своей незанятости сегодня.

Как и всякая подлинная красота, музыка глубоко проникает каждому в душу, будит, волнует, обещает иные миры, настойчиво твердит о чем-то более важном, более высоком, чем повседневные, хотя бы и московские будни...

И гуляющих на бульварах великое множество.

Они идут главными аллеями, идут по-праздничному, не спеша, двумя встречными течениями: одни только еще к музыке, другие уже оттуда. И впечатление от всей этой густой, поблескивающей на солнце, медленно движущейся человеческой массы такое, как будто выползли из темных нор на солнечный прилек спелые, тыкающие друг друга мордами детеныши — детеныши какой-то мудрой, расположившейся в сторонке матери...

И замечательное явление! Куда ни взглянешь — на тех ли, что движутся лавой по продольным дорожкам, или на тех, что без конца колесят вокруг какой-нибудь одной облюбованной клумбы, или наконец на тех, что уютно устроились на глубоких садовых диванах, — всюду наблюдаешь одно и то же: парочки, парочки, парочки. И видишь ли при этом совершенно дряхлых старцев, или совсем юнцов, почти детей, — картина остается неизменной: он и она, он и она, он и она. И, как никогда и нигде, в этот день на московских бульварах

вдруг с небывалой остротой начинаешь постигать и радостный и страшный смысл человеческой жизни, неотразимый закон земного людского бытия...

Тем резче бросается в глаза на фоне этого сплошного царства парочек слоняющаяся в полном одиночестве приметная фигура писателя Никиты Шибалина. И тем неестественнее и тем трагичнее рисуется каждому судьба этого необычного человека, — возможно, единственного во всей Москве — вышедшего в этот день на бульвары не гулять, а с исключительно важной мыслью: дополнять до конца, сломить и подчинить своему творческому влиянию, своей новой социальной идее устаревший любовный быт человеческих масс, населяющих как СССР, так и всю земную планету.

И сидит ли Шибалин на скамейке, шагает ли взад-вперед по аллеям, кружит ли по кругу, — всюду с одинаковым вниманием, с одинаковым упорством прощупывает он глазами всю проплывающую возле него публику, нескончаемое шествие охваченных любовью парочек...

II

Вот одна такая парочка, юнец и юница, оба прекрасные своей благоухающей юностью. Завидев издали освободившееся местечко, они с веселым смехом бегут по дорожке и со всего разбега падают на скамейку, на другом конце которой восседает в сосредоточенном раздумье Никита Шибалин.

Даже как следует не отдышавшись, юнцы тотчас же заводят между собой разговор, со стороны похожий на весеннее щебетание молоденьких пташек.

— Ляличка, ты очень любишь меня?

— Витичка, и ты еще спрашиваешь? Очень! Очень люблю! Просто ужас, как люблю!

— Почему же ты так мало говоришь мне об этом?

— Ма-ло?

— Конечно, мало! Лялик, сиди и повторяй сейчас слово «люблю» десять раз, а я закрою глаза, чтобы ничего не мешало, и буду слушать.

Откидывает голову назад, на спинку скамьи, плотно закрывает глаза, сидит и слушает с блаженной улыбкой, разливающейся на нежном шелковистом лице.

— Только, смотри, не торопись, — озабоченно произносит он вверх уже с закрытыми, незрячими глазами. — Растягивай каждое слово как можно длиннее.

— Хорошо, хорошо, — смеется довольным смехом Ляля.

Она усаживается смиренно, устремляет лучисто-восхищенные глаза прямо перед собой в пространство, легонько покачивается корпусом назад и вперед и ласково повторяет, точно баюкает ребенка:

— Люблю, люблю...

Но вскоре сбивается со счета, строит наивно-виноватую девичью рожицу, умолкает...

— Чего же ты остановилась? — раскрыв удивленные глаза, кричит ей Витя, после каждого ее слова загибавший на руке по пальцу. — Ты только семь раз повторила, за тобой еще целых три раза! Продолжай! Только повторяй еще медленнее! Тяни по слогам!

И он опять откидывается на спинку скамьи, закрывает глаза.

А Ляля, чтобы снова не просчитаться, напряженно глядит перед собой в песок дорожки и по-кукушечьи поет:

— Люб-люуу... Люб-люуу... Люб-люуу...

— Ну, теперь ты доволен? — пробуждает она его от волшебного сна.

Витя неохотно раскрывает глаза, окидывает взглядом вокруг — не заметит ли кто — и, вместо ответа, порывисто целует ее:

— Лялик!.. Дорогой!.. Золотой!..

Потом, после того как освобождает ее из объятий:

— Лялик, знаешь, что я придумал? Чтобы мы с тобой могли объясняться в любви, где угодно, когда угодно и при ком угодно, давай сделаем так. Слово «люблю» состоит из пяти букв, и, вместо того чтобы каждый раз произносить вслух это слово, мы можем просто показывать друг другу пять пальцев. Ну, что я тебе говорю? Читай!

Показывает ей пять пальцев. Ляля глядит, счастливо жмурится, читает:

— Люб-лю.

Потом сама показывает ему пять пальцев:

— А я что тебе говорю?

Витя:

— Люб-лю.

И оба заливаются детским заразительным хохотом, хлопают в ладоши, болтают под скамьей ногами, оживленно щебечут...

— Как хорошо ты придумал, Витик! — повторяет Ляля с упоением. — Как хорошо! Теперь, по крайней мере, мы можем никого не бояться: ни пап, ни мам, ни вообще!

Витя с лицом, осененным новой идеей, вдруг вскакивает со скамьи, делает жест и горячо предлагает:

— Ляля! Давай пойдем сейчас нарочно в самое людное место, к самой музыке и будем там вот так при всех объясняться!

Ляля отвечает ему пронзительным торжествующим визгом, и оба они вприпрыжку несутся в глубину бульвара, показывают друг другу на ходу пять пальцев, разливисто хохочут.

А плывущие им навстречу звуки далекого оркестра поднимают их еще выше, еще сильнее заставляют надеяться, еще горячее верить.

Счастливая парочка давно исчезает из вида, а с лица Шибалина все еще не сходит улыбка мудрого умиления...

III

Вузовец и вузовка, взявшись под руки и по дружески сомкнувшись плечами — он правым, она левым, — долго кружат перед глазами Шибалина все на одном и том же месте, вокруг клумбы с жиденьким фонтанчиком.

Вузовец, высокий, худой, не по летам серьезный, почти угрюмый, одетый в поношенную смесь, с пачкой книжек под мышкой.

— Любви нет. Есть половое влечение.

Вузовка, низенькая пышка, с пылающими щеками, очевидно, разгоряченными предыдущей беседой:

— Значит, по-твоему, в отношениях мужа и жены все сводится к голой физиологии?

— Не по-моему, а по-научному. Пролетарская наука рассеяла мистический туман, которым буржуазные классы окружали простой физический акт.

— А поэты? А романисты? — звучит тревогой девичий голос вузовки. — Неужели и они тоже идут насмарку со своими мировыми произведениями, посвященными любви?

— Пусть будут прокляты твои поэты и романисты! — отбивает безжалостные слова вузовец. — Пусть будут прокляты поэты и романисты, в течение долгих веков затемнявшие сознание человеческих масс, воспевавшие как что-то высшее несуществующую любовь! Сколько человеческих жизней они исковеркали, сколько поколений молодежи сбили с правильного

пути! Я и сам одно время мучался их «любовью», тоже вздыхал на луну, слушал соловьев, декламировал чувствительные стишки, тратил даром юные силы! Раз даже хотел стреляться из-за ихней «безнадежной — ха-ха-ха — любви!» Чахотку тоже, наверное, схватил по их милости...

Голос его сухо срывается, он синееет, пучит глаза, наклоняется, кашляет в землю:

— Кха-кха-кха...

Вузовка, по-женски торжествуя сверкнув глазами:

— Ага! Хотел стреляться из-за любви? Значит, что-то такое есть, какая-то сила есть?

Вузовец, перестав кашлять:

— Ничего нет. Человеческая глупость есть. Человеческая отсталость есть. Предрассудки есть. Привычка к старым кумирам, к старым словам есть. «Любовь», «ревность», «верность», «измена» — все эти словечки прошлого должны быть навсегда выброшены из лексикона современной рабочей и учащейся молодежи.

— Ну нет. Я не согласна. Не знаю, как у вас, у мужчин, но у нас, у женщин, любовь часто выражается в форме очень сильных, чисто душевных переживаний, когда нам хочется только духовной близости с мужчиной, без какого бы то ни было намека на физическое сближение. Что же это такое? И как ты это объяснишь?

— Очень просто. Трезвая революционная мысль, освобожденная от дурмана романтики, подобные ваши состояния называет скрытой формой женской сексуальности — когда физическое желание облекается в психические одежды.

— Значит, и на этот раз действуют те же центры?

— А конечно.

— Выходит, что все красивые порывания друг к другу людей разного пола в конечном счете ведут к одной цели?

— Обязательно. Как говорится, все дороги ведут в Рим. Но самых дорог может быть много.

— Странно, странно, Вася...

— Ничего странного, Тася... Наоборот, все удивительно ясно. Просто избыток биологической активности индивида время от времени заставляет его приводить в действие свой оплодотворяющий механизм, для чего ему естественно бывает необходимо — в качестве партнера — другой такой же механизм. Вот и вся «тайна сия».

— Фу!.. Как все-таки противно ты это выражаешь!.. «Механизм», «механизм»... Как будто речь идет не о человеке, а о какой-то бездушной машине!..

— Человеческий организм, дорогая моя, та же машина. Причем хороший человеческий организм — хорошая машина, плохой — плохая. Вот почему я и говорю, что окончательная механизация человека составляет актуальнейшую задачу нашего времени.

— А душа есть?

— Какая душа? Ты ее видела? Никакой души нет и быть не может.

— Совсем?

— Ну, конечно, совсем. Не наполовину же.

— А как же в книжках иногда пишут: «дух человеческий». Значит, дух все-таки есть?

— «Духа» тоже нет. Есть дых. Это по-научному. Пойдем, сядем вон на ту скамейку, я тебе покажу по этому поводу в одной книжке одно интересное место...

Они уходят от круглого бассейна в сторону, садятся на скамью в малолюдном месте, под развесистым кустом зелени. Он нервно листает страницы книги, она, наклонив лицо, следит за его работой, нетерпеливо ждет — красная, возбужденная, мучимая своей упорной, не желающей сдаваться мыслью...

IV

Из разговора между собой двух других гуляющих Шибалин узнает, что он — заведующий отделом, она — его машинистка. Он большой, грузный, рукастый, с широкими плоскими медвежьими ступнями. Она маленькая, хрупкая, воздушная, на высоких, едва касающихся земли, точеных копытцах.

Заведующий под влиянием не то отличной погоды, не то прекрасного своего самочувствия вдруг игриво наклоняется к щеке машинистки:

— Итак, Катюша, ты моя?

— Нет.

— А чья же?

— Мамина.

Заведующий весело смеется:

— Такая большая и все мамина?

— Да.

И лицо машинистки делается все серьезнее.

— До каких же пор ты будешь считать себя не моей, а маминной?

— Пока ты не согласишься выполнить маленькую формальность.

— О-о-хх!.. Она все об этом!..

— Да! Об этом!

— Всегда испортит настроение...

— И всегда буду портить, пока не добьюсь своего! Раз обещал, должен исполнить!

— Кто обещал?

— Ты! Ты! Ты обещал! Неужели у тебя хватит смелости отпираться от собственных слов?

— Кто отпирается? Я не отпираюсь.

— Значит, признаешь, что обещал, когда только еще сходились?

— А ты помнишь, в каких выражениях я обещал?

— Для меня безразлично, в каких выражениях. Важно, что обещал.

— Я не обещал, я только сказал: «поживем — увидим».

— Это все равно. Смысл один. Раз сказал «поживем», а «пожили» мы уже достаточно, следовательно, должен оформить наши отношения.

— Торопиться с оформлением нам незачем... Никто нас в шею не гонит...

— Тебе незачем, а мне есть зачем! Петя, скажи откровенно, почему ты так тянешь с этим?

— Видишь, Катя, я все никак не могу решить, подходящая ли мы друг для друга пара...

— Полтора года живем и все не можешь решить? Хорошо, что наконец проговорился! Значит, у нас все это время была только проба? А я-то, дура, воображала, что я тебе уже давно жена! А он все «пробует»! Только «пробует»! Полтора года «пробует»...

— Катя, только без слез! Хотя на улице будем стараться обходиться без слез! Довольно видим мы их дома и в учреждении. И далось тебе это глупое слово: «жена», «жена»!.. Разве ты не замечаешь, что за словом «жена» слышится слово «жа-ба»? «Же-на», «жа-ба». Почему тебе хочется быть непременно женой, а не оставаться любовницей? Глупая ты! Тебе же будет хуже! Если ты останешься любовницей, тогда у меня, кроме тебя, никакой другой женщины не будет. А если станешь женой, явится и другая, любовница.

— Какая пошлость! И еще хвалится этим.

— Я не хвалюсь, я только сознаюсь.

— Почему же непременно явится любовница? Разве без нее нельзя?

Заведующий разводит толстыми руками:

— Такая уж у нас, у мужчин, психология.

Машинистка ударяет в землю маленьким копытцем:

— Неправда! Я не знаю такой психологии!

— Ты не знаешь и китайского языка, а между тем он все-таки существует.

— Слушай, Петя, говорю тебе серьезно! Мне уже надое-ло находиться в неопределенном положении! Вот тебе одно из двух, выбирай: или женись на мне по-настоящему, по-челове-чески, или давай разойдемся! А жить по-скотски я больше не хочу, не могу!

— Что ж, Катя. Если так, тогда давай, конечно... разойдемся...

— Ага!.. Я так и знала!.. Я так и знала, что он это скажет!.. Я нарочно ему предложила, а он и рад! Насытился! Уже! Одной насытился, теперь можно приниматься за другую: машинисток в отделе много! А потом можно за подавальщиц чая взяться, за курьерш, за уборщиц! Ведь вам, мужчинам, порядочность жен-щины не нужна, интеллигентность женщины не нужна, душа женщины не нужна!

Заведующий останавливается среди дороги:

— Тише! Не кричи на улице! А то сейчас же сяду на извозчика и уеду домой! Сама просила выйти погулять, а сама и тут скандалит! Если ты несчастлива со мной, то заяви об этом прямо, а не устраивай диких сцен!

Лицо у него решительное, голос пропитан безапелляцион-ностью, неумолимостью, как на службе в отделе. И машинистка, лучше других знающая его характер, смиряется, опускает лицо, снижает тон.

— Ну, Петичка, ну, миленький, ну, не сердись! — упрасива-ет она его, когда они продолжают идти. — Я не говорю, что я несчастлива! Нет! Я только спрашиваю: почему ты не хочешь дать мне полного счастья, понимаешь, полного счастья?..

— Катя, ты забываешь, с кем имеешь дело, забываешь, кто я, какая моя политическая физиономия.

— Вот ерунда! Можно быть самым страшным революцио-нером, а официальность в браке все-таки признавать. Разве мало мы знаем партийцев, женатых самым настоящим обра-зом? Все современные социалистические вожди женатые. Все самые видные народовольцы-террористы были женаты, многие из них даже имели детей и не стыдились. А ты все мнишь себя

каким-то невиданным революционером, которому шагу шагнуть по-людски нельзя. Петя, скажу откровенно, я и сама раньше считала тебя человеком большим, а теперь вижу, что на самом деле ты человек маленький, очень маленький. Самый последний обывателишка, какой-нибудь мальчишка, и тот женится, не боится, а ты дожил до таких лет, а жениться на мне боишься. Какой же ты после этого революционер? Ты просто трусишка! Трус, трус, трус!

— Вот! Уже! Наскочила на нового конька! Теперь поедет...

— Да! И поеду! Тебе хорошо так говорить, а мне-то какая-во? Жить полтора года с мужчиной и даже не зная, замужняя ты или холостая, дама или девица? Это черт знает что такое! Другая минуты не терпела бы такого унижения! И если бы я просила идти венчаться в церкви, а то ведь я от этого уже отказалась, сделала уступку, большую уступку, а ты и маленькой уступочки мне не делаешь, отказываешься даже регистрироваться в ЗАГСе!

— Чудачка ты, Катя! Чем ближе тебя узнаю, тем больше убеждаюсь в этом! И к чему тебе вся эта формалистика: «официальность в браке», «церковь», «регистрация»? Неужели ты думаешь, что это хоть сколько-нибудь нам поможет? Неужели нельзя прожить без этих комедий? Мой лозунг: как можно меньше разыгрывать в жизни комедий!

Машинистка нежно-плакливо, прижимаясь к нему:

— Петинька, миленький, пойми, — как ты этого не понимаешь, — что это нужно не мне, а моей маме, с которой я очень дружна, для трех моих тетей, маминых советниц в жизни, для четырех дядей, которых я очень люблю, для бабушки, которая с нами живет, для нашей старой няни, к которой мы все привыкли, как к родной, и которая никогда мне этого не простит, если узнает...

Лицо заведующего вытягивается, изо рта трудно выталкивается стон:

— Ой!.. Ой!.. О!.. Такая куча родни!..

— Да! Охай, охай! Но на это, Петя, я тебе прямо должна сказать, что порывать из-за тебя с моими родными я тоже не желаю! У меня такие хорошие, такие славные родные! Они так любят меня, так любят! Они разорвут меня на куски, если узнают, что я с тобой так живу, без всего, без всякого обряда! И мне уже стало невмоготу вечно обманывать маму! В течение полутора лет каждый день прятаться, лгать, скрывать от всех нашу связь — на это никаких нервов не хватит!

— А зачем же скрывать? Не беспокойся, твоя мама, да и весь твой фамильный род, все они прекрасно осведомлены о наших отношениях.

— Ничего подобного! Если бы мама узнала, она одного дня не пережила бы, сразу умерла бы от разрыва сердца. Она даже ничего не подозревает. Она только знает, что ты мной интересуешься и что я благодаря тебе устроилась на службу машинисткой во Внешторг, в отдел экспорта, в твой подотдел пера и пуха. И она очень благодарна тебе за это, очень! «Значит, несмотря на революцию, еще не все сделались эгоистами», — говорит она. «Но все-таки, — прибавляет она всякий раз, когда речь заходит о тебе, — он какой-то такой... не то что невоспитанный или несимпатичный, нет, а какой-то такой... не-надежный».

— А мне какое дело до того, что она говорит! Мне ведь не с ней жить, не с мамой твоей и не с тетушками твоими, а с тобой!

— Да, это-то так. Но не надо забывать, Петя, и того, что если мы с тобой повенчаемся или хотя бы зарегистрируемся в ЗАГСе, то тогда мама подарит нам все, что на первое время необходимо в хозяйстве: разные ложки, плошки... А так нам придется все это покупать. Признаться, в надежде, что ты не будешь долго упрямыться и этой осенью обязательно женишься на мне, я уж отдала лудильщику полудить стоявший у нас без употребления хорошенький никелированный самоварчик, маленький-маленький, как раз на двоих. Но так мама нам его не отдаст, скажет: «Много таких мужей найдется, пусть лучше самоварчик в чулане на полке стоит».

— Странный ты человек, Катя! «Самоварчик», «самоварчик!» И это в то время, когда у меня голова ходит кругом из-за забот по службе...

Машинистка испуганно:

— А что, разве что-нибудь случилось?

— Случилось то, что мой подотдел пера и пуха висит на волоске, каждый день его могут расформировать, потому что там давно нет ни пера, ни пуха, одни служащие! И завтра же я могу оказаться без места, на улице, с протянутой рукой! А ты пристаешь ко мне с «самоварчиками», «этажерочками», «бутоньерочками», с какими-то «стенными тарелочками!» Черт с ними, со стенными тарелочками.

И заведующий, взмахнув с отчаянием рукой, сутулится, морщится и ускоряет шаг, точно старается убежать от «самоварчиков», «этажерочек», «стенных тарелочек».

Машинистка, с безгранично преданным лицом, вовремя повисает на его руке и удаляется вместе с ним в глубь бульвара.

V

Старые, матерые супруги, он и она, от долгого ли сожительства или от какой-нибудь другой причины очень похожие друг на друга. Оба расплывчатые и закругленные, без каких бы то ни было острых углов и резких линий.

Идут, все время ссорятся.

Вот супруг без всякой причины вдруг резко ускоряет шаги, несется изо всех сил по бульвару. Супруга одышливо отстает от него.

— Пф... пф... пф... — шумливо дышет она всей своей утробой и жалуется: — С тобой совсем нельзя ходить.

— И не ходила бы! — скосив один глаз назад, огрызается на нее супруг. — Я тебя предупреждал, что со мной тебе будет трудно ходить!

И, улучив момент, он с такой внезапностью останавливается, что супруга, разогнавшись, пролетает несколько шагов мимо него.

— То вдруг бежишь, как сорвался с цепи, — утомленно возвращается она к нему, — то вдруг станешь и стоишь среди дороги, как пень! Ну, чего ты тут стал?

— Жел-лаю! — ломает назад плечи супруг.

— Ну, что такое ты делаешь?

— Гул-ляю! — ставит в пол-оборота он голову.

— Разве так люди гуляют?

— Хоч-чу! — весь вздергивается он, как картонный плясун. — Хочу — бегу, хочу — стою, хочу — бросаюсь под поезд! По настроению! И неужели я даже на это потерял право, женившись на тебе? Скажи, а воздухом дышать ты мне разрешаешь?

Так задирает в небо лицо, что чуть не валится назад. Как утопающий, хватает жадным ртом воздух. Чавкает:

— Ам-ам...

Говорит театральным приподнятым тоном:

— Сегодня воздух так вкусен, так благодатен, что невольное приходит на память то счастливое невозвратное время, когда я был холост и жил вовсю, на все сто процентов!

Супруга стоит, глядит на него, покачивает с сожалением головой:

— И глупо. Очень глупо. Ничего остроумного нет. Люди с годами умнеют, а он глупеет.

Супруг со скрежетом:

— Поглупеешь! Пятнадцать лет без передышки с тобой живу!

И он продолжает шагать по дорожке. Однако вскоре — увидев, что она идет рядом, — с гримасой раздражения начинает нарочно забирать ногами вбок, вбок, вбок.

Супруга, при всем своем старании, не успевает забирать, отстает, разевает трубой рот, задыхается.

— Видали? Видали? Видали, какие номера он выделяет?

Супруг вдруг заносит ногу через проволоку, ступает на газон, с освобожденным видом шагает по зеленой траве.

Супруга останавливается перед проволокой, в ужасе глядит на него:

— Вот сторож сейчас увидит и оштрафует тебя!

— Меня-то не оштрафует, — стоит среди зеленого газона супруг, скрестив на груди руки, как памятник. — А вот метнись-ка ты сюда, так сейчас налетишь на три рубля золотом!

— И еще дразнит! И еще смеет дразнить меня! — барабанит дрожащими коленями по проволоке супруга, не смея ступить на запретный газон. — И это мне от него награда за то, что я за все пятнадцать лет ни разу не изменила ему, пропустила столько хороших случаев! А он теперь все делает мне наперекор, все! Когда мне хочется пройтись пешком, он вдруг прыгает в первый попавшийся трамвай! А когда у меня ноги отказываются действовать, и я берусь за ручку автобуса, он вдруг шмыг от меня с мостовой на тротуар: «желаю промяться пешком!» Я люблю гасить свет в комнате в десять часов вечера, а он сидит при электричестве до часу ночи! А если я под праздник провожусь с тестом допоздна, он не считается с моей работой и, угрожая кулаками, силой гасит огонь! Когда мне хочется мясного на обед, ему подавай непременно вегетарианского! Я — в оперу, он — в драму! И так во всем, решительно во всем, всю нашу жизнь, все пятнадцать лет! Ну, разве можно назвать его нормальным человеком? Хорошо еще, что у меня характер такой добрый, а то другая на моем месте давно бы бросила его!

Супруг вдруг кидается напрямик — через клумбы, через цветы, через дорожки, через скамейки — к боковому выходу с бульвара на мостовую.

Супруга, скосив выпученные глаза, ковыляет на коротких ногах за ним — в обход, в обход, в обход.

— И куда тебя понесло?

— На трамвай!

И они исчезают в кустах, тонут в зеленой листве, сперва он, потом она.

VI

Двое прилично одетых мужчин, двое друзей разного возраста. Один, что постарше, — недавно женился, другой, помоложе, — сгорает от нетерпения жениться. Первый выглядит понеряшливее, второй пофрантоватее.

Желающий жениться:

— Значит, уже? Капут? Женился?

Недавно женившийся:

— Да, брат...

— Ну, и что же? Каково себя чувствуешь в новой роли?

— Плохо, брат...

— Что так?

— Не того ожидал...

— Расскажи, расскажи подробней. Ты ведь знаешь, как я сам рвусь жениться, только все не на ком: та занята, с той незнаком...

— Поподробней тебе?.. Ох, брат-брат... Не хотелось бы мне очень распространяться об этом, да видно придется... Сядем.

Они садятся на скамью.

Желающий жениться настраивается слушать, жадно глядит рассказчику в рот.

Тот начинает:

— Прежде всего скажу, что вскоре после того, как я женился, открылась для меня одна очень неприятная новость: оказалось, что никакого чувства у меня к ней нет, любви нет... И в ней самой я уже не находил ничего особенного... Женщина как женщина, как все другие женщины, — и только... А как порывался к ней, как стремился! Казалось, только бы дождаться, когда она наконец будет моей!.. А когда дождался, тогда, можно сказать, самому себе удивился... И вот теперь проснусь, это, на рассвете и долго-долго смотрю на нее: лежит рядом, спит, дышет, как невиноватая... И сам сознаю, что невиноватая, даже жалею, но — чужая, понимаешь ты, чужая, совсем чужая, и ненужная мне, вовсе ненужная мне на вечные времена!.. А между тем она уже поселилась со мной, считает себя хозяйкой в моей

комнате, распоряжается до известной степени и мной... Скажи, ты не знаешь, в нашем Наркоминделе трудно получить заграничный паспорт?

— Ха-ха-ха! Заграничный паспорт? Это зачем тебе?

— Думаю мебель и все домашнее барахло бросить в ее пользу в виде компенсации за беспокойство, а сам скрыться куда-нибудь за пределы СССР.

— Зачем же тебе скрываться непременно за границу?

— Видишь, в России она везде меня разыщет, — такая женщина! — а за границу не кинется, все-таки побоится.

— Ха-ха-ха! Я рад, что ты нарезался! Теперь по крайней мере не буду так завидовать тебе, как завидовал до сих пор! Ну, а все-таки объясни поконкретней, чем именно она досадила тебе?

— Чем именно?... И всем и ничем. Во-первых — гости. Во-вторых — родственники. Я и ей-то не особенно рад — все-таки стесняет, — а тут, понимаешь ты, кроме бесконечных гостей, к ней ежедневно приваливаются целыми выводками родственники. Например, вчерашний день считается у нас довольно благополучным в отношении родственников, но и то в эту ночь в нашей комнате ночевали двое: ее тетка-старуха и малолетняя сестренка. А зачем ночевали — неизвестно. Просто так, чтобы скорее dokonать меня или вызвать на грандиозный скандал. С вечера обе они, и тетка и сестренка, долго сидели за самоваром, бузили чай, а когда набузились, смотрю, стелятся на полу спать. Ах ты, думаю, мать честная! Тетка расплзлась своим сырым тестом на полкомнаты и сразу же захрапела угрюмым мужским басом так, что в шкафу стеклянная посуда зазвенела. А вид раскинувшейся по полу хорошенькой полуобнаженной девчонки все время наводил меня на грешные и, прямо скажу, подлые мысли, и я проворочался на постели без сна целую ночь...

— Ну-ну! Вот так попался!

— Ты слушай дальше... И раньше, понимаешь ты, у меня бывало так: идешь по улице, видишь — продают груши. «Дайте полкила груш». Или видишь ташкентский виноград. «Дайте четверть кила ташкентского винограду». Думаешь: «черт с ними, с деньгами, — жить так жить, — это расход не ежедневный, и зимой винограду все равно не будет». А теперь, что ни удумал купить, покупай все в двойном количестве: и на себя и на нее! Да и самую покупку уже приходится выбирать сортом повыше, потому что женщина она в общем избалованная: гнилого есть не будет. И вместо груш и винограду на одного покупаешь

картошки и соленых огурцов на двоих! Разница? Ты знаешь, из-за нее я в этом году даже ар-бу-за еще не пробовал! Ну, да всего не расскажешь, это надо самому испытать, чтобы как следует понять, что это за соединение такое «муж и жена»...

Желающий жениться покатывается от хохота:

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Но вдруг вспоминает о чем-то очень важном, вздрагивает, умолкает, щурит испуганные глаза на карманные часы, вскакивает на ноги, озирается, прислушивается, принюхивается к воздуху, горбится.

— Что с тобой? — с удивлением заглядывает ему в лицо друг, недавно женившийся, и тоже встает со скамьи. — Почему тебя так трясет? У тебя, может быть, лихорадка?

— Да... Брр-брр... Лихорадка... брр... брр... Только какая?.. Словом, чтобы долго не распространяться, я тут сейчас поджидую одну... брр-брр...

— А интересная она?

— Ого! Брр-брр...

— Обещала прийти?

— В том-то и дело, что нет. Если бы обещала! Я бы тогда сейчас с тобой тут не стоял, а несся бы в это время где-нибудь из цветочного магазина с букетом...

— Но как же так? Не обещала прийти, а ждешь!

— Видишь, третьего дня, в этот самый час, она проходила по этому самому месту...

— Ха-ха-ха! Проходила третьего дня, а ищешь сегодня?

— Я ее все три дня тут ищу.

Глядит внимательно на землю, осторожно отрывает от дорожки то одну ногу, то другую, точно боится затоптать чьи-то священные следы. Поднимает на друга сияющее лицо:

— А женщина какая! Умереть мало! Прямо невиданная! Можно сказать, единственная! Другой такой в целом свете нет! Вот на ком бы жениться! Жениться на такой, и тогда уже больше ничего не надо от жизни! Уехать с ней на необитаемый остров и поселиться там вдвоем, чтобы никто не мешал наслаждаться!

— Ты расскажи-ка по порядку, как у тебя с ней было? Да пройдемся немного, что ли?

Они кружат по небольшому кругу. Желающий жениться рассказывает:

— Было, можно сказать, глупо. Так глупо, так глупо, что глупей не придумает. Еду это я третьего дня в троллейбусе, вдруг замечаю в вагоне ее. Красавица — немислимая! Сидит не

шевелинется, ни на кого не смотрит! Понятно, я пришел в такое волнение, что меня, не хуже как сейчас, начала бить лихорадка. Бьет и бьет, проклятая! Коленки трясутся, локти трясутся, челюсти трясутся, все трясется. И в глотке пересохло. Сижу, дрожу, глаз с нее не свожу. Думаю: вот оно твое счастье, сумей только взять! Ну, а у нее, конечно, ни в одном глазу. Сидит — спокойная, гордая, недоступная. И все-таки я мысленно поклялся или умереть, или познакомиться с ней.

— И коль скоро ты сейчас жив, значит, познакомился?

— Не тут-то было! Ты слушай... Едем это мы с ней и едем, сидим друг против друга и сидим, когда вдруг на одной неважной остановке она поднимается и идет к выходу из вагона. А я — как прирос к лавке! Не могу сделать ни одного движения! Какая сила сковала меня, не знаю, — пусть это решают ученые. Но факт тот, что она ушла из вагона, а я, как дурак, поехал дальше. Глянул в окно, вижу: она заходит на этот бульвар, идет по этой дорожке. Мне бы тогда же выскочить на ходу из вагона или хотя бы выйти на следующей остановке и броситься назад, ей наперерез. А я сижу на месте и только чувствую, как щемит мое сердце: опять, уже в который раз, упустил свое счастье!!!

— Ха-ха-ха! Вот глупец! Почему же ты сразу не поволокся за ней?

— А черт его знает почему! Сробел ли я перед ее неземной красотой, или пожалел восемь копеек за трамвайный билет потерять, — не знаю, я не психолог. И вот, промучавшись без сна всю ночь, я на другой день с рассвета был уже здесь. Сбежал на службу, кое-как отслужил, а со службы опять сюда. И так дежурю тут, на этой проклятой дорожке, три дня! Брр...

— Смотри, тебя опять трясет. Ха-хо-ха! И за эти три дня ты осунулся, позеленел. У тебя даже стала другая физиономия. Так можно до чахотки добежаться. Знаешь что? Чем так страдать, губить себя, я на твоём месте женился бы пока на ком попало. А потом, постепенно, не торопясь, подыскивал бы более подходящую.

— А на ком жениться? Где ее взять, «какую-попало»? И какая женщина согласится быть временной женой? Это только в книгах пишут о «перепроизводстве женщин», об их легкомысленности, о том, что многие из них, томимые одиночеством, выходят на улицу, ищут случайной встречи с приличным мужчиной. А где они такие женщины, такие девушки? Давайте их сюда! Я первый сейчас же женюсь на одной из них, на любой! Но — тшш!.. Вон, кажется, она идет... Теперь ты не мешай мне, иди отдельно, я с тобой незнаком!.. И не смейся так, не сколь зубы, как идиот!..

Отскакивает от друга в сторону, принимает непринужденный вид гуляющего.

Друг неотступно следует за ним на небольшом расстоянии, идет с заинтересованно-раскрытым ртом, хохочет...

VII

Прогуливаются по бульвару две подруги, две молодые женщины: полная блондинка с уравновешенным, добродушным характером, и нервная, с блистающими глазами, худощавая брюнетка.

Первая, когда идет, не обращает никакого внимания на встречную публику; вторая разговаривает с первой, а сама так и вертит тонкой шеей по сторонам, так и рыщет напряженным лицом вокруг.

Блондинка беззлобно:

— «Люблю» и «люблю!» Просто замучил своими пристава-ниями! Я ему говорю: «Я не могу, я замужем». А он: «Тем лучше, тем пикантнее». Из-за него решила просить перевода в другой отдел. Не дает работать! То шлет с подавальщицей чая записочки, то сам ловит в коридорах. А вчера на общем собрании служащих, во время речи видного оратора о международном положении, шепчет мне на ухо: «Нет больше терпения, застреляй и вас и себя». А у самого лицо страшное-престрашное!

Брюнетка манерно;

— Значит, любит, если грозитя убить.

И тотчас же, с мучительными гримасами подвижного лица, с прищуриваниями сверкающих глаз:

— И почему такая несправедливость судьбы! У тебя уже есть один хороший мужчина, а к тебе льнут еще и другие, и тоже все как на подбор неплохие! А я была бы рада самому никудышному мужчинке, самому завалящему, безработному, бесквартирному, приютила бы его, одевала, обувала, кормила, — но у меня и такого вот нет!

Блондинка, критически всматриваясь в нее:

— Ты худа, как драная кошка. И прежде чем надеяться на что-нибудь хорошее, ты должна стараться пополнеть.

— Я и сама очень хотела бы поправиться. Но как это сделать? Вот вопрос! Ем я, кажется, много...

— Пей пивные дрожжи. От них лучше всего разносит.

— Придется начать пить... А то со мной на этой почве творится что-то прямо ужасное! Ночами душат кошмары...

Утрами впадаю в отчаяние, реву, как девчонка, прихожу на службу заплаканная... Днем спрашиваю себя: зачем живу, зачем работаю, для чего, для кого?.. Вечерами — когда особенно тяжело быть одной и когда с особенной силой хочется любить — думаю о самоубийстве, привожу доводы за и против...

— Ну, это ты чересчур, насчет самоубийства-то...

— А что же остается делать? Знаешь, я сейчас дошла до такого состояния, что с радостью сошлась бы с любым уродом, с самым страшным! Я уже представляла себе себя со всякими, и — не противно. А как любила бы я его, моего миленького, как ласкала бы, как жалела! Сколько у меня в душе накопилось для него нежности!

— Это для уroda-то?

— Да, и для него. Для кого попало. Мне теперь безразлично для кого именно. Все равно смотрю на себя, как на кандидатку в сумасшедший дом.

— Если ты серьезно это говоришь, то тебе надо лечиться.

— Лечилась! Ходила к докторам! Прописывают вегетарианский стол плюс какое-то лекарство. Но ничего не помогает. Разве суп из овощей и валериановые капли смогут заменить мне мужчину?

— В таком случае ты приобрела бы побольше знакомств с хорошими мужчинами.

— Легко сказать! А как это сделать, как приобретать?

Устремляет горящие глаза вперед, в шагающую навстречу публику, вдруг настораживается, сообщает с волнением:

— Вон какие-то двое идут, двое мужчин, без дам. Видно, холостяки. Вот познакомиться бы! Пройдемся мимо них. Сворачивай поближе к ним, поближе! Только смотри не показывай вида, что мы хотим познакомиться.

— Меня-то не учи. Я сама знаю.

И две женщины приближаются к идущим им навстречу двум прежним мужчинам, недавно женившемуся и желающему жениться.

VIII

— Не смотри на них, не смотри, отвернись! А то ты такая худая... Себе же наделаешь хуже!

— А я разве на них смотрю?

— А конечно, смотришь!

Желающий жениться держит под руку друга, идет, жестикулирует, удивляется:

— И неужели я мог ошибиться? Все дорожки обегал — нигде нет! Промелькнула за кустами, как привидение, и исчезла!

Недавно женившийся насмешливо, с улыбкой:

— Это у тебя галлюцинация зрения. Трое суток не есть, не спать, не знать ни минуты покоя, а только все ходить по одному месту и изо всех сил пялить глаза в пустое пространство — такие вещи даром не проходят. Вот какие-то две навстречу идут. Одна блондинка, другая брюнетка.

Желающий жениться вытягивается, становится на носки, расширяет глаза:

— Где? Где? Ага, вижу. Стреляем хотя за этими! Тебе будет брюнетка, мне блондинка.

— Хитер, брат!

— А что? Ты хочешь блондинку? Ну, бери блондинку, а я возьму брюнетку, черт с тобой, мне не жалко. Я думал, ты, как человек женатый, не будешь особенно претендовать. Куда же ты идешь? Держи прямо на них. Нахальнее, нахальнее! Придумай какую-нибудь смешную фразу, чтобы они рассмеялись, отпусти той и другой какой-нибудь комплимент, чтобы обе были довольны. Ну, придумывай поскорее!

— А ты?

— Я не могу, голос дрожит, все дрожит. Видишь, как меня бьет лихорадка?

Две пары — пара мужчин и пара женщин — натянуто проходят мимо друг друга. Женщины изо всех сил воротят лица от мужчин. Мужчины, наоборот, лицами своими почти налезают на лица женщин, с заискивающими улыбками заглядывают им в глаза, замедляют шаги, почти останавливаются...

— Видал-миндал? — когда женщины проходят дальше, стоят и глядят один на другого мужчины.

— Видал, видал.

— Ну, и что?

— Так себе.

— Что значит «так себе»?

— Значит, бывают лучше. Одна еще ничего, на тройку с плюсом, а другая вовсе никуда, на два с двумя минусами.

— Чем же она плоха?

— Как чем? Разве не видишь? Суха, как щепка!

— Это ничего. Это дело поправимое. Не теряй их из вида, поглядывай, куда они пошли. А почему ты ничего им не сморозил, когда мы поровнялись с ними?

— А с какой стати непременно я? Не мне жениться — тебе! Ей сморозишь, а у нее муж какой-нибудь ответственный!

Желающий жениться волнуется, глядит через головы гуляющей публики, командует как на пожаре:

— Поворачиваем за ними! Держи прямее, не смотри, что проволока, а то уйдут! Прибавь ходу! Еще, еще! Бежим!

Полная блондинка в это время:

— А представительные какие! Должно быть, где-нибудь служат.

Сухощавая брюнетка от удовольствия шевелит ноздрями, как плавниками:

— Фигура! Рост! Полнота! Все как следует. Повернем за ними. Но где они? Вон они, вон. Отвернись от них, смотри в кусты!

— Ты сама отвернись, а я-то давно отвернулась...

И опять в прежнем порядке, — еще церемоннее, чем в первый раз, — проплывают мимо друг друга две пары, пара мужчин и пара женщин. Женщины, сколько могут, изгибаются корпусами прочь от мужчин; мужчины с такими же усилиями ломаются в талиях к женщинам...

IX

Идут два купца, два упитанных российских мужичка, с длинными туловищами, на коротких ногах, в сапогах, в картузах, с красными возбужденными лицами.

Оба сильно навеселе.

Идут, заплетаются ногами, рассуждают, смеются, бранятся, божатся. Иногда останавливаются среди дороги. Постоят, поговорят, пожестикуют, хлопнут оземь картузами, пожмут друг другу руки, расцелуются и идут дальше.

Первый, весело сверкая белыми зубами:

— И никак не сообразишься с этими бабами! То не было ни одной, только жена, приходилось даже пивяки на зашеину ставить, а то вдруг с двоими живу, окромя жены!

Второй разевает влажный смеющийся рот:

— С двоими? Хе-хе. Это хорошо. Как же так?

— А так. Сперва начал с одной жить, с какой попало, потом присмотрел другую, несравнительно лучшую. Договорил-

ся с ней о цене, дал задаток, чтобы к другому не перебежала, все честь честью. Потом, раньше, чем начать жить со второй, хочу порвать союз с первой, смотрю, а она у меня за три месяца вперед денег понабрала! Раз выпросила за месяц авансом, в другой раз за месяц авансом, так и набралось. Вернуть за три месяца отказалась, говорит: «денег нет». Но и той, второй, тоже хороший задаток уже даден. Что ты, думаю, будешь делать! Вот и приходится теперь, на старости лет, с двоими бабами жить, чтобы ни за той, ни за другой деньги даром не пропадали. И та отживает взятую сумму, и та. И к той наведу-ваюсь, свое требую, и к той.

Второй, постарше и попьянее, потряхивает головой;

— Ну, нет, — хе-хе!.. Я своей финтифлюшке денег вперед никогда не даю... Сколько проработала, за столько время и получи... Если, допустим, она бросит меня сегодняшний день, то только за сегодняшний день и получит... Ни копейки больше!.. Сориться зря деньгами я не могу, у меня все-таки семейство... Отрывать зря кусок у жены, у детей, не могу, нет...

Оба идут бульваром дальше. И второй, что постарше и попьянее, все разрисовывает рукой в воздухе узоры и все повторяет:

— Ну, нет... Я не могу... Нет... Не могу...

Х

Два красноармейца в длинных новых разглаженных шинелях, прямые, неsgiбающиеся, как деревянные, с позванивающими где-то под шинелями шпорами. И с ними две молоденькие, круто замешанные, высокогрудые бабенки. Бабенки в пестрых цветистых платочках, с густо наруганными щеками, с пудрой в бровях и ресницах.

Все четверо идут медленной развалистой походкой, одной шеренгой, в ряд. Дамы в середине, кавалеры по бокам.

Первая дама, увидев пустую скамейку:

— Чего-й-то мы все ходим да ходим? Что, ноги у нас нахальные, что-ли-ча? Сядем!

Лениво подает на скамью. Вторая дама:

— Сидеть лучше, как ходить.

И садится вслед за первой.

Первый красноармеец неохотно приостанавливается:

— Нет, ходить лучше, как сидеть.

Первая дама ему:

— Вы как себе хотите, а я больше не в силах ходить.

Второй кавалер ей:

— А что, колеса не смазаны? Можно смазать.

Первый как стоял, так и покотился от хохота.

— Га-гг-га! — гогочет он во всю глотку, кружась на месте волчком. — Га-га-га!

Кавалеры в конце концов тоже садятся. Они располагаются на скамье в том же порядке, в каком гуляли: по бокам дам. Каждый садится возле своей дамы, поворачивается к ней лицом, запускает одну руку между спиной дамы и спинкой скамейки, а другой рукой орудует спереди.

— Чур, рукам воли не давать! — сейчас же строго предупреждает первая, сразу почувствовав, как по ее спине уже заползала, уже заискала большая пятерня кавалера.

— И вы тоже! — решительно заявляет вторая своему и делает несколько энергичных, но безуспешных попыток хотя где-нибудь отделиться от него, уже приросшего к ней каждой своей точкой, словно пластырь.

Некоторое время все молчат. Слышно только, как оркестр играет вдали вальс да медленно шаркает по песку ногами гуляющая публика...

— Вроде прохладно, — наконец бормочет первый кавалер, не разжимая губ.

— Потому что вроде вечером, — поддерживает разговор его дама.

Очевидно, вторая дама тоже считает своим долгом вымолвить несколько слов.

— Сегодня много парочков, — произносит она довольно сонливо.

— Оттого что воскресенье, — таким же голосом отзывается откуда-то из глубины ее кавалер.

И опять никто ничего не говорит. Только кавалеры все сопят, все ворочаются, все мастятся, каждый возле своей дамы. Вот первый что-то шепчет своей на ушко.

Она:

— Не говорите, чего не следует. А то у меня у самой начинается впечатление.

— Вот и хорошо. Значит, мы с вами одного мнения.

— Хорошего мало. А своего мнения я вам еще не сказала.

Второй страстно шепчет своей, точно вгрызается зубами в ее ухо.

А она:

— Вы только об этом и думаете, больше ни об чем. И не стыдно вам? Не успели сесть, как уже начинаете. Как будто не можете так посидеть. Выдумайте какой-нибудь разговор. Отчего вы молчите? В то воскресенье я тоже вот так пошла гулять в парк с одним молодым человеком с нашего двора. Идем, гуляем по парку, а у него и разговору нету. Молчит и молчит. Только покашливает да посмеивается на меня. Так измучилась с ним молчашки. Не знаю, как домой дошла. Теперь с ним никогда не пойду.

Первая дама, после общей паузы, с тоской, в пространство:

— Хоть бы раз чем-нибудь угостили!

Второй кавалер многозначительно:

— Угостить недолго!

Первый гогочет, как раньше:

— Га-га-га! Га-га-га!

Проходит полчаса.

Кавалеры держат дам в своих объятиях крепче, чем прежде, и декламируют им стихи.

*Первый своей чувствительно:
Тебе и жить и наслаждаться
Счастливой жизнью своей!
А мне слезами заливаться
И знать лишь горести одни...*

Дама ему растроганно:

— Сами виноваты. А если бы женились, ничего бы этого не было. Вам надо жениться...

*Второй своей с отчаянием:
Расступись, земля сырая!
Возьми несчастного меня!
Забуду я, что было в жизни,
Быть может тем успокоюсь я!.*

Дама грустно:

— Нет, зачем же. Вы еще найдете девушку по себе. В Москве девушек много ...

Под влиянием речей кавалеров, под влиянием их стихов дамы в конце концов мякнут так, что не могут ни двигаться, ни говорить. Сидят неподвижно, с призакрытыми немигающими глазами. Как тестом, облипают их колючие шинели кавалеров.

Вот кавалеры, перемигнувшись между собой, приподнимают со скамейки бесчувственных дам, обнимают их за талии

и почти несут на руках, направляясь к выходу из бульвара. Одна пара идет впереди, другая позади. Идут обе пары очень медленно. Идут, сильно накренясь, как больные. Вот-вот не дойдут, упадут. Всю дорогу молчат...

XI

Редактор Желтинский и поэтесса Вера проходят той аллеей, которой несколько минут тому назад проходил беллетрист Шибалин.

Старый Желтинский держит молодую Веру под руку, старается шагать с ней в ногу, не отставать, молодится, петушится, подпрыгивает.

— Что это вы скачете, Казимир? Хромаете?

— Нет. Наоборот. Это так, от хорошего самочувствия. С вами, Вера, я всегда как-то особенно хорошо себя чувствую.

И о чем бы они ни заговорили, речь у них всякий раз возвращается к Шибалину.

Желтинский:

— Ваш «великий писатель» избрал московские бульвары аренной своей ученой «деятельности». Тут он и днюет и ночует...

Вера:

— Но он тут работает!

— О, да, конечно! «Работает» — ха-ха-ха! «Собирает материал», знакомится с незнакомыми, вернее, с незнакомками, которые посмазливее. Проверяет на практике, на хорошеньких женщинах свою новую «мировую» идею. Одним словом, не зевает. А вы, Вера, продолжаете верить ему...

— Я и верю ему и не верю.

— Напрасно, напрасно, если верите.

— Не забывайте, Казимир, что Шибалин исключительный человек, не обыкновенный, не рядовой. И к нему нельзя подходить с той меркой, с какой подходите вы. Он прежде всего крупный литературный талант, а это обязывает нас, простых смертных, многое ему прощать, многие странности, многие слабости.

— «Талант», «талант»! Уже прожужжали всем уши его «талантом», а между тем талант у него не настоящий, искусственный, деланный. Уберите от него ходули, на которых он держится, эти всевозможные «любовные проблемы», и вы увидите, как от него ничего не останется.

— Будто бы?

— Уверяю вас, Вера! Это говорит вам не обыватель, а я, человек большого литературного опыта, редактор, пропустивший через свои руки уйму писательского люда, и талантливому и бездарному.

— Вы пристрастны к нему, Казимир.

— Из чего это следует, Вера?

— Из чего? Ну, хотя бы из того, что вы зачеркиваете Шибалина целиком: не только как писателя, но и как человека.

— Как человека я зачеркиваю его, постольку, поскольку он совершенно неподходящая для вас пара. На самом деле, Вера, неужели вы сами не видите этого? Чего вы от него еще ждете? На что надеетесь? Развелись с ним, ну и ладно. Оставьте его в покое, устраивайтесь поскорее в новой комбинации, более удачной, с человеком, хотя бы и не столь эффективным, но зато более нормальным. А вас все тянет к старым берегам, вы все лелеете мечту еще раз возобновить с ним связь. Не довольно ли? Не довольно ли этих попыток осуществить неосуществимое? Не забывайте, Вера, что семьи этот человек вам все равно не даст. Только изречет в оправдание своего эгоизма что-нибудь «мудрое», вроде «семья — это государство в государстве». А я дал бы вам семью! Самую обыкновенную, самую простую, человеческую семью! И вся моя жизнь была бы сплошной благодарностью вам, сплошным служением...

— Вы так рассыпаетесь передо мной, Казимир, только потому, что вам нужна женщина, просто женщина, будь то я или какая-нибудь другая. Вся беда ваша в том, что в кругу ваших знакомых в настоящее время нет ни одной свободной женщины, кроме меня. Таким образом, я оказываюсь единственной, имеющейся у вас, так сказать, «под рукой».

— Это по знаменитой теории Шибалина о «знакомых» и «незнакомых»?

— А хотя бы и по ней. И вы напрасно, Казимир, иронизируете над идеей Шибалина: в ней много верного.

— Полноте, Вера, полноте. Вы не ребенок...

— Тшш!.. Вон он идет!.. Нам надо расстаться, Казимир!..

Вера прячется за спины гуляющей публики и делает Желтинскому энергичные знаки.

Желтинский, согнувшись в дугу, растерянно мечется возле.

— Уходите сейчас! — приказывает ему Вера почти с презрением.

Желтинский одной ногой готов лететь прочь, другой мучительно тянется к Вере:

— Когда же мы теперь встретимся с вами?

— Вам говорят, уходите скорее!

Желтинский исчезает.

Вера остается одна. Волнуется страшно. Старается идти своей обычной походкой. Идет, как будто не замечает шагающего ей навстречу Шибалина...

XII

Из глубины бульвара, точно из гулко-го леса, плывут и плывут мягкие, меланхолические, сжимающие сердце звуки оркестра, играющего какой-то вальс.

И так же плавно и так же проникновенно, с печатью глубокой мысли на лице, шествует из того же конца бульвара вместе с жужжащим роем гуляющих парочек крупная фигура Шибалина. У него записная книжечка в опущенной руке.

— Ни-ки-та?? — отступает и притворяется удивленной Вера, столкнувшись с Шибалиным нос к носу.

— Да, я... — серьезно отвечает Шибалин, едва заметно хмурится, опускает глаза.

— Не ожидала, не ожидала сегодня встретиться с тобой, — взволнованно повторяет Вера, а сама жалким и вместе жадным женским взглядом — как-то из-под низу вверх — всматривается в лицо Шибалина, тщетно ища в его выражении чего-нибудь нового, утешительного для себя.

— Сядем, — прежним, не злым, но и не веселым тоном предлагает Шибалин.

Они садятся на первую свободную скамью.

Едва сев, Шибалин прежде всего дописывает в записную книжку мысль, прерванную, было, его встречей с Верой, а теперь снова вдруг промелькнувшую в его мозгу.

Вера с робостью и вместе с тенью насмешки, искоса поглядывает на него, когда он пишет.

— Ты тут работал... Я тебе помешала...

— Ничего, ничего... Ты ведь ненадолго...

Несколько мгновений они молчат. Потом расспрашивают друг друга и рассказывают один другому, как каждый из них жил это время...

— Ведь мы с тобой, Никита, так давно не видались, так давно! — горячо восклицает Вера.

— Да, порядочно... — хмуро отвечает Шибалин. Во время беседы с Шибалиным Вера внимательно следит за ним и вско-

ре замечает, каким упорным взглядом он встречает и провожает проплывающих мимо женщин — ту, эту, всех. И в груди ее вдруг закипает неистовая, чудовищная ревность.

— Сидишь?.. — поднимается все выше и выше ее ненавидящий голос. — Глядишь?.. Выслеживаешь?.. Караулишь?.. Ловишь?.. Ну и как — попадаются многие?..

— Вер-ра! — с укором смотрит на нее в упор Шибалин. — Кто-кто, а ты-то не должна бы говорить обо мне подобных мерзостей! Что с тобой?

— Не смогла удержать себя... — не сразу отвечает Вера и никак не может успокоиться, глубоко дышет. — Слишком обидно было видеть, как ты тут блаженствуешь, в то время когда я так мучаюсь...

— Еще неизвестно, кто из нас двоих больше мучается, — произносит тихо Шибалин и опускает голову.

— А тебе-то что? — бросает Вера на него недоверчивый взгляд. — Ведь тебе все равно: не одна, так другая! Ведь мужчинам даже лучше, если у них каждый раз будет разная! По крайней мере это не свяжет их «сво-бо-ды»! А я женщина, и я не могу так! Мне один нужен! Мне один ты нужен! Понимаешь? Только теперь я поняла весь страшный смысл выражения: не мил весь свет! Мне сейчас, после разрыва с тобой, не только «не мил весь свет», но я даже не вижу этого «света»! Ничего вообще не вижу! Вот гляжу и не вижу! Я только тебя одного вижу! Только ты один всегда у меня перед глазами! И проклинаю тот час, когда сделала такую непростительную глупость: послушалась твоего запрещения иметь от тебя ребенка и согласилась на аборт! С ребенком от тебя мне легче было бы переносить разрыв с тобой! А как я воспитала бы его! Вот из него-то я сделала бы человека! Это был бы второй ты, только лучше тебя, без твоих недостатков! Ведь у меня всегда была мечта: иметь ребенка, чтобы посредством него обновить, перестроить мир! Но не хочу об этом распространяться, раз уже вижу на твоем лице ироническую улыбку...

— Вера! Посредством ребенка обновить, перестроить мир?

— Да! Пусть это наивно, пусть это глупо с твоей точки зрения, но я-то этим жила! Понимаешь: жи-ла! А теперь мне нечем жить, нечем дышать, я пуста, я банкрот!

— Займись опять общественной работой. Помнишь, как ты увлекалась ею когда-то?

— Смешно ты рассуждаешь, Никита! Общественная работа хороша, когда личное устроено, когда не скребет день и ночь здесь! Вернись ко мне — тогда я на какую угодно обще-

ственную работу стану! На любую! На самую трудную! На какую захочешь! На какую скажешь! Мне главное, лишь бы ты был опять со мной! А сколько новых красот женской души открылось бы тебе тогда! Ты увидел бы и узнал многое, чего не видел и не знал никогда! Я все сделаю для тебя, все!

— Вера, не растравляй себя напрасно: не говори о том, что невозможно.

— Почему «невозможно»? Ты, Никита, упрямый человек, страшно упрямый! И никогда не веришь тому, что я тебе говорю! А между тем я уверена, что прежней нашей любви много мешали разные житейские мелочи и больше всего квартирный вопрос! Мы жались в одной комнате, и это постоянно раздражало тебя, настраивало против меня! А живи мы в двух комнатах — как я и предлагаю сделать теперь — тогда бы у нас все шло гладко! Ты жил бы в своей комнате, отдельно от меня, но и я находилась бы рядом, в смежной комнате, всегда у тебя под рукой! Днем мы работали бы, каждый у себя, а вечерами сходились бы вместе, для отдыха и наслаждения... Как хорошо!

— Вера, ты главное упускаешь из вида! Ты главного не хочешь понять! Ты не та женщина, которая могла бы заслонить собой от меня всех остальных женщин земной планеты! И я никогда не уgomонился бы с тобой, никогда! Всегда мечтал бы о другой, лучшей, настоящей

— Никита, я хорошо изучила тебя! Мечтаешь о «другой», «настоящей», «идеальной» ты только теоретически, только как беллетрист! И, гоняясь за отвлеченностью, теряешь то реальное, что имеешь: мою большую любовь! Сойдешься с «другой», причинишь мне боль, а такой любви у той, у «другой», не будет — за это-то ручаюсь! Что же ты выгадаешь? Знаю, ты бежишь от моей любви, как от проказы, потому что до смешного дорожишь своей «сво-бо-дой»... Глупый! А может быть, такой любви у тебя больше не будет! Что ты тогда запоешь? Вспомнишь когда-нибудь меня, пожалеешь, да будет поздно! И вот — чем фантазировать, мечтать о какой-то «другой» — давай-ка лучше попробуем сойтись еще раз, но уже на других, совершенно новых началах!

— Пробовали, Вера, не раз. Сходились, расходились. И ничего не получалось, кроме обоюдной муки.

— Ну — я тебя прошу — попробуем еще разок! Только один разочек! Последний! Уже по-настоящему последний!

— И «последних» было у нас целых три. В четвертом не вижу надобности.

— Но на новых началах!
— Все испробовали, всякие «начала».
— А в разных комнатах не пробовали!
— Как не пробовали? Пробовали. Ты разве забыла?
— То было на разных квартирах, в разных домах, даже на разных улицах, а это будет только в разных комнатах, но в одной и той же квартире!

— Вера! Но я ведь не люблю тебя!

— Никита! Ты это внушаешь себе! Я знаю тебя лучше, чем ты себя! Ты просто боишься, что я опять стесню тебя! Не бойся, не бойся, я теперь не такая. Я слишком много перестрадала за это время! Я дам тебе, как мужчине, полную волю и заранее прощаю тебе все твои будущие вины передо мной, как перед женой! Любовниц позволю тебе иметь! Лишь бы снова быть с тобой, снова иметь возможность заботиться о тебе, оберегать тебя! Видишь, на что я иду! Иметь любовниц никакая жена тебе не позволит, а я позволю — так сильно я люблю тебя!

— Вера, как ты мне ни доказывай это, а в благотворность нашей новой связи я все равно не поверю — никогда, ни за что! Я надолго напуган, я на всю жизнь напуган тем, что у нас уже было! Вспомни, когда мы разводились с тобой в последний раз, то вопрос стоял у нас так: продолжать жить с тобой означало для меня убить себя; разойтись же с тобой значило испортить в глазах обывателей твою женскую карьеру, лишить тебя почетного звания «жены»! И я решился на второе, и ты должна признать, что поступить иначе я не мог: слишком велики были мои страдания!

— Никита, ты любишь говорить о своих страданиях, которые якобы причиняла тебе наша связь! А подумал ли ты обо мне, о моих страданиях, о страданиях женщины, которая беззаветно любит тебя одного и никого другого любить не может? Ты удивляешься, даже сердиться, что я до сих пор не нашла себе «кого-нибудь другого»! Но чувству не прикажешь! Ты писатель и должен это понять! Беда моя в том, что при большом своем темпераменте я не умею ни разбрасываться, ни делиться! Я — однолюбка!

— А я тут при чем? Или ты хочешь, чтобы я свою жизнь, свой талант, свою общественно-писательскую работу принес в жертву тебе, твоему чувству ко мне?

— Нет! От мужчины я жертв не жду! Это только мы умеем жертвовать! От тебя же я хочу, чтобы ты, оберегая от «страданий» свою высокую особу, не закрывал бы глаз и на мои муки! Как ты думаешь: ведь я тоже живой человек?!

— Если ты действительно живой человек, Вера, и притом сознательный, рассуждающий человек, то в теперешних великих своих страданиях ты должна находить и великое утешение, великое удовлетворение!

— Какое именно?

— Ты должна ни на минуту не забывать, что твои муки необходимая дань нашему переходному времени и что ты являешься одной из жертв того всемирного хаоса, в котором до сих пор пребывает проклятый любовный вопрос. Не ты одна — все человечество из-за этой путаницы страдает! И я в том числе, конечно...

— Слабое утешение, Никита, слабое...

— Погоди, погоди, ты слушай... Как ты думаешь, Вера, ради чего ты отпустила меня от себя? Ради чего несешь ты тяжесть разрыва со мной, как не ради того, чтобы дать мне возможность полнее работать над распутыванием той всечеловеческой путаницы в вопросе любви! Ведь живя с тобой, я работать не мог! Таким образом, неся лишения ради моей большой работы, ты тем самым как бы и сама делаешься участницей этого важного дела, как бы вкладываешь в него и свою посильную лепту...

— Натяжка, Никита... Натяжка, шитая белыми нитками, эта твоя «лепта вдовицы»... И вообще все эти философские здания ты возводишь с единственной целью как-нибудь выгородить себя, оправдать свою мужскую жесткость ко мне как к женщине... С этой стороны я тоже очень хорошо узнала тебя. Всюду у тебя не ты виноват, не твое беспредельное мужское себялюбие, а «объективные условия», «эпоха», «переломный момент»... «Переходная эпоха» повинна у тебя и в том, что ты исковеркал мне жизнь, сделал меня почти что сумасшедшей; и в том, что из-за любви к тебе Зина бросилась с Дорогомиловского моста в Москва-реку, а Капа...

— Вер-ра!.. Как не стыдно?.. Это же ложь!.. Ложь, распространяемая обо мне все той же известной тебе группой моих литературных завистников и врагов, против которых я, к сожалению, бессилена!.. И как у тебя поворачивается язык поддерживать клевету, пущенную про меня подлыми людьми?..

— А где же тогда Зина Денисова? Куда она, по-твоему, девалась?

— А я почему знаю? Зина, правда, бесследно исчезла. Зину, правда, в последний раз видели проходящей по Дорогомиловскому мосту. Но разве мало народу проходит за день по Дорогомиловскому мосту?! Что же, их всех прикажешь считать самоубийцами?

— А Капа?

— Какая Капа?

— О! Он даже не знает, какая Капа! Уже забыл! Это замечательно! Превосходно, превосходно! У него столько их бывает, что он даже не успевает запоминать их имена. Вот когда человек сказался! Да Капа, Капитолина, помнишь, комсомолка, в цветном сарафане, в красном платочке, что в Союзе писателей, в день твоей импровизированной лекции, распевала составленную в честь твоей новой идеи песню!

— Ага, теперь помню, помню... Ну и что же? Ведь у меня с ней ничего не было.

— Знаю, что не было! Вы не сошлись в «условиях»! Девчонка с «небесными глазами», прельстившими тебя, оказалась существом очень земным и сразу же поставила тебе крутые требования! Ты же и на этот раз не пожелал урезать свою «сво-бо-ду», и дело у вас расклеилось! Однако девчонка все-таки успела внушить себе, что безумно любит тебя и на этой почве причиняет другим много зла: влюбляет в себя мальчишек, мальчишки целым общежитием гоняются за ней, а она всех их только водит за нос, мучает, воображая, что «мстит всем мужчинам»! И тебе в том числе...

— Вера! Мало ли кто какие делает мерзости?

— Да! Но не надо было кружить голову глупой девчонке! Она возомнила, что делается женой «известного писателя» и поспешила растрезвонить об этом всем, даже написала родным в провинцию! И теперь она так злится на тебя, так злится, что ты не женился на ней!

Шибалин тяжело, тихо, раздельно:

— На меня все женщины злятся, что я не женился на них. Вера глядит на него:

— Как это так «все женщины»? Ну и самомнение у тебя!

Шибалин поправляется:

— Я хотел сказать «все знакомые женщины».

Вера с насмешкой:

— А ты все ищешь «незнакомую», «далекую»?

— Безусловно! Ибо знаю, что, пока не будут сломаны перегородки, разделяющие людей на «знакомых» и «незнакомых», пока все люди земной планеты не согласятся раз навсегда считать себя «знакомыми» друг с другом, — до тех пор человеку не найти себе подходящую пару! И семейные драмы не прекратятся! И проституция будет расти!

Вера подозрительно посматривает на него:

— Знаешь, Никита, ты делаешься маньяком своей идеи о «знакомых» и «незнакомых». Смотри, не спать на ней с ума.

Шибалин мучительно:

— Лучше сойти с ума, чтобы, по крайней мере, ничего не понимать из того, что происходит вокруг, чем ежечасно, ежеминутно наткаться на вопиющую людскую глупость!..

Шибалин вдохновляется все больше, уходит в свою теорию все глубже, говорит все резче... А Вера, слушая его, незаметно возвращается к своему личному горю. С безграничной печалью глядит она в сторону и, как бы сама с собой, тихим, глубоко несчастным голосом повторяет:

— Что же мне теперь делать?.. Что же мне делать?..

Шибалин подчеркнуто-грубо:

— Стараться больше не встречаться со мной — никогда, нигде! Это самое главное из того, что тебе сейчас нужно! А остальное само собой наладится... Время залечит все раны... Явится у тебя, когда надо будет, и новая привязанность...

Демонстративно достает из кармана часы, глядит, морщит лицо, как бы поражаясь, что уже так поздно.

Вера вся вспыхивает. На момент теряется, потом говорит быстро-быстро:

— Не смотри, не смотри на часы! Сама знаю, что пора уходить! Аудиенция у Его Величества мужчины окончена!

И хочет встать и не может — слишком кипит в груди! Сидит, ломает пальцы рук. Под кожей ее лица пробегают нервные вздрагивания...

Шибалин в то же время ворчливо, в землю:

— Говоришь, знаешь, что пора, а не уходишь...

Вера с выражением такой боли, такой обиды, как будто ее хлестнули по щеке:

— Не может без оскорбления! Не может! Не может без плевка! Не может!

Собирает все свои силы, вскакивает. Стоит к нему спиной, судорожно потягивается, корчится вся.

Шибалин по-прежнему угрюмо, медленно:

— Вот видишь, чем дольше ты сидишь со мной, тем больше портишь себе настроение. А если бы ушла раньше...

— Конечно, теперь я тебе не нужна! — говорит с содроганием Вера, не глядя на него. — Я была тебе нужна только до славы, только до известности! А теперь — согласно новой своей теории — ты рассчитываешь выбрать себе подругу из «женщин всей земной планеты!». Ну и выбирай! Мешать не буду! Выби-

рай, выбирай, желаю тебе полного успеха в этом, пол-но-го ус-пе-ха! Оставайся здесь, сиди, наблюдай, выслеживай, выживай дурочек, «Каппочек!». Проводи в жизнь свою новую, упрощенную, ар-хи-сво-бод-ну-ю теорию!

Резко, неприятно, как ненормальная, хохочет уходя:

— Ха-ха-ха!

Шибалин, оставаясь сидеть, низко свешивает со скамьи голову...

Вдали, в глубине парка, некоторое время спустя духовой оркестр рядом мощных коротких аккордов начинает энергичный, зовущий на битву, на борьбу марш.

Шибалин поднимает голову и чувствует, как этот марш вливает в него волны новой бодрости, новой силы, новой уверенности в своей правоте.

ХIII

Шибалин долго ходит по главной аллее, всматривается в лица гуляющих женщин, мужчин — но все же больше в лица женщин — старается разгадать этих незнакомых ему людей, узнать, чем каждый из них доволен в своей жизни, чем недоволен, какими живет стремлениями, какими тешит себя надеждами...

Наконец, утомившись ходить, он падает на первую попавшуюся скамейку рядом с молодой женщиной в платочке, с простым рябым дурковатым лицом.

И Шибалин, настроенный философски, начинает думать об этой женщине: вот рядом с ним сидит женщина, сидит человек, ему незнакомый, и в этом человеке заключен целый мир, совершенно неведомый ему, навсегда закрытый для него...

Кто эта женщина?

Почему она здесь одна?

О чем она сейчас думает?

Как она отнеслась бы к его идее, убивающей в корне и тоску одиночества, и другие человеческие личные беды?

Шибалин смотрит на женщину в платочке, потом отворачивается от нее, громко вздыхает и с большим чувством произносит вслух, обращаясь не то к женщине, не то к самому себе:

— Черт возьми!.. Скверно устроен свет!.. В Москве больше двух миллионов жителей, а обмолвиться живым словом, поговорить по-человечески не с кем!.. Раз-го-ва-ри-вать с «не-зна-ко-мы-ми» вос-пре-ща-ет-ся — ха-ха-ха!..

Потом обращается уже к ней:

— Соседка!.. Помогите мне понять такую вещь: почему разговаривать с «незнакомыми» считается недопустимым?.. И вообще почему люди делят себя на «знакомых» и «незнакомых»?.. Почему бы всем жителям земной планеты раз навсегда не сговориться считать себя «знакомыми» между собой?.. Между прочим: когда я развиваю подобную мысль, находятся умники, которые принимают меня за сумасшедшего... Ну, а вы, соседка, как думаете об этом?.. Каково ваше мнение на этот счет, мнение человека, так сказать, выхваченного мною из массы?

Женщина в платочке сидит боком к Шибалину, молчит, не двигает ни одним мускулом, точно парализованная.

— Чего же вы молчите? — внимательно присматривается к ней, к одной ее щеке, Шибалин.

Женщина в платочке перестает свободно дышать, незаметным движением постепенно поворачивается к Шибалину спиной.

И в дальнейшем Шибалин разговаривает уже с ее затылком.

— Гражданка!.. Будьте добры, скажите — мне это очень важно знать, — что вы переживаете, какие чувства, какие мысли, когда вдруг с вами заговаривает человек, лично вам незнакомый, т. е. не представленный вам третьим лицом, как, скажем, в данном случае я?..

Женщина в платочке не издает ни звука, незаметно отъезжает от Шибалина к концу скамейки.

— Вы молчите... — утвердительно замечает Шибалин вслух, тоном ученого, передающего свои наблюдения третьему лицу для записи в соответствующий журнал. — И я вижу, как весь ваш организм, как какой-нибудь сосуд, снизу доверху наполняется чувством растущего суеверного страха. В общем это, конечно, замечательно... Но только, если смотреть на это с точки зрения научной, объективной... Что же касается лично моего отношения к этому, то ваше молчание кажется мне странным, очень странным. Скажите, а как вы сами понимаете его?.. В чем тут, собственно, дело?.. Какое я совершаю против вас преступление, когда заговариваю с вами, не будучи с вами «знаком»?..

Женщина в платочке сидит на самом кончике скамейки, затылком к Шибалину и продолжает молчать.

Шибалин, глядя ей в спину, восклицает тоном удивленного восхищения:

— Как это, однако, хорошо!.. Ах, как интересно!.. Какая все-таки роскошь!.. Кто бы мог этому поверить, а между тем это дейст-

вительно так: вы молчите и молчите!.. Ваше молчание дает мне так много, так много!.. И в данную минуту я очень благодарен вам за него, очень!.. Давно мое сердце не билось так, как бьется сейчас!.. Но, гражданка, помолчали и — довольно!.. Для меня, для моей науки, для моей идеи вашего молчания вполне достаточно!.. Теперь скажите мне хотя несколько поясняющих слов, ответьте на вопросы, которые я вам только что ставил! Ну, говорите же!

Женщина в платочке совсем съезжает со скамейки, висит седалищем в воздухе, рядом со скамейкой. На искаженном паникой ее лице, на готовой к прыжку позе написано, что она рада бы сорваться с места и побежать, да только не решается сделать первое движение, как не решаются убежать от злых собак.

— Ну, пророните хотя одну фразу, и с меня будет довольно! Мне для моего дела очень важно узнать, какая будет эта фраза! Скажите, не будет ли она ругательством по моему адресу? А? Я угадал? Да? Нет? Но отчего же вы все молчите? Объясните, наконец!

Женщина в платочке, согнувшись вдвое, продолжает висеть в воздухе рядом со скамьей. Вот она обоими указательными пальцами, как пробками, демонстративно затыкает оба уха.

Шибалин при виде этого откидывается на спинку скамьи и раскрывает от удовольствия рот.

— Замечательно, замечательно! Необыкновенно, необыкновенно! Прекрасно, прекрасно! Такого, — он затыкает себе оба уха, — такого нарочно не придумаешь! Я страшно рад! В погоне за великими открытиями люди снаряжают экспедиции на Северный полюс, проектируют полеты на Луну! Но зачем это делать, зачем так далеко ходить, когда не менее грандиозные открытия каждый из нас может делать у себя под рукой! Что может, например, сравниться с открытием, которое я сделал сейчас? Разве не поучительно было бы, к примеру, выяснить, сколько «куль-тур-но-му» человечеству понадобилось ухлопать «об-ще-ствен-ной» работы для того, чтобы до такой степени оболванить живого человека?..

Кивает в сторону женщины в платочке. Продолжает громко развивать свою мысль...

А она, воспользовавшись его увлечением собственной речью, внезапно срывается с места и, не разгибая согнутой спины, точно у нее схватило живот, широкими шагами уносится прочь.

Шибалин, проводив ее смеющимися глазами и оставшись один, выхватывает из кармана записную книжку, карандаш и пишет, пишет...

В то же время где-то за поворотом раздается протяжный, запыхавшийся, смертельно-перепуганный крик женщины в платочке:

— Ма-да-моч-ки!.. Не ходите той дорожкой!.. Обойдите лучше вокруг!.. Там какой-то че-ло-век сидит!..

XV

Шибалин приглядывается к новой, сидящей в одиночестве женщине — к женщине в шляпке. Он проходит раз мимо нее в одну сторону; поворачивает обратно, проходит во второй раз; потом в третий раз идет прямо к ней и садится рядом.

— Гражданка! Очень извиняюсь, что, не будучи с вами «знаком», я, тем не менее, осмеливаюсь разговаривать с вами! Конечно, при нормальном порядке вещей, вернее, при нормальных людях, извиняться в таких случаях не приходилось бы! Но принимая во внимание... и так далее, и так далее, я принужден извиниться! Прежде всего спешу предупредить: пожалуйста, не подумайте, что я заговариваю с вами в поисках романтических приключений или чего-нибудь вроде! Нет! В настоящую минуту я очень далек от этого! Я увлечен сейчас совсем иным! Меня преследует одна идея, в спасительность которой для человека и человечества я беспредельно верю! Мне остается только проверить способность массовых людей к восприятию этой идеи! В соответствии с чем я и хочу задать вам сейчас один чисто теоретический вопрос...

По мере того как Шибалин говорит, женщина в шляпке каменеет все более и более.

— Простите, гражданин, — наконец перебивает она его речь, ни разу так и не взглянув в его сторону, — но я с вами не раз-го-ва-риваю.

— Почему? — спрашивает Шибалин с лицом ребенка.

Женщина в шляпке с достоинством рубит:

— Потому что я с вами незнакома!

На лице Шибалина появляется улыбка:

— «Знакомы», «незнакомы», какие это пустяки! Ну давайте тогда совершим эту церемонию, «познакомимся», если вы непременно хотите.

— Простите, я этого совсем не хочу!

— Почему?

— Как почему? Странный вопрос!

Пусть будет странный, но вы-то все-таки ответьте мне на него, я вас очень прошу об этом.

— Однако как-кое нах-халь-ство!

— Нахальство так нахальство. Говорите что хотите. Только не молчите. В целях, о которых я вам уже говорил, мне необходимо услышать от вас, почему вы отказываетесь «по-зна-ко-мить-ся» со мной?

— Очень просто почему: потому что я вас совсем не знаю!

— Вот тогда узнаете, когда познакомитесь.

— Я на ул-ли-це не знакомлюсь!

— А какая разница: на улице познакомиться или под крышей?

— Значит есть разница!

— Какая?

— Есть!

— Это только вы так думаете.

— Ничего подобного! Не я одна! Все так считают!

— И для вас этого достаточно, чтобы принять без критики глупый обычай?

При слове «глупый» женщина в шляпке с возмущением передергивается и принимает еще более неприступный вид.

Шибалин продолжает, так ни разу и не увидев ее лица:

— Гражданка! Неужели вы не сознаете, что в этом «принятом» обычае нет абсолютно никакого смысла, что это пережиток, который давно пора сдать в архив? Неужели вы, жительница большого города, сами никогда не попадали в такое же досадное положение, когда с одной стороны у вас вдруг появлялось сильное желание «познакомиться» с каким-нибудь симпатичным вам лицом того или другого пола, а с другой стороны вас останавливал страх перед идиотским обычаем, запрещающим это?

При слове «идиотский» женщина в шляпке вскидывается на скамье, как рыба на песке. И умолкает еще крепче, еще упрямее, злее.

— Почему же вы замолчали? Так хорошо говорили, а потом вдруг...

— Я вам, кажется, по-русски сказала: с нез-на-комы-ми не раз-го-ва-ри-ваю!

— Но ведь вы уже разговаривали со мной!

— И не думала!

— А сейчас разве не говорите? Все равно уже поговорили — оскоромились, давайте будем говорить — скоромиться дальше.

Женщина в шляпке как сидит, так и взрывается на месте бомбой:

— Йох!..

Встает на ноги. Стоит. С лицом мученицы обращается к проплывающим над деревьями белым облакам:

— Одной минуты не дают посидеть спокойно!.. Не один, так другой!.. Так и лезут, так и лезут!.. Уже десятую скамейку меняю!..

Пружиной отскакивает от скамьи. И в момент исчезает, тонет в проплывающей мимо публике.

Шибалин весело пишет.

XVI

Проходит четверть часа, и Шибалин уже сидит рядом с молодой, миловидной женщиной в женской кепочке с узеньким кожаным козырьком, насунутым на глаза.

— Не знаю, с какими словами удобнее к вам подойти, гражданка, чтобы вы не испугались и не убежали!

Миловидная женщина поднимает на него удивленный взгляд.

Он горячо продолжает:

— Имейте в виду, гражданка! Ни денег, ни любви я у вас не прошу! Я прошу только разрешения побеседовать с вами на одну очень волнующую меня тему! Я исследователь, работаю над вопросом о человеческих взаимоотношениях вообще, людей же разного пола в особенности. И мне необходимо узнать мнение на этот счет возможно большего числа людей! Но это не статистика, нет! И мне нужны не цифры, нет! Словом, надеюсь, вы не воспрепятствуете мне попросту, по-человечески побеседовать с вами?

Миловидная, делая движение узкими плечиками:

— Пожалуйста.

Шибалин почти растроганно:

— Благодарю вас, гражданка! Благодарю! Кажется, это пустяк, а между тем это такая редкость в наше культурное время! Значит, вы не из числа тех, которые принципиально не разговаривают с «незнакомыми»?

— Отчего же не поговорить с человеком? Конечно... если мужчина не позволяет себе ничего лишнего.

— Ну, это само собой разумеется. А вообще-то вы, гражданка, ничего не имеете против так называемых «уличных знакомств?».

— Нет, имею, — кивает миловидная козыречком. — И даже очень. Это я только с вами так разговариваю — сама не знаю почему.

— Гм... Что же вы имеете против? Что именно?

— Вы спрашиваете о знакомствах на улице с мужчинами? — смотрит она прямо в лицо Шибалина.

— Ну, допустим, что с мужчинами, — отвечает Шибалин.

— Видите что, гражданин... Мужчина в таких случаях всегда подходит к женщине с... грязной целью.

— Как это с «грязной»?

— Так, с грязной.

— Что вы называете «грязной целью» мужчины?

— Это когда... как бы вам сказать... ну, когда попользоваться женщиной несколько времени и — до свиданья!

Шибалин улыбается:

— Быть может, вы и мой подход к вам поняли так же!

Миловидная смущенно смеется:

— Нет, нет, зачем же. Я обо всех так не говорю. Я говорю только об очень молодых, о мальчишках. А вы... вы мужчина солидный.

— Немного странно, гражданка: вы сами еще так молоды, а по вашим словам выходит, как будто вы не очень милуете молодых.

— А что с них, с вертунов? Связаться с молодым — это значит на какие-нибудь два-три дня.

И она пренебрежительно поджимает губы.

— А вы хотели бы навеки? — осторожно спрашивает Шибалин.

— Во всяком случае, не на короткое время. Каждая женщина этого хочет. Кроме, конечно, ветреных.

— А мужчины? А они, по вашему мнению, чего хотят?

— О мужчинах вы сами очень хорошо знаете. Мужчине лишь бы сегодня поиметь с женщиной, а завтра он с ней уже незнаком. Вот что такое ваши мужчины! Есть многие из мужчин, которые, случайно встретившись на улице с барышней, на другой день назначают ей еще одно свидание: она сидит, мокнет на дожде или мерзнет на морозе, а они не приходят, уже ищут другую, более интересную. Одним словом, скоти!

— Чем же вы объясните подобное «скотство» мужчин?

— Завистью. Мужской завистью. Есть такая мужская зависть: как бы мужчине ни было хорошо с одной, он все равно будет пялить глаза и на других.

— Зависть ли это? А не природа?

— Какая может быть тут природа, когда одна у него уже есть? Женщина, когда находит себе постоянного мужчину, она Бога за это благодарит, — а не то что кидаться к другим, как это делаете вы, мужчины! Конечно, и среди вас тоже бывают хорошие исключения...

Шевелит длинными ресницами под козырьчком и оценивающим взглядом скользит по его ботинкам, потом по платью, потом по шляпе. Тонем утверждения спрашивает:

— А вы что... где-нибудь служите?

Шибалин:

— Нет.

Тонем еще большего утверждения:

— Чем-нибудь торгуете?

Шибалин:

— Нет.

Она:

— Как же так? Нигде не служите, ничем не торгуете...

Шибалин:

— А вот ухитрюсь.

Улыбается, достает записную книжку, карандаш, быстро, по-писательски набрасывает несколько полуслов, прячет.

Миловидная успокоенно:

— Ага. Теперь знаю. Из уголовного розыска.

Шибалин смеется:

— Нет, нет. И не из уголовного розыска. Но в конце концов это и не так важно, какая моя профессия.

— Ну нет. Все-таки хотелось бы знать...

Искоса поглядывает на него серьезными глазами.

Шибалин потешается над ее взглядом, хохочет:

— Почему вы так подозрительно смотрите на меня?

— Очень просто: потому что совсем не знаю, кто вы. Может быть, вы даже женатые.

— Ага, вот вы чего боитесь!

— К сожалению, на московских мужчин приходится так смотреть.

— Видно, московские мужчины здорово вам насолили.

— Не мне. Одной моей подруге. Раз к ней тоже вот так на бульваре, не хуже, как вы сейчас ко мне, подсел такой же суфлер. Наговорил ей! Напел! Чего только не наобещал! А она развесила уши, поверила и согласилась. Он пожил с ней несколько времени, повытаскал из сундука последнее и скрылся

Вот видите, какие бывают мужчины! Чем с таким связываться, лучше век жить одной, себя переламывать.

Шибалин:

— Да. Если только позволит природа себя переламывать.

Миловидная уверенно:

— Природа у меня крепкая. Это мне все говорят. В мои годы редко какая девушка так живет. Не стыдно и замуж за хорошего человека выйти: глупостям не поддавалась, себя сохранила. А другие, мои однолетки, думаете, как живут? От них можно даже болезнь нехорошую получить. Одна моя подруга — не та, а другая — она раньше вместе со мной на дому шила, а потом раз приходит откуда-то и говорит: «Чем сдельно получать и каждый раз работу искать, лучше на пошивочную фабрику на месячное жалованье поступить». И стала она из дому пропадать. Как вечер, так принарядится и на улицу. Я ее спрашиваю: «Почему ходишь вечером?» Она: «На вторую смену». Понятно, я сразу догадалась, на какую «вторую смену» она ходит. И как-то говорю ей: «Лучше брось, а то придет время — пожалеешь, да будет поздно». А она: «Пока не справлю на себя все самое дорогое, самое шикарное, до тех пор ни за что не брошу». И что ни неделя, то у нее какая-нибудь хорошая обновка: из платья, из белья, из обуви... Вот видите, какие и среди нас бывают! Она не подруга моя, а коешница — койку снимает у меня..

— Ну, а вас она не соблазняла поступить на ту «пошивочную фабрику»?

— Меня? Ну нет. Меня ничем временным не соблазнишь. Я не позволю себе сегодня с одним, завтра с другим. Я ищу мужчину самостоятельного, а не какого-нибудь Ваньку. Чтобы никогда ни он от меня, ни я от него. Чтобы во всякое время находиться вместе. Одним словом, как муж с женой. А вы — что? Вы... тоже... присматриваете себе девушку? Вам какую, на постоянно или только так, время поведать?

— Ни ту ни другую... Никакую...

Миловидная с недоверием:

— А чего же тогда вы тут... сидите?

— Дышу свежим воздухом.

Миловидная недовольно воротит лицо в сторону:

— «Воз-ду-хом»?

И с разочарованной миной на хорошеньком светленьком личике поднимается с места:

— Ну, мне пора идти. Надо еще зайти к одной подруге. Прощайте.

Шибалин, пылливо наблюдая за ней:

— Всего вам хорошего, гражданин. Вы, пожалуйста, извините меня...

Миловидная задерживается на месте:

— За что же вас «извинить»?

— Да что так... неудобно вышло. Мне очень перед вами неловко...

— Почему же это вам передо мной «неловко»?

— Да потому, что я с вами как-то так... не того...

— Ну что ж. Ничего. Быть временной я все равно не согласилась бы.

Шибалин с усмешкой:

— Я не об этом...

Миловидная с раздражением:

— А я об этом!

Глубже натягивает на глаза кожаный козырек и рассерженно удаляется прочь. В такт быстрым гневным шагам дергает нежными плечиками: дерг-дерг-дерг...

Шибалин провожает ее внимательными изучающими глазами.

XVII

Удобно развалившись на скамейке и смело глядя всем проходящим мужчинам в глаза, сидит в одной из аллей бульвара пожилая, упитанная женщина с очень грубыми чертами лица. Ее толстый мужичий нос и аляповато нарумяненные мясистые щеки вызывают усмешки и остроты прохожих. Ее наряд как нельзя более подходит к ее безобразной наружности. На ней старомодное, пышное, кричаще-пестрое, шелковое платье, все в ярусах, сборках, вышивках, лентах, кружевах, переливающихся всеми цветами радуги, и такая же допотопная синяя шляпа с громадным канареечно-желтым крылом от неизвестной птицы. Когда эта дама делает какое-нибудь движение, все ее шелковое одеяние всеми своими радужными ярусами и синяя шляпа с желтым крылом издают сложное сухое шуршание, вызывающее в памяти тонкий звон на пустынном ветру металлических цветов на могиле.

Поймав на себе удивленно-заинтересованный взгляд проходящего мимо Шибалина, женщина с безобразной наружностью быстро подбирает в руки полы своих звенящих платьев

и вместе с ними делает галантное движение вбок, вдоль скамьи, как бы освобождая для него рядом с собой местечко.

Шибалин принимает немое приглашение и садится.

— Сознайтесь, гражданка, вам, женщинам, делается очень страшно, когда вдруг на одну с вами скамейку садится «незнако-мый» вам мужчина?

Безобразная важно надует толстые губы:

— Смотри какой мужчина. Мужчины бывают разные: одни интересные, другие нет... Хотя, конечно, в настоящее время разбирать не приходится.

— Значит, ничего, что я к вам подсел и заговариваю с вами?

— Конечно, ничего.

— Но вы, быть может, поджидали на это место кого-нибудь другого, своего знакомого?

— Нет, нет. Теперь не до жданыя. Теперь лишь бы прокормиться. Вот вчера взяла у квартирной соседки пять рублей на расход, обещала сегодня вечером отдать, а где их взять? Пять рублей деньги небольшие, но и тех нет...

Все еще важничаящими глазами оглядывает его ботинки, костюм, шляпу... Потом глядит ему в лицо, соображает, пожевывает губами, спрашивает:

— А вы что... где-нибудь служите?

— Нет.

— Чем-нибудь торгуете?

— Тоже нет.

— Как же так? Не служите, не торгуете...

— Так.

— Чем-нибудь же занимаетесь?

— Занимаюсь.

— Можно поинтересоваться, чем именно?

Шибалин уклончиво:

— У меня, так называемая, свободная профессия.

Женщина обиженно надувается всеми своими ярусами, сборками, лентами, кружевами.

— Какая же это у вас «сво-бод-ная про-фес-сия»? — спрашивает она с возмущением.

— Литературная.

— Что-о?

— В редакции работаю.

Проверяюще смотрит на него:

— В газете?

— Предположим, в газете...

— Так бы и сказали, — облегченно вздыхает она, еще раз испытующе оглядывает его, потом прибавляет: — Знаю. Это если где что случится: кража или пожар. За убийство в газетах дороже всего платят. Я сама почти что каждое воскресенье «Рабочую Москву» беру. Три копейки не деньги, а по праздникам вместе с приложениями одной бумаги около фунта дают... Наверное, прилично получаете?

— Да... Ничего... А вы, гражданка, тоже где-нибудь работаете?

Безобразная, насмешливо наморщив свой толстый мужской нос:

— Работать-то работаю. Да какая наша работа? Нашей работой нынче много не заработаешь.

— Почему так?

— Потому что подсаживаются больше для разговору. Тот посидит, поговорит и уйдет; другой посидит, поговорит и уйдет...

— Ах, вы вот об чем!

— Да, об этом. Я хочу, чтобы и мне тоже интерес был! Завтра, например, за квартиру платить, а где их взять! На улице не валяются...

— Да... — вздыхает Шибалин протяжно. — Да-а... — вздыхает он во второй раз, еще протяжнее. — Материальный вопрос — большой вопрос. А я сперва было не понял вас...

Безобразная с недовольной гримасой:

— Не поверю, чтобы мужчина не понял. Я никогда первая о финансах мужчинам не говорю. Мужчина, если он порядочный, должен сам догадаться. На самом-то деле, как вы думаете, с какой стати женщина будет поганить себя с мужчиной задаром? Тем более теперь, когда на все продукты такая дорогая визна: мясо первый сорт сорок четыре копейки, масло, сливочное, экспортное, девяносто шесть...

Шибалин смущается:

— Гм... Так что, гражданка, я, возможно, помешал вам столкнуться с кем-нибудь... другим, более... подходящим? Быть может, мне сейчас лучше уйти?

Безобразная делает злые глаза:

— Уйти?! Когда столько время уже сидели, тогда уйти?!

И канареечно-желтое крыло, встав на ее шляпе вертикально, вдруг начинает напряженно трястись, точно угрожая Шибалину жестокой расправой.

Шибалин теряется:

— Могу и не уходить...

— Этого мало, что вы можете не уходить!
— Это вы что?.. Опять насчет того?.. Насчет «финансов»?..
— А конечно! Что же вы думаете, я на готовенькие денежки живу? И раз мужчина столько время уже сидел, столько разговаривал с женщиной, тем более, если это порядочный мужчина!
— Понимаю...
— Я думаю, должны понимать!
— Я не отказываюсь компенсировать... за отнятое у вас время... — берется за карман Шибалин.

Лицо безобразной смягчается. Крыло на шляпе успокаивается, падает.

— Только смотрите, гражданин, не подумайте, что я какая-нибудь такая... пропащая. Нет!

Шибалин недоуменно улыбается:

— Тогда, признаться, я окончательно не понимаю, с кем же я имею дело?..

Безобразная гордо:

— Вы имеете дело с очень порядочной женщиной! Дома у меня есть муж — вот обручальное кольцо — но одного его жалованья нам не хватает, а других источников нет, вот и приходится мне иногда выходить. То ему на ботинки надо, то мне на ботинки; то ему на теплое к зиме, то мне на теплое... А там, смотришь, членские в профсоюз вносить или опять время подошло за квартиру платить, как вот сейчас...

Шибалин роется в кошельке.

Она умолкает, следит за его рукой.

Он, не зная, сколько дать, смущенно бормочет:

— Насчет этого... насчет финансов...

Подает ей в зажатой ладони:

— Вот вам. Сколько есть.

Она берет, смотрит сколько, прячет.

— Спасибо, что хоть сколько-нибудь помогли. Мне многие мужчины вот так же сочувствуют. Другой зайдет со мной в отдельный кабинет при кафе, поглядит на меня, задумается, да как побежит вон из комнаты! Правда, сперва уплатит мне, сколько следует... В общем, скажу прямо: до сих пор на мужчин мне везло. Почти что ни один не обманул. Кто за сколько договорится, тот столько и дает. Редко-редко который, не заплатив, хитростью убежит: или через черный ход, или через окошко в коридоре.

— И такие бывают?

— А еще бы!.. Но таких небольшой процент... Правда, я очень разборчивая в мужчинах, капризная, с каждым не пойду,

а только глядя по человеку... Знаете что, гражданин? Запишите-ка, на всякий случай, мой адресок. Может, когда-нибудь пригодится: надумаете зайти. Такого человека, как вы, я и дома во всякое время могу принять.

— А муж?

— А что муж? Муж какие-нибудь полчаса может и в коридоре под дверями постоять. Или возьмет шляпу да выйдет пройтись по улице.

— Значит, он знает?

— Понятно, знает. Он же видит, откуда у нас в доме берется все: и сыр, и масло, и ветчина, и печенье, и кофий...

— И не протестует?

— Чего же ему особенно протестовать? Если бы я бесплатно, а то ведь я за деньги. И в общем ему от меня набирается немаленькая польза. Редко какая жена помогает мужу на такую цифру, как я. Муж меньше меня зарабатывает. Адресок записали?

— Нет...

— Почему?

— Так... Лучше когда-нибудь тут встретимся...

— Нет, нет, вы запишите, потому что я не во всякую погоду выхожу. И мало ли что может случиться!

Она диктует, он пишет.

— Записали? Ну, вот и хорошо. Вдруг пригодится! Я всем хорошим мужчинам велю записывать мой адрес, потому что многие сперва отказываются, говорят, что не хотят, а потом, смотришь, приходят. Такие даже еще скорей других приходят. А кто ко мне раз придет, тот постоянно будет ходить. Ну, прощайте!

Она встает и уходит, шурша своими многослойными нарядами и оставляя после себя в воздухе след странных, сладких, тошнотворных духов.

Шибалин сидит. Думает. Долгое время не хочет браться ни за карандаш, ни за бумагу...

XVIII

В боковой малолюдной аллее, у самой ограды, Шибалин встречает своеобразную, хотя для больших городов и довольно обычную процессию.

Впереди, ни на что не обращая внимания, точно созная свою непобедимую силу, плывет с царственным видом картин-

ная красавица — молодая, высокая, стройная женщина — с таким лицом и с такими глазами, что каждый встречный невольно приписывает ей все человеческие достоинства и ни одного недостатка. Вероятно, поэтому за ней, как хвост за кометой, длинно тащится, расширяясь к концу, рой мужчин: старых, юных, красавцев, уродцев... Почему-то особенно много последних. У всех мужчин переполошенные лица, расширенные глаза, испуганная, неровная, спотыкающаяся походка на ослабевших, как у пьяных, ногах...

Шибалин тотчас же узнает среди мужчин процессии и прежнего чахоточного вузовца, только уже без вузовки, и заведующего, но без машинистки, и старого привычного супруга, без супруги, и недавно женившегося вместе с желающим жениться...

И только двое последних делают героические попытки познакомиться с гордо шествующей красавицей. Остальные же, очевидно, не надеясь на свои данные, лишь бегут за нею издали, при каждом повороте красавицы по-мальчишески рассыпаясь в кустах.

Вот желающий жениться догоняет красавицу, забегает на несколько шагов вперед, останавливается, принимает художественную позу, кривит лицо в ласковую улыбку, пропускает красавицу мимо, смотрит ей в спину, в икры, чмокает губами, как бы восклицая:

— Вот это — да!

Потом к недавно женившемуся другу, подбегающему к нему:

— Знаешь, эта еще лучше той, третьегоднешней! А я-то думал, лучшие не бывают — бывают! Ты вот что, не путайся у меня под ногами, сядь тут! Имей в виду: пока я добровольно не откажусь от нее, до тех пор она — моя! А если у меня с ней ничего не выйдет, тогда можешь приниматься за нее ты! Только тогда! Понял?

Недавно женившийся послушно, хотя и неохотно, садится на скамейку:

— Понял, понял, не кричи. Не горячись... Очень распорядяешься.

— Чего там «очень»! Сиди и молчи, раз тебе говорят!

Поправляет на себе платье, начищает кончики ботинок, поэтически приминает с одного боку шляпу:

— Я сейчас опять забегу ей вперед. И заставлю-таки заговорить со мной по-человечески.

Догоняет красавицу, идет рядом, наклоняет к ней заискивающее лицо, вбирает в себя живот, подрагивает задом, как птица хвостом:

— Гражданка! Пожалуйста, чего-нибудь не подумайте! У меня нет никаких низких намерений! Я только прошу вашего позволения пройти с вами несколько шагов, познакомиться, поговорить, узнать...

— Что-о? — поводит в его сторону надменно-насмешливым взглядом красавица, вдруг круто поворачивает назад и идет в обратную сторону.

Он — за ней.

— Я вас, конечно, понимаю, гражданка: поступать с нашим братом иначе нельзя! Но вы все-таки сперва поинтересуйтесь узнать, кто я, а потом уже уходите от меня — уйти всегда успеете! Я не хулиган, не бандит и не кто-нибудь вроде! Я мирный московский житель, советский служащий, имею квалификацию, могу документы показать...

Дрожащими руками суетливо роется в карманах, высыпает из них какую-то слезавшуюся труху, долгое время ничего не находит... Наконец, где-то, за подкладкой пиджака, натывается на истертую бумажонку в осьмую листа. Сует бумажку красавице:

— Извиняюсь! Документов, к сожалению, сейчас при мне не оказалось, остались в новом пиджаке! Но вот бумажка, тоже могущая служить удостоверением личности: именной ордер на получение из склада «Москвотоп» полсажени березовых дров!

Красавица идет, с брезгливой гримасой отстраняет от себя бумажонку:

— Ах, отстаньте вы с вашим ордером! Сказала не приставайте, значит, не приставайте!

Желающий жениться прижимает руки к груди с клятвенным выражением лица:

— Выскажусь до конца и уйду!

— Не желаю я ваших высказываний!

Она сворачивает вбок.

Он галантным прыжком за ней:

— Почему не желаете? И как вы можете не желать, когда вы даже еще не знаете, что я хочу вам сказать? А вдруг я сообщу вам что-нибудь очень важное!

— Все равно не хочу!

— Но почему?

— Потому что не хочу!

Она вторично поворачивает назад, предупредив его:

— Не подходите ко мне! Идите своей дорогой!

— Я не подхожу. Я только так. Мне только высказаться, а то потом всю жизнь буду каяться, что не сделал всего, что мог. Выскажусь и уйду! Навсегда уйду! На всю жизнь!

— Уходите сейчас!

— Уйду, если разрешите вымолвить вам только одну фразу...

— Ни одной!

— Одно слово...

— Ни полслова!

Она от него, он за ней; она от него, он за ней... Рядом быстрых движений то в одну сторону, то сейчас же в противоположную она в конце концов отделяется от него.

Измученный, апатичный, больной, он далеко отстает от нее, направляется к другу, падает возле него на скамью, как сраженный. С лицом умирающего:

— Ф-фуу!.. Замучила!.. Прямо убила, насмерть убила!.. Ни с какой стороны подступа нет!.. И так пробовал, и так!..

— А вблизи она какая: тоже интересная?

— Ого!.. Царица!.. Богиня!.. Вот такой жене я согласился бы подчиняться во всем, решительно во всем!.. Скажет: «Укради». Украду! Скажет: «Убей». Убую! Лишь бы только пожить с ней, с такой!

Устало смыкает глаза. Сидит, бессильно разметавшись по скамье, как мертвое тело.

Друг, смеясь, глядит на него:

— Идиотина! Какой ты ей документ совал?

— Это так... Ордер на дрова...

— Ха-ха-ха! На какие дрова?

— На березовые...

— Вот дурачина! Зачем же ты ей ордер на березовые дрова совал?

— Растерялся... Не сознавал, что делал, что говорил... Руки трясутся, ноги трясутся, все трясется... Такая красавица!.. Смотрел бы на нее и смотрел!.. До самой бы смерти смотрел!.. И вот кому-нибудь достанется... А кому? Быть может, какому-нибудь негодяю... А тут, когда, кажется, у тебя все данные есть, никак не можешь познакомиться с ней...

Друг, недавно женившийся, поднимается со скамьи, прихорашивается, готовится:

— Значит, теперь можно попытаться счастье мне?

— Валяя... Попробуй... Если познакомишься — меня познакомишь...

— Ладно. Там посмотрим.

Уходит от скамьи. Идет, подтягивается, смотрится на свою тень на земле вместо зеркала. Завидев недалеко красавицу, отдыхающую на скамье, садится рядом.

Вспоминает, что сегодня взял из комода чистый носовой платок. Достает белоснежный платок из кармана, долго демонстрирует его перед глазами красавицы. Но она — ноль внимания на платок, на него и на что бы то ни было. Тогда он начинает настойчиво сморкаться в хороший платок. Сморгнется и глядит на красавицу. Сморгнется и глядит, вертя в руках интеллигентную вещьцу.

Рассуждает вслух:

— Насморк не насморк. Не разберешь что. Какая-нибудь простуда привязалась. А, может быть, это просто так и скоро пройдет...

Красавица сидит, не подает никаких признаков жизни.

Тогда он прячет платок и коротко, вкрадчиво заговаривает с ней:

— Вероятно, отдыхаете?

Она с презрением.

— А вам какое дело?!

Он, оторопев от ее резкости, тихо:

— Как «какое дело»? Все-таки интересно...

— А почему я вас не спрашиваю, что вы делаете: отдыхаете или гуляете?

Он радостно вздрагивает:

— Можете спрашивать! Буду счастлив отвечать на все ваши вопросы, на все вопросы! Вот хорошо!

Она молчит.

— Отчего же вы не спрашиваете? Сами обещали спрашивать...

Она в знак протеста топает в землю сразу обеими ногами и закрывается от него воротником летнего пальто.

Тянется долгая пауза, во время которой он придумывает ряд новых вопросов:

— Должно быть, недавно вышли из дому?

Слышно, как она, вместо ответа, негодуяще пырскает носом.

Он:

— По всему вероятно, уже скоро пойдете домой?

Она со стоном отчаяния:

— Да, да! Из дому! Домой! Только отвяжитесь, пожалуйста, от меня! Чего пристааете?!

Он некоторое время убито молчит, потом достает часы, глядит на циферблат:

— Знаете, уже который час?

Она отмалчивается.

Он прячет часы. Утомленно вздыхает. Разминает засидевшиеся суставы. Придумывает, что бы еще сказать — не обидное и не глупое.

— И не боитесь одни бульваром ходить?.. Вы женщина и вам надо бы остерегаться... Особенно этими боковыми малолюдными аллеями... Сюда все-таки разная публика ходит... Хорошо еще, что вам повстречался тут такой человек, как я, который может представить о себе любые рекомендации, от лиц партийных, беспартийных, от красных, белых, от каких хотите... А другой подошел бы к вам и совсем иначе запел...

Красавица вскакивает, стоит. Набирает полную грудь воздуха. Думает, решает, что делать.

Он тоже встает.

— Нагулялись? Конечно, уже такой час, что пора и домой. Кстати, я могу вас проводить. А то я видел, как тут одна подозрительная личность уже привязывалась к вам...

Красавица надменно бросает слова через плечо, точно плюется в его сторону:

— Не нуждаюсь я ни в каких провожатых! Сидите себе! Сама дорогу найду!

Сделав от него шаг, она останавливается, поднимает лицо, проясняется, бодро улыбается вдаль:

— А вот и мой муж идет. Наконец-то!

Делает мужу зовущее движение рукой, как бы говоря: «Скорей, скорей!»

При слове «муж» недавно женившийся прячет между плеч голову, отлетает мячом по воздуху сперва в одну сторону, потом в другую, точно заяц, путающий следы, затем по прямой линии мчится к своему другу, делает ему еще издали сигналы опасности, и оба они исчезают.

Сразу разлетаются кто куда и все другие мужчины, чьи бледные от волнения лица все время мелькали в зеленых кустах.

Красавица, вздохнув свободно, успокоенная, довольная, возвращается на свою скамью. Но ее гордом лице играет улыбка победительницы...

ХІХ

— Конечно, этого никто не будет отрицать, вам, женщинам, трудно с нами, с мужчинами! — тотчас же говорит ей Шибалин, смело усевшись с ней рядом, точно хороший ее знакомый. — Но согласитесь, гражданка, что и нам с вами, с женщинами, тоже не легко!

И Шибалин хорошо, вдумчиво улыбается ей, приветливо глядит на нее.

Красавица в ужасе отскакивает от него. Сидя на другом конце скамьи, вздергивает руками, ногами, головой, спиной, животом:

— Еще один!!! Уже который???

Потом умоляюще к Шибалину:

— Гражданин, оставьте хотя вы меня в покое! Дайте мне хотя несколько минут посидеть спокойно на воздухе!

Шибалин с благородством в голосе и лице:

— Гражданка! Пожалуйста! Сидите тут, сколько хотите! Я ваш защитник! Если это, конечно, понадобится...

Красавица, едва не плача:

— В том-то и дело, что я не нуждаюсь ни в каких защитниках! В том-то и ужас, пока я тут гуляю, какие-то люди все время предлагают мне свою защиту! Я сейчас выдержала атаку сразу со стороны четырех! Только думала передохнуть, а тут — являетесь вы...

Шибалин торжественно:

— Гражданка! Я все видел — и тех четырех! Даже больше, чем четырех! Но смешивать меня с ними ни в каком случае нельзя! У них своя цель. У меня своя! В этом отношении я несколько не похож на них! Я совершенно другой человек. Вы сами сейчас убедитесь в этом! Для этого стоит вам только еще немного поговорить со мной...

— Не желаю я ни в чем убеждаться! Вот еще! Я желаю только, чтобы вы поскорее ушли! Пересядьте на другую скамейку, на бульваре свободных скамеек много!

Шибалин с проникновением:

— Гражданка! Вы ли это мне говорите? И от вас ли я это слышу эти шаблонные, лишённые всякого смысла слова? Отбросьте все условности и скажите по совести, неужели вам, культурному человеку, не интересны знакомства все с новыми и новыми, совершенно неизвестными вам людьми?

Она презрительно, одними губами:
— Ничуть неинтересны!

Он с удивлением:
— С людьми другой среды, других воззрений, других мечтаний?

Она по-прежнему:
— Ну, так что же!

Шибалин:
— Но на земной планете такое неисчерпаемое разнообразие человеческих лиц, характеров, дарований, наклонностей!

Она:
— И пусть!

Шибалин театрально воздымает обе руки вверх и произносит с громадной внутренней силой:
— Но каждый новый человек — новый мир!!! Необъятный мир!!! Большой, чем Марс!!!

Она:
— А мне-то что?

Шибалин хватается за голову, произносит срывающимся шепотом:
— Какая дисгармония... Какая дисгармония...
И еще тише, в сторону:
— Такая возвышающая внешняя красота и такое унижающее внутреннее убожество!.. Что делать мужчине с такой... тварью?.. Что делать, кроме...

Потом снова громко, сдержанно, трезво:
— И все-таки, гражданка, несмотря ни на что, я буду продолжать начатый с вами разговор. Могу вам отрекомендовать, сказать, кто я, если вы сочтете это необходимым предварительным условием...

— А мне зачем знать, кто вы? Не надо, не надо!

— Но когда вы узнаете, кто я, тогда, быть может...

— Но я не желаю этого знать!

— Видите, гражданка, я ученый, и моя цель...

— Я теперь тоже ученая! Научили! Довольно!

— Однако до какой степени вы не понимаете меня, гражданка!.. До какой степени!..

— Прекрасно понимаю! Не беспокойтесь!

— Уверяю вас, гражданка, вы ошибаетесь! Я знаю, вы думаете, что я подхожу к вам, как к женщине, а между тем я подхожу к вам только как к человеку! Только!

— Лучше всего никак не подходите! Никак! Просто уйдите от меня и все!

— Гражданка! Как подвижник независимой мысли, как труженик честного пера, как русский писатель, работающий в настоящее время над вопросом...

Красавица, из-за волнения трудно улавливающая смысл его речи:

— Если правда, что вы подходите ко мне не как к женщине, тогда говорите прямо, чего вам от меня нужно — без длинных предисловий!

Лицо Шибалина веселеет:

— Благодарю вас! Мне нужно от вас немного, совсем немного, сушие пустяки! Мне нужно только ваше откровенное мнение, вернее, подробное объяснение, почему вы так категорически отказались разговаривать с теми четырьмя приличными мужчинами — с четырьмя или больше, я не знаю, сколько их там было...

Красавица не верит своим ушам:

— Что-о??? Я??? Вам??? Объяснение??? Смейте требовать от меня объяснение??? До-пра-ши-вать???

Задыхается. Не может говорить. Глазами утопающей поводит вокруг, ищет посторонней помощи.

— Чего же тут особенного? — со спокойной улыбкой спрашивает Шибалин.

— Гражданин!.. Имейте в виду!.. Сейчас должен прийти сюда мой муж!..

— Тем лучше, гражданка. Значит, дальнейшую беседу на эту тему мы поведем уже втроем.

— Как-кое из-де-ва-тель-ство! Гражданин, прежде, чем принять свои меры, я вас в последний раз спрашиваю: вы уйдете от меня?

— Ни за что! Понимаете: ни за что! Теперь-то уж ни за что не уйду! Раньше еще мог бы уйти! А теперь, после того, как вы сказали, что сюда должен скоро прийти ваш муж, я заинтересован вдвойне! Я не то, что не хочу уйти от вас, нет, я не могу, если бы и хотел! Во мне сейчас уже говорит не я, а спец! Вы, как еще никто, разбудили во мне специалиста своего дела, изыскателя, собирателя ценного человеческого материала! Вы сами не отдаете себе отчета, какой вы дорогой для меня материал! Вы такой драгоценный, такой, можно сказать, в историческом смысле, ископаемый материал! Зачем нам тратить на археологические экспедиции в безводные монгольские пустыни Гоби, рас-

капывать там занесенные песком мертвые города Хара-Хото, когда каждый из нас ежедневно может видеть вокруг себя таких же окаменелых мертвецов! Сударыня! В переживаемую нами величайшую во всемирной истории эпоху, в эпоху воздухофлота, в эпоху радио, в эпоху Коминтерна, в эпоху кануна окончательного развала междугосударственных перегородок и слияния всех народов в одну трудовую семью, в эту изумительную эпоху и вдруг — экземплярчик, подобный вам: «куль-турная» женщина с микроскопическим, меньше чем муравьиным, кругозором! Ведь вы сами только что сказали, что новые миры, как и все вообще новое, вам чуждо и неинтересно! Вы сделали и некоторые другие, не менее любопытные признания! Это ли не замечательно? Это ли не находка? Это ли не клад для науки о человеке? Это ли не экспонат для музея, для музея человековедения?

Красавица с испуганно выпученными глазами в сторону:

— Это какой-то сумасшедший...

Шибалин громко, с непонятым, вдруг налетевшим на него озорством школьника:

— Сама сумасшедшая!

Красавица вскакивает:

— Я сейчас милиционера позову!

Шибалин ей в лицо:

— А-ме-ба! Ха-ха-ха!

Она:

— Такие оскорбления!.. Такие оскорбления!..

Спешит к ограде бульвара. Мечется вдоль железного забора в одну сторону, в другую, как в клетке. Кричит с бульвара на мостовую:

— Милиционер!.. Милиционер!..

Оборачивается, глядит, не убегает ли Шибалин.

А Шибалин сидит, широко раскинувшись. Чувствует себя необыкновенно свободно. Улыбается ей:

— Не бойтесь, не убеги! Зовите же, зовите милиционера!

Пост там, недалеко, на углу! Вы всей этой истории придаете еще более сложный, еще более содержательный оборот!

У боковой калитки, среди раздвинувшейся зелени, как портрет в раме, возникает краснощекая физиономия милиционера.

XX

Милиционер, безусый карлик в слишком просторной, как бы отцовской фуражке, смешно оттопыривающей его уши, с суровым выражением лица, подбегает к красавице:

— Чего тут?

Красавица указывает рукой назад, на сидящего Шибалина, не может от волнения говорить, за каждым словом прерывается:

— Их... было пятеро... даже больше... один остался, вот этот... а другие четверо убежали...

Ушастый карлик, грудью вперед, порываясь сразу во все направления:

— В которую сторону они побежали?

Красавица кивает дрожащим подбородком:

— Туда... вон в ту сторону... давно...

Милиционер сует в рот свисток, надует румяные щеки, издает пронзительный свист.

Потом подходит к Шибалину:

— А вы, гражданин, не уходите, сидите здесь.

Шибалин:

— Я и не собираюсь уходить.

На свисток из кустов лезет похожий на медведя дворник. Он в лохматой бурой папахе с бляхой, в буром дырявом замасленном ватнике, в бурых растоптанных валенках, с бурой бородой, начинающейся от глаз.

Затем сбегается — постепенно утолщающийся — кружок любопытных.

Милиционер к красавице, маленький к большой — оба в центре кружка:

— Ну, рассказывайте, как было дело?

Красавица утоньшенным против обычного голосом:

— Вот этот мужчина и те пятеро...

Милиционер, воинственно вздрагивая:

— Какие пятеро?

Красавица:

— Которые убежали...

Нахальный голос из толпы за чужими спинами:

— Га-га-га! «Убежали!»

— Они сперва вшестером преследовали меня... пристава-ли, хотели насильно познакомиться... Потом, когда я кое-как отделалась от тех пятерых, попугала их мужем, ко мне привязался

этот шестой и смело так, с угрозами, стал требовать от меня объяснения, почему я отказалась знакомиться с его компаньонами...

Милиционер к Шибалину серьезно:

— Гражданин, вы приставали к этой гражданке?

Один голос из толпы к Шибалину:

— Встань!

Другой так же энергично:

— Зачем? Не надо!

И Шибалин вяло ворочается на скамье, точно не знает, вставать или нет.

Не встает, сидит, отвечает:

— В том смысле, товарищ милиционер, в каком вы предполагаете, я, конечно, к этой гражданке не приставал. Просто я хотел с ней поговорить, задать вопрос...

Прежний нахальный закатило:

— Га-га-га! «Поговорить!»

Милиционер Шибалину:

— А вы разве с этой гражданкой были знакомые?

— Нет. Вот поэтому-то мне и интересно было с ней поговорить. Знакомые мне надоели.

— Как же вы, гражданин, хотели «потолковать» с гражданкой, когда гражданка эта даже вам незнакомая?

Указывает рукой на красавицу — раздельно, сильно:

— А может быть они за-муж-ние!!!

Из толпы стравливают:

— Д-да! Д-да!

Красавица, тронутая сочувствием, едва не плача, тоненько, как девочка:

— Уже шагу шагнуть не дают!.. Так и липнут везде, так и липнут!.. Ничего не бояться!..

Милиционер Шибалину назидательно:

— Слышите, что они говорят? При вас документ какой-нибудь есть?

— Нет.

— Как же без документа?

— Не захватил с собой.

Милиционер достает бумагу, карандаш.

— Тогда вам придется до отделения дойти.

Шибалин:

— Это как понимать? Значит, я арестован?

Милиционер что-то выводит на бумаге и в то же время отвечает ворчливо:

— Никто вам не говорит, что вы арестованные... Из отделения справятся по телефону в адресном столе, есть ли такой, и вы пойдете себе домой... пока.

— А потом?

— А потом, глядя куда направят протокол. Если в нарсуд, по статье сто семидесятой, за хулиганство, то в нарсуд. Если нет — то нет. Ваша фамилия, имя, адрес?

Шибалин говорит, милиционер пишет.

— Где-нибудь служите?

— Нет.

— Чем-нибудь торгуете?

— Нет.

Милиционер пронизительно смотрит на него из-под налезающей на уши фуражки. Потом, с неодобрительной усмешкой, к толпе:

— Не служит, не торгует...

И пожимает плечами.

Толпа в знак солидарности с ним гудит.

Милиционер снова к Шибалину:

— Не рабочий же?

Шибалин:

— Нет.

Милиционер разводит руками, улыбается публике:

— Опять нет...

Публика, чтобы угодить ему, холуйски, рабски гудит:

— Гы... Гы...

— Но какая-нибудь занятия у вас есть?

— Конечно, есть.

— Какая же? — спрашивает милиционер и хитро подмигивает публике.

— Я — писатель, — произносит спокойно Шибалин.

— Пи-са-тель?

У милиционера опускается рука с карандашом. На несколько мгновений он задерживает на Шибалине внимательный взгляд. Потом говорит новым укоряющим тоном:

— Тем более нехорошо так поступать...

И уже без прежнего пыла принимается дальше писать.

Между тем к месту происшествия на чернеющую толпу все время сбегаются новые любопытные. Они набегают и из других аллей бульвара, и с прилегающей улицы. Иные, ярые любители бесплатных зрелищ, перелезают через ограду на бульвар.

Особенно много налетает мальчишек. Они так и лезут, так и просачиваются сквозь толпу взрослых в самые первые ряды:

— Жаль, Ванька уже ушел домой — вот бы посмотрел!

А мы с тобой посмотрим! Правда, Петя!

— Ну да, правда!

Баба елозит подбородком по широкой спине мужика:

— Ты тут так неудобно встал, что за тобой никому ничего не видать.

Мужик полуоборачивается к бабе, смотрит на нее сверху вниз, как на гадину:

— А ты куда, в цирк пришла, опухлые твои глаза?!

Баба брезгливо воротит от мужика нос:

— Фу-у!.. Уже где-то нажрался, идол!

Мужик с сознанием своей превосходящей силы, задиристо:

— А ты мне подносила?

— Тихо там! Мешаете писать...

Дворник — с медной бляхой на драной, в ключьях, папахе — хватает за плечо вновь прибежавшего любопытного, отдирает назад:

— Куда прешь? Не видишь: оцепление!

Тот:

— Я партийный. Мне можно.

Дворник отпускает его:

— Ну, лезь, шут с тобой. Мне не жалко.

Тот, рыская глазами по земле, озабоченно к публике:

— А где же она лежит?

Публика:

— Кто?

Он:

— А зарезанная?

Публика:

— А вон она стоит, с лицинером рассказывает.

Тот разочарованно морщит и задирает нос:

— У-у... Она живая...

Недовольный, кислый, поворачивает обратно, пробирается вон из толпы.

Второй вновь прибежавший:

— Товарищ дворник, что тут случилось?

Дворник нехотя в бурую бороду:

— Так. Пустое. Обнакновенное скопление публики.

— Ну, а все-таки?

Остальные новые любопытные тоже к дворнику, дрожа перед ним и повизгивая, как щенята:

— Расскажите, расскажите...

Дворник, сплунув в свободное между публикой местечко:

— Ну, одним словом сказать, он к ней подсвтался, вон тот, здоровый, думал, она из таких, из потерянных, которая этим занимается, а она хватъ — честная! Ну, и получилось вроде смятение; она на него наговаривает, он на нее. Не разбери-бери! Дайте кто-нибудь покурить...

Мрачный мужик из-за спины дворника громким, хрипучим голосом:

— Если ты честная, сиди, сволочь, дома, а не лязь, где не следовает!

Находящийся тут же молодой мастеровой поводит одним плечом:

— А может она не первый день с им гуляет?

Мужик:

— Знамо, не первый!

Мастеровой:

— Свои счеты!

Мужик:

— Своя бражка!

Милиционер тем временем опрашивает красавицу:

— Гражданка, ваше социальное положение?

Красавица, как на суде, не своим голосом:

— Никогда нигде не участвовала.

Милиционер:

— Я не про это.

Первый подхалима высовывает нос из толпы:

— Вас спрашивают, какой вы владеете недвижимой имуществвой.

Второй подхалима:

— Вообще: пианина там, небель. Драгоценности может закопаны где: золотые кольца, бруслеты, сережки, чисы...

Милиционер на них карандашом:

— Граждане! Вас не спрашивают! Не мешайте работать!

Красавице:

— Гражданка, как про вас написать? Вы где-нибудь служите?

— Муж служит.

— Ага. Стало быть, замужние?

— Да. Замужем.

— Вот это и надо было сразу сказать...

Голос прежнего нахального в задних рядах толпы:

— Га-га-га! «Замужем!»

Милиционер продолжает:

— Документик имеется?

— Есть. Всегда ношу при себе.

Достает из сумочки, подает:

— Вы фамилию мужа моего должны хорошо знать.

Милиционер читает раз, читает два, читает три раза — глазам своим не верит. Глаз не может оторвать от фамилии, проставленной в документе. Тычет пальцем в бумагу, то хмурится, то улыбается, то опять хмурится:

— Так... стало быть... это... это... это ваш муж???!!!!

Красавица отводит в сторону польщенные глаза:

— Да, муж.

Милиционер с таким выражением кивает головой Шибалину, точно говорит: «Эх, вы!.. И надо было вам!..»

Первый голос из настороженно-присмирившей толпы:

— Фамилию ее скажи!

Второй:

— Огласи, как ее фамилия! Чтоб, значит, огласка была!

Милиционер:

— Граждане, это не ваше дело, какое ихнее фамилие, это дело милиции!

Весь задний ряд толпы, прячась за стоящих впереди:

— Фа-ми-лию!!!

Милиционер:

— Никакой фамилии я вам не скажу, сколько не кричите! Не обязан! Тем более что фамилие у них такое... такое...

Из толпы:

— Что не выговоришь?

Прежний нахальный:

— Га-га-га! «Не выговоришь»!

Один мужчина из публики загораживает собой Шибалина:

— Бежите, гражданин, пока милиционер пишет, не смотрит.

Второй:

— Да, да, бежите скорее, мы вас прикроем.

Шибалин:

— Благодарю вас. Но бежать мне нет никакой надобности. Наоборот, я очень доволен, что так случилось. Ведь вы, кажется, знаете, в чем дело... Так что для меня важно проследить всю эту историю, со всеми ее перипетиями до самого конца. По крайней мере многое новое узнаю. И вопрос о «знакомых» и «незнакомых», несомненно, имеющий мировое значение, таким образом получит в советских админи-

стративных и судебных органах еще одно интересное освещение.

Первый мужчина многозначительно:

— А фамилию ее слышали?

Шибалин:

— Ну, так что же? Слышал. Тем лучше для меня, что ее муж носит такую авторитетную фамилию. Тем любопытнее будет узнать его личное мнение на этот счет. А то в печати они так путаются в этих вопросах.

Милиционер подает дворнику бумажку:

— На. Проводи их в район.

Потом, за спиной Шибалина, подмигивает дворнику бровью, чтобы тот не прозевал, не упустил.

Первый мужской голос из толпы недовольно:

— А ее?

Второй:

— Да! Почему не забираете ее?

Задние ряды:

— Ее!.. Ее!.. Мадаму!.. Ишь, вырядилась в шляпку!..

Милиционер:

— «Ее», «ее»... Воете, сами не знаете чего! Ее без надобности! Они предъявили документы, и я записал! Ну, все окончилось, расходитесь! Вы чего тут стоите? А вы? А вы? Вы в которую сторону шли? В тую? В тую и идите, не стойте тут!

Дворник с Шибалиным трогаются.

Шибалин достает записную книжку, карандаш, делает на ходу беглые записи. Потом, перестав писать, идет с высоко поднятым открытым лицом, на котором написано: «Как хорошо! Как хорошо! Материал-то какой! Материал!».

Рассеянная милиционером толпа вновь собирается. Разрезанная было на мелкие кусочки, она снова соединяется в одно целое.

Первая баба из толпы, глядя вслед Шибалину:

— Добегался!

Вторая:

— Как говорится, дурная голова не дает ногам покою!

Первая:

— Недели две отсидит!

Вторая:

— А это глядя под какую статью подведут!

Первая:

— Во всяком случае, там ему ум вставят, смотреть не будут!

Вторая:

— Так ему и надо! Идешь — иди своей дорогой. К незнакомым женщинам не приставай!

Вдруг через толпу по направлению за уведённым Шибалиным пробегает испуганная, растерянная Вера:

— Стойте! — не своим голосом кричит она и простирает вперед руки. — Куда вы его ведете? Куда? Это же мой муж! Я его жена!

В толпе массовое сенсационное восклицание:

— Ух — ты!!! Ж-же-на!!!

И все с округлившимися глазами, сплошной стеной руются за ней.

Боковая аллея на долгое время пустеет...

В чаще кустарника, у бокового выхода с бульвара на мостовую неожиданно среди бела дня вспыхивает электрический свет, и несколько мгновений тревожно танцуют в воздухе, среди освещенной зелени крупные, кораллово-красные буквы: «Берегись трамвая!»

Часть третья



I

Внутренность большого зала в разрушенном доме.

Крыши нет, ее заменяет открытое небо. Ни окон, ни дверей, вместо них в остатках красных кирпичных стен зияют ряды сквозных дыр. Полов тоже нет — голая, исчерченная прямыми тропинками земля с зеленющей кое-где низенькой травкой, с высокими кустиками худосочного бурьяна в сырых углах.

Передняя стена зала разрушена до основания. Только на самой середине ее уцелел небольшой кусок кирпичной кладки в виде косога паруса — да и тот вечно угрожает падением.

Остатки боковых стен невысоки: где в сажень, где в человеческий рост, где еще ниже. В них чернеют искусственно проломанные, захватанные руками дыры — очевидно, ходы в смежные такие же комнаты.

Больше других сохранилась задняя стена.

Над ее иззубренными краями и в амбразурах окон виднеется далекое темное небо и панорама ночной Москвы с горящими в разных местах города — у входов в кино — яркими, цветными, ядовитыми на вид огоньками: малиновым, зеленым, оранжевым...

Под фундамент этой стены в трех местах подрыты чернеющие глубокой тьмой дыры, напоминающие лисьи норы. Это пролазы в сохранившиеся подвалы.

Теплый летний вечер.

Ярко светит полная луна.

Вокруг развалин на некотором отдалении все время стоит смешанный гул столичного города: железное дребезжание приближающихся и удаляющихся трамваев, нервные, пугающие своей внезапностью гудки автобусов...

А внутри руин, в бывшем зале, сидят на земле вдоль всех стен и передвигаются вместе со своими тенями сами похожие в этот час на тени, какие-то странные, совсем необычные люди...

II

Женская фигура без лица, с очень красивыми формами, вся с головы до ног закутанная в дерюгу из дырявых мешков, несколько мгновений стоит посреди развалин, облитая светом луны, точно бронзовая статуя, изображающая задумчивость. Потом медленными-медленными пластичными движениями она удаляется к задней стене, садится на камешек, скрещивает на груди руки и надолго застывает, как странное, незаконное, еще без лица изваяние.

Антоновна, нагорбленная старуха с выбивающимися из-под темного платка космами седых волос, с синяком под глазом, сидит под той же стеной на кирпичках, сложенных в тумбочку, трудно задирает вверх голову, глядит в небо:

— Луна-то, луна, а поглядите, девочки, какая оттуда надвигается наволочь... Как бы опять не пошел дождь...

Осиповна, пожилая женщина с желтым опухшим лицом, с повязанной белым платком щекой, сидит рядом с Антоновной, устремляет взгляд туда же:

— Да-да... Если и этой ночью польет дождь, опять все кинутся вместе с гостями в подвальные помещения. А сбегать в ларек, купить заранее свечей ни одна сука не позаботится!

Антоновна бросает укоряющий кивок в ту сторону, где под боковой стеной молоденькая, в шляпке, Настя покуривает, сидя на камешке рядом со своим гостем:

— Разве молодые когда-нибудь о чем-нибудь заботятся? Им лишь бы мазаться да рядиться! Только мы с тобой, Осиповна, и поддерживаем тут мало-мало чистоту и порядок. А то бы...

Осиповна оглядывает земляной пол, качает головой:

— А насорили как! А насорили как!

Кряхтит, встает.

— Пойти взять веник, подмести, что ли.

Идет в угол за веником.

Антоновна ворчит низко, раздельно:

— Мусорить много охотников, а коснись убирать — некому!

Вздыхает.

Осиповна веником, сделанным из зеленого бурьяна, не торопясь сметает с земли в один угол бумажки от закусок, жестянки от консервов, коробки от папирос, пустые бутылки...

Поднимает бутылку, рассматривает.

— Если б не отбитое горлышко, можно было б снести в ларек, получить залог...

Бросает бутылку, метет дальше, натывается на китайца, распластанного ничком на земле:

— Эй ты, ходя, вставай! Чего разлегся на дороге? Не нашел другого места?

Она сперва тычет его концом веника в мертвенно-желтую щеку, потом пинает носком башмака в бок.

— Слышишь, китаеза?..

С жестом досады бросает его в покое, продолжает мести:

— Вот накурился этого самого дурману!

Антоновна чмокает с завистью:

— Значит, у человека есть, на что курить, если накурился.

А мне вот и хочется понюхать, да никак не могу сбить полтинник на один порошок.

Тоскливо стонет:

— Йох!.. Хотя бы гость какой ни на есть подошел!..

Смотрит на свой наряд.

— Знаешь, Осиповна, была б на мне одежда почище да шляпка, да пудра, вышла б я сейчас на Неглинную да подцепила б себе какого барина!

Осиповна метет, усмехается:

— Ну нет, Антоновна. Гулять по Неглинной да по Тверской наше с тобой время прошло: не те годы. Да и теперь там — где надо и не надо — горит такое электричество...

Антоновна тоном сладостных воспоминаний:

— Да... Было времечко, да прошло...

Спустя минуту кричит в сторону резким голосом:

— Настька! Манька-Одесса! И кто там есть еще, помоложе! Все-таки уберите с дороги китаезу, перенесите в дальнейшее помещение! Неприлично! Могут прийти хорошие гости!

Две молодые женщины, нарядная Настя и босая, простоволосая, похожая на подростка-нищенку Манька-Одесса, выхо-

дят из тени на середину руин, берут бесчувственного китайца за руки, за ноги и при свете луны увлакивают его через один из проломов за боковую стену.

Фигура без лица встает, медленно-медленно потягивается, как бы показывает луне свои красивые формы, потом садится на прежний камешек и вновь надолго окаменеваает — уже в другой позе.

Это она продлевает время от времени и потом, в продолжение всей ночи...

III

Мужик, лохматый бородач лет пятидесяти, в грязном фартуке и смазанных сапогах, из мастеровых, тяжело перешагнув через разбросанный кирпич передней стены, идет по рядам сидящих на камешках женщин, присматриваясь, выбирает.

Когда мужик доходит до Антоновны, она заправляет под платок седые космы, прикрывает рукой синяк под глазом, кивает в глубь развалин:

— Сходим, что ли?

Мужик приостанавливается, не решается:

— Оно и надо бы сходить... и вроде предостерегаются... не знавши.

Антоновна удивляется:

— А чего тут остерегаться? Ты молодых остерегайся, глупых. А я женщина пожилая, рожалая, детей имею — сама каждого остерегаюсь. Сразу видать, что недавно из деревни приехал.

Мужик стоит, кособочится, думает, шлепает губами:

— Кто его знает...

Потом морщит нос на ее ветхое, в заплатках платье, на замусоленный, в дырках платок...

Антоновна не смущается:

— Ты на мою одежду не смотри. Я, по крайней мере, каждую неделю в баню хожу. А другая и в шляпке, и в шелковых чулочках, а в бане сроду не бывает.

Встает, берет мужика под руку, наклоняет и прячет лицо в тень, хихикает:

— Идем?

Мужик загорается внутренним жаром, широко раскрывает темный рот, похожий в этот момент на пасть, тарашит заблестевшие в лунном свете глаза, обнимает легонько Анто-

новну за талию, покалывает ее щеку проволочной бородой, шепчет:

— Пройдемся в темный уголочек...

Антоновна вывертывается из его объятий. С достоинством:

— Ну нет! Я не урод какой-нибудь, чтобы по темным уголкам прятаться, и не заразная!

Мужик жарко, хрипло, тихо:

— Ну посидим под стенкой покеда...

Антоновна решительно:

— И сидеть не хочу! Чем время зря терять сидевши, лучше сразу идти до места!

Мужик, низко свесив одну руку, прощупывает длинный, вроде кишки, карман:

— А почему?

Антоновна сговорчиво:

— С тобой сладимся. Не беспокойся, лишнего не возьму. Знаю, что в другой раз придешь. Только спроси Антоновну, меня тут каждый знает... А ты что, вдовый?

Мужик откровенно:

— Я с одной на фатере четыре года жил, потом у нас вышло расстройство, и она на той неделе к молодому ушла. Думает, с молодым будет мед! А я, покедова с новой с какой познакомлюсь, пришел вот сюда, к вам, — охоту сбить.

— И хорошо сделал, что пришел. Познакомишься со мной, постоянно будешь ходить.

— Я и сам не хочу трепаться зря — сегодня с одной, завтра с другой. Я люблю, чтобы все было к череду, по-семейному.

— Вот и идем со мной.

— А сколько ты с меня слупишь? Может, у меня и денег таких нету?

— Ну трешня-то найдется.

— Трешня — дорого.

— Это дорого? Раз в «Эрмитаже» мне один гражданин двадцать рублей дал!

— Тута не «Ермитаж». Тута воля. За место не платите.

— А сколько же для тебя не дорого?

— Рублевку дам, чтобы не торговаться. По своему достатку.

— Ополоумел, что ли? Кто же с тобой за рублевку пойдет?

— Не пойдет тута, в другом месте найду. Бабы, они везде бабы.

— Давай два!

— Полтора!

- Ну, идем. И это только для тебя. Вижу, что трудящийся.
- Знамо, трудящийся. Не буржуй.

Антоновна ведет мужика под руку к боковой стене, останавливается перед самым проломом — ходом в смежное помещение.

- Деньги вперед!
- Ладно, ладно.
- Не «ладно», а давай сейчас!
- На, на, не бойся.

Они низко наклоняют головы, проходят гуськом в пролом, исчезают за стеной.

Настя, в тени, под стеной, попыхивая папироской, кричит со своего места:

- Осиповна, за сколько она, за полтора пошла?
- Осиповна устало, в землю:
- За полтора.

IV

Под фундаментом задней стены, в одной из трех лисьих нор, в средней, в черной темноте вспыхивает желтым огоньком спичка и освещает две руки, отсчитывающие деньги. А в следующий момент оттуда вылезают на поверхность земли молоденькая Фроська и ее гость, мужчина средних лет с выбритым, строгим, почти свирепым лицом.

Фроська, здоровая на вид, цветущая, живая, в яркой шляпке, в короткой юбке, одной рукой стряхивает с колен землю, а в другой держит перед недовольно-удивленным лицом деньги:

- Сколько же вы дали?..
- Как договаривались.

И бритый-строгий, покаянно опустив в землю глаза, спешит к выходу из руин.

Фроська цепко виснет на его руке:

- Прибавьте полтинник на пиво!
- Довольно с вас. Достаточно заплатил.
- Ну, двугривенный на папиросы!
- Нет, нет. Не могу.

— Ну хоть гривенник на трамвой! Всего гривенник! Гривенника жаль?

— Не люблю, когда кланчат. Я ведь, кажется, с вами не торговался, считал неудобным, а сколько запросили, столько и дал. А вы и еще кланчите.

— Гражданин! Только гривенник! Я не прошу рубль! А другие и по три рубля мне дарят!

Бритый-строгий, чтобы отвязаться, с раздражением дает ей:

— Нате!

Фроська отпускает его руку:

— Вот теперь спасибо!

Останавливается в руинах, кричит ему вслед:

— Счастливо вам! Заходите в другой раз!

Прячет в чулок деньги, становится лицом к луне, пудрит перед зеркальцем нос, красит губы, румянит щеки, поправляет возле ушей кудряшки волос, запихивает под кофту на месте груди два высоких комка тряпья, потом, оглядев всю себя и изобразив примерную дергающуюся походку, которой она сейчас защеголяет по освещенным улицам Москвы, уходит из руин в город — за новым хорошим гостем.

V

Осиповна встает, идет, подсаживается к Насте, обращается к ее гостю:

— Гражданин, одолжите покурить.

Гость охотно угощает ее:

— Пожалуйста! Курите! Мне не жалко! Я такой человек! Каждому сочувствую!

Осиповна курит, наслаждается, сплевывает:

— А Фроська, шкуреха, опять на Неглинную побежала гостя ловить.

Настя пускает изо рта дым:

— Ну и что ж?

Осиповна прежним тоном:

— За сегодняшний вечер она уже шестерых приняла, за седьмым побежала. А вся ночь еще впереди.

Настя с одобрением:

— Что же. Хорошо.

— Мало хорошего. Она будет семерых принимать, а другие вовсе без почина сидят.

— Значит, умеет. Сумей ты. Сумей семерых принять.

Осиповна с гордостью:

— Семерых? Никогда! Я еще понимаю принять девушке в вечер двух-трех гостей, ну от силы четырех. Но не семерых же!

Настя смеется:

— Фроська, она и семнадцать примет. И осуждать ее за это тоже нельзя. Пока молода, пока мужчины интересуются ею, она старается обеспечить себя на будущее. Она в твои годы не будет так, как ты, в развалке сидеть. Мы вот и курим, и нюхаем, и выпиваем, а она знает одно: копит и копит деньги. Которая с ней на квартире девушка Лелька живет, так та рассказывает, что у Фроськи две тысячи денег в трудовой сберегательной кассе на книжке лежат. А до чего экономная она в расходах! Привозит ей мужик с базара дрова, а она вместо денег предлагает ему остаться с ней. Приходит к ней из коммунхоза получать деньги за электричество старичок, а она и его замарьяжит. То же самое с обойщиком, когда оклеивает новыми обоями комнату, и с печником, когда ремонтирует печь, — со всеми, со всеми! И никому не платит, и денежки целиком остаются у ней в кармане.

Гость, вернее силуэт гостя, едва заметный под стенкой, в тени:

— Гы-гы-гы! И трубочиста с собой положит, когда тот почистит у них в доме трубы? Гы-гы-гы! Такая девушка всегда будет хорошо жить.

Настя:

— А конечно! Она и сама говорит: «Девочки, мне еще только год поработать, а тогда буду барыней».

Осиповна:

— Да... Будет... Как раз... Держи карман шире...

VI

Из пролома в боковой стене выходят, согнувшись, гуськом, прежний лохматый мужик и Антоновна.

Антоновна, веселая, легкая, довольная, что заработала, провозжает мужика к выходу из руин:

— Пупсик! Подари гривенничек!

Мужик, разочарованный, мрачный, с перекошенным черным лицом:

— Нету, нету. Чего там. И так дорого заплатил, погорячимшись. А приведишь мне сейчас, я б тебе и копейки не дал. Задаром с тобой не пошел бы.

С отвращением плюет в сторону.

— Тьфу!

— Ну пятак!!! Только один пятак! Пятачок не деньги!

— И не проси. Все равно не дам. Будет с тебя. Пожил с тобой я каких-нибудь пятнадцать минут, а полтора рубля выскочило! А мы за полтора рубля знаешь сколько работаем?

— Ну три копейки! Мне не для денег, мне только для почину, у тебя рука легкая!

Обнимает его за необъятную талию, нежно:

— Пупсик, ну не скупись, не скупись...

Мужик, не глядя на нее, с озлоблением тычет ей в руку медяк:

— На, с-смола!!!

Он уходит.

Она ему в гневную, удаляющуюся спину:

— До свидания! Смотри в другой раз когда приходи! Тогда можно будет и подешевле!

VII

Солдат входит в руины, стоит, волнуется, глотает большими глотками воздух, переступает с ноги на ногу, жадно щурится на сидящих под стенами женщин.

Настя к Осиповне:

— Жалуешься, что без почину? Вон солдат пришел. Иди, замарьяжь его.

Осиповна с жестом пренебрежения:

— Этот без денег. Это только так. Этому только бы посмотреть. Это не гость.

— А какие же ты хочешь? Позже, когда окончатся театры, тогда, безусловно, можно ожидать приличную публику. А пока чище этих не будет.

— А ну его. Не пойду. Чего зря ходить? Пускай какая другая идет, если хочет...

Беременная женщина, с высоким животом, с немолодым изможденным лицом, выходит из темного угла на свет, приближается к солдату, заигрывает с ним:

— Люблю военных!.. Военные — это моя больсть!.. А молоденький какой!.. Чего молчишь?.. Давно на службе?..

Солдат глядит вбок:

— С этого года.

Беременная ласково:

— Ну что?.. Пойдем?.. Чем так стоять, смотреть, только себя расстраивать...

Солдат с разочарованным видом:

- Рад бы в рай.
- А что? Больной?
- Хуже!
- Денег нет?
- Да.
- Это плохо. Хотя я дорого с тебя не возьму. Сознаю, что военный. Где тебе взять? Мне бы какой-нибудь рублик.
- И того нету.
- Но полтинник найдется?
- Ни копейки нету.
- А это вовсе нехорошо.
- Вот это главное!
- Беременная после небольшой паузы:
- Так и будешь тут стоять?
- Солдат передергивает плечами:
- Постою.
- Беременная раздумывает:
- Что же мне с тобой делать, что же мне с тобой делать?.. Жаль хорошего человека, жаль... Вот что: хочешь, оставишь что-нибудь из одежды?
- Солдат осматривает свой наряд:
- Из одежды нельзя. Будет видать. И тогда не распутаешься.
- Ну из белья: исподники, рубаху?
- А это ничего, подходяще.
- Белье старое? Давно выдавали?
- Все новое, ни разу не стиранное.
- Ну что с тобой делать. Пойдем. Тоже и таким кто-нибудь сочувствовать должен.
- Ведет его к боковой стене. Солдат идет, спотыкается, бормочет в землю:
- На чужой стороне... Нету подходящих знакомств...
- Беременная проталкивает его в один из проломов в стене:
- Идем туда. Там повольней белье скидывать.
- Они скрываются за стеной.

VIII

Инвалид, на двух костылях, с красными мясистыми щеками, с бравыми унтер-офицерскими усищами, входит, весело глядит вокруг, находит глазами Осиповну, направляется прямо к ней, разливается широченной улыбкой во все лицо:

— Ты тут?
Осиповна встает, идет навстречу, радуется:
— А то где же мне быть? Заждалась тебя. Думала, не придешь, обманешь.
Инвалид геройски:
— Я человек однословный: сказал — сделал!
Осиповна прощупывает мотню висящей на нем холщовой сумки с подаянием:
— А винца обещал взять — взял?
Инвалид с торжеством достает из-под полы бутылку в вытянутой руке, отстраняет ее:
— А это что? — Прищелкивает языком: — А закуска какая!
Похлопывает ее рукой по спине.
Осиповна провожает его к одному из пролазов в стене:
— А деньги опять медяками принес?
— Червонцами не подают!
— Два часа считать...
— Сосчитаем! Ко мне и так старший приказчик два раза из магазина на улицу выходил, мелочь для сдачи у меня забирал.
— Сегодня где стоял?
— Возле магазина бывшего Елисеева. Теперь МСПО.
— Все-таки порядочно настрелял?
— Не больно.
— Почему так?
— Мало в обращении мелкой медной монеты, редко у кого в кармане имеется. Чеканка производится в Ленинграде: пока начекают да пока подвезут... Потом наладится — будет лучше.
Осиповна со скрытым недоверием, протяжно:
— Безногому должны хорошо подавать.
Обнимает его, нежно целует в щеку:
— Полчервяка все-таки настрелял?
Инвалид уклончиво:
— Будет время — сосчитаем.
Щиплет ее за талию:
— Говоришь, думала обо мне?
— Только об тебе и думала.
— Что же ты думала?
— Все.
— Ну что «все»? Хе-хе.
— Думала, гдей-то он там сейчас стоит. Думала, да как ему там сейчас стоять, не прогоняет ли милиция. Думала, да как

ему там сейчас подают. Думала, да скорей бы бросал стоять, сюда приходил.

— Хе-хе... Только об этом и думала? Больше ни о чем? А такого ничего не думала? А? Хе-хе...

Тормошит ее, хохочет.

Осиповна улыбается.

— Как не думала? Думала.

Инвалид с жаром целует ее в губы, страстно шепчет:

— Когда получше познакомимся, на квартиру жить возьму! На жилой площади будешь жить!

— Это все мужчины так говорят. Чтобы девушка лучше старалась.

— Нет! Тогда увидишь! Я не люблю двуличничать! Лишь бы ты со мной не двуличничала!

Они пролезают в пролаз.

IX

Бритый-строгий, прежний, возвращается в руины, с решительным видом догоняет увиливающую от него Фроську:

— Фрося, стойте! Куда же вы от меня бежите? Все равно не уйдете!

Фроська, разгоряченная, красная, вызывающе останавливается:

— Чего вы от меня хотите? Я вам должна?

— Да! Должны!

— Сколько я вам должна?

— Не сколько, а что! Вы должны сказать мне правду: вы больны или нет?

Фроська нагло хохочет:

— Ха-ха-ха!

К женщинам:

— Девочки, слышали: я больная! Ха-ха-ха!

К бритому-строгому:

— Может, вы сами больные?

Настя с своего места:

— А вот это скорей! Жаль, Владьки тут сейчас нет! А то бы он ему показал, какая она больная!

Антоновна подходит:

— Гражданин, об этом надо было раньше думать, если вы так боитесь. Которые так боятся, те сюда не ходют.

Бритый-строгий размахивает руками:

— Как это так, «раньше» думать! Раньше мне не надо было думать, потому что я доверился на ее честное слово! Пока мне другие про нее не сказали, я даже ничего не подозревал!

Фроська щурится, нацеливается в него щелочками глаз, вытягивает шею вперед:

— Кто, какая гнида вам на меня доказала?..

Бритый-строгий отводит рукой ее взгляд:

— Это не важно, кто. Важно, чтобы вы сами сознались мне во всем. Тогда, по крайней мере, я смогу сейчас же начать лечиться, если вы меня заразили.

— Ну и лечись!

— Прошу говорить со мной по-человечески.

— А я — по-собачьему?

Антоновна примирительно:

— Фрося...

Фроська дергается от нее:

— А ну его! Надоел! С самой Неглинной пристал ко мне: «больная» и «больная»!

Антоновна в сторону:

— Хотят и удовольствие получать, и быть здоровыми.

Фроська вертится на месте, злится:

— Помешался умом! Сознайся ему, что я больная, когда я даже ничего не замечаю за собой! Не шел бы тогда со мной, если я больная! Наверное, сам уже не раз болел, оттого и боится опять заразиться! Жаль, Владька мой сидит арестованный...

— Пожалуйста, без угроз!

— А кто вам грозит?

— В-вы! И если вы говорите, что вы здоровы, тогда отчего же вы боитесь пойти сейчас со мной к доктору на осмотр?

— К доктору? Срамить себя? Вот еще новости какие!

— Он только освидетельствует вас, а потом, когда будет делать анализ, вы можете даже уйти — значит, и всего-то вы потеряете каких-нибудь десять минут.

— Девочки! Смотрите! Ну разве не помешанный? Пойду я ему среди ночи к доктору!

— Но я от вас так все равно не уйду! Неужели вы думаете, что я смогу сейчас уйти домой и лечь спокойно спать? Да ни за что! Предупреждаю: если вы добровольно пойдете сейчас со мной на осмотр, я отблагодарю вас за потерянное время, а если откажетесь — с милицией возьму!

— Иди зови милицию! Иди! Зови!
Антоновна хозяйственно:
— А сколько вы ей дадите, если она пойдет?
Бритый-строгий, момент подумав:
— Трояк дам.
Фроська со смехом:
— О!.. «Трояк»!.. Я за это время скольких гостей отпущу!
Антоновна спокойно:
— Трояка, гражданин, мало. Теперь не день. Днем она и за два рубля пошла бы. А теперь ночь, когда у нас самые гости.
— Ну пятерку!
— За пятерку я тоже не согласная. Буду я мараться за пятерку.
Бритый-строгий, не в силах скрыть бессильную злобу, со скрежетом зубов, раздельно:
— Сколько же вы... хотите... с меня... содрать???
Фроська смотрит на Антоновну. Та показывает ей десять пальцев.
— Десятку дадите, пойду.
— Идемте!
Они быстро уходят.
Антоновна Насте, садясь на камешек:
— Вот как Фроське деньги в руки лезут, — сами! Только бери.
Настя со своего камешка:
— Она тебе тоже должна из той десятки что-нибудь дать, что ты ей посоветовала.
— А конечно, должна.

Х

Солдат и беременная выходят из пролаза.
Солдат в печальном раздумье, опустив голову:
— Прощайте, мамаша!
Беременная, с узелком солдатского белья под мышкой, кротко:
— Прощай, сынок! Заходи когда!
Солдат не поднимает головы:
— Зайду, если...
Беременная, отставая от него:

— Может, вам из продуктов что выдают? Я и продуктами возьму: мылом там, табаком, крупами... У меня семейство.

Солдат:

— Ладно.

Исчезает.

Беременная садится на землю рядом с Антоновной.

Они, работая в четыре руки, внимательно разглядывают на лунный свет солдатское белье: исподники, рубаху...

XI

Из другого пролома выходят инвалид на костылях и Осиповна с повязанной щекой, оба легонько выпившие.

Осиповна жалобно:

— Прибавил бы мне еще рублик. Я так ждала тебя. Скольким хорошим гостям отказала.

Инвалид твердо:

— Пой, ласточка, пой! Ты и так у меня, у калеки у несчастного, много медяков из кармана повытаскала! Думаешь, не видел? Пьяная-пьяная, а свое дело знает!

— Ничего подобного!

— Со мной — не спорься! Раз говорю, значит, видал!

— Если я и подобрала с земли какую мелочь, то все равно ты сейчас пойдешь жуликам в карты проиграешь.

— А это неизвестно! Может, выиграю!

— У жуликов не выигрывают. Дай, правда, рублик. Лучше в другой раз меньше дашь. А то в деревне, пишут, издохла корова, я на корову, на хорошую, на колмогорскую собираю.

— Мели, Емеля! Здесь, на этой мусорной свалке, тебе так же нужна колмогорская корова, как мне, допустим, на Тверской, возле Елисеева, нильская крокодила! Хе-хе...

Он уходит, постукивает по кирпичам костылями... Она остается, садится под стенкой, высыпает на землю кучу медяков, счастливо улыбается в лунном свете, считает.

XII

Возвращаясь от доктора в руины, Фроська прихватывает с собой по дороге юношу-вузовца.

Антоновна приветливо:

— Скоро ты, Фрося, скоро. Магарыч с тебя, что я тебе помогла десятку с того человека слизнуть. Десять рублей не десять копеек!

Фроська:

— Знаю. Магарыч потом, я не отказываюсь. А сейчас, видишь, некогда!

Вузовцу:

— Ну, молодой человек, чего же вы остановились? Идемте!

Вузовец стоит у кирпича передней стены, глядит в руины глазами приговоренного к смертной казни, меняется в лице:

— Как будто... немного того... страшновато...

Фроська весело изумляется:

— Кого, меня боитесь? А еще, говорите, студент! Но, может, вы вовсе и не студент? У нас бывают студенты, так те ничего не боятся.

Пробует обнять вузовца.

Вузовец мучительно отстраняется.

Фроська:

— Чего вы боитесь? Не бойтесь! Тут вас никто не обидит. На квартирах у девушек фрайера вас скорей оберут и еще изобьют!

Вузовец не отрывает смертельных глаз от руины:

— Погодите, не торопите меня... Я сперва посмотрю...

Дрожит.

Фроська со смехом:

— А дрожит как! Видать, что в первый раз пришел. — К женщинам: — Девочки! Глядите! Невинного привело!

Смеется.

Антоновна встает из-под стены, подходит, обращается сперва к студенту:

— Здравствуйте. — Потом к Фроське: — Это у них без привычки. Привыкнут — будут смелей. А ты не смейся. Смеяться нехорошо. Проводи их туда. — Указывает в глубь развалин: — Там им будет вольней распорядиться.

Уходит на свое место.

Фроська вузовцу:

— Ну как? Идемте?

Вузовец с улыбкой больного:

— Погодите, погодите немного...

— Чего ждать-то?

— И хочется пойти с вами... боюсь.

— А как же другие ходят, не боятся? Надо пересиливать страх!

Вузовец, как в лихорадке:

— Один голос во мне говорит: «Иди, не бойся». А другой: «Не ходи, пропадешь». Вот и разрываюсь на части. Знаю, что если пойду, то потом недели две-три буду каяться, убиваться, ночей не спать, все думать, что заразился от вас. А не пойду — тоже не могу...

Фроська обиженно:

— Вот глупости какие! Если бы я была заразная, а то я совсем здоровая! Можете даже у девочек спросить!

Кричит Антоновна:

— Антоновна, слышишь, я заразная!

Антоновна из-под стены:

— Разве такие девочки бывают заразные? Вы только поглядите на нее! Это даже если кто не понимает, и то...

Вузовец с нежностью смотрит на холодное лицо Фроськи, тепло улыбается:

— Главное, вы страшно напоминаете мне мою прежнюю. Такая же миниатюрненькая, аккуратненькая, с такими же красными щечками...

Ласкает ее подбородок, жмурится от испуга и наслаждения.

— Вот и пойдете со мной, если я вашу вам напоминаю. По крайней мере, вспомните.

— В конце концов, конечно, не сложу с собой и пойду... Мужчина в этом отношении скверно устроен, прямо возмутительно... Иногда на нас накатывается такая волна, такая смертельная тоска, когда ничем не заменить нам вашего брата...

Фроська хвастливо:

— С нами ни один человек не затоскует! Мы любую тоску из человека в два счета выгоним!

Приглядывается к нему:

— А красивенький какой! И я, дура, только сейчас это заметила! Сядем пока, если так.

Сажает его рядом с собой на кучу битых кирпичей.

— Ты такой хорошенький, такой симпатичный, что, пока я разговаривала с тобой, уже успела влюбиться в тебя. Потрогай, как бьется мое сердце. Дай руку, не бойся, трогай, трогай. Видишь, что ты сделал со мной? Теперь я так не отпущу тебя! Раз мужчина мне нравится, то я уже не могу его так отпустить.

Смотрит на него в упор, любитесь им.

Вузовец смотрит на нее, любитесь ею:

— Ну вылитая моя! Как две капли воды! Так жалею, что разошелся с ней... Такая была редкостная, такая замечательная...

— Обойдешься без ней.

— Теперь жду: из провинции должна приехать ко мне другая. Пришлось выписать из провинции: в Москве нет таких знакомых. Вот поэтому я и побаиваюсь решиться с вами: вдруг и себя заражу, а потом, когда она придет, и ее!

— Все даже глупые ваши слова, товарищ студент! «Заражусь» да «заражусь»! Первый раз слышу! Какое может быть заражение от такой чистенькой девочки, как я! Смотрите, какая я!

Расстегивает ворот, показывает шею, грудь...

Вузовец с гримасой отчаянья:

— Проклятая мужская природа!.. Кто мог бы подумать, что я сюда попаду!.. Тут надо заниматься, а тут лезут в голову разные мысли о женщинах!.. Какая-то рассеянность, невнимательность ко всему, что читаешь!.. Мысли обрываются, скачут, не имеют никакой связи!.. Настоящее сумасшествие!..

Обхватывает руками голову, стонет.

Фроська с любопытством приглядывается к нему:

— О, какие вы нервные! Не люблю нервных мужчин. Тогда они делаются хуже нас, баб. По-моему, боишься — не ходи.

— О, если бы я знал, что вы не больная!..

— Клянусь моим счастьем, что я совсем здоровая!..

Неожиданно ловит его за шею, притягивает к себе, насильно целует в губы.

Вузовец вырывается:

— О, что вы, что вы...

В испуге морщит лицо, кривит рот и потом все время украдкой трет платком губы.

Фроська шипит, наклонившись к нему:

— А зачем ты меня так раздражил?.. Вот что значит долго не встречалась с мужчиной!..

Вузовец с надеждой:

— А разве вы долго... не встречались с мужчиной?

Фроська:

— А вы не видите? Два месяца терпела, а сегодня говорю себе: дай выйду, может, порядочного какого встречу. Вышла, смотрю: вы идете.

Вузовец проясняется, как младенец:

— Правда?

— А понятно, правда. Спросите, кого хотите. Антоновна, правда я тут два месяца не была?

Антоновна издалека:

— Правда, правда, гражданин! Ей тут два месяца не было! Только сейчас с вами пришла!

На лице вузовца мука, борьба:

— Сам не знаю, что делать... Это называется потерять волю... А раньше какая была сила воли!.. Ехал в Москву, храбрился!.. Мечтал покорить едва не весь мир!.. Казалось, всё в моей власти!.. А выходит, не всё... И главное, каждый день так: подойду к вашей сестре на Тверской, договорюсь, сторгуюсь, а потом вдруг как побегу прочь! А завтра снова на Тверской... Ужас, что такое!..

Фроська:

— Бояться хуже. Кто боится, тот скорей попадаетея, — как с вашей стороны, так и с нашей. Тут у нас были, которые...

Вузовец не слушает ее, мучается своим, вдруг выкрикивает с восторгом, как победитель:

— А вчера я все-таки победил себя! Уже вошел к одной в комнату, уже снял пальто, шапку, а когда она вышла в кухню с кувшином за водой, я кубарем как покатился по лестнице вниз! И убежал... Только она все-таки успела вылить мне на голову с третьего этажа ведро вонючих помоев... Зато потом, весь день я так хорошо себя чувствовал, таким героем, что переборол-таки себя, убежал!

Фроська со злобой:

— Ненормальный! Тогда зачем же ты за мной с самой Театральной волоксы? Кто тебя просил? Хотел над бедной девушкой посмеяться?

Вузовец не то смущаясь, не то пугаясь:

— Вы не сердитесь, не сердитесь. Я еще, может, пойду... — Указывает, щурясь, на руины: — А там у вас как? Какая-нибудь мебель?

Фроська с усмешкой:

— Зачем мебель? Просто земля, вроде песочка. Мебель хуже: на ней скорей всякая паршь разводится. Об этом-то вы не беспокойтесь, там у нас хорошо, чисто. Вот пойдемте, посмотрим. Только посмотрим.

Она поднимает его, он встает, она тащит его за подмышку, он упирается, как бык перед воротами бойни, но все же понемногу сдается, шаг за шагом идет.

Фроська повторяет:

— Только посмотришь!.. Оставаться не будешь! Только посмотришь местность!..

Вузовец доходит с ней до пролома в стене, а там со всей проснувшейся в нем силой вдруг вырывается из ее рук:

— Нет! Решил! Не пойду! Не хочу!

Она ловит его сзади за плечи, силится протолкнуть в дыру в стене.

Он вывертывается, бежит к выходу.

Она кидается за ним:

— Девочки! Держите его! Держите паршивца! Два часа голову даром крутил!

Хватает с земли кирпичину, заносит руку с кирпичиной выше головы.

Настя вскакивает, бежит, наклоняется на бегу за камнем:

— Бей его, супника! Бей!

Фроська швыряет через стену в вузовца кирпичом. С торжеством:

— Попала! В самую хребину! Так и согнулся! Будет помнить, как бедных девушек обманывать!

Беременная выходит из тени на свет, дико улыбается при луне:

— А все-таки хорошо попала? Так ему! Их, таких, учить надо! Без денег хотел! Нам тоже не даром достается!

Осиповна с камнем в руках, взволнованная, дрожащая, зеленая при луне:

— Котовать пришел! У нас своих котов много!

Антоновна по-старушечьи, удаляясь на свое место:

— Я сразу заметила, что холуй. Жужжит и жужжит у Фроськи над ухом, как пчела.

Расходятся по углам, мало-помалу успокаиваются.

ХIII

Цыганка Варя, вся в ярких лентах, бусах, монетах, сильно пьяная, выходит через пролом из глубины развалин, пляшет по середине зала, сверкает в лунном свете, поет:

*Как шофера не любить,
Когда он чисто ходит?..
На нем кожаная тужурка
С ума меня сводит...
Тра-ла-ла-ла-ла...*

Коренастый молодой мужчина во всем кожаном, новом, блестящем, тоже пьяный, идет за ней, держит вытянутые руки выше головы, бьет в ладоши, как в бубны, пританцовывает, поет с сияющим, красным лицом:

Отчего да почему, да по какому случаю...

Цыганка ко всем женщинам дико, разливисто:
— Девочки!.. Родненькие!.. Я сегодня гуляю!.. — Взмахивает рукой, вскрикивает, плачет...

Мужчина пьяным удалым криком:

— Давай, давай!.. Блаженство и рай, садись на край и ножками болтай!.. Йэх-ма!.. Ха-ха-ха...

Цыганка в слезах, пропащим выкриком:

— Девочки!.. Месячного своего провожаю!.. Помесячно со мной жил, а теперь женится на землячке!..

Мужчина заглушает ее:

— Варя! Прощай!

В пьяном слезливом восторге обнимает, целует ее.

Антоновна, Осиповна, Настя, Фроська, Манька-Одесса, беременная широким табором провожают их к выходу.

Пара исчезает за руинами, и некоторое время слышно, как бывший месячный пьяно горланит в ночи «Разлуку»...

Над одной из стен развалин появляются головы любопытных: посмотрят смеющимися лицами внутрь руин и уходят...

XIV

Осиповна подходит к стене, к голове одного любопытного:

— Усатый, угости покурить.

Голова на стене, в приличной шляпе, с громадными горизонтальными усами:

— Я не курю.

Осиповна:

— Ну давайте сбегая куплю.

— Мелких нет.

— Можно сходить разменять.

— Ночь. Лавки заперты.

— В «Ларьку» торгуют до двух часов.

Голова усача исчезает, проваливается за стену. На ее месте возникает другая: упитанного краснощекого турка в красной феске.

Осиповна вкрадчиво-топко:

— Интересуетесь поглядеть?

Турок:

— Ну да...

— В вашей стороне этого нету, чтобы девушки так гуляли?

— Г-гы... Зачѐм нэт?... Есть... Еще лучше...

— Тут у нас тоже хорошо, несмотря что без крыши...

— Г-гы...

— Наверное, приезжие?

— Г-гы... Ну да...

— Наверное, из-за границы?

— Г-гы... Зачем из-за границы?

— А откуда ж?

— Г-гы... Все надо знать, все надо спрашивать!.. Каждый человек для себе знает, откуда он, кто он... Ну из Крыма я!.. Крым знаете?..

— Крым? А как же. Знаю. Это на Кавказе. Хорошая сторона.

— Г-гы...

— А красавец какой! У русских таких красавцев нет!

— Г-гы...

— Может быть, сходимте куда-нибудь?

— Н-нэт...

— Почему? Вы не сомневайтесь. Там в развалке у нас хорошо: тихо, уютно, никто не беспокоит.

— Н-нэт!..

— А почему?

— «Почему», «почему»! Мы не русски! Мы не любим шалаться туда-сюда! Нам постоянный Маруська надо!

— Ну что же, берите у нас постоянную. Тут у нас можно выбрать очень порядочную девушку, которая этим не занимается, а так сюда приходит. Зайдите, поглядите там под стенкой.

Турок отрицательно цыкает губами, отрицательно мотает головой.

— Ну, подарите мне копеек пятьдесят.

Голова турка мгновенно проваливается.

Осиповна плетется на свое место:

— Вот проклятый Аллах!.. Как только дело коснется, чтобы девушке что-нибудь подарить, так давай Бог ноги!.. Ходят сюда только смотреть!.. Па-ра-зи-ты!..

XV

Бритый-строгий, прежний, неожиданно врывается в руины с револьвером в вытянутой руке:

— А ну-ка где тут ваша заразная?! — Направляет дуло револьвера на Антоновну: — Говори, старая, где сейчас Фроська!!!

Все, кроме Антоновны, вмиг разбегаются.

Антоновна в страхе увертывает голову от дула револьвера, косится в тот пролом, куда в момент шмыгнула Фроська.

— Что вы, что вы, гражданин! А меня за что? Не наводите, не наводите на меня!

Бритый-строгий весь сотрясается от злобы:

— Говори, ведьма, а то застрелю, как собаку!!! Говори сейчас!!!

Антоновна заслоняется от револьвера руками:

— Скажу, скажу, только опустите пистолет! — Тише, озираючись: — Вот туда она побежала, в тот пролаз.

Бритый-строгий напоследок еще раз грозит ей револьвером, рычит:

— Уррр!!!

Бешеными прыжками бежит к пролому, на который она указала.

Антоновна подбирает полы платья, по-старушечьи улепетывает из зала.

Фроська, без шляпки, растрепанная, с дикими глазами, одна, ветром пролетает через весь зал из одного пролома в другой. Вопит не своим голосом:

— Де-воч-ки!!! У-би-ва-ют!!!

Исчезает за стеной.

Бритый-строгий, как тигр, тотчас же проносится вслед за ней, в тот же пролом, держа перед собой наготове револьвер:

— Врешь, сатана!!! Не уйдешь!!!

Едва он скрывается за стеной, как оттуда доносятся три спешных выстрела: пах-пах-пах. Затем на мгновение все стихает...

Женский протяжный голос в глубине руин:

— Не по-па-ал!.. У-бег-ла-а!.. Вон она бежит, вон!.. На Самотеку по-да-ла-ась!..

XVI

Товарищ Казимир Желтинский, пожилой, хилый, нарядный, и товарищ Вера Колосова, молодая, нарядная, скромная, осторожно подходят к куску передней стены, похожему на косою парус, заглядывают вовнутрь опустевших развалин.

Товарищ Вера с тревогой в голосе и лице:

— Никого нет... Тишина...

Товарищ Казимир удивленно:

— Странно, странно... Ага, помните, Вера, мы только что слышали, как где-то тут невдалеке были три выстрела? Должно быть, здесь несколько минут тому назад произошла какая-то уголовщина — и теперь вся эта публика разбежалась.

Вера вздрагивает, задумывается:

— Скажите, Казимир, а он не мог тут пострадать во время этой перестрелки?

Казимир с неприятным смешком:

— О, нет. Субъекты, подобные Шибалину, очень дорожат жизнью своей особы. Хе-хе... И вы о нем не беспокоитесь.

— Значит, вы уверены, что его жизни тут только что не угрожала опасность?

— Вполне. Вполне уверен. Хотя, правда, тут ему грозит совсем другая — пожалуй, еще более страшная — опасность.

— Какая?

— Я вам об этом уже говорил.

— Ах да... Но неужели это факт? Неужели это возможно, чтобы он, Шибалин, Шибалин... и — вдруг!

— Погодите полчаса и сами убедитесь в этом.

Достает часы, смотрит.

— Сядемте тут.

Они садятся на куче битого кирпича, впереди куска передней стены.

Вере не сидится, она томится, страдает:

— Казимир, но почему вы так убежденно говорите, что Шибалин непременно тут будет?

— Потому что сегодня четверг. А ваш «великий человек», порвав связь с вами, находит более удобным разрешать для себя «любовный вопрос» именно здесь, в этой клоаке, раз в неделю, по четвергам, ночью, приблизительно в эти часы.

— Но почему вы это знаете? Может быть, он приходит сюда только собирать материал для своих будущих повестей?

— О да, «материал», «материал!» Для подобного «гения» весь мир, конечно, только материал, над которым он призван проделывать важные опыты! И вы, Вера, и ваша связь с ним, и ваша безответная любовь к нему послужили для него тоже только очередным литературным материалом!

— Казимир, я запрещаю вам говорить о Шибалине в таком тоне. Все-таки он — Шибалин.

— Он был Шибалин! Был! А теперь разве вы не замечаете, с какой головокружительной быстротой этот человек падает?

— Ничего подобного. В вас говорят нехорошие чувства, зависть, ревность.

— Зависть? Чему завидовать? Не тому ли, что человек когда-то был на высоте, а теперь летит в пропасть? Ревность? Но к кому? К человеку, которому небезопасно даже подавать руку в чисто, так сказать, санитарном отношении?

— А про это вы тоже напрасно говорите, Казимир. Про «санитарное отношение».

— Нет, не напрасно! Я только поражаюсь вашей смелости. Вера, как вы не боитесь искать с ним встречи именно здесь, где каждая пядь земли пропитана бактериями страшных болезней!

— А это мое дело. Я так хочу.

— Тогда я молчу.

— Это самое лучшее, что вы сейчас можете сделать.

Встает, заглядывает через стену вовнутрь зала.

В это время выходят из всех пролазов и занимают свои обычные места под стенами зала Антоновна, Осиповна, Настя, Манька-Одесса и другие — все, кроме Фроськи.

Казимир Вере с ужасом:

— Видите? Не показывайтесь им, не показывайтесь!

Вера по-женски раздраженно:

— Сидите вы! Молчите! Я хочу их спросить. Может быть, он уже тут, у них, в развалинах этих.

Казимир с испуганными ужимками:

— И не думайте спрашивать! Вы их не знаете! От них такое можете услышать!

Вера смело:

— Пусть. Я не боюсь.

И идет одна внутрь руин.

XVII

Вера обращается к Антоновне, как самой старшей по виду:

— Скажите, гражданка, куда к вам сегодня такой не приходил: здоровый, в сером летнем пальто?

Антоновна загадочно:

— А кто его знает? Разве так скажешь? Тут за день много перебивает всяких: и в черных пальтах, и в серых, и вовсе без пальт. По пальту не узнаешь.

Осиповна встает, подходит:

— Когой-то спрашивают?

Настя встает, подходит:

— Когой-то спрашивают?

И остальные женщины встанут со своих мест, собираются вокруг Веры:

— Когой-то?

Вера объясняет, показывает руками:

— Ну, солидный такой, прилично одетый...

Антоновна равнодушно:

— Сюда большая часть солидных ходят и прилично одетых. Каких попало мы сюда не пускаем. Сюда, бывает, перед рассветом в автомобилях за девушками приезжают. Давай и давай! А вы: «В летнем пальте»... А что, он ваш муж?

Вера, сомкнув губы:

— Нет. Брат.

Уходит из руин. Идет так, как будто ожидает, что в спину вот-вот сейчас ее ударят камнем.

Женщины стоят при луне неподвижной толпой, поворачивают лица ей вслед и все на разные голоса:

— Ха-ха-ха!.. Знаем мы таких «братьев»!..

Казимир Вере, когда она возвращается к нему за переднюю стену:

— Ну что? Я говорил! Получили?

Вера утомленно садится.

— Молчите вы! Не каркайте! Всегда каркает...

Казимир встревоженно-озабоченно:

— Вера! Что с вами? Вам нехорошо? На вас лица нет!

Вера слабым голосом:

— Ничего... Это сейчас пройдет... Еще бы!.. Поглядели бы вы на них... на этих... на ведьм!.. Как обступили меня!.. И как заговорили своими сильными голосами!.. А обстановка вокруг

при луне!.. Ад!.. Полная картина ада, населенного нечистыми духами!..

— Я говорил, не надо было туда ходить!

— Наоборот. Я очень довольна, что сходила туда и поглядела на этот мир своими глазами.

— Бежать вам надо, Вера, из Москвы! Бежать! Иначе вы Шибалина никогда не забудете! Утопая сам, он потащит за собой и вас! На днях я откомандировываюсь в Ленинград для редактирования там одного профжурнальчика. Советую и вам воспользоваться этим случаем и поехать со мной.

— А я зачем? Только еще этого не доставало, чтобы я переехала в Ленинград!

Казимир горячо доказывает ей, убеждает, не спускает с нее млеющих глаз...

Вера не слушает его, вертится, встает...

— А он с которой стороны должен прийти? С той? Или с этой?

Казимир недовольно:

— С этой.

Вера с лицом, выражающим боль:

— Мне не сидится, Казимир. Я очень волнуюсь. Походим. Пойдемте ему навстречу, что ли.

Казимир неохотно:

— Пойдемте.

Вера резко:

— Но уговор: как только увидим его издали, так извольте сейчас же оставить меня одну!

— Об этом можно было не говорить...

Они отходят от руин.

XVIII

Шибалин, крепкий мужчина, с упорным медлительным взглядом художника и мыслителя, сперва проходит мимо руин, только заглядывает туда через стену, смотрит, кто есть. Потом поворачивает обратно и направляется прямо в руины.

Вера, следившая за ним издали, подбегает к нему, хватается за руку:

— Никита!.. Ты куда?

Отводит его в сторону от входа в руины.

Шибалин смущенный:

— Вера... А ты каким образом попала сюда? Зачем?
— За тобой! За тобой пришла!
— Откуда у тебя такая дикая фантазия?
— Ника, умоляю тебя, умоляю, уйдем сейчас из этого ада!
— Вера, оставь эту дамскую блажь. Она тебе совсем не к лицу.

— Ника! Не издевайся надо мной, над моим порывом! Если бы ты знал, с каким чувством я помчалась сюда, когда узнала, что сегодня ночью ты будешь здесь!

— Не стоило трудиться. А от кого ты узнала?

— Это многие знают.

— Даже многие?... Гм...

Саркастически улыбается.

— Никогда, никогда, никогда я не ожидала, Ника, что ты в конце концов попадешь в стан развратников, сластолюбцев, покупающих за деньги женскую любовь!

— Городишь ерунду! Знай, что среди мужчин, обреченных ходить к проституткам, нет ни «развратников», ни «сластолюбцев», а есть только несчастные, неудачливые в любви, мученики, великие мученики, жертвы идиотского уклада всей человеческой жизни! Понимаешь ты: жер-твы!

Вера с усмешкой:

— О!.. Он все о своем!..

Шибалин желчно:

— Да! О своем! И всегда буду об этом своем! Всегда! Всю жизнь! Сядем здесь...

Они садятся на кирпичи впереди передней стены:

— Ника, скажи правду, а ты, ты, лично ты пользуешься проституцией?

— К сожалению, да. Но ведь это я только пока. Поко наконец встречусь с ней, с той, которая действительно мне подходит. На первой попавшейся не женюсь.

Вера с омерзением щурит на него глаза:

— О! Вы! Мужчины! Как вас после этого назвать? Развратничаете налево и направо, ходите к проституткам, придумываете «идейные» оправдания этому, изнашиваетесь, обращаетесь в негодную ветошь, — и все смеете, и все считаете себя вправе искать встречи с ней, с «настоящей», «нетронутой», «чистой», «единственной на всю жизнь». Разве это не подло?!

— Что же делать, Вера, если при настоящих условиях таков путь мужчины к идеальной женщине.

— Путь через грязь, через проституцию, через болезни?

— Выходит, что да. Вот почему я и объявил борьбу с по-добным укладом человеческой жизни.

— Жизни ты, Никита, не перестроишь, а сам погибнешь. И уже погибаешь.

— Что же. Не я первый, не я последний. Сколько челове-ческих дарований, талантов, гениев преждевременно сгорают на этом быстром огне, огне уродливо разрешаемой проблемы пола! Вера, если ты когда-нибудь замечаешь на сером небо-склоне жизни новое яркое восходящее светило и потом вдруг обнаруживаешь столь же внезапное его исчезновение, то знай, что подававшая надежды звезда непременно запуталась в невылазных тенетах любви. Следующий свой роман я по-свящу этой теме и назову это так: «Падающие звезды». Правда, красиво?

— Красиво-то красиво...

— Но что? Говори, что? Договаривай!

— Боюсь, рассердишься.

— Что за глупости! Что я, обыватель, что ли? Ну говори!

Вера не сразу:

— Я хотела спросить, почему у тебя, Ника, в последнее время рождается так много красивых названий для твоих буду-щих произведений, а самих произведений все нет?

Шибалин с перекосившимся лицом:

— А-а-а!!! Значит, ты тоже уже не веришь в меня как в писателя?.. А-а-а!!! Ты тоже уже сомневаешься в моем таланте?.. Да... Конечно, «Шибалин исписался»... «Шибалин выдохся»... «Запутался в вопросах любви»... «Падающая звезда»... Ха-ха-ха...

— Нет, Ника, нет! Совсем нет! В литературный твой та-лант я по-прежнему верю! Я только нахожу, что ты в своих исканиях действительно сбился с пути, забрел в такие дебри, из которых не знаю, как выберешься! Например: в теории, в кни-гах своих громишь зло, а на практике собственной персоной поддерживаешь проституцию!

Шибалин:

— Все мужчины поддерживают проституцию.

Вера:

— Это неправда.

— Правда! Мне лучше это знать! Я — мужчина!

— Чем же тогда ты это объясняешь?

— Очень просто. По вине женщины проституция в насто-ящее время является е-дин-ствен-ной формой брака, которая не связывает по рукам и ногам мужчину.

— О! Вот так «брак»! Додумался! Доискался! Дальше идти уже некуда! От-ка-зы-вать-ся от чистых женщин и соз-на-тель-но лезть в эту грязь!..

— Мелешь ерунду! Ни один мужчина не предпочтет проститутку так называемой чистой женщине! Ни один!

— Но ведь со мной-то ты разошелся, от меня-то ты отказываешься, а этих не гнушаешься, к этим ходишь?

— О! Она все о своем!..

— Да! О своем! И всегда буду об этом своем! Всегда! Всю жизнь! У тебя своя идея, у меня своя! Ника, подумай и ответь себе, кто же для тебя лучше: они или я? Неужели они? Шибалин твердо:

— Оба хуже: и ты и они. Ты по-своему, они по-своему.

— Объясни подробней!

— Сотни раз объяснял.

— Объясни, почему ты не хочешь еще раз попробовать возобновить нашу связь! Это такая глупость, такой абсурд, что мы с тобой разошлись!

— Вера, с этим у нас покончено давно и навсегда. Ты не та женщина, связь с которой принесла бы мне счастье.

— Но скажи, чем я не та? Ты никогда не говоришь, чем я не та. Объясни толком, какая женщина тебе нужна! Может быть, я сумею перемениться?

— О! Уже скоро год, как мы с тобой разошлись, а ты все ходишь за мной и спрашиваешь почему и предлагаешь перемениться. Довольно! Больше ни слова об этом! Ни слова!

— Я так и знала, что ты не дашь мне договорить до конца...

Нервно трясущейся рукой достает из своей сумочки толстую пачку бумаг, передает ее Шибалину.

— ...поэтому я изложила свои мысли на бумаге. Возьми это, прочти. Ты воображаешь себя великим психологом, а в моих переживаниях разобраться не мог. Ты судил обо мне поверхностно, принимал меня за ничтожество. Но я смею считать себя несколько иной.

Раздельно, с ударением на каждом слове:

— Так не по-нять ме-ня!!!

Шибалин поражается толщиной пачки:

— Это про что же тут?

Вера:

— Про мое чувство к тебе, про мою любовь.

— Такая толстая пачка про любовь?

— Не смей смеяться надо мной, над моим чувством!

— Я не смеюсь.
— Смеешься! Думаешь, я не вижу? Конечно, я очень извиняюсь, что чтение моего послания отнимет у тебя несколько минут времени...

Шибалин пробует пачку на вес:

— Тут не на несколько минут, тут на два часа чтения.

— Ну, пожертвуй для меня двумя часами времени! Только смотри прочти! Я хочу, чтобы ты наконец понял меня!

— Хорошо. Хотя я и так понимаю тебя.

— А когда можно будет узнать ответ?

— Какой ответ?

— Ну, на это... писание.

— Еще надо давать и ответ?

Опять вертит в руках и взвешивает пачку.

— Никита! Не издевайся над моими страданиями! Будь хоть раз повнимательнее ко мне!

— Ну, хорошо. Обещаю. Прочту. Ответ дам в нашем союзе. А теперь тебе пора, Вера...

— Хорошо, хорошо, ухожу. Прощай!

Крепко жмет его безучастную руку. Раздавленная великим горем, потерянная, безумная, уходит.

Шибалин несколько мгновений сидит без движения, скованный мукой. Потом порывисто встает, проводит ладью рукой, точно снимает с глаз повязку, и входит в руины.

XIX

Женщины при появлении в зале Шибалина подтягиваются, оживают.

Он сидит в стороне от всех на тумбочке из кирпичей.

Они по очереди проходят мимо него, приостанавливаются, заговаривают.

Антоновна подходит, сладким голосом:

— Вам скучно одному?

Шибалин холодно:

— Очень.

Антоновна с кокетством:

— Мне тоже что-то скучно.

После небольшой паузы, таинственно:

— Пройдемтесь?

Шибалин каменно:

— Нет.

— Чего так?

— Другую жду.

— Ну, ждите другую.

Отходит от него к своим. Со злобной усмешкой:

— Другую ждет! Ему нужна которая в шляпке, на высоких каблучках, намазанная! Ничего. Пусть, пусть...

Опускается на камешек рядом с Настей. По-старушечьи кряхтит, стонет.

Настя:

— Ну на самом-то деле, Антоновна, куда же ты лезешь? Разве не видишь, что это за человек? Неужели его карман не позволит ему взять что-нибудь получше?

Антоновна:

— Не то хорошо, что хорошо, а что кому нравится. Ты слишком молода, Настя, чтобы все понимать.

Беременная выплывает из темного угла зала, пересекает ярко освещенное место, направляется к Шибалину:

— Гражданин, вы меня поджидаете?

Шибалин вбок:

— Нет.

Старается не глядеть на нее, на ее высокий живот.

Беременная церемонно, с манерами:

— Очень-с жаль-с! Извиняюсь!

Делает реверанс, отходит, опять пересекает ярко освещенную площадь зала и тонет в глубокой тени под стеной.

Осиповна с напускной развязанностью, с деланной жестикой идет к Шибалину:

— А! Вот кто выручит меня! Понимаете, гражданин, как мне сегодня не везет! Все девочки уже по нескольку раз ходили к гостям, а я все еще без почину! Выручайте! Сделайте почин! Поддержите коммерцию!

Шибалин коротко:

— Нет.

Осиповна, по-прежнему притворяясь очень веселой, очень молоденькой:

— Почему «нет»? Почему не «да»?

— Условился с другой.

— С какой?

— Тут с одной.

— Как ее звать?

— Не знаю, не помню.

— Не знаешь?
Со злобой отходит:
— Договорился, а с кем, не знает! Ха-ха... Хотя б склад-
ней врал!

Садится возле Антоновны.

Антоновна, качнув головой:

— Вот такие и налетают!

Манька-Одесса, дурочка, недоразвитая, одичалая, с распущенными волосами, на босых косолапых ножках, приближается к Шибалину, сутулится, исподлобья кривит ему идиотские слюнявые улыбки, хихикает, потом, убедившись в его равнодушии, уходит:

— Хи-хи...

Женская фигура без лица, вся закутанная в дерюгу, с выступающими женскими формами, неслышно подплывает к Шибалину, медлительной пантомимой, как в балете, приглашает его за собой в глубь руин.

Шибалин такой же пантомимой отвечает, что не желает.

Фигура без лица медленно уплывает, садится на свое место под стеной, свертывается, каменеет.

Последней атакует Шибалина Настя.

XX

Деликатно выпроводив своего гостя, она торопливыми руками поправляет на себе наряд, прическу, шляпку, глядится в зеркальце, натирает ладонью нос, бежит к Шибалину, протягивает к нему обе руки:

— Семен Николаевич! Наконец-то! Здравствуйте, здравствуйте! Давно вы у нас не были, давно!

Шибалин сдержанно улыбается:

— Я не Семен Николаевич. Видимо, вы принимаете меня за кого-то другого.

Настя притворяется удивленной:

— Разве? Неужели я обозналась? Ну ничего. Неважно. Семен Николаевич вы или Иван Иванович, какая разница? Все равно мужчина. А если мы с вами еще не знакомы, то можем познакомиться, не правда ли?

Шибалин смеется, заинтересовывается:

— Правда, правда.

Настя заботливо берет его за руку, снимает с места:

— Где вы сели? Пойдемте найдемте местечко поуютнее. Ведет его вдоль стены, ищет, где лучше.

Шибалин:

— Вот здесь хорошо.

Настя:

— Нет. Вот тут лучше, суше.

Они усаживаются под стеной на целой горе кирпича.

Шибалин зорко присматривается к ней, изучает ее:

— Настя, а куда вы спровадили вашего гостя?

— Ушел домой. Это не гость. Это мой постоянный, месячный. Не оставался. Так приходил. Повидаться. Деньги за месяц приносил. Душ пять-шесть хороших месячных иметь — и можно спокойно жить, не тоскаться.

Осматривает его костюм, обувь:

— А вы что? Где-нибудь служите?..

— Нет.

— Чем-нибудь торгуете?

— Нет.

— А как же так?

— У меня свободная профессия.

— Доктор?

Шибалин смутно:

— Доктора тоже относятся к свободной профессии. И музыканты. И художники.

Настя с удовлетворением:

— Ну да. Значит, вы все-таки прилично зарабатываете?

— Конечно.

Настя с нежностью прижимается к нему.

— Ну, расскажите мне что-нибудь новенькое.

— А я собирался вас послушать. Вы расскажите.

— Я женщина. А что может знать женщина, сидевши дома?

А вы мужчина — мужчины везде бывают, все видят.

— Это не совсем верно, Настя. У каждого человека есть что рассказать. В особенности если говорить голую правду. Вот вы, Настя, расскажите мне сейчас самую откровенную, самую страшную правду про вашу жизнь.

— Зачем вам?

— Хочется подальше уйти от себя, от своей жизни, от своих дум. Хочется побольнее шлепнуться с неба моих фантазий на землю вашей действительности.

Настя двумя пальцами трогает у себя шею под подбородком:

— Что-то в роту пересохло.

— Хотите выпить?

— Ну да.

— А послать есть кого?

Настя поднимает руку, кричит:

— Манька! Одесса! Иди сюда!

Манька-Одесса идет, косолапит, горбится, свесив длинные руки впереди живота.

Настя к ней:

— Сбегай вот господину за покупками, на папиросы подарит.

Шибалин достает деньги, разглядывает оборванную дурочку:

— А ей можно доверять?

— Ей? О! Сколько угодно! Она у нас хоть и дурочка, а чужого ничего не возьмет. А то у нас есть еще другая девчонка-беспризорница, Катька-Москва. Вот за той надо остро глядеть: очень способная на руку. У своих ворует! И сколько ее ни били, сколько ни изувечивали, не помогает. Такая природа.

Шибалин Насте:

— Говорите ей, чего покупать.

Настя дурочке:

— Сперва возьми полдюжины пива, а то очень в роту пересохло. После пива захочется кушать — возьми два фунта хорошей ветчины и копеек на сорок белых булок. На сорок мало, возьми на пятьдесят. Но ветчину без вина не идет кушать, очень жирная вещь, — возьми бутылку коньяку, скажи: велели самого крепкого! Потом...

Шибалин, улыбаясь:

— А не довольно?

Настя:

— Довольно, только еще чего-нибудь на десерт. Ну там бутылку портвейну и два десятка пирожных, два мало, возьми три, да смотри выбирай крупных, маленьких не надо. Поняла, что взять?

— Поняла.

— Да, еще к ветчине баночку хорошей горчицы, только побольше, ну, бежи поскорей.

Манька-Одесса, хихикнув, бежит, по пути стаскивает с головы Осиповны платок, накидывает его на свою голову, исчезает за стеной.

Настя вскакивает на кирпичи, кричит ей вслед, сложив кисти рук трубой:

— Если вина в ночных магазинах не достанешь, поезжай на вокзал, возьми в буфете! По-рож-ня-я не при-хо-ди!

XXI

Настя в ожидании Маньки-Одессы обнимает Шибалина:

— Отчего вы такой серьезный?

— Расстроен.

— Чем?

— Всем, всей жизнью, и своей, и чужой.

— А почему расстраиваться чужой жизнью? Я еще понимаю — своей. Тем более если мужчина.

— У меня такое призвание, Настя, и такая профессия: болеть за всех душой...

— У-ух-х... как в роту пересохло!.. Со мной еще никогда так не было!.. Скорей бы приходила Одесса!..

— А вы, Настя, чтобы скорее прошло время, расскажите мне что-нибудь из своей жизни.

— В нашей жизни, гражданин, нет ничего хорошего.

— Рассказывайте тогда про плохое. Про самое плохое.

— Не знаю, что говорить...

— Вы давно начали заниматься этим?

— Гулять?

— Да.

— Уже порядочно. Не смотрите, что я такая молодая. Я уже всякую жизнь испытала, и хорошую, и плохую. Всего видела...

— Пробовали с кем-нибудь постоянно жить?

— Пробовала.

— С кем?

— С господином с одним, с которым себя потеряла.

— А потом?

— А потом... А потом... больше не хочу рассказывать, не буду, пока не вернется Одесса. Очень в роту пересохло.

— А далеко от вас ночной магазин?

— Нет. Совсем близко. Под боком. На том угле.

Встает на кирпичи, вытягивается, глядит вдаль, улыбается всем лицом, как на восход солнца:

— А вон и Одесса идет, покупки несет!

Манька-Одесса, дико сосредоточенная — очевидно, преувеличивающая важность доверенного ей дела, — идет, спешит, сдирает на ходу со своей головы платок, набрасывает его обратно на голову Осиповны...

Настя принимает у нее покупки, достает из кармана штопор, откупоривает первую бутылку пива, подает ее Шибалину, потом вторую, три четверти которой жадно — всасос — отпивает сама, а остаток подает дурочке.

Манька-Одесса не берет, прячет руки назад, с робостью поглядывает на Шибалина:

— Не надо мне... Не надо... Зачем мне?..

Настя смеется, горячится:

— Дурочка! Бери, пей, тебя угощают! Они угощают!

Потом другим тоном к Шибалину:

— Она боится, что если выпьет, то вы ей это за труды засчитаете и больше ничего не дадите. Скажите ей!

Шибалин достает из кармана мелочь:

— Дам, дам! Пейте, Маня! Слышите, пейте!

Настя суетливо поясняет ей, точно переводчица с иностранного:

— Слышишь, что они говорят? Пей! Они не засчитают!

Манька-Одесса протягивает руку к бутылке:

— Ну, выпью... раз так нахально просите.

Опрокидывает в рот бутылку, пьет, потом вытирает рукавом губы, с идиотской улыбкой глядит на полученные от Шибалина деньги.

Настя:

— Прибавьте ей еще копеек десять. Или двадцать. Вчера у ней померла мать, хоронить нечем, жильцы во дворе по подписному листу собирают.

Шибалин дает ей еще, она схватывает, взвизгивает, убегает, еще более горбясь.

Настя в одну минуту устраивается на кирпичях, залитых светом луны, как на пикнике. Раскладывает на бумажках закуску, десерт, раскупоривает пиво, коньяк, портвейн. Вместо рюмок откуда-то достает доньшки из-под разбитых винных бутылок. Наливает себе, Шибалину. Они чокаются, пьют рюмку за рюмкой, закусывают, оба быстро хмелеют.

Настя жалуется:

— Мало горчицы Одесса принесла. Раз-два помазать ветчину — и нету.

Густо мажет горчицей, с громадным аппетитом ест.

Шибалин, повеселевший, смеется:

— Что вы, что вы, Настя! Горчица такая крепкая!

Настя пьет без конца, крякает за каждой рюмкой, как мужчина, близкими, приятельскими глазами глядит на Шибалина:

— Знаете, гражданин... Перец, горчица, хрен, соленые огурцы — это моя болезнь... И селедки тоже... Жаль, селедок не захватили...

Сиротливо подошедшей Осиповне наливает вина:

— Пей, Осиповна!

Осиповна к Шибалину с подчиненным лицом:

— За ваше здоровье!

Выпивает, отходит за спину Шибалина, делает Насте какие-то знаки.

Настя Шибалину:

— Гражданин, подарите что-нибудь Осиповне за платок, за то, что Одесса в ее платке за покупками бегала. Осиповна! Иди получи за платок!

Осиповна руками и глазами берет из рук Шибалина мелочь.

— Очень вами благодарна. Извиняюсь, поднесите еще стаканчик — и я уйду.

Настя подносит, она выпивает:

— Побольше бы таких гостей! Уходит.

В это время раздается хриплый алкоголический голос из-под земли, из левой лисьей норы:

— Манька-а-а!.. Одесса-а-а!

Одесса подбегает, наклоняется к норе.

Алкоголический голос хрипло ведет:

— Сбегай за папиросами...

Одесса берет у кого-то из темной норы деньги, сдирает с головы Осиповны платок и убегает.

Спустя несколько минут второй алкоголический голос из второй лисьей норы, из правой:

— Манька-а-а!.. Одесса-а-а! Сбегай, разменяй червонец так, чтобы было два по полтиннику...

Осиповна подбегает, услужливо кричит в зияющую темнотой нору:

— Ей сейчас нету! Ушла за папиросами! Скоро придет! Тогда скажу!

Алкоголический голос в знак согласия протяжно хрипит под землей:

— Э-э-э...

Шибалин, хмелеющий, наполняется все новыми и новыми волнами большого хорошего чувства, сочувствия ко всем людям, в том числе и к Насте:

— Настя, пейте... Настя, ешьте... Поправляйтесь...

Настя:

— Спасибо, спасибо... А поправиться мне на самом деле надо бы... А то от такой жизни худеешь и худеешь с каждым днем...

С пьяненьким сожалением оглядывает себя, свое тело:

— Разве раньше я такая была?

Щупает свой затылок:

— Ишь зашеина как поменьшела!.. А раньше она вот такой толщины была!.. Раньше я кругом была толстая да красная, как наливная... А теперь?..

Обнажает одну ногу, поднимает, разглядывает, кладет ее на ногу Шибалина:

— Хотя я и теперь тоже еще ничего — против других... Правда, гражданин?..

Антоновна наставительно со своего места:

— Настька! Ты хоть и выпивши, а все-таки женщина и должна перед хорошим мужчиной стеснение иметь!

Настя продолжает с удовольствием прощупывать свою обнаженную ногу:

— А что я такого делаю?.. Девушки, которые очень худые, те, безусловно, должны перед мужчинами стеснение иметь... А я все-таки еще не до такой степени... Кое-что у меня еще есть...

Пьяно наваливается на Шибалина, трудно бормочет неповоротливым языком:

— Слушай, гражданин, что я тебе скажу... Живи со мной!.. Чем таскаться от одной к другой... Найдем в Сокольниках койку... Ты будешь на службу ходить, я буду хозяйство вести...

Шибалин весело хохочет.

Настя, глядя на его смех:

— Ты не смейся, не думай, я не деревенская!.. У меня вся родня приличная: отец кучером ездит на шоколадной фабрике, мать домовая прачка, старший брат дамским парикмахером занимается!..

Шибалин сотрясается от здорового, беззаботного, детского хохота, сидя при луне на кирпичках.

Настя продолжает свое:

— Согласны?.. А?.. Все равно лучше меня во всей Москве никого не найдешь... Если ты с ног до головы оденешь меня во все новое, шикарное, я никогда тебе не изменю... Самое первое, самое необходимое для семейной жизни у меня уже есть: самовар, два утюга, помойка. Вот рубаша на тебе чистая, а я по запаху слышу, что она как следует не прополосканная... А если будешь со мной жить, все белье на тебе будет прямо кипельное!.. А пироги какие умею я пекти!.. Под праздник будем ставить свои хлебы...

Молодой фронт в ярко-зеленом шарфе, с длинными, до колен болтающимися концами, в черно-белом клетчатом модном кепи входит в руины. Тонем повелителя:

— Настя!

Настя Шибалину тихо:

— Сказать, что занята?

— Нет, отчего же? Иди.

— А как же ты?

— Я все равно другую жду.

— А то смотри... Это свой человек... Служит в...

Она говорит Шибалину на ухо, где он служит.

— ...Так что он мог бы какие-нибудь полчаса подождать, если ты хочешь пойти со мной...

— Нет, нет, Настя. Иди.

Достает кошелек, дарит ей несколько монет.

Фронт прохаживается в стороне, с нетерпеливым видом марширует. Приостанавливается, смотрит вбок через плечо, капризно:

— Настя!

Настя благодарит Шибалина, прощается, прячет деньги, бежит, пошатывается, торопится съесть на ходу еще одно пирожное:

— Иду, иду!

Подходит к фронту:

— А долг принес?

Делает шаг назад, стоит, упирается, не хочет идти за ним в пролаз:

— Тебя спрашивают: долг принес?

Фронт молча бьет ее по шее, она кричит, он бьет еще, схватывает ее за шиворот, пригибает к земле, ударяет коленом в зад, она пролетает впереди него в пролаз.

XXII

Ванда — очень красивая, в кроваво-красной широкополой шляпе, тонкая, воздушная благодаря лунному освещению, является из города в руины, гордо шествует по залу, точно делает смотр своим войскам, замечает на куче кирпича Шибалина, приостанавливается, вопросительно улыбается ему, он делает ей легкий утвердительный кивок головой, тогда она смело идет прямо к нему. Глядит на бутылки, на бумажки, игриво:

— Пировали?

Шибалин приготавливает для нее место возле себя:

— Да. Подсоживайтесь.

Берет бутылку:

— Тут еще осталось глотка два.

Наливает ей.

Она с наслаждением выпивает:

— Шла и думала: где бы рюмочку выпить?

Маленьким нежным ртом ест пирожное, искоса скользит по фигуре Шибалина красивыми испытующими глазами. Шибалин наполняется волнением:

— Я еще в прошлый четверг вас заметил. Вы были тут с каким-то важным военным. Я тогда же решил встретиться с вами.

Ванда закусьивает остатками:

— Встретиться недолго.

Осматривает качество его платья, обуви, шляпы.

— А вы что... где-нибудь служите?

— Нет.

— Чем-нибудь торгуете?

— Тоже нет.

— Как же так?

— Так. У меня свободная профессия.

— А-а, знаю.

Вздрагивает, перестает жевать:

— Почему вы так пронзительно на меня смотрите? Не смотрите так!

Шибалин мякнет, льнет к ней, обнимает за талию.

— Ваше имя?

— Ванда.

— Это настоящее или псевдоним?

— А вам не все равно?

— Конечно, не все равно.

— Опять! Опять уставились на меня! Ну чего вы на меня так смотрите!

— Смотрю я на вас, Ванда, и думаю: как вас, такую яркую, такую интеллигентную, до сих пор никто из мужчин не прибрал к рукам?

— Мне нету счастья.

— Вы, пожалуйста, не удивляйтесь и не обижайтесь, если я буду расспрашивать вас, Ванда... Я слишком заинтересовался вами еще тогда... Скажите, Ванда, вы когда-нибудь любили?

— Надо иметь каменное сердце, чтобы не любить. Любила.

— Ну и что потом?

— Надо иметь мертвое сердце, чтобы оно не сдвинулось. Разлюбила.

— Это было когда?

— Давно.

— Вам сколько лет?

— Старая уже. Двадцать четыре. И больше ничего не буду рассказывать... Не люблю, когда расспрашивают! «Как», да «когда», да «почему», да «с кем в первый раз», да «с кем во второй»!.. Противно!.. Если больше познакомимся, тогда при случае еще можно будет рассказать. А так — нехорошо. У вас есть курить?

— Пожалуйста.

Они закуривают, продолжают беседовать...

XXIII

Первый приличный гость, уже немолодой, в больших заграничных очках с круглыми стеклами в роговой оправе, заходит в руины, как к себе домой.

К Шибалину.

— Извиняюсь.

К Ванде:

— Ванда, не знаете, Фрося свободна?

Антоновна с своего места:

— Занята! Занята!

Первый приличный подходит к Антоновне:

— А скоро она освободится?

Антоновна:

— Нет. Не скоро. На квартиру взяли. На ночь. На извозчике приезжали. Какие-то богатые. Тоже в очках. Наверно, иностранцы.

Первый приличный в нерешительности стоит, раздумывает:

— А Настя?

— Настя, та скоро должна освободиться! Садитесь. Посидите тут пока на камушке. А что, разве в театрах уже окончилось?

Гость:

— Да. Как раз сейчас разъезжаются.

Садится на тумбочку из кирпичей.

Второй приличный гость усиленно прячет лицо в поднятый воротник летнего пальто и под широкие поля шляпы. Глядит на Антоновну узенькой щелочкой между полями шляпы и краем воротника:

— Фрося тут?

Антоновна:

— Нет и не будет.

— Где же она?

— В городе.

— А Настя?

— Настя, та скоро должна освободиться. Садитесь. Посидите на камушке вон за тем гражданином, вторым будете, они тоже ее дожидаются.

Второй приличный прячет от первого лицо, садится на тумбочку из кирпичей, в линию с ним, спиной к нему:

— Та-а-к...

Антоновна:

— Должно, тоже из театра?

Второй:

— Из театра.

Третий приличный, очень представительный, седой, в цилиндре, настоящий западноевропейский министр, в маленькой черной шелковой маске, к Антоновне:

— Здравствуйте, гражданка.

— Здравствуйте, гражданин.

— Фрося там?

— Нет, ей нету.

— А скоро будет?

— На этой неделе вовсе не будет.

— О! Что так?

— Уехала в деревню. Побывать.

— И давно уехала?

— Сегодня.

— В котором часу?

— В десятом вечера.

— Немного не захватил! Жаль, жаль... А Настя?

— Настя тут. Садитесь там на камушке, где те двое мужчин сидят, третьим будете, они тоже ее дожидаются.

Третий, в маске, садится на тумбу из кирпичей, в линию с первыми двумя, тщательно пряча от них лицо, как и они от него:

— Тэ-экс...

Антоновна:

— Из театра?

— Из театра.

Антоновна кричит в дальний угол:

— Одесса! Сбегай-ка туда, шумни там Настю! Скажи, чтобы поторавливалась! Много приличных гостей дожидаются!

Манька-Одесса идет через пролаз в глубь руин, кричит вдали за стеной:

— Насть-а-а!..

Шибалин Ванде:

— Ого! Тут такая очередь, как в приемной какого-нибудь модного врача!

Ванда улыбается:

— А как же. Иначе что бы тут было. В особенности по праздникам.

Маленький толстяк, шар на миниатюрных ступнях, в лаковых ботиночках, лысый, в котелке, совершенно пьяный, входит, идет по залу, как слепой, пошатывается, тихонько напевает, натывается под стеной на женскую закутанную фигуру без лица, жадно припадает к ней, она схватывает его и молча уволокивает через один из проломов в развалины.

Антоновна подсаживается к Осиповне, волнуется:

— Видала? Уже и Дуньку-безносую взяли. Значит, и нам с тобой скоро пьяненький шатун какой попадет.

Осиповна мечтательно:

— Не миновать. Сейчас он вышел из театра...

Антоновна продолжает за нее:

— ...зашел в какой-нибудь ресторанчик...

Осиповна:

— ...сидит, закусывает, выпивает...

Антоновна:

— ...а через часик-полтора сюда приволокется...

Осиповна:

— Раньше!

Антоновна скучливо потягивается, встает, заправляет под платок седые космы:

— Пойти пройтись, что ли, пока. Все ноги отсидела.

Подходит к трем приличным гостям:

— Ну, здравствуйте еще раз.

Трое приличных, не меняя положения, сухо:

— Здравствуйте.

Антоновна:

— Не надоело сидеть?

Трое молчат.

Антоновна:

— Не надоело ждать?

Трое еще крепче молчат.

Антоновна:

— Чем сидеть, ждать, время терять, пошли бы со мной!.. Я б скоренко вас отпустила, и были бы вы себе свободные люди!..

Трое отрицательно, по-разному, мотают головами, молчат, только недовольно прокашливаются в пространство.

Антоновна не отстает:

— А почему?.. Кажите, почему не хотите?.. Какая разница: я или Настька?.. Может, Настька из золота сделана, а я нет?.. Чем Настька лучше меня?.. Что она в шляпке?.. Я тоже могла бы шляпку надеть, если бы захотела!.. Может, думаете, я старая?.. Ничего подобного!.. Это просто от такой жизни... Многие очень хорошие мужчины, вот такие, как вы, даже содержать меня хотели, на квартиру жить звали, да я отказывалась... Чтой-то не ндравились они мне, вот не ндравились да и только!.. Ну как, граждане?.. Пойдете?.. А?..

Первый, спиной ко второму и третьему:

— Бабушка! Вам раз сказали, что нет! Чего же вы пристаете?

— Я не пристаю. Я только спрашиваю, чем я, допустим, хуже Настьки?

Второй, спиной к первому и третьему:

— Бабушка, дело вовсе не в том, кто из вас хуже или кто лучше!

Третий, спиной к первым двум:

— А дело, бабушка, в том, что к Насте мы, может быть, привыкли!

Антоновна:

— Вот и ко мне привыкнете. Ко мне уж многие так привыкли. А сперва тоже отказывались, не хуже как вы сейчас.

Трое молча отмахиваются от нее руками, поворачиваются к ней спинами.

— Ну тогда дайте мне копеек по пятьдесят с человека.
Трое сжимаются, молчат.
— Ну по двадцать.
Трое неподвижны, как мертвые.
— Дайте тогда с троих четвертак, и я уйду, не буду вам мешать.
Трое, со стиснутыми зубами, с раздраженными жестами, лезут в кошельки, подают ей мелочь.
Антоновна:
— Вот и хорошо. Теперь по крайней мере...
Собирает с них деньги, уходит, садится рядом с Осиповной.
Осиповна смачно:
— Гривен шесть махнуло?

XXIV

Франт с зеленым шарфом выходит из пролома, спешит от Насти к выходу:

— Отстань и отстань! Надоела! Говорят тебе, что твои деньги у меня сохранней, чем в Госбанке! Можешь не сомневаться! В нашем учреждении мне не такие суммы доверяют!

Настя, полуплеча, цепляется за него:

— Я не про деньги, а про обман! Не надо было обманывать! Почему ты, подлец, сразу мне не сказал, что пришел в долг, а не за наличные! Я бы, может, тогда с тобой не оставалась! А ты держал меня в надежде! Хлопал себя по пустому карману!

Франт вырывает от Насти то один свой рукав, то другой:

— Ну ладно, ладно! Слыхал! Не ори при публике! Не наводи панику!

Перепрыгивает через кирпичи, уходит.

Настя, потрясая рукой вверх, в пустое, лунное небо, тоном глубокой обиды, по-женски крикливо:

— Как денег нет, так ко мне, в долг! А как деньги есть, так на Тверскую, за наличные любую выбирает!

В конце, изнеможенная от крика, подходит к трем приличным гостям.

— Ну, который тут первый пришел?

Трое приличных враз:

— Я!

И задирают к ней освещенные луной ожидающие лица.

Настя, все еще раздражительная, теперь готова впасть в новую истерику:

— О!.. Но не может этого быть, чтобы все враз пришли!.. Кто-нибудь раньше, кто-нибудь позже!

Трое опять все враз:

— Я раньше!

И каждый тычет себя концом пальца в справедливую, готовую пострадать за правду грудь.

Из уст Насти вырывается крепкая брань.

Антоновна подходит, осторожно трогает рукой каждого гостя:

— Я видела: вот этот вперед пришел, этот потом, а этот самый последний.

Первый:

— Да, да!

Второй и третий:

— Нет, нет! Мы, можно сказать, вместе пришли!

Они встают, петушатся. Все трое собираются идти с Настей. Один забегает ей вперед, другой, третий...

Настя выходит из себя, кричит с решительным видом:

— Товарищи!.. Стойте!.. Нельзя же так!.. Должна же быть какая-нибудь очередь!.. Если бы было много народу, а то и всего-то три человека!..

К первому повелительно:

— Первый, идемте!

Первый подсакивает, идет за ней. Счастливо, с большим подъемом:

— Вот это действительно справедливость!

Второй и третий уныло остаются, садятся на свои места, сидят как прежде, спинами друг к другу.

Третий, в маске, ко второму, в воротнике, не оборачивая к нему лица:

— В таком случае, гражданин, во избежание повторения подобных сцен, нам с вами надо сейчас же заранее столкнуться насчет очереди. Так сказать, организовать.

Второй высоко поднимает плечи, так что широкополая шляпа его кажется сидящей не на голове, а на плечах:

— Что значит «организоваться»? Моя вторая очередь, и я больше ничего не знаю!

— Совершенно верно, гражданин, юридически вы, конечно, правы. Но я хотел бы вас просить сделать мне одолжение: уступить вашу очередь.

— Ну, нет!

— Позвольте, позвольте. Дайте договорить. Дело в том, что я тороплюсь на Октябрьскую железную дорогу, к ленинградскому поезду.

— А почему вы знаете, что мне не к поезду? Может быть, и мне к поезду!

— Я этого, конечно, не знаю и потому еще раз очень усердно прошу вас уступить мне вторую очередь. Все-таки мы с вами оба культурные, интеллигентные люди...

— Гм... Если это не секрет, я хотел бы раньше узнать, зачем вам такая спешка в Ленинград? Вызывается ли это действительной необходимостью?

— Пожалуйста. Я профессор. Читаю лекции полмесяца в Московском университете, полмесяца в Ленинградском. Завтра моя лекция в Ленинграде...

— Про-фес-сор?.. А разве бывают такие... разъездные профессора?

— А конечно. Это и раньше практиковалось, практикуется и теперь. Меня приглашают читать даже в Стокгольм...

— В Стокгольм?.. Ого!.. Стало быть, вы... Ну, словом, хорошо, я уступаю вам.

Третий, в маске, приподнимает цилиндр, откланивается спиной ко второму:

— Благодарю вас!

Второй делает то же и так же:

— Не за что!

Третий:

— Тогда, для верности, поменяемся с вами местами. А то, быть может, еще кто-нибудь подойдет.

Второй:

— Это верно.

Они встают, кружатся при луне друг вокруг друга.

Второй, кружась, трогает за шляпу:

— Виноват-с!

Третий, кружась, трогает за цилиндр:

— Виноват-с!

Садятся на новые места.

Долгое время молчат.

Наконец третий нарушает молчание.

Сидит неподвижно на столбике из кирпичей, односторонне, очень раздельно, голосом вещателя, в лунное бездонное пространство:

— В этом мире самая большая сила в руках женщины... От женщины зависит, погибнуть миру или спастись... Как она захочет, так и будет... До сих пор она нехорошо хотела, и миру было нехорошо... Надо сделать, чтоб она хорошо захотела...

Умолкает.

Второй с тяжелым вздохом:

— Да... Легко сказать «сделать»... А как это сделать?

Качает головой.

XXV

Ванда кладет щеку на плечо Шибалина. Нежно:

— Ну что, дружок, довольно побеседовали? Теперь пойдем?

Шибалин прижимается к ней, закрывает глаза, говорит с закрытыми глазами:

— Нет, нет, посидим еще немножко... Одну минутку! Я сейчас закрыл глаза, и мне представилось, как будто вы не Ванда, а совсем-совсем другая: та, самая лучшая женщина в мире, которую я ищу... Та, самая идеальная, к которой я стремлюсь всю жизнь...

Ванда нетерпеливо:

— Нет, правда, гражданин, довольно сидеть! Давайте деньги да пойдем! А то вон Настя уже которого принимает, а я все только с одним с вами сижу.

Шибалин все время не раскрывает глаз, с нарастающей мукой:

— Ванда! Умоляю вас: не говорите ничего про деньги! Не упоминайте этого страшного слова: «деньги»! Вы такая красивая, такая нежная, такая неземная, светлая, лунная, и вдруг, точно обухом по голове: «деньги»!!!

— А как же вы думали? Без денег?

— Да не без денег! А только не надо об этом говорить! А то выходит так грубо, так некрасиво!

— А это тоже некрасиво, когда мужчины уходят, не заплатив! Разве мало за вами нашего пропадает!

— Ах, замолчите вы! Молчите! Хочется самообмана, хочется сделать похожим на настоящую любовь, а вы...

— Если заплатите хорошо, тогда можно сделать похожим на настоящую любовь.

— Ах, вы опять о своем: «заплатите» да «заплатите»!.. Это после! Потом!

— Не-ет! На «потом» я тоже не согласна! Давайте теперь!
— Ванда! Как вы не понимаете, что речью о «плате», разговорами о «деньгах» вы убиваете во мне к вам как к женщине всякое чувство, всякую симпатию!

— А вы тоже убиваете во мне всякую симпатию к вам как к мужчине, когда отказываетесь платить вперед. Не мальчик, и наши правила должны бы, кажется, знать.

Шибалин лежит лицом на ее груди, стонет, боится раскрыть глаза.

— О-о-о!.. Вы уже испортили все мое настроение!..

Ванда:

— А вы — мое!

— О-о-о!.. Что вы со мной делаете?..

— А вы что со мной делаете?

— Хочется иллюзии, хочется хотя на миг искренней женской ласки, неподдельной, бескорыстной!.. А вы!..

— Что я? Когда деньги заплатите, тогда я успокоюсь и смогу искренне, от всей души, дать вам неподдельную ласку! А так, конечно, мне придется заставлять себя, притворяться! Разве вам не все равно, когда платить: вперед или потом? И так платить, и так платить!

— О-о-о!.. «Платить»... «Платить»...

С корчами, со стоном достает деньги, глядит на них узенькими щелочками глаз:

— Столько довольно?

— Это мне?

— А то кому же!

— Если мне, то мало. Меня нельзя равнять с другими. Потому что, как вы сами видите, с каждым я не хожу.

Шибалин, не желая глядеть на свет, щурится, достает еще бумажку:

— Ну а теперь довольно?

Ванда держит в руках полученное.

— За визит довольно. А теперь дайте мне что-нибудь сверх, на подарок.

Шибалин, уже не отдавая себе отчета в том, что делает, сует ей еще одну скомканную бумажку.

— Вот теперь спасибо. Теперь можно идти. Теперь по крайней мере буду знать, с каким человеком иду.

Она поднимает его, они идут, обнявшись, к задней стене.

Шибалин голосом больного:

— Жаль, что у вас нет хорошего помещения...

Ванда тоном утешения:

— Что же делать. К вам, вы говорите, неудобно. Ко мне тоже нельзя: я в семье живу. В номера — незарегистрированных не пускают. Приходится мириться.

— А там очень плохо?

— Нет. Там хорошо, там у нас есть совсем отдельное помещение: всего для двух-трех парочек. Только туда бывает трудно попасть: очень узкий пролаз. Не знаю, как вы, с вашей солидностью, туда пролезете. Хотя, впрочем, пролезете. И не такие пролезали.

Они останавливаются перед средней лисьей норой.

Ванда становится на колени, берет свою широкополую парижскую шляпу в зубы, лезет на четвереньках вглубь, под фундамент стены, тонет во тьме.

Шибалин высохшими губами ей вдогонку:

— А там ведь темно?

Ванда бодро из тьмы:

— Ничего! Можно спичку зажечь!

Шибалин падает на землю и на животе, с великими трудностями, продирается в слишком узкую щель. Пачка писаний про любовь, данная ему Верой, выпадает из его кармана, рассыпается по земле. Он поспешно сгребает ее и запикивает обратно в карман...

СКОТИНА

Повесть



1

С апреля по август не выпало ни одного дождя, поля и степи повыгорели. Ярового не собрали ни зерна, сена не накопили ни травинки...

— Не то что прокормить скотину, — гурторили между собой мужики, — а как бы этой зимой и самим не помереть с голоду!

И каждый крестьянин, пока цена на мясо окончательно не упала, спешил прогнать свою скотину на продажу, на рынок в Еремино, и на вырученные деньги запастись для семьи на зиму хлебом.

Основная торговля на скотском базаре в слободе Еремино происходила по воскресеньям; накануне же, по субботам, бывало главным образом подторжье, когда обе стороны — и продавцы скота, крестьяне, и покупатели, разные городские «заготовители», — выведывали друг у друга силы ввиду предстоящей завтра решительной борьбы.

На одном, более возвышенном, берегу гнилой, трясиной речонки, почти на всем своем протяжении заросшей медно-зеленым камышом, лежала самая слобода Еремино — несколько длинных улиц с одноэтажными домишками. А на противоположном, низменном, берегу, на просторном, голом, песчаном

пустыре, за которым виднелись уже крестьянские поля, привольно раскинулся скотский базар.

Слободу и этот базар соединял перекинутый через речку деревянный, казалось, никогда не знавший настоящего ремонта мост — старый, ухабистый, давно лишившийся перил. В нескольких местах продырявленный, он каждый раз лишь на скорую руку застилался пружинистыми прутьями лозняка, ворохами соломы, кучами навоза. Все это постепенно просыпалось сквозь дыры в воду и образовывало в реке под мостом, среди заболоченного камыша, сухие островки.

Под мост, в камыш, на те островки беспрестанно бегал с базара народ — мужики, бабы. Одни бежали туда, другие — им навстречу — оттуда. Когда спускались под мост, запасались на ходу бархатистыми лопухами, а когда с довольными, повеселевшими лицами поднимались из-под моста обратно, высказывали во всеуслышание свое одобрение:

— Хорошо!.. Удобно для народу!..

Чтобы попасть на базар или уехать с базара, надо было обязательно переезжать через этот мост.

И на мосту по субботам и воскресеньям, точно во время беспорядочного отступления армии, с утра до вечера стояла шумная, непролазная толча. Одни ехали из дома на базар, гнали на продажу скотину; другие возвращались домой, вели с базара купленных там коров, быков, овец. Встречные телеги тех и других, сцепившись в тесноте колесами, останавливались среди моста, или гурт скотины одного хозяина врезался на мосту в гурт другого, встречного, оба останавливались, стояли, не давали никому ни пройти ни проехать, в то время как у обоих концов моста продолжали накапливаться новые партии быков, телег, людей, все крепче и плотнее закупоривающих с двух сторон мост.

— Дайте там до-ро-гу-у!.. — все время вместе с ругательствами неслись с одного берега и с другого встречные надрывные голоса и, подобно орудийным снарядам, в обоих направлениях дугой перелетали через реку: — Дья-во-лы-ы!..

На самом мосту тоже не прекращалась истощная перекрестная перебранка.

— Чего же ты, бесово отродье, мой гурт ломаешь, правишь повозку прямо на мою скотину, не можешь обождать? — кричал со своей телеги среди моста зажатый со всех сторон громадными быками пожилой мужик с головой и лицом, сплошь покрытыми такой же золотисто-рыжей, лоснящейся шерстью, как и спины тесно окружающей его скотины.

— А кого я буду ожидать? Тебя, рыжего черта? — нахальным голосом отвечал ему из встречной повозки молодой крестьянин, худой, бледный, со злобным блеском глаз, с залихватскими черными усиками и в запыленной солдатской фуражке с красным околышем, заломленной на одно ухо.

— Не меня должен был обождать, а мою скотину! — еще яростнее кричал первый мужик и грозил второму кнутовищем.

— Твою скотину обождать? — переспросил второй, в солдатской фуражке, и тоже угрожающе потряс над своей головой, как саблей, кнутовищем. — А у меня разве не скотина?

— Ты чужую скотину барышевать гонишь, а я собственную гою продавать, последнюю!

— «Собственную», ха-ха-ха! Видеть, какая она у тебя «собственная»: набратая по дешевке по деревням!

Первый мужик, в широком буром армяке, для равновесия всплеснув в воздухе руками, соскочил с облучка телеги на мост и сразу утонул в волнующемся море крупного скота.

Второй поспешно докусал огромными кусками лунку ярко-красного арбуза, зашвырнул корку, схватил кнут и тоже спрыгнул с телеги.

И каждый из этих гуртовщиков, сойдя на мост, зашел в тыл своим сгрудившимся на мосту быкам, коровам, бугаям и принялся нещадно бить их по спинам толстыми палками, чтобы гурт своих животных протолкнуть вперед, а встречных смести с моста назад, на берег реки. Две палки, одна в одном месте, другая в другом, со свистом рассекая воздух, падали и падали на костяные хребты скотины, в то время как скотина двух разных хозяев, уткнувшись лбами друг в друга, стояла на месте и, под влиянием палочных ударов, тысячепудовой тяжестью тупо напирала одна на другую, стена на стену.

Вскоре хозяевам застрявших на мосту двух гуртов взялись помогать бить скотину другие гуртовщики, подходившие со своей скотиной с того и другого берега реки. У кого ломались палки, те ожесточались еще больше, хватали со своих повозок более толстые жерди и продолжали бить ими.

И тут же, на самом въезде на мост, — среди этой давки, в августовской жаре, под палящими лучами как бы остановившего солнца, в порывах горячего ветра, в перелетающих с места на место облаках песчаной пыли, в едких газах, поднимающихся от гниющей реки, в тяжелом запахе скотской испарины, в скользшем всюду под ногами жидком навозе, под перебранку мужиков и стреляющее хлопанье их бичей, под трубный рев бы-

ков и дребезжащее блеяние сбившихся у них под животами овец, — какие-то необыкновенные своей выносливостью люди ухитрялись самым аккуратнейшим образом подсчитывать прибывающий на рынок скот и взимать с каждой головы в пользу волисполкома базарный сбор.

— Гражданин, а это чья скотина? Ваша? — кричал энергичный молодой человек, по типу рабочий, в серой кепке, с медным значком в красном бантике на груди, и, заглядывая вперед, кончиком длинного, вроде рыболовного, прута, словно концом пальца, он ловко отсчитывал скот, поднимающийся с берега на мост. — У вас сколько всего голов? Базарное уплатили? Почему нет? Когда «потом»? Без нашей квитанции вас все равно не пропустят: здесь проскочите — там задержат! Платите лучше здесь!

— Товарищ, я член кооперации.

— Это одно к одному не касается. Все равно должны платить. Закон!

Сразу за мостом, на том берегу речушки, лежала огромная впадина базарной площади, точно искусственно вся окруженная желтоватым наносным песчаным валом, с краснеющими на нем редкими кустиками вербы.

И с любого места этого песчаного вала, точно с горы, прекрасно была видна широкая панорама субботнего скотского подторжья.

Вся впадина базара до самых краев тесно кишела — животное к животному — разноцветными шевелящимися быками, бугаями, коровами. Распряженные телеги, как и их хозяева, с великим трудом были различимы в этом пестром, небывалых размеров стаде. Только редко где отдельными точечками медленно протискивались сквозь море скотских лоснящихся спин маленькие людские головки, — мужские в темных картузах, женские в белых платках.

Подторжье было в полном разгаре. Щупали скот, приценивались, изредка покупали, изредка продавали, но больших окончательных сделок сразу не совершали, обещали завтра встретиться еще раз, когда окончательно установится цена, — боялись промахнуться.

— Об корове не сумлевайтесь! — возбужденно уверял хозяин своего «товара», отощалый мужичонка, кости да кожа, с реденькой бородачкой, утыканной соломинками. — Корова даже хорошая: молошная!

И в надетых, казалось, на голое тело бурых лохмотьях, в отгрызке картуза на русых нечесаных волосах он беспокойно

вертелся перед своей покупательницей и то и дело подталкивал кнутовищем под живот привязанную за веревку свою костлявую коровенку, желтую, с густо занавоженными боками, от голода и усталости сонную и безразличную ко всему.

— Когда б знать, что она молошная!.. — хныкала покупательница коровы, городская мещанка, не по сезону закутанная в шаль, приехавшая из дальних мест в эти пострадавшие от неурожая края, чтобы подешевле купить.

— Кто? Она не молошная? — бурно удивился мужичонка, соорудив нужную гримасу, и опять пнул палкой в живот коровенку, чтобы придать ей больше бодрости. — Сегодня утром мы враз ведро надоили! Она всю вашу семейству прокормит! Не будь неурожая — ни один хозяин не вывел бы со двора продавать такую корову! За корову благодарить будете! Что-о? Пройдете других посмотрите? И не надо вам никуда иттить других глядеть, берите эту, и никаких делов! Лучше этой все равно не найдете! Другую купишь — а она трехсиськая, или молоко у ней жидкое, как вода, или соленое, нельзя в рот взять! А у этой молоко густое, можно пальцем набирать, и сладкое, не надо сахара, и пенится, что твой фонтал!

— А дешевле не будет? — жалостливо клянчила мещанка, уставясь неподвижным взглядом в занавоженный бок коровы, и все думала и все охала, как от удущья, боясь переплатить мужику лишнее. — Если бы подешевле...

— За кого, за ее подешевле? — нагнулся мужичонка к самому носу покупательницы и перекошил изможденное лицо так, как будто ему под кожу вогнули иглу. — Куды же еще дешевле, когда я и так задешево вам отдаю! Больше некуда! Главная вещь, вы поглядите, скотинка какая! Прямо животная! Ее куды хошь поверни: хучь на молоко, хучь на мясо! Ее если зарезать на говядину, то она тогда вам ваши деньги возвратит и еще какой барыш даст! А шкуру вы не считаете? Одна шкура и та почти что этих денег стоит, а мясо и молоко достанутся вам задарма, вы вот об чем должны подумать, гражданочка!

У мещанки от волнения сильно заколотилось сердце; заходили коленки; помутнело перед глазами. Доставать деньги из кармана? Или не спешить и окончательное решение отложить на завтра? А вдруг завтра будет хуже: покупателей окажется столько, что цена резко поднимется?

А тут еще хозяин коровы все сыпал словами и сыпал. И какими словами!

— Я свою корову, можно сказать, уже в окончательном смысле продал. Тут одна гражданочка только что побежала за деньгами для меня. Но у меня нет время ждать, пока она в такой толкучке разыщет мужа и возьмет у него деньги. А, вот, кажется, она уже идет, несет мне деньги! Нет, это не она, обознался, та была в новом пальте, видать, из богатеньких, тоже городская. Она и не торговалась, сразу дала мне мою цену.

— Вот вы ей и продавали бы, — недоверчиво произнесла мещанка.

— А я что сделал? Я ей и продал, — уверенно сказал мужичонка, весь нервно подергиваясь от нетерпения поскорее отделаться от коровы. — Я за свою животную не беспокоюсь, такой товар на рынке не залеживается, таких коров с первого слова берут.

— Значит, больше не уступите?.. — стояла и плакалась мещанка.

2

Кроме таких частных лиц, покупавших у мужиков дойных коров или рабочих быков лично для себя, и кроме барышников-прасолов, набиравших животных для перепродажи, на ереминском базаре закупали скотину специальные уполномоченные от разных организаций: от Красной Армии, Центросоюза, Сельсосоюза, акционерного общества «Мясо», треста «Говядина», хладобойни Наркомвнурга и другие.

И это про них, про уполномоченных этих организаций, среди крестьян распространилась поднимающая дух легенда, что на этот раз все крупные закупщики скота получили из Москвы строгую-престрогую инструкцию: крестьян засушливых районов очень не прижимать; к качеству продаваемого скота слишком не придирайтесь; цену на скот класть посходнее, чем дают частные прасолы; платить аккуратно и быстро, без канцелярской волокиты; и наконец давать крестьянам хорошими, не рваными, а новенькими деньгами, какими захочет: захочет — крупными, захочет — мелкими... И мужики, стремившиеся сбыть скотину в Еремине, теперь рассчитывали больше всего именно на этих «закупщиков из центра» и в разговоре между собой для краткости называли их всех просто «Центрой».

— Кто у тебя забрал быков?

— Центра.

— Чью скотину вчера гнали с базара по шляху?

— Центры.

Трое таких уполномоченных «Центры» — известный всем Иван Семеныч, старый специалист по мясным заготовкам, и двое молодых его помощников, приставленных к нему, чтобы учиться, — в субботу, с утра, в строгом порядке обходили базар...

Ивану Семенычу не было нужды подолгу останавливаться около каждой скотины. Он видел все ее достоинства и недостатки еще издали.

— Сколько за пару старых просишь? А этот, правый, что лежит, не хворает? А ну-ка подними его! Почему этот хромоет? А у этого, левого, почему изо рта слюна? — спрашивал и спрашивал на ходу Иван Семеныч, уверенной походкой ступая впереди своей молодой свиты, сам выбритый, полный, с красной шеей, в синеватом старинном купеческом картузике — козырьком на глаза — и в длиннополом, тоже купеческом, черном пальто, похожий на дореволюционного лавочника.

— Развѣ они старые? — обиделся на Ивана Семеныча степенный крестьянин, хозяин быков, без шапки, с прямым пробором посреди волос на голове, с раздвоенной бородкой. — Им и по пяти годов нету!

И чтобы развеселить пару черных, бархатных, сонно жующих быков и придать им более моложавый вид, он ловко хлопыстнул их концом длинного-предлинного змеевидного бича по спинам, сперва левого, потом правого.

Грузные, развалистые животные, немного помедля, трудно встали — сперва передними ногами ступили только на колени, потом во весь рост, на все четыре ноги.

— Я не об этом тебя спрашиваю, я сам вижу, сколько им годов, я спрашиваю: что ты просишь за них? — сказал Иван Семеныч, стоя уже вполоборота к мужику, готовясь идти дальше по рядам продавцов, где его приближения с волнением уже ожидали другие.

— За пару? — переспросил у Ивана Семеныча крестьянин и мучительно задумался, опустив голову.

При этом он так уставился исподлобья на своих быков, словно взялся оценивать их впервые. Была еще лишь суббота — не торг, а подторжье, — когда ни одна душа на базаре пока не знала, какая завтра сложится последняя цена на скотину. И крестьянин, боясь продешевить, пыжился, кряхтел, потом

вдруг трахнул такую цену, что Иван Семеныч и оба его помощника только рассмеялись и пошли дальше, не желая разговаривать с помешанным человеком.

— А сколько вы дадите? — поспешно рванувшись за ними, закричал им вслед крестьянин с испуганным лицом. — Говорите вашу цену!

— А ты знаешь, почем сейчас у нас в Москве говядина? — приостановившись, обернулся к нему Иван Семеныч.

— Откуда же мы можем знать? — зачесал мужик сразу под обеими подмышками. — Мы ничего не знаем. Как есть глухие. Мы только знаем, что нам приходит край и что мы должны продать скотину.

— Говоришь, ничего не знаешь? — насмешливо улыбнулся под козырьчком натопорщенного, как картонного, картуза Иван Семеныч и переглянулся с помощниками. — Вот погоди, после обеда все узнаешь. После обеда сам приведешь своих черных ко мне на двор. Да я их тогда и не куплю: до того времени у меня денег не хватит. Ты знаешь, сколько у меня в моем загоне уже купленного сегодня скота?

Мужика бросило в жар. Он поднял на запад худое, сухое, обветренное лицо, поглядел, высоко ли солнце, и прикинул в уме, успеет ли сегодня продать быков. Если не успеет, тогда он пропал: кормить быков ему нечем и придется гнать их сто верст обратно домой и ждать следующей субботы. А чем он будет их кормить еще целую неделю, если дома он уже stráвил им половину соломенной крыши? Но все же даром отдавать нельзя, надо крепко торговаться! «Центра» не соблюдает советского закона, жмет мужика!

И он, несмотря на страшную внутреннюю борьбу, устоял на своем — ничего не уступил и отпустил от себя такого надежного покупателя, как Иван Семеныч. А потом так страдал, так страдал! У этого заготовителя было на редкость ценное качество, он был честный на расплату, не выжига, как другие.

И остальные мужики тоже поначалу запрашивали с Ивана Семеныча невозможные цены. И с утра до обеда заготовитель не выторговал для своего треста ни одной головы, хотя и уверял продавцов, что все нужное ему количество скота уже вчерне приторговал.

— После обеда сам ко мне приведешь, — повторял он каждому, уходя. — А сейчас чего нам с тобой языки даром чесать? Вижу, что все равно не продашь, дорожишься!

Так, одинаково трудно, прошло это субботнее утро и для покупателей и для продавцов. Потом с такими же результатами прошел и обед...

Но после обеда картина и настроение базара резко изменилось. Все внезапно встревожилось, закружилось, зашумело. Всех охватила паника, словно в предвидении страшных событий.

Все вскидывали лица в небо: солнце идет к закату!

Мужики сорвались с мест, побросали повозки с упряжкой на баб, стариков, детей, а сами, растерянные, заметались по базару, всюду искали «Центру». Иные, с острыми, осунувшимися лицами, выбиваясь из сил, таскали при этом за собой на веревках тяжелых, неповоротливых, не понимающих, в чем дело, животных: кто коров, кто быков, кто страшных, с безумными глазами бугаев...

— Не видали, не проходила тут Центра? — слышались всюду несчастные, павшие духом голоса.

— Центра? Она сейчас как будто покупает в том боку базара.

— Кто? Центра? Она сейчас почти что не берет скотину.

— Центра? О! У ней уже кончились деньги!

На дальнем краю площади толпа крестьян, мелких продавцов собственного скота, поймала Ивана Семеныча, зажала его в тесное кольцо, не выпускала, со всего духа нажимала на него плечами, наперебой надсоженными голосами предлагала ему по сниженным ценам своих животных.

— Иван Семеныч!

— Выручай!

— Окажи милость!

— Забери скотину, нам пропадать с ней!

— Избавь!

— Спасай!

— Одним словом, приперло!

— Дошли! В окончательном смысле дошли!

— Помогни, не забудем!

— Поддержи!

— Ты у нас тут вроде один, который можешь войти в положение!

Толпа росла, напирала на Ивана Семеныча все сильнее. Вот она своими животами оторвала его от земли.

— Что вы делаете?! — не своим голосом вопил Иван Семеныч, у которого по всем карманам были распиханы десятки тысяч государственных денег. — Вы с ума посходили? — Оторванный

от земли, качаясь в воздухе, как на волнах, хватался он руками за чужие горячие плечи, за мохнатые головы, пытался балансировать, чтобы не опрокинуться вниз головой и не вытряхнуть из себя денег. — По очереди! Буду покупать только тогда, когда станете в очередь! — кричал и кричал он, сидящий на чужих плечах, перегибаясь корпусом, как большая кукла, то назад, то вдруг вперед и против воли поворачиваясь к публике то лицом, то вдруг уже затылком. — В чем дело? — раздавался его голос то в одну сторону, то в другую. — Не сходите с ума. У кого не куплю сейчас, у того куплю завтра или в следующий базар!

— О-о-о!.. — загудела толпа гневным воем.

— Чего ты мелешь? — кричали ему в ответ голоса. — Нам уже сегодня, уже сейчас кормить ее нечем, а ты болтаешь про следующий базар! Она нас зарежет!

— Уже зарезала! Больше некуда! Бери сейчас! Разве ты не наш, не советский?

— Граждане! — взмолился Иван Семеныч, одинокий, разлученный со своими помощниками, давно оттертыми толпой куда-то далеко. — Граждане! Дайте сказать!.. Если вы сейчас не отпустите меня, я прекращу покупать и уеду из Еремина... Слышите: я!.. больше!.. сегодня!.. не!.. покупаю!.. Вот, глядите: и ордерную книжку прячу!

Угроза подействовала. Толпа с массовым вздохом откатилась от «Центры». На отвислых лицах мужиков было написано отчаяние, сознание уже состоявшейся гибели, неверие в возможность спасения.

Вырвавшись наконец на свободу, соединившись со своими столь же истерзанными помощниками, Иван Семеныч, сопровождаемый хвостом растущей толпы, вышел за черту базара, за песчаный вал, в открытое поле, и образовал там, на просторе, свой несколько упорядоченный закупочный пункт. Мужики подводили скотину — одну, две головы — и становились вместе с ней в очередь. Иван Семеныч обходил этот своеобразный фронт красавцев, рогатых великанов, и, чтобы определить степень их упитанности, ощупывал каждое животное всегда в одних и тех же четырех местах: на бедре, на ребре, внизу живота и, главное, пальцем по стенкам ямки, в которую входит основание хвоста. На закупленную скотину один помощник уполномоченного писал ордера, другой по этим ордерам выдавал деньги и брал от каждого расписку в получении денег.

Дело пошло быстро. И никакого обмана не было: за сколько продавали, столько и получали.

— Иван Семеныч, почему же ты мою парочку пропускаешь, не торгуешь? Пощупал и не торгуешь, идешь дальше, разве это плохая скотинка?

— Больно худая. Не подойдет.

— Это худая? Помилуйте, Иван Семеныч! Если эта худая, тогда какая же жировая? Моя скотина нагулянная, она у меня два месяца по воле ходила, я на ней ничего не работал, только раз с поля посохшие стебли подсолнухов на топливо привез!

— Вот моя вам пондравится, Иван Семеныч! — заискивающе встречал уполномоченного у своей пары быков следующий крестьянин и, не зная, как делу помочь, угодливо заглядывал Ивану Семенычу в глаза, кланялся, потирая себя руками по бедрам. — Быки с оченно даже большими мясами! — расхваливал при этом он свой товар.

— Какие там «мяса»! — пренебрежительно щурил глаза Иван Семеныч на усталых, понурых животных. — Сухари, сухари, а не быки. Кажется, не маленький, сам должен понимать, гляди: кожа да кости, а под кожей ничего нет, ни мяса, ни сала. Москва за такую говядину нам по шеям надает... Следующий!

Угодливое выражение на лице мужика внезапно сменялось колючим, злым.

— Значит, берете только жирную? — сделал он несколько размахивающих жестов руками. — А куда же ее девать, тощую? Тощую, говорю, куда девать? И где их набраться для вас, жирных?

Фраза понравилась и другим мужикам.

— Да! Да! — вспыхнули в толпе возбужденные голоса. — Куда ее девать, худую? Жирная у богатеев! А казна должна иметь сочувствие к бедному люду!

— Да, да!.. Нет, нет!.. Не стражай!.. Мы-то знаем, что говорим!.. Это вы тут, втроем, может, не знаете, что говорите, а мы-то знаем... А мы разве чьи?.. Не советские?.. Одни вы советские?

Некоторые мужики после подобной перебранки, увидя, что напором ничего не возьмешь, пускались на откровенную лезть и, когда очередь доходила до них, почтительно здоровались с Иваном Семенычем за руку, сладенько, против желания, улыбались ему.

— Как ваше здоровье, почтенный Иван Семеныч? — уважительно потряс руку Ивану Семенычу бородатый мужик и захохикал: — Как вам нравится наша местность, наш ереминский рынок? Давно приехавши?

— Что-о? — змурился на лысеца уполномоченный и резко обрывал его разглагольствования: — Сколько просишь за своих рябых?

— За обоих? — переводил глаза мгновенно отрезвевший мужик на пару своих пятнистых двойников. — Чтобы долго не колготиться?

— Да.

— Дайте за пару три сотни, вот и поладим. Без колготы.

— Далек, брат. Далек до трех сотен за этих быков.

— Совсем не далеко, Иван Семеныч. Быки дюже веские, с большими жирами. Вам объяснять не приходится, вы лучше нас видите. Таких специалистов своего дела, как вы, тут больше не найти.

— Полторы сотни дам.

— За обоих?

— Да, за обоих. И ухажу.

— Иван Семеныч! Стойте! Прибавьте еще чудок! Еще чудочек. Только потому, что вам хочу продать, вам! Такого специалиста, как вы...

По мере того как время приближалось к вечеру, мужики, мелкие продавцы собственной скотины, волновались все больше, заражая тревогой друг друга. И закупщикам все труднее становилось добиваться от них порядка, соблюдения очереди...

И напрасно счастливы, наконец продавшие свою скотину, уходя, на радостях успокаивали остающихся:

— Центра — она и завтра будет брать!

Настроение создалось такое, что никакому утешению уже никто не верил.

А тут еще вдруг по базару пронесся слух, что некоторые уполномоченные, работающие на Москву, внезапно прекратили покупку: несколько раз приносили им сюда срочные телеграммы, несколько раз письменосцы разыскивали их по базару.

— Где тут Шевченко? Который из вас, закупщиков, Красов? А Смилянского никто не знает? Ему тоже из Москвы срочная! Кто тут уполномоченный Торсух?

Во всех телеграммах — и к Шевченко, и к Красову, и к Смилянскому, и к Торсуху — стояло всего только одно слово: «Мялка!» Это слово на языке деловых людей означало, что в Москве заминка с приемкой скота — затоваривание, что там «тупо» берут скотину, уже не дают обусловленную цену.

Барышники бегали по базару растерянные, темные, свирепые. На лицах их всех было написано все то же уничтожающее слово: «Мялка!» Им, уже закупившим скот, угрожало разорение. И некоторые из них пытались было завести «частный разговор» с Иваном Семенычем как с наиболее крупным

заготовителем, чтобы сбыть ему слишком поспешно накопленную ими скотину. Но обозленные мужики всякий раз с бранью гнали их прочь от него.

— Иван Семеныч, чем шептаться с этими барышниками, ты лучше пойдешь моих калмыцких пестряков погляди! — продирался не в очередь, и даже не замечая этого, совсем потерявший голову мужик. — Ван она, моя пара, стоит — голов тридцать пройди! Кормленные! Быки с говядиной! Получишь благодарность за них! Вспомнишь меня!

— Соблюдай очередь! Когда этих голов тридцать пройду, тогда и твоих посмотрю!

...Едва стало темнеть, как на скотском базаре, на всей огромной его котловине, дружно задымились костры. Безветренным вечером целый лес змеевидных столбов белого дыма лениво засверлился от земли вверх, совсем как из широкого кратера дотлевающего вулкана.

Хозяева скотины варили в закопченных ведрах походную похлебку, устраиваясь на ночевку, не сходя с места, тут же на земле, вместе со своими животными.

И в резко похолодавшем вечернем воздухе к запахам свежего навоза все сильнее и сильнее примешивались привкусы и горьковатого дыма, и аппетитного варева на ужин.

А через какой-нибудь час или полтора огни костров один за другим начали гаснуть, и вялых спиралей белого дыма в воздухе становилось все меньше. И вскоре на всей площади базара, на месте недавнего шума наступила такая тишина, как будто здесь ничего не осталось живого. Спали и люди и скотина...

И вдруг, прорезая устоявшуюся тишину, над всей площадью спящего рынка одиноким соло возносился все выше и выше могучий, страшный, полный смертельной тоски рев быка, направленный в ту сторону, куда была повернута в потемках и его красивая, с огромными рогами голова: назад, назад! — к далекому, покинутому, похоже, навсегда, дому.

3

Вечерними сумерками, когда субботнее подторжье заканчивалось, сборное стадо крупного рогатого скота, закупленного Иваном Семенычем, восемь поденщиков гнали с базара на ночевку в загон, в самую слободу Еремину.

Иван Семеныч и его помощники, все трое, измученные горячей работой, руководили переправой своего гурта по мосту через речку.

— Легче, легче! — кричал Иван Семеныч, делая знаки рукой. — Сзади не напирайте, сзади задерживайте скотину! А то она, как в летошний год, провалит мост и сама утонет в трясине! Передние, а вы чего смотрите? Глядите, чтобы, которая перешла мост, не разбегалась по поселку, а шла шляхом! Вот одна коровенка уже раскрыла головой зеленую калитку и забежала в чужой двор! Гоните ее оттуда!

Вступили всем стадом в самый поселок. Пошли, гикая глотками и стреляя бичами, широкой пыльной главной улицей между двумя рядами протянувшихся вдаль однообразных, унылых, низеньких одноэтажных поселковых домиков, очень старых, почерневших от времени, с прогнившими насквозь деревянными крылечками, с покосившимися над ними дырявыми навесами, с кривыми, закрытыми по целым суткам, то от мух, то от солнца, наружными ставнями...

Остановили сборное стадо перед «загоном», перед двумя большими, расположенными рядом пустыми дворами, арендуемыми трестом Ивана Семеныча «Говядина».

— Отбейте коров от быков! — скомандовал Иван Семеныч.

— Иван Семеныч, и бугаев тоже отбивать от быков? — заботливо спросили поденщики, сразу несколько человек, очень довольные, что сегодня кое-что заработают.

— Да, да, — спохватился Иван Семеныч. — И бугаев тоже! Поденщики, кто с бичом, кто с длинной палкой в руках, без всякого опасения, смело протискивались внутрь стада рогатых гигантов, отыскивая среди них коров, и ударами и завывающими, притворно-жестокими вскриками отбивали их еще на улице в отдельное стадо. Скотина, не понимая, чего от нее хотят, испуганно металась, кружилась на месте, везде натываясь на палки и горластые вскрики поденщиков.

На эти неистовые, захлебывающиеся вскрики гуртовщиков из ближайших калиток выходили целыми семьями любопытные поселковые жители.

— Чей скот?

— Разве не видите?

— А! Это Ивана Семеныча! «Говядины»!

Полагалось быков загонять в один двор, а коров и бугаев в другой, смежный. Иван Семеныч стоял в воротах первого

двора с карандашом и блокнотом в руках, чтобы пересчитать быков, входивших во двор.

Но скотина никак не шла в широко раскрытые ворота: остановилась перед ними и стояла на улице. Дикими, не своими глазами она косилась по сторонам, словно ее завлекали на бойню. И ни беспощадные палочные удары, ни ужасные, деланно-зверские завывания людей никак не могли сдвинуть ее с места.

— Иван Семеныч, спрячьтесь! — посоветовал тогда один из опытных гуртовщиков, маленький худощавый старик в ветхом зипуне, подпоясанном веревкой.

Едва Иван Семеныч вошел во двор и спрятался за половинкой растворенных ворот, как один могучий бык отделился от всех и, наклонив огромную голову, неожиданно, легкой элегантно рысью, красиво, как на арене цирка, пробежал сквозь ворота в самую глубину двора. За ним, вначале настороженно сжимаясь, чтобы не успели откуда-нибудь из-за угла ударить палкой, еще быстрее проскакал вскачь сквозь ворота другой, потом рванулись туда и остальные. Быки, тесня друг друга, уже ломились в шатающиеся ворота целыми шеренгами, целыми колоннами, всей своей каменно-сбитой массой. И теперь люди изо всех сил уже старались сдерживать их, осаживать палками назад.

— Отбивайте тех, которые сбоку, чтобы проходили в ворота не шеренгой, а гуськом, по одному, по два! — кричал со двора, прячась за воротами, Иван Семеныч. — Иначе их тут сам черт не сосчитает!

Он стоял и хворостинкой поштучно пересчитывал проходящий в ворота скот. Внутри двора, прячась от быков, делали то же самое его помощники. Для верности каждый из них вел свой отдельный счет в своем блокноте.

Скотина, попавшая во двор, прежде чем успокоиться, мелким полубегом обходила все заборы двора, углы, закоулки, пристройки и, низко опустив морды, ко всему этому очень близоруко присматривалась на ходу такими удивленно-встревоженными глазами, словно здесь каждая вещь угрожала ей смертью.

Когда вогнали во двор последнего быка, то оказалось, что цифры у троих счетчиков получились разные: у одного не хватало двух быков, у другого пяти, у третьего — шесть лишних.

— Пропускайте их по одному обратно на улицу! — приказал гонщиком с гримасами досады Иван Семеныч. — Будем снова считать! Приучайтесь считать! — обратился он к молодым помощникам. — Живую скотину, тем более разных хозяев, нелегко сосчитать!

И он нравоучительно рассказал им несколько историй о крупных ошибках из практики даже известных московских скотогонных специалистов.

Во второй раз у всех троих счет сошелся на одной и той же цифре.

Потом таким же образом — по счету — загнали в смежный двор и коров с бугаями. Иван Семеныч объяснил, что бугаев бесполезно помещать отдельно от коров.

— Посмотрите на них, на их глаза, на их шеи: эти чудовища все равно любые крепостные стены расшибут, лишь бы пробиться к самкам. А так будет спокойнее.

В обоих дворах поставили на ночь караульных из тех же поденных гонщиков.

— Глаз не смывать, смотреть в оба! — готовясь к ночевке, строго приказал им Иван Семеныч. — Скотина считанная, казенная, государственная, отвечать будете, попадете под суд!

На другой день, в воскресенье, скотину покупали за наличный расчет только с утра. А с обеда ее брали уже в долг, под квитанции, так как все деньги у закупщиков были израсходованы, а мужики настойчиво просили продолжать закупки.

К тому же вскоре после обеда по базару пронеслась волна панического слуха, будто легендарный разбойник здешних саратовских мест — «Царь ночи», — одно время перенесший было свою деятельность в соседние области, теперь будто бы снова появился тут и уже в прошлую ночь на больших дорогах беспощадно грабил возвращающихся с ереминского подторжья и покупателей и продавцов.

И на базаре поднялся переполох.

И продавцы и покупатели скота, чтобы успеть засветло проскочить по опасным местам предстоящего им пути, даже не закончив начатых дел, заторопились домой и, кто на телегах, кто пешком, собравшись в большие партии, способные дать нападению отпор, скачущим потоком, похожим на бегство, устремились всеми дорогами вон из Еремина.

И к четырем часам дня базара как не бывало. На совершенно голой площади только тучи воронья справляли свой еженедельный праздник, копаясь в кучах свежего, еще не остывшего, испускающего пар скотского помета.

В обоих дворах, арендуемых трестом Ивана Семеныча, кипела в это время своя работа. Двое поденщиков держали корову или быка за рога; третий подтачивал напильником правый рог животного и ставил на нем порядковый номер; четвер-

тый прокалывал шилом правое ухо, продевал в отверстие окровавленными руками проволоку, надевал на нее, как серьгу, свинцовую пломбу и сплющивал ее особыми щипцами, с оттиском посредине серпа и молота и названия треста «Говядина». Предполагалось, что на скотину с такой эмблемой не каждый ночной разбойник осмелится покуситься, хотя бы он назывался даже «Царем ночи».

Заклейменное животное, со свинцовой серьгой в правом ухе, одним из помощников Ивана Семеныча взвешивалось на трестовских весах, а другим заносилось со всеми своими личными данными в сопроводительную «гуртовую ведомость».

Сам Иван Семеныч в это время стоял на улице, на крыльце дома, и нанимал специалистов-гонщиков надолго: гнать гурты закупленной им скотины через три губернии — полями, степями, лесами, четыреста пятьдесят верст, — на скотобойню главного заготовительного пункта треста.

Несмотря на трудность работы гуртовщика, желающих наняться к Ивану Семенычу в гонщики скота собралось очень много. Тут были и крестьяне, выбитые из своих хозяйств повторной жестокой засухой; и городские рабочие, неудачно приехавшие в свои родные деревни в неурожайный год; и случайные служащие, которым благодаря разным роковым обстоятельствам никак не удавалось поступить на должность; и опытные профессионалы-гонщики, теперь уже старики, а в былые времена гонявшие гурты богатых купцов из конца в конец через всю Россию; и, наконец, разный непонятный русский непоседливый, бродяжеский люд. Все они пестрой, шумной, беспокойной толпой осаждали Ивана Семеныча, возвышавшегося среди них, как на острове, на высоком крыльце дома.

— Ты не ври, честно скажи, ты когда-нибудь по этому пути скотину гонял? — обращаясь к кому-то в толпе, спрашивал со своего возвышения Иван Семеныч, с листом бумаги в одной руке и с карандашом — в другой.

— А как же не гонял, Иван Семеныч! — скосил удивленное лицо деревенский парень в гуще толпы. — Известно, гонял!

И, боясь, как бы Иван Семеныч не прекратил опроса, парень старался ни на секунду не выходить из поля его зрения, тянулся вперед, дрожал, ожидая дальнейших вопросов.

— Дорогу знаешь? — продолжал спрашивать Иван Семеныч.

— А как же ее не знать? — не спускал с него отупевших от волнения глаз парень. — Известно, знаю!

Кто-то из толпы конкурентов во весь голос насмешливо расхохотался на слова парня.

— Не врешь? — услышав тот хохот, спросил Иван Семеныч.

— Нет! Зачем я буду врать!

— Четыреста пятьдесят верст пешком пройдешь?

— Сколько хошь пройду!

— Ну смотри, — предупредил его Иван Семеныч и в графе принятых записал: «Ухов Иван».

В задних рядах толпы раздались иронические замечания:

— Кто, Ванька Ухов этой путей гонял? Да он сроду нигде не гонял. И зачем ему было гонять, когда он раньше хорошо жил, своей скотины бо знат сколько держал. У него с отцом мельница водяная была. Вот когда наплакалась вся наша общечества от него! Таких людей тут нанимают, а нас — нет. Когда б знала о таких порядках Москва!

— Кто там сади все время болтает разную чепуху, критикует меня? — уставился глазами в толпу Иван Семеныч. — Каждого расспрошу, каждый будет иметь возможность рассказать о себе! Богатых не принимаю! Чего же вам еще надо!

— Иван Семеныч! — волнуясь, закричал издали молодой крестьянин. — Не ошибитесь! Вы все больше записываете стариков, а они не дойдут, в дороге помрут: путь длинная!

Молодежь дружно поддержала его.

— Напрасно молодежь нанимаете! — в свою очередь закричал из толпы старик. — Молодые — они, известное дело, прежде всего кинутся на деревню, по девкам, весь скот вам порастеряют!

— А это как есть! — раздался довольный смех всех стариков.

— А по-моему, Иван Семеныч, — заговорил мужик средних лет, с черными вихрами, закрывающими его уши, лоб, брови, и со сверкающими из-под волос дикими глазами. — По-моему, не надо брать ни очень молодых, ни очень старых. Ни те, ни другие не выдержат: ночью обязательно уснут и упустят скотину. А я бы сроду не спал. Сроду!

И мужик, сверкнув глазами, ударил себя в костлявую грудь кулаком.

Иван Семеныч рассмеялся:

— Так бы за тридцать суток пути ни одной ночи и не заснул?

— Ни одной!.. Нипочем!.. Потому — мне лишь бы заработать!.. Заместите меня!.. Не пожалеете!..

— Иван Семеныч! — в то же время совали уполномоченному в руки записки, какие-то бумаги, справки, удостоверения. — Вот мои документы даже, посмотрите!.. Вот моя членская книжка, если не верите! Вот рекомендации от нашей потребиловки!.. Вот как пишет про меня профсоюз!.. Вот бумага от сельсовета, что у меня нет никакого имущества, как есть полный бедняк!

— Слушайте! — с трудом перебил шум голосов просителей Иван Семеныч. — Вас много, и вы все нуждаетесь, я это знаю, но я могу принять по количеству наличного скота только четырнадцать человек, старший над всеми будет пятнадцатым!

— Вот меня и найми в число четырнадцати, чего там! — вырывались голоса из многих уст. — Пиши меня, мое фамилие Горшков, Егор Никитич! Написал? Чего же ты не пишешь? Значит, пропадать? Тебе жить, а мне пропадать?! Хорошее дело!

Когда по окончании найма уполномоченный огласил список принятых, водворилась гнетущая тишина.

Все молчали. Не шевелились. Стояли без движения. Четырнадцать человек было счастливых; человек сорок — несчастных. Первые, чтобы не растревлять раны вторых, подавляли в себе чувство радости, боялись, как бы не улыбнуться, прятали торжествующие, довольные лица. Горе вторых усугублялось тем, что они не могли ни браниться, как хотелось бы, ни проклинать, ни угрожать: ссориться с Иваном Семенычем — значило бы потерять всякую надежду гнать скотину когда бы то ни было впредь. И, немного постояв, они бросали издали в лицо Ивану Семенычу разгневанный, сложный, много говорящий взгляд и, как с кладбища после похорон, молча, понуро уходили.

Только один степенный мужик с прямыми, намасленными, схваченными картузом волосами, благочестиво начесанными на уши, уходя, ни к кому не обращаясь, громко сказал:

— А я бы дешевле погнал!.. Я бы за полцены погнал!

Человек пять из обездоленных все же остались; долго стояли в сторонке, все врозь, по одному, вдали один от другого: караулили, ожидали. Вдруг кто-нибудь из принятых откажется от работы? Вдруг кто-нибудь внезапно передумает, убоится, заболет? Тогда они заступят на его место.

Принятые в гонщики четырнадцать человек, из страха, что Иван Семеныч может почему-либо заменить их другими, с момента зачисления себя на работу не отходили от скотины, остались при ней, уселись или разлеглись на дворе кто где — прямо на земле, бдительно стерегли свои должности, чтобы их никто у них не отнял. При каждом появлении на дворе Ивана

Семеныча они старались как можно лучше проявлять себя в работе: дружно подвозили к обоим дворам купленную уполномоченным кормовую просяную солому, весело разносили ее охапками к скотине; намеренно громко и озабоченно кричали друг другу о деле, когда мимо них проходил Иван Семеныч...

Перед тем как ужинать, Иван Семеныч вышел с ведерком колодезной воды на улицу, на крылечко того поселкового дома, в котором собирался ночевать. Он снял с себя пиджак, картуз, закатал рукава сорочки, начал намыливать сперва руки, лицо, шею, потом бритую, в белой щетинке, седую голову. К нему неслышно откуда-то подошел неизвестный мужчина в широкополой порыжелой шляпе, в очень тесном защитного цвета кителе, пожилой, высокий, тихий, с осунувшимся, нездоровым, как после тифа, лицом. Он молча и предупредительно взял из ведра Ивана Семеныча железную кружку, зачерпывал ею из ведра, поливал Ивану Семенычу на руки, на голову, подавал мыло, потом снял с гвоздя на дверях и подал полотенце...

Пока Иван Семеныч, прекрасно вымытый, освеженный, обстоятельно утирался полотенцем, незнакомец, услуживающий ему, негромко говорил:

— Бедней меня никого нету. У других есть хотя помещение, хотя крыша. А я ночую сегодня здесь, завтра там. Вот скоро зима, а я раздетый и отошальный. Если вы мне дадите хотя разок прогнать скотину, я сразу поправлюсь...

Иван Семеныч сделал раздраженное лицо.

— Я же вам объяснял, — прервал он мягкую речь незнакомца, — что я придерживаюсь закона и не имею права брать людей больше, чем это полагается по количеству скотины! Вакансии все заняты! Наемка людей кончена! Всякий разговор об этом сейчас бесполезен!

— Может быть, завтра утречком еще прикупите скотинки и тогда вам понадобится лишний человечек? — еще вкрадчивее спросил мужчина, пряча расстроенные глаза под нависающими полями шляпы.

— Ничего не прикуплю и ничего мне не понадобится! Лучше не надейтесь! Никого больше не возьму, понимаете, никого!

И бодрым для своего преклонного возраста шагом уполномоченный пошел в дом. Высокий мужчина в коротком кителе уныло нес за ним в обеих руках весь умывальный прибор: ведро, кружку, мыло, полотенце...

Когда Иван Семеныч перед сном ужинал в освещенной комнате, этот незнакомец, насунув на глаза шляпу, прохаживал-

ся мимо дома. И едва Иван Семеныч разделся, погасил свет и лег спать, как чья-то заботливая рука тотчас же плотно закрыла на улице у его окна расхлябанные наружные ставни...

— И чего ты брешешь, анафема! — всю ночь кто-то невидимый в потемках отгонял собак, заводивших драку против окна, где спал Иван Семеныч.

...На рассвете было видно, как незнакомец, зябко скорчившись, спал на боку на земле у стены дома, в котором ночевал Иван Семеныч. Шляпа его была насунута на лицо, под головой вместо подушки лежали камень и красный платок с куском ржаного хлеба; между согнутыми и крепко сжатыми коленями торчала крепкая суковатая бродяжеская палка с искусанным собаками нижним концом.

4

— Повозку хорошо осмотрели? — ранним холодноватым предосенним утром громко раздавался на улице озабоченный голос Ивана Семеныча, снаряжавшего гурт в пятьсот голов в далекий и трудный пеший путь. — Колеса у повозки дегтем смазали? Дегтя не забудьте захватить с собой! Дно повозки с продуктом хорошенько закидайте сеном! Еще, еще! Мало! Сено всегда может пригодиться в дороге!

Люди, все четырнадцать человек, вихрем носились в присутствии Ивана Семеныча, стараясь отличиться.

Не успевал Иван Семеныч вымолвить слово, как они уже летели исполнять приказание. Все делалось ими быстро и аккуратно.

А в стороне от горячки приготовлений, опершись плечом об угол дома и переплетя жгутом непомерно длинные ноги, тщетно проожидав всю ночь вакансии, бездейственно стояла неподвижная, словно изваянная, высокая, в коротком порыжелом кителе человеческая фигура, в такой же порыжелой шляпе, насунутой на глаза, с выдавшей виды походной палкой в крупных костлявых руках...

Провозились со сборами долго, гораздо дольше, чем предполагали. То десятиведерная дорожная бочка для питьевой воды дала течь; то не оказалось у нее пробки и строгаლი деревянную затычку; то ведра привесили не там: слишком близко к колесам — будут колотиться; то Иван Семеныч запропастился в слободе, задержался с бумажными делами

в какой-то конторе; то, высунув язык, бегали по слободе, искали того его помощника, в кармане которого хранилось пропускное удостоверение от ветеринара...

— Ну! — около десяти часов утра вместо предположенных шести торжественно и вместе тревожно произнес наконец Иван Семеныч гонщикам скота свои последние прощальные слова. — Выслушайте меня!.. Старшим над вами вместо себя назначаю Кротова Тихона Евсеича!.. Его слушаться!.. Ему подчиняться! Кротов, запомни мои наказы тебе! Первое: не травить в пути крестьянские хлеба! Второе: не очень избивать палками скот! От меня ничего не скроется! Если где-нибудь потравите мужицкое добро, нам все равно потом пришлют оттуда из сельсовета акт о вашей потраве! Если будете избивать дрекольями скотину, нам об этом подробно донесут с нашей трестовской хладобойни! Там всегда из-за ваших побоев по полпуда с головы лучшей филейной говядины собакам выбрасывают! На бойне в точности определяют: какие побои ваши, какие прежних хозяев скота! Не менять в дороге коров дойных на недойных: в сопроводительных документах отмечены приметы и вес каждой коровы! Ну, Кротов, теперь становись в воротах и принимай от меня по счету скот! С этой минуты ты хозяин гурта, ты ответчик за все! Меня тут уже нет!

При последних словах Иван Семеныч, как бы для наглядности, отступил на шаг в сторону.

Из первого двора выгнали на улицу быков, из второго — коров с бугаями. Оба гурта, окруженные конвоем гонщиков с длинными палками на плечах, как с ружьями, стояли среди дороги и ожидали, пока запрягут в нагруженную до отказа гуртовую повозку пару отборных, самых рослых, самых сильных красавцев быков.

— Кротов, идем в избу, — сказал тем временем Иван Семеныч. — Дашь мне расписку, что принял от меня двести коров и триста быков. И получишь деньги на ходовые расходы.

— Гонщики, на места! — выйдя вскоре из избы, неожиданно повелительно, по-военному, скомандовал новый начальник гуртовщиков Кротов, человек средних лет, маленький плотный крепыш, вдруг с наслаждением почувствовавший себя полновластным распорядителем и этой скотины, и этих людей, и тех государственных денег, что в казенной походной сумке у него на ремне через плечо. — Каждый чтобы помнил у меня, кто где занимается: кто около коров с бугаями, кто около быков! Семь человек там и семь человек тут! На повозку садиться быками

править только старикам или по причине болезни! Никакого бловства! За каждое упущение по работе будете отвечать мне! Поэтому каждый поглядывай за другими и, если что заметишь, докладывай мне! Предупреждаю, что по закону я имею право дать каждому из вас отставку в любой момент! Ну, кажется, все у нас готово?

И в ожидании последнего приказа он встал перед Иваном Семенычем во фронт и, очевидно хороший строевик, солдатски вонзил в него подчиненные и слушающие глаза.

А Иван Семеныч уже потерял всю свою прежнюю силу, твердость, точно она уже передалась от него вместе с гуртами Кротову; лицо его обмякло, глаза ввалились, спина ссутулилась. Он снял со вспотевшей от волнения серебряно-седой головы картуз и, что-то бормоча, трижды перекрестился, шура глядя в пространство.

— С Богом! — повышенным выкриком скомандовал он затем, обращаясь сразу к обоим гуртам, окидывая их прощальным взглядом.

Кротов мгновенно повернулся лицом к скоту, сделал руки по швам, выпятил грудь, закинул назад голову и, стройный, строгий, подобно командующему армией, режущим голосом резко прокричал на всю улицу:

— Кор-ровы, трогай!.. Бы-ки, дай сперва отойти коровам сажен на пятьдесят вперед и потом тоже тр-ро-г-гай... Буг-гаи, трогай и не безобразничать с коровами в дороге, для этого есть другое время — буду взыскивать!..

Два гурта и повозка с вещами позади них, запряженная лучшими быками, не спеша, вразвалку тронулись с места...

У многих дворов на протяжении всей улицы окаменело стояли поселковые люди и провожали глазами в образцовом порядке проходящий мимо них скот...

Иван Семеныч тоже стоял у своего заарендованного трестом поселкового дома и до боли в глазах следил за удаляющимися гуртами до тех пор, пока они не скрылись из вида. Потом, почувствовав большую слабость, он вошел в дом, лег на кровать, подложил под голову портфель с документами, и начал думать. Скотина — государственная, он — лицо, уполномоченное государством, и ответственность на нем огромная. А между тем его не оставляет ощущение, что он сегодня сделал по службе какое-то упущение. Но какое именно? Этого ему долго не удавалось припомнить.

Наконец вспомнил.

Один агент уже второй базар, вторую неделю, просил его выбрать из закупленного для треста скота самую молочную

корову и обменять ее ему на его телку, не дающую молока. Агент просит его уже во второй раз, а он в горячке работы забывает об этом. Вопрос, на посторонний взгляд, маловажный, даже совсем нестоящий, коль скоро весь свой скот он все равно ведет на убой, на говядину, но тем не менее может в обоих случаях это причинить ему, старому человеку, большие неприятности. Дать агенту корову — трест обидится. Не дать — агент обидится. И то и другое может иметь для него последствия. Как же выйти из положения?..

Иван Семеныч только тогда отделался от этого угнетавшего его раздумья, когда уже глубокой ночью сидел в кругу местных работников кооперации, устроивших в честь его приезда — москвича! — маленькое захолустное пиршество.

— Говорите, вас поражает широкий размах нашего треста «Говядина»? — уже усталый, уже одурманенный выпитым в ничтожном количестве прославленным «ереминским» самогоном говорил он и говорил при почтительном внимании пришедших и нацепивших галстуки провинциалов. — Да, действительно, это так... Размахнулись мы широко... Нас, нашу продукцию, знает вся страна... И советская власть гордится нашим трестом и ценит нас, работников «Говядины», как людей дела... Могу подтвердить, что у нас, на наших бойнях, действительно не пропадает ничего, мы из всего извлекаем барыш для государства... Взять кости... Мы сдаем их для выработки костяного угля на фильтры, костяной муки на фосфорное удобрение, костного сала на мыло... Взять внутреннее сало, так называемое кашное, мы пускаем его в перетопку, оно идет вместо масла на каши во всех предприятиях общественного питания. Рога и копыта — на роговые выделки... Хвосты — на дорогие волосяные матрацы и на другие изделия... Шерсть — на валенки... Кровь — для больных на лекарства... Что еще?.. Что еще?.. Всего сразу даже не вспомнишь... Нет, нет, чувствительно вами благодарен, больше мне не наливайте... Видите, я уже забываться стал... Оно и понятно... Наше дело ой-ёй-ёй какое нелегкое...

5

Два гурта, пятьсот голов крупного рогатого скота, закупленного у множества разных мелких владельцев, у крестьян, теперь принадлежали одному хозяину, подчинялись одному, общему для них всех порядку и двумя тысячами копыт изо дня в день, из

недели в неделю одновременно били и били по высушенной стихийным бедствием саратовской земле. И над дорогами, где они шли, неизменно висело в воздухе сопутствующее им длинное, черное, какое-то зловещее облако пыли, издали напоминающее дым от лесного пожара.

В трех сажнях от себя гонщики не видели ничего: ни друг друга, ни скотины, ни повозки. И, боясь упустить скот или потравить крестьянские поля, они самоотверженно бегали вокруг гуртов в черной пыли, как в полутьме, все время грозясь скотине истошными криками и длинными толстыми палками.

От пота, перемешанного с пылью, кожа лиц гонщиков была черна, как у негров, а зубы и белки глаз сверкали тем большей белизной, и неудивительно, что под таким густым гримом они, случалось, не узнавали друг друга и спрашивали: «Ты кто?» В ноздри набивалась все та же черноземная пыль. На зубах поскрипывал мелкий песок. От постоянного крика на разбегающихся с дороги в стороны коров, быков, бугаев люди вскоре заговорили сорванными, хриплыми, как у пьяниц, голосами. Невсегда было ни поесть, ни попить, ни отдохнуть. Надо было неотрывно глядеть и глядеть за измученной и потерявшей рассудок скотиной, казалось, уже не отвечающей ни за что и способной от голода на все.

— Пог-гля-дыв-вай там! — то и дело разливисто ржал молодым жеребчиком самый неутомимый из всех предводитель гонщиков Кротов, в черном дыму, с вечно на кого-то занесенной дубинкой, носясь вокруг гуртов, однозвучно топающих и топающих двумя тысячами копыт по мягкой пыли.

И остальные люди, несмотря на столь ужасные условия их труда, все четырнадцать человек, не только не роптали, не жаловались на судьбу, но даже считали себя счастливейшими людьми — они зарабатывают! Одетые в висащие клочьями лохмотья, обутые в тупоносые лапти из лыка, они ступали по земле на удивление бодро, иногда даже весело. И их то короткие, лающие, то протяжные, завывающие, деланно-свирепые выкрики, которыми они подгоняли животных, все время таили в себе глубокое удовлетворение за себя, за свою участь: они при деле. Их имена и фамилии черным по белому занесены в гуртовую ведомость, подписанную самим Иваном Семеньчем и хранящуюся в походной сумке у Кротова на ремне на боку!

Пыль под ногами местами была до того глубока, что скотина ступала по ней совершенно неслышно, как по перине. Тем

слышнее было тогда в этой тишине ее тяжелое массовое дыхание, натруженное долгой-предолгой ходьбой.

Люди, в облаках пыли не находящие друг друга, не переставали отхаркиваться сгустками черной земли.

— Ничего! — во всех трудных случаях успокаивал молодежь бывалый гонщик-профессионал Коняев, небольшого роста, сухой, быстрый, неунывающий старик в лаптях, в рваной бараньей пастушечьей шапке. — Там, дальше, когда пройдем крестьянские проселки и выйдем на большак, там будет легче. Там не так разбита дорога и такой пылищи нет, там пойдет совсем другой дух.

И на самом деле, едва вступили на большак, как сразу повеяло прозрачным, легким, ароматным, настоящим степным воздухом.

Люди повеселели, никак не могли насышаться, умерили шаг и на радостях дружно задымили знаменитой тамбовской махоркой.

— Моршанская махорочка! — любовно отзывались они о ней.

И скотине тоже давали возможность отдышаться, не так топтели ее.

— Реже шаг! — скомандовал Кротов, остановившись в стороне и пропуская мимо себя гурты. — Ре-же! Вольнее шаг!

Шли просторным, в тридцать сажень ширины, гладким, мало разъезженным шляхом. Было пустынно и голо. Только по бокам дороги стояли убегающие в бесконечность телеграфные столбы. И протянутая на них проволока выводила среди глубокого безмолвия свой извечный, волнующий душу, однотонный, невеселый напев... Смотреть ли вдоль шляха вперед, смотреть ли назад, смотреть ли по сторонам — картина везде была одинаковая. Бесконечная, расходящаяся до всех горизонтов, российская равнина. И бесконечная, от горизонта до горизонта, российская дорога на ней, по которой гуртам предстояло идти...

Слева и справа от дороги на всем безграничном пространстве покоились мертвым сном бурые, сожженные засушливыми ветрами, бедственные крестьянские поля, с огромными площадями погибших на корню яровых, с полосками жалкой, реденькой, тоже ржавой полыни, чудом уцелевшей кое-где на межах...

Ночами становилось все холоднее — чувствовался конец сентября, а днями по-прежнему припекало солнце. Люди забы-

ли думать о дожде и, бегая весь день за разбредавшейся скотиной, через каждый час подходили к повозке с бочонком, жадно пили воду и постепенно, штука за штукой, сбрасывали с себя надетое на холодном рассвете рвань: кожан, армяк, пиджак... Все снятое с себя лишнее платье напластывали на ту же единственную повозку, и эта колыхающаяся гора всяческого тряпья ко второй половине дня так разрасталась, что среди моря движущейся скотины повозка издали сама походила на огромное, уродливо горбатое животное, тяжело ковылявшее по дороге.

Первые семь гонщиков, с длинными палками на плечах, как конвой с винтовками, сопровождали гурт коров с бугаями: двое человек слева, двое справа, трое — для энергичного воздействия на отстающих — позади.

Вслед за ними другие семь человек точно таким же порядком конвоировали стадо быков.

Кто-нибудь один из четырнадцати — иногда поочередно — сидел на передке загруженной повозки и без вожжей правил парой запряженных волов, указующе прикасаясь концом длинного прута то к одному быку, то к другому.

Кротов, одетый почище остальных, и не в лаптях, а в ботинках на шнурках, в брово посаженной на голове давно выгоревшей военной фуражке, всегда держал наготове перед собой за один конец, как свечу, толстую высокую палку и, упиваясь властью над двумя отрядами животных, то «благословлял» своей «свечой» спину отстающего быка или убегающей в сторону коровенки, то с криком угрожал ей же издали зазевавшемуся гонщику.

Подножного корма не было, и скотина большую часть дня голодала. Если изредка попадалась в пути полоска сожженного ярового — покрасневшее, едва выбросившее первые стрелы просо или бледный овсяник вершка в полтора ростом с пустыми колосками, — то скотина, всю дорогу жадно потягивавшая ноздрями, вдруг, ни с чем не считаясь, самовольно сворачивала с дороги в поле, на эту красную погоревшую полосу проса или на этот бледный, почти белый, иссохший овсяник. Такому же неудержимому нападению гуртов подвергались и зачахшие, даже не давшие цветка, низкорослые, униженные цепочками червей подсолнухи; и зачаточная, но уже под самый корень опаленная полымем суховея гречиха; и не знавшие жизни, мертворожденные волосики льна; и черные, пустоцветные щетки конопли; и бахчи с мелкими, величиной с яйцо, пустыми внутри арбузами

и дынями, похожими на лопнувшие детские резиновые мячики с ввалившимися боками...

И стоило одному животному свернуть с дороги в подобное погоревшее, но все же запретное крестьянское поле, как за ним, словно по сговору, моментально устремлялись широким хвостом и другие. За правонарушителями тотчас же бросались с гиканьем гонщики, за гонщиками — Кротов, грозящий и скотине и людям своей «свечой».

— Куд-ды! — кричали люди раздражающими голосами, бессильные догнать бегущую наискосок от них скотину. — Куд-ды пошла, проклятая! Наз-зад! Наз-зад!

Между скотиной и гонщиками завязывалось в открытом поле состязание в беге на скорость и на маневренность. Животное, мучимое голодом, несмотря на погоню, все-таки пробивалось в засохший крестьянский просяник, оставленный крестьянами под выпас собственного скота, захватывало дорвавшимся ртом первый же просяной кустик, вырывало его из сухой почвы вместе с корнем и с комком закаменелой земли, трофейно держа во рту эту добычу, точь-в-точь как кошка держит пойманную крысу, с максимальной, несвойственной этому животному, быстротой мчалось по полю вскачь, куда глаза глядят, спасаясь от гонщиков. А гонщики, бессильные догнать, в отчаянии запускали на бегу свое длинное увесистое оружие под ноги убегающих, совсем как играющие в городки.

Запряженная в повозку пара самых могучих красавцев, работающих больше других и потому более других голодных, завидев издали поблекшую шапку подсолнуха, тоже моментально сворачивала с колеи в поле и волочила за собой прыгающую по кочкам повозку с вылетающими из нее на землю шубами, ведрами, тыквами. Кучер, спрыгнув с повозки, забежал вперед быков, мужественно хватал их за налыгачи — подобие ярма — и пытался повернуть с пашни обратно на шлях.

На полевых ночевках, пользуясь темнотой и всеобщим сном, иной умный бык, толкаемый все тем же голодом, осторожно уходил со своего тырла — места лежки, пробирался к гуртовой повозке, долго, медленно и деловито рылся в ней носом, наконец, перекопав все, прогрызал мешок с хлебом, проламывал толстую корку большой буханки и с наслаждением выедал в ней весь вкусно пахнущий ржаной мякиш.

О подножных кормах для гуртов Кротов то и дело тщетно справлялся у пастухов сельских стад.

Пастухи, еще издали завидев шествующие по большой дороге казенные гурты, бросали свое стадо и направлялись по полю к гуртам наперерез. За махорку на сигарку или даже только за газетную бумагу для курева они не знали как благодарить Кротова.

— Почем служишь? — спросил Кротов у одного такого пастушонка в завязавшемся разговоре.

— За сорок, — отвечал малый лет пятнадцати, босой, в длиннополом, широком, с чужого плеча пальто, волочащемся по земле, и в остроконечной защитного цвета буденовке на голове с покривленной красной звездой.

— Чего за сорок?

— За сорок пудов.

— Чего за сорок пудов?

— Ржи.

— За все лето?

— А ну да.

— Маловато.

— А то много?

— Рожью, а не деньгами платят?

— В наших местах денег не знают. Наши деньги — рожь.

— А тут подходящих для нас кормов нигде не будет?

— Тут-ка нету. Тут-ка крестьянский скот пасть негде.

Видите: по голому жнивью толкусь. А дальше, верстов за двенадцать, там будут хорошие совхозовские овсяники. Там попассти можете.

— А колготы не будет?

— Какая колгота? Овсяники — они все равно пропащие, посохлые: их ничем — ни косой, ни серпом — нехватишь. А сенов своих у совхоза много: еще с того года по всему лугу стоят.

— А про разбойство у вас тут ничего не слышать? — из предосторожности спросил Кротов, когда вспомнил, что у него запрятаны за семью одеждами казенные подотчетные деньги.

— Пошаливают... Все-таки есть. А вам что? Скотина казенная, не спекулянтская.

— Известно, казенная, клейменная. Вон, гляди, пломбы у каждой на ухе висят.

— Ну так чего ж? Тем более, если бломбы. С бломбами и «Царь ночи» не остановит. А если и остановит, то так отпустит, без последствий, только настрашает для всякого случая.

— А все-таки страшает? — усомнился Кротов.

— А то нет? — уверенно сказал пастух.

Серьезный, даже угрюмый парень поднял лицо, вдруг просиявшее в широкой улыбке, и, захлебываясь от удовольствия, скороговоркой прибавил:

— Частную скотину, у барышников, он не глядевши забирает!

— Вон уже рассыпались по ржанищу, проклятые! — вдруг пожаловался Кротов на своих коров и, занеся над головой дубинку, бросился с дороги за разбредающей по полю скотиной. — Куд-ды!.. Куд-ды ты! А-а-а, дьяволы!..

Юный пастух, волоча по земле слишком большую для него хвостатую шинель и маяча в воздухе острым концом насунутой на голову буденовки, в благодарность за курево тоже побегал к гуртам помогать Кротову. И минуту спустя он уже раз за разом оглушительно стрелял там своим длинным, длиннее себя, страшным бичом, похожим на разъярившуюся змею.

6

Проходили главной улицей большого села. Поднимали облака пыли, в которой тонуло все: и скотина, и гонщики, и встречные люди, и ближайшие избы.

Изголодавшиеся быки, и в особенности бугаи, рысью подбегали к крестьянским избам; как в цирке, становились во весь рост на одни задние ноги; поднятыми передними ногами, как руками, царапались по бревенчатым стенам, сколько могли, вверх, и там, губами, как щипцами, в момент выдергивали из крыш хороший пучок почерневшей соломы и с этой добычей в зубах убегали обратно в свой гурт. И было такое впечатление, что, если в скот стрелять, он все равно будет продолжать разорять крыши домов.

Коровенки, исхудалые, с маслено-блестящими женственными глазами, от нервности странно — по-собачьи — поджав под себя хвосты, одна за другой, со скачущим сердцебиением побежали гуськом вдоль порядка крестьянских домов, искали раскрытых калиток, ворот и, ловко нырнув в них, мгновенно прятались в чужих сараях, конюшнях, темных углах, мечтая остаться там, пристать навсегда к любому оседлому хозяйству, лишь бы не идти дальше. И гонщикам приходилось поодиночке выколачивать их оттуда.

Гонщики в бешенстве разрывались на части, не знали, что спасать: или крестьянские крыши, или государственных коров?

— Старики! — обращались они изнемогающими от усталости голосами к бороатым мужикам. — Чего же вы, ироды, не помогаете нам отгонять от ваших крыш быков! Ведь они рушат ваше добро!

— А какое вы имеете право гонять через селения такие огромнейшие шайки скота? — не двигаясь с места, сурово вопрошали пожилые мужики. — Разве вам тут дорога, бесовы дети! Вон дорога для скота, вокруг села, а не тут!

— Мы у тебя не спрашиваем, где дорога! — бранились гонщики и с криками продолжали бить палками своих животных, отгоняя быков от соломенных крыш и выковыривая коров из чужих закутов.

— Не спрашиваешь?! — гудели на гонщиков старики и собирались возмущенными кучками. — Вот отобьем сейчас у вас всем народом десяток быков в нашу пользу, тогда будете знать, как не спрашивать, где дорога. Должны спрашивать!

— А ну попробуй отбей! Скотина Центры, клейменная, казенная, не наша!

— Вот соберем народ и все равно отобьем! — грозились мужики, делая вид, будто сговариваются между собой.

— Эй, бабы! — кричали в другом месте гонщики. — Чего раззявили рты! Закрывайте калитки! Не видите, что наши коровы забегают в ваши дворы, прячутся по закутам!

— А вам жалко? — говорили бабы. — Оставили бы нам по одной молошной на хозяйство!

Во всех попутных селах и деревнях происходило одно и то же: мужики, бабы, дети высыпали на улицу, становились вдоль своих изб в картинный ряд, словно позируя перед фотографом, и неподвижно стояли так до тех пор, пока проходившие мимо гурты не исчезали из виду. Потом раздавались вздохи, начинались обсуждения...

— Товарищи! — обратился к Кротову в конце одного села местный кузнец, сплошь черный от сажи, вылезший из своей кузницы на свет, чтобы поглядеть на гурты. — Чья скотина, советская?

— Советская! — дернув головой, веско отвечал Кротов, выпрямился и с гордостью окинул взглядом доверенные ему гурты.

— А-а...— с удовлетворением протянул кузнец, и черное лицо его прояснилось. Он поближе подошел к Кротову. — Это хорошо. Хо-ро-шо-о... Красная Армия закупила? Или Центрсоюз?

— Трест «Говядина».

Кротов подробно объяснил, что советская власть закупкой скота в засушливых районах выручает крестьян из беды, вырывает их из лап спекулянтов, за ничто скупавших у мужика скотину.

— Мы сразу против частных закупщиков подняли цену за пуд живого веса!

И везде, где проходившие по селу гурты не причиняли сельчанам убытка, жители жадно искали случая побеседовать с гонщиками как с людьми новыми, сведущими, бывающими в городах, даже в Москве. Беседовали на разные темы: хозяйственные, бытовые, религиозные, политические...

— Откуда скотина? — по-свойски кричал на всю улицу лохматый мужик, очевидно вскочив со сна и стоя возле своей избы в нижней рубашке с широко расстегнутым воротом, без штанов, в сползающих все ниже подштанниках, босой.

— Из Еремина! — тоже громко, точно глухому, отвечали ему с середины дороги гонщики.

— Чья?

— Центры!

— Стало быть, казенная?

— А ну да!

— А сами чьи? — сонно, как лунатик, выходил на середину дороги этот мужик, придерживая одной рукой падающие подштанники, а другой, для деликатности, распутывая на непокрытой голове волосы, падающие на глаза и мешающие ему видеть.

— Ереминские! — ответствовали гонщики и останавливались в надежде воспользоваться от босого мужика каким-нибудь полезным для пути сведением.

— У вас жнива пахали? — в завязавшемся разговоре спрашивал мужик, подойдя к гонщикам вплотную.

— Еще! — коротко бросали гонщики, что на местном жаргоне означало: «Нет еще».

— Почему не пахали?

— Нету дождю. Земля больно сухая.

— Стало быть, в том краю тоже такая сухмень?

— А то?

Что означало: «А то нет?»

— А зерно на озимый посев в вашем месте дают?

— Шумят, что будут давать. А покуда ничего такого нету.

А у вас?

— Пока ниоткуда нету никаких слухов.

— Это плохо.

— Знамо, плохо.

Кротов подмигнул мужику и тихонько спросил:

— Дядька, а у вас тут на деревне самогону нельзя достать? Нам немного, только для аппетита.

— Нету. Сами бы выпили. Летошный год варили, а сей год не варят. Обедняли. Во всей этой округе, почитай, только одна наша селения такая скупая. А туда дальше по большаку, в прочих селениях, там самогону сколько хотите. Там сможете достать. И самогон же хороший есть у которых, страсть! Валит с ног наповал!

В большинстве сел мужики глядели на проходивший мимо них скот с большим сокрушением.

Скот от них, от мужиков, уходит! Скот гонится в города, на бойни!

— Говядинка хорошая, — ехидно замечал вслух один мужик, кивая другим на картинных рогатых великанов, впряженных в гуртовую повозку.

— С жирами! — в тон ему, с такой же подковыркой, поддакивал другой.

— Мужик обеззубел такую говядину есть, — говорил так же третий.

— Найдутся, которые поедят! — загадочно, со злобинкой в глазах произносил четвертый.

— Темнота у нас! — в оправдание таких высказываний пожаловался Кротову подошедший к нему сторож при сельской потребиловке, степенный пожилой мужик. — Немысленная темнота!

— Как темнота? — засмеялся Кротов. — А говорили: «новые времена», «разъездные лекторы», «передвижные театры», «самоделковые концерты», «танцы до утра»...

— Где там! — безнадежно отмахнулся рукой сторож. — Когда ожидалось затмение луны, то в двадцати семи верстах отсюда, в нашем уездном городе, на базарной площади, люди смотрели на луну в митроскоп. Смотрел, конечно, и я. При митроскопе находился приезжий лектор, видно, здорово хвативший для-ради приезда. «Это, — говорит лектор, показывая через митроскоп на половину луны, — это Япония, а это, говорит, рядом чернеется Америка». Весь народ поверил, один я не поверил, как я все-таки здесь, на всю нашу селению, человек выделяющийся. Про Америку я, конечно, ничего не скажу: я там не был. А вот про Японию, про ту наверно знаю, что она не на луне, а на Земле, как я сам участвовал в русско-японской

войне, имею заслуги и ранения. А вы говорите: «лекторы», «лекторы»... Все равно никто ничего правильно не доказывает. Опять взять то затмение. Полное затмение луны, безусловно, было. Но куда она тогда девалась, та луна, — скрылась ли она временно за облаками или же вовсе уничтожилась, сгорела, а на ее месте народилась другая, — этого человек никогда не узнает.

И долго еще говорил сторож, жалуясь на окружающую темноту, перескакивая с предмета на предмет, пока гурты неподвижно стояли и сонно отдыхали среди широкой сельской улицы.

Гонщики в это время гурьбой атаковали тесную потребилку и тщетно копошились там в разложенных перед ними скудных товарах.

- Нитки катушечные есть?
- Раньше были, сейчас нету.
- Махорка есть?
- Раньше была, сейчас нету.
- Сахар?
- Раньше был.
- А когда же будут?!
- Когда привезут, тогда будут.

Утомленной скотине нравилось стоять среди улицы под лучами солнца и оцепенело дремать. И ее сдвинули с места не сразу. Несмотря на вопли и побои гонщиков, она долго еще стояла и стояла...

Когда гурты наконец медленно пошли и подходили уже к концу длинного села, от крайней избы отделился человек, вышел навстречу гуртам, узнал в Кротове старшего гуртовщика, поздоровался с ним за руку, угостил махоркой собственного сева и зашагал рядом. Это был высокий, породистый, величественный старик, с пышной шапкой седых волос на непокрытой голове, с такой же серебряной окладистой — от плеча к плечу — бородой, в длинной, ниже колен, холщовой рубаше, подпоясанной обрывком веревки, в сапогах, с высоким посохом в руке.

Они разговорились.

— Ну как там, в Москве, смирно? — спрашивал старик, услышав от Кротова, что тому по делам гонки скота приходится бывать в Москве.

— Вполне, — уверенно отвечал Кротов и с места закричал молодому долговязому гонщику: — Панькин, гляди и скажи

другим, как бы там быки не расхватили вон тот омет жительской соломы!

— Никаких перемен нет? — тонко и политично выспрашивал старик, искоса оглядывая Кротова.

— А какие могут быть перемены? — удивлялся Кротов.

— Насчет войны ничего не слыхать?

— С кем? — спросил Кротов. — И кто теперь будет воевать? Мы с тобой хотим?

— Ага! — обрадовался старик. — Стало быть, солдаток брать не будут? Это хорошо. А то у меня трое сынов. Та-ак... Ну а по скольку в сем году наложат на десятину?

— Это покудова неизвестно. Тогда объявят. Вам, должно, сделают снисхождение, как ваша местность пострадавшая от суховея.

— Все-таки, думаешь, сделают?

— Обязательно.

— На хорошем слове спасибо.

Старик помолчал, подумал, снова украдкой покосился подозрительным взглядом на Кротова.

— Ты партийный?

— Нет.

— Врешь.

— Чего мне, дедушка, врать? Вот я с вами встретился, вот я с вами и разойдусь. Зачем же в таком случае врать?

— Так-то оно так. Только такой хорошей должности, как у тебя, некоммунистам не дают.

Кротов рассмеялся.

— Чем же у меня хорошая должность? Погонщик скота! Гуртовщик!

— Все-таки, — мотнул головой старик и опять искоса окинул всего Кротова изучающим взглядом.

Они минутку помолчали. Шли уже полем, деревня осталась позади.

— Ну а как там у вас, в Москве, Бога сознают? — опять стесненно, со страхком заговорил старик.

— Плохо, дедушка, насчет этого. Слабо.

— А-а, стало быть, плохо? Вон оно что. У нас тут тоже похвалиться нечем. Моя дочь накопила детей, думала, выйдут люди, а они подросли и все до одного записались в комсомол. Пес его знает, что будет. А родители твои живы? А сам-то ты как: считаешь родителей или тоже, по-партийному, служишь бесу, отказываешься от них?

— Почитаю, дедушка, почитаю.

— Это хорошо, — с чувством одобрил старик. — Старость нужно жалеть. Все состаритесь. А то у нас тут один такой же, как ты, вроде партейный, приехал из города к матери на побывки и не велит ей Богу молиться. Серчает на мать, не велит в церковь ходить. Он где-то работает каким-то начальником над детьми, должность тоже хорошая, вроде как у тебя... И мать, крадучись от сына, молится Богу. Крадучись! Вот чего делают! А ты Богу молишься?

— Нет.

Старика дернуло.

— Как? — нахмурил он брови, совсем белые, как из ваты, на красном здоровом лице.

— Так, — пожал плечами Кротов. — ОтбилсЯ от церкви.

— Заблудились люди, — вздохнул старик и покачал головой. — Заблудились. Оттого и засуха, и неурожай, и вот скотина вся пропадает, и люди. А ты думаешь отчего? У нас тут одну девчонку подхватило вихрем. Три дня носило. Поднимало все выше и выше. Как она потом попала обратно домой, девчонка сама не знает... Говорит, была на небе, видела Бога. Кто его знает, врет или нет... Скорей, что нет... Она, хоть ей и четырнадцать лет, догадалась, что делать на небе, стала перед Богом на колени и просит у него урожая, дождю. А Бог, значит, и говорит: «Последние колодези высушу!» И правда. У нас двенадцать колодезей рыли в ярах, где раньше всегда была вода, а теперь нигде не нашли. Ушла, а куда — неизвестно.

Кротов слушал старика и сдержанно посмеивался в сторону.

— Ну вот вы, старый человек, уже прожили жизнь, — сказал он, когда прощался с картинным стариком, — вы много видели на своем веку, о многом передумали... Скажите мне, только по правде: как, на ваше мнение, к хорошему все эти новости и перемены?

Опершись двумя руками на посох и принагнувшись величественным корпусом немного вперед, старик, прежде чем ответить, скользнул пытливым взглядом по лицу Кротова.

— Наверяд! — наконец произнес он. — Наверяд! — повторил он еще раз, громче и тверже.

— Почему? — спросил Кротов, но в этот момент, заметив в крестьянском коноплянике своего гигантского быка, не дожидаясь ответа старика, он изо всех сил рванулсЯ с дороги к тому быку с занесенной над головой длинной дубинкой.

— Бога забыли! — ответил ему уже вдогонку старик.

И тотчас же исчез, как видение, в облаках непроницаемой пыли, вдруг с вихревым шумом налетевшей со стороны шагавших гуртов.

7

Шагали день за днем, от зари до зари. В полдень отдыхали, варили чай. Ночевали среди полей, там, где заставляла темнота. Тогда же, в потемках, варили на костре обед. Ночами по очереди дежурили вокруг гуртов до утра.

Всем гонщикам приходилось трудно.

Но тяжелей всех было старшему, Кротову. Он, кроме всего прочего, что ни день, то делал какое-нибудь новое, неприятное для себя открытие.

Начать с того, что двое гонщиков, рекомендованных профсоюзом, оказались инвалидами войны и оба сильно хромали. При найме они умышленно скрыли свой порок, а теперь все больше и больше отставали от гуртов, плелись в хвосте, иногда вдвоем, причем один хромал на левую ногу, другой на правую, что вызывало шуточные замечания, острые словечки со стороны других гонщиков. Кротов из сострадания к инвалидам старался поочередно сажать их на повозку, править волами. Другие втихомолку критиковали такое снисхождение.

— Мы тоже больные, — говорили они между собой. — У меня грыжа вон какая, больше головы! А я все равно бегаю за быками, не сижу барином на повозке, такой моды у меня нету...

С третьим гонщиком дело обстояло еще сложнее. Обнаружилось, что он страдал куриной слепотой, ночью не всегда отличал скотину от человека и, будучи очень старательным в работе, не раз испуленно замахивался дубинкой на своего же собрата гонщика, принимая его в потемках за покушающегося на побег быка.

— А-а-а!.. — злобно заскрежетал он однажды зубами и на Кротова, когда тот, по обыкновению, глубокой ночью проверял на стоянке посты дежурных. — Куда тебя черти несут? Наззад! — погнался он с занесенной выше головы дубинкой за своим начальником, в страхе спасающимся от него бегством. — Я тебе, сукин сын, когда-нибудь рога поотбиваю!

И с крепкой бранью он изо всех сил запустил вдогонку Кротову тяжелую дубинку. Дубинка со свистом пролетела в темноте возле самого уха начальника.

— Где ты видел у меня рога, дурак ты этакий! — в испуге кричал из темноты Кротов. — Калека ты несчастная! Ты уже не в первый раз покушаешься на мою жизнь! Ну, что я теперь должен сделать тебе? Морду набить?

— Тихон Евсеич! — искренне сожалел о происшедшем гонщик. — Я без намерения! Я стараюсь!

— Так не стараются! — говорил Кротов. — Если слепой, надо очки завести!

Из ночной темноты, с огромными воротниками тулупов, поднятыми выше голов, неслышно собирались на шум и подходили к ним силуэты других дежурных — узнать, в чем дело.

— Уж больно темная ночь! — раздавались из их группы голоса в оправдание провинившегося.— В такую ночь очень свободно ошибиться. Если бы было хотя monthly. И человека виноватить нельзя, потому что он вроде хотел как лучше.

— На кой черт мне такое его хотение! — махал руками Кротов. — Мне моя жизнь дороже! А если он однажды ночью мне голову снесет своим дрючком? Спасибо вам!

— Ну что вы, что вы, Тихон Евсеич, уж и «голову снесет»... — обижался виновник происшествия. — Вы очень низко ставите меня. Я не такой.

С остальными гонщиками Кротову было меньше хлопот. Но все же дело не обходилось без недоразумений. Например, люди пожилые плохо ладили с молодыми, обвиняли их, что те стараются выезжать на стариках. Будто бы, когда старики бегали по глубоким ярам, лазили на кручу и ловили шалую коровенку или когда старики рыскали по лесной чащобе, искали притаившуюся в кустах скотину, молодые в это время спокойно шествовали ровным шагом рядом с гуртом, притворяясь, что ничего не знают о побеге быка или коровы. Или во время сильного ветра получалось так, что старики, по их словам, всегда оказывались на стороне летящей на них от гурта земляной пыли, а молодежь группировалась на стороне чистого ветерка. И Кротов попробовал было перегонять молодых на места стариков, а стариков на места молодых. Это сразу помогло делу. Но что самое главное — как выяснилось — ни один гонщик не знал дороги!..

— Чего же вы ввали Иван Семенычу, что гоняли этим путем скотину не раз и хорошо знаете маршрут?! — корил их Кротов.

Они оправдывались:

— А что же, мы должны были пропадать без делов? Помирать голодной смертью с семейством? Вы же сами, Тихон Евсе-

ич, очень хорошо видели, как трудно было заместиться на должность гонщика. А что касается дороги, то ее немудреное дело найти. Жителей надо спрашивать.

— А где тут жители, в этой погорелой пустыне?! — возмутился Кротов.

И, чтобы разузнавать, куда идти, он частенько бегал в поле, далеко от дороги, к мужикам, пахавшим озимое, или подзывал со степи к себе на дорогу деревенских пастухов. Но такие встречи с людьми бывали слишком редко. Кроме того, пастухи, как правило, никаких других дорог не знали, кроме одной-двух своих.

— Стой на месте! — вдруг на перекрестке нескольких дорог поднимал руку Кротов и останавливал оба гурта, а сам со стариком Коняевым отправлялся разведывать путь.

Гонщик-профессионал Коняев шел по одной дороге, Кротов по другой, и оба они так низко наклонялись к земле и так внимательно присматривались к колеям на дороге, словно силились прочесть на них какие-то важные затоптанные слова.

— Есть! — вдруг поднимал голову один из них, останавливался и рассказывал другому свою догадку, исходя из найденных им на земле ценных примет.

8

Лишь к закату солнца и, как всегда, с невероятными трудностями Кротову наконец удалось в одном селе сторговать у мужика за наличные деньги и отрезать половину скирды старой соломы на корм гуртам.

— Только что скотина государственная и вы государственные — поэтому! — изрек, согласившись продать, упрямый мужик, единственный в селе, у которого еще водился небольшой запасец лежалой соломы.

Надо было организовать кормление скотины, и гурты нарочно остановили на дороге еще до деревни, чтобы скотина, раньше времени учуяв запах соломы, не вышла из повиновения и не помешала сложным предварительным приготовлениям.

На нескольких крестьянских подводах гонщики вывозили купленную солому на широкую сельскую площадь против церкви. Приятно было смотреть, с каким рвением, с какой быстротой и с каким толком они работали. Всем хотелось поскорее порадовать изголодавшуюся скотину, и каждый работал за четверых. Появилось даже иное, более справедливое отношение к

тем двум хромым инвалидам, что чередовались на повозке и теперь хлопотали у костра, готовя артельный обед, обычный пастушеский кулеш из пшена, лука и сала.

Кротов, повеселевший больше всех, летал, как на крыльях, появляясь то в одном конце широкого плаца, то в другом — месте для предстоящего скотского пиршества.

— Реже раскладывая отдельные кучки соломы, дальше одна от другой! — разрезал сельскую предвечернюю тишь его высокий, командующий, наслаждающийся своей распорядительностью голос. — Клади так, чтобы скотина ела маленькими группками по трое, по четверо, не теснила друг друга! Клади так, чтобы скотина не запатывала ногами драгоценный корм! Клади, черт поberi, так...

Первыми прибежали глядеть на приготовления кормежки невиданно огромного стада, конечно, сельские ребятишки. Они задолго до начала зрелища заняли на площади удобные места, держали друг друга за руки и окружили плац неровной — где тонкой, где толстой — живой изгородью. Потом позади этой детворы постепенно образовали вторую цепь полные удивления местные мужики, бабы — люди всех возрастов.

— Мож-на-а-а!.. — наконец протяжно закричал во всю глотку с высокой церковной ограды Кротов, стоявший там с протянутой вверх рукой, точно митинговый оратор. — Дав-вай!.. Мож-на-а!.. Иди-и, иди-и!.. — кричал он куда-то вдаль гуртам и пригласительно махал им рукой.

И вот в конце улицы, за селом, возле крылатой ветряной мельницы, как бы вылезая из-под горы, показались на дороге широким фронтом в несметном числе одни рога скотины. Рога и рога... Рога надвигались на село по дороге густой массой, сомкнутым полчищем, спутанно шевелясь и шевелясь на разные лады. По мере своего приближения они все более и более густой сеткой вырисовывались на фоне чистого, безоблачного небосклона. Потом под каждой парой рогов, тоже вылезая из-под земли, появились головы первой шеренги быков. Потом под всеми головами все выше и выше вырастали груди, потом ноги животных, безостановочно перебирающих и перебирающих на месте, как бесчисленное множество работающих спиц. Издали даже невольно воображалось, какой должны были издавать стрекочущий шум эти мелькающие вдоль и поперек спицы.

Армия запыленных рогатых четвероногих гигантов, запрудив всю ширину улицы и задевая левым и правым флангами за

избы, всем своим плотным массивом трудно втиснулась в деревянную и вскоре подошла к церковной площади.

Завидев белеющие по всему плацу в правильном шахматном порядке кучки золотисто-глянцевитой соломы, почувствовав идущий от нее сытный ржаной запах, скотина, вдруг высоко подняв расширенные ноздри, вся рванулась вперед и, отбросив усталость, вялость, саженными шагами двух тысяч ног, широким веером, в охват всей площади, бесконечно счастливая, побежала врассыпную к старательно разложенным для нее аккуратным порциям.

И легок, и упруг, и изящен, и невиданно красив был этот массовый бег воодушевленных животных, минуту тому назад еле влачивших по дороге машинально передвигающиеся многочисленные свинцовые ноги.

Два больших гурта раздробились на множество отдельных, маленьких, усердно жующих группок, каждая в несколько голов. От тех кучек соломы, вокруг которых становилось тесно или где солома подходила к концу, животные, осмотревшись, переходили к другим, где было больше корма.

Вдали, возле своих изб, стояли и томилась в выжидающих позах бабы-хозяйки — с головами, повязанными белыми платками, в темных юбках, в цветных кофтах, с приготовленными граблями в руках. Неподвижными глазами, сведенными в одну точку, они часами глядели издали на скотину, вволю пожирающую дорогой корм, и, было видно, караулили момент, когда наконец можно будет кинуться с граблями к плацу и нагрести для себя с земли остатки.

Уже стемнело, уже с поля освежающе дохнуло на деревянную ночной прохладой, когда скотина, утомившись жевать, одна за другой отрывалась от корма, поднимала головы и продолжала стоять на месте, как бы только теперь разобравшись во вкусе неважной старой соломы.

— Сжимайте гурты как можно теснее! — скомандовал Кротов, едва у первого быка сами собой подкосились ноги и он лег, где стоял, устраиваясь уже на ночь. — Иначе мы их тут никак не укараулим. Сжимайте, сжимайте их к центру площади!

За первым быком начали валиться на месте, подламывая под себя усталые колени, и остальные. И через несколько минут один гурт спокойно лежал по одну сторону повозки у домытого пылающего костра, другой — по другую.

Возле повозки и костра хлопотали гонщики, стацившие на землю свои пожитки: платье, постельные подстилки, мешки с провизией...

— А бабы-то, бабы, поглядите, чего делают! — вдруг повернул в сторону голову один из гонщиков, указывая всем на дальний край плаца, и расхохотался.

Бабы, с высоко подоткнутыми подолами юбок, взваливали друг другу на спины тюки подобранной соломы и пускались с ними бегом к своим избам. Самих баб за огромной ношей не было видно, и казалось, спеша бегут по земле, смешно сотрясаясь, вот-вот готовые упасть, громадные тюки соломы на коротеньких ножках.

Кротов побледнел от злости.

— Эй, бабы, стой! — пронзительно закричал он, вскочив на повозку и потрясая в воздухе дубинкой.— Что вы делаете, бросьте сейчас солому, а то я вас!

Бабы с соломой ускорили бег.

— А!.. — взбесился Кротов. — Вы бежать?!

И он, спрыгнув с повозки, с дубинкой в руках, бросился за ними.

— Я кому говорю, бросьте сейчас солому, иначе...

Одна баба, с самым большим ворохом, полуобернувшись назад, поглядела из-за края своей ноши на приближающегося Кротова, шутит он или кричит всерьез.

— Положи сейчас, где взяла! — пригрозил ей Кротов дубинкой. — Скотина казенная, Центры, насидишься в тюрьме за эту солому!

Баба остановилась: едва сама устояла, сбрасывая с себя тюк; выпростала из-под соломы свою веревку и, ни разу не оглянувшись, очень грузная, побежала, как девчонка, напрямик к своей избе.

Две-три другие в испуге последовали ее примеру, остальные же благополучно скрылись вместе с трофейной соломой в своих воротах.

Уже при свете утреннего солнца гонщикам бросилось в глаза немало дорожек рассыпанной по земле мелкой соломы. Дорожки, расходясь от середины плаца лучами, вели как раз в те дворы, в которые бабы таскали остатки корма.

— Эх!..— с досадой произнес Кротов.— Только сожалею этих людей, только сочувствую их бедности! А то бы я им показал! А то бы они запомнили у меня, что такое трест «Говядина»!..

День за днем, сутки за сутками гурты шли дальше и дальше. И люди и скотина свыкались с дорогой так, словно им предстояло всю жизнь только шагать и шагать.

— Давайте сюда-а-а!.. — закричал гонщикам Кротов, ушедший от гуртов далеко в сторону на розыски для скота хотя какого-нибудь подножного корма. — Тут тра-ва-а-а!..

В ожидании подхода гуртов один конец дубинки он воткнул в землю, на другой повесил фуражку, а сам, растянувшись на высохшей, пружинистой, душистой траве, лег отдыхать.

Он лежал на спине, лицом к небу, и улыбался, заранее рисуя себе, как поразятся и гурты и гонщики, увидев эту заветную, наконец найденную им стель, о которой ему так много и так восторженно говорили попадавшие в пути крестьяне.

Когда гурты круто свернули со шляха и направились степью прямо к нему, он не утерпел и встал, чтобы получше видеть, как будет встречена всеми его находка — и людьми и скотиной.

— Ну и корма-а-а! — одно за другим следовали удивленные восклицания гонщиков, в то время как они не могли оторвать глаз от устлавшей их путь роскошной, теперь уже высохшей, но все же сохранившейся от лета травы. — Вот так корма-а-а!

— Что значит сроду не паханная земля! — возгласил старик Коняев, скользя по земле оживившимися многоопытными глазами. — Это бывшие графские степи, графа Орлова-Давыдова, теперь государственный земельный фонд. Их только в том году начали нарезать мужикам. А раньше, кто их знает сколько годов, они гуляли так, без пользы.

И долго еще не переставали люди глядеть себе под ноги и восхищаться каким-то чудом уцелевшей здесь благодатью.

— А сколько тут сохлых цветов! Смотрите! Смотрите!

И после твердого, как камень, большака ступать по этой мягкой, упругой, хрустывающей под ногами, сухой душистой траве и скотине и людям было приятно и непривычно. Люди шли и улыбались от наслаждения. Шли и не слышали собственной поступи, как будто шагали по мягкому ковру.

— Ну-ну! — покачивали они головами, не находя слов для выражения своего удовольствия.

— А запахи какие! — воскликнул Кротов, разводя вокруг руками, остановившись на ковре из разноцветных, высохших,

уже полинялых цветов. — Тут продержимся подольше, — сказал он с сияющим лицом.

— На таких травах, Тихон Евсеич, не грешно было бы нам устроить дневочку! — со сладостной grimасой внес предложение один из пожилых гонщиков.

— Дневку! Дневку! — дружно подхватили остальные, смеясь.

— Там посмотрим, — уклончиво ответил Кротов. — Завтра утром решим. Очень увлекаться дневочками нам тоже нельзя. Приходится спешить. Мы и так уже около месяца идем. Скотина очень теряет вес в такой дороге — вот главное!

— Тихон Евсеич! — возразил горячо Коняев. — На таких сытных травах, как эти, скотина поправится, прибавит вес! Won там, видите, верхушки деревьев из ложбины чернеют? То пруд. Бывший графский пруд. А вокруг него старые вербы стоят. Там скотину вволю напоить можно.

— Вот это хорошо! — раздался голоса. — Там и заночевать сможем! Вполне!

— Трогай туда! — как бы сдаваясь, махнул рукой весело Кротов.

Под криками и ударами гонщиков, неохотно подвигаясь вперед маленькими шажками, скотина жадно рвала и рвала под собою на ходу вкусное, резко пахучее сено.

Пришли к пруду. И к пестроте степи и к синьке неба прибавилась еще одна краска, веселящая глаз: темная, свежая зелень листвы, нависшей вокруг всего пруда с очень древних, не моложе столетних дуплистых верб...

Скотина остановилась и как припала губами к траве, так и не отрывалась от нее, начисто выбривая ее возле себя, как хорошей бритвой.

И полились в воздухе сладкие медовые запахи сухих степных цветов, усердно перетираемых, как на жерновах, на плоских зубах пятисот крупных животных! И послышался всюду множественный смачный хруст крепко работающих и работающих челюстей...

...Когда малиновый шар солнца нижним краем своим уже прикоснулся на западном горизонте к земле, на всю степь, на поверхность пруда, на лица людей лег малиновый отсвет. И от травы, от цветов, от летающих нитей паутины, от неподвижно повисшей листвы верб, от покойной воды пруда, от всего этого и в особенности от костра, распространяющего домовитый запах кизячного дыма, на душу вдруг легла беспричинная грусть осенних сумерек.

— Изх-х!..— вспомнив о домашней нужде, о жене, о детях, тяжело вздохнул один инвалид, готовивший у костра на артель ужин.

— Д-да-а!..— с точно таким же чувством и с такими же мыслями помотал головой другой, помогавший первому варить все тот же походный кулеш: пшено, лук, сало.

В то же время в темно-малиновый овал пруда со всех глинистых берегов осторожной ощупью, как слепая, поодиночке, деликатно спускалась отяжелевшая, довольная, вволю наевшаяся скотина.

— Панькин! — кричал с одного берега на другой старый гонщик Коняев молодому. — Заметь там на берегу колышками уровень воды в пруде, пока скотина не пила! А потом посмотрим, сколько она выпьет!

— Хорошо! — подхватил тот предложение и вбил в одном месте глинистого берега на уровне воды один колышек, потом в другом месте — второй, потом — третий...

Оставленная без присмотра скотина позволила себе еще одну новую роскошь: ни одно животное не пило воду у берегов — а, оставляя от себя на зеркальной поверхности пруда черное отражение, оно двигалось, с остановками, все глубже и глубже: по колени, по живот, по грудь, где вода с каждым шагом становилась чище и чище. Наконец животные останавливались, нащупывали копытами на дне надежный твердый грунт, погружали кончики широких сомкнутых губ в воду и с наслаждением цедили в себя изредка попискивающую влагу. Пили не спеша. Пили много. Напившись, долго и неподвижно стояли в одной и той же позе, сутуло склонившись над водой, как будто сонно смотря в зеркало.

Среди пруда, на плоских спинах некоторых пьющих воду быков лежали в широко распластанном виде шубы и другие одежды гонщиков. Гонщики, по мере того как с утра начинало припекать солнце, имели обыкновение постепенно сбрасывать с себя в пути верхнее платье, и, чтобы каждый раз не ходить с ним к повозке, они на время набрасывали его на покорные спины ближайших к ним животных. И теперь хозяева тулупов, забытых на спинах быков, пьющих среди пруда воду, стояли на краю берега и напряженно следили за участью своих вещей. Сорвутся их шубы в воду со спин быков или не сорвутся? Утонут или не утонут? Раздеваться и лезть им самим в холодную воду или же подождать?

— Наз-за-ад! — отчаянно кричали они с берега тем быкам. — Наз-за-ад!..

Но быки, как глухие, не обращали на их вопли никакого внимания, стояли и стояли, как изваяния.

— Пропала наша одежда! — хлопали люди себя по бедрам, нервничали, садились на землю, смотрели издали, ждали, потом опять вставали. — Ни за что пропадет одежда! Не столько заработаем, сколько потеряем!

Однако быки, достаточно освежившись в прохладной ванне, со свойственной им медлительностью пошли обратно — казалось, стараясь остороженько вынести на берег на своих спинах доверенное им имущество.

Ни одна вещь не пострадала!

Переволновавшиеся гонщики ликовали.

— Ну и животная! — удивлялись хозяева спасенного добра и зачем-то разглядывали с изнанки и с лица свои дырявые шубы, словно в них могли произойти какие-нибудь изменения. — Ну и скотина! А говорят, скотина ничего не понимает! Все понимает!

— Кто говорит? — возмутился Коняев. — Тот сам ничего не понимает, кто так говорит! «Глупая», «глупая», а она, бывает, которая умней нас!

Когда последний бык, как из-под душа, весь обтекая водой, вышел из пруда, Коняев закричал на противоположный берег:

— Панькин! Пройди к заметкам, погляди, какой теперь стал уровень воды в пруду!

Панькин спустился к берегу и с торжествующим лицом указал всем на новый уровень воды, значительно ниже вбитого колышка:

— Вот сколько она выпила!

Все удивлялись.

Коняев по этому поводу тоном знатока говорил:

— Вот видите, если класть по четыре ведра на голову, и то составитя две тысячи ведей!.. А есть быки, которые, если дать им волю, и по шесть ведей выпьют!..

Скотина, наевшаяся, напоенная, с чудовищно раздутыми в обе стороны боками, точно навьюченная, с трудом стояла на земле на широко расставленных ногах и своим беспомощным видом вызывала в гонщиках хохот.

— Ужась, как нажралась с голодухи! Стоит и смотрит без всякого понятия! Даже не шевельнется! Как неживая!

Прошло несколько минут, и быки, коровы, бугаи всей своей массой повалились на берегу пруда на длительный отдых. Усталые, не в меру отъевшиеся животные лежали на сухой примя-

той траве, на своих тяжело расплывающихся, как тесто, животах, на расстоянии одного-двух шагов друг от друга.

— Сегодня ночью караулить скотину не потребуется: ни одна никуда не уйдет, — засмеялся Коняев, окидывая довольным взглядом удобную стоянку гуртов.

Но, по приказанию Кротова, ночные дежурства людей все же не были отменены совсем, а лишь сокращены, и большинство гонщиков наконец, к своему удовольствию, проводило на этот раз ночное время вместе — возле повозки, у пылающего костра.

Люди, исхудавшие, небритые, нестриженные, с черными запыленными лицами, с непокрытыми головами, сидели тесной семьей вокруг большого закопченного ведра, из которого валил пар, и, засучив рукава, широкими деревянными ложками зачерпывали из глубины ведра горячую, сытно благоухающую пшеничную похлебку на свином сале.

Пламя костра, вспыхивая, вдруг освещало за плечами гонщиков огромные рогатые головы животных, мирно отдыхающих тут же, рядом, нераздельно от людей.

Вокруг стояла такая тишина, какая могла быть только здесь, ночью, вдали от населенных мест, среди голой, бездорожной, целинной степи.

И время от времени, когда в негромком разговоре усталых людей наступала пауза, до их слуха доносились из тесноты спящих гуртов отдельные, странные, до суеверности похожие на человеческие, кроткие вздохи животных.

Быкам долго не спалось. Рогатые великаны, с гордо повернутыми головами, с открытыми, поблескивающими в темноте большими масляными глазами, по-детски подобрыв под себя колени передних ног, удобно полусидели-полулежали на траве, не спали — и думали, думали...

Не за этим ли так неожиданно и так насильственно оторвали их от родного дома, чтобы из тех бесплодных, засушливых, голодных мест пригнать сюда, в этот чудесный край, где такие сытные пахучие травы, где такие чистые обильные воды, где так прекрасно ночами лежать на мягких подстилках и отдыхать? Если это так, если это правда, тогда, конечно, это хорошо, очень хорошо. Тогда понятно, тогда простительно все: и бесконечно долгий, мучительный их путь сюда, и беспощадные побои гонщиков, и все другие, которым нет числа, дорожные страдания...

Поздней ночью, когда на гуртовой стоянке уже все спали крепким сном — и люди и животные, — вдруг послышалось, как

за концом пруда, среди прилегающих к нему зарослей болотистого камыша, с осторожным разговорным побрякиванием опустилась на слегка заплескавшуюся воду небольшая стайка диких уток, быть может, где-нибудь недалеко вспугнутая дотошными охотниками, ожидающими рассвета.

...Перед самой утренней зорькой, при ясном звездном небе, прихватило первым в этом году морозцем. И у Коняева, спавшего в числе остальных возле давно потухшего костра, свело судорогой ноги. Старик, не раскрывая глаз, завозился под рваным тулупом, заерзал по земле, словно вгрызаясь в нее, застонал.

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ

Рассказ



Кроме лидеров различных политических партий и известных социалистических вождей, в те дни у памятника Пушкину выступали в качестве ораторов и все желающие из публики. В большинстве случаев это были приезжие — или с германского фронта, или из далекой русской провинции. Они предварительно заявляли очередному председателю непрерывного митинга о своем желании держать речь перед Москвой, и их потом вызывали, но не по фамилиям, которыми в то время никто не интересовался, а — в порядке записи — по номерам.

— Тридцать третий! — протяжно выкликают с высоты памятника и глядят вниз, в толпу, как с пристани в море. — Кто у нас тридцать третий?

— Есть! — отзывается кто-то из гущи народной таким струхнувшим голосом, точно его вызывают на суд.

Делая в страшной тесноте влево и вправо зигзаги, он вначале идет сквозь толпу по плоскому месту. Потом, подойдя к Пушкину, поднимается на высокий пьедестал памятника со ступеньки на ступеньку, с выступа на выступ. И многотысячной толпе, на далекое расстояние окружающей памятник, сперва

видна только его старенькая порыжелая шляпа, потом наивный провинциальный затылок, потом покатые плечи, узкая спина в летнем пальто с выцветшими лопатками, ноги в заскорузлых нечищенных ботинках с носками крючком.

Оказавшись наконец на самом верхнем карнизе, тридцать третий оратор становится лицом к публике, спиной к черному как уголь камню памятника.

— Граждане первопрестольной! — возглашает он голосом церковного проповедника, окидывает глазами безграничную площадь, запруженную народом, бледнеет от непривычного громадного чувства, переводит дух. — Прежде всего позвольте мне от всего конотопского народа передать всему московскому народу низкий поклон и русское спасибо за то, что Петроград и Москва так скоро и так хорошо сделали этот бескровный переворот. Спасибо вам!

Двумя руками снимает он с лысой головы измятую шляпу с широкими отвисающими полями и медленно и чинно отвешивает толпе поясной поклон. По древнему русскому обычаю он кланяется народу в одну сторону, в другую, в третью.

Толпе это нравится, и она вдруг оглашает Страстную площадь взрывом восторженных аплодисментов. Аплодируют и улыбаются ему все — и те, кто слышали его слова, и те, кто за дальностью расстояния ничего не могли разобрать. Кисти бесчисленного множества человеческих рук так и белеют всюду на общем черном фоне толпы, так и трепещут на месте, так и колотятся в воздухе одна о другую, как светлые крылышки пойманных птиц. По всему пространству площади приподнимаются над головами, как щиты от солнца, мужские шляпы. Дамы и барышни приветливо потряхивают по направлению к тридцать третьему оратору белоснежными платочками. Офицеры становятся во фронт, держат под козырек. Мальчишки с верхушек деревьев и фонарных столбов — как бы вместо музыки, играющей в честь оратора туш, — пронзительными альтами орут со всех сторон «ура».

И серьезные лица дальних прохожих, быстро шагающих по своим делам в ту и другую сторону Тверской улицы, тоже поворачиваются в сторону митинга, тоже глядят издали на оратора, тоже озаряются теплыми, сочувственными улыбками на все время, пока не исчезают из вида...

— Еще я должен вам доложить, граждане, что у нас... — поднимает голос тридцать третий оратор и сам приподнимается на носки, сясь перекричать режущий ухо звон трамвая, нежи-

донно выросшего громадной горой в самой гуще толпы, — ...что у нас... — повторяет он все выше и громче, — ...что у нас перевороту все рады! — наконец удается ему прокричать окончание фразы. — Теперь бы только прикончить с германской войной...

Трамвай, с непрерывным звоном разрезавший толпу на две части, уходит; толпа вновь сливается в одно целое тело; и каждое слово оратора по-прежнему четко разносится по всей площади.

— ...Моя фамилия Вьюшкин!.. Егор Антоныч Вьюшкин! Кому если надо, могу потом документы показать!.. В нашем городе меня все знают!.. Я только сегодня из далекой провинции!.. С юга!.. Может, слышали, из Конотопа!.. Город наш, безусловно, маленький, не сравнить с вашей Москвой!.. Но все-таки чистенький и по той местности считается просвещенный!.. Насколько позволяют наши небольшие материальные источники, тянемся за губернскими городами, не хотим — ха-ха-ха — отставать!.. У нас в настоящее время есть собор, театр, цирк, каждую зиму приезжает известный зверинец Миллера, по субботам бывает кормление зверей, солдаты и учащиеся плотят половину!.. Летом, от 8 часов вечера до 12 часов ночи, на городском бульваре играет военная музыка, по большим праздникам за двойную плату роскошный фейерверк и беспроигрышная лотерея с главным выигрышем — живая корова!.. По будничным дням, в сильную жару, чтобы не так бесились собаки, силами пожарной дружины производим поливку главных улиц...

Вероятно, не смея перед столичной публикой надеть шляпу, Вьюшкин стоит с непокрытой головой, говорит с искренним подъемом, жестикулирует и, как автоматическая кукла в витрине игрушечного магазина, поворачивает свое лицо то к одной левой половине, то к одной правой, подставляет под лучи солнца то одну щеку, то другую.

Пожилый человек, он вдруг делает мальчишески-сияющее лицо, победоносно проводит по воздуху впереди себя шляпой и восклицает:

— Граждане москвичи!.. Короче говоря, я приехал к вам в Москву, чтобы узнать все ваши подробности и рассказать вам все наши, только у нас против вашего мало!.. Ха-ха-ха! — смеется он с выражением громадного довольства на лице, как человек, после долгих странствий приставший наконец к тихой пристани: — Как только поезд остановился у московского вокзала, выскакиваю из вагона на перрон и у первого попавшего

я спрашиваю: «Где?» Говорит: «Под памятником Пушкину». Ну, я сейчас же на извозчика и прямо сюда. У меня даже пассажирский билет сохранился, только, дай бог памяти, не помню, сколько в Копотопе я за него заплатил: не то семь рублей двадцать, не то, наоборот, семь рублей восемьдесят?.. Хоть убей, не припомню! Самое лучшее, отыщу сейчас билет, там цена должна быть проставлена... Одну минуточку, товарищи, я сейчас!.. Вот один мой карман — тут его нет, вот другой — тут тоже его нет, будь он проклят...

И на виду у многотысячной толпы, на большой высоте, точно актер, играющий на открытой сцене, Вьюшкин выворачивает все свои многочисленные карманы, высыпает из них разную труху, строит удивленные ужимки, испускает досадливые вздохи...

— В какой же все-таки карман я его положил? — размышляет он вслух, стоит в недоуменной позе, глядит себе в ноги. — Знаю только, что в Конотопе я подавал в кассу десятку, еще десятка та, как сейчас помню, была замаранная с одного боку, и кассир было не хотел ее принимать... Кстати, интересное, граждане, про нашего кассира!..

Вьюшкин вдруг оживляется, забывает про билет и продолжает:

— Кассир у нас маленький, от земли не видать, вроде горбун, а когда женился, заметьте, сумел взять на приданое отличное состояние и деньгами, и одеждой, и всем!.. Провинциальных невест не сменить на столичных!.. Интересное про наших невест, граждане!

И Вьюшкин подробно говорит о конотопских невестах.

— ...У наших невест и честности, и капиталу больше!.. Только это мало кто знает из вашей московской пубрики, а то бы все поехали!.. Дома у меня есть брат, живет при жениной матери, короче говоря, при теще... Интересное про моего брата, граждане!..

И Вьюшкин долго останавливается в дальнейшей своей речи на брате.

— То-ва-рищ! — трудно, тягуче, точно с постели тяжелого больного, раздается в это время изнемогающий голос из толпы. — Или говорите к делу, или уступите место следующему оратору, тридцать четвертому! А так нельзя! Вы какой партии: эсер, эсдек?

И вся толпа со всей площади вдруг начинает нетерпеливо кричать — сразу не поймешь что.

Одни кричат:

— Да! Да!

Другие:

— Нет! Нет!

Одни высказываются против Вьюшкина, другие за. Первые энергично машут ему руками, чтобы он немедленно уходил, вторые — чтобы обязательно оставался.

Вьюшкин стоит на трибуне, высоко над уровнем голов толпы, серый на чернильно-черном фоне памятника. Испуганными глазами поводит он по возбужденной толпе, смотрит, слушает, теряется все больше, не знает, что делать.

Крики толпы растут, ширятся, охватывают всю площадь.

— Довольно!.. Ну его!.. Долой тридцать третьего, долой!.. Давайте тридцать четвертого, может, он лучше скажет!..

— Ну нет!.. Дайте человеку кончить!.. Нельзя только одних хороших слушать!.. А куда же тогда деваться плохим!.. Свобода слова дана для всех!..

— Значит, по-вашему, рабочий класс кровью своей завоевывал свободу слова для того, чтобы потом нести с трибунала всякую ерунду про кассиров, про тещ, про невест, да? — видит Вьюшкин, как под самым пьедесталом памятника коряво, но крепко вяжет свои слова юный рабочий с атлетической короткой шеей, в треснувшей на круглых плечах кожаной куртке.

— Ах! — с капризной гримасой возражает ему его сосед, пожилой господин с небритым, в колючках лицом, в теплой шапочке лодочкой. — Ведь это он только пока! Это он, может быть, так для начала только! Человек прямо из провинции, первый раз в шумной столице, еще не осмотрелся, боится!

— Да, как же, «боится», — басит юный атлет и окидывает своего собеседника грозным взглядом. — Да что мне с вами говорить, когда я уже вижу, кто вы такие есть! — вдруг заявляет он, резко обрывает речь, с презрительным выражением лица поворачивается к господину спиной, сплевывает на землю.

— А я вижу, кто ты такой! — клюет его словами в спину небритый господин. — А я вижу, кто ты такой!

Атлет настороженно глядит через плечо назад на господина.

— Чикалдыкни ему по макушке, чикалдыкни! — нетерпеливо просят его из публики, один, другой...

— Ой-ёй-ёй!.. — во весь голос тут же плачет по-бабьи седой вольноопределяющийся с молодым длинным лицом. — Ой-ёй-ёй!.. — стоит он в непролозной тесноте, заливаясь

слезами и держится двумя руками за одну щеку. — Какой-то господин за несогласное мнение сейчас ударил меня по щеке и скрылся... Ага, говорит, коль скоро, говорит, у вас такое мнение, то вот вам, говорит, получите... Дал со всей силы и убежал... Ой-ёй-ёй... Меня еще никогда так не били, даже при старом режиме... И главное, такой приличный господин, так хорошо одетый — видно, с образованием!.. Совсем нельзя было подумать!..

Старый мастеровой, с темным в морщинах лицом и с ярко-белыми белками глаз, бегающими под козыречком кепи, с заинтересованным видом подходит к вольноопределяющемуся, нажимает всей длиной большого пальца на его пострадавшую щеку и тоном любителя спрашивает:

— А здоровую все-таки плюху дали?

— Здесь за несогласное мнение могут убить, — вместо ответа хнычет седой вольноопределяющийся и по-детски заплаканными глазами ищет вокруг себя защиты.

— А в какую сторону тот господин побежал? — выныривает из тесноты перед плачущим молодой простолоудин — из крестьян, красивый, хваткий, удалой, с пышным казацким вихром над одним ухом. — В тую али в тую? Ага, в тую, ну хорошо. А в чем они одевши? Не приметили... Жаль! А какой он из себя? Не упомянули... Жаль! Но ничего, я его и так найду. И как он дал, и как я дам! Граждане, будьте настолько, посторонитесь, пропустите, не для себя иду, для людей!

И он удаляется, могуче работая в толпе своими широкими плечами, горизонтальными, как коромысла.

— Вот этот даст! — с удовлетворением отзываются о нем люди, прожая его радостными глазами. — Этот залепит!

— Если не тому даст, то какому-нибудь другому, подходящему.

— Все равно, одинаково.

Студентик, лет семнадцати, с развевающимися фалдами расстегнутого сюртука, в съехавшей на затылок форменной фуражке, с черными волосами до плеч, как у монаха, взбирается на какую-то скрытую в тесноте садовую тумбу, вдруг вырастает над толпой всей своей согнутой наперед балансирующей фигурой, похожей на всадника, и, размахивая над головой рукой, как саблей, вопит со скрежетом зубов:

— Товарищи, тише! Граждане, тише! Хулиганы, тише! Провокаторы, тише! Германские шпионы, тише! И еще не знаю, как вас назвать, таких чертей, тише!

Пожилой солдат в шинели внакидку, как в одеяле, в маленькой изломанной, словно картонной, фуражке защитного цвета, покоящейся на его волосатой голове, как на столе, кривит по адресу студента длинную щеку, покрытую красными волосами, и нетерпеливо говорит, по-великорусски похрюкивая:

— Вот вы-то тут-ка и есть самые первые кулюганы! А студентскую фуражку и мундер надеть каждый может! Глянь-ка-ся, ребята, — обращается он к другим солдатам и веснушчатым пальцем указывает на студента. — Вы думаете, они кто такие? А жулики! Ей-ей, правда! Они с намерением тут такое смятение делают! Чтобы ловчее было по карманам шарить! Их тут-ка цельная шайка! Надесь у меня такой самый три рубля денег из кармана вытощил! Счастье его, что не поймал! А то б голову отвинтил! Собраться бы нам, всем солдатам, сколько нас тут есть, да всем стадом на них! Айда-те-ка, а?

— Ой, кто здесь посмел сказать, что я по карманам шарю? Кто? И это про кого же? Про студентов, которые всегда! Товарищ солдат, помните и знайте, что я старый социалист, и вы за ваше оскорбление ответите мне по суду тремя месяцами тюрьмы!

Солдат, с кривой улыбкой глядя на студента, награждает его крепкой, мастерски слепленной, как бы скульптурной бранью.

Студент взмахивает руками.

— Товарищи! Ша! Граждане! Ша! Здесь один солдат, кажется, с фальшивыми документами!

— Кто, я с фальшивыми документами? Ах ты...

— Товарищи, граждане, ой!!! Он призывает к еврейскому погрому!!!

И точно такие же сцены происходят перед глазами Вьюшкина везде, везде.

Куда он ни взглянет с высоты памятника, всюду видит одно и то же: каждые стоящие рядом две человеческие фигуры вдруг начинают яростно наскакивать друг на друга, как петухи.

Вся необозримая площадь, словно повинясь какому-то общему закону, мало-помалу дробится на подобные пары.

Кое-где под метким ударом вдруг опрокидывается спереди назад мужская шляпа. Исчерчивает воздух вертикальным полукругом блестящая трость. Кого-то куда-то волокут.

И никто и нигде не говорит, все и везде надрывно кричат!

— То!.. Ва!.. Ри!.. Щи!.. — тщето призывая польхающую голосами толпу к порядку, непрерывно, как заведенная машина, режет воздух изнемогающий голос очередного председателя митинга, в то время как он сам, высокий хилый юноша в форме

ученика землемерного училища, отодвинув растерянного Вьюшкина немного в сторону, стоит на его месте, на самом высоком карнизе памятника и с гримасами невероятных голосовых усилий на лице, вытянутой вверх правой рукой ввинчивает и ввинчивает в небо скомканную землемерную фуражку: — То!.. Ва!.. Ри!.. Ци!..

А если не видеть всего этого митинга вблизи, а только слышать его шум издали, то в воображении прежде всего возникает картина громадного, небывалого по числу участников скандала, которому недостает милицейских свистков, кареты «скорой помощи»...

И с прилегающих бульваров, улиц, площадей спешат на этот шум любопытные. Иные из них бегут к Пушкину с таким видом, точно по их спинам колотит проливной дождь. Проезжающие мимо извозчики, повинуясь внезапному приказанию седоков, тоже крутым полукругом вдруг заворачивают к памятнику. С пролетающих в стороне от площади вагонов трамвая, как с горящих кораблей, выбрасываются на мостовую пассажиры, шлепаются, как кули, о землю, поднимаются и, прихрамывая на ушибленную ногу, задрвав подбородок, бегут по прямой линии туда же...

— Что это, а? Случилось что-нибудь, а? Открыли провокатора, а? Германского шпиона поймали, а? — бежит и обалдело моргает по-рачьи выпученными глазами один такой любопытный, шарикообразный господин, приличный, в котелке на круглой остриженной голове, с университетским значком на груди, с мягким, свернутым вдвое портфелем в руке.

— Ага, все-таки поймали негодяя? — с чувством удовлетворения спрашивает появляющийся тут же высокий, барственной осанки мужчина, у которого роскошная белая, как полотенце, борода и щегольская испанская мягкая шляпа с широчайшими полями, спереди кокетливо загнутыми вверх и открывающими все лицо.

— Кого поймали? — ставит ему сзади на плечо, как на забор, свою широкую рысью физиономию молодой швейцар с коричневыми бачками на красных щеках и с золотыми буквами на черном околышке новой фуражки: «Модерн».

— Не знаю, шпиона, что ли, — даже не взглянув на швейцара, с достоинством цедит в свою роскошную белую бороду величественный старик и для придания себе еще большей авторитетности прокашливается баском.

— Шпиона поймали!!! — тотчас же расходится известие вокруг швейцара, как волны вокруг брошенного в море камешка. — Германского шпиона!!!

— Шпиона?... Гм... А говорили, провокатора... — произносит прежний шарикоподобный господин в котелке, на момент задумывается, потом стремительно бросается к памятнику, плывет по толпе, как по морю, работая руками и ногами, как плавниками. — В комиссариат его! — кричит он при этом не своим голосом и сложенным в трубку портфелем указывает на Выюшкина. — Сейчас же в комиссариат!

— А что такое он тут вам говорил? — сурово насупив брови на Выюшкина, осведомляется седой барственный великан у кого-то из лублики.

И, не дождавшись ни от кого ответа, он неожиданно надует воинственностью щеки и кидается следом за шарикоподобным господином тоже к памятнику.

— В комиссариат! — несется над головами толпы его сильный, благородного тембра баритон. — В комиссариат! — со стиснутыми зубами грозит он издали Выюшкину набалдашником трости, поднятым вровень с лицом.

— Зачем в комиссариат?! — возмущается швейцар. — Из комиссариатов их все равно выпускают! Его самое лучшее порвать тут же на месте! Рви его! — пробивается он сквозь толпу позади седобородого великана и хищно скалит оттуда на Выюшкина белые рысьи зубы. — На мелкие части его!

— На самые мелкие части! — как многократное эхо, повторяют друг за другом пятеро раненых солдат, только что подбежавших к толпе.

— Сымайте его сейчас отседа! — кивает на Выюшкина перекошенным от злобы ртом самый передний из них на двух костылях, поднявших его плечи выше ушей.

— Давайте его нам, солдатам, ха-ха! — кричит второй, с отвислыми красными бабьими щеками, с забинтованной на перевязи рукой.

— Мы живо с ним тут распорядимся! — доносится из-за спины второго голос третьего.

— По-военному! — хвалится четвертый.

— Мы когда немцев не боялись, а не то что его! — гордится пятый.

— С отседа его, говорим, сымайте, с памятника! — кричит опять самый передний.

— Да! Да! — множится позади солдат хор голосов вновь подбегающих к толпе людей. — Которые там ближе, сопхните его сюда!

— Не надо крови! — восклицает в толпе молодая, изящная, богато одетая дама в трауре, под черной вуалью, и легкой воздушной походкой выходит из поместительной утробы глянцевого автомобиля, противно хрюкающего мордой в землю. — Слышите, не надо крови! — умоляюще взывает она вслед солдатам. — Крови, крови, крови не надо! Довольно ее проливается там, на фронте! Капитан! — точно помешанная, обращается она к оказавшемуся в толпе офицеру. — Капитан! Умоляю вас: предотвратите убийство! Вы можете! Вот я стану перед вами на колени, только не дайте совершиться этому убийству!

Дама закрывает лицо руками, содрогается, падает перед офицером на колени. Вокруг, шаркая по земле сапогами, расступается в круг народ. Люди делают цепь, пригравливаются смотреть. Происходит жестокая борьба за места.

— Это вы оттого тут так разоряетесь, барыня, что вам немецкой крови жалко, а русской не жалко! — просовывает вперед через цепь голову взволнованный простолудин в солдатской форме. — Посидела бы, как мы, три года в окопах!

Капитан помогает даме подняться, говорит ей несколько обычных в таких случаях ласковых слов, усаживает в автомобиль, отправляет, а сам делает отчаянную попытку догнать гусек раненых воинов, подступающих к Вьюшкину.

— Только не убивать! — властно командует он. — Только не убивать!

— Господин капитан не велит убивать, а только так! — подобострастно передает задний солдат передним команду капитана.

— А зачем же нам его убивать? — удивляется идущий впереди всех шарикоподобный господин в котелке. — Это даже не в наших интересах, не в интересах России! Мы раньше всего должны установить его личность! Я как сам юрист... А вдруг у него есть сообщники?

— Сообщники! Сообщники! — жутко прыгает по толпе новое слово. — У него есть сообщники!

— Надо раскрыть все нити! — кричит один.

— Нити, нити! — подхватывает другой. — Раскрыли нити!

И за шарикоподобным пучеглазым господином, за седым барственным красавцем, за молодым швейцаром из «Модерна», за гуськом раненых воинов, за капитаном изо всех сил продираются к памятнику и все другие, прибежавшие на митинг позже и не знающие, в чем дело. Они образуют вторую толпу, новую, клином проникающую внутрь первой, прежней.

Первая защищает Вьюшкина, вторая требует его выдачи.

Вторая продвигается клином вперед медленно, трудно, с остановками, с борьбой, с проклятиями, с бранью.

Вот наконец острие ее клина, точно нащупывающее жало, прикасается к граниту памятника.

Вьюшкин с ужасом глядит вниз, подбирает ноги, прижимается спиной к камню памятника.

Клин расплющивается о гранит влево и вправо, и вторая толпа энергично вливается внутрь первой, оттесняет ее, окружает памятник с Вьюшкиным наверху.

— Да куда же вы, черти, прете, куда?! — загроживает собой Вьюшкина, стоя ступенькой ниже него, раненый прапорщик с огромно забинтованной в белое головой, в непроницаемых черных очках, с двумя одинаковыми, тяжеленькими на вид «Георгиями» на груди. — Вы с ума посходили? Какой такой «шпион»? Какие такие «нити»? Какой «заговор»? Чистейший вздор! Гражданин Вьюшкин только сегодня из Конотопа приехал! Хотел нам даже железнодорожный билет показать! Стойте, не напирайте, дайте сперва слово сказать, ведь вы, кажется, люди! Эй, наши солдаты, сделайте цепь и не подпускайте сюда тех солдат! Вот так, вот так! То... ва... эк!

Кто-то сталкивает прапорщика вниз, и он исчезает в общем пылящем людском месиве.

— Если ты застаиваешь за такого, значит, ты сам такой...

— Какой это «такой»? Я кровь проливал, у меня два «Георгия»!

— А я почему знаю, где ты их взял.

— Ага, ты не знаешь?! Ты не знаешь?!

— А понятно, не знаю. Может, ты их украл. Разве мало было таких хлюстов. Товарищи солдаты, не слушайте прапорщика, это такие же помещики, только одетые в офицерские мундиры! Заставляйте лучше за низкий класс, переходите на нашу сторону!

Солдаты, единомышленники прапорщика, переходят на сторону раненых воинов, и настает последний решающий момент.

На фоне черного отполированного гранита памятника, блестящего каким-то ровным, спокойным, намогильно-вечным блеском, теперь лицо Вьюшкина, охваченного смертельным ужасом, выглядит особенно бледным. С нечеловеческой зоркостью следит он за тем, что происходит внизу, уже у самых его ног...

— Самосудом! — слышит он бушующий вокруг него многоголосый вой. — Самосудом!

— Граждане белокаменной!!! — вдруг неистовым криком выворачивает он всего себя перед толпой, прижимаясь дрожащей спиной к камню памятника, как к последней защите. — Слушайте!!! Тут ошибка!!! Тут недоразумение!!! Тут не знаю что!!! Вы обознались!!! Вы приняли меня не за того!!! Я вам не враг!!! Я самый любимый ваш друг!!! Я русский, русский, русский!!! Православный, православный, православный!!! Вы, вы, вы только подумайте!!! В поезде не было мест, и я на крыше вагона больше как двое суток ехал к вам в Москву за подробностями!!! Под одним железнодорожным мостом мне чуть голову не оторвало одной балкой, а другим двоим таким на моих глазах оторвало!!! И я все-таки ехал!!! Ехал все семьсот верст, рисковал жизнью, мечтал, воображал!!! Вот, думал, увижу сердце России, Москву!!! Вот, думал, услышу голоса настоящих граждан, Мининых и Пожарских!!! Вот, думал, на практике, на примере узнаю, в каком смысле по братству и равенству мы теперь должны жить!!! И что же я...

В этот момент вторая толпа окончательно пересиливает первую, люди лезут друг через друга, карабкаются на памятник, как утопающие на торчащую из воды мачту корабля. В тело Вьюшкина вонзаются со всех сторон хватающие руки, стаскивают его с карниза, опрокидывают, рвут...

— Тридцать четвертый!.. Давайте тридцать четвертого!.. Кто у нас тридцать четвертый?..

КАТАКЛИЗМА

Рассказ



Центр Москвы. Многоугольная, неправильной формы площадь — Страстная, протянувшая от себя во все стороны, как лапы осьминога, длинные коленчатые улицы, щетиновые бульвары.

В одном углу площади широкий, свободный от зданий просвет — вход на Тверской бульвар, всегда самый людный в Москве.

В начале бульвара, в десяти шагах от входа, очень высоко, выше фонарных столбов, выше деревьев, на фоне чистого синего неба, резко вырисовывается черный как уголь памятник — колоссальный, сужающийся кверху гранитный пьедестал, и на нем в известной классической «пушкинской» позе фигура Пушкина во весь рост, раза в три больше натуральной величины, в старомодной длинной плечистой накидке, с широким бантом под подбородком, с толстыми колбасовидными бакенбардами на щеках, с обнаженной на ветру курчавой головой и наклоненным вниз пристально-думающим лицом.

Со стороны Страстной площади на неподвижный памятник все время напирает, точно силится спихнуть его с места, многотысячная толпа, вся с перекошенными от натуги лицами, с устремленными на Пушкина жаждущими глазами. Стрелка часов на крас-

ной колокольне древнего Страстного монастыря показывает начало пятого, и весеннее, мирно пригревающее солнышко кладет на лица толпы с западной стороны веселые золотые блики, а с восточной — черные, грустные, уже предвечерние тени.

Идет никогда и нигде не виданный митинг, самочинный, народный, бог знает кем и когда начатый: вчера ли, позавчера, неделю или месяц тому назад.

И в течение всего этого времени, с момента февральской революции, здесь, на площади, под открытым небом, перед памятником — как когда-то в церквях в Страстную неделю перед плащаницей — и дни и ночи непрерывно пронизывают друг друга два встречных людских течения: одни, со свежими силами и торжественными лицами, только еще подходят к Пушкину, а другие, уже утомившиеся стоять, отходят от Пушкина. Люди плотной, как гранит, массой сжимают со всех сторон гранитный памятник — вот-вот готовые поднять его как пушинку на воздух — и чутко внимающими лицами ловят каждое слово ораторов, лидеров всех существующих политических партий.

Лидеры поодиночке один за другим вырастают на высоком пьедестале рядом с фигурой Пушкина — все карлики по сравнению с поэтом, все ему по колена — и суетливыми, охрипшими от крика голосами разворачивают тут перед Москвой программы своих партий, яростно состязаются в знаниях, в красноречии, в смелости...

— ...Аннексия!.. Федерализм!.. Мажоритарный!.. — то и дело возносятся вверх, выше головы Пушкина, вылетающие из их расплеленных ртов энергичные, хлесткие, эффектные на вид слова. — ...Империализм!.. Квалификация!.. Референдум!.. Реванш!.. Абсентеизм!.. Абстрактно!.. Конфедерация!.. Маразм!.. Синекура!.. Секуляризация!.. Агрессивный!.. Конфликт!.. Центробежно!.. Анахронизм!.. Предпосылка!.. Дуализм!.. Laissez-passer... Диалектический!.. Периферия!.. Квиетизм!.. Сакраментальный!.. Катаклизма!.. Товарищи, рабочие и крестьяне, правильно я говорю?

Народ, пораженный неслышанной плавностью и, главное, безостановочностью речей ораторов, одинаково влюбленными глазами глядит на каждого из них и с одинаковым жаром души отвечает:

— Правильно!.. Правильно!..

И потом негромко переговариваются между собой:

— Почти что два часа говорил и ни разу нигде не задумался, не споткнулся!

А нередко, по окончании лидером речи, из толпы несутся к нему вопросы:

— Товарищ оратор, а у вас нет точных цифр, сколько в России женатых?

Оратор вонзает в небо глаза и без запинки, по-военному выпаливает:

— Тридцать два миллиона семьсот девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят три!

— А сколько ежегодно рублей прокуривается нашим народом на табак?

— Шестнадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят два рубля тридцать четыре копейки!

— А на папиросную бумагу?

— Миллион двести тысяч триста пятьдесят один рубль семнадцать с половиной копеек!

Некоторые из слушателей полученные цифры записывают в памятные книжки.

В то же время видно, как то там, то здесь отдельные человеческие фигуры с выражением досады на лицах поворачиваются к Пушкину спиной и продираются сквозь тесноту к выходу из толпы.

— И чего он может знать, молокосос?! — произносит с сердцем один из таких уходящих, сухой сгорбленный старик, с полуопущенными мешковидными веками глаз. — Нахватался из книжек! Я бы задрал ему подол да по системе Гоголя всыпал десяток горяченьких!

— Конечно, конечно, — уходя из толпы вслед за ним, шепчет маленькая круглолицая дама, краснея и пугаясь собственных слов. — Их подкупили, они и стараются!

— Ага!.. — с торжеством регочет на барыню молодой крепкий простолоудин из оставшихся в толпе. — Не ндравится?.. Ге-ге...

И несколько извозчиков-ванек, подъехавших было к краю толпы и долгое время стоявших на козлах — с лицами, обращенными к Пушкину, — в конце концов тоже разочарованно отъезжают.

— Ничего хорошего нету. Даром седоку отказал. Думал, скажут что-нибудь подходящее. Трепачи!

На местах отъехавших извозчиков тотчас же появляются новые. Они бесшумно вклинивают покорные лошадиные морды между человеческими головами, вытягиваются на козлах во весь рост, стоят высоко над толпой, слушают, смотрят в сторону гранитного памятника, сами в эти минуты похожие на гранитные памятники...

Но не всем удастся пробиться сквозь тесноту к самому памятнику и послушать видных профессиональных политиков. И большинство народа, жаждущего поговорить и послушать, во-

лей-неволей разбивается на множество маленьких самостоятельных кучек, беседующих на те же злободневные темы, независимо от общего митинга.

Кучки таких беседующих чернеют по всей Страстной площади, по прилегающим улицам, по Страстному, Тверскому бульварам... Все вместе они производят впечатление большого, слишком долго затянувшегося пасхального гулянья. Не хватает только колокольного трезвона, духовой музыки, с бухающим на далекие версты барабаном, сверкающей на солнце вертящейся карусели.

И многим из публики, по-видимому, больше всего нравится тут именно это небывалое многолюдие, эта праздничность, толчея, бестолковость...

— Ходите?

— Ходим.

— Давно тут?

— Как со службы ушел.

— А вчера были?

— Конечно.

— Правда, интересно?

— Ну еще бы. Нельзя оторваться. Голодный, с утра ничего не ел, а домой ни за что не пойду.

На вид все кучки одинаковы: несколько десятков человек обоего пола и всех возрастов неподвижно стоят, как овцы в жару в степи, все лицами друг к другу, в круг, висок к виску, и слушают и разглядывают того, кто ораторствует в середине.

— Обождите-ка, дайте мне раньше кончить! — то и дело просит перебивающих его речь солдат-окопник, весь пропитанный серой землей, в серой папахе, в серой шинели, с темным худым лицом, с пылающими глазами маньяка.

Дождовшись тишины, он продолжает свой доклад кучке:

— Стрельб активных на фронте сейчас не бывает, ни с нашей стороны, ни с ихней, с германской...

— А дисциплина? — опять перебивают его из кучки тревожно-нетерпеливым вопросом.

— Дисциплина, безусловно, есть, и лучше, как была, — поворачивает он свое волосатое в землянках лицо в сторону вопрошателя. — Не из-под палки, а на доверии к начальникам и уважении к своим товарищам...

— А офицеры как?

— Офицеры сейчас, если только верить, очень хорошо соединились с нами, с солдатами. Обращаются мягко, прежних оскорблений нету. Хотя, по правде сказать, мы их сейчас мало слушаем.

— Как же так? — спрашивают из кучки. — Почему?

— А потому что вообще, как у вас тут в тылу, так и у нас там, на фронте, народ стал распускаться.

— Это не годится! — кричат несколько человек в кучке и потом с серьезными лицами спрашивают окопника: — Как же все-таки нам сделать, чтобы не дать погибнуть нашей Рассее и удержать свободу?

— К этому, граждане, только один путь, — убежденно возглашает окопник. — Надо всеми силами помочь фронту! А чем же ему, скажем, помочь? Только живой силой, только людьми! Нам, граждане, нужны лизервы! Без сильных лизервов воевать нельзя! Вот я и приехал к вам, москвичи, просить у вас лизервов! Дайте нам лизервов! Роты редеют, пополнения нету. Раньше роты были комплектованы по двести двадцать пять человек, а теперь и по полста не осталось: где выбиты, где цинга, где куриная слепота, где так поразбежались. А у вас тут в Москве, как я вижу, везде солдаты шляются — и по бульварам, и по чайным, и по улицам, и большая часть с бабами. Стыдно тылу! Какая может быть смелость у солдата в действующей армии, если в тылу никакого порядка! Я сам не раз проливал кровь на фронтах и еще пролью, но только чтобы Москва вела себя хорошо! Надо всех шляющих по Москве, всех ораторствующих тут — на фронт! Нам там даже поспать нет времени: сто человек должны держать пятиверстный фронт! А вы тут цельные дни разговариваете...

— Мало побили на фронтах людей, так тебе еще подавай! — вдруг раздается с края кучки резкий голос вновь подошедшего, тоже солдата, но по виду тылового.

Кучка, настроенная известным образом первым солдатом, грозно обрушивается на второго.

— Взять его!.. Отвесь!.. Сеет рознь!.. Пропаганду в пользу немцев ведет!..

Окопник поднимает вверх пропитанную землей руку:

— Обождите, обождите, граждане, дайте мне с ним поговорить!

Кучка с трудом умолкает, слушает обоих.

— Ты солдат или переодетый?

— Может, ты переодетый?

Они обмениваются сведениями о себе, какой кто части, какого года, показывают один другому документы, вступают в спор...

— Если не надо посылать свежих людей на фронт, тогда как же мы сделаемся с войной?

— Войну надо немедленно замирить!

— А как же ее замирить? Болтать все можно. А как это сделать?

— Общим согласием воюющих стран.

— Как это?

— Пущай Англия и Франция объявят, что они не желают ни аннексий, ни контрибуций, и война сама собой прекратится.

— А почему Германия этого не объявляет?

— Потому что в ее палат!

— А она не палит?

— Она защищается. Прекратят в ее палить, и она замолчит.

— А как ты думаешь, почему в ее палат?

— Потому что Милюкову нужны Дарданеллы, ездить туда пить шампанское. Пусть тогда Милюков и воюет. А мы, крестьяне, шампанского не пьем, нам Дарданеллы не нужны.

— Значит, по-твоему, открыть фронт и пойтить по домам?

— Понятно!

— А немцы увидят, что тут народ, а не правительство, и тоже бросят против нас воевать.

Кучка неожиданно оплодирует предложению тылового и уже начинает склоняться в его сторону.

Окопник в недоумении.

— Стойте, стойте, граждане! Чтой-то я этого не пойму! Или вы за войну или вы против? Вы и тому хлопаете и тому! Надо держаться чего-нибудь одного! Вот я за войну! И всем вам говорю: идите сейчас и записывайтесь в армию, которые еще не были! Не ожидайте, когда вас призовут, идите добровольцами! А то потом будет хуже! Фронтовые комитеты пришлют сюда за вами самых злых, самых кровожадных, как волков, и те по-своему распорядятся с вами: силой заберут вас в эшалоны и повезут на передовые позиции! И скажут вам: ага, сукины сыны, довели нас до того, что мы должны были за вами приехать, так вот повоюйте теперь в первой линии!

Маньяк-окопник говорит и говорит, не замечая того, как состав его кучки все время меняется: люди подходят, стоят, слушают, потом направляются дальше, к следующей кучке, ищут, где интереснее...

— Нет, вы, пожалуйста, этого мне не рассказывайте, глаза народу не замазывают! Если бы вы, интеллигент, получали меньше меня, рабочего, вы бы такой костюмчик сроду не носили! — горячится в центре другой кучки рабочий в широкой безобразящей его кепке и наскакивает на сутулого интеллигента

в очках. — Ваш костюмчик потянет не меньше как семьдесят пять рубликов, а мой едва-едва двадцать пять!

— Ничего подобного! — смущенно улыбается под очками интеллигент. — Я такого дорогого платья никогда не носил! Оно у меня только приличное, но вовсе не дорогое!

— Ну сколько же, по-вашему, может стоить этот пиджак? — треплет рабочий раздраженной рукой край пиджака на интеллигенте. — А эти штаны? — хватает он интеллигента за поджарую ляжку. — А ботиночки? — нарочно с силой тычет он носком своего заскорузлого сапога в мягкий носочек интеллигента. — А шляпа? — сталкивает он с его головы, как с вешалки, шляпу, надевает на свой кулак и демонстрирует всей кучке.

— А ваши сапоги сколько могут стоить? — тянется интеллигент вниз, к сапогам рабочего, просит его приподнять ступню, показать кучке.

Рабочий падает обеими руками на чужие плечи и, как лошадь, которую подковывают, задирает подметкой вверх ногу, сперва одну, потом другую.

Люди глядят на подметку, щупают, оценивают товар, работу, фасон, высказываются.

— Я зато двенадцать лет учился! — восклицает победенный интеллигент с раскрасневшимися ушами.

— И я бы учился, да не давали! — гудит и разводит руками рабочий. — Я вот чему учился! Смотрите, какие на моих руках мозоли!

— А у меня, может, на мозгах мозоли! Потому что вы физическую работу работаете, а я умственную!

— А какой труд тяжелее, ваш или мой? — спрашивает рабочий.

И они долго еще спорят. Кучка поддерживает то одного из них, то другого, всячески старается их натравить друг на друга, довести до рукопашной, чтобы посмотреть, кто кого одолеет.

— Товарищи, я уже третий день хожу по Москве и вижу, что у вас тут говорят об том, об другом, но никто не говорит об том, об чем нужно! — кричит в середине кучки балтийский матрос с черными лентами на бескозырке, с декольтированной грудью в татуировке и рассекает ладонью, как топором, воздух. — Вот у меня тут все подытожено и записано, — раскрывает он перед собой записную книжку и смотрит в нее: — Если у богачей из казны забрать все деньги и для всеобщего фабричного строя поделить их поровну между всем нашим народом, то на каждую душу придется по 40 тысяч рублей чистого

капиталу! И тогда никому не надо будет приневоливать себя работать, только по охоте, потому что, если аккуратно расходовать, то, я думаю, сорок тысяч на прожитие одному человеку хватит...

— Понятно, хватит! — соглашается с ним кучка.

— Если бы мне, допустим, дали двадцать тысяч, и то бы я какое кадило раздул! — мечтает вслух один.

За ним другой, третий...

— Про что братишка бает? — спрашивают у кучки вновь приходящие.

— Экономический вопрос разбирает.

— Товарищ, а деньги тогда будут, при социалистическом строе? — задают вопрос в недрах одной кучки.

— Нет, — авторитетно отвечает голос из центра кучки. — В социалистическом обществе денег не будет.

— А золото куда денут?

— Золото, как драгоценность, как предмет, вызывающий такую вражду между людьми, будет изъято государством, и из него будет выделяться для общественных столовых кухонная посуда: кастрюли, тарелки, вилки, ножи, ведра, тазы, помойки... Металл этот, как нержавеющей и неокисляющийся, в гигиеническом отношении самый подходящий для такой цели. Такую посуду даже и мыть почти что не понадобится, она всегда сама по себе будет чистой: только вытер обо что-нибудь — и готово. А сколько времени отнимает сейчас мытье посуды у наших хозяек! А тогда женщина сможет больше уделять своего времени на политическую работу...

— Вот это верно! — кричат в одном месте кучки.

— С золотых тарелок будем кушать! — шутят в другом. — Настанет в полном смысле «золотой век»!

— А в этой кучке что?

— Аграрный вопрос объясняют.

Останавливаются, просовывают ухо между чужих голов, прислушиваются и с трудом разбирают за общим жужжащим гулом:

— Товарищи! Мы за аграрный вопрос не отвечаем, что мужики не начнут грабить! Потому в волостных комитетах у нас посажена одна интеллигенция: агроном, врач, помещики. Эти кадеты на своих лекциях объясняют, что для мужика у нас нету земли: там железная дорога, там болото, там монастыри, там помещик. Вот какая ихняя статистика! И нам чего-нибудь ожидать от этих юристов не приходится. Поэтому я и говорю,

что мы должны сейчас же создать против них свой собственный новый единомышленный фронт, фронт всех трудящихся!

— Верно! Верно! — шумно поддерживает оратора кучка крестьян. — Нам самое главное, чтобы насчет земли...

— Товарищи! — голоса из одной кучи, в центре которой виднеется пролетка, извозчик на козлах, лошадиная морда. — Вот гражданин извозчик пожертвовал рубль на спасение родины! Качать гражданина извозчика!

Толпа стаскивает извозчика с козел, с уханием подбрасывает его высоко вверх. Кто-то командует при этом:

— Еще!.. Еще!.. Еще разик, посильнее, повыше!.. У-ух-х!..

— Извозчик! Вот как народ тебя величает. А раньше, при старом режиме, разве это было? Сыми фуражку!

— Товарищи! Еще поступило два рубля от неизвестного! Предлагаю качать неизвестного! Ур-ра-а!

Толпа откатывается от извозчика, сгребает с земли, как лопатой, неизвестного, подбрасывает его то головой вверх, то ногами, то животом, то спиной. И все при этом кричат:

— Ур-ра-а!.. Ур-ра-а!..

— Граждане, шесть рублей от другого неизвестного!..

— Ур-ра-а!..

— Обручальное кольцо от молодой женщины, только что обвенчанной!

— Ур-ра-а!..

— Новые галоши, пара мужских новых, ненадеванных галош.

— Ур-ра-а!..

— Товарищи, которые собираете деньги! Не спите, собирайте пожертвования скорее, пока у всех подъем! А вы чего улыбаетесь, господин?

— Я не улыбаюсь.

— Как это не улыбаетесь? Вам смешно, когда народ жертвует свое последнее?

— Мне не смешно, а я только думаю, что когда неизвестные люди собирают в свои шляпы для неизвестных целей деньги, то это уже анархия.

Тут же кто-то жалуется:

— Я сейчас часы золотые пожертвовал в пользу «займы свободы», а мне говорят, что я буржуй, служу Милюкову!

— Товарищи! Вы не видели, куда скрылись те двое, которые тут полные шляпы насобирали и денег и золотых вещей! В какую сторону они побежали?

Исключительно женская кучка, и нервный визгливый голос из середины:

— Патриотки женщины! Не будем походить на мужчин, которые вот уже несколько месяцев колотят языками на митингах! Запишемся все как одна в «женский батальон смерти»!

Два других женских голоса, тонкий и толстый, затаивших вразброд:

— Ур-ра!.. Ур-ра!..

— Извиняюсь, товарищ, а вы почему не на фронте?

— Я только что из больницы.

— С такой сытой мордой, как у городского, и только что из больницы?

— Да. Мне делали там операцию, вырезывали аппендицит.

Кучка взволнованно кричит вокруг:

— Пусть покажет! Пусть покажет!

Гражданин снимает ременный пояс, расстегивает пару пуговиц, приспускает штаны, заголяет живот, показывает на розовой коже красный шов бугорком.

Кучка молча щупает пальцами шов.

— А ну-ка дайте потрогать.

Монах, в просторной черной рясе, волосатый, неопрятный, с хитрыми блудливыми глазками, сладкоречиво изрекает нажимающей на него кучке:

— В Послании к галатам, глава первая, стих четвертый, сказано: «Да избавит нас Господь от сего века лукавого». Видите, православные, еще в древние времена было предугадано...

— Ага, вот-вот, спасибо, отец, — подбегает к кучке пожилой мужик, завидя монаха, и крестится: — Помогите нашему малоумию...

Рядом по поводу появления монаха немедленно возникает новая кучка, трактующая церковный вопрос.

— Леригия должна быть, а мошей нам не надо! Я первый поеду в Киев, в Печерскую лавру, и распорю там те куклы, деревянные колодки, обмотанные тряпками!

С неудовлетворенными лицами ходят от кучки к кучке отошальный мужик с отвислой нижней губой и остроглазая баба — по всему видно, только что приехавшие из деревни.

— «Долой», «долой», а насчет чего долой — никто не знает, — ворчит мужик, криво ухмыляясь и поглядывая на всех,

как на врагов. — Один болтает, надо идти всем на фронт, с немцем кончать. Другой зовет на городские склады окорока грабить.

— Вот это было бы лучше, если бы окорока, — произносит баба со злым выражением лица и щупает под мышкой, целы ли два порожних мешка.

— Где тут Митенька? — спрашивают у публики две дряхлые старушки, две древние подруги, обе одетые в черное, постное, как монашки.

— Какого вам, бабушки, Митеньку? — ласково отвечают им из публики.

— А Митеньку. Братца. Слышим, все ходят сюда на Митеньку. Вот и мы собрались послушать его, родимого. А то братца Иванушку Колоскова слышали, а Митеньку не приводилось слышивать.

— Тут не «Митеньку» слушают, бабушки, а митинг!

— Митинг? Ну, значит, митинг. А мы думали «Митеньку»...

Услышав слово «Митенька», за старушками увязывается молодой мужик с оголтелым лицом, тоже кого-то разыскивающий в необъятной толпе:

— Бабушки, не знаете, а тот братец Митенька от германских пуль заговаривает? А то которых братец Иванушка Колосков заговорил, те все живые с фронта явились. Пуль германских полная одежда, а тело целехонькое, хучь бы что!

В качестве любопытных среди кучек проходит парочка влюбленных, молодой стройный подпоручик и по-весеннему нарядная воздушная барышня.

Подпоручик страстно прижимается к своей спутнице:

— Знаю, знаю, ты охладела ко мне оттого, что солдаты уже не отдают мне чести! Милая, умоляю тебя, не остывай ко мне, верь, старый режим еще вернется!

Как на сельской годовой ярмарке, через толпу черепашиным шагом продвигаются четверо нищих слепцов: апостольского вида старец, молодой мужик с лицом, изрытым оспой, опухшая девка, мальчонка с вихрастой высокой головой. Все с дорожными палками, с котомками, с чашками для сбора денег. Они держатся друг за друга, идут в один ряд, шеренгой, и поют стройным гнусавым хором с таким выражением лиц, точно их шеи затягивают петлей:

*Вострепещет не-е-бо...
Попадают зве-ез-ды...
И восплачут лю-у-дие...*

А если, нигде не останавливаясь, медленным шагом пройти по всей площади, то можно услышать множество самых разнообразных выкриков, вылетающих сразу из нескольких кучек:

- Тут много любителей мутить воду и ловить рыбку!
- Товарищ, я бы вам ответил, да здесь дамы!
- Пшеничная мука в Екатеринославе есть!
- Митрополит Макарий восемьдесят тысяч одного жалованья получает!
- Наполеон взял все в одни руки и победил!
- У меня муж, мне комплиментов не надо, нахал!
- Товарищ, разве вы не читали, что об этом писали в «Социал-демократе»?
- А вы разве не читали, что это опровергали в «Социалисте-революционере»?
- Тут сейчас всякое: и порядочные, и наш брат!
- Граждане! У этого человека приклеенная борода! Бейте его!
- В единении сила!
- Наше Временное правительство работает, старается, Керенский даже каждый раз в обморок падает, Гучков на фронте даже простудился, кашляет, а вы говорите!
- Зачем же вы берете меня за глотку!
- Потому что я желаю вам возразить, а вы сказали свое мнение и бежите!
- Что же я, до утра обязан тут стоять и слушать твое возражение?
- Стой, собака, до утра! А пока я не выскажусь, я все равно тебя не отпущу!
- Над нами вся Европа смеется, что мы не можем справиться со своей свободой!
- Пушай смеется!
- Граждане, больше всего вас предупреждаю: не слушайте тех, которые говорят за германские денежки!
- Иван Иванович, а наша Зинка-то — слышали? Все радуются полученной свободе, а она, дура, в слезы: не придется, говорит, теперь мне по политическому делу посидеть в тюрьме, а так хотелось!

— Товарищи, не ходите на эти уличные митинги, мы на них только расстраиваемся!

— Сам говорит, а сам всегда ходит!

— Войны хочет только тот, кто не был на фронте!

— А ты был?

— Нет, но пойду.

— Когда же?

— Когда все пойдут.

— Гражданин, извиняюсь, за что вы меня ударили по морде, когда я этого даже не говорил!

— Вы этого не говорили, но оно касается к этому!

— Смотрите! Пятьдесят шестой полк идет с плакатами: «Долой Временное Правительство!» Ур-ра-а!.. Сейчас полк на той улице схватится с «женским батальоном смерти!» Идемте смотреть! Ур-ра-а!..

— Товарищи, не слушайте их, слушайте меня, я только пять дней как из германского плена!

— Наверяд за пять дён такую личность наешь!

— Граждане, смотрите все на меня: завтра еду на фронт!

— Вы уже третью неделю это говорите!

— А вы, наверное, нерусские!

— Теперь вся власть в наших руках, и мы должны требовать, чтобы дамы и барышни не носили на себе золота и брильянтов и чтобы они сняли шелковые чулки, потому что это оскорбляет народное чувство!

— Выдают по три четверти фунта хлеба и хотяя, чтобы я хорошо им работал! Это если мух сгонять с человека, и то долго не выдержишься на такой пище!

— Хлеба нету, а все через что? Через волю!

— Тетка, остерегайся словами!

— Расходитесь, товарищи, по домам! Совет Рабочих Депутатов просит!

— А ты чего не расходишься! Сам говоришь, а сам не расходишься!

— Вы это говорите с явно провокационной целью!

— Ты сам провокатор!

— Не тыкай, а то я тебе сейчас как тыкну! Я тут двоим уже тыкнул!

— Тут есть которые заблуждающие, а есть которые подкупные!

— Во всех комиссариатах сидят одни длинноносые!

— После войны мы их со всех местов ссадим!

— Ссадишь!

— Граждане, мне у вас тут в Москве сказали, что я теперь равноправный гражданин. Какой же я равноправный, когда у другого все есть, а у меня ничего! Где я могу требовать, что мне полагается? А на жену тоже дают?

— Извиняюсь, товарищ военный! Разве я их мотивировал? Это они меня мотивировали и в печенку, и в селезенку, и в закон, и в веру, и в Бога!

— Погодите, погодите, молодой человек, за что же вы его бьете?

— Все бьют, и я бью!

— «Чудесные явления на могиле Распутина»! Чтение и картинка, цена за все десять копеек!

— Нам все равно, что монархия, что республика! Лишь бы царь был хороший!

— ...Ориентация!.. Санкционировать!.. Комплекс!.. Конъюнктура!.. Прогноз!.. Паллиатив!.. Репрессалии!.. Субстанция!.. Филистер!.. Volens-nolens!.. Modus vivendi!.. Элоквенция!.. Эквивалент!.. Катаклизма!.. Товарищи, рабочие и крестьяне, правильно я говорю?

— Правильно!.. Правильно!..

РУДА

Рассказ



I

— ...Всем понятно?

— Всем! Всем!

— А то я, может, не так хорошо выражаюсь, потому как я от рабочих, от станка, не так развитой...

— Нет, нет! Чего там! Тут все от станка! Тут нет ни одного не от станка!

— Товарищ Длиннов, у тебя осталось две минуты!

— Хорошо... Сейчас кончаю... Я еще только то хотел сказать, товарищи, что наши красные хозяйственники, партдиректора, когда говорили нам о наших достижениях, то пропустили одно, по-моему, очень важное. Они приводили много таблиц, цифр, процентов, но почему-то ни один из них ничего не напомнил молодым рабочим из истории. А надо было. Для нашей заводской молодежи надо было между нынешним временем и прошлым провести примерно такое сравнение: что вот, дескать, ребята, в этой нашей медвежьей глуши, среди темных еловых лесов и черных торфяных болот когда-то, лет двести тому назад, крепостные мастеровые в подневольных трудах воздвигали для своих господ, графов Чуваевых, эти рудники и заводы. А после, еще этак с сотню лет, наш брат, наемные рабочие, потом и кровью своей создавали тут

капиталистам громадные богатства. А теперь, при советской власти, мы — рабочие — здесь хозяева! Мы распоряжаемся всей тутошной промышленностью... Мы пользуемся и вот этим «Домом Культуры», построенным для нас Гомзой на месте графской церкви из церковного кирпича... Эй, старики-рабочие, которые десятки лет трудились здесь еще до революции, что же вы попрятались, попритихли? Расшевелитесь-ка, оглянитесь вокруг, посмотрите только, где мы с вами сейчас сидим, в каком роскошном дворце, и скажите по совести: ну разве же это маленькое достижение?

— О-о... У-у... Куды там... Еще бы... Понятное дело... Даже нельзя сравнить... То было время и — это... А нашим внукам будет еще лучше... Свет перестраивается... Не остается ничего похожего...

— Товарищ Длиннов, твои две минуты кончились! Говорит товарищ Смыслов, приготовиться товарищу Догадину!

II

— Смыслов есть?

— Есть!

— А Догадин тут?

— Тут!

— Но нет, нет, Смыслов, из партера говорить нельзя! Выходи, как все, сюда, на сцену! Как это так «не все ли равно»? Конечно, не все равно! А зачем же ты хочешь снимать пальто? Пальто можно не снимать, иди так! Да по-то-рап-ли-вай-ся ты там! А то желающих выступать рабочих записалось так много, что мы должны дорожить каждой минутой, каж-дой ми-ну-той! Вот так, становись здесь, впереди нашего стола, где становятся все... Да повернись лицом к партеру, спиной к нам, ведь ты собранию будешь говорить, не нам, не президиуму! Ну, начинай, не теряй время зря...

— Товарищи! Согласно директиве ЦК ВКП, а также призыву ВЦСПС, мы, рабочие-металлисты четырех заводов, расположенных по речке Шулейке, собрались здесь сегодня, как это видно из повестки дня, для проведения широкой массовой самокритики. Лозунг, долетевший из центра до нашей лесной глуши, гласит: «Всю работу, все строительство — под огонь рабочей самокритики». Лозунг, конечно, хороший, очень хороший и нужный, давно нужный... Но, товарищи!.. Надо прямо сказать,

что опыт таких собраний по цехам уже показал нам, что пользы от нашей пролетарской самокритики не получается никакой, решительно никакой. Мы, например, критикуем, а непорядки в цехах, например, остаются, и выходит, например, болтаем собаке под хвост. Если кто помнит, еще и раньше, до объявления лозунга о самокритике, в наших центральных газетах, в «Известиях», в «Правде», писали, что как заводоуправления, так и профорганы должны побольше прислушиваться к рабочим низам. Но, товарищи!.. Наш заводской командный состав как не прислушивался к нам тогда, так, видно, не собирается прислушиваться и теперь. Но, товарищи!.. Кажется, пришло время, когда мы сможем заставить их считаться с голосом рабочих от станка. За нас ЦК металлистов, за нас ЦК партии, за нас вся советская власть. Вот почему, товарищи, прежде чем начать свою критику в общешулейковском масштабе, я спрашиваю у президиума собрания: ведется ли здесь, наверху, на эстраде, запись всех предложений, которые раздаются оттуда, снизу, из партера, от рядовой рабочей массы? Потому что говорить на ветер, говорить просто так, для легкого провозждения времени, сейчас ни один наш рабочий не согласится: мы только что отработали смену в горячих цехах, на домнах, мартенах, сварках, прокатах...

— Товарищ Смыслов, ну а сам-то ты неужели не видишь, что у нас тут ведется запись речей всех выступающих?

— Где? Кем?

— Как «где», «кем»? А вон из-за рояля две кучерявых головы виднеются, два молодых товарища попеременноку пишут!

— Ага, значит, пишут? Ну хорошо. Тогда я буду говорить. А то бы ушел... Но, товарищи!.. Раньше я должен указать еще на одно большое злоупотребление. Призыв критиковать, как известно, был брошен из центра ко всем пролетариям, а у нас на Шулейке далеко не все рабочие выступают. Как в прочих компаниях, так и здесь опять отдувается одна рабочая верхушка, один профактив. Взять, к примеру, меня: я у нас, в сортопрокатном, председатель цехбюра. А рядовая рабочая масса, самый, можно сказать, низовой пласт, он как молчал раньше, так молчит и теперь. Смотришь, стоит на собрании человек — вовсе не такой глупый с виду или тихий, скорей даже наоборот, озорной, — стоит и молчит, как в рот воды набрал, даже не чихнет, только слушает да курносится, а потом видишь — сидит в уборной, окруженный слушающим народом, и так разливается там, таким, можно сказать, разносится соловьем, ну прямо как приезжий московский оратор! И это я считаю, товарищи, для

пролетарского государства ненормальным. Ненормально, когда большая часть рабочих все еще боится у себя на фабрике раскрыть рот, все еще остерегается высказать свое наболевшее мнение...

— Смыслов, будет тебе зря жалобиться-то! Ну чего же они остерегаются-то?

— Как «чего»? Известно «чего»! А вдруг заводоуправление с четвертого разряда снизит на третий! Или со сдельщины перебросит на поденную! Или по «табели взысканий» наставит «пунктиков»! Или под видом рационализации производства вовсе сократит с завода — походи тогда на биржу труда, пораторствуй там, покритикуй...

— Верно, товарищ Смыслов, верно! У нас, в сталелитейном цеху, это уже было!

— А у нас, в листопрокатном, думаете, этого не было? Было!

— И у нас, в тысячесильном, тоже!

— А в бандажном?!

— Ти-хо! Товарищи, ти-хо там на местах! Смыслов, продолжай...

— Поэтому, товарищи, я предлагаю в нашей сегодняшней резолюции потребовать принятия против зажима критики рабочих самых суровых, самых ожесточенных мер! Товарищи за роялем, запишите там у вас это мое предложение, а потом, во время перерыва, покажете мне то место, где записали...

— Что ты, что ты, Смыслов?! Ты нам, президиуму, не доверяешь?!

— А понятно, я своим глазам больше доверяю, чем чужим. Ну как там? Уже записали? Записали, вот и хорошо. Теперь, значит, можно продолжать... Но, товарищи!.. Еще одно, тоже очень важное!.. Тут наши хозяйственники очень красноречиво объясняли нам, что критика бывает разная: бывает критика от слова критиковать, и бывает крытика от слова крыть, и бывает еще третья, кричика, от слова кричать, это когда мало-сознательные рабочие кричат на ими же выдвинутого партийного директора, кричат без толку, сами не понимая, отчего и зачем. И докладчики просили, чтобы мы только критиковали их, но не крыли и тем более не кричали. И многие из выступающих рабочих уже придерживаются этого. Но, товарищи!.. Я считаю такую линию неправильной. Никаким церемониям с нашей стороны тут не может быть места. И мы должны чисто-сердечно заявить нашим директорам: что хотя вы, друзья, и из рабочих, выдвинутые на ответственные посты из низов, все-таки

где нужна будет, например, кри-ти-ка, там мы будем вас критиковать, где же, по ходу дела, понадобится, например, кры-ти-ка, там мы будем с полным удовольствием вас крыть, а если где потребуется, например, кричи-ка, там, извините, мы не побоимся на вас и покричать, да, да, не без этого, дорогие...

— Браво, товарищ Смыслов!

— Браво, ха-ха-ха!

— Крой, не смотри!

— Помни слова партдирективы: «Критикуйте всех не взирая на лица»!

— А понятно, товарищи, не буду смотреть и начну сейчас крыть! За этим на эстраду, к роялю вышел! Раньше сроду не выходил! Вот только скину пальто — а то сделалось очень жарко, — на рояль его положу, очень удобный рояль для польт... Но, товарищи!.. Раньше еще одно!.. Уже последнее!.. Хорошо, что вспомнил!.. Чуть-чуть не забыл... А ведь оно-то и есть самое главное!..

III

— А молодец этот Смыслов из сортопрокатного. Ловко их откатал. Можно сказать, с песком продрал. И, заметьте, нигде, ни в одном месте не заппнулся. Сказал — как все равно по книжке прочитал.

— Дд-да-а... Сейчас есть многие из рабочих, которые так наловчились говорить, столько всего понахватались, такое необыкновенное получили развитие ума, что за ними не угоняется ни один инженер... Иного слушаешь и глазам своим не веришь, что это говорит наш брат, рабочий... Слушаешь и думаешь: и откуда он все это знает, и откуда у него берутся такие подходящие слова?.. А вот я, наоборот, двух слов как следует слепить не могу, сколько ни стараюсь... Охота выступать на собраниях есть большая, даже очень большая, прямо зудит и зудит, а выступишь — ничего не выходит... Или стыдно громко произносить слово при публике и от этого память враз отшибает, или просто голова сама по себе от рождения слабая, не может держать никаких мыслей, — не знаю, не знаю... Но только сам говорю на собрании, а сам вдруг ка-ак позабуду, о чем это я людям проповедую!.. Позабуду и вдруг замолчу... Стою это на освещенной сцене, для развязности одну руку на тот рояль кладу, стою, напирая одним боком изо всей силы на рояль, так что

ребра трещат, смотрю прямо в партер, на всю публику, на несколько тысяч человек, и все время молчу, как дурак, и каждую секунду желаю себе скоропостижной смерти... А публика!.. А публике нашей только этого и подавай!.. Она — смеется!.. Она — хохочет!.. Она — радуется, что я провалился!.. Она — хлопает в ладоши, стучит в пол ногами, ломает мебель руками, кричит с мест вся, как бешеная!.. Кричат: «Нет, нет, товарищ Прыгалов, ты хотя и в годах, с хорошей лысиной, а выступать за оратора все-таки еще не умеешь, поди раньше поучись!..» Ну и, помолчав под общий хохот минут пять или больше, в конце концов, понятно, уходишь, спускаешься со сцены вон по той лесенке вниз, обратно сюда, в партер, идешь через весь зал, сам себе на ноги наступаешь — то на одну, то на другую, вот-вот брякнешься мордой в пол, а тут еще это проклятое электричество лезет во все глаза со всех сторон — слева, справа, сверху, из-под низу, окончательно ослепляет, потом, порядочно проблуждав по хохочущему залу таким чучелом, находишь наконец в рядах свое место, занятое галошами и пальтом, садишься и сидишь, как насквозь проплеванный... Брр! Даже вспоминать про это как-то нехорошо, конфузно... И уже сколько раз со мной так было, сколько раз!.. А все опять тянет идти выступать, все тянет... Есть, есть такая неизвестная сила в человеке... Вот, кажется, сейчас опять пойду, запишусь... Нет никакой возможности удержаться... Или лучше немного переждать, пока крупные ораторы — политические — пройдут и на эстраду хлынет разная мелочь с жалобами на муку, на крупу, на семейный вопрос?..

IV

— Говорит Догадин!.. Готовится Слухов!

— Товарищи! Одиннадцать лет прожили мы и проработали так, без ничего, без никакой самокритики, вроде вслепую, молчком, и наконец на двенадцатом году заговорили... И как заговорили! Хорошо заговорили, отлично заговорили, крепко, по-хозяйски! Товарищи, правильно я говорю?.. Сердце радуется, глядя, как наши рабочие за каждым разом говорят все лучше, все длиннее. Взять это сегодняшнее наше собрание — вот так сидел бы тут все время и слушал! Успехи на этом фронте достигнуты нами большие, очень большие! А ведь это, товарищи, только еще начало, первый год! Что же будет дальше, годков так

через пяток, десяток! Вот почему, товарищи, мы должны стараться, чтобы эта самая самокритика оставалась за нами, за рабочими, надолго, навсегда! И следить за этим надо сегодня же поручить нашим высшим профорганам! Прошу занести это пожелание в резолюцию... А теперь перейду к самому делу. Товарищи! Как вам хорошо известно, все советские фабрики и заводы управляются, во-первых, дирекцией, куда входят хозяйственники и прочая высшая администрация; во-вторых, инженерно-технической секцией, с высшим, средним и низшим техперсоналом; и в-третьих, нами, рядовой рабочей массой, сплоченной вокруг своих профсоюзов. Товарищи, правильно я говорю?.. И в настоящее время все эти три живые силы наших заводов имеются тут налицо. Две из них уже полностью высказались: хозяйственники и инженера. Высказывается третья, последняя, — мы!..

— Товарищ Догадин, а почему же мы последняя? Почему не наоборот: мы, рабочие, первая, а они, администрация и техперсонал, последняя? А то нам даже обидно: мы и до революции были последние, мы и после революции оказываемся последними!

— Нет, нет, тут, товарищи, у нас не об этом, кто первые, кто последние! Тут у нас только об том, как нам получше провести нашу рабочую самокритику, как пофактичнее разобрать доклады наших директоров заводов и начальников цехов! Товарищи, правильно я говорю?..

— Правильно, правильно! Продолжай, не слушай его, это он так, как всегда, бузит!

— Товарищи! Наши хозяйственники, отчитываясь тут перед нами, нарисовали нам такую веселенькую, такую заманчивую картину! В производственную работу заводов никак не могут ввести стандарт, а вот в свои доклады уже ввели: у всех у них поется одно и то же, одна и та же песня: «Производительность труда рабочего поднялась; простои машин и печей сократились; выпуск металла резко увеличился, а расход топлива, несмотря на это, резко уменьшился, сделана большая экономия; количество брака металлоизделий упало на столько-то процентов; себестоимость тонны продукции снизилась на столько-то процентов»... Слушаешь это ихнее спокойненькое чтение и думаешь: на красную доску их всех, и администрацию и техперсонал, и выдать им поскорей премиальные, пока в Москве еще не перевелись все деньги! Товарищи, правильно я говорю?.. Но это, товарищи, только начало ихней стандартной

картины. А вот прочитаю конец: «Таким образом, за отчетный отрезок времени, несмотря на достигнутые исключительные успехи по отдельным секторам производства, наш завод, в общем и целом, дал нам столько-то сот тысяч или миллионов убытка»... Товарищи! Уже сколько лет подряд я слышу тут все только про убыток да про убыток! Когда же будет барыш? Тогда, когда шулейковские заводы станут, а мы будем на бирже труда? Товарищи, правильно я говорю?.. Вот на этом клочке бумажки я только что произвел интересный подсчет, сделал два арифметических действия — сложение и деление: сложил годовые убытки всех шулейковских заводов и полученную сумму разделил на число занятых в производстве рабочих. Получилась очень приличная цифра, достаточная для безбедного прожития в течение года семейного рабочего. И вот я спрашиваю: чем понапрасну выматывать жилы рабочих и зря переводить сырой материал, руду и уголь, не лучше ли шулейковские заводы немедленно прикрыть, а нам, рабочим, без всяких хлопот выдавать ту среднюю годовую пожизненную пенсию? В своем заключительном слове хозяйственники пусть мне ответят, почему это для государства не лучше. Товарищи, правильно я говорю?

— Ха-ха-ха, правильно!

— Правильно, ха-ха-ха!

— Только, товарищи, не смейтесь! Отнеситесь к вопросу вполне серьезно! Вдумайтесь-ка хорошенько в то, что тут ежегодно нам преподносят! По каждой отдельной статье шулейковские социалистические предприятия успевают, получают плюсы, хотя и маленькие, а если все эти маленькие плюсы сложить, то получается огромный минус. Что это такое? Что это за математика? Не та ли это «высшая математика», которую наши инженеры недавно стали преподавать заводской молодежи на «Вечерних технических курсах»? Товарищи, правильно я говорю?.. Или, быть может, машинистка при переписке трудов красных директоров так волновалась, что получит сверхурочные, что вместо плюсов по ошибке понаставила им минусы? Товарищи, правильно я говорю?.. Как вы знаете, я сегодня подавал об этом записку директору завода № 3, на котором работаю, и директор уже ответил мне на нее с этой кафедры. Ответили своим рабочим на этот вопрос и директора других заводов. Объяснение у них простое и, конечно, стандартное, у всех четырех одинаковое. Убытки, по их мнению, у нас получаются оттого, что главный наш заказчик, Государственное Объединение Машиностроительных Заводов, или, короче, Гомза, расплачиваясь с нами

за нашу продукцию, ставит нам свои цены, выработанные при таких же заказах другим заводам, Уральским, Донбасским... Вот и все. На этом наши хозяйственники успокаиваются и ставят точку. Не мы, мол, виноваты в наших убытках, виноваты другие, Урал, Донбасс, Гомзо, Москва, Северо-Американские Соединенные Штаты, до сих пор не желающие признавать нашу власть. Товарищи, правильно я говорю?.. Но наши директора, видно, забыли, что теперь не те времена, когда шулейковский рабочий дальше своего станка ничего не видел. Теперь, благодаря войне, мы почти все кое-где побывали, а не только в Шулейке — хотя бы в германском плену! Теперь, благодаря революции, почти каждый из нас кое-что повидал, кроме Шулейки, хотя бы Москву — при поездках туда то так, то с разными делегациями! Товарищи, правильно я говорю?.. И я извиняюсь, что, тоже побывавши везде и повидавши все, сейчас продолжу доклады наших хозяйственников; доведу их до понятного конца, сделаю то, что должны были сделать они...

— Догалин, осталось три минуты!

— Ладно. Скажу, сколько успею...

V

— По списку следующий имеет слово Слухов! За ним готовься Думнов!

— Товарищи! Интересный вопрос! Что это означает, когда нам говорят, что шулейковские социалистические предприятия приносят нам убыток, и откуда же они берут эти недостающие им сотни тысяч и миллионы рублей? А это означает, товарищи, что заводы их на-тя-ги-ва-ют. Натягивают за счет всяких кредитов, которые нам отпускает Гомзо и вообще Москва: за счет капитального строительства, за счет переоборудования, за счет запасов сырья, за счет механизации, за счет введения стандарта и конвейера, за счет техники безопасности, профобразования, медпомощи, культработы, жилстроительства, кооперирования — за счет всего-всего, за счет всей своей жизни. Получается сдирание собственной кожи вместо роста промышленности. Товарищи! Интересный вопрос! А может ли какая-нибудь промышленность вечно жить за счет поедания самой себя или за счет московского Госбанка? Не может? Ну, конечно, не может. Вот ради этого-то, товарищи, ради спасения жизни наших заводов я и призываю вас всех сейчас: просни-

тесь, раскачайтесь, отбросьте всякий страх и смело вскрывайте здесь истинные причины убыточности наших заводов, их отсталости от уральских, донбасских! Разберите по винтикам весь механизм завода, на котором работаете, стряхните с каждого винтика пыль, сорвите ржавчину...

— Слухов, а ты говори, да не заговаривайся! Разве мы, директора, сегодня вам тут подробно не объясняли, почему шулейковская металлопромышленность не может конкурировать с уральской и донбасской?

— Объясняли, объясняли. Вот этих-то ваших «объяснений» я и хотел сейчас коснуться. Товарищи! Интересный вопрос! Нам говорят, что там, на Урале и Донбассе, вокруг крупных промышленных центров, квалифицированнее рабочая сила. Там сырье на месте в виде месторождений железной руды — нет накладных расходов на транспорт. Там электрооборудование лучше, мощнее — больше и силовой и осветительной энергии, и т. д., и т. д. Товарищи! Интересный вопрос! Там, допустим, квалифицированная рабочая сила, а у нас она разве неквалифицированная? У нас, в нашей болотисто-лесной топи, в местности, удаленной от всяких центров, в поселках, построенных только ради руды, — народ родится только на заводе, воспитывается только на заводе, всю жизнь проводит только на заводе, старится и умирает только на заводе. Мы, можно сказать, наследственные металлисты с двухсотлетним рабочим производственным стажем! Мы больше других заводов — больше Сарова, больше Коломны, больше Брянки — даем из своей среды ценных изобретателей-самоучек! Вы их можете встретить сейчас везде, в любой крупной металлообрабатывающей организации, даже в ВМС, даже в ВСНХ, и в Москве уже знают: раз хороший металлист, значит, из Шулейки!

— Товарищ Слухов! Сегодня, кажется, уже объясняли, что когда так захваливают свой завод, то это патриотизм, который пора изжить!

— Я не захваливаю, я правду говорю! И я не завод свой защищаю, я о квалификации шулейковских рабочих говорю! Правда, мы не учились ни в фабзавучах, ни в техникумах, ни во втузах! Но зато специальность металлиста у нас в роду, в жилах, в крови! Она у нас как неизлечимая болезнь! Ей у нас заражается каждый житель Шулейки с первого дня своего появления на свет! Мы ведь и во сне видим только руду, только чугун, только ценные изобретения! А вы нам суете Урал, Донбасс... Йэх!.. С досады выругаться даже хочется!..

- Так, Слухов, ха-ха-ха, так! Хорошенько!
- Просим Слухова продолжать!
- Просим! Просим!
- Ти-хо!.. Товарищи, в партере и на балконах! Президиум просит вас не аплодировать выступающим!
- А это-то по-че-му?..
- Чтобы никому не было обидно — ни хорошим ораторам, ни плохим! И здесь все-таки не состязание в ораторском искусстве, здесь, как вы сами знаете, вечер пролетарской самокритики рабочих-производственников!
- Ну ладно, ладно...
- Чего там...
- Больно строг...
- Если скажет опять хорошо, опять будем хлопать...

VI

- Говорит Думнов!
- Товарищи! Тут наши инженера стараются забить нам голову Уралом, Донбассом и прочими далекими местностями, которых отсюда не видать. Там, говорят нам, и руда на месте и всё. Товарищи! Там, на Урале, Донбассе, не спорю, руда, а у нас разве нет руды? Еще ни одному человеку во всем свете неизвестно, где больше железной руды: на Урале, Донбассе, Кавказе, Сибири, Шулейке или на какой-нибудь голой тульско-курской равнине! Кто мерил??? Товарищи! Я спрашиваю: кто мерил??? А между тем у нас, на Шулейке, когда роют на кладбище могилы, то редко-редко какого покойника закапывают не в железную руду! У нас в лесу коровы, а на дорожных колеях лошади копытами выворачивают из почвы руду! У нас крестьянские детишки по ярам и промоинам руками собирают руду и со всех окружающих деревень возами везут ее на заводские дворы!
- Она низкопроцентная!
- Кто это там крикнул, что шулейковская руда низкопроцентная? Кто? Наверное, какой-нибудь заезжий служащий? Во всяком случае, не рабочий, который тут вырос! Говорите, низкопроцентная? А вы ее искали, высокопроцентную? Кто искал, где, когда? Никто, нигде, никогда! Правда, ходили в очках, с портфелем, смотрели, ковыряли кой-где лопатой. Но вы почитайте-ка, я вам дам, московский журнальчик «Наука и техника», и вы увидите, что в наше время эти дела делаются не лопатами, а

электромагнитными приборами. Товарищи! Я не патриот своей местности, я не стану чересчур расхваливать Шулейковский Горнозаводский округ, не буду сравнивать его ни с Сибирью, ни с Кавказом, как это делали тут другие рабочие, выступавшие до меня. Но и я тоже не меньше, чем они, верю в будущий расцвет горной промышленности нашего края. Товарищи! Смешно сказать! У нас, на Шулейке, уже долгое время нет ни одного представителя высшей горной технической силы!

— А средняя есть?

— Средней, товарищи, тоже нет, это правда. Ни высшей, ни средней. А низшие специалисты, рабочие-горняки, те давно переменили квалификацию, из союза горняков перечислились в союз металлостроителей и рассеялись по разным заводам. Как раз я сам много лет работал здесь рудокопом. И я хорошо помню то время, когда шулейковская рудопромышленность кипела вовсю — здесь даже английское акционерное общество имело свои рудники. И я хорошо знаю, отчего все вдруг остановилось и стоит без движения до сего дня. Вышло это, можно сказать, без намерения, случайно. Дело было, если кто помнит, вскоре после империалистической войны. За время войны на заводах, работавших на оборону, накопились миллионы тонн металлической стружки. Стружку сперва сваливали куда попало, выбрасывали наравне с прочим негодным мусором. Потом сделали опыт, пустили ее в переработку, и пробное литье стружки в домнах на чугун и в мартенах на сталь дало очень хороший экономический эффект. С той поры вот уже десять лет на Шулейку везут и везут стружку со всех концов СССР. Вы видите, товарищи, какие высокие ржавые горы тянутся вдоль всей нашей узкоколейки: это все она, навезенная к нам железная стружка. Слов нет, сама по себе она обходится заводу дешевле руды: приходится платить только за погрузку, транспорт, разгрузку. И при плавке в печах она пожирает топлива в три раза меньше, чем руда. Но зато качество чугуна и стали из стружки много хуже, чем из руды. Причина этого в том, что в каждой ста пудах железной стружки обязательно находится не меньше полпуда примеси разных цветных металлов: олова, алюминия, латуни и больше всего меди как желтой, так и красной, в красной же, кроме того, как известно, всегда содержатся еще малые дольки золота и серебра. А цветная примесь, в особенности медь, она портит черный металл. И медистый чугун, который мы льем из стружки, и медистая сталь плохо пригодны для разных металлоизделий. Хороший пример этого — трубопрокатный цех завода

№ 3, где я сейчас работаю сварщиком. Вы посмотрели бы, товарищи, как бьются там рабочие при сварке труб из нашего медистого железа! Ну никак не сваривается металл, никак: ни встык, ни внакладку! И после громадных мучений рабочих цех все-таки выпускает процентов семьдесят пять брака. А из остальных двадцати пяти процентов, годных, половина тоже никуда не годится. И в нашу контору все время возвращается наша продукция со всех концов СССР обратно, с бранными письмами, с требованием возратить деньги, уплатить неустойку, с угрозами подать на нас в суд и пропечатать в «Правде», в отделе «Каленым железом» или «Под контроль масс». Ну разве, товарищи, это работа? Скажите откровенно, какой частник держал бы такое предприятие? Вот откуда получаются наши убытки...

— Думнов, что же ты предлагаешь реальное, конкретное?

— Я предлагаю, товарищи, внести в резолюцию такое требование рабочих: «Немедленно, в кратчайший срок, без волокитства произвести самый точный математический подсчет, что для предприятия выгоднее: катать ли изделия из чистого черного металла, выплавленного из “дорогой” руды, или же из медистого, полученного из “дешевой” стружки?» Я кончил.

VII

— Товарищи! Я не много скажу, меньше других, меньше всех. И я вовсе молчал бы, не выступал. Но подозрительно! Очень подозрительно стало работать на наших заводах! Я не знаю, может быть, в теперешнее время во всем СССР так. Например, тут, с этой кафедры, нам сегодня открыто заявляли, что в центре в настоящее время разрабатывается проект об импорте к нам, в СССР, из-за границы чугуна. Что это? И как нам, рабочим, отнестись к этой последней столичной новости, в каком именно смысле ее принять, в хорошем или дурном?

— В дурном!.. В дурном!..

— В дурном? И я думаю, товарищи, что в дурном... На самом-то деле! Ведь всем и каждому известно, что как Европа, как Америка, так и прочие великие державы с хищной завистью глядят на наши необъятные природные богатства: на уголь, нефть, руду... И вдруг мы сами обратимся к ним за чугунными болванками. Тут прежде всего приходит на ум вопрос: а не поднимут ли они нас на смех? Потому что обращаться нам к загранице за железным сырьем — это все равно, как если бы крестьяне

Воронежской губернии для поднятия урожайности своих полей додумались бы снарядить на казенные денежки кругосветную экспедицию в Австралию за... черноземом! Ум для этого, товарищи, надо иметь одинаковый как там, так и тут. Товарищи! Подозрительно! На двенадцатом году революции обращаться к империалистам за доменными болванками — это значит позорить наше социалистическое строительство и всю нашу советскую страну! А кому это нужно? Нам, рабочим, это не нужно. Неужели мы, товарищи, в нашей шестой части света своей железной руды не сумеем достать? Неужели мы, товарищи, в нашем СССР не в состоянии построить десяток-другой новых доменных печей? Поэтому, товарищи, я предлагаю собранию потребовать от НК РКИ срочно расследовать, нет ли в проекте импорта к нам из-за границы чугуна сознательного — «шахтинского» — вредительства?

— Требуем! Требуем!

— Внести в резолюцию!

— Товарищи! Раз я коснулся одного подозрительного, то уже не могу умолчать и о другом! Тем более что оно еще подозрительнее, чем первое! Вы, наверное, уже заметили, что по нашим цеховым и общезаводским производственным совещаниям с некоторых пор гуляет одно новое, ученое, очень и очень подозрительное словечко, занесенное туда, как видно, из тех же нечистых источников...

— Какое? Какое словечко?

— Вам сказать какое? Гм-м...

— А понятно, скажи!

— Говорите, сказать?

— Ну говори же скорее, не томи! Чего же ты стоишь бледный, как смерть, и ничего не говоришь, молчишь! Только народ волнуешь!

— Словечко это, товарищи... про-бле-ма...

— Как?

— Про-бле-ма...

— Громче!.. Повтори!.. Тут не слыхаты!..

— Проб-ле-ма, товарищи. «Проблема чугуна». «Проблема черного металла». «Проблема железного сырья». А самое слово «проблема», если кто не знает, означает окончательно безвыходное положение, крышку, могилу, смерть. А как же, товарищи, у нас в СССР может быть «проблема железорудного сырья», когда нашей советской руды хватило бы на весь мир, если только начать как следует ее разрабатывать! И русских

рабочих рук оказалось бы мало, пришлось бы выписывать китайцев! И начать разработку месторождений нашей руды государству было много выгоднее, чем держать на социальном обеспечении — по биржам труда да по страхкассам — такую громадную часть здорового безработного населения, точно каких-нибудь буйнопомешанных или безруких-безногих калек. Но у нас ведь как привыкли смотреть на собственную руду? У нас она и пятьдесят процентов считается низкопробной, нам подавай семьдесят или восемьдесят процентов! А в Европе или в Америке и тридцатипроцентной были бы рады — только давай! Подозрительно, товарищи! Очень подозрительно стало работать на заводах! Кто-то путает и путает! Придумывает и придумывает! Придумали «проблему руды». А у нас такой проблемы нет и быть не может! У нас скорей есть другая «проблема». Проблема технического руководства. Проблема хозяйствования. Проблема...

— Товарищи! Президиум просит сейчас же прекратить курение в зале! За дымом не видать народа!

VIII

— Широков, выходи же!

— Иду, иду... Записную книжку искал... Товарищи! Тут у меня в книжке занесены такие слова из сегодняшнего доклада наших правленцев: «Несмотря на уменьшение числа рабочих, занятых на Шулейке, на 9,8 процента, выпуск металла в отчетном году увеличился на 31,2 процента»... Товарищи!.. Число рабочих рук уменьшилось, а количество сработанной продукции увеличилось. Примите при этом во внимание, что работали наши заводы в этом году так же, как и в прошлые годы, в тех же самых условиях, а именно: по-старому, без введения какой-нибудь новой рационализации или механизации, без стандарта, без конвейера, при прежних изношенных машинах, при том же допотопном оборудовании. А скачок в количестве выпущенного металла немаленький: на 31,2 процента! Что же этот китайский фокус означает? Означает он, товарищи, то, что проценты наших «частичных достижений» дирекция берет только горбом рабочих, хитрой механикой сдельщины, ловкой политикой тарифно-нормировочного бюро, ТНБ!

— Верно, Широков, верно! Постановка табельного дела у нас никуда не годится!

— Да! Да! Отметка в табелях большею частью ставится наугад! Сотни ошибок каждый месяц по цехам, сотни жалоб, сотни расследований! В конторе по неделям задерживают расчет, сверяются, ищут и исправляют ошибки!

— Почему табельщиков дельных никогда у нас нет? Почему они долго не живут, уходят? Почему старшие контролеры вместо того, чтобы своими указаниями учить их делу, лепят им тоже «пунктики»? Что-о? Говорите, местные рабочие отказываются работать в ТНБ, боятся ножевых расправ со стороны товарищей? Тогда обратитесь в профорганизацию другого района, и вам оттуда пришлют работников!

— Хронометражисты подкрадываются к работающим из-за угла, за это в морду надо давать и уже дают!

— Ти-хо! Товарищи, ти-хо! Что за выкрики с мест? Тут не базар! Президиум предлагает товарищам выступать только организованным путем, только по предварительной записи!

— По «записи»? Мы не умеем со сцены говорить, не научены. Мы можем только с места поддержать товарища, если он к делу говорит, вот как сейчас Широков! Почему у нас всякую новую работу нормируют и расценивают по полгода, разве это порядок? А постоянная урезка норм зачем? Через это рабочему стало невыгодно показывать повышение производительности труда: ты покажешь, а тебя еще подхлестнут, жилься дальше!

— Ти-хо! Товарищи, не срывайте собрание, дайте ораторам говорить, соблюдайте пролетарскую дисциплину!

— А мы разве против? Мы не против пролетарской дисциплины! Мы только говорим, что следует! Почему, например, процент приработка так мал, надо увеличить! А как оплачивают сверхурочное! А за брак! А за простойные часы — не по вине рабочих, а по стихийным причинам! А работающим по субботам вместо шести часов по восемь — за переработанные два часа! А бригадирам, обучающим бригады молодежи или новых рабочих!

— Товарищи, ти-хо же! Что вы, наконец, делаете?!

— Мы ничего такого не делаем! Мы только правду говорим! Клепальщики у нас, в мостовом цеху, получают не как штатники, а как временщики!

— А у нас сверловщики?!

— А у нас? То же самое! Бе-зо-бра-зиел!

IX

— Товарищи! Поступило предложение: прекратить запись новых ораторов и ограничить время тем, которые уже записались! Президиум предлагает давать ораторам по пять минут! Кто за это, поднимите руку! Большинство... Предложение принято. Итак, товарищи, вы теперь имеете только пять минут! Дорожите временем, экономьте слова, очень не распространяйтесь, ни вширь, ни ввысь, не повторяйте того, что уже говорили другие рабочие, держитесь своего завода, сообщайте только об известных вам дефектах! Помните, что в связи с реконструктивным периодом в хозяйстве нашей страны перед партией и советской властью встали огромные новые трудности, преодоление которых потребует максимального напряжения сил всех трудящихся! Помните, что помимо внешних международных задач, о которых я вам подробно говорил в начале нашего собрания, партии и советской власти приходится разрешать колоссальные задачи социалистического строительства внутри страны! В таких вдвойне тяжелых условиях классовая выдержанность и большевистски-ленинская четкость являются тем единственно надежным вооружением, которое в настоящий исторический момент должно быть особенно отточено и приведено, так сказать, в полную боевую готовность!.. Карл Маркс в своих известных письмах к Энгельсу на странице девяносто седьмой сказал...

— Товарищ председатель, твои пять минут давно прошли! Ты уже полных пятнадцать говоришь!

— Как пятнадцать?

— Так!

— А чего же вы молчали?

— Все думали: вот-вот сейчас кончишь! А ты все дальше собираешь, все выше!

— Ти-хо! По списку слово принадлежит товарищу Чистову!

— Товарищи! Я извиняюсь, что не умею так гладко говорить, как тут говорил выступавший до меня председатель собрания. Скажу, как смогу. Нас просили сообщать факты. И я на живом факте хочу показать, как у нас в цехах иногда понимают и выполняют декретное «повышение производительности труда». Возьму свой сортопрокатный цех завода № 4, в смену мастера Збруева. Хотя, конечно, знаю, что то же самое творится и в смены других мастеров нашего цеха; и в других цехах нашего завода; и в других заводах Шулейковской группы. Мас-

тер Збруев с того дня, как вышел декрет, совсем не обращает внимания на качество продукции, гонится только за количеством. Требуем от нагревательных печей, чтобы они как можно чаще подавали к стану раскаленные болванки. И печники-нагревательщики гонят всюю, с такой частотой подают к стану раскаленный металл, что ни прокатка, ни резка, ни правка сортов железа не успевают за их подачей. И все делается как попало, лишь бы побольше пропустить штук. Не успеет прокатная полоса выйти из последних вальцов, не успеют ее даже как следует поставить для точного обмера, не успеют обрезать концы и выправить кривизну, как смотришь — уже подают из вальцов другую прокатанную полосу, за ней сейчас же третью, четвертую... И обрабатывают полосу, можно сказать, на лету, не зачищают аккуратно концы, не отмеривают точную меру, не замечают погнутых мест — лишь бы поскорей освободить руки для следующей полосы. А править и отделявать нарезанные полосы после нет никакой возможности: железо уже остыло. И правщикам приходится производить целую новую работу: класть искривленные полосы на стелюги. При всем том суета и крики среди работающих стоят всю смену прямо невозможные! Все спешат, хватают, бросают, торопят друг друга, обвиняют, жалуются, грозят! А какой мат висит в воздухе все восемь часов! Не цех, а ад! Не работа на мирном строительстве, а активное участие в гражданском бою, в котором не разберешь, где революция, где контрреволюция, потому что с разных сторон приходится слышать разные слова... Какая же выходит из этого столпотворения продукция? Известно — какая: где укороченная против нормы, где удлинённая, где погнутая, где с раковинной, где с грибом, — сплошной брак! И направляется она, вы думаете, на продажу? Конечно нет, — в сталелитейный цех, как лом, как та ржавая стружка. Оттуда, из сталелитейного, тот же кусок металла в виде болванки может снова попасть в наш сорто-прокатный цех, там, в том гражданском бою, из него опять сделают негодное изделие, которое снова отправят как брак в литье, из литья к нам, в прокатку... Так один и тот же брусок железа может иметь у нас бесконечное хождение внутри заводского двора — из цеха в цех — и приносить социалистическому государству неисчислимы убытки. А в заводской конторе в это время будут, на основании данных мастера Збруева, вычислять проценты «повышения производительности труда», сравнивать число тонн металла, пропущенного сейчас через цех, с тем, что пропустили раньше. И таких бросовых изделий у нас в одну

смену наберется тонна, полторы, две. А истинную цифру брака никто не знает и не узнает никогда, потому что изделия с явным дефектом не допускаются до инспекции, прячутся от нее, выбрасываются самими работающими раньше, просто вывозятся во двор, на железную свалку. Там, в этих железных могилах, похоронена наша заводская правда! И я вот сам тут громогласно раскрываю «тайны мадридского двора», а сам чувствую — ох, и налепят же мне за это в цеху «пунктиков»!

— Нет, нет, товарищ Чистов, не бойся! Мы тебя, если надо будет, во всякое время поддержим!

— Да, знаю я, как вы «поддержите». Конечно, пожалуй, я тут многое зря наболтал...

— А понятно, зря! Чего же ты не сказал, где во время этого «гражданского боя» бывает ваш инженер, начальник цеха?

— Когда появляется в цеху инженер, тогда работа, безусловно, начинает идти порядком. Он только накричит на нагревальщиков, чтобы те реже подавали из печей, и работа сейчас же начинает идти нормально, без завала, без брака. Но как только он из цеха — так опять начинается прежнее: гражданский бой, мат...

— Чистов, твои пять минут кончились!

— Товарищ председатель! Делаю от имени собрания запрос, а почему члены президиума потайком курят? Я почти что целый час наблюдаю за ними: курят и еще смеются, думают, никто не видит! Если не курить, то не курить всем!

— Да! Да! Всем! Всем!

Х

— Товарищи! Моя речь будет идти о «снижении себестоимости», о том, как оно у нас проводится и за чей счет. Товарищи! Предупреждаю, если буду волноваться, то вы на это не смотрите... Товарищи! Ради декретного «снижения себестоимости» труд рабочего на шулейковских заводах уплотнен до последней степени! Рабочего, можно сказать, гонят и в хвост и в гриву, а премиальные за это снижение получают... спецы, инженера! Заводы все до одного приносят убытки, а инженера все до одного получают премиальные! И одни премиальные инженера составляют более крупную сумму, чем весь заработок рабочего! Товарищи! Как мы должны все это понимать? Может быть, так, что мы, рабочие, как люди более сознательные, за свой

тяжелый труд получаем утешение, что участвуем в социалистическом строительстве, а они, инженера, как народ более отсталый, предпочитают получать наличными? И вот мне хочется сказать им, нашим рвачам-спецам: довольно, многоуважаемые! Довольно! Мы не двужильные вам какие-нибудь, чтобы из года в год на своих шеях вывозить ваши проценты «частичных достижений!» Потрудитесь вспомнить, что вы специалисты-инженера, что вас чему-то учили, и покажите проценты как «снижения себестоимости», так и «повышения производительности труда» не напором на мускульную силу рабочих, а введением новейших усовершенствованных способов работы, применением на практике последних открытий технической науки как русской, так и иностранной! В № 229 «Известий» председатель ВСНХ товарищ Куйбышев пишет: «Производительность наших доменных печей на одного рабочего в год составляет 330 тонн, а в САСШ эта цифра на одного рабочего в 10 раз больше и равняется 3.300 тоннам. То же самое, — продолжает тов. Куйбышев, — и в металлообработке и в машиностроении...» Что же, шулейковские спецы, вы и Америку перегонять будете одной голой физической силой рабочих? А где ваша обещанная «новая техника»? Мы ее что-то не видим: как работали, так и работаем!

— А мы ви-но-ва-ты??? Мы виноваты, что на переоборудование двухсотлетних шулейковских заводов Гомза не отпускает нам необходимых кредитов??? Ведь если, как вы говорите, «перегонять Америку», то для этого надо срыть до основания старые заводы и на их месте поставить новые!!!

— Нет, нет, товарищи спецы! Признайтесь, что дело тут вовсе не в кредитах Гомзы! А дело тут в том, есть ли у вас охота к советскому строительству! Рабочим говорят: «Творчества, творчества побольше проявляйте в вашей работе, вносите побольше дельных предложений». И мы проявляем, и мы вносим. А вы? А вы, товарищи спецы? Где же ваше творчество? Вы, как чиновники, отбываете на заводах свою служебную повинность от первого числа и до первого! И только!

— Это неправда!!! Мы р-работаем!!!

— Нет, правда! И я не говорю, что вы не работаете! Вы работаете! Вы аккуратно исполняете обязанности, перечисленные в советском тарифном справочнике, но больше этого палец о палец не ударяете! Поднять завод вы не интересуетесь! А чем вы интересуетесь, мы даже не знаем! Ни завод, ни заводское дело, ни заводские рабочие не привязывают вас к месту, вы

долго не засиживаетесь на одном предприятии, порхаєте с завода на завод, как бабочки с цветочка на цветочек! С Урала кидаетесь на Донбасс, оттуда в Сибирь, оттуда на Шулейку! Шкурники, везде ищите личных выгод, спешите туда, где вам обещают больше платить!

— А вы?! А вы, товарищи рабочие?! Вы разве не ищите лучших условий труда?!

— Мы? В своем заключительном слове вы еще будете иметь время сказать об нас, какие мы, а пока речь идет об вас, какие вы! И разве можно сравнивать вашу нагрузку работы с нашей! Мы — везде, вы — нигде! Вы не показываете вашей активности ни в чем ни на общественном участке, ни на чисто техническом! Вас нет в наших кружках изобретателей, вы редкие гости на производственных совещаниях, вас не видно ни в одной культкомиссии!

— А вы нас при-гла-ша-ли???

— А как же вас еще приглашать? Вы члены нашего союза, и все, что делается в союзе металлистов, должно касаться вас без всяких приглашений! А вы — нет! Вы, инженера, живете среди нас, рабочих, как иностранцы среди русских! Вы в нашем СССР как подданные чужой страны, как, бывает, приезжают из Америки технические эксперты!

— Ложь!!!

— Кле-ве-та!!!

— Трав-ля спе-ци-а-лис-тов!!!

— Пок-леп на ин-тел-ли-ген-цию!!!

— Де-ма-го-гия!!!

— Аг-гит!!!

— И как бы мы — ин-же-не-ры — ни ста-ра-лись, — вы все рав-но во всем бу-де-те ви-нить нас!!!

— Товарищ председатель!!! Вы видите, что у вас тут творится???

Ответьте же честно, что это: критика, крытика или кричика???

А-а-а?!!

XI

— От заводских чернорабочих слово имеет крестьянин Аввакумов.

— Товарищи пролетарии. Прошу обратить внимание. Мы, конечно, из села Малые Ельники. В заводском поселке нету квартир, и мы каждый день ходим на завод и с завода, туда

восемь верст и оттудова восемь, всего шестнадцать. Прошу обратить внимание. Как чернорабочие, работаем мы большая часть не в штату, а поденно, ни от какой работы не отказываемся, с часами и минутами не считаемся, как считаются пролетарии. Прошу обратить внимание. Тянем, как волю. Ни спины, ни рук, ни ног не жалеем. Не говоря об одежде и обуви. А получаем всего по первому разряду каких-нибудь тридцать рублей в месяц, наравне с заводскими сторожами. Но сторожа, те хоть находятся под крышей, а мы работаем под открытым небом, на заводских дворах, в складах, при узкоколейке, во всякую погоду. В дождь, в мороз. Прошу обратить внимание. Мы воруем десятипудовые тяжести, вручную нагружаем и сгружаем платформы. А пролетарии работают в помещении, под прикрытием, в тепле, на себе тяжестей не таскают, а все на тележках, да на роликах, да на таях и получают по четвертому, пятому, шестому разряду. Прошу обратить внимание. Когда во время долгого простоя или рационализации пролетариям заместо увольнения предлагают временно заступить на нашу работу, то они отказываются, говорят: «Это лошадиный труд», «от него можно содохнуть с непривычки», — и берут лучше расчет, тем более что они будут получать с биржи труда, ничего не работая, почти такие же деньги, какие получаем мы за свой тяжелый, ненормированный труд...

— О, уже запел, запел лазаря!

— Завел волюнку!

— Затянул!

— Дайте ему там, которые поближе, копеек тридцать на лапти, он и уйдет! Ха-ха...

— Товарищи! Без замечаний с мест! Не мешайте ему говорить! Он вам не мешал! Чернорабочие имеют точно такое же право на самокритику, как и вы, квалифицированные рабочие!

— Прошу обратить внимание. Как пролетарии лаются сейчас на меня здесь на собрании, так они постоянно измываются над нами на заводах. Редко-редко который пройдет мимо и не бросит в нашу сторону какую-ни-то насмешку. Мы и «деревенщина», и «лапти», и «кушаки», и «навозники», и «темнота», и «не перекипели в заводском котле», и «на производство нам наплевать», и «ни в каких обществах» не участвуем, и «лишь бы отработать смену и поскорей в свою деревню, к своему свинушнику». Мы и на работу ходим шестнадцать верст не из нужды, а из «жадности». Мы и хлеб у других отбиваем,

потому что у них по поселку ходит без дела много своих безработных, членов союза. Прошу обратить внимание. Когда на заводе из цеха пропадает инструмент или со двора полоска железа, или со склада готовое изделие, пролетарии говорят: «Больше некому взять, как только работающим на заводе крестьянам, потому крестьянину для его хозяйства железо нужней всего, деревенский кузнец из куска железа сделает ему любую вещь». И у сельского кузнеца Малых Ельников постоянно делают обыски, но никакого железа не находят, кроме полосок, которые он покупает на заводе за деньги и проводит по заводским книгам. Прошу обратить внимание. На заводе № 1 больше двух лет крали с маховиков приводные ремни. Накрали уже на громадную сумму денег, а кто — неизвестно. Понятно, опять все думали на крестьян, работающих на заводе. Перетрясли всех деревенских сапожников, рассчитывали найти у них хотя кусочек кожи с тех ремней, но ничего не находили. Когда вдруг как-то перед вечером, во время второй смены, заводский пожарник вышел из проходной наружу и глянул вдоль деревянного заводского забора. Смотрит — какой-то человек сидит на земле и вроде подкапывается под доски забора. Пожарник сразу подумал, что поджигатель, сразу дал во дворе свисток, сразу прибежали еще двое пожарников и дежурный милиционер, вчетвером они сразу словили того человека, а при нем сразу нашли громадный приводной ремень, который он протаскивал под забором. И в том воре сразу признали штатного шорника, который заведовал ремнями на заводе. А два года думали на крестьян! Прошу обратить внимание, занести мои слова в резолюцию, что от нас, значит, есть просьба, от крестьян...

— Аввакумов, твои пять минут прошли! Довольно!

— Прошу обратить внимание. В обеденный перерыв, когда в цеховых столовых играет радий, мы тогда туда не заходим, закусываем на воле, где придется, чтобы ничего не подумали на нас, потому в тех столовых каждый день пропадают ложки, алюминиевые кружки, хорошие такие миски...

— Аввакумов, довольно!

— ...Прошу обратить внимание, новенькие, целенькие попадают, а старые, помятые остаются...

— От заводской рабочей молодежи! Выпускник фабзавуча! Комсомолец Поступаев! Есть?

— Есть!

ХИ

— Товарищи! Мне придется говорить очень о многом — можно сказать, обо всем, и я не знаю, как это уместить в пять минут...

— Говори, сколько успеешь! Остальное в другой раз!

— Ну хорошо... Товарищи! Как индивидуальное заводское ученичество, как бригадное, так и наши «фабзайцы» поручили мне довести до сведения настоящего собрания, что на Шулейке слишком мало уделяется внимания рабочей молодежи. В этом повинны и заводская администрация во главе с партхозяйственниками, и наши профорганы во главе с райкомом металлистов. У техперсонала все еще не изживается взгляд на молодых рабочих как на малонадежных, и в цехах есть много квалифицированной рабочей молодежи, которую заставляют возить по заводскому двору железную стружку, таскать дрова, убирать в цехах мусор. И инструктора, и мастера нисколько не считаются ни с их просьбами, ни с их заявлениями. «Когда мы обучались, так мы лет пять мастеру за водкой да за табаком бегали, а вы нервничаете, спешите, хотите в два года квалифицированным рабочим стать, больно зелены, поживите, поучитесь еще». И если молодежь успешно сдаст пробу, скажем, со второго разряда на третий, то ей долго еще продолжают платить по старому, по второму, и т. д. и т. д. Такое несерьезное отношение старших рабочих к молодежи, к сожалению, нередко объясняется тем, что молодежь отказывается среди работы прорываться с завода через проходную и приносить контрабандой бутылку для старшего, когда тому бывает нужно опохмелиться. Не сможешь старшему опохмелиться в цеху — и он не поможет тебе, не учит работе. Что-нибудь спросишь его, а он: «Погоди ты, некогда мне, я сам сдельно работаю». Еще хуже отношение старших рабочих к ученицам ФЗУ и вообще к металлисткам-девушкам. Шуточки, усмешечки, почти презрение. Кроме того, девушку ставят обязательно на худший станок и дают ей неинтересную работу, одну и ту же. «А зачем им учиться на хорошей работе? Все равно скоро выйдут замуж, и учение на казенные денежки пропадет даром: сделаются обыкновенными домашними хозяйками, будут мужьям тряпки стирать, щи варить, по очередям в потребилловках продовольственные новости собирать. А если которая-нибудь, одна-единственная, самая неудачливая, некрасивая рожей, и удержится дольше других на

производстве, так ее портреты будут печатать в газетах и журналах наравне со Львом Толстым!» Такой устарелый взгляд у старших рабочих на девушек и женщин мы должны как можно скорее изжить. По случаю предстоящего перехода нашей промышленности на высшую техническую базу нам необходимо готовить кадры культурных рабочих. В первую голову в этом отношении надо опереться на мастеров и их подручных. Сами мы этого сделать, конечно, не можем, так как мастер от свистка до свистка командир на производстве, и нам приходится только подчиняться ему. После же смены он просто знает нас не желает. Поэтому мы, рабочая молодежь, просим собрание поставить этот пункт в резолюцию. Потом, у меня тут записан еще целый ряд острых вопросов — о церковных праздниках, пьянстве, прогулах, симуляции, но я не знаю, успею ли... Товарищ председатель, сколько у меня осталось времени?

— Всего две минуты!

— Ну хорошо. Тогда я остальные вопросы отложу до следующего раза, а сейчас по поручению ячейки комсомола нашего ФЗУ сделаю вам краткий отчет о нашем первом пролетарском походе в деревню Куртамышевку на смычку с крестьянством. В Куртамышевке мы проделали следующее: 1) раскололи куб сучковатых дров для школы; 2) отремонтировали в избе читальне библиотечный шкаф, у которого заднюю спинку всю дочиста проел шашель; 3) починили девять ведер для куртамышевских бедняцких крестьян: у шести вставили новые доньшки, у двух выправили помятые бока, к одному приделали дужку; 4) исправили пять самоваров, в течение многих лет дававших сильную течь; 5) одной старухе запаяли три дырки в тазу для мытья в бане, очень благодарила...

— Поступаев, две минуты прошли! Будет!

— Все куртамышевские крестьяне смотрели на нас с удивлением, как на американцев, спрашивали, чьей мы веры, наши ребята отвечали: «Ле-нин-ской...»

ХIII

— Дарья Агаповна Захаркина! От вспомогательных рабочих!

— Граждане рабочие! Я хочу высказать, как шулейковские заведующие магазинами ЦРК делают злоупотребления с продуктами. После получения пятнадцатого числа этого месяца зашла я в магазин ЦРК № 3 посмотреть, что почем, узнать,

какие есть новости и в ценах на продукты. Гляжу — в магазин поступили при мне две трубки столовой клеенки! Я успела заметить, что клеенка хорошая, ноская, будет служить и служить, если взять кусок метра полтора и накрыть стол. Я к приказчикам, к одному, к другому. Те: «Обратись к заведующему». Я — к заведующему, а он грубо так, невежливо: «Сейчас клеенка не продается». Почему не продается? «Цена не проставлена». А когда же будет проставлена? «Зайдите на днях». Прихожу на другой день. Прямо к заведующему: где клеенка? «Клеенки нет». Как нет? Где же она? Я хотела себе купить кусок на стол! «Поздно пришли». Значит, вчера очень рано пришла, а сегодня очень поздно, когда же к вам приходит, чтобы что-нибудь купить? «Гражданка, не докучайте глупыми вопросами, нам некогда, мы работаем». Потом от приказчиков узнала, что клеенка в магазине в продажу вовсе не поступала. Теперь я спрашиваю у собрания: «Где же та клеенка?»

— Захаркина, ты все сказала?..

— Нет еще...

— Тогда поторапливайся, а то время идет...

— Не могу сразу опомниться... Как подумаю про ту клеенку, так дух внутри переворачивается... Потом еще хотела высказать, что заведующий магазином ЦРК № 3 имеет моду относить к себе на квартиру дефицитные товары. Когда выходит из своего магазина, всегда со свертком, хоть и с маленьким, а все-таки со свертком, жадность не позволяет с голыми руками идти. В ту субботу, после закрытия магазина, он вынес: 1) три кила рису; 2) полтора кила сливочного масла; 3) три четверти кила китайского чаю... А когда проходил через площадь Карла Маркса, то опять не утерпел, остановился, постоял-постоял среди площади, подумал-подумал, потом завернул к хлебному ларьку ЦРК и прихватил буханку хлеба, — а мирным жителям дают только по полбуханки на семейство.

— Откуда ты все это знаешь? Не член ли ты лавкома?

— А понятно, член. И приказчики мне все на заведующих показывают.

— А-а! Чего же ты раньше не сказала, что ты член лавкома? Об этом надо было сразу сказать. Еще имеешь что-нибудь заявить?

— А понятно, имею.

— Ну заявляй, заявляй. А то время твое истекает.

— Ваньку знаете?

— Какого Ваньку?

— Ну Ваньку. Неужели Ваньку не знаете?
— Ты скажи, какого? А то я, может, двадцать Ванек знаю!
— Ну Ваньку. Старшего приказчика из мясной лавки ЦРК. Так вот этот Ванька ведет дружбу с шулейковскими частниками, отпускает им мясо по пониженным ценам. Подойдет рабочий или работница к хорошему куску мяса, спросит почему, — Ванька оценивает кусок как первый сорт, по семьдесят две копейки кило. Потом подходит к тому же жирному куску частник, мануфактурист с нашего базарчика или обувщик, или галантерейщик. Ванька засмеется от радости, что видит их, и расценивает для них тот кусок уже как второй сорт, по пятьдесят три копейки кило. И нам, пролетариям, по пониженной цене попадает мясо только изрубленное на мелкие кусочки, просто сказать, обрезки, которые иначе никому не спихнешь.

— Все сказала?

— Нет. Про манную крупу еще ничего не говорила. Привезут в ЦРК мешок манной крупы, расхватают всю за час, за два, кому надо и кому не надо, а потом опять жди ее полгода, и матерям бывает нечем кормить малых детей. Манную крупу надо выдавать по удостоверениям только тем матерям, у которых есть дети до двух лет.

— Об этом заяви в охрану материнства и младенчества. Все? Кончила?

— А про хлеб надо? Все равно уж скажу и про хлеб. Сейчас, чтобы в пекарне ЦРК получить норму хлеба, надо простоять в очереди полдня. И хлеб дают плохого качества, неукисший, сырой, мятый, с палками, с мочалой. И раньше спыливали буханку мукой, а сейчас мякиной, попадаются перья, а то и земля.

— Что же ты предлагаешь?

— Чтобы прекратить очереди и разгрузить пекарни, мы, женщины, домашние хозяйки, предлагаем выдачу печеного хлеба заменить для желающих мукой. Весь народ кинется на муку, и всем сразу станет легче: и пекарям, и покупателям хлеба.

— Ой-ой-ой!.. Ты уже знаешь сколько лишних минут проговорила?.. А мы-то слушаем тебя!.. А мы-то сидим и молчим!.. И ни один не смотрит на часы!.. Вот завлекла!.. Ха-ха-ха...

— Ну, где уж там завлекать. Завлекать — не те годы.

XIV

— От счетно-конторских служащих! Товарищ Самокатов!

— Товарищи! Что можно рассказать в пять минут? Конечно, только самые пустяки. Серьезного, научного, вычитанного из книжек ничего не расскажешь, хотя здесь, я вижу, больше половины собрания нуждаются в этом. Ну, тогда расскажу вам пустяк на пять минут. Когда наш завод № 2 решил распродать кое-какой остаток бывшей господской мебели, то единственным покупателем всей обстановки явился комендант завода, товарищ Хачипуров, член партии, с боевыми заслугами в прошлом. А я, как не за страх, а за совесть сочувствующий советской власти, как раз в то время находился в добровольных сотрудниках районного РКИ, в подсекции разбора жалоб и заявлений от мирных жителей. Ну и, конечно, половина всех жалоб, которые к нам сыпались в то время, была посвящена покупке товарища Хачипурова заводской мебели. Редко какой житель Шулейки не писал нам об этом. Население, можно сказать, в один голос показывало, что т. Хачипуров «единолично, втихомолку, а также по слишком низкой цене» завладел всеми этими люстрами, вензелями, брэнзелями и прочей графской дребеденью. Не скрою, я сам, как и многие шулейковцы, тоже давно ожидал этой распродажи, имея в виду приобрести для себя в рассрочку пару английских кроватей с никелированными головками. Не лично я, конечно, а моя жена. И вот, получив множество заявлений от возмущенных граждан, я, конечно, сейчас же бросился собирать полномочное число членов комиссии, с которой и нагрянул на квартиру товарища Хачипурова. Но, несмотря на всю мою спешку, оказалось, мы опоздали. Когда мы подошли к квартире коменданта, там разгружали уже последнюю подводу, с барахлом. Сам Хачипуров находился в квартире, сидел на застеленной английской кровати и держался рукой за никелированную шишку. Ну что нам было делать, не стреляться же с ним! И мы ограничились тем, что проверили формальную часть покупки и, найдя все в полном порядке, ни с чем ушли. Ясно, что его предупредили. Товарищи! Такое поведение сознательного партийца я называю нездоровым подходом к экономическому вопросу. Вылазка коммуниста к графской мебели, я уверен, разлагающе повлияет на отсталую часть рабочей массы. Тем более что среди мебели попадались неплохие вещишки, которые каждый не прочь был бы купить. Лично

мне моя жена всю жизнь не простит тех двух кроватей с никелированными шишками. Будет вечно корить: «Зачем же ты, разиня, в РКИ сидел! Другие хотя с пользой сидят»...

— Ну, довольно, довольно, Самокатов, твои минуты прошли, садись, не трепись! Следующий по списку: Гу-ля-ев!

— Отказываюсь!

— Почему?

— Про мебель графскую хотел рассказать. Тоже тогда в РКИ жалобу на Хачипурова подавал.

— Ну тогда Бегунов выходи! Бегунов!

— Тоже отказываюсь!

— А ты почему?

— Тоже про графский шурум-бурум желал высказать.

— А еще кто-нибудь из записавшихся ораторов есть, которые тоже рассчитывали про графский хлам говорить?

— Есть! Есть!

— Тогда поднимите руки, и я сразу вычеркну вас из списка, чтобы потом не терять времени зря, не вызывать! Ого, сколько! Порядочно!.. В верхнем ярусе тоже есть... Раз, два, три...

— Товарищ председатель, а, товарищ председатель! Объясните, что же это такое? У вас в президиуме опять курят! Вношу два внеочередных предложения: или немедленно всем снова начать курить в зале, или у всех членов президиума отобрать папиросы! Нельзя быть до такой степени мальчиками! Раз постановлено было не курить — значит, не курить! А у нас одни подчиняются, другие нет! Старые терпят, молодые курят! Только людей выводите из терпения! Лично я прямо не знаю, что сейчас могу наделать! Для решения этого вопроса и чтобы доть желающим покурить, прошу объявить перерыв!

— Объявляется перерыв на пять минут!

XV

— Товарищ Певунов, мы тебя знаем, ты большой любитель поговорить, а времени у нас, сам видишь, мало, так что ты, пожалуйста, сообщай только факты, какие знаешь, только голые факты!

— Хорошо. Так и сделаю. Факт первый: прислали к нам в цех из-за границы три ненужных станка. Кто прислал, кто выписывал, этого до сего дня не удалось выяснить, хотя стоят эти станки у нас в цеху уже полтора года. Стоят? Ну и пусть себе

стоят. Портятся? Ну и пусть себе портятся. Никому не нужны? Ну и пусть себе не нужны. Гомза заплатила за них валютой громадные деньги? Ну и пусть себе заплатила. Не из нашего же кармана она платила. Так прошло полтора года, и про историю са станками стали забывать... Когда вдруг я как-то разлился и под влиянием аффекта, минуя все профсоюзные инстанции, передал дело об импортных станках прокурору. И сейчас, через полтора года, прокурор повел это дело в спешном порядке. Факт второй: красуется в столовке нашего цеха кипятильник «Титан», поставленный там давно, еще когда Шулейке угрожала холера. Но беда в том, что «Титан» все эти годы только стоит в столовой, но не работает: прислали неисправным. И рабочие прозвали его «Золотым Титаном» и вот почему. Ежегодно на него ухлопывается масса денег — то на ремонт, то на реконструкцию, то на покраску. А толку с него по-прежнему ни на грош: не действует. Тогда однажды выписали для него насос — для механизации, — воду в него помпой накачивать, что делалось раньше вручную. Но и насос, как на смех, прислали неисправным, и теперь ни «Титан» не работает, ни насос не действует. Тогда стали ассигновывать средства на правку, реконструкцию и перекраску насоса. Тут я как-то рассердился и через голову всех промежуточных властей направил дело о «Золотом Титане» прямо к прокурору. Факт третий, мелкий, — все факты нарочно выбираю мелкие, потому что крупные вы сами заметите. Наш клуб получил средства на выписку для клубной читальни подписных периодических изданий. Но вместо этого завклуб сейчас же на те деньги приобрел для себя и для своего помощника два хороших портфеля. И у нас есть читальня, но на этот год без газет и журналов, а зато с двумя завами и с двумя хорошими портфелями. Дело это, благодаря мне, уже у прокурора. Факт четвертый: на конном дворе завода № 4 хиреют лошади. Хиреют и хиреют! Сбруя никуда не годится, протирает на теле раны... Копыта сбиты, не подкованы вовремя... И никто не обращает на это никакого внимания: ни конюха, ни шорник, ни ветфельдшер, ни кузнец, ни заведующий конным двором... Раз иду, а одна лошадь во время работы пала на месте, на заводском дворе, поперек рельсов узкоколейки. Через час дело о павшей лошади уже находилось на внеочередном рассмотрении у прокурора.

— Одна минута осталась!

— Сейчас кончаю, товарищи. Факт пятый. Выпил чаю с медом — и разболелся у меня зуб. Да так разболелся, что я

места себе не находил! Болит и болит, проклятый! Ну, думаю, смерть пришла, и какая глупая смерть — от зуба! Жена посмотрела — дупло. Решили сейчас же вырвать. Побежал я в заводскую больницу. Ждал час, другой, третий, но пришло время идти на мою смену, и я ушел. На другой день — то же самое, прождал часа два-три, ушел ни с чем. На третий — то же. На четвертый день прихожу в больницу уже с бумажкой от прокурора, и мне в секунду вырвали зуб — хотя тогда его уже не надо было вырывать, не болел, и дупла в нем никакого не оказалось, была простая чернилка. И вырвал я его только из принципа. И из уважения к хорошему прокурору.

— Ми-ну-та кон-чи-лась!

— Дать ему еще минуты две-три! Хорошо говорит!

— Дать! Дать! Очень по правилу рассказывает!

— Нет, нет, товарищи, благодарю вас, прошу не давать мне больше ни одной минуты, потому что мне и нескольких часов и нескольких суток оказалось бы мало, чтобы рассказать все, что я знаю! Только даром раздразите мой аппетит!

XVI

— Демобилизованный красноармеец Пловцов!

— Товарищи, когда не хватает квартир в Москве, это я еще понимаю! А когда жилищный кризис наблюдается даже в лесных дебрях Шулейки, то этого я уже никак не могу переварить, никак! Что это такое? Всем жителям шестой части мира вдруг стало негде жить! Короче говоря, я хочу объяснить, что наши заводоуправления совсем не занимаются вопросами жилстроительства. Правда, Гомза идет нам на помощь, поощряет индивидуальное строительство рабочими для себя домиков, отпускает долгосрочную ссуду, почти что достаточную для всей постройки. Но при каждом сокращении на заводе увольняют в первую очередь тех рабочих, у которых имеются свои дома, — «домовладельцы», «собственники». И приходится выбирать одно из двух: или работать на заводе и быть сытым, или сидеть в «собственном доме» и быть голодным. Все выбирают первое. И я тоже. Вот почему я не строюсь, а, вернувшись со службы из Красной Армии, третий год добиваюсь получить себе жилплощадь в домах поселка. Я тормозил уже всех: и жилищную комиссию при завкоме, и райком металлистов, и наш партколлектив, и профбюро, и губотдел труда — и везде встречал

очень большое сочувствие. А квартиры для меня все-таки нет. Тогда, убедившись, что тут я ничего не добьюсь, я обратился кое-куда повыше, с документом, содержание которого сейчас оглашу. Знаю, заранее знаю, что заводские власти всех видов будут мне мстить за эту бумажку в Москву. Но пусть мстят! Я не сложу оружия, пока не потеряю веры, что идеал справедливости, в конце концов, должен взять верх! Документ — огромной важности, адресован он, увидите, каким большим лицам, поэтому во время моего чтения прошу соблюдать полную тишину... Но пяти минут для такого документа, товарищи, мало. Но я уверен, что если документ вам понравится, то вы общим собранием прикинете мне еще минут десять — пятнадцать...

— Да ты читай скорей! Читай!

— Начинаю! Читаю! «В Центральное Бюро Жалоб при НК РКИ СССР в городе Москве. Демобилизованного красноармейца, потомственного рабочего-металлиста горнового доменного цеха госметзавода № 4 Шулейковского Горнозаводского Округа заявление. Копия предсовнаркома т. Рыкову. Копия пред. ВЦИКА т. Калинин. Копия наркомвоенмору т. Ворошилову. Копия наркому труда т. Шмидту. Копия наркому просвещения — как к нам однажды приезжавшему с лекцией против Бога — т. Луначарскому. Копия генеральному секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину. Копия председателю ВЦСПС т. Томскому. Копия председателю ВСНХ т. Куйбышеву. Копия редактору «Правды» т. Бухарину. Копия т. Крупской. Копия т. Ульяновой. Копия — на предмет срочной экспертизы моих умственных способностей, взятых тут под сомнение нашими заводскими партволкодавами, — т. Семашко...»

— Стой, стой, погоди, товарищ Пловцов, не читай, там, в коридорах, какой-то странный шум, ничего не слышать... А это что за люди врываются в зал? Что за безобразие — зачем же двери ломать? Откуда их столько? Прут и прут без конца дикой ордой! Товарищи, кто вы такие? Разве можно ломиться так в помещение, ведь получается сплошная свалка! Не видите, что давите друг друга? Не слышите, трещат скамьи? Окна, окна, окна там выдавите, зачем взбираетесь толпой на подоконники! Ага, вы, вероятно, из профсоюза с льготными билетами в кино? Но сейчас кино не будет, на сегодня оно переведено в старый наш клуб, и картина «Усни, сердце, усни» будет показываться там, идите все туда, поворачивайте обратно! Жи-во!

ЗЕЛЕННЫЕ ЛЯГУШКИ

Рассказ



Группа деревянных построек морского рыбного завода, точно случайное нагромождение скал, единственным серым пятном выделялась среди зеленого необозримого массива заболоченного камыша, густого, рослого, похожего на лес. Тысячелетние заросли этого тростника, на всем своем протяжении неприветливые, угрюмые, темно-зеленые, почти черные, лишь редко-редко где вдруг весело были прорезаны до самого дна небесно-голубыми атласными прожилками протока или реки.

Старинный рыбозавод, до сих пор сохранивший свое прежнее название «Андросовский», около ста лет тому назад был поставлен «торговым домом» купца Андросова именно здесь, на этом очень удобном для рыбного промысла пункте — и на реке и в то же время в двух шагах от моря. Строения промысла стояли на специально выисканном для этой цели сухом песчаном холме, на берегу одной из тех семидесяти пяти малых Волг, на которые расщепляется большая Волга, задолго перед впадением своих бегучих вод в неподвижное Каспийское озеро-море.

Фирма рыбопромышленника Андросова в свое время пользовалась громадной известностью, в особенности после того, как дала знать о себе всему миру шумевшим

судебным процессом о так называемых «рыбных кладбищах». Весна 1899 года отличалась на Каспии небывалым ходом рыбы. Неводы Андросова давали ему такие уловы, что у него не хватало ни рабочих рук, ни хранилищ, ни транспортных средств, чтобы перерабатывать всю эту рыбу. Сократить же выловы он никак не соглашался, хорошо зная, что тогда эта рыба попадет в неводы других купцов, его конкурентов, промысла которых были расположены на том же рыбьем «тракте». И вот Андросов роет в окрестностях промысла ямы и закапывает в них свои колоссальные уловы. В течение апреля он успел выкопать сто восемьдесят пять могил и похоронить в них миллионы пудов живой рыбы, когда «высочайше учрежденная комиссия по борьбе с чумной заразой под председательством принца А. П. Ольденбургского» возбудила против него судебное дело. На суде, защищая себя, Андросов, неожиданно для всех, вскрыл, что и другие «торговые дома» рыбопромышленников в борьбе друг с другом прибегали к точно таким же «рыбным кладбищам»...

И хотя почти за столетний срок существования Андросовского завода Каспийское море успело отойти от него — отодвинулось на несколько километров к югу, — и завод стал походить больше на речной, чем на морской, тем не менее и теперь волго-каспийские колхозники ближайших рыбацких колхозов, из путины в путину контрактующие заводом, поставляли ему рыбу свежее как с моря, так и с реки.

На этом крупнейшем в районе государственном предприятии, недавно переоборудованном по последнему слову рыбопромышленной техники, рыба-сырец перерабатывалась в специальных цехах всеми известными способами: солилась, сушилась, коптилась, мариновалась, замораживалась...

Рыбу подвозили к заводу и в переработанном виде отвозили от него все четыре времени года. И когда ни заглянешь в его цеха, они всякий раз радовали глаз своим неизменно широким размахом, неустанно веселым кипением. А ранней весной и поздней осенью — в периоды наибольших уловов — за горами рыбы в цехах не было видно людей. Завод весь был завален рыбой, точно похоронен под ней. И казалось, что ему уже никогда не выкарабкаться из-под нее, как из-под могильного холма. А рыбу продолжали подвозить еще... Однако проходили дни, и эта подавляющая масса сырья, вся, до последней рыбешки, пройдя сквозь цеха, в конечном счете прекраснейшим образом распределялась органами Наркомснаба между рабо-

ними потребителями таких далеких отсюда промышленных центров, как Ленинград, Москва, Харьков...

Андросовский, входивший в общую систему рыбозаводов «Волго-каспийского госрыбтреста», являлся едва ли не единственным предприятием треста, вообще не знавшим, что такое прорыв. Даже нордовые и норд-востовые «отбойные» штормы на море; зюйд-остовые напористые «вздышки» Каспия, сопровождаемые наводнением на берегах всех семидесяти пяти Волг; внезапная ломка календарных погод, как и прочие неотвратимые стихийные бедствия, так пагубно влиявшие на загруженность других рыбозаводов, и те почти совсем не отражались на годовых финансовых итогах удачливого завода.

Необыкновенные успехи Андросовского, конечно, были известны всему рыбопромысловому Волго-Каспию. И всюду их объясняли только тем — в том числе и сами андросовцы, — что этому рыбозаводу до поры до времени просто везло. Говорили с тщательно скрываемой завистью: «Вот не пойдет одну путину рыба, и счастье Андросовского полетит в тартарары».

Однажды в одну из путин по невыясненным причинам рыба на самом деле обошла тот район, который облавливали рыбаки-колхозники, прикрепленные по договору к Андросовскому.

— Накаркали, — говорили андросовцы о своих недоброжелателях.

На языке официальной рыбопромышленности то, что случилось, называлось «невыход рыбы». «Невыходы» бывают общие, охватывающие весь водоем — все море или всю реку, — и частичные, местные. Тут был, конечно, только частичный, местный. Рыба волила густо, валила как по трубам по всем остальным семидесяти четырем Волгам, кроме одной этой, семьдесят пятой, Андросовской. То же самое явление, такой же «невыход», наблюдался и в открытом море, на всем обширнейшем предустьевом водном пространстве против Андросовского. Там тоже рыба — как вымерла.

Овладевало неприятное, тревожное чувство, когда на этом, самом богатом рыбой участке Волго-Каспия, вдруг поднимали из воды порожнюю, чистую, даже не загрязненную илом и травой сеть. Хотя бы одна, хотя бы какая-нибудь, самая маленькая, самая негодная молявка застряла в ячее сетки. Ни одной. Никакой. Ничего живого. Никаких признаков того, что тут когда-нибудь жила и вообще может жить рыба. Водоросль «верблюжатник», обыкновенно забивающая собой клетки ячей, и при-

донное насекомое «стонога», вроде морской блохи, пожирающее нитку сетки, — и те исчезли.

Странной игре природы разные люди Андросовского поселка давали разные объяснения.

Нашлись в числе местных жителей и такие, которые в связи с внезапным исчезновением рыбы самым серьезным образом ожидали землетрясения с возможным провалом всей здешней земли в Каспийское море. Иные из них даже улавливали в воздухе сернистый запах газа, «похожего на вулканический». И многие семьи устраивались на ночь под открытым небом, развешивая над каждой постелью, как над детской колыбелью, белый марлевый полог от ужасающего количества каспийских комаров. Кое-кто из людей предусмотрительных на всякий случай помаливалась Богу — тайком от своего месткома, конечно. И чувствовалась настоятельная необходимость в громком, крепком, авторитетном голосе науки. Но краевая наука в лице Астраханской научной рыбохозяйственной станции, все еще считавшая себя слишком молодой для самостоятельных выступлений, упорно отмалчивалась, словно вовсе не существовала это время. Тем более молчали другие учреждения, не компетентные в этих вопросах. И только один астраханский горком партии не бездействовал и в ответ на донесения Андросовского завода сыпал и сыпал ему, точно пули, одну за другой сильные, чеканные, лаконически составленные и как бы говорящие человеческим голосом радиogramмы.

...«Никаких оппортунистических ссылок на объективные причины...» «Полностью выполнить промфинплан...» «Суровая партийная ответственность прорывщиков...» «Шляпам не место в победоносном социалистическом хозяйстве...»

И треугольник Андросовского — директором, парткомом, профкомом, — оправившись от первого замешательства, в один прекрасный день в момент переключают работу всего людского коллектива завода-гиганта на ловлю в прилегающих болотах лягушек для экспорта.

Шаг этот не содержал в себе ничего ни удивительного, ни неожиданного.

С одной стороны, было известно, что в Астрахани, в управлении Волго-Каспийского госрыбтреста, лежат заказы на местных лягушек от некоторых стран Западной Европы. С другой — было также известно, что в районе Андросовского за последние годы, благодаря хорошим условиям жизни, расплодилось такое множество лягушек, что иной раз казалось, что не человек здесь оседлый

полновластный хозяин, а именно они, лягушки. Придешь — после работы на заводе — к себе домой, войдешь в комнату, зажжешь электрический свет, а там уже сидит посреди пола, блестя выпуклыми глазными шарами, неуклюжая лягушка с низко приплюснутой головой, без шеи, с широким ртом. Заглянешь в какую-нибудь пустую коробку или порожнее ведро — и там, в коробке или ведре, на дне, тоже притаилась, как куропатка перед охотником, такая же отъевшаяся лягушка с расплывающимися боками, точно собирающаяся родить. Везде и всюду лягушки. Или повывезают, как по команде, в определенные погоды несметными полчищами из своих убежищ в окружающих болотах; оцепят завод неразрывным кольцом, как осаждающая армия; наведут на него тупые, немного приподнятые морды, точь-в-точь как пушечные жерла; и сидят; и глядят; и кричат, надув зобы, миллионами раздирающих голосов. Но прежде чем кричать всем вместе, сидят некоторое время молча, даже не переквакиваются с ближайшими соседями, ждут своего запевалу, который должен дать на сегодня и тон, и мотив. Запевала начнет в полной тишине дня или ночи, выведет несколько фигур сам, соло; все послушают его одного; затем пристанут к какой-нибудь его строфе, повторяют ее вместе с ним и только уже потом поют цельным единодушным миллионным хором. И в случае чего-нибудь — даже бежать от них некуда: вокруг завода — болотная непроходимая топь, камышовая непролазная чаща, глухое бездорожье...

Для задуманной облавы на лягушек заводоуправление, кстати, пригласило и вторых членов семей рабочих и служащих завода, уже надоевших конторе вечными приставаниями дать им какую-нибудь работу.

На это приглашение особенно дружно откликнулись подростки. Когда они сбежались к конторе записываться, никто из взрослых андросовцев не хотел верить, что в их поселке столько подрастающей детворы. Родители удивились количеству собственных детей.

— Неужели все наши?! Неужели не из колхозов понабежали?!

Мужчины, женщины, подростки в назначенный день собрались на центральной поселковой площади — возле кирпичного пожарного сарая — и перед выходом в болота на облаву, как перед отправлением на народную войну, выслушали речь своего старшего.

Говорил помощник директора завода, пожилой человек, по внешности ничем не отличающийся от рядового рабочего. Стоял

у одного края толпы, на высоком наносном песчаном бугре. Размахивал руками.

— ...И выкиньте вы из головы этот религиозный дурман!.. Прекратите сеять панику в массах!.. Бросьте мне говорить, что лягушка животное нечистое, что ее нельзя в руки брать, что она мочится на руки, если ее возьмешь, и что от этого появляются на руках бородавки!.. Ничего подобного!.. Глупости все это!.. Никаких бородавок! Наполовину сухопутное творение, наполовину водяное, и притом всегда плавающее, лягушка, поверьте мне, чище нас с вами!.. Только что не умывается с мылом! Смотрите все сюда!.. Вот у меня в руках, с вашего разрешения, живая, только что пойманная лягушка!

— Не видно! — протяжно заголосили, зашумели в толпе. — Плохо ви-идно!.. Стань повы-ыше!.. Поворотись к этому боку! К этому, да!.. Еще немного! Так!..

Помдиректора хорошенько притоптал расплзающийся под ногами песок, вылез повыше, на самую макушку песчаного бугра, поднял руку с лягушкой.

— Как видите, экземпляр неплохой! Таких мало даже у нас! Около кило чистого веса!

В толпе послышался довольный смех. Полетели с мест веселые замечания.

— Ого! Кило весу! Вот полакомится какой буржуй!

— Этой и на двоих хватит, буржую с буржуйчихой!

— Пускай едят, поправляются, нам такого дерьма не жалко!

— Тяжелее иной андросовской курицы! — хвалился помдиректора.

— А жаба твоя не несется, часом? Ты гляди..

— Товарищи, это не жаба! — громко предупредил помдиректора. — У жабы по всему телу крупные бородавки, а у этой их нет! Потом, как вы видите, у лягушки задние ноги в два раза длиннее передних, чтобы сильнее прыгать... Лягушка может подскочить с места на аршин в высоту и поймать на лету муху, пчелу... А жабе этого не сделать никогда. У нее что передние, что задние ноги — одинаковой длины, поэтому она вовсе плохо прыгает, совсем не скачет, но зато хорошо бегаёт по земле, как крыса, на всех четырех ногах, с поднятым над землей туловищем... Смотрите, не ловите мне жаб, их не едят!.. Да вы их и не увидите, они выходят кормиться только ночами... Ловить надо вот такую породу лягушки, как у меня в руках, — зеленую... Только зеленую! Все тело у нее, как видите, зеленое, покрытое кое-где черными расплывчатыми пятнами... По длине туловища

проходят три желтые продольные полосы: одна по хребтине, две по бокам... Щеки черные с мраморным рисунком. Живот и весь низ белые... Вокруг глаз желтые кольца... Эта порода лягушек выбирает такие места, где больше зеленой травы, а на воде любит греться на солнце тоже на зеленом плавучем листе водяного растения...

Тут помдиректора нежно прижал лягушку к груди, как котенка. И тотчас же в разных местах толпы стали демонстративно отплеиваться, шумно харкать в землю, строить гадливые гримасы, отворачивать в сторону лица, чтобы не видеть.

— Напрасно, напрасно, товарищи, плюетесь! — заметил их движения помдиректора. — Напрасно кривите лица! Никакой противности в ней не вижу! Ровно никакой!..

И он нарочно приласкал лягушку, как птичку.

По толпе открыто покатился рев неодобрения, неудовольствия, протеста.

— Рыбу брать в руки, мокрую, скользкую, вам не противно, а ее, сухонькую, чистенькую, противно?! — вдруг закричал на толпу помдиректора, и лицо его стало другим, некрасивым, колючим, злым.

Молодая бабенка в белом платочке, ухарски выступив из толпы одним плечом вперед, взяла руки в боки, мотнула влево-вправо хвостом и звонко прокричала:

— Поцелуйся с ней, тогда мы поверим, что не боишься!

— Ха-ха-ха! — прорвалась площадь сочным поголовным хохотом: — Го-го-го!..

Но помдиректора не растерялся и не остался у работницы в долгу.

— На, поцелуй ее ты! — сделал ударение на «ты», с силой ткнул он к бабенке лягушку, нарочно повернутую задним концом вперед.

Еще дружнее, еще шире взорвался на площади массовый хохот. Хохотали так, что помдиректору долгое время нельзя было продолжать говорить. Всюду хвалили за смелость языка и работницу, и помдиректора.

— Смотрите сюда! — наконец получил возможность продолжать помдиректора. — Вот я держу лягушку так, не боюсь... Теперь переворачиваю таким манером, белым животом вверх, и тоже не боюсь... Где она мочится на руки? Нигде! Ровным счетом нигде! Сказки все это!.. Теперь сажаю ее себе вот сюда... Потом сюда... Могу пустить в рукав, куда хотите... И ничего мне от нее не будет, ничего, кроме пользы...

— Мы тоже не боимся! — зазвенели в толпе высокие, взволнованные мальчишеские голоса. — Дай-ка нам ее! Мы и за воротник рубахи к себе ее пустим, и на голову к себе посадим, не побоимся!

— Правильно! — весело поддержал их помдиректора. — Правильно, ребята, делаете, что не боитесь! Какая она, против нас с вами, маленькая, и какие мы с вами, против нее, большие!.. И бояться ее нам даже очень стыдно! В особенности мужчинам! Тем более что среди них тут находятся несколько человек красных партизан! Эти вовсе должны бы быть примером...

Выступление на площади помдиректора сыграло большую положительную роль. Оно не только обогатило отряд кое-какими полезными для дела знаниями, но еще и настроило всех очень весело. Шутили, острили, смеялись и гоготали без конца.

— Если хорошо приготовлена лягушка, на коровьем масле да с разными кореньями, я задаром съел бы ее.

— И не только один ты. В таком виде многие съели бы. И Власов напрасно похвалился, что даже за сто рублей не согласится попробовать ее. За такие деньги он любую жабу заглотит живьем. Без всякого масла.

Наконец — с сетяными сачками на длинных палках, как с ружьями, на плечах, с порожними мешками для складывания добычи, с ломтем ржаного хлеба в узелочке у пояса, одетые во все легкое, старенькое, негодное, — выступили в поход.

— Свой народ сосчитали? — перед самым отходом строго опросил бригадиров помдиректора.

— Сосчитали.

— Смотрите не потеряйте кого...

— Не потеряем!

— Очень легко заплутаться в камышах.

— Не заплутаемся! Здешние, чай. Не чужестранные.

Прилегающие к заводу девственные болота Волго-Каспия за все тысячелетия своего существования впервые подверглись такому многолюдному и так хорошо организованному штурму.

Водоплавающие птицы первыми ринулись из болота: сперва улетели по воздуху все здоровые; потом вслед за ними где поплыли по воде, где потащились посуху больные, волоча за собой бездействующие крылья.

Лягушки же до такой степени привыкли считать себя здесь в полной безопасности, что первая партия их, попав в оцепление, была ошеломлена от неожиданности и в первый момент

потеряло всякую волю над собой, сидела, как была, не двигая ни одним мускулом. И люди спешили пользоваться этим, целыми пачками снимали их сачками и с лужиц и с кочек, как разливательными ложками снимают с супа пену. Мешки за спинами приятно тяжелели, наполнялись живым, отчаянно шевелящимся грузом. И преданные своему делу хозяйственники мысленно уже оформляли предлог, под которым можно будет безболезненно снизить поштучную расценку за лягушек процентов на пятьдесят и на столько же повесить дневную норму вылова...

Зато потом что ни день, то ловить становилось труднее. Лягушки в борьбе за свою жизнь неожиданно проявили и силу, и ловкость, и, главное, необыкновенную рассудительность. И чтобы не снижать уловы, приходилось все больше и больше удаляться от территории завода. Лягушки же с ближайших болот при малейшем приближении к ним охотников мгновенно соображали, в чем дело, и кидались кто куда — спасаться. Одни забивались в темную, совершенно недоступную для человека чаще камыша и настороженно глядели оттуда, из-за леса прочных палок тростника, как из-за железных прутьев тюрьмы. Другие — и без того бесформенные, широкие, к тому же еще растопыря все четыре конечности, совсем как водолазы, — оседали в прозрачной воде на дно глубокого омута и терпеливо высжиживали там в полной беззвучности, пока люди с сачками не проходили дальше.

Что же касается поведения самих людей и их самочувствия, то все они вначале приступили к незнакомому делу вяло, без подъема, с брезгливостью, даже с опаской. Но вскоре в их крови пробуждались сильные праотцовские инстинкты охотников-звероловов, и они, с приготовленными сачками, с хищно ощеренными улыбками, похожие на первобытных людей, так горячились, так увлекались погоней за иной обманувшей их квакушей, что преследовали ее по убийственной почве — а иногда вовсе без всякой почвы, по воде — очень долгое время, пока вовсе не выбивались из сил. То там, то здесь в скрытой от постороннего глаза чаще тростника хлопал по пустой воде их неутомимый сачок на месте опять ускользнувшей из-под него квакушки и раздавались по ее адресу их длинные изнеможенные проклятия. В азарте, если попадались под руку другие лягушки, хлопали и по другим — по желтой, по сплошь синей, по красно-бурой, которых — говорил помдиректора — не едят.

Борясь за максимальную цифру вылова, соревнуясь звено со звеном, бригада с бригадой, колонна с колонной, — не счита-

лись решительно ни с чем, ни с какими опасностями, ни с какими лишениями.

Разутые, с закатанными до самого живота брюками или с высоко подобранными юбками, не морщась, шагали по ледяной воде случайно встреченного родника, ступить в который босой ногой в другое время ни за что не решились бы. Как на войне под градом пуль, легким шажком, едва касаясь ногами земли, бесстрашно пробегали по тонкой, как бумага, поверхностной пленке трясины, вздутой, как пуховая перина, и, по-видимому, очень глубокой. Не замечали на себе струй крови при порезах ног, рук о попадающиеся на каждом шагу листья тростника, длинные и гибкие, похожие на сабли. Не обращали внимания на сопровождавший каждого из них рой комаров. И только изредка при особенно затажном комарином укусе в мягкое место ноги вдруг делали отчаянный, рекордсменски-высокий, по вертикали, скачок на месте, выше самой высокой метелки камыша, точно на момент взгромоздясь на ходули и тотчас же шлепнувшись с них.

Ни контролировать, ни подгонять не требовалось никого. Наоборот, многих — в особенности из молодежи — приходилось удерживать. И бригадиров то и дело брал страх, как бы некоторые особенно горячие натуры, слишком отдалявшиеся от своей бригады, не угодили бы в пасть волка.

Как и следовало ожидать, больше всех усердствовали на новом поприще подростки, и как будто специально для них стояла все дни прекраснейшая погода. Будто для них с утра до вечера светило на безоблачном небе жгучее каспийское солнце. Для них во время их отдыха на случайных лужайках резко благоухали роскошные, сочные травы; заманчиво пестрели странные, произрастающие только тут, никогда не виданные цветы. Для них выпекался в заводской столовой такой отличный, такой ароматический ржаной хлеб — пшеничного пирога с начинкой не надо. Для них пробегала среди кочек такая прозрачная, такая вкусная ключевая вода — сладкого чая не надо...

— Филька, ты ведмедей боишься?

— Нет. А ты?

— Тоже нет.

И у обоих глаза от страха громадные, слух напряженный, движения неуверенные...

— Нюша, гляди-ка, каких я цветиков набрала. Давай сядем здесь, будем венки плести.

— А бригадир?

— А мы и ему сплетем один.

— Очень нуждается он в нашем венке! Ему как бы побольше лягушек наловить, премиальные получить.

Подросткам было тут хорошо, свободно, весело; и они с упоением перекликались между собой в камышах, как в грибной сезон в лесу.

— Манья-а-а!

— Ванья-а-а!

— Вот дьяволы, — ворчали на них старики. — Не столько ловят, сколько пугают своими криками. Разве я столько бы наловил, если бы с нами не было этих чертей? Обязательно уже второй мешок набивал бы товаром.

— Ай!.. Змея!.. — вдруг разносился далеко во все стороны дикий пронзительный визг девочки лет четырнадцати, в то время как она сама, не по годам рослая, с подобранным животом, с распущенными волосами, на длинных голых ногах, согнутых в коленях, неслась вприпрыжку быстрее лошади куда глаза глядят, побросав и сачок и мешок... Под ее ногами, как под падающими снарядами, вздымались столбы болотной воды, трещал, гнулся до самой земли и ломался камыш...

— Глупая, вернись назад, собери свой инструмент! — прибежал на ее крик случайно находившийся поблизости бригадир. — Какая же это змея, когда это живой сазан! Смотри, какой крупный! А вон другой, вся спина торчит из воды. Тут, в этих лужах, много еще встретится разной рыбы: сазанов, лещей. Она попадает сюда вместе с водой во время приливов и живет тут, пока ее не заметят здешние хищники: птица, зверь...

— И люди?

— Люди — нет. Люди ее не трогают. Людям она не нужна, у тутошних людей у самих рыбы по горло, они не нуждаются в ней. Ведь ты сейчас ее с собой не возьмешь. Так и каждый. На что она ему, когда у него дома даже кошки не едят рыбы, надоела.

— Дядя бригадир, а гадюк тоже брать? — спрашивал по пупку в воде мальчишка без шапки, с золотистой, светящейся на солнце головой, храбро держа перед собой в судорожно зажатых пальцах маленького зеленого, под цвет тростника, извивающегося ужонка, на ощупь твердого, как гвоздь.

Мальчишка, конечно, скрыл свои совсем малые годы, когда записывался на работу, и теперь наслаждался здесь, на свободе, вдали от родительских глаз.

— Ну и большевики! — без конца вздыхали взрослые рыбпромысловые рабочие и в удивлении мотали опущенными

головами, точно сильно пьяные, отдыхая в пронизанной солнцем зеленой гуще камыша, как в зеленой беседке, сидя на туго завязанных мешках с живыми лягушками и с жадным удовольствием покуривая. — Ну и большевики!.. Уже добрались и до лягушек! За такое дерьмо будут получать золото!.. Скоро доберутся и до этого камыша... Камышом начнут торговать!.. Ну и больше-ви-ки!..

В ту памятную для андросовцев путину распластанными лягушачьими тушками, точь-в-точь как дамскими пятипальными перчатками, были унижены все деревянные вешала завода, на которых в нормальное время спокойно провяливалась на солнышке разная второсортная рыба: воблешка, лещик, мелкий судачок, бершовик...

И вопреки предсказаниям завистников — промфинплан опять блестяще был выполнен!

Больше того: благодаря экспорту за границу лягушек завод нечаянно принес государству свою обычную прибыль в ценной валюте, которую до того времени давала на Андросовском только высокосортная черная икра.

Директора завода премировали велосипедом. Помдиректора — самоваром. Бригадиров и отличившихся ударников из рабочих наградили денежными премиями и именными почетными грамотами.

Весть о новом успехе Андросовского быстро облетела весь рыбопромысловый Волго-Каспий. И в скором времени на некоторых других рыбозаводах был поставлен новый доходный промысел: к прежним старым, успешно работающим цехам был присоединен еще один, заново оборудованный, постоянно работающий цех — цех по заготовке лягушек для экспорта.

Комментарии

В 1928—1929-м годах «Московское товарищество писателей» выпустило пятитомное собрание сочинений Николая Никандрова. В последующие годы к ним было присоединено еще два тома. В них были опубликованы произведения, созданные писателем в советское время. Когда же с конца 40-х годов вновь начали появляться сборники Никандрова, в них публиковались в основном его вещи, написанные до революции. И лишь отдельные произведения из его «морской серии» 30-х годов, и еще повесть «Гурты в степи» (первоначальное название — «Скотина») призваны были дать читателю представление о том, что же писалось им в 20-е и 30-е годы и последующие десятилетия.

Настоящий сборник, куда вошли лучшие сатирические произведения писателя, появившиеся именно в это время, должен восполнить существенный пробел в восприятии его наследия.

Сатира занимала важное место и в дореволюционном творчестве Никандрова. На сильную сторону его писательского дарования — наблюдательность и юмор — обратил внимание М. Горький. Это же качество выделял А. И. Куприн. Уже в 10-е годы получили широкое признание такие его сатирические произведения, как «Ротмистр Закатаев», «Горячая», «Во всем дворе первая». Но тогда они соседствовали с рассказами этнологического характера. В 20-е же годы Никандров выступил исключительно как сатирик, обрушив свой гнев на мещанско-обывательскую стихию, мощно взывавшую в окружающей действительности.

В какой-то период бытовало мнение, что сатира Никандрова «не обличительно-гневная, а мягкая», что юмор его «при-

глушен»¹. Однако читая «Профессора Серебрякова», «Рынок любви», «Путь к женщине», «Зеленых лягушек», видишь, как далека эта оценка от истинной. Думается, что эти произведения вполне могли создать ситуацию, при которой «излишняя резкость»² писателя была взята на заметку.

В предлагаемой книге собраны произведения Никандрова, не только отражающие его тяготение к «сатирическому тону», но и те, которые воплотили специфику его творческой манеры. Выводя на первый план «огнеупорный быт», подчеркивая зависимость природы человека от окружающей среды, явное «отставание» его психики и сознания от изменяющихся условий, Никандров обставляет это изображение массой деталей. И для проницательного читателя эти многочисленные подробности — «все подробности» — оказывались самым ценным в его творчестве. «Он, — писал С. Н. Сергеев-Ценский, — с величайшей щедростью нанизывает мелочь на мелочь, и этот "фламандской кухни пестрый сор" в каждой из его вещей создает незабываемую картину <...>. Они (произведения. — М. М.) именно "подробны до чрезвычайности", в этом не слабость их, а сила, в этом оригинальность Никандрова как писателя»³.

Принцип расположения произведений в книге «Путь к женщине» — жанрово-проблемный. Повести «Профессор Серебряков», «Любовь Ксении Дмитриевны», «Рынок любви», роман «Путь к женщине», рассказы «Все подробности», «Катаклизма», сатирическая аллегория «Зеленые лягушки», рассказ-полилог «Руда» дают возможность познакомиться с большими и малыми формами в творчестве писателя. А нарастание аллегорически-притчевого начала, достигающего кульминационного воплощения в «Скотине» и третьей части романа «Путь к женщине», исчезновение установки на внешний комизм положений и характеров дают представление о направлении развития дарования Никандрова.

Учитывая сложность постижения авторского замысла и необходимость установления исторического контекста создания и восприятия его произведений, комментатор счел обязательным широко использовать критические отзывы, появлявшие-

¹ РГАЛИ. Ф. 1161 (С. Н. Сергеев-Ценский). Оп. 1. Ед. хр. 186. Л. 2.

² См. внутреннюю рец. А. Лациса на том «Избранного» Никандрова. — РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 24. Ед. хр. 84. Л. 101.

³ РГАЛИ. Ф. 1161 (С. Н. Сергеев-Ценский). Оп. 1. Ед. хр. 186. Л. 2.

ся в периодике 20—30-х годов, а также архивные материалы и переписку писателя.

ПРОФЕССОР СЕРЕБРЯКОВ. Впервые: «Недра». Литературно-художественный сборник. Кн. 5. М., 1924. Печ. по изд.: *Никандров Н.* Любовь Ксении Дмитриевны. Рассказы. М., 1926. В основу этой повести, как и писавшегося несколько ранее «Диктатора Петра», легли наблюдения Никандрова над жизнью интеллигенции в изолированном Гражданской войной Крыму. Однако первым импульсом к ее написанию, возможно, послужили хождения самого Никандрова по «коридорам власти», когда он пытался устроиться на работу в минский Земсоюз. «Тутошный мир — материал для Диккенса, вся эта земгусария со спорами...», — делился он впечатлениями со своим издателем Н. С. Клестовым-Ангарским в январе 1917 г. (РГАЛИ. Ф. 24. Оп. 1. Ед. хр. 50. Л. 17). Ситуация же, изображенная в «Профессоре Серебрякове», переживалась самим писателем, когда он по долгу службы должен был обеспечивать нуждающихся писателей и ученых Крыма продовольствием. В письме к К. Треневу он жаловался: «Он (П. А. Сергиенко, занимавшийся распределением пайков. — М. М.) стал отправку Вам откладывать, потом забывал, я напоминал, он опять позабывал. <...> писатели русские получить паек не могут. А продукты между тем выдавались и выдавались <...>. Последняя его отговорка: у него нет ящиков для отправки Вам продуктов. Это при складе в несколько десятков или сот миллиардов рублей. Тогда я сам взялся сделать эти ящики <...>. Он заказал мне сделать их меньше размером, чтобы меньше класть в них продуктов. Когда я пришел укладывать Ваши ящики, он дает мне ордер в склад: 10 ф. муки и пр. Я, пораженный, начинаю ему говорить то, что надо. Происходит неприличный торг, в результате которого он не уступает. "Им важно моральное значение посылки, что кто-то о них думает!" — возглашает он. <...> Человек он старый <...> моментами он бывает очень хорош, мил, прекрасен, а моментами невозможен, неровен очень. Для такого дела не годится, а правит между тем единолично <...>. Я тут вблизи и то не могу получить то, что имею право получить. <...> Между прочим, я просил денег купить веревку для перевязки Ваших ящиков. Он: "Не надо, лишняя трата денег". Так и не дал. <...> А так святой, душевный человек». (РГАЛИ. Ф. 1398. Оп. 2. Ед. хр. 415. Л. 1–2. Письмо от 11 февраля 1922 (? г.)

Никандров упорно работал над произведением, учел все замечания Клестова-Ангарского, результатом остался доволен: «Вышло значительно <...>. Вещь оховая» (РГАЛИ. Ф. 24. Оп. 1. Ед. хр. 50. Л. 39(об)). Читатель также оценил повесть, выпуск «Недр» с этим произведением пользовался «большим успехом» (см. письмо Н. Никандрова Н. С. Клестову-Ангарскому от 7 июля 1924 г. — РГАЛИ. Там же. Л. 34).

Привлекательность «бытового материала» повести, яркость «отдельных сцен» — например, в заготовительной конторе — отмечал критик А. Лежнев, в целом содержание вещи проинтерпретировавший как «историю уездной волокиты», при которой причитающееся по закону можно получить только «нелегальным способом» («Красная новь». 1924. № 6). Л. Войтоволковский как главный побудительный мотив поведения профессора выделил голод, который оказывается «сильнее теоретических принципов» («Новый мир». 1926. № 3). Замечания же были традиционны: рыхлость и растянутасть повествования.

При публикации повести были переставлены местами в конце несколько абзацев, а также опущена фраза, следовавшая за словами «он протягивал от предков к потомкам ниточку правовых знаний»: «...он со своей работой был звеном той бесконечной цепи, которую вечно кует и будет ковать изыскующая наука, не знающая ни времени, ни отечества». Также был изменен финал. В рукописи повесть заканчивалась следующим эпизодом:

«Встретил однажды профессор, идя с продуктами, и т. Аристарха.

Тот обрадовался удаче профессора бесконечно.

— Дорогой мой! — вскричал он горячо и, глядя на увеличивающуюся седину профессора и сравнивая ее со своей, у кого больше, долго и бешено по-братски тряс руку профессора в своей руке, остановив среди дороги автомобиль и соскочив на землю.

— Ну вот видите! Все-таки, значит, получили академический паек! Я страшно рад, я страшно рад! — повторял он почти в слезах и потом, уже в автомобиле, когда машина тронулась и уносила его с собой, он встал во весь рост, обернулся назад к оставшемуся на дороге профессору, бодро взмахнул по воздуху рукой и, сияющий, полный глубокой веры, прокричал:

— Жизнь налаживается!!!» (ОР РГБ. Ф. 784. Карт. 10. Ед. хр. 17.)

С. 38. Губсоюз — губернский союз потребительских кооперативных организаций.

С. 44. Швальня (устар.) — портняжная мастерская.

С. 45. Упродком — управляющий продовольственным комитетом.

С. 53. Упрофбюро — уездное профбюро.

С. 54. Всерабис — Всероссийский союз работников искусств.

С. 55. Куруп — курортное управление.

С. 56. Уком — уездный комитет.

С. 59. Дрогаль (обл.) — ломовой извозчик.

С. 60. Цвельый — гнилой, покрытый плесенью, применитель-но к картофелю — проросший.

С. 69. АРА — American Relief Administration. Американская администрация помощи, существовавшая в 1919–1923 гг. Возглавлялась Г. Гувером. Задачей провозгласила оказание продовольственной и другой помощи европейским странам, пострадавшим во время Первой мировой войны. В 1921 г. в связи с голодом в Поволжье деятельность организации была разрешена в России.

С. 70. Блажен муж ... — Пс. 1: 1 (Псалом Давида «Два пути»).

С. 76. Мука-шеретовка — мука грубого помола.

С. 78. Орточека — местный орган Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (транспортное подразделение).

ЛЮБОВЬ КСЕНИИ ДМИТРИЕВНЫ. Впервые: «Недра».

Литературно-художественный сборник. Кн. 7. М., 1925. Печ. по изд.: *Никандров Н.* Любовь Ксении Дмитриевны. Рассказы. М., 1926. Вскоре после выхода повесть была переведена на польский язык.

В хранящемся в ОР РГБ (Ф. 784. Карт. 10. Ед. хр. 18) варианте главы имели названия: «Неожиданная встреча» (1), «Дача в лесу» (2), «Валерьян Валерьянович» (3), «В доме шоферов» (4), «Андрей Птицын» (5), «Новая жизнь» (6), «Любовная философия Геннадия Павловича» и др. Однако в окончательном варианте автор отказался от заголовков, хотя само деление на главы было сохранено, так как сам Никандров придавал большое значение «четкому делению текста» (См. письмо Н. Я. Москвину от 2 мая 1961 г. — РГАЛИ. Ф. 2592. Оп. 1.

Ед. хр. 124). Повесть также подверглась автором значительному сокращению. Были исключены, например, следующие рассуждения Геннадия Павловича о любви: «На самом деле, что такое любовь? Где точные очертания границ этого расплывчатого неуловимого чувства? Любовь как нечто возвышенное, исполненное таинственного содержания отходит в область преданий. И скатертью ей дорога. Нам не нужны чувства туманные, загадочные, которыми мы не в состоянии овладеть <...> ты предаешься скорби о том, что наша связь так скоро оборвалась! Как скоро? Разве это скоро? Мы с тобой прожили целых 6 лет! Тебе этого мало? Ты не ребенок, должна понимать, что вечного счастья нет. Кроме того, подумай о том, сколько на этом свете женщин одиноких, интересных, прекрасных, достойных, которые даже такого короткого счастья не вкусили, которое я дал тебе!» — и т. п.

Рецензентами отмечались «ценные бытовые и психологические штрихи», которыми обрисован «сам по себе довольно любопытный и острый с социально-бытовой стороны эпизод» (Зорич А. — «Правда». 1925. № 221. 27 сентября). Заметив, что «сама по себе тема повести не так уж плоха», в духе распространенных в 20-х годах романов «перевоспитания» истолковал ее содержание А. Лежнев: «Из бывшей барыни, не знающей труда, советская действительность выковывает женщину самостоятельную, умеющую работать, уважающую труд» (Литературные заметки. — «Печать и революция». 1925. № 8). Однако уверенности, что именно эта идея положена в основу повести, у критика не было. Но свое сомнение он объяснил неудачей автора, его непониманием процесса перековки и перевоспитания буржуазных элементов: «Вещь заканчивается так, что идея ее обращается в собственное отрицание», то есть «новая женщина», забыв об обретенной ею социальной роли, по первому зову возвращается к семейному очагу. Критик даже признает, противореча своим предшествующим утверждениям, закономерность подобного финала, но выяснить, в чем же причина происшедшей «рокировки» идей, не пытается. Трактую образ Ксении Дмитриевны как иллюстрацию к «борьбе женщины за принадлежащее ей место в новом быту», критик Д. Горбов утверждал, что писателю еще далеко до создания образов «целостного социально-психологического реализма», что у Никандрова разработка интеллигентской психологии, описание превращения ее «в активную трудовую» носит «упрощенный характер» (Новая женщина в литературе. — «Известия». 1928. № 59. 9 марта).

На необедительности перерождения Ксении Дмитриевны настаивал А. Зонин («Октябрь». 1925. № 11). «Из строк выпирает, что барыня есть барыня и запросы у ней духовные — “другой среды”... а люди физического труда — Гаша и муж ее (коммунист) шофер Андрей — грубые, неотесанные мещане», — писал он, видимо, не догадываясь, что в намерение Никандрова не входило изображать «рабочее» окружение героини как среду, способную целительно воздействовать на человека. Угол зрения, под которым изобразил Никандров «новый быт и новых людей», не устроил и Л. Войтоловского, укорившего писателя за то, что, стремясь «придать своим вещам нарочитую советскую злободневность», тот рассматривает действительность «в щелочку», схватывает ее «на лету» («Новый мир». 1926. № 3). Некоторые же критики, отождествив точку зрения героини и автора, утверждали, что для писателя Гаша и ее муж — «милые и простые люди» — являются носителями «неприкрашенной народной правды» (Юргин Н. — «Красная новь». 1925. № 8; Зорич А. — «Правда». 1925. № 221. 27 сентября; Войтоловский Л. — «Новый мир». 1926. № 3).

Как и в случае с появившейся позднее повестью «Пешком вокруг Крыма», писателя заподозрили в сочувствии к «мещанской идиллии», отсутствии критического отношения к изображаемому, намерении создать «песнь» торжествующей пошлости (Николаев Я. — рец. на «Недра». Кн. 14. — «На литературном посту». 1928. № 7). Как видим, сложное отношение автора к своей героине — смесь сочувствия, жалости, негодования и презрения, окрашенных нотой понимания, — никто из критиков уловить не смог.

С. 87. Наркомздрав — Народный комиссариат здравоохранения (центральный орган государственного управления отдельной сферой народного хозяйства).

С. 98. Фильдекос — крученая пряжа из хлопка, имеющая вид шелковой нити.

С. 117. Тихон (в миру — Василий Иванович Беланин, 1865–1925) — патриарх Московский и Всея Руси (с 1917). Выступил против декретов об отделении Церкви от Государства и об изъятии церковных ценностей. Арестован в 1922 по обвинению в антисоветской деятельности. В 1923 обратился к духовенству и верующим с призывом сохранять лояльность по отношению к советской власти. В том же году выпущен из тюрьмы, находился под домашним арестом.

С. 129. Каскет — кепи.

С. 139. Исполать — хвала, слава, словно.

РЫНОК ЛЮБВИ. Впервые: альманах «Наши дни». № 4. Пг., 1924. Печ. по изд.: *Никандров Н.* Собр. соч. М., 1928. Т. 3. В предполагавшемся к изданию в 1957 г. томе «Избранного» Никандров хотел дать повести другое название — «Кооперация любви».

В критике отмечалась значительность изображенных писателем общественных явлений, фактографическая точность деталей («Ленинградская правда». 1924. № 128. 7 июня). В целом же повесть рассматривалась рецензентами как натуралистическая. Именно изъянами натуралистического бытописательства объяснялась неудовлетворительная, как им казалось, «обработка» темы, которая представлялась устаревшей, не соответствующей духу и интересам переживаемой эпохи (см.: *Фурманов Д.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1961. Т. 3. С. 342. — Рец. на альманах «Наши дни»). К основным недостаткам повести отнесли неспособность автора нарисовать «новый художественный тип» («Красный журнал для всех». 1924. № 9), не заметив, таким образом, очевидную новизну характера Шурыгина, выпестованного особенностями новой действительности. А ведь именно к нему может быть отнесена похвала, которой удостоился Никандров за постоянство, с которым он вскрывает причины живучести мещанства в любой среде, в любой обстановке (см. рец. Н. Кременского на повесть Никандрова «Пешком вокруг Крыма». — «Новый мир». 1928. № 6). В этом направлении двигалась и мысль критика «Нового мира» (1925. № 2). В повести Никандрова главное место, писал он, занимает «не проблема пола, семьи и вообще нового быта. Здесь все от портретной галереи Гросса⁴. Герой — паразит из Центросоюза, жиреющий на сытых пайках, спекулянт, взбесившийся от полового голода... Он цепок и жаден до жизни. У него только одна цель, которая не дает ему покоя: это — выгодная сделка... Он доходит до кошмаров, до трагического ужаса от одной мысли, что он не гарантирован от обмана в этих щекотливых операциях».

⁴ Гросс (Grosz) Жорж (1893—1959) — нем. график и живописец. В подчеркнуто гротесковой манере обличал буржуазный строй в графическом цикле «Лицо господствующего класса» (1921).

К сожалению, кроме него, всеми остальными экспрессивно-концентрированная манера Никандрова в изображении отрицательных сторон жизни не была принята. «Пессимистическое истолкование быта» критик журнала «На литературном посту» (1927. № 5–6) объяснял пристрастием писателя к «болезненным мотивам», к изображению действительности «в подчеркнута черных тонах». На взгляд критика «Ленинградской правды» склонность художника к «шаржу, анекдотам» в значительной мере обесценила повесть. В качестве наиболее надуманной приводилась им сцена вычисления товарной стоимости на «рынке любви» надоевшей любовницы. Так же, меряя повесть Никандрова меркой житейской правды, в своей, не лишенной метких наблюдений статье, А. Рашковская («Русский современник». 1924. № 3) упрекнула его в «скоплении» на страницах произведения «тошнотворных ужасов» и одновременно в «фальшивом “жизненном” правдоподобию». Каким-то образом обнаружила она у автора «традиционный для нашей литературы учительский тон» и сочла, что он-то и определил смещение шкалы ценностей, и писатель вместо того, чтобы обличить пошлость, сам, начав поучать, создал «пошлую вещь».

Отдавая должное «бойкому и опытному перу» Никандрова, его «огромной наблюдательности и мастерству», критики в целом сожалели, что писатель потратил время на «тщательную и филигранную» обработку «пустяковины» («Ленинградская правда»). Существовало, однако, и иное мнение. Так, Ю. Соболев считал, что замысел изобразить гуляющих девиц с Тверской «в образах, <...> взятых с картин Гойи», — сам по себе интересен. С помощью «чудовищного гротеска» можно действительно раскрыть «всю социальную значимость явления», нарисовать «большое полотно». Но писатель не справился с этой задачей («Вечерняя Москва». 1926. № 152. 6 июля).

С. 142. Центросоюз — Центральный союз потребительских кооперативных организаций.

С. 155. Мадаполам — хлопчатобумажная бельевая ткань. Маркизет — тонкая прозрачная ткань из пряжи с кручеными нитками.

С. 181. «Цепочка» — нитки, предназначенные для шитья на швейной машинке.

«Вилка» — нитки с крученой нитью.

С. 187. Наталка-Полтавка — героиня оперы украинского композитора Н. В. Лысенко (1842–1912) «Наталка-Полтавка», чье имя стало нарицательным для обозначения девушек украинской национальности.

С. 188. Кропивницкий Марк Лукич (1840–1910) — драматург, актер, режиссер, один из основателей украинского профессионального театра.

ПУТЬ К ЖЕНЩИНЕ. Впервые роман полностью опубликован «Московским товариществом писателей» в 1928 г. В 1934 г. был издан в Польше. Первоначальное название — «Путь к далекой». Части романа печатались в журнале «Новый мир»: первая — под названием «Знакомые и незнакомые» (1927. № 2); третья — под названием «Ночь» (1926. № 6). Она же публиковалась в немецком издании. Вторая часть — «На земной планете» отдельно не печаталась.

Сам Никандров рассматривал это произведение как шаг вперед в своем творчестве, хотя многие критики советовали ему уйти от сатиры и вернуться к лирической интонации «берегового ветра». «Не могу же я толочься на месте, на одном “Береговом ветре”!» — возмутился он в письме к Н. С. Клецову-Ангарскому от 4 марта 1927 г. (РГАЛИ. Ф. 24. Оп. 1. Ед. хр. 50). Писатель относил этот роман «ко второму сорту», подчеркивая, что «книги первого сорта мною еще не написаны», а все остальное, им созданное, должно быть причислено «к третьему сорту» (*Перегудов А.* На рассвете. — «Новый мир». 1980. № 1).

Роман вырос из задуманной ранее пьесы. Мысль о драматургии никогда не покидала Никандрова, тем более что умение создавать выразительные диалоги, через речь раскрывать характер персонажа действительно составляли отличительную особенность его дарования, «...я рожден быть великим... драматургом», — шутил он в письме Н. И. Замоскину от 4 февраля 1937 г. (РГАЛИ. Ф. 2569. Оп. 1. Ед. хр. 284). Но пьеса не получилась — и в итоге он «из 3-х действий пьесы сделал три повести, дал им отдельные названия... Все три части “объединил” одной идеей, носителем которой является Шибалин» (см. письмо Клецову-Ангарскому от 23 ноября 192(?) г. — РГАЛИ. Ф. 24. Оп. 1. Ед. хр. 50). Однако драматургический элемент, несомненно, сохранился. На это обратил внимание писавший внутреннюю рецензию на повесть «На

земной планете» И. И. Скворцов-Степанов: «Первые 27, пожалуй, 30 стр. будут иметь большой успех при исполнении чтецами... Многие "парочки" — совершенно живые» (РГАЛИ. Ф. 1328. Оп. 3. Ед. хр. 276).

«Странная штука Никандрова» поразила при чтении М. Горького (см. его письмо А. Воронскому от 23 марта 1927 г. — М. Горький и советская печать. М., 1965. Т. X. Кн. 2), встретила горячую поддержку С. Н. Сергеева-Ценского. «Из беллетристики февральской книжки, — писал он В. Полонскому 14 февраля 1927 г., — очень заметна сатира Никандрова. Большой материал для публициста (и большая заслуга Ваша перед литературой, что Вы ее напечатали...) <...> многое в ней списано с природы...» В этом же письме Сергеев-Ценский «жизненно оправданную вещь» Никандрова противопоставил засилью «экзотических» произведений в советской литературе, появление которых заставляет «старого Даля "радостно" потирать в гробу костяшки бывших пальцев» (РГАЛИ. Ф. 1128. Оп. 1. Ед. хр. 113). Очень точно предсказал Сергеев-Ценский и реакцию критики на это произведение: «Сатиры вообще в той или иной части общества возбуждали негодование».

Живя в Москве, Никандров имел возможность близко наблюдать быт писателей, о чем с нескрываемой иронией писал К. Треневу: «Сегодня в Союзе писателей торжественное открытие <...> буфета, столовой, клуба (писательского), бильярдной и пр. Вечерам банкет с пьянством и, думаю, с протоколами» (письмо от 1 ноября 1925 г. — РГАЛИ. Ф. 1398. Оп. 2. Ед. хр. 415). Атмосферу же в писательской среде Никандров характеризовал как смесь «базарной шумихи» с «торгашеским делячеством» (письмо Н. И. Замошкину. — РГАЛИ. Ф. 2569. Оп. 1. Ед. хр. 284. Л. 22).

Именно гротескное воссоздание этой атмосферы в первую очередь и вызвало возмущение критики. В романе увидели «совершенно неубедительный памфлет», «неумелый гротеск», «посквиль» «на современные литературные нравы» (Н. Н. — «На литературном посту». 1927. № 5–6; 13–14; Фиш Г. — «Звезда». 1927. № 10). Никандрову приписали «ложное истолкование бытовых фактов» («На литературном посту». 1927. № 5–6). В. Красильников считал, что романист заставил «комические типы советских писателей и поэтов <...> барахтаться в вонючей тине своего воображения» («Октябрь». 1927. № 8). Он даже прикрикнул на Никандрова: «Тов. автор! Если Вы хотите быть дельным писателем, не занимайтесь размножением <...> анти-

социальных сумасшедших идей. Не увеличивайте количество пасквилей на советских литераторов, им место <...> на страницах <...> эмигрантских изданий».

Критики готовы были согласиться с замеченной Никандровым «некультурностью наших писателей», но, восприняв дословно высказанную Шибалиным теорию, отвергли сосредоточенность всех художников слова на проблемах пола («На литературном посту». 1927. № 5–6). Склонность Никандрова к заострению, гротеску, преувеличению вызывала раздражение: «Где Никандров нашел в наше время такого видного писателя, “вождя” литературной богемы, который всерьез занимается проповедью эротических теорий...» («На литературном посту». 1927. № 13–14) и пропагандирует идею, сливающую человечество в единую семью, или, как выразился критик Г. Якубовский, — в «брачно-творческий акт общественного порядка» («Пролетарский авангард». 1930. № 6).

Критики колебались в определении пафоса произведения: «По-видимому, Никандров хотел кого-то сатирически изобразить, что-то обличить» («На литературном посту». 1927. № 13–14). Единственным, кто осознал роман «Путь к женщине» как сатиру, был критик «Красной газеты» (1927. 6 сентября, веч. выпуск). Но и он недоумевал по поводу того, кто же является объектом сатиры Никандрова, на что направлен ее разоблачительный пафос, и считал, что роман только выиграл бы, если бы его время действия было отнесено в прошлое, слова «милиционер», «красноармеец», «гражданин» были заменены на слова «городовой», «солдат», «господин», а объектом издевательств был избран, например, Анатолий Каменский и подобные ему апостолы «свободной любви». На самом деле критик лукавил: в его рецензии откровенно прочитывается, что ему абсолютно ясно, что стрелы сатиры Никандрова направлены на шибалиных, «мнящих себя благодетелями человечества и великими социальными реформаторами», открывающими новые способы устранения зла.

Предвидя подобные нападки критики и желая, очевидно, представить свое произведение как вполне «невинное», Никандров успокаивал встревоженного обличительной направленностью романа В. Полонского: «..я никого и ничего не имел в виду “задевать” <...> наиболее колючие места согласен сгладить <...> материал <...> не потрясает никаких основ, кроме мешанских» (письмо от 8 ноября 1926 г. — РГАЛИ. Ф. 1328. Оп. 1. Ед. хр. 247).

Одним из убийственных аргументов, развенчивающих роман, было утверждение, что Шибалин и Никандров — одно лицо! Г. Фиш, например, был убежден, что писатель относится к своему герою «весьма сочувственно» («Звезда». 1927. № 10). Несомненное сходство характерологических черт усмотрели в авторе и его герое А. Афиногенов и И. Скворцов-Степанов. Первый заметил в своем «Дневнике»: «...он думал о себе, бедняга Никандров, когда писал о восторге перед писателем», наделил героя «любованием собственной оригинальной теорией, глупой до невозможности...» (РГАЛИ. Ф. 172. Оп. 312. Ед. хр. 119 (2). Л. 127, 130). Второй недоумевал, как может автор всерьез относиться к своему «двойнику» Шибалину и к его «теории», не подозревая о том, «что Шибалин — просто-напросто дубина, к тому же очень противная» (РГАЛИ. Ф. 1328. Оп. 3. Ед. хр. 276. Л. 20). Но в том-то и дело, что Никандров «подозревал» и замечание издателя, что он «наивно разрешает проблему», парировал следующим образом: «Разве я разрешаю? Я только даю русских типов, в том числе того типа, который пытается разрешить половую проблему» (РГАЛИ. Ф. 24. Оп. 1. Ед. хр. 50. Письмо от 4 марта 1927 г.).

Неожиданно благосклонно критиками была воспринята третья часть романа — «Ночь», ассоциировавшаяся в их сознании с «Ямой» А. И. Куприна. На предельный «социологизм» «Ночи» обратил внимание И. Нусинов («Книгоноша». 1926. № 34), решивший на этом основании, что по жанру «Ночь» должна была бы быть выстроена как хроника. Никандров же, рассматривающий проституцию как «социальное явление», злоупотребил психологизмом, что пошло не на пользу произведению. В духе критического реализма была понята «Ночь» органом Союза пролетарских писателей и поэтов Донбасса журналом «Забой», критик которого трактовал эпизоды этой части как «ярко-реалистические», рисующие «жуткую галерею продающихся и покупающих», «быт гниющих душ и тел» (1926. № 13–14). Прагматический вывод из произведения сделал журнал «Молодая гвардия» (1926. № 8), обеспокоившийся, не станет ли произведение своеобразным путеводителем «для прибывающих в Москву иностранных гостей...», и указавший на плохую работу «милиейских филиалов», не приостанавливающих деятельность притонов.

Неудовольствие, однако, вызвал финал. Давались советы. В частности, такой: «одиночке-мечтателю» Шибалину должна быть «противопоставлена воля коллектива», стирающая, разруша-

ющая «это зло» и устремляющаяся к «победной борьбе за новые формы семьи и брака». Только коллектив, торжественно провозглашал рецензент, может «исключить в трудовом обществе самую возможность такого явления, как проституция, порожденного <...> условностями буржуазного уклада» («Забой»). Как видно из критических отзывов, роман был понят дословно, буквалистско, исключительно в контексте литературы, посвященной «половой проблеме». Его притчевый, антиутопический подтекст оказался не выявлен.

В журнальном варианте «Ночь» заканчивалась XXVI главой:

Луны уже не видно. Черная темень всюду. Холодно вато. Должно быть, скоро начнет светать.

Ниоткуда ни звука. Вся Москва спит глубоким, крепким предрассветным сном...

У кирпичного развала вдруг раздается шум подкатившего легкового автомобиля и тотчас слышатся в темноте недовольные хриловатые голоса двух мужчин:

— Сколько их брать? Двух? Трех?

— Бери двух! Только смотри, неодинаковых! Велели — одну самую высокую ростом, одну вовсе маленькую, кургузую!

С. 253. Аббревиатура МКХ означает: Московское коммунальное хозяйство.

С. 266. Наркоминдел — Народный комиссариат иностранных дел.

С. 282. «Лепта вдовицы» — евангельская притча о вдове, принесшей 2 лепты в дар Господу (Лк. 21: 2)

С. 306. Гоби — (от монг. говь — безводное место) — название пустынных и полупустынных территорий на севере и северо-востоке Центральной Азии.

С. 307. Хара-Хото — остатки города (XI–XIII вв.) в низовьях реки Жошуй (Эдзин-Гол) в Монголии. Сохранились дома, храмы, найдены посуда, монеты.

Коминтерн — Коммунистический Интернационал (в 1919–1943 международная организация, объединившая компартии различных стран).

С. 326. МСПО — Московский союз потребительских обществ.

С. 335. Супник — надутый, недоступный (от *супиться*).

Холуй — невежа, грубиян, хам.

СКОТИНА. Отрывок под названием «Гурты» опубликован: «Новый мир». 1925. № 1. Полностью под названием «Скотина» появился в собр. соч. Н. Никандрова (М., 1927. Т. 4). Печ. по изд.: *Никандров Н.* Береговой ветер. М., 1978.

В связи с повестью С. Н. Сергеев-Ценский хвалил «по-деревенски цепкий, не пропускающий ни одной мелочи глаз» писателя (РГАЛИ. Ф. 1161. Оп. 1. Ед. хр. 186). И рецензенты в первую очередь отмечали точность в воспроизведении жизни погонщиков скота. «Зарисовки <...> очень хороши: жизненны и правдивы», — писали «Известия» (1925. 3 февраля). Сам Никандров одним из наиболее удавшихся считал эпизод, где «опысывалось, как скотина, ночующая среди большого села, ест купленную у мужиков солому» (ОР РГБ. Ф. 384. Карт. 19. Ед. хр. 39. Письмо Б. Л. Леонтьеву).

Повесть «Гурты» лучшей публикацией номера журнала объявила критик Г. Колесникова («Октябрь». 1925. № 6), хотя и отметила, что отрывок еще не дает общего представления о замысле произведения. Выделив гнетущее чувство страха, владеющее людьми, — «страх заставляет мужиков продавать скотину, страх толкает их перед нанимателем погонщиков <...> страх заставляет сочинять небывлицы, чтобы получить работу», — рецензент незаметно подводила читателя к мысли о тождественности положения людей и скота: «люди гонят скот, скот гонит людей». Пронизывающий повесть мотив голода был уловлен Л. Войтоловским: «Голодные гуртовщики гонят гурты голодного скота по бесплодным засушливым местам мимо голодных деревень голодающей губернии» («Новый мир». 1926. № 3). В целом же критикам очень хотелось представить описанное Никандровым как частный случай, лишить повесть расширительного смысла. «...вражда, зависть, угодливость и лесть», развернутые писателем в бытовых картинах современной деревни, «пораженной недородом», не могут служить поводом «для обобщений», — утверждалось в «Известиях» (1925. 3 февраля). Но «как картины хозяйственно-собственнической деревни, застигнутой массовым бедствием и нищетой», они «характерны и правдивы». Желая облегчить прохождение повести по инстанциям при повторном издании, рецензенты подчеркивали ее поэтическую фактуру, «кособую поэзию жизни гуртовщиков», встречаемых ими людей, завидующих (?! — М. М.) не только плодородной (?! — М. М.) земле, но и хорошему (?! — М. М.) скоту» (РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 10. Ед. хр. 198. Л. 28. Рец. Н. И. Замошкина), призывали расценивать произведение как «торжественный

гимн бытию» (РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 10. Ед. хр. 7. Л. 48. Рец. А. С. Новикова-Прибоя). И даже сам автор в одной из самохарактеристик вторит этому мнению, говоря, что главное в повести «крепкий органический оптимизм, утверждающий жизнь, волевые преодоления трудностей». А поскольку самохарактеристика писалась сразу же после войны, то добавляет, что после ее прочтения «становится еще понятней, почему наш народ победил в Отечественной войне и почему он всегда будет побеждать» (РГАЛИ. Ф. 2569. Оп. 1. Ед. хр. 284. Л. 54).

Однако все же что-то смущало рецензентов в подобной однозначной интерпретации повести, и они вынуждены были корректировать свои восторженные оценки. Так, Н. И. Замошкин писал, что «...рассказ в некоторой своей части односторонне освещает деревню годов НЭПа, доколхозное крестьянство. Сгущены в нем краски, не всегда уместен юмор. Поэтому следует сократить его...» (РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 10. Ед. хр. 198. Л. 28). Еще более определенно высказался критик В. Гольцев: «Если бы в рассказе "Гурты" не упоминались названия советских трестов, читателю оставалось непонятным: произошла ли в нашей стране революция или нет» (РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 10. Ед. хр. 7. Л. 45), — обнаружив, таким образом, понимание подлинного смысла написанного Никандровым.

И все же положительные отзывы появились. Один из них — Д. Горбова, сделавшего акцент на эпической мощи и лирической интонации повествования. «Первая книга ("Нового мира". — М. М.), — писал он, — открывается великолепным, необычайно сочным по языку, образам и общей концепции отрывком из повести Н. Никандрова "Скотина" — "Гурты". Крестьяне, сгоняющие свой скот на базар под давлением неурожайного лета, представитель гостреста, скупающий этот скот по льготной для крестьян цене и тем спасающий их из лап кулаков-просолов, голоштаный бесхозяйственный люд, наперебой рвущийся наняться в гуртовщики, чтобы спастись не только от голода, но и от унижительного ничегонеделанья, бескрайний степной большак, уводящий в необъятные дали великого Союза, отдых гуртовщиков у костра и измученного жаждой и усталого скота на подножном корму — все это выписано автором с яркостью художника...» («Книгоноша». 1925. № 12–13). Рецензент же «Нового мира», хотя и констатировал, что Никандров не овладел «методом художественно-диалектического построения образов», тем не менее выражал уверенность в том, что «художник мучительно нащупывает новые твор-

ческие пути» (1925. № 2). Но несмотря на эти высокие оценки, повесть так и не смогла появиться в издании «массовой библиотеки», на что очень надеялся автор (см. письмо Н. С. Клестанову-Ангарскому от 4 марта 1927 г. — РГАЛИ. Ф. 24. Оп. 1. Ед. хр. 50).

С. 370. Волисполком — волостной исполнительный комитет.

С. 372. Прасол — оптовый скупщик скота и разных припасов (обычно мяса, рыбы) для продажи.

Наркомвнуторг — Народный комиссариат внутренней торговли.

С. 385. Потребилровка — разговорное обозначение одной (магазин, склад) из потребительских организаций.

С. 401. Омет — сложенное в виде параллелепипеда для хранения сено или солома, то же, что стог.

С. 402. Яр — глубокий заросший овраг.

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ. Печ. по изд.: *Никандров Н.* Собр. соч. М., 1927. Т. 2. Все подробности.

Рассказ написан в период «от Февраля к Октябрю», предназначен для издаваемых «Книгоиздательством писателей в Москве» сборников «Слово», но ни в одном из них не появился, чем Никандров был очень раздосадован. Неоднократно подвергался по совету И. С. Шмелева правке. Сам автор рассказом был удовлетворен: «Вещица сезонная и ударная...», «рассказ <...> прямо замечательный» (ОР РГБ. Ф. 9. Оп. 2. Ед. хр. 72. Письма к Н. С. Клестанову от 22 и 27 сентября).

КАТАКЛИЗМА. Печ. по изд.: *Никандров Н.* Собр. соч. М., 1927. Т. 2. Все подробности.

Как и предшествующий рассказ, примыкает к таким «зарисовкам с натуры», как «Перед Пушкиным», «В Москве перед Пушкиным» (опубликованы в газете «Киевская мысль». 1917. 25 апреля и 10 июня) и «Натура» («Путь». 1918. № 1), которые делал писатель, живя в Москве в 1917 г. Все они развивают идеи сборника Н. Никандрова «Лес» — о «лесистости теперешних людей и событий...» (ОР РГБ. Ф. 9. Карт. 2. Ед. хр. 72. Письмо Н. С. Клестанову от 28 июля 1917 г.) — и подкрепляются наблюдениями художника, полученными во вре-

мя службы в действующей армии — всюду «убивающий <...> хаос» (РГАЛИ. Ф. 24. Оп. 1. Ед. хр. 50. Письмо Н. С. Клестову-Ангарскому).

С. 428. Плащаница — употребляемая в церковном обряде ткань с изображением Христа, находящегося в гробу.

Аннексия — захват, присоединение территории чужого государства вопреки воле его населения.

Мажоритарный (от фр. *majoritaire* — относящийся к большинству) — система избирательного права, при которой принимаются в расчет только голоса, поданные за кандидата, получившего большинство голосов.

Абсентизм — массовое уклонение избирателей от участия в выборах; систематическое отсутствие членов коллегиальных органов на заседаниях.

Синекура — хорошо оплачиваемая должность, не требующая никакого труда.

Секуляризация — обращение церковной и монастырской собственности в собственность государственную; освобождение от церковного влияния умственной и творческой деятельности.

Laissez-passer (фр.) — пропуск.

Квиетизм — мистическое учение, проповедующее спокойствие, смирение, созерцательность как основу благочестивой жизни.

Сакраментальный — священный, обрядовый, освященный традицией.

С. 432. Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — политический деятель, историк, публицист, лидер партии кадетов. В 1917 — министр иностранных дел Временного правительства 1-го состава.

Дарданеллы — пролив в Турции, между Европой и Азией, соединяет Эгейское море с Мраморным. Стратегически важный объект во время 1-й мировой войны. В 1915–16 происходили бои союзников с немецкими и турецкими войсками (Галлипольская операция).

С. 436. «Женский батальон смерти» — женские батальоны начали формироваться после Февральской революции. 1-ый Петроградский батальон был оставлен для защиты Временного правительства.

Послание к Галатам — книга Нового Завета св. апостола Павла. Монах цитирует указанное место (1: 4) неточно; надо: «Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы из-

бавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего».

Печерская Лавра — Киево-Печерская лавра — православный монастырь, находится на правом берегу Днепра в Киеве, помещавшийся вначале в пещерах.

С. 438. Макарий (в миру — Михаил Андреевич Невский, 1835–1926) — митрополит Московский и Коломенский с 1912.

Керенский Александр Федорович (1881–1970) — политический деятель, адвокат. Эсер. Во Временном правительстве занимал посты: министра юстиции, военного и морского министра, министра-председателя.

Гучков Александр Иванович (1862–1936) — российский капиталист, лидер октябристов. В 1917 — военный и морской министр Временного правительства.

С. 440. Паллиатив (от фр. *palliatif*) — средство, дающее временное облегчение болезни; полумера, нерешительное действие.

Репрессалии — в международных отношениях — принудительные меры, применяемые одним государством в ответ на неправомерные действия другого государства.

Субстанция — сущность, первооснова вещей и явлений.

Филистер — самодовольный ограниченный человек.

Volens-nolens (лат.) — хочешь не хочешь, волей-неволей.

Modus vivendi (лат.) — образ жизни.

Элоквенция — красноречие.

РУДА. Впервые: «Новый мир». 1929. № 5. Печ. по первому изд.

Работа над рассказом проходила трудно, писатель долго искал «живую форму». Наконец она была найдена — «дробь голых диалогов без единой описательной строчки, без единой повествовательной фразы» (РГАЛИ. Ф. 24. Оп. 1. Ед. хр. 50. Л. 31). Редактору журнала Вяч. Полонскому вещь очень понравилась, он опубликовал ее сразу же после прочтения. В критике она фигурировала как «неверно» освещающая рабочую тему. Никандров надеялся ее увидеть в томе «Избранного», предложенного им в 1957 г. «Крымиздату», но ни в одном из сборников «Руда» так и не появилась.

С. 442. Гомза — Государственное объединение машиностроительных заводов.

С. 444. Бандажный — зд. цех, делающий металлические пояса, ободы, надеваемые на части машин, на железнодорожные колеса для увеличения их прочности.

С. 450. ВМС — Военно-морские силы.

ВСНХ — Высший Совет Народного Хозяйства (1917–1932).

С. 454. НК РКИ — Народный комиссариат Рабоче-Крестьянской инспекции (1920–1934).

...шахтинское <...> вредительства... — «шахтинское дело» — судебный процесс, состоявшийся в Москве в мае–июле 1928 г. Группа инженеров и техников была обвинена в создании контрреволюционной вредительской организации, которая якобы действовала в Шахтинском и др. районах Донбасса. 5 обвиняемых были приговорены к расстрелу. Других приговорили к различным срокам заключения.

С. 458. Вальцы — элемент прокатного стана.

Стелюга — деревянный настил, служащий для перемещения грузов.

С. 460. Куйбышев Валериан Владимирович (1888–1935) — государственный деятель. С 1926 — председатель ВСНХ СССР. Ранее — председатель ЦКК (Центральная контрольная комиссия) партии, нарком РКИ (Рабоче-крестьянская инспекция, Рабкрин).

С. 462. Таль — компактная подвесная подвижная или неподвижная подъемная лебедка.

С. 463. Маховик — тяжелое колесо для обеспечения равномерного движения машины.

Шорник — специалист по изготовлению изделий из кожи.

Фабзавуч — школа фабрично-заводского ученичества.

С. 465. Шашель — жучок или червь, который точит дерево.

С. 472. Рыков Алексей Иванович (1881–1938) — политический и государственный деятель. В 1924–1930 — председатель СНК (Совет Народных Комиссаров) СССР, в 1926–1930 — председатель СТО (Совет Труда и Оборона). Репрессирован.

Калинин Михаил Иванович (1875–1946) — политический деятель. С 1922 — председатель ЦИК (Центральный Исполнительный Комитет) СССР. С 1938 — председатель Президиума ВС (Верховный Совет) СССР.

Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) — военный и политический деятель. С 1925 — нарком по военным и мор-

ским делом и председатель РВС (Революционный военный совет) СССР.

Шмидт Василий Владимирович (1886–1938) — политический и государственный деятель. Нарком труда в 1918–1928, затем заместитель председателя СНК СССР. Репрессирован.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — политический и государственный деятель, писатель. С 1917 — нарком просвещения.

Томский (наст. фам. Ефремов) Михаил Павлович (1880–1936) — политический и государственный деятель. В 1919–1921 и 1922–1929 — председатель ВЦСПС (Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов), затем заместитель председателя ВСНХ СССР, заведующий ОГИЗ (Объединение государственных издательств). Покончил жизнь самоубийством.

Бухарин Николай Иванович (1888–1938) — политический деятель. В 1918–1929 — редактор газеты «Правда», член Политбюро ЦК (1924–1929). Репрессирован.

Крупская Надежда Константиновна (1869–1939) — политический деятель. Жена В. И. Ленина. С 1920 — председатель Главполитпросвета (Главный политико-просветительный комитет) при Наркомпросе.

Ульянова Мария Ильинична (1878–1937) — партийный деятель, сестра В. И. Ленина. С 1917 — член редколлегии и ответственный секретарь газеты «Правда».

Семашко Николай Александрович (1874–1949) — врач. С 1918 — нарком здравоохранения.

ЗЕЛЕННЫЕ ЛЯГУШКИ. Впервые: *Никандров Н.* Морские просторы. М., 1935. Печ. по этому изд.

Не уловил сатирической условности рассказа, его шаржированности критик газеты «За пищевую индустрию» (1936. 23 марта. № 88), который возмущился «расхивившимся автором», предложившим «лягушачье производство» как выход из создавшегося в рыболовецких хозяйствах прорыва. Проконсультировавшись в вышестоящих организациях, он всерьез уверял читателей, что СССР никогда не экспортировал лягушек. Рассказ по достоинству был отмечен друзьями писателя. Не случайно много лет спустя в 1950 г., желая подбодрить Никандрова в желании вернуться в литературу, А. И. Вьюрков писал: «Мы еще покажем им, как лягушки прыгают» (РГАЛИ. Ф. 1452. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 1(об.)).

С. 474. Принц А. П. Ольденбургский — один из представителей многочисленной ветви семьи Ольденбургских, находившихся в тесной связи с Романовыми. Возможно, внучатый племянник Николая I, сын прославившегося своей благотворительной деятельностью П. Г. Ольденбургского (1812–1881). Но, возможно, и сознательно осуществленная писателем путаница (или опечатка?) в инициалах, т. к. был известен и Александр Георгиевич Ольденбургский.

Наркомснаб — Народный комиссариат снабжения.

С. 475. Прорыв — зд. в значении нарушения хода работы, ведущего к срыву выполнения задания, плана.

М. В. Михайлово

Содержание

<i>М. В. Михайлова, Е. В. Красикова</i> «Индивидуальность свою пишущий должен отстаивать — это и есть талант»	3
ПРОФЕССОР СЕРЕБРЯКОВ	28
ЛЮБОВЬ КСЕНИИ ДМИТРИЕВНЫ	81
РЫНОК ЛЮБВИ	142
ПУТЬ К ЖЕНЩИНЕ	196
Часть первая	196
Часть вторая	252
Часть третья	316
СКОТИНА	367
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ	415
КАТАКЛИЗМА	427
РУДА	441
ЗЕЛЕННЫЕ ЛЯГУШКИ	473
Комментарии	485

Литературно-художественное издание

НИКАНДРОВ НИКОЛАЙ НИКАНДРОВИЧ

ПУТЬ К ЖЕНЩИНЕ

РОМАН, ПОВЕСТЬ, РАССКАЗЫ

Редактор: *С. Н. Казаков*
Корректоры: *Н. М. Баталова, Т. Ю. Смирнова*
Верстка: *Ю. Н. Дрюков*
Художник: *В. В. Неклюдов*

Подписано в печать с готового оригинал-макета 01.12.2003.

Формат 60 x 90 $\frac{1}{16}$. Печать офсетная.

Учетно-изд. л. 31,75. Тираж 5000 экз.

Заказ № 61.

Издательство

Русского Христианского гуманитарного института
190023, Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки, 15.

Тел.: (812) 314-35-21. Факс: (812) 117-30-75.

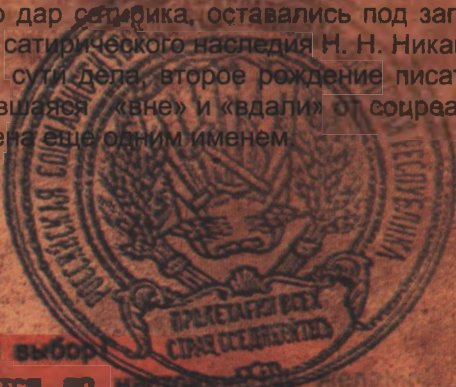
E-mail: editor@rchgi.spb.ru

URL: <http://www.rchgi.spb.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии
ИД Санкт-Петербургского государственного университета
199061, СПб., В. О., Средний пр., 41.



Роман, повести, рассказы, составившие сборник «Путь к женщине», призваны открыть читателю замечательного русского прозаика Николая Никандрова (1878-1964). Крестник А. Грина и А. Куприна, пользовавшийся неизменной популярностью в дореволюционной России, он подвергся уничтожающей критике в 20-е годы и вынужден был надолго замолчать. С тех пор печатались только его ранние работы, а произведения, в которых раскрылся его дар сатирика, оставались под запретом. Поэтому публикация сатирического наследия Н. Н. Никандрова знаменует собой, по сути дела, второе рождение писателя, а литература, развивавшаяся «вдаль» и «вдаль» от соцреализма, оказывается дополнена еще одним именем.



Друг у тебя свой выбор

выбрана по названию (не
творилась)

ПЕТРОГРАД 2004 ГОД